

An impressionistic painting of a harbor scene. In the foreground, a sailboat with white sails is on the water, its reflection visible in the blue and white brushstrokes of the sea. In the background, there are buildings and a pier. The sky is a mix of yellow and white, suggesting a bright, hazy day. The overall style is expressive and textured.

ОДЕССА —
МОСКВА —
ОДЕССА

*Юго-западный
ветер в русской
литературе*





Одесса.—Odessa. № 14.

Видъ на портъ и лѣстница-гигантъ сверху.



Издатели выражают благодарность за помощь в подготовке книги

Валентине и Евгению Голубовским (Одесса)

Виктории Ладыженской (Израиль)

Алёне Яворской (Одесса)

Михаилу Яснову (Санкт-Петербург)

Анатолию Дроздовскому (Одесса)

Андрею Никитину-Перенскому (Мюнхен)

Одесскому Литературному музею

Издательству «Свињин и сыновья» (Новосибирск)



ОДЕССА—
МОСКВА—
ОДЕССА

юго-западный ветер
в русской литературе

Москва
2014

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)
О-417



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Выпуск осуществлён при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

Издано при участии ООО «Принт-Контент», г. Санкт-Петербург

Рецензенты:

Л. У. Звонарева, С. М. Казначеев

О-417 Одесса—Москва—Одесса. Юго-западный ветер в русской литературе /
[Сост. В. В. Калмыкова, В. Г. Перельмутер]. — М.: ООО «Издатель-
ский дом «ВЕЧЕ»; ООО «Русский импульс», 2014. — 624 с.: 16 с. ил.
ISBN 978-5-9533-6689-2
ISBN 978-5-902525-83-7

Знак информационной продукции **16+**

В 1933 году Виктор Шкловский предсказывал, что зародившаяся в Одессе «южно-русская школа» заметно повлияет на дальнейшую судьбу русской литературы. Восемьдесят лет спустя составители книги «Одесса—Москва—Одесса...» — с помощью многочисленных прозаиков, поэтов, литературоведов, мемуаристов, вышедших из этой «школы», — попытались проследить, — и показать, насколько полно и многообразно осуществилось в XX веке пророчество гениального теоретика литературы, плодотворно растворенное ныне.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)

ISBN 978-5-9533-6689-2
(ООО «Издательский дом «Вече»)
ISBN 978-5-902525-83-7
(ООО «Русский импульс»)

© Авторы, наследники
© В. В. Калмыкова, послесловие, состав-
ление, 2014
© В. Г. Перельмутер, вступительный
очерк, комментарии, составление, 2014
© ООО «Издательский дом «Вече», 2014
© ООО «Русский импульс», 2014
© Семенников И. Д., оформление, 2014

Вадим Перельмутер

«Это было, было в Одессе...»

Ветер, ветер на всём Божьем свете!..

Блок

Это — литература, а не только материал для мемуаров.

Шкловский

Впрочем, граница между литературой и мемуарами легко размывается. Поэтикой памяти.

Вяземский говорил, что у нас — «странная судьба»: русский, то бишь Петр Великий, пытался сделать из нас немцев, а немка, Екатерина Вторая — русских.

Что Екатерина то и дело «подражала» Петру — общее место историографии. Тем любопытнее, что из размышлений такого рода совершенно выпала история Одессы. И, по-моему, совершенно напрасно — лучшего образца, пожалуй, и не сыскать.

«Структурное» сходство Одессы с Петербургом бросается в глаза. То же строительство «с нуля» — по единому замыслу (не путать с *планом!*), та же геометрическая прямоугольность, шахматная расчерченность (не отсюда ли шахматные пристрастия уроженцев обоих городов?), те же явления дворцов — вблизи центра — на каждой улице, ведущей к морю, впадающей в него, да и архитекторы нередко — одни и те же.

Оба города создавались искусственно — как образ (или модель) города *европейского*.

Различие в том, что Петр, русский, кроил Санкт-Петербурх, «Северную Пальмиру», по образу и подобию северо-европейскому, более всего — Амстердамскому (каналы, насыпи, даже обрамление улиц «голландским тополем», и проч.). После добавились *прививки* — Парижская, Венская и другие. Кроил и возводил — как умел, силой и принуждением, — образ города без предместий и посадов, окружённый пустым пространством, за которым — кольцом — возникали

загородные дворцы-резиденции, начиная с императорских, на манер Венсана и Фонтенбло: Царское Село, Павловск, Гатчина...

Ничего похожего на «подмосковные» ту нет и быть не может. Да и слова подходящего, легко с языка слетающего, не придумать.

Петр хотел *переломить* восьмисотлетнюю *византийскую ориентацию*, довлеющую — среди прочего — градостроительству со времён принятия православия. Затем и завезены были мастера, выросшие среди готики и барокко.

Екатерина, немка, чувствовала — или понимала — органичность этого воздействия. Её образ города — в подражание Петру, но в противоречие Петербургу, — был южно-европейским, всего ближе к Марселю или Неаполю.

Подобно Питеру, это — не город-крепость (у Петра такая роль была отведена Кронштадту, у Екатерины — Севастополю), но порт, не дверь — окно. Выходящее на воду. Посуху не выйдешь, не войдешь, но только выпрыгнешь — на корабль — или запрыгнешь с него. Ни тот город, ни другой не защищены толком ни с моря — бухтами, фортами, — ни с суши: там равнина или степь.

Одесса, в отличие от Петербурга, холмиста. И в том причина редчайшего среди городов российских сочетания прямоугольности с ландшафтной застройкой, линейки геометра с подобьем древесных колец.

Все переселения в неё были *добровольны* — от второго корня этого слова происходят одесские *воля*, *вольность*, даже *вольница*, ни крепостной зависимости, ни — даже — по ногам-рукам вяжущих уставов-регламентаций. Тяготевший к оным Павел до Одессы со своими вкусами не добрался, быть может, просто не успел. А любимый внук Екатерины Александр почтил память бабушки, утвердил «де-юре» то, что «де-факто» уже существовало — пожаловал Одессе статус порто-франко.

В её предместьях — Молдаванка, Пересыпь и проч. — обосновались потянувшиеся в новый город обитатели окрестных, ближних и не очень, сёл и местечек.

Понемногу смешиваясь с *торговыми* евреями, греками, армянами, а также итальянцами и французами, *местные* создавали особый языковый *коктейль*, то, что можно условно назвать южно-русским языком, на котором в первое одесское столетие могло возникнуть разве что подобие литературы и который отличался от литературного не меньше, чем малоросский или белорусский, и больше, чем, например, поморский диалект. Его окультуривание началось открытием Новороссийского университета, куда отправились преподавать ученые не

только из обеих столиц, но и из Киева, Прибалтики и провинциальных культурных центров, тогда это не было оксюмороном.

Языковая прививка сработала справно и быстро. Литературно-русский выучивался почти как иностранный, точнее — как *второй родной*, но именно *выучивался*. Потому что множество особенностей и тонкостей, структура и семантическая паутина, при *врожденном* постижении как бы сами собой разумеющиеся, в этом случае становились... *метафорами* — рельефными, увлекательными, даже интригующими. Отсюда — совершенно особое отношение к слову — словно бы впервые услышанному, *поверяемому* всеми пятью чувствами — под ненавязчивым присмотром интуиции, — напряженная пристальность к полисемии и — при сохранении *южного* цветового и чувственного колорита — тяготение к точности высказывания, к стилистической разработанности и изощренности.

Писатели, *выучившие* язык, на котором сочиняют и который с детства не был родным, *семейным*, нередко становятся первой величины *стилистами*: Конрад в Англии или Аполлинер во Франции. По ассоциации любопытно бы поразмыслить о *стиле* выросших в условиях языковых *коктейлей* Гоголя или Булгакова...

Российский Юг, или, с лёгкого слова Шкловского, *Юго-Запад* дал замечательных стилистов и в прозе — Бабель, Катаев, Олеша, Паустовский, и в поэзии — Багрицкий, Кирсанов, Тарловский, Штейнберг etc. У них у всех — ощущение языковой, почти *языческой*, хотя и *европеизированной*, свежести и остроты — речи и письма. И *точности*. Почти все прозаики здесь начинали стихами, речью поэтический, в которой, по Карамзину, нет синонимов.

По аналогии — с поправкою на ее всегдашнюю условность, — *Северо-Запад* решал весьма похожие задачи. Петербургское господство геометрии, европейской архитектуры и европейских языков — немецкого, французского, отчасти английского, — сдержанный, *северный* колорит, всё это откликнулось на прививку литературно-русского языка ритмической строгостью и видимой графичностью литературы. И в этом смысле сверстник Олеша Набоков — его *зеркальный двойник*.

Эмигрантская критика из советских писателей выделяла и ценила Олешу, из своих — Сирина-Набокова.

В «Книге прощания» Олеша размышляет о причинах столь напряжённого, мучительно-тщательного своего писания вещей, предназначенных *публике*. В то время, как для себя — и для своих — у него

получается сразу набело и чаще всего хорошо. Причину он видит в том, что — поляк, русский язык — не родной, ещё в гимназии *неправильности*, у него вырывавшиеся, забавляли сверстников, и с тех пор затаилась в нём боязнь быть *осмеянным*.

Думаю, объяснение неполное, а значит — неточное. Тем более, что и оно ведь сделано не совсем *для себя*.

Особая кропотливость работы над словом и фразой у писателей, выучивших язык, на котором пишут, — как иностранный или второй родной, не суть важно, — известна. Они потому и становятся замечательными стилистами, что опасение ошибиться обостряет внимание к оттенкам смысла, к произношению — звуку, ударениям, а значит — к ритму, к порядку слов, который в родном языке — иной, например, в польском он куда *регламентированней*, чем в русском.

Однако *иноязычие*, в сущности, второстепенно. Описанное Олешей ощущение хорошо знакомо любому писателю. Мысль о *выходе на публику* (или, иначе, надежда на него), о *непоправимости* того, что хочешь ей сообщить, превращает нервы в струны. Нельзя не чувствовать себя более или менее *самозванцем* — после тех, кто были до тебя и кем эта самая публика, поколение за поколением, выращена.

Вовсе не из гордыни, кстати сказать, Кржижановский сопоставлял то, что делал, с Эдгаром По, Сервантесом, Свифтом, но никогда — с современниками, которые — в том же положении, что и он.

О Петербургской *поэтической школе* говорят и пишут, но феноменальна как раз *прозаическая*, из Гоголевской шинели выросшая, по Невскому проспекту шествующая — Вельтмановским Странником, странными героями Владимира Одоевского, господином Голядкиным, «Серапионами»...

Чем южнее, тем стремительней ритм — слова, музыки, жеста, жизни, тем взрывчатей гремучая смесь впечатлений.

Медлительная призрачность зимнего мира — накрепко замкнутые двери, бормот огня в камине, магические знаки инея на стекле: пространство полусна и видений.

«Северяне» *фантазмагоричнее* южан. У них *может произойти* больше, чем у тех *происходит*. Их воображение более *фабульное, контурное*, у тех — *словесное, предметное*. Математически и шахматно выверенный Набоков отдаёт прещедрую дань шахматным комбинациям *фантазмов*.

Олеша заботливо выращивает свои фантазии из луковиц-метафор.

...Искушение шахматных ассоциаций. Жертва меняет взаимоотношения фигур — не только на клетчатой доске. Но — вне шахмат — не бывает корректной. Нет выигравших...

Ахматова родилась в Одессе. Однако причисление её к *одесситам* в литературе выглядело бы дико. Хотя, конечно, при большом желании, можно было бы и в эту игру поиграть. Например, припомнить, что лет за десять до появления на свет *стихотворных воспоминаний* про одесское детство, поэмы «У синего моря», сочинялись юношеские стихи, диктуемые первой влюблённостью и предваряемые неизменно посвящением «А. М. Ф.», что расшифровывается как «Александр Митрофановичу Фёдорову». Да-да, тому самому, поэту и переводчику, лет на двадцать старше, на даче которого у Шестнадцатой станции Большого Фонтана, над синим морем, не раз коротал лето его приятель Бунин, и к нему приходил с тетрадкой стихов гимназист Валя Катаев... В общем, только дёрни за верёвочку ассоциаций... Но к делу это отношения не имеет.

Фантазмагория «Поэмы без героя», зыблущаяся магия отражающих друг друга зеркал, — из *петербургской* прозы Гоголя и Достоевского, из Евреиновского «Театра для себя», Сомовских масок «Балаганчика» и разноголосого марева «Бродячей собаки»...

В России — невероятный темп движения литературы: всего полвека от Тредьяковского до Пушкина. Тот, кто вырос на повестях Карамзина, вполне мог в преклонные лета зачитываться романами Достоевского. Потому потребовалась предельная концентрация духовных усилий — и этот стресс не был мгновенным, растянулся на десятки лет. В перенасыщенном такой энергией пространстве *имена* возникали не по одиночке — целыми созвездиями.

Сакрализация слова в подобных условиях была неизбежна. «Слово как таковое» — бунт против неё.

Бунт не бессмысленный, потому что купание в *зауми* всегда оставляет выход на берег *смысла*, а на коже и в памяти — влагу новых словесных значений.

Не беспощадный, потому что проливаются им потоки чернил, но не крови...

В новой истории, когда искусство, художество, отделилось от государства и церкви, всякий раз *новизна* — музыки, живописи, поэзии — вызывала скандал, неприятье, насмешки публики и, что важнее, большинства просвещённых критиков. Десятилетия спустя эта самая *новизна* переходила в разряд *классики*, а скандалы перемещались в коллекцию исторических анекдотов.

И то, и другое — естественно.

Изменения внутреннего ритма времени художник улавливает раньше всех. Просто потому, что искусство ритмично — и отзывчиво ритмам, с которыми соприкасается. Художник откликается на ритмические сдвиги времени, то есть жизни, бессознательно. И только

потом *мотивирует* отклик свой — манифестами и декларациями, которые чаще запутывают, нежели проясняют происходящее. Он сам не знает — *что* произойдёт, но чувствует приближение *иного*. И словно бы предупреждает о необратимом, о том, что вскорости жизнь переменится — и *прежней*, то бишь ныне привычной, не будет уже никогда. И понятно, — опять же, бессознательное — раздражение публики, лелеющей *стабильность* своего существования, как бы критически сама к нему ни относилась.

Одесса оказалась готовой к участию в этом *бунте*, быть может, лучше прочих российских городов.

В самом начале прошлого века в Одесском художественном училище (замечу в скобках — Филиале Петербургской Академии художеств, где *учителя* были не хуже, чем в Новороссийском университете) студировали живопись ещё не знакомые между собою Давид Бурлюк и Алексей Кручёных.

В девятьсот шестом на традиционной осенней одесской выставке — среди прочих живописцев — дебютируют «модернисты» братья — Давид и Владимир Бурлюки и сестра их Людмила.

Годом позже, на такой же выставке, «модернистам» уже отведён отдельный зал.

А через несколько месяцев в Одессе появился Хлебников. Побродил по городу и побережью, влюбился в кузину Марию. Она потом выйдет за другого, а он будет писать ей стихи. Собирался переселиться сюда, но передумал, вернулся домой, в Казань, оттуда — в Петербург...

В марте девятьсот девятого Бурлюк встретился с приехавшим в Одессу из Мюнхена Кандинским. А тот уже несколько лет знаком с Шёнбергом и наслушался *новейшей* музыки, уловил переключку с нею собственной, возникающей *додекафонии* живописи. И попал в город, где эту музыку уже страстно пропагандирует Борис Тюнеев (четверть века спустя среди его консерваторских студентов будет Рихтер).

Недописанная картина начинает озвучиваться...

Встреча с Кандинским срезонировала в Бурлюке, лучшего времени для неё судьба, кажется, и не смогла бы выбрать.

Бурлюк, неустанно размышляя о происходящем в современном искусстве и в себе самом, художнике, пытаюсь поверить *теорией* эту *практику*, разумеется, сразу обратил внимание на то, что писали о Кандинском давно и близко знавшие его. О влиянии на живопись Кандинского биологии, которую он изучал в университете, и его увлечения авиацией. Стало быть, эти «абстракции» — место встречи ближнего

и дальнего зрения: внутреннего броунова движения живой материи — и взгляда с птичьего полета на «общий вид», на ту *геометрию*, в которую это движение преобразуется.

Как говорил Шагал, «нереализма в искусстве не бывает»...

В Одессе Кандинский впервые выставил свои *абстракции*. В «Салоне» Владимира Издебского, открывшемся в декабре.

Живописец и скульптор Издебский, ровесник Бурлюка, учился в Европе, жил в Швейцарии, Франции, Германии, последние — перед возвращением в Одессу — пять лет работал в Мюнхене, где познакомился с Кандинским, Явленским, Клее и другими будущими «Синими всадниками». Там и возникло у него желание познакомить российскую публику с современным европейским искусством, дать ей возможность сопоставить и сравнить мастеров — соотечественников с иностранцами.

Для первого «Салона» ему удалось получить работы Матисса, Брака, Руо, Редона, Ван Донгена etc. А рядом — Кандинский, Явленский, Бехтеев, братья Бурлюки etc.

Не сказать, что одесская публика, валом валившая на выставку, *поняла* эту живопись. Нет, конечно. Однако, с детства приученная ко всякого рода *инакостям* — разноязычем и бытовой многоукладностью своего города, — она *приняла* и это. Ей было *интересно*.

Потом «Салон» пропутешествовал по маршруту Киев — Петербург — Рига. И в столице, само собой, без скандала не обошлось...

Новое искусство европейское пришло в Одессу, минуя столичные *фильтры* — привычных традиций, пристрастий, вкусов. Напрямую. И никого не то, что не возмутило, но даже и не смутило.

Чуть более года спустя открылся второй «Салон». Тут уже господствовали российские «левые» Гончарова и Ларионов, Татлин и Лентулов, Фальк и братья Бурлюки. С ними соседствовали «мюнхенцы» (Издебский после гордился, что именно он тогда «открыл» публике Кандинского, выставив шестьдесят его работ). И снова одесская публика *приняла* выставку. Ей было *интересно*...

Так завихрялись, переплетаясь, виденья и звуки на дальней окраине Средиземноморья. И для того, чтобы преобразиться, наконец, склудиться в *антициклон*, им недоставало только Слова, стихии стиха.

«Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью». (Хлебников)

Но будущие здешние поэты еще бегали в гимназии и пинали на лужайках футбольные мячи. И предстояло дожидаться их (а те, что немного постарше, пишущие *одиночки* — Бенедикт Лившиц, Ефим Зозуля, Дон Аминало — сорвались и уехали, кто в старую столицу, кто в новую). Впрочем, как вскоре выяснилось, недолго. И непременно

но должно было произойти нечто вроде сигнала, выстрела стартового пистолета.

И произошло.

В январе девятьсот четырнадцатого в Одессу приехали футуристы — Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Василий Каменский. Шестнадцатого и девятнадцатого их вечера состоялись в Русском театре. Вёл вечера Пётр Пильский.

Одесская публика словно бы наступила ненароком на скандальный шлейф этого футуристического турне по югу России. Шлейф оборвался. Скандала не было. Достославное одесское чувство юмора, собственная склонность одесситов к игре и розыгрышу — на грани, а то и за гранью эпатажа, — *зарифмовали* сцену и зал.

«Это был вечер клоунады и добродушного настроения», — подытожила одесская газета.

...А Маяковский влюбился. В одесситку Марию. Она потом вышла за другого. Однако *отблагодарила* поэта за любовь — *осталась* с ним в *одесской* поэме, прославившей его.

Совпадение? Случайная рифма в строфе шестилетней длины у двух собратьев-будетлян? Кто знает...

Меньше чем через два месяца после тех вечеров вышел первый альманах молодых одесских поэтов. *После* — не синоним *вследствие*. Однако очередность событий всегда любопытна. Из участников альманаха лишь двое — Семён Кесельман и Анатолий Фиолетов — *останутся* в литературе, хоть и будут потом — надолго — *забыты*. Стихи — вполне традиционные, с узнаваемыми *влияниями*, к *футуризму* это не имеет отношения. Тем не менее... появляются на публике молодые поэты после визита футуристов в их город.

Ещё месяца три — и Пильский отбирает среди пишущих юнцов наиболее одарённых, организует «Кружок молодых поэтов», и на его вечерах выступают уже не «Эдя, Валя и Сёма», а Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Семён Кесельман, Анатолий Фиолетов, Александр Биск. Так начинается *одесская литературная школа*.

В девятьсот пятнадцатом выходят два альманаха — «Серебряные трубы» и «Авто в облаках». Во втором, кроме одесситов, московские «гости-футуристы» — Сергей Третьяков и Вадим Шершеневич.

Темп литературы российской становится созвучен одесскому.

Между Тредьяковским и Пушкиным — полвека.

Ровно столько же — между открытием Новороссийского университета и «Авто в облаках».

Одесситы ничего не «открывают», они хотят — и умеют — *учиться*, они жадно впитывают то, что было в литературе и что происходит сейчас,

и не только в России. И чувствуют себя *русскими европейцами*. Переводят — не для заработка, *для себя*, — англичан, французов, немцев (как это делали веком раньше Пушкин, Жуковский, Вяземский). Из всего из этого они создают *своё*, открытое всему *иному* — и нетерпимое ко всему, что лишь пытается выдать себя за таковое.

Почти все пишут стихи, некоторые, и перейдя на прозу, не оставляют сие занятие, рисуют (подчас — профессионально), играют на театре и сочиняют для него etc.

Они воюют на фронтах Гражданской, пишут и малюют агитплакаты, выступают в клубах и на заводах.

Они *торопятся жить*. За какие-то пять-семь лет проходят *историю возникновения литературы*: поэзия — театр — проза...

Они очень разные. Но пока это неважно: потому что их «связь основана не на одинаковом образе мыслей, а на любви к одинаковым занятиям» (как писал Пушкин Катенину).

Они быстро созревают. И уже в начале двадцатых годов ветер, юго-западный ветер подхватывает их и несёт — одного за другим — на север, в новую-старую столицу, в Москву. И они этот воздух несут, этот ветер — в себе.

Потом — там — различия станут важнее, чем сходство. Не сразу, не вдруг, но разведут, разбросают, «мы» заменят на «я».

Однако, прослышав, что кто-то *из них, бывших*, попал в беду, станут бросаться на помощь, не помня размолвок и ссор.

Однако тот ветер не выветрится до конца из лёгких, оставит — дыханием — след на бумаге, во всём, что будет написано. Узнаваемый след.

Другого такого порыва русская литература двадцатого века не знала.

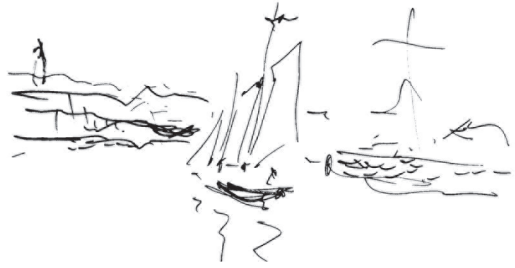
Потом — там — одни станут звездами авансцены литературной, другие сыграют роли второго плана, третьи отойдут в тень, а то и вообще затеряются в массовке, будут забыты. И далеко не всегда это — их собственный выбор.

Среди них были сильные и слабые, напористые и робкие, прошедшие через войну и павшие на ней, лауреаты и лагерники.

«Нас было много на челне»...

И ветер оказался долгим. Пролетел, постепенно слабея, сквозь столетье.

До наших дней...



...У людей, говорят, самое это имя Одесса — вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племён рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьёзнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стёрли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьёз свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа — чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть, и нет, убиваться не стоит...

Владимир Жаботинский (1936)

...В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избивают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м[ожет] б[ыть] «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России. Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придёт оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем.

Исаак Бабель (1916)

*Я видел Море Чёрное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму...*
Аркадий Штейнберг (1935)

*...Наш нежный юг,
где сердце сбрасывало прежде вьюк,
есть инструмент державы, главный звук
чей в мироздании — не сорок сороков,
рассчитанный на череду веков,
но лязг оков.
И отлит был
из их отходов тот, кто не уплыл,
тот, чей, давясь, проговорил
«Прощай, свободная стихия» рот,
чтоб раствориться навсегда в тюрьме широт,
где нет ворот.*

*Нет в нашем грустном языке строки
отчаянней, и больше вопреки
себе написанной, и после от руки
сто лет копируемой. Так набегают на
пляж в Ланжероне за волной волна,
земле верна.*

Иосиф Бродский <1969>





**Кружок П. Пильского (1914). В центре (сидит) П. Пильский
под ним (сидит) В. Катаев**

проза





Одесса. Ришельевская улица

«В Одессе всё должно быть легко и летуче»

Влас Дорошевич

Одесский язык

(Лекция на степень доктора филологических наук)

- Чашка кофе!
- С молока или без молока?
- Без никому!

Из разговоров в одесской кофейне

Милостивые государыни и милостивые государи!..

Виноват!

В Одессе нет ничего милостивого —

Ни милостивых государей, ни милостивых государынь.

Этот маленький Париж населён исключительно *monsieur*'ами и *madame*'ами.

В этом городе не говорят иначе, как *monsieur* и *madame*.

*Les odessites sont plus parisiens, que les parisiens mêmes*¹.

Или, как это следует сказать на одесском языке:

«*Messieurs les odessites sont plus messieurs les parisiens, que messieurs les parisiens mêmes*»².

— *Monsieur* мой муж!

— *Madame* моя жена!

— Я хочу новую шляпку, *monsieur* Икс!

— Но разве *madame* Икс не знает, что цены на пшеницу вовсе не таковы, чтоб покупать новые шляпки?

— *Madame* Икс нет никакого дела до цен на пшеницу. Если *monsieur* Икс женился, он должен покупать своей жене, *madame* Икс, новые шляпки.

— *Madame* Икс говорит глупости!

¹ Одесситы более парижане, чем сами парижане (*фр.*).

² Господа одесситы более господа, чем парижане, чем даже господа парижане (*фр.*).

— Monsieur Икс изверг! Monsieur Икс тиран! Monsieur Икс него-
дьяй!

— A madame Икс просто-напросто дура!

Какая тонкость обращения!

Даже пуская мужу в голову суповой миской, здесь говорят:

— Monsieur Икс величайшая бестия в свете.

Оборот фраз, бесспорно, заимствованный из индейского.

Так же точно говорят дикари Южной Америки.

— Чего хочет краснокожая жена воина Лисий Хвост?

— Краснокожая жена его хочет продеть в нос новую рыбную кость.

— Язык краснокожей женщины говорит глупости. Разве не знает краснокожая женщина, что бледнолицые собаки выловили всю рыбу в Великой Реке?

— Краснокожей жене воина нет до этого ни малейшего дела. Зачем же тогда женился краснокожий воин и клялся хвостом коровы перед лицом великого духа заботиться о своей краснокожей жене? Краснокожая женщина несчастна! Ах, как краснокожая женщина несчастна!

— Если краснокожая жена моя не перестанет своим краснокожим языком говорить глупости, — я сниму с неё скальп.

— Краснокожий воин сам глуп! Он снял с краснокожей женщины голову и теперь грозит снять волосы!

— Краснокожая женщина глупа, как хвост собаки.

— Воин не умнее лошадиного копыта!

Как видите, совсем разговоры краснокожих с добавлением «monsieur» и «madame».

В Одессе вы через два месяца забудете, как вас зовут по имени и отчеству, и когда вас кто-нибудь спросит:

— Как поживаете, Иван Иванович? — вы будете чрезвычайно удивлены:

— Кто это Иван Иванович?

Я не знаю, как разговаривали между собой маркизы времён Людовика XIV.

Но навряд ли тоньше!

Здесь говорят друг с другом в третьем лице, и вас спрашивают в гостях:

— Не хочет ли monsieur Иванов чаю?

Первое время вы недоумеваете, кто этот «monsieur Иванов», о котором вас спрашивают, и пожимаете плечами:

— А Бог его знает!

Только по улыбающимся лицам остальных вы догадываетесь, что речь идёт о вас:

— Ах! Ведь это я monsieur Иванов! О, monsieur Иванов очень-очень хочет чаю, madame хозяйка дома!

На вас смотрят с сожалением:

— Вот бедняга, который ещё не понимает тонкостей одесского обращения!

Но через две недели, как уже сказано выше, вы сами позабудете ваше имя и отчество.

Гарантируется!

Вы сами начнёте говорить:

— На этом вечере были: моя жена madame Иванова, мой сын monsieur Иванов, мой брат monsieur Иванов и я сам — тоже monsieur Иванов!

В Одессе всякая, кто носит юбку, непременно «madame».

И даже messieurs, продающие на Греческом базаре скумбрию и баклажаны, кричат:

— Madame кухарка! Madame кухарка! Пожалуйте к нам!

Эта тонкость обращения доведена до того, что даже простонародье, обвиняя друг друга в драке, говорит друг о друге не иначе, как «monsieur» и «madame».

— Мосье мировой судья, вот мосье Петров оттащил меня на рынке за волосы. Спросите мосье городского.

— Да, мусье мировой судья, но мадам Сидорова сама первая ударила меня камбалой по лицу. Спросите мусье дворника.

— Образованные мосье так не поступают!

— Но и образованные мадамы камбалой не дерутся!

Этот пшеничный город вместе с тем удивительно галантерейный город.

Словом, если вы хотите быть вполне-вполне просвещёнными одесситами, вы должны на улице звать:

— Monsieur извозчик!..

Итак, messieurs и mesdames!

Приступая к лекции об одесском языке, этом восьмом чуде в свете, мы прежде всего должны определить, что такое язык.

«Язык дан человеку, чтоб скрывать свои мысли», — говорят дипломаты.

«Язык дан человеку, чтоб говорить глупости», — утверждают философы.

Способность речи дана только человеку — и это делает его невыносимейшим из всех животных.

Одесситу язык дан, чтобы сплетничать.

Перечисляя все заслуги города, сумевшего за сто лет вырасти из маленького Хаджибея в большие Тетюши, — позабыли одну из его главных заслуг.

Он сумел составить свой собственный язык.

Гейне говорит, что чёрт, желая создать английский язык, взял все языки, пережевал и выплюнул.

Мы не знаем, как был создан одесский язык.

Но в нём вы найдёте по кусочку любого языка.

Это даже не язык, это винегрет из языка.

Северяне, приезжая в Одессу, утверждают, будто одесситы говорят на каком-то «китайском языке».

Это не совсем верно.

Одесситы говорят скорее на «китайско-японском языке».

Тут — чего хочешь, того и просишь.

И мы удивляемся, как ни один предприимчивый издатель не выпустил до сих пор в свет «самоучителя одесского языка», на пользу приедем.

Без знания одесского языка тут вас ждёт масса водевильных недоразумений и чисто опереточных *qui pro quo*.

— Советую вам познакомиться с *monsieur* Игрек: он всегда готов занять денег!

— Позвольте! Но что ж тут хорошего? Человек, который занимает деньги!

— Как! Человек, который занимает деньги? Это такой милый, любезный...

— Ничего не вижу в этом ни милого, ни любезного.

— Это такой почтенный человек. Его за это любит и уважает весь город.

«Чёрт возьми! — думаете вы. — Как, однако, здесь легко прослыть почтенным. Начну-ка и я занимать направо и налево, — чтоб меня любил и уважал весь город!»

Но при первой же попытке «занять» вы поймёте ошибку.

Везде занимать — значит «занимать», т.е. брать займы.

И только в Одессе «занять» значит дать займы.

— Я занял ему сто рублей.

— Я занял ему двести рублей.

— Я занял ему тысячу рублей.

Впрочем, это говорится редко: здесь теперь никто не «занимает», потому что никто не отдаёт.

— *Monsieur* не скучает за театром?

— Зачем же я должен скучать непременно за театром? Я скучаю дома.

— Как, *monsieur* не скучает за театром? А мы все ужасно скучаем за театром!

Вы удивлены, потому что за театром в Одессе находится Северная гостиница, где далеко не скучают.

Но здесь не говорят: скучать «о чём-нибудь», скучать «по чём-нибудь». На одесском воляпюке скучают обязательно «за чем-нибудь».

Публика скучает «за театром», продавцы — «за покупателями», жены «скучают за мужьями».

Последнее, впрочем, здесь случается редко.

А чудное одесское выражение: «говорить за кого-нибудь»! Вы будете страшно изумлены, когда услышите, что:

— Monsieur прокурор чудно говорил за этого мошенника.

«Вот добрый город, — подумаете вы, — где даже прокуроры говорят за обвиняемых».

Но в одесском языке — извините — не существует предлога «о».

Здесь не говорят «о чём-нибудь» — здесь говорят «за что-нибудь».

И если о вас скажут, что вы растратчик, обольститель невинных созданий, убили родную мать и съели двоюродную тётку, — то это всё-таки будет значить, что говорят «за» вас.

— Merci за такое «за». Что же здесь, в таком случае, значит говорить «против»?

— Ах, я ужасно смеялась с него!

— Как?!

— Я смеялась с него. Что же тут удивительного? Он такой смешной!

— Да, но всё-таки смеяться «с него»! Можно смеяться над кем-нибудь, но смеяться «с кого»...

— В Одессе всегда смеются с кого-нибудь.

Г-да фельетонисты здесь очень много смеются, например, «с городской управы», но с городской управы это как с гуся вода.

Может быть, отсюда и взят этот предлог «с»!

— Вообразите, — говорят вам, — я вчера сам обедал!

«Чёрт возьми, — думаете вы, — неужели этот город так богат, что здесь даже обедают через адвоката!»

— Я сама хожу гулять.

— Да, madame, но вы уж, кажется, в таком возрасте, что пора ходить «самой»!

Впрочем, иногда, для ясности, messieurs одесситы бывают так любезны, что прибавляют:

— Сам один!

Но это только снисходительность к приезжим, не понимающим ещё всех тонкостей одесского языка.

Затем вы услышите здесь не существующий ни на одном из европейских и азиатских языков глагол «ложить».

Везде детей «кладут спать» — и только в Одессе их «ложат спать». Вероятно, так одесским детям удобнее.

— Я ложила детей спать и приехала сюда, потому что скучаю за

театром! — с обворожительной улыбкой говорит одесситка.

Впрочем, она может сказать и иначе:

— Потому что я соскучила за театром!

Это превосходный одесский глагол.

Я соскучил, ты соскучил, он соскучил, мы соскучили, вы соскучили, они соскучили. Впрочем, одесский язык не признаёт ни спряжений, ни склонений, ни согласований — ничего! Это язык настоящих болтунов — язык свободный, как ветер. Язык без костей. Вы приказываете вашему человеку подать визитку. Он отвечает:

— Никак невозможно. На нём мусор стоит!

В переводе с одесского на человеческий это значит, что «на ней пыль лежит». «Стоит» вместо «лежит», «мусор» вместо «пыль» и «на нём» — когда речь о визитке! Что же после этого удивительного, что даже наиболее солидные одесситы часто возвращаются домой «через форточку».

На севере «через форточку» входят в дом только воры — и это отлично предусмотрено уложением о наказаниях.

А здесь даже дамы возвращаются домой «через форточку».

Это при их-то туалетах и запорожских шароварах, которые они надевают на руки!

Вы, конечно, будете страшно удивлены, когда вам скажут в гостинице:

— Вы, monsieur, когда придёте поздно, — пройдите через форточку. У нас ворота заперты.

Вам рисуется страшная картина.

Ночь. Никого. Вы подставляете лестницу. Лезете в форточку. Свистки. Городовой. Участок.

Но успокойтесь! Здесь «форточкой» зовут калитку.

Точно так же, как «дурным» зовут глупого.

Когда вам говорят:

— Это дурная девушка, — не спешите отказываться от сделанного ей предложения.

Это не значит много плохого — это значит только, что она глупая.

Разве в жене это недостаток?!

Чтоб говорить по-одесски, вы должны знать, что такое «хвостит» и «телепается».

Увидав, что у дамы готова слететь шляпа, вы должны сказать:

— Madame, придержите вашу шляпу: она телепается.

На что она ответит вам с очаровательнейшей в мире улыбкой:

— Merci. Это оттого, что на дворе сильно хвостит.

«Хвостит» значит дует, «телепается» — колышется, а «на дворе» — значит на улице.

Здесь смело говорят:

— Я ещё не ходила сегодня на двор.

И это значит только, что она не была ещё сегодня на улице.

«Не имела гулять».

О, добрые немцы, которые принесли в Одессу секрет великолепного приготовления колбас и глагол «иметь».

— Я имею гулять.

— Ты имеешь смеяться.

— Он имеет соскучить.

— Мы имеем кушать.

— Вы не имеете кушать.

— Они имеют говорить глупости.

В Одессе всё «имеют»... кроме денег.

Когда вас спрашивают:

— С чем monsieur хочет чай: со сливками или с лимоном?

Вы обязательно должны ответить с любезной улыбкой:

— Без ничего!

Везде чай пьют «безо всего», но в Одессе не поймут этого выражения. По-одесски пьют «без ничего».

Кроме того, вы должны говорить «туда и сюдою», чтоб не быть осмеянным, если скажете «туда и сюда».

— Monsieur куда идёт? В театр или в цирк?

Обязательно надо сказать:

— И тудю, и сюдою!

Конечно, если вы не хотите, чтоб за ваше «и туда, и сюда» над вами посмеялись как над невеждой, не знающим русского языка!

Тонкая деликатность обращения не позволяет одесситу сказать даже такое, в сущности, невинное слово, как «сосиски» или «колбаса».

Всюду эти слова говорят даже при барышнях-невестах.

А в Одессе вам предлагают в начале ужина:

— Не хочет ли monsieur немножко сосиссонов?

И в конце:

— А не хочет ли monsieur кусочек фромажа?

— Мы ужинали вчера сосиссонами и фромажом.

Даже ещё лучше сказать:

— Мы супировали вчера сосиссонами и фромажом.

Это будет уже совсем, говоря по-одесски, «что-нибудь особенное».

Точно так же, как деликатнее сказать «динировали», а не обедали.

Ведь пишут же здесь, что «артист бисировал свою арию».

Если можно «бисировать», отчего нельзя «динировать»?

Это в тысячу раз деликатнее, чем «обедать», и гораздо более идёт к городу, где никто не «ест», а кушает! Даже рабочий на эстакаде «кушает» тухлую селёдку.

Таков этот одесский язык, как колбаса, начинённый языками всего

мира, приготовленный по-гречески, но с польским соусом.

И одесситы при всем этом уверяют, будто они говорят «по-русски».

Нигде так не врут, как в Одессе!

Я мог бы ещё дальше продолжать свои исследования об этом чудном языке, но боюсь, что *messieurs* и *mesdames* уже соскучили за тем, что я долго говорю за одесский язык, обязательно начнут с меня смеяться и, видя, что от моей лекции некуда деваться ни тудю, ни сюдою, удерут в форточку, а я буду иметь остаться сам, без никого!

Аркадий Аверченко

Одесса

I

Однажды я спросил петербуржца:

Как вам нравится Петербург? Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал:

— Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом? Кому же и когда может нравиться гнилое, беспросветное болото, битком набитое болезнями и полутора миллионами чахлах идиотов? Накрахмаленная серая дрянь!

Потом я спрашивал у харьковца:

— Хороший ваш город?

— Какой город?

— Да Харьков!

— Да разве же это город?

— А что же это?

— Это? Эх... не хочется только сказать, что это такое, — дамы близко сидят.

Я так и не узнал, что хотел харьковец сказать о своём родном городе.

Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца, сделав соответствующее изменение в эпитетах и количестве «чахлых идиотов».

Спрошенный мною о Москве добродушный москвич объяснил, что ему сейчас неудобно высказывать мнение о своей родине, так как в то время был Великий пост, и москвич говел.

— Впрочем, — сказал москвич, — если вам уж так хочется услышать что-нибудь об этой прокл... об этом городе — приходите ко мне на первый день Пасхи... Тогда я отведу свою душеньку!

В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать. Несколько дней тому назад я подъезжал к ней на пароходе — славном симпатичном черноморском пароходе — и, увидев вдали зелёные одесские берега, обратился к своему соседу (мы в то время стояли рядом, опершись на перила, и поплёвывали в воду) за некоторыми справками.

Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе, так как вблизи дам не было и никакой пост не мог связать его уст. И, кроме того, он казался мне очень общительным человеком.

— Скажите, — обратился я к нему, — вы не одессит?

— А что? Может быть, я по ошибке надел, вместо своей, вашу шляпу?

— Нет, нет... что вы!

— Может быть, — тревожно спросил он, — я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар?

— При чём здесь портсигар? Я просто так спрашиваю.

— Просто так? Ну, да. Я одессит.

— Хороший город — Одесса?

— А вы никогда в ней не были?

— Еду первый раз.

— Гм... На вид вам лет тридцать. Что же вы делали эти тридцать лет, что не видели Одессы?

Не желая подробно отвечать на этот вопрос, я уклончиво спросил:

— Много в Одессе жителей?

— Сколько угодно. Два миллиона сто сорок три тысячи семнадцать человек,

— Неужели?! А жизнь дешёвая?

— Жизнь? На тридцать рублей в месяц вы проживёте, как Ашкинази! Нет ничего красивее одесских улиц. Одесский театр — лучший театр в России, и актёры все играют хорошие, талантливые. Пьесы все ставятся такие, что вы нигде таких не найдёте. Потом Александровский парк... Увидите — ахнете.

— А, говорят, у вас ещё до сих пор нет в городе электрического трамвая?

— Зато посмотрите нашу конку! Лошади такие, что пустите её сейчас на скачки — первый приз возьмёт. Кондукторы вежливые, воспитанные. Каждому пассажиру отдельный билет полагается. Очень хорошо!

— А одесские женщины красивы?

Одессит развёл руками и, прищурясь, сострадательно поник головой.

— Он ещё спрашивает!

— А климат хороший?

— Климат? Климат такой, что вы через неделю станете такой толстый, здоровый, как бочка!

— Что вы! — испугался я. — Да я хочу похудеть.

— Ну, хорошо. Вы будете такой худой, как палка. Сделайте одолжение! А если бы вы знали, какое у нас в Одессе пиво! А рестораны!

— Значит, я ничего не теряю, собравшись в Одессу?

Он, не задумываясь, ответил:

— Вы уже потеряли! Вы даром потеряли тридцать лет вашей жизни.

Одесситы не похожи ни на москвичей, ни на харьковцев — мне это нравится.

II

Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу, кончали её к заходу солнца и потом уже предавались отдыху, прогулкам и веселью.

А в Одессе настоящий одессит начинает отдых, прогулки и веселье с утра — так, часов с девяти.

К этому времени все главные одесские улицы уже полны праздным народом, который бредёт по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна, и с каким-то упорным равнодушием заинтересовывается каждой мелочью, каждым пустяковым случаем, на который петербуржец не обратил бы никакого внимания.

Нянька тащит за руку ревущую маленькую девочку. Одессит остановится и станет следить с задумчивым видом за нянькой, за девочкой, за другим одесситом, заинтересовавшимся этим, и побредёт дальше только тогда, когда нянька с ребёнком скроется в воротах, а второй одессит застынет около фотографической витрины.

Стоит какому-нибудь извозчику остановить лошадь с целью поправить съехавшую на бок дугу, как экипаж сейчас же окружается десятком равнодушных, медлительных прохожих, начинающих терпеливо следить за движениями извозчика. Спешить им, очевидно, некуда, а извозчик, поправляющий дугу, — зрелище, которое с успехом может занять десять-пятнадцать праздных минут.

Сначала я думал, что одесситы совершают прогулку только ранним утром, рассчитывая заняться делами часов с одиннадцати-двенадцати. Ничуть не бывало.

В одиннадцать часов все рассаживаются на террасах многочисленных кафе и погружаются в чтение газет. Свои дела совершенно никого не интересуют. Все поглощены Англией, или Турцией, или просто бюджетом России за текущий год. Особенно заинтересовываются бюджетом России те одесситы, собственный бюджет которых не позволяет потребовать второй стакан кофе.

Двенадцать часов. Другие города в это время дня погружены в лихорадочную работу. Но только не Одесса. Только не одесситы.

В двенадцать часов, к общей радости, в ресторанах начинается греметь музыка, раздаётся весёлое пение, и одесситы, думая, в простоте

душевной, что их трудовой день уже кончен, гурьбой отправляются в ресторан.

Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег.

III

Недавно я встретил на улице того самого одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня. А я подошёл, приподнял шляпу и сказал:

— Здравствуйте. Не узнаёте?

— А! — радостно вскричал он. — Сколько лет, сколько зим!..

Порывисто обнял меня, крепко поцеловал и потом с любопытством стал всматриваться.

— Простите, что-то не могу вспомнить...

— Как же! На пароходе вместе...

— А! Вот счастливая встреча!

Мимо проходил ещё какой-то господин.

Мой одессит раскланялся с ним, схватил меня за руку и представил этому человеку.

— Позвольте вас представить...

Мимо проходил ещё какой-то господин.

— А! — крикнул ему одессит. — Здравствуйте. Позвольте вас познакомиться.

Мы познакомились. Ещё проходили какие-то люди, и я познакомился и с ними. Потом решили идти в кафе.

В кафе одессит потащил меня к хозяину и познакомил с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье её тётки и потом сказал, похлопывая меня по плечу:

— Позвольте вас познакомить с моим приятелем.

Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой, это ему действует на нервы.

Климат здесь очень жаркий, и поэтому всё созревает с головокружительной быстротой. Для того чтобы подружиться с петербуржцем, нужно от двух до трёх лет. В Одессе мне это удавалось проделывать в такое же количество часов. И при этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы; только развитие их шло другим темпом. Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут, десять минут шло на оказание друг другу взаимных услуг, так скрепляющих дружбу (на севере для этого нужно спасти другу жизнь, выручить его из беды, а одесский темп требует меньшего: достаточно предложить папиросу, или поднять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу), а в нача-

ле второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоящая необходимость заменить холодное, накрахмаленное «вы» тёплым дружеским «ты». Случалось, что к концу второго часа дружба уже отцветала благодаря внезапно вспыхнувшей ссоре, и, таким образом, полный круг замыкался в течение двух часов.

Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипит кровь и зной туманит голову.

Я видел, как ссорились одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности.

Их было двое, и сидели они в ресторане, дружелюбно разговаривая.

Один, между прочим, сказал:

— Да вспомнил: вчера видел твою симпатию... Она ехала с каким-то офицером, который обнимал её за талию.

Второй одессит побагровел и резко схватил первого за руку.

— Ты врешь! Этого не могло быть!

— Во-первых, я не вру, а, во-вторых, прошу за руки меня не хватать!

— Что-о? Замечания?! Во-первых, если ты это говоришь, ты негодай, а во-вторых, я сейчас хвачу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке.

И он, действительно, схватил бутылку за горлышко и поднял её.

— О-о! — бледнея от ярости и вскакивая, просвистел другой. — За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек.

— Сделай одолжение — какое угодно оружие!

— Прекрасно! Завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Попандопуло!!

— Гриша? А разве он уже приехал?

— Конечно. Ещё вчера.

— Ну, как же его поездка в Симферополь? Не знаешь?

— Он говорит — неудачно. Только деньги даром потратил.

— Вот дурак! Говорил же я ему — пропащее дело... А скажи, видел он там Финкельштейна?

Противники сели и завели оживлённый разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил:

— Что ж ты так держишь бутылку? Наливай.

Оскорблённый вылил пиво в стаканы, чокнулся и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о делах Финкельштейна.

Тем и кончилась эта страшная ссора, сулившая тяжёлые кровавые последствия.

Та быстрота темпа, которая играет роль в южной дружбе, применяется также и к южной любви.

Любовь одессита так же сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами и разочарованиями, как и любовь северянина, но разница та, что, пока северянин мямлит и топчется около одного своего чувства, одессит успеет перестрадать, перечувствовать около 15 романов.

Я наблюдал одного одессита.

Влюбился он в 6 час. 25 мин. вечера в дамочку, к которой подошёл на углу Дерибасовской и ещё какой-то улицы.

В половине 7-го они уж были знакомы и дружески беседовали.

В 7 час. 15 мин, дама заявила, что она замужем и ни за какие коврижки не полюбит никого другого.

В 7 час. 30 мин. она была тронута сильным чувством и постоянством своего собеседника, а в 7 час. 45 мин. её верность стала колебаться и трещать по всем швам. Около 8 час. она согласилась пойти в кабинет ближайшего ресторана, и то только потому, что до этих пор никто из окружающих её не понимал и она была одинока, а теперь она не одинока и её понимают.

Медовый месяц влюблённых продолжался до 9 ¹/₄ час., после чего отношения вступили в фазу тихой, прочной, спокойной привязанности. Привязанность сменилась привычкой, за ней последовало равнодушие (10 ¹/₂ час.), а там пошли погрёки (10 ³/₄ час.), слёзы (10 час. 50 мин.), и к 11 часам, после замеченной с одной стороны попытки изменить другой стороне, этот роман был кончен!

К стыду северян нужно признать, что этот роман отнял у действующих лиц ровно столько времени, сколько требуется северянину на то, чтобы решиться поцеловать своей даме руку.

Вот какими кажутся мне прекрасные, порывистые, экспансивные одесситы.

Единственный их недостаток — это, что они не умеют говорить по-русски, но так как они разговаривают больше руками, этот недостаток не так бросается в глаза.

Одессит скажет вам:

— Вместо того, чтобы с мне смеяться, ви би лучше указали для мне виход...

И если бы даже вы его не поняли — его конечности, пущенные в ход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы.

Если одессит скажет слово:

— Мило, — вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающая это слово жестикация руками объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки.

Игнорирование одесситом буквы «ы» сбивает с толку только собак. Именно, когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она, обыкновенно, бросается, сломя голову, по указанному направлению.

А бедный одессит просто указывал на лежащий по дороге слой пыли...

Одесситы приняли меня так хорошо, что я, с своей стороны, был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок:

Преподнести им в вечное и постоянное пользование букву «ы».

Пётр Пильский

Одесса

Её я увидел светлой, золотой осенью.

Уже сентябрь, а здесь всё ещё стоит и не уходит горячее, знойное лето. Цветут цветы, горят глаза и лица, звенит смех, на улицах толпа.

Ах, вы не знаете этой разноликой толпы международного юга!

Одесса — гордость толпы, город улицы. Харьков — тишина и покой. Одесса — шум и гомон.

Пойдите по Дерибасовской, этой красавице-улице красавца-города. Первое впечатление: Одесса город лодырей. Будто никто ничего не делает. Все кругом — какие-то счастливые бездельники. Сидят на скамьях под деревьями, глядят на небо и зевают, томясь от жары и ничегонеделанья.

В Одессе я первый раз.

И я поражён, пленён, заворожён ею, этой легкомысленной, хохочущей, жизнерадостной, страстной, весёлой южанкой. Ни один город не имеет столько верных патриотов.

Одессит — тип.

Это — русский марселец. Легкомысленный хвостун, лентяй, весь внешний, великолепный лгун, задорный шутник.

Как жаль, что у него, этого лгуна и этого взрослого шалуна, нет своего Додэ, нет своего романа, своего героя, имя которого стало бы нарицательным.

Где одесский Тартарен, как есть он у французов из Тараскона?

Почему?

Я думаю потому, что роман длинен, немного массивен.

В Одессе всё должно быть легко и летуче.

Город, где смесь одежд и лиц переносит вас в атмосферу такой далёкой, зарубежной, международной ярмарки, шумного и радостного базара, с десятками наречий, тысячами профессий, приморскими, портовыми кабачками, где английские матросы вступают с русскими в самую свирепую, кровавую битву и дерутся уже не кулаками, а бочонками, заменяющими стулья и табуреты.

Откройте четвёртый том Куприна и ещё раз прочтите рассказ «Гамбринус». Помните, там есть музыкант Сашка-еврей, — «крот-

кий, весёлый, пьяный, плешивый человек, с наружностью облезлой обезьяны, неопределённых лет». «Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к 6 часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из “Гамбринуса” в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива».

Так было 10 лет тому назад, так и осталось и посеёчас, и весь «Гамбринус» тот же самый, и на том же месте неизменно, по-прежнему, сидит и играет на своей скрипке этот Сашка, общий любимец, побеждающий грубые сердца этих пьяниц, выдавших виды, опасность и смерть людей. Этих и других кабачков, ресторанов, кофеен, пивных и винных погребов десятки на каждой улице, и все они гудят, стонут, зовут и поют, как поёт и зовёт весь этот чудо-город, город-легенда, суматоха и стон. Приезжайте в Одессу, приезжайте в Одессу!

Вы, утомлённые жёлтыми туманами севера, больные и будто обречённые; вы, увядающие и опускающиеся в забытых людьми и Богом заглушенных городах и спящих сёлах; вы, ищущие радостного и беззаботного веселья, в чьих жилах течёт буйная и нетерпеливая кровь, и вы, странные и загадочные люди, носящие в душе мечту о самоубийстве, разочарованные, уязвлённые совестью, неудавшиеся гении с разбитой жизнью и раздражённой печеню, — все приезжайте сюда!

Шопенгауэр был пессимистом и женоненавистником, но только потому, что он никогда не был в Одессе. И — ах! Зачем ему никто не шепнул, что на свете есть такой великолепный, лечебный и целебный пункт и почему среди разных «климатических» станций нигде не упоминается про Одессу? Разве боли духа не требуют климатических станций? Приезжайте! Впрочем, как хотите! Что до меня, отныне я знаю наверное, что никогда не кончу с собой. Я просто — возьму билет прямого сообщения «Петербург—Одесса» и буду долго-долго, весело и красиво жить.

А какой он любопытный, этот город. Заметьте, не любознательный, а любопытный. Вы знаете разницу? Она так проста. Любознательность всегда ставит вопрос: «зачем».

Любознательность — целесообразна, систематична и последовательна. Любопытство не знает ни цели, ни системы, оно знает только «почему?». И на этот вопрос ответ один: «потому что хочется знать».

Любознательность — черта мужская. В ней много «М».

Любопытство — женское начало, оно — «Ж», — и как же вы хотите, чтобы Одесса не была любопытна! Она падка поэтому до зрелищ, её толпа соберётся вокруг упавшей лошади и залаявшей собаки, жадная до всяких впечатлений, готовая слушать и смотреть всё.

Поэтому Одесса такая театралка. Сцена — её Бог, актёр — её кумир. И поэтому же она не читательница. Здесь книги лениво разбираются, томы не дочитываются, всё проглядывается спешно, нервно, между делом, шутя и наскоро, с любопытством, но без знания.

Одесса это иллюзион и фельетон, будто всю жизнь здесь, и её темп, и её лицо, и её ум окрасила Женщина.

Разбросала душистые цветы, страшно пьянящие запахи, раскидала клумбы, забила фонтанами, населила жизнь призраками, обманчивыми мечтами и красивой прихотью, изменой и чувствительностью, нежностью и легкомыслием, суетой и нарядностью, огласила воздух милой песнью и воркующими голосами, осветила панели и улицы цветными огнями своих лиловых, зелёных, красных, фиолетовых и чёрных шляп, шумящих, шуршащих платьев, пронзила острыми молниями души, охмелила мысль и зажгла кострами сердца.

И в эти горячие, жаркие, жадные, золотые и распалённые дни, в эти то душные, то прохладные ночи она — Женщина — проходит здесь по этим тротуарам мимо вас, как Царица-Богиня, Властительница, то Марией, то Магдалиной, ведёт вас за собой, свергает вниз, возносит вверх, убивая и воскрешая, даря терзаниями, муками, светом, истомой. Женщина, женщина!

Громадный город великого, неистощимого, сказочного безумия, дышащий духами и преступлением, ни на кого непохожий, прекрасный, бурный, спешащий, — что несёшь ты с собой, как судьбу свою и нашу — бессмертие, жизнь или тление?

Вот место, где так хорошо и сладко сойти с ума, — и это море, и эта зелень, одно — гордое, другая — скромная, эти запахи морской гнили, тубероз, юга, женщин и духов, и этот нервный бег!..

Куда? Зачем?

К чему? К кому?

Одесса — город романтизма, романтики, он — фразёр, поэт, весь шёлковый, — разве здесь можно мыслить, неизлечимо страдать, трагически рыдать?

Отшельничество и подвижничество, святая прелесть левитановской весны в средней России — как это далеко от Одессы, как чуждо ей, как не сродни!

Верх нелепости — создать Ясную Поляну даже не в самой Одессе — об этом смешно и говорить, — но, вот, хоть бы здесь, на том Большом Фонтане, где пробовал пожить Куприн, где так давно живут Фёдоров и Юшкевич.

Одесса — это опера, феерия, танцкласс, вокзал, но она не кабинет учёного и не келья мысли и веры.

Здесь дом — неволя, тянет на воздух, на простор, вдаль к морю, ввысь к солнцу, и Куприн, как приехал, так сразу захотел... лететь.

Совершенно серьёзно и без всяких шуток! И полетел с покойным Уточкинм.

Вы подумайте: этот человек земли, чернозёмный ум, чернозёмная сила, так любящий лес, и лошадь, и поле, реки, землю, и он даже решил лететь!..

Под этим солнцем, на этом юге среди цветов, у самого моря люди добрей, веселей, их шутки воздушней, их решимость красивей.

Приезжайте в Одессу!

Илья Ильф

Путешествие в Одессу

Памятники, люди и дела судебные

Для того чтобы туристу из Вологды или Рязани попасть в Одессу, есть несколько способов.

Можно отправиться туда пешком, катя перед собой бочку с агитационной надписью: «Все в ОДН». Этот способ излюблен больше всего молодёжью и отнимает не больше полугода времени.

Можно также проехать из Рязани в Одессу на велосипеде. Для этого надо приобрести билет третьей всесоюзной лотереи Осоавиахима и дожидаться, пока на него не падёт выигрыш в виде велосипеда. На это уходит всего только один год.

Если же билет выиграет фуфайку или электрический фонарик, то надлежит ехать в Одессу поездом. Фонарик можно захватить с собой и по ночам пугать его внезапным светом железнодорожных кондукторов.

Любознательному туристу Одесса даёт вкусную пищу для наблюдений.

Одесса один из наиболее населённых памятниками городов.

До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их ещё уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея Истории и Древностей до сих пор валяются её отдельные части — голова, юбки бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей.

Но сейчас в Одессе не меньше трёхсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрёстках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята.

Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных роц сиротливо произрастают две акации.

Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчётливо выделяются однообразные надписи — «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу.

Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу.

Кроме памятников, город населяют люди.

Об их занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей».

«Остров» занимает целый квартал бывшей Дерibasовской улицы, от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности в твёрдых соломенных шляпах, чудом сохранившихся люстриновых пиджаках и когда-то белых пикейных жилетах.

Это бывшие деятели, обломки известных в своё время финансовых фамилий.

Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший люстрин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие.

Это погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время своё они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову.

Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице.

Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За патрициями следуют начальники когорт и преторы. За преторами бегут какие-то нумидийцы и пращники. За пращниками следуют тяжеловооружённые воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несёт в кресле очень тощего Юлия Цезаря.

Делается шумно и скучно.

Всем становится ясно, что ВУФКУ пошло на новый кинематографический эксцесс — опять ставит картину из быта древнеримской империалистической клики.

Подъехавшие на семи фаэтонах кинорежиссёры устанавливают римско-одесский народ шпалерами и организуют Юлию Цезарю большой триумф. Статисты, стоя на фоне книжного магазина Вукопспилки, машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов.

Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации.

После триумфа фаэтоны с режиссёрами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте «бубликами-семитати».

На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков — всё едино.

Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма.

Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть и уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные.

Но это уже специальность не «Чудака», а скорее «Наших достижений». Ибо не одними хороводами ВУФКУ может похвалиться Одесса.

Лев Славин

Одесские гасконцы

— Не верьте одесситам, — предупреждали меня сведущие люди, — они легкомысленны, вероломны, хвастливы и двоедушны. Одесса — это советская Гасконь.

Первый гасконец, которого я увидел в Одессе, был парикмахер. Осведомившись о моём отрицательном отношении к последним завоеваниям парикмахерской техники — причёске «бокс» и помаде «Люсьен Можи па-де Вале», он обнажил бритву жестом профессионального убийцы.

Как известно, искусство парикмахера со времён Фигаро разделяется на два направления — одни бреют в чистом халате, не хватаясь за нос и молча. Другие, как говорят в Одессе, совсем наоборот.

Мой парикмахер принадлежал к классической школе. Это старый мастер, Рембрандт шампуней, чемпион извозчичьих затылков. В течение 15 минут ему удалось высказать свои сокровенные убеждения о моей профессии, полёте «АНТ», хлебозаготовках и борьбе с перхотью. Это занятие несколько не помешало гасконцу уверенной рукой нанести мне три резаные раны на щеке и одну рваную на подбородке. Когда, облитый кровью и недорезанный, я встал с кресла, он приветствовал меня придворным поклоном и словами:

— За бритье — 50 копеек!

— А за татуировку? — ехидно осведомился я.

— Бесплатно, — сказал он тоном хлебосольного хозяина. — Приходите, я уже привык к вашему лицу.

Второй гасконец лежал на улице. Закинув голову на урну и не без комфорта уперев ноги в телеграфный столб, он взирал на мир с видом благожелательного участия. Рядом стоял плакат:

«У.С.С.Р. Внимание! Граждане! Пожертвуйте больному человеку, который болен сонным энцефалитом, так как раньше было чем открывать рот, а теперь вставлен золотой аппарат и рот закрыт. Прошу я жертвовать золотой аппарат на другую сторону челюсти, иначе я пропащий человек, потому что золотой аппарат стоит 120 рублей».

Я попытался выяснить положение:

— Значит, вы не можете открыть рта?

— Совершенно верно, не могу, — весело признался энцефалитный гасконец.

— Но вот же вы открыли! — неблагоприятно настаивал я.

Тут в разговор вступил сосед энцефалитика и, видимо, компаньон в деле. Глаза его были загадочно прикрыты тёмными очками, на груди висела дощечка «Жертва импербойни».

— Не верите? — сказала жертва импербойни, яростно вращая белками. — Может, вы не верите, что я слепой? — продолжал он. — Может, вы думаете, — настаивала жертва, — что, слепой, я вам не могу морду набить?

— Можете, — сказал я с глубокой уверенностью и быстро удалился.

Третьего гасконца я увидел в редакции местной газеты. Это был рабочий час, и мне посчастливилось лицезреть тайны литературного творчества. В одной руке у него были ножницы, в другой — клей. Жестами старшего закройщика бывшей фирмы Альшванг он вырезывал из столичных газет изящные куски и наклеивал их на бумагу. Потом он швырнул нарезанное и наклеенное курьеру, сказавши:

— В набор!

«Странный город, — подумал я, — где парикмахеры работают языком, а журналисты ножницами».

— Гражданин, — сказал я вслух, — вы перепечатавали мои фельетоны в течение двух лет. Я хочу получить гонорар. Стоимость клея можете вычесть.

Гасконец посмотрел на меня почти с научным интересом.

— Молодой человек, — сказал он, воинственно лязгая ножницами, — платить не в наших традициях.

Я вскочил со стула и подал гасконцу руку, горячо поздравляя его с верностью старым живописным традициям.

— Газета, — кричал я, — где крепки моральные устои, не пропадёт! Работайте! Режьте! Клейте! Блюдайте священные традиции Бени Крика!

Насытившись гасконцами, я обратился к памятникам.

Одесские памятники делятся на дореволюционные и пореволюционные.

До: герцог Ришелье, стоящий на бульваре в нижнем белье древнеримского образца, и Пушкин, на бронзовом лице которого застыла гримаса отвращения. Отвращение относится к скульптору, которому удалось сообщить памятнику незабываемое сходство с канцелярской чернильницей.

По: богиня Диана с тремя собачками, воздвигнутая у бульвара на десятом году Октябрьской революции, и каменная львица в городском саду, обращённая мощным задом к кафе «Меркурий», что должно знаменовать собой презрение к частновладельческому капиталу.

Самый большой памятник в Одессе — фельдмаршал Суворов на коне, помещающийся во дворе жилтоварищества № 7 по Софиевскому переулку. Гигантский конь скачет, распутив по ветру бронзовый хвост, что представляет немалое удобство для домашних хозяек, просушивающих на хвосте белье. Безумное лицо фельдмаршала задрано к небесам, в огромных глазищах ласточки выют гнёзда, древко победоносного знамени украшено отличной радиоантенной.

Памятник этот был закончен скульптором Эдуардсом¹ 1 марта 1917 года; вследствие внезапного падения популярности фельдмаршала среди трудящихся масс остался здесь, во дворе, подле ателье. Он причиняет немало огорчений домоуправлению, ибо не поддаётся никаким законам об оплате жилплощади, включая сюда целевой сбор и коммунальные услуги.

Не платит, да и только. Гасконец.

1929

¹Борис Васильевич Эдуардс (Эдвардс; 1860—1924).

Свидетельство очевидца: дела житейские

Шолом-Алейхем

«Лондон»

(Одесская биржа)

1. Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту, его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать.

Представь себе, стоит мне выйти с тросточкой на Греческую (так в Одессе называется улица, где заключаются всякие сделки) — и у меня двадцать тысяч дел! Хочу пшеницу — пожалуйста! Отруби? — Отруби! Шерсть? — Шерсть! Мука, соль, перья, изюм, мешки, селёдки, — в общем, все что ни назови, можно найти в этой Одессе! Я поначалу наметил было два-три дельца, но они мне пришлось не по душе. И я шатался по Греческой до тех пор, пока не наткнулся на настоящее дело. А именно? Я торгую «Лондоном» и зарабатываю на этом совсем неплохо! Иной раз четвертной перепадёт, иной раз полсотни, а при удаче — так и вся сотня. Словом, «Лондон» — это такое дело, которое может человека осчастливить в один день. Вот недавно приехал сюда какой-то синагогальный служака, хапнул одним махом тридцать тысяч, и теперь ему сам чёрт не брат! Говорю тебе, жена моя дорогая, золото здесь на улицах валяется! Я, упаси бог, не раскаиваюсь, что съездил в Одессу. Но ты, пожалуй, спросишь, как я попал в Одессу, — ведь я совсем ехал в Кишинёв? Суждено мне, видать, свыше нажить добрых несколько рублей! Вот послушай, как Господь Бог направляет человека.

Когда я приехал в Кишинёв к дяде Менаше за приданым, он меня спрашивает: зачем оно мне нужно?

— Стало быть, нужно! Не надо было бы, я бы не приезжал.

Тогда он мне говорит, что наличных у него сейчас нет, он может дать распоряжение к Бродскому в Егупец.

— Пускай будет Егупец! Лишь бы деньги!

А он говорит, что не знает, есть ли сейчас в Егупце деньги. Он может дать мне письмо к Бахраху в Варшаву.

— Пускай будет Варшава, — отвечаю, — лишь бы деньги!

Тогда он говорит:

— Зачем тебе Варшава? Варшава — далеко. Если я хочу, он даст мне бумагу к Барабашу в Одессу.

— Пускай будет Одесса! — говорю я. — Лишь бы деньги!

— На что тебе так понадобились деньги? — спрашивает он опять.

— Стало быть, нужны! — повторяю я. — Не надо было бы, я бы не приехал.

Короче говоря, изворачивался он, как мог, но помогло это ему, как мёртвому банки: раз я сказал: «Деньги!» — значит, деньги!

Тогда он достал два векселя по пятьсот рублей сроком всего на пять месяцев, на триста рублей дал письмо к Барабашу в Одессу, а остальные — наличными: это, — говорит он, — будет мне на расходы.

Так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всём подробно. Будь здорова, кланяйся от меня тестю, и теще, и деткам, чтоб здоровы были, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Когда я пришёл с денежным письмом к Барабашу, мне говорят, что никакое это не письмо! А что же это? На вербе — груши! Пускай, говорят они, раньше прибудет от вашего дяди Менаше вагон пшеницы, и пускай эта пшеница будет продана, вот тогда вам дадут деньги. Интересная история! Я тут же написал дяде Менаше в Кишинёв открытку, что если он не вышлет немедленно пшеницу, я ему телеграфирую! Словом, пиши туда, пиши сюда — ходил я по Одессе сам не свой. И только вчера прибыли из Кишинёва сто рублей наличными и на двести рублей вексель. Теперь ты понимаешь, почему я тебе всё это время не писал? Я считал, что эти триста рублей пропали! Отсюда следует, что человек никогда не должен отчаиваться. Есть на свете Бог, он правду видит. Все наличные я всадил в «Лондон», купил комплект «госов» и «бесов», и — благодарение Богу — говорят, что есть уже прибыль!

Тот же.

II Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что меня снова мучает давнишняя спазма, такую бы самую твоему дяде Менаше, который так ловко зажил эти полторы тысячи целковых приданого! Такую бы ему жизнь! Такое счастье! Моя мать, дай ей бог здоровья, говорит: «Послали kota по сметану!» Векселя я бы у него брала? А хворобу он не хочет? Лихоманку сроком на пять месяцев! Слушай, Мендл, дай Бог мне соврать, но боюсь, что остальных денег ты не увидишь, как ушей своих, которые занесло аж в Одессу. Твоё счастье, что мама ничего не знает об этих векселях: несдобровать бы тебе! А то, что ты пишешь о твоих заработках, всем нам, конечно, это очень приятно. Но — тысяча чертей тебе! Почему бы не написать по-человечески, что это за товар такой, которым ты торгуешь? Почём аршин? Или его продают на вес? Откуда мне знать, что это такое и с чем это едят? И ещё одного я не понимаю: вот, ты говоришь, купил товар, и вот уже имеешь прибыль? Что же это за товар, который растёт в цене, как на дрожжах? «Мухоморы, — говорит моя мама, — и те без дождя не растут!» А если товар и в самом деле вздорожал, почему же ты его не продашь? Чего ты ждёшь? Чтоб к нему и подступу не было?

А почему ты не пишешь, где остановился, как столуешься? Как будто я тебе чужая, не жена до ста двадцати лет, а какая-нибудь полюбовница поганая! Как мать говорит: «Уйдёт корова в стадо, так “до свидания” не скажет!»

Послушал бы ты меня, Мендл, расторговался бы поскорее, собрал бы наличные и приехал бы домой. Найдёшь здесь более приличное дело, чем вот это самое... Знать бы мне так лихорадку, как я знаю, что это такое!

И будь здоров, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

III Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она! Со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно: меня несколько не удивляет, что ты не понимаешь, в чём смысл «Лондона». Коль скоро опытные купцы, бородачи, об этом понятия не имеют, так где уж тут разобраться женщине? Поэтому я всё объясню, чтобы ты поняла, в чём тут дело.

Надо сказать, что «Лондон» — материя тонкая. Продают его только на словах, а видеть никто его не видит. И каждую минуту он то дорожает, то дешевет. То — «гос», то — «бес». Это значит, что рубль в Берлине то повышается, то понижается. Все зависит от Берлина: как Берлин скажет, так и будет! Курсы прыгают вверх и вниз, как сумасшедшие, депеши летят туда и сюда, а люди носятся, как на ярмарке, делают дела, получают прибыль, а среди них и я. Шум, суета — одуреть можно! Вот, например, вчера я сделал «стеллаж», стоил он мне полсотни, а сегодня утром, ровно в двенадцать часов, от моей полсотни и следа не осталось!

Но ты, наверное, не знаешь, что значит «сделать стеллаж», — надо тебе это объяснить. Дают, к примеру, полсотни за день, а тот «ставит курс». Ты можешь сделать из этого «стеллажа» «две стороны»: то есть два «беса» или два «госа», а то и просто остановиться и продать другому «втёмную» до «закрытия» (так у нас в Одессе называется предвечернее время, как у вас, скажем, сумерки). И вот, если курс «отстаёт», то полетели твои пятьдесят рублей. Вот это значит «сделать стеллаж».

Но только ты не огорчайся, дорогая моя жена! Потерять полсотни — по здешним делам суице пустяки! Бог поможет, пойдёт «правой стороной», и я заработаю деньги, много денег! А насчёт того, что ты пишешь о векселях дяди Менаше, то ты ошибаешься. Чёрт его ещё не взял, он ещё пользуется доверием! Если бы я уступил хоть немного, у меня бы эти векселя с руками оторвали! Но я не желаю. Если понадобятся деньги, я лучше продам парочку «госов» или «бесов». Но мне и это сейчас ни к чему. Я лучше куплю ещё один «стеллаж». Чем больше «стеллажей», тем лучше! Ляжешь спать со «стеллажом», так и спишься по-другому!

Так как я сейчас очень тороплюсь, то пишу тебе вкратце. Бог даст в следующем письме напишу обо всём подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса — огромный город, всё здесь очень дорого, дома высоченные — до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберёшься

до своего пристанища под самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на Греческую. И вот там, на ходу то есть, и перекусишь, что Бог пошлёт, потому что — кто это может усесться кушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы в Берлине! Зато фрукты здесь нипочём. Виноград едят, не как у вас в Касриловке в Новый год, только чтобы сотворить молитву над ним, — здесь его едят каждый день, на улице, без всякого стеснения.

Тот же.

IV Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что смотрю я на тебя, как на сумасшедшего! Знать бы мне так твою Одессу, не к ночи будь помянута, как я понимаю, что ты такое болтаешь в твоём письме: «гос», «бес», «дилижанс»... Чёрт вас там ведаёт! Летят у тебя полусотенные, как галушки, — там у вас, видать, и деньги не деньги, трин-трава! Конечно, в золоте можно ходить при таких делах! Не понимаю, хоть ты мне голову сними, что это за товар, которого никто не видит? Кот в мешке!..

Слышишь, Мендл, не нравится мне всё это! Я у отца своего не приучена к такого рода воздушным заработкам, упаси меня Бог от них и в дальнейшем! Как моя мама говорит: «На воздухе и простудиться недолго...» Ты пишешь: «С дилижансом и спится по-другому...» Кто это спит с дилижансом? По-каковски ты говоришь? По-турецки, что ли? А насчёт того, что ты пишешь, будто векселья дядя Менаше у тебя с руками оторвут, то если я в это и не поверю, большого греха не будет. Правильно мать говорит: «Не верь, пока не пересчитаешь...» Знаешь что, Мендл? Послушай меня, жену, — плюнь ты на Одессу и приезжай лучше домой, в Касриловку. Полторы тысячи у тебя есть, квартиру даёт нам отец, лавки в аренду сдаются, — чего тебе ещё не хватает? Зачем нужно, чтобы люди перемывали мои косточки, чтобы враги болтали, будто ты удрал в Одессу, а меня бросил, — не дожить тебе до этого! Скапуться за нашу Касриловку может твоя Одесса со всеми твоими домищами с железными лестницами, по которым надо карабкаться, как одурелому! Очень стоит ради этого портить себе желудок! Подумаешь, виноград дешёв! Виноград надо жрать, а сливы чем плохи? У нас нынче урожай на сливы, пятаилтынный — ведро! Но разве тебя интересует, что дома делается? Ты даже не спрашиваешь, как дети по-

живают. Забыл уже, что ты отец троих деточек, дай им Бог здоровья! Недаром мама говорит: «Дальше очи — дальше сердце...» Такую бы тебе болячку, какую правду она говорит!

Пока будь здоров и счастлив, как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

***V Менахем-Мендл из Одессы —
своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку***

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что сейчас пошёл невероятный «бес», и я накопил себе «Лондона» целую кучу и обеспечил себя семнадцатью «бесами» и восьмью «стеллажами». Затем я должен получить несколько сот рублей «дифференцов», и тогда я, с Божьей помощью, сделаю ещё немножко «бесов». Посмотрела бы ты, дорогая моя, как тут заключаются сделки на слово, ты поняла бы, что такое Одесса. Простой кивок здесь всё равно что контракт. Я выхожу на Греческую, захожу в кафе, сажусь за столик и заказываю стакан чаю, или кофе, или ещё там чего-нибудь. Подходит ко мне один маклер, второй, третий... Не надо ни контрактов, ни расписок, ни строчки написанной! У каждого маклера — книжечка и карандаш. Он достаёт книжечку и записывает, что я имею у него два «беса», а я достаю несколько рублей и плачу ему — удовольствие! А спустя час-другой, если Бог захочет, узнают «таксировку» из Берлина, и прибегает тот же маклер и даёт тебе четвертной билет — чистой прибыли, а потом, когда прибывают ещё сведения, он суёт тебе полсотни, а к концу дня, если Богу угодно, набегают и вся сотня, а иной раз может случиться, что и две, а то и все три... Почему бы и нет? На то и биржа! Биржа — это игра, дело удачи. А насчёт того что ты не веришь в векселя дяди Менаше, то могу тебе сообщить, что я их уже продал, — иначе откуда бы я взял деньги на такое количество «бесов» и «стеллажей»? «Стеллажи» — это не дилижансы, как ты пишешь. Дилижансы — это то, на чём ездят из Радомысла в Житомир, а «стеллаж» — это лист бумаги, на котором кто-нибудь пишет и расписывается в том, что, когда настанет «ультимо», то есть в конце месяца, он обязан столько-то фунтов сверх того или иного курса — либо дать тебе, либо получить с тебя. Так что выбор за тобой, поступай как знаешь: хочешь давай, хочешь получай. Теперь ты понимаешь, что такое «стеллаж»? Если Бог даст добрые «варьяции»

на «Лондон» и в газетах заговорят о войне, русский рубль полетит вниз, а «Лондон» как двинется вверх, — ничего кругом узнать нельзя! Вот заговорили на прошлой неделе, будто английской королеве что-то неможется, и тут же русский рубль упал, а «стеллажи» подскочили выше домов! Теперь в газетах пишут, что королева поправилась, — и русский рубль поднялся в цене, и уже можно покупать «стеллажи», сколько душе угодно. Словом, не беспокойся, дорогая моя, всё, Бог даст, будет, как у нас в Одессе говорят, «в наилучшем порядке»! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам и всем остальным.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! У нас в Одессе страшная жара, — изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому как только наступает вечер, город пустеет. Народ разъезжается на Фонтаны — на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на «Ланджерон». Там имеется всё, что душе угодно, можно купаться в море, можно слушать музыку — и всё это бесплатно, без копейки денег!

Тот же.

VI Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже опять вожусь с зубами, дай Бог твоим одесским «дронжикам»! Я здесь лезу на стенку от зубной боли, мучаюсь с его детьми, а ему хоть бы что! Живёт себе, как Господь Бог, в Одессе, катается верхом на «дронжиках», купается в море, и музыка ему подыгрывает. Чего ему ещё не хватает? Как моя мама говорит: «На метле бы он у меня верхом разъезжал, а не на дронжиках!» Одно из двух: если ты купец и торгуешь этим замечательным товаром, который называется «Лондон», то думай о торговле, а не об английской королеве. Думай лучше о своей жене. У тебя есть жена — до ста двадцати лет, и трое деток, дай им бог здоровья. Моя мама говорит: «Думай о себе, тогда забудешь о других...» А что касается твоих счастливых дел, то скажу тебе правду, у меня от них голова кругом идёт! Не верю, хоть режь меня, что сотни так и летят прямо в руки! Что это колдовство

такое, наваждение, что ли? Смотри, как бы ты от великой радости не тронул приданое. Имей в виду, если хоть один грош убудет из приданого, достанется тебе от матери!.. Хоть бы вспомнил! Ведь ты хорошо знаешь, что мне до зарезу нужна шёлковая мантилья, шерсть на платье, два куса морозовского батиста. Всякую глупость я должна ему напоминать, — сам он, бедняга, ничего не знает, мозги у него высохли. Не зря моя мама говорит: «Кто сам не догадается, того в бок толкают».

Как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

**VII Менахем-Мендл из Одессы —
своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку**

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже далеко пошёл, а именно — у меня уже полно «бесов», и я теперь в состоянии дать и взять сразу десять тысяч фунтов, двадцать тысяч фунтов, разумеется, при наличии «депо»... У меня уже крупные знакомства в конторах, и я уже могу себе позволить сидеть у Фанкони в кафе наравне с другими крупными спекулянтами за белыми мраморными столиками и заказывать порцию мороженого, потому что у нас в Одессе такой порядок: чуть присел к столику — к тебе подходит человек во фраке и велит, чтобы приказали подать мороженое. Нельзя же быть свиньёй, и поневоле велишь подать. Но не успеешь съесть одну порцию мороженого, как тебе велят потребовать вторую, — иначе тут сидеть нельзя, и остаётся шататься по улице. Дельцу это, конечно, не пристало, да и городской следит, чтобы на улице зря не околачивались... Но так как людям всё-таки нужно быть на улице, то они ловчатся, обманывают городского, прячутся от него как можно дальше... А если он всё же поймает кого-нибудь, он тащит его, как драгоценность, прямо в участок: «Вот, мол, я доставил вам еврея...» Ты не веришь в крупные «варьяции» и «дифференции»? Это значит, что ты слаба в политике. Вот, к примеру, сидит у нас в кафе у Фанкони человек, которого прозвали «Гамбетта». День и ночь он говорит о политике и только о политике! Он приводит тысячу доказательств, что пахнет войной. Он слышит, говорит, каждую ночь пушечные выстрелы — не здесь, а у французов. Французы, говорит он, никогда в жизни не простят Бисмарку. Должна, непременно должна в скором времени вспыхнуть война, иначе и быть не может! Послушать

Гамбетту, то нужно продать всё, что имеешь, снять с себя последнюю рубаху и покупать «стеллажи» и «бесы» — бесконечное количество!

Ты пишешь мне насчёт мантильи... Дорогая моя, я присмотрел для тебя кое-что получше: золотые часики с медальоном и золотой цепочкой, и брошь, и браслеты видел я в окне совсем недалеко от Фанкони... Замечательные вещи! Прима! Но так как я сейчас очень занят, то пишу тебе вкратце. Дай бог, в следующем письме я напишу тебе обо всём подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Сутолока здесь, не сглазить бы, очень велика, и люди так поглощены делами, что забывают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота — это суббота! Хоть бы камни с неба валялись, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть! Во-первых, она называется «хоральной», потому что потолок у неё колпаком, а особой восточной стены там нет. Все сидят лицом к востоку. А кантор (его зовут Пине; ну и кантор!) хоть и бреет бороду, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше-Довида! Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы «Да будет благословенно имя владыки вселенной!». «Хвалебную песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора стоят певчие в маленьких талесах — красота! Если бы суббота бывала дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать Пине. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что ходят, не молятся. Сидят, как намалёванные, в цилиндрах, с жирными холёными рожами, в маленьких талесах, и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было. Странные в Одессе евреи!

Тот же.

VIII Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что я не понимаю, с какой такой радости надо сидеть у Франкони, — сгореть бы ей! — за мраморным столиком и жрать с утра до ночи чёрт знает что! Лишь бы деньги тратить? И что это у вас там, в Одессе, за сумасшедший, ко-

торому снится, что стреляют, чтоб его самого застрелило! Войны ему захотелось! Как моя мама говорит: «Чужая кровь что вода!» Золотые часики с браслетами ты увидал в одесских магазинах? Нашёл, чему радоваться! Что мне, Мендл, от твоих подарков, которые ты видишь за стеклом? Моя мама говорит: «Вареники во сне — это не вареники, а только сон...» Ты лучше зайди в магазин и купи мне кусок полотна на бельё, и мадаполаму на наволочки, и пару байковых одеял, и немного серебра для дома, и ещё кое-чего. Представь себе, даже Блюма-Злата, — чтоб её пузырьём раздуло! — и та уже куражится передо мной. Почему? Она, видишь ли, носит нитку жемчуга, чтоб её задушило! Вот кому доля замужем! Людям везёт во всём. Одна я родилась в такой злополучный час, что должна каждую мелочь мужу напоминать! Пусть тебе кажется, что ты купил ещё один «гос» или «бес», или чёрт его знает, как это там у вас называется! Я говорю ему: продай, что имеешь, и сосчитай деньги, а он покупает ещё! Чего ты боишься? Не достанешь потом этого товара? Я уже понимаю, что это за торговля и что за город твоя Одесса, когда суббота — не суббота, и праздник — не праздник, и кантор ходит с бритой мордой, — мои бы болячки на его голову! Мне кажется, из такого города и от таких людей бежать надо, как от поганой ямы, а он там завяз и вылезать не хочет. Как моя мама говорит: «Забрался червяк в хрен и думает, что слаще ничего и нету...» Поэтому и пишу тебе, дорогой мой муж, подумай хорошенько, что ты делаешь, и перестань проводить время в замечательной твоей Одессе, — пусть она сгорит, — как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Да! Скажи мне, Мендл, вот эта «Франконя», о которой ты пишешь, что вы там просиживаете дни и ночи, — кто это такая, это «он» или «она»?..

***IX Менахем-Мендл из Одессы —
своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку***

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что пахнет уже крупными тысячами! Если Бог даст и «ультимо» пройдёт благополучно, то в моих руках главный выигрыш! Заинкассирую все свои «дифференцы», съезжу домой и возьму тебя, с Божьей помощью, сюда, в Одессу. Кварти-

ру снимем на «Ришелье», купим хорошую мебель и заживём так, как живут у нас в Одессе. Но пока я, не про тебя будь сказано, вожусь с желудком: видно, мороженое мне повредило... Теперь, когда прихожу к Фанкони, я мороженого не ем. Я велю подать себе напиток, который тянут через соломинку. Это и сладко и горьковато, вроде лакричного порошка с солью... Больше двух, в крайнем случае — трёх стаканов этого напитка одолеть невозможно. А всё остальное время приходится таскаться по улице и иметь дело с городовым. А это очень неприятно! Уж он давно ко мне присматривается, но до сих пор Господь Бог милостив: я каждый раз удираю от него и прячусь. Чего не делают ради заработка! Только бы реализация прошла благополучно, — тогда я, с Божьей помощью, куплю тебе всё, что пожелаешь, и гораздо больше, чем ты можешь себе представить. А насчёт Гамбетты ты ошибаешься: вовсе он не сумасшедший, он только малость вспыльчив. Упаси Бог сказать ему что-нибудь о политике не так, как ему нравится! Он готов разорвать человека на куски! Он утверждает, что не сегодня-завтра обязательно должно что-то случиться. А то, что сейчас вдруг тихо стало, — говорит он, — лишний раз доказывает, что война на носу. «Перед бурей, — говорит он, — всегда бывает тихо...» Вчера я мог продать несколько «бесиков» и два-три «стеллажа» и прилично заработать, но Гамбетта не дал мне этого сделать. «Я, говорит, вам голову оторву, если вы в такое время выпустите из рук товар! Наступает такая пора, — говорит он, — когда полусотенный “стеллаж” будет стоить двести рублей, и триста, и четыреста, и даже тысячу, а почему и не две?..» Будь так, как говорит Гамбетта, даже наполовину, — и я разбогател! Надеюсь, что после реализации я поверну обратно на «гос», начну покупать рубли и давать «Лондон» на чём свет стоит! Я покажу им, что такое «Лондон» и что такое — рубль! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог, в следующем письме я напишу тебе обо всём подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Фанкони (не «Франконя» как ты пишешь), то это не «он» и не «она». Это — кафе, где пьют кофе, едят мороженое и заключают сделки на «Лондон». Дай Бог мне хотя бы половину стоимости сделок, которые там заключают за день!

Тот же.

***Х Шейне-Шейндл из Касриловки —
своему мужу в Одессу***

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщая тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что дети болеют корью, все трое, я ночей не сплю, а он там распивает какую-то бурду с лакрицей! Чего ему не хватает, скажите на милость! Головной боли? Ишь ты, как он распрыгался! В Одессу он хочет меня забрать! Думает, — только скажет мне: «Одесса», — я туда и полетела! Выбей эту дурь из головы, Мендл, ты меня туда не заманишь! Будь спокоен. Бабка моей бабки никогда там не бывала и обошлись без Одессы, так уж и я как-нибудь обойдусь. Так я тебя и послушалась: брошу отца с матерью и всех родных и помчусь в треклятую Одессу, чтоб она в огне сгорела! Говори что хочешь, Мендл, не нравится мне твоя Одесса. Терпеть её не могу, сама не знаю, за что. По моему разумению, тебе следует распродать помаленьку твой товар и получить деньги. Мама говорит: «Из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса!..» А если ты немного и потеряешь, — чёрт с ним, их счастье! Что же касается твоего сумасшедшего Гамбетты (а я все-таки говорю тебе, что он сумасшедший!), который не даёт тебе продавать, то я вообще не понимаю, при чём тут он? Какое ему дело? Плюнь ты ему в рожу, если он опять станет морочить тебе голову своими войнами! Послушай меня, Мендл, кончай с этим делом, продай всё, ради Бога! Заработал несколько целковых? И хватит. Сколько можно торчать в этой Одессе?

Но что говорить? Разве я что-нибудь значу? Ведь я же всего лишь Шейне-Шейндл, я ведь не Блюма-Злата! Блюма-Злата только пикнет на своего мужа, а его уже лихоманка трясёт! Ради бога, Мендл-сердце, распродай всё и собирайся в дорогу! Не забудь только дюжину вышитых сорочек для меня, бархату маме на пальто — пусть и она помнит, что зять её был в Одессе и торговал с сумасшедшими, — кусок ситца модного рисунка и, если войдёт в чемодан, — немного стеклянной посуды, а остальное — по твоему усмотрению. И приезжай домой, пусть люди перестанут мне колоть глаза и чернить меня. Попробуй только меня не послушать! Ничего! По-моему сделаешь! Если бы так чирьи на спине у врагов моих, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

***XI Менахем-Мендл из Одессы —
своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку***

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что день реализации настал, и всё пошло кувырком, Господи спаси и помилуй! Большая «варьяция», которой я ждал, как мессии, обернулась мыльным пузырьём. Бисмарк, говорят, простудился, схватил насморк — и в политике пошла такая суматоха, что никто ничего не понимает! «Лондон» стал действительно на вес золота, но рубль провалился в тартарары, и пошёл страшный «бес»! Ты, пожалуй, спросишь, где же мои «бесы» с моими «стеллажами»? Но дело в том, что теперь уже «бесы» не «бесы» и «стеллажи» не «стеллажи», никто не хочет брать, никто не желает давать, вот и поступай как знаешь! И словно назло, я рассовал свой товар таким людишкам, которых — чуть прижало, а их уже и раздавило. Словом, горе, чума, всё вверхдном! Ах, если бы я изловчился на один день раньше! Но поди будь пророком! Теперь все бегают, как травленные мыши, безумие охватило каждого! Все кричат: «“Лондон”!», «Где мой “Лондон”?», «Давайте мне “Лондон”!», «Но где там “Лондон”?», «Что там “Лондон”?» Летят оплеухи, мелькают кукиши, родителей поминают, и я тоже, как и все... В общем, нигде, как видно, никакого «Лондона» нет!.. Короче, дорогая моя жена, кругом мрак... Все мои заработки, всё приданое, драгоценности, которые я для тебя купил, — всё это пошло туда... Даже субботний кафтан пришлось снять и заложить.

Я сейчас в очень печальном положении, даже представить себе трудно, и так скучаю по дому, что вся душа истомилась! Проклинаю себя сто раз на дню! Лучше бы я ногу себе сломал до того, как приехал сюда, в Одессу, где человек ничего не стоит. Здесь можно умереть на улице, и никто даже не оглянется. Сколько маклеров кормилось возле меня, сколько их благодаря мне нажилось, а сейчас они меня даже не узнают! Раньше они меня здесь называли «касиловским Блейхрёдером», а теперь сами же маклеры надо мной издеваются. Они говорят, что я не понимаю дела, «Лондон», говорят они, понимать надо! А где ж они раньше были, эти умники? Обо мне вообще больше не говорят, как если бы я умер! Лучше бы я и в самом деле умер, чем дожить до такого! И как назло, здесь этот Гамбетта, пропади он пропадом, виснет над головой и не перестаёт трещать на ухо о своей политике: «Ну, не говорил ли я вам, что будет “бес”?» — «Что мне толку от вашего “беса”, — спрашиваю я, — когда мне “Лондона” не дают?» А он смеётся и говорит: «Кто же вам виноват. Биржу, говорит, понимать надо! А кто не умеет торговать “Лондоном”, пусть торгует солёными огурцами...» Говорю тебе, жена моя дорогая, — так опротивела мне Одесса с её биржей, с Фанкони, со всеми этими людишками! Бежал бы куда глаза глядят! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе крат-

ко. Даст Бог в следующем письме напишу обо всём подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи. И кланяйся сердечно деткам, и тестю, и теще.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Здесь, в Одессе, такой порядок: если кому-нибудь нужно одолжить немного денег, он обращается не к соседу, не к родственнику или к знакомому, как, скажем, у нас в Касриловке. Не потому, что лень к ним сходить, нет, — просто каждый знает наперёд, что никто с деньгами не сунется: не дают, и дело с концом! Как же быть, если деньги всё-таки нужны? Для этого существует «ломбард», который выдаёт какую угодно ссуду, был бы залог приличный: золото так золото; серебро так серебро! Медь? И медь сойдёт, и одёжина, и стул. Приведи корову, — тебе и под неё деньги дадут. Беда только в том, что оценивают в ломбарде всё чересчур дешёво! Зато проценты дерут без стеснения, кусачие проценты, так что процент подчас всю ссуду съедает. Вот ломбард и производит каждые две недели «леситацию», то есть распродажу невыкупленных залогов. Люди покупают вещи по дешёвке и неплохо зарабатывают. Будь я при деньгах, я бы тоже этим занялся и вернул себе то, что потерял, да ещё с лихвой... Но что поделаешь! Без денег лучше не родиться на свет Божий, а уж если родился, то лучше умереть... Не могу я больше писать. Пиши мне о твоём здоровье, как поживают детки, и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Тот же.

ХII Шейне-Шейндл — своему мужу из Касриловки в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещённому супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: дурья голова, подумай, что ты натворил! Какой чёрт понёс тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареных рябчиков ему захотелось! «Лондон»! Мороженого! Бурды с лакрицей! Увидал, что «Лондон» банкротится, чего же ты вовремя не покончил с ним, согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают! А люди где? А раввин? Господи Боже мой, что это за отговорка — «ультимо-шмультимо»? Ведь ты покупал товар, — куда же он девался?! Боже мой, какое несчастье! Чужало моё сердце, что от Одессы — сгореть бы ей! — добра не будет! Я пишу ему: уезжай, Мендл,

плюнь на них с их «Лондоном», чтоб его холера забрала, Господи милосердый! Удирай, — говорю я ему, — удирай, Мендл! Как мать говорит: «Дырявая крыша, трещала б потише!» Нет, не слушает, — ведь я же всего только Шейне-Шейндл, горе мне, а не какая-нибудь Блюма-Злата. Нет, моя мама умница! Она всё время твердит, что мужу потакать нельзя, мужа надо держать в руках, чтобы он чувствовал, что есть у него жена! Но что поделаешь, когда у меня такой характер, не могу я быть грубой, как Блюма-Злата, не умею я мужа в гроб вгонять, как она, не умею!

Была бы твоей женой Блюма-Злата, — не дожить ей до того! — тогда бы ты знал, как велик наш Бог! А насчёт того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак: не по своей воле человек рождается, не по своей воле и умирает. А если даже потеряно приданое, так ничего больше не остаётся, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахем-Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахем-Мендл не тот же Менахем-Мендл, что и без денег? Чудак! Против Бога хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? Чёрт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажется, что разбойники напали на тебя в лесу, или ты заболел и всё приданое просадил ко всем чертям! Главное, не будь бабой, Мендл! Положись на Предвечного, он — всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой — гостем будешь, дети тебя заждались... Посылаю тебе несколько рублей на дорогу и смотри, Мендл, не ходи ни на какие «лестации» и не торгуй старым тряпьем! Этого ещё не хватало! Как только получишь моё письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выедешь из города, пусть он загорится со всех четырёх сторон, пусть он горит и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

1892

Перевод с идиша М. Шамбадала

Влас Дорошевич

Винт

Когда нет театра, Одесса жалуется на скуку. Когда есть театр, Одесса жалуется на то, что нет хороших артистов. Когда приезжают хорошие артисты, Одесса жалуется на то, что нет денег.

— Нет денег!

И несмотря на это, в Одессе каждый вечер большая блестящая иллюминация.

В каждом окне видны четыре свечки. Много говорящие четыре свечки: «Здесь винтят».

Винтят здесь, винтят там, винтят повсюду и везде.

Эпидемия, свирепствующая по всей России, в Одессе свирепствует с особой силой.

Это определение принадлежит покойному профессору Боткину.

«Изо всех эпидемий, когда-либо свирепствовавших в России, винт — эпидемия самая сильная».

И самая страшная. Другие народы вырождаются. Мы извинчиваемся. Ещё очень недавно мы были «народом молодым», «народом сильным», «народом многообещающим». Теперь мы — «народ-винтёр», и только.

Я удивляюсь, почему наши газеты вместо мало кому интересных шахматных задач не заведут «винтового отдела».

«Винт с прикупкой. Сданы каждому такие-то карты. Гг. подписчики благоволят присылать свои ходы открытыми письмами».

Газеты читали бы даже дети! Подписчики играли бы друг с другом заочно.

Для их удовольствия можно было бы завести даже полемический отдел «переговоров»:

«Подписчик No 15674 подписчику No 16483-му... Надо быть урождённым идиотом для того, чтобы нести пику! Надо быть анафемой! Надо быть чёрт знает чем! Я не подпишусь больше на эту газету, если вы будете состоять в ней подписчиком, идиот за No 16483-им!»

«Годовой подписчик полугодовому. — Надо быть не полугодовым подписчиком, а полугодовалым младенцем, чтоб не отвечать в бунду, чёрт вас возьми!»

«Городской подписчик иногороднему. — Удивляюсь, что за охота г. редактору высылать свою уважаемую газету такому дураку, как вы!»

Это доставит преинтересное чтение.

За полемикой будут следить, ею будут интересоваться.

Это объединит читателей вокруг газеты.

Это привлечёт массу новых подписчиков.

Про газету будут говорить:

— В ней сдаются самые интересные карты!

Точно так же, как теперь говорят:

— В ней печатаются самые интересные телеграммы, статьи, корреспонденции!

Газетой будут интересоваться во всех сферах общества.

— Что сегодня новенького в газете?

— Сегодня пошли в тrefу.

— Ого-го-го! В тrefу! Интересно, чем-то завтра ответят. Мавра, разбудить меня в семь, и чтоб газета была. Слышишь? Интересно, чем ответят на тrefу!

И весь город завтра встаёт в семь и жадно хватает газету:

— Чем ответили на тrefу?

В кондитерских толкуют об ответном ходе, как теперь об ответной ноте английского кабинета.

У Фанкони почтенный старичок также громогласно возражает:

— Это было большой ошибкой отвечать в бубну. Бубну надо было попридержать.

Точно так же, как он теперь провозглашает:

— Это было большой ошибкой упустить Гладстона. Гладстона следовало бы попридержать у власти!

Но тогда его будут слушать с гораздо большим интересом, точно так же, как читать газеты.

Пусть редакция кроме репортёров, хроникёров и интервьюеров заведёт ещё и «опытных винтёров».

Это поднимет интерес, увеличит сбыт.

Всей душой любя родную прессу, я с удовольствием дарю ей этот проект перед подпиской.

Пусть мы проиграем в винт нашу прессу!

Мы проиграли уже в эту маленькую, невинную игру наш театр и нашу литературу.

Мы все жалуемся на упадок театра — но если вы возьмёте начало этого упадка, то увидите, что оно удивительно совпадает с началом эпидемии винта.

Добрый старый преферанс мирно уживался рядом с Россини. Недаром Рубинштейн играл в преферанс. Пульку в триста можно было успеть сыграть, прослушав до конца «Севильского цирюльника». Тог-

да как винт требует, чтоб ему отдавались целиком. Винт ревнив и требователен.

— Если любишь, так отдайся.

Я знаю десятки одесситов, которые десять раз слушали в Городском театре «Риголетто» и ни разу не слышали «La donna e mobile».

Потому, что со второго акта уезжали в клуб «винтить».

Льётся чудная каватина. Солидный господин из партера еле заметно подмигивает господину в ложе бельэтажа.

Вы думаете, он говорит ему: «Как хорошо?»

Вы ошибаетесь, — он хочет сказать:

— Недурно бы!..

И они понимают друг друга. Оба тихонько встают и на цыпочках уходят из зала.

Перед ним может быть чудная декорация, полный зал, сверкающие декольте, дивные туалеты, — а он во всём этом разглядит только на другом конце зала «подходящего партнёра».

Они увидят друг друга, хотя бы даже не были знакомы.

Как-то по наружному виду, сразу и безошибочно, определяют:

— Должно быть, недурной винтёр!

Так только велосипедисты сразу узнают друг друга в толпе по глупому виду. В разгаре сезона обратите внимание на зрительный зал. В начале второго акта театр начинает пустеть. К началу третьего пустеет наполовину. Телефон в это время работает отчаянно:

— Передайте Ивану Ивановичу, что его ждут в Английском клубе.

— Попросите Петра Петровича в Русское общество. Не хватает только его.

— Семёну Семёнычу скажите, чтоб ехал в Коммерческий. Передайте, что все уж на местах.

Капельдинеры бесшумно проскальзывают в партер, в ложи, шепчут на ухо, делают условные знаки.

И Иваны Иванычи, Петры Петровичи, Семёны Семёнычи один за другим на цыпочках выходят с озабоченными лицами.

— Не свирепствует ли в городе какая-нибудь эпидемия? Не заболели ли у этих господ домашние? Не случилось ли у каждого из них дома родины? — изумлённо спросил меня один «знатный иностранец».

— В городе — эпидемия винта!

А сколько народу не поехало в театр, предпочитая засесть в винт до начала первого акта.

Винт отнял публику у театров.

Послезавтра бенефис г-жи Смолиной.

Это прелестная, симпатичная опереточная артистка. В ней масса жизни, веселья, огня, своеобразной задорной пикантности.

Но если вас послезавтра пригласят на винт с Иваном Ивановичем, Петром Петровичем и Семёном Семёновичем, — разве вы пойдёте в театр?

Винт отнял у театров не одну публику, но и артистов.

Головы полны винтом, играют в уборных, между двумя сценами, между смехом и истерикой, плачем и самоубийством.

Почтенный артист вышел на сцену, как в воду опущенный. Моя соседка осталась недовольна:

— Как вяло!

Как же вы хотите, милостивая государыня, чтобы он хорошо играл, когда он «пасс».

Он «пасс», а вы требуете, чтобы он горячился!

Он только что, перед выходом, сказал «пасс», играя на пустом ящике с комиком и драматической инженю, — а вы хотите от него игры.

Я знал одну прелестную опереточную примадонну, имевшую огромный успех и в Одессе.

Она вылетела на сцену с горящими глазами, оживлённым лицом, вся смеющаяся, радостная, очаровательная.

— Как хороша! Что ни говорите, а всё ж она положительно лучшая из русских примадонн. Сколько жизни, веселья!

Я только что из-за кулис и великолепно знаю, что она перед самым выходом великолепно разыграла большой шлем с Ахиллом, Калхасом и одним из Аяксов!

Говорят, что один оперный певец вместо классического «три карты» спел в «Пиковой даме»:

«Две пики, три трефы, три бубны!»

И я удивляюсь, как ещё ни один оперный Мефистофель не ошибётся и не споёт:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — с прикупкой винт.

Винт убил театр, литературу и даже простые, обыкновенные человеческие разговоры.

Нет других разговоров, кроме разговоров за винтом:

— Две пики.

— Пасс.

— Три трефы.

Винт всё сделал «пустяками».

В гостиной могут говорить об искусстве, литературе, политике, науке, злобах дня.

Но стоит хозяину сказать: «Господа, не будем заниматься пустяками, сядем за винт!» — как все эти «пустяки» полетят прочь, оборвутся на полуслове.

Всё «пустяки» в сравнении с винтом.

Кто читает? Что читает? А главное — кто читает? Русская литература разделяется на два периода: до-винтовой и после-винтовой.

Образованный русский человек отлично знает до-винтовой период, но с появлением винта стало некогда читать.

Вы найдёте сотни очень интеллигентных людей, которые из после-винтовых писателей не знают никого.

— Чехов? Вообразите, всё собираюсь — и некогда прочитать.

Да, откровенно говоря, и некогда писать.

Пишут только те, кто плохо и потому мало играет. Много пишут только те, кто вовсе не винтит.

Величайший многописатель земли русской Вас. И. Немирович-Данченко не берёт карт в руки.

Лучшие драматурги винтят, скверные винтёры пишут пьесы.

Золя работает с десяти до двенадцати утра. Но это потому, что он не играет в винт.

Если бы он играл в винт до пяти часов, он вставал бы в час и по утрам думал бы не о подробностях «Лурда», а о том, как вчера остался без одной при коронке от валета!

Его мучили бы угрызения совести до обеда, он отдыхал бы после обеда, чтобы подкрепить свои силы к вечеру, и вечером бы ехал к Додэ «восстанавливать свою репутацию» хорошего винтёра.

Бальзак работал по ночам.

Но если бы он играл в винт, ему некогда было бы работать. Мир имел бы много блестящих шлемов лишних и ни одного романа.

Я знаю многих русских писателей и познакомился всего с одним иностранным, в Москве, на французской выставке, — с г. Арманом Сильверстом.

По наружности — это сытый солидный буржуа с основательным брюшком. Из него, наверное, вышел бы недурной винтёр.

Но он не знает винта и потому занимается поэзией.

Его специальность — воспевать красоту обнажённого женского тела. Его специальность мала, но он велик в своей специальности. Его стихотворения — чудные маленькие статуэтки. В них столько поэзии, страсти, огня, чистого юношеского увлечения, красоты, поклонения!

Но это оттого, что он не винтит!

Можно обладать тучной фигурой и всё-таки увлекаться чудными формами. Толстые любят не меньше худощавых и поджарых.

Но решительно невозможно быть солидным винтёром и заниматься такими пустяками.

«Воспевающий» солидный винтёр!

Пища для остроумия партнёров во время краткой закуски. Застыдят во время сдачи!

Пушкин написал «Пиковую даму» во времена романического «штосса», когда пиковая дама «означала несчастье», — а чем бы вдохновился он теперь, когда дама пик сама по себе ровно ничего не означает и всё зависит от масти?

Коронкой от валета?

Недурная повесть на тему «коронка от валета» с эпиграфом:

«Коронка от валета означает, что можно остаться без одной».

Да и большой ещё вопрос, видели ли бы мы добрую половину его чудных произведений, если бы Пушкин со свойственным ему увлечением играл в винт!

Ньютону некогда было бы выдумать свой бином, если бы он всё своё свободное время отдавал только вычислениям выигрышей и проигрышей.

Что было бы с величавым гением Франции, если бы она винтила?

Эйфель был бы инженером с хорошим окладом и вместо изобретения новых систем построек, стропил, остроумных комбинаций законов тяготения и сопротивления — занимался бы изобретением не менее гениальных систем винта, не менее остроумных комбинаций ходов и выходов.

Вместо великого строителя Франция имела бы замечательного винтёра, вместо Эйфелевой башни — тысячу отлично разыгранных шлемов.

Мы тупеем, потому что весь наш национальный гений у нашей интеллигенции ушёл на разные комбинации винта.

Если бы в какой-нибудь другой отрасли мы сделали столько открытий, усовершенствований, как в винте!

Винт с прикупкой, с пересадкой, с входящими, с присыпкой, — и удивительно, как такой пшеничный город, как Одесса, не изобрёл ещё какого-нибудь специального «винта с отсыпкой», «с подмесью», «винта с куколем».

Если был одно время «винт Буланже», — почему же не выдумать какого-нибудь Дрейфусовского винта?

И если жалуются на «упадок нравов», то в этом виноват «послевинтовой период» русской истории.

Я попрошу вас на одну неделю выйти замуж за винтёра, который просыпается с раскаянием о проигранной вчера отличнейшей игре и засыпает со словами «две тrefы».

Целые вечера одиночного заключения в гостинной!

Муж, в течение вечера входящий к жене только для того, чтоб обрадовать её вестью:

— Вообрази, душечка, какой я сейчас сыграл маленький шлем!

Бедняга, которому через неделю нужен будет уже большой шлем, потому что маленький не влезет уж ему на голову.

Мы проиграли в винт театр, искусство, литературу, все интересы, женщин и детей.

Женщины, занимающиеся арифметикой за зелёным столом и обменивающиеся руганью с партнёрами, теряют всю свою женственность. Винтящие муж и жена — это уже не любящая чета, это винтёр, женатый на винтёре.

У нас нет детей. Я знаю гимназистов, не вполне уверенных в том, сколько было Пунических войн, но могущих блестяще устроить большой шлем на пиках любому историку!

Любезность, галантность былых времён, остроумие, интерес разговора, умение занять дам, искусство ухаживания — всё утонуло в винте. Никто не танцует — все винтят.

От молодого человека не требуется ни изящества, ни элегантности, ни остроумия, ни интереса — нужно, чтоб он винтил.

Чтоб показать, что такое винт, достаточно сказать, что такое человек не винтящий.

Человек, который всем в тягость, стесняет хозяина, хозяйку, гостей.

— Вы не винтите? — спрашивает вас хозяйка и смотрит на вас с таким сожалением, словно хочет сказать:

— И чего ты по гостям шляешься, если не винтишь? Сидел бы себе дома! Да и вообще, зачем ты живёшь на свете, не винтящий человек?

Вы можете быть без руки, без ноги, без глаза, никто из деликатности, конечно, не заметит вам вслух вашего недостатка.

Никто вам не скажет:

— Чего вы, безногий — а по гостям шатаетесь?

— Но вы не винтите — и каждый смотрит на вас с сожалением:

Чего шляешься? Ну, чего ты шляешься? Не винтишь, а по гостям ходишь? Только землю даром обременяешь!

Не винтящий — это человек, который явился в гости в лакейском фраке и нитяных перчатках.

И выгнать неловко, всё-таки — гость, и посадить — не знаешь где!

Вы чувствуете, что всем в тягость, и стараетесь быть незаметным, как бедный дальний родственник, приглашённый на именины к миллионеру. Вы силитесь ступешаться и уныло бродите вдоль стен, стараясь ступать неслышно, чтобы не помешать винтёрам, и кто-нибудь из них сердито не взглянул в вашу сторону. Малейший стук, произведённый вами, заставляет вас испуганно вздрагивать. Вам кажется, что у вас не ноги, а какие-то грабли, только для того, чтоб вечно за что-нибудь задевать, что ваши руки слишком длинны и удивительно бестолково

болтаются, что ваше лицо имеет удивительно глупое выражение, что вы весь — фигура какого-то уныния. Если это на большом вечере, вы думаете:

— Э-э, чёрт! Хотя бы какая-нибудь дама приняла меня за лакея и послала за чем-нибудь. Все-таки чем-нибудь занялся бы, а не слонялся.

Горе вам, если вы вдруг вздумаете показать развязность, напустить на себя храбрость, кашлянете в рукав и подойдёте заглянуть в карты играющих. Игрок обернётся и обдаст вас взглядом, в котором вы ясно прочтёте:

— Чего глядишь, окаянный? Только карта из-за тебя не идёт, проклятого!

Вы убежите от этого взгляда в самый дальний угол, в шестнадцатый раз переглядите все альбомы, и у вас в душе зашевелится мысль:

— А действительно, не застрелиться ли мне? Чего я живу, если не винчу?

В таких случаях очень хорошо гг. не винтящим, идя в гости, брать с собой заряженный револьвер.

Вот что такое не винтящий человек!

Лучше съесть родную тётку, чем не играть в винт. Вы будете лучше приняты и после такого страшного преступления не будете чувствовать себя столь отверженным от общества всех порядочных людей.

Я не говорю уже о том, сколько можно потерять по службе, в делах, в общественном положении!

Раз винт стал тем, что он есть, — странно, почему не введут его в программу среднеучебных заведений. Нельзя же учить разным «пустякам» и не учить самому главному, без чего нельзя обойтись в жизни, без чего немислимо существовать ни доктору, ни адвокату, ни купцу, ни чиновнику, ни журналисту.

И это будет.

Винт будет введён в программу в виде особого обязательного предмета. Будут особые винтовые задачки, и школьники будут решать задачи:

«Игроку сданы: коронка от вала бубен, пять маленьких пик, три пики: туз, семёрка и тройка, и одна трефа — король. Что он должен сказать, если партнёр объявил две пики?»

В университетах будут проходить высшие комбинации винта.

Без знания этого необходимого предмета не будут принимать на службу.

Будут играть в канцеляриях, конторах, за кулисами, на конке, на могилах родственников!

Мы будем винтить «как никто», но зато в сфере искусства, литературы, знания, мысли мы будем в состоянии перед всеми сказать только:

— Пасс!

И Одессе среди этого завинтившегося русского общества будет принадлежать одно из первых мест.

Почему бы в ложах и партере Городского театра не наставить ломберных столиков?

Аркадий Аверченко

Одесское дело

I

— Я тебе говорю: Франция меня ещё вспомнит!

— Она тебя вспомнит? Дождись!..

— А я тебе говорю — она меня очень скоро вспомнит!!

— Что ты ей такое, что она тебя будет вспоминать?

— А то, что я сотый раз спрашивал и спрашиваю: Франции нужно Марокко? Франции нужно бросать на него деньги? Это самое Марокко так же нужно Франции, как мне лошадиный хвост! Но... — она меня ещё вспомнит!

Человек, который надеялся, что Франция его вспомнит, назывался Абрамом Гидалевичем; человек, сомневающийся в этом, приходился родным братом Гидалевичу и назывался Яков Гидалевич.

В настоящее время братья сидели за столиком одесского кафе и обсуждали положение Марокко.

Возражения рассудительного брата взбесили порывистого Абрама. Он раздражительно стукнул чашкой о блюдце и крикнул:

— Молчи! Ты бы, я вижу, даже не мог быть самым паршивым министром! Мы ещё по чашечке выпьем?

— Ну, выпьем. Кстати, как у тебя дело с лейбензоновским маслом?

— Это дело? Это дрянь. Я на нём всего рублей двенадцать, как заработал.

— Ну, а что ты теперь делаешь?

— Я? Покупаю дом для одной там особы.

В этом месте Абрам Гидалевич солгал самым беззастенчивым образом — никакого дома он не покупал, и никто ему не поручал этого. Просто излишек энергии и непоседливости заставил его сказать это.

— Ой, дом? Для кого?

— Ну, да... Так я тебе сейчас и сказал.

— Я потому спрашиваю, — возразил, несколько не обидевшись. Яков, — что у меня есть хороший продажный домик. Поручили продать.

— Ну?! Кто?

Яков хладнокровно пожал плечами.

— Предположим, что сам себе поручил. Какой он умный, мой брат. Ему сейчас скажи фамилию и что и как.

Солгал и Яков. Ему тоже никто не поручал продавать дом. Но сказанные им слова уже имели под собой некоторую почву. Он не бросил их на ветер так, здорово живёшь. Он рассуждал таким образом: если у Абрама есть покупатель на дом, то это прежде всего такой хлеб, которым нужно и следует заручиться. Можно сначала удержать около себя Абрама с его покупателем, а потом уже подыскать продажный дом.

Услышав, что у солидного, не любящего бросать слова на ветер Якова, оказался продажный дом, Абрам раздул ноздри, пришёлкнул под столом пальцами и тут же решил, что такого дела упускать не следует.

Если у Якова есть продажный дом, — размышлял, поглядывая на брата, Абрам, — то я сделаю самое главное: заману его своим покупателем, чтобы он совершил продажу через меня, а потом уже можно найти покупателя. Что значит можно найти? Нужно найти! Нужно перерваться пополам, но найти. Что я за дурак, чтобы не заработать полторы-две тысячи на этом?

Кое-какие знакомые у меня есть, — углубился в свои мысли Яков. — Если у Абрашки в руках покупатель — почему я через знакомых не смогу найти домовладельца, который бы хотел развязаться с домом? Отчего мне не сделать себе тысячи полторы?

— Так что ж ты... — продаёшь дом? — спросил с наружным равнодушием Абрам.

— А ты покупаешь?

— Если хороший дом — могу его и купить.

— Дом хороший.

— Ну, это всё-таки нужно обсмотреть. Приходи сюда через три дня. Мне ещё нужно поговорить с моим доверителем.

— Молодец, Абрам. Мне тоже нужно сделать кое-какие хлопоты. Я уже иду. Кто платит за кофе?

— Ты.

— Почему?

— Ты же старше.

II

В течение последующих трёх дней праздные одесситы с изумлением наблюдали двух братьев Гидалевичей, которые, как бешеные, носились по городу, с извозчика перескакивали на трамвай, с трамвая прыгали в кафе, из кафе — опять на извозчика, а Абрама один раз видели даже несущимся на автомобиле...

Дело с домом, очевидно, завязалось нешуточное.

Похудевшие, усталые, но довольные, сошлись наконец оба брата в кафе, чтобы поговорить «по-настоящему».

— Ну?

— Всё хорошо. Скажи, Абрам, кто твой покупатель и в какую, приблизительно, сумму ему нужен дом?

— Ему? В семьдесят тысяч.

— Ой! У меня как раз есть дом на семьдесят пять тысяч. Я думаю, ещё можно и поторговаться. А кто?

— Что кто?

— Кто твой покупатель? Ну, Абрам! Ты не доверяешь собственному брату?

— Яша! Ты знаешь знаменитую латинскую поговорку: «Платон! Ты мне брат, но истина мне гораздо дороже». Так пока я тебе не могу сказать. Ведь ты же мне не скажешь!

Яков вздохнул.

— Ох, эти коммерческие дела... Ты уже получил куртажную расписку?

— Нет ещё. А ты?

— Нет. Когда мы их получим, тогда можно не только фамилию его сказать, а более того: и сколько у него детей, и с кем живёт его жена даже! О!

— Скажи мне, Яша... Так, знаешь, положи руку на сердце, почему твой доверитель продаёт дом? Может, это такая гадость, которую и на слом покупать не стоит?

— Абрам! Гадость? Стоит тебе только взглянуть на него, как ты вскрикнешь от удовольствия, — новенький, сухой домик, свеженький, как ребёночек, и, по-моему, хозяин суший идиот, что продаёт его. Он, правда, потому и продаёт, что я уговорил. Я ему говорю: тут место опасное, тут могут быть оползни, тут, вероятно, может быть, под низом каменоломни были — дом ваш сейчас же провалится! Ты думаешь, он не поверил? Я ему такое насказал, что он две ночи не спал, и говорит мне, бледный, как потолок: продавайте тогда эту дрянь, а я найду себе другой дом, чтобы без всякой каменоломни.

— Послушай... ты говоришь дом, дом, но где же он, твой дом? Ты его хочешь продать, так должны же мы его с покупателем видеть?! Может, это не дом, а старая коробка из-под шляпы. Как же?

— Сам ты старая коробка! Хорошо, мы покажем твоему покупателю дом, а он посмотрит на него и скажет: «домик хороший, я его покупаю; здравствуйте, господин хозяин, как вы поживаете, а вы Гидалевичи идите ко всем чертям, вы нам больше не нужны». А когда мы получим куртажные расписки, мы скажем: «Что? А где ваши два процента?»

— Ну, хорошо... скажи мне только, на какую букву начинается твой домовладелец?

— Мой домовладелец? На «це». А твой покупатель?

— На «бе».

И соврали оба.

Тут же оба дельца условились взять у своих доверителей куртажные расписки и собраться через два дня в кафе для окончательных переговоров.

— Кто сегодня платит за кофе? — полюбопытствовал Абрам.

— Ты.

— Почему?

— Потому что я тобой угощаюсь, — отвечал мудрый Яша.

— Почему ты угощаешься мною?

— Потому что я старше!

III

Это был торжественный момент... Две куртажные расписки, покоившиеся в карманах братьев Гидалевичей, были большими, важными бумагами: эти бумаги приносили с собой всеобщее уважение, почёт месяца на четыре, сотни чашек кофе в громадном уютном кафе, несколько лож в театре, к которому каждый одессит питает настоящую страсть, ежедневную ленивую партию в шахматы «по франку» и ежедневный горячий спор о Марокко, Китае и мексиканских делах.

Братья сели за дальний столик, потребовали кофе и, весело подмигнув друг другу, вынули свои куртажные расписки.

— Ха! — сказал Яков. — Теперь посмотрим, как мой субъект продаст свой дом помимо меня.

— А хотел бы я видеть, как мой покупатель купит себе домик без Абрама Гидалевича.

Братья придвинулись ближе друг к другу и заговорили шёпотом...

Из того угла, где сидели братья Гидалевич, донеслись яростные крики и удары кулаками по столу.

— Яшка! Шарлатан! Почему твоего продавца фамилия Огурцов?

— Потому что он Огурцов. А разве что?

— Потому что мой — тоже Огурцов!! Павел Иваныч?

— Ну, да. С Продольной улицы. Так что?

— Ой, чтоб ты пропал!

— Номер тридцать девятый? Да!

— Так это же он! Которому я хочу продать твой дом.

— Кому? Огурцову? Как же ты хочешь продать Огурцову дом Огурцова?

— Потому что он мне сказал, что покупает новый дом, а свой продаёт.

— Ну? А мне он говорил, что свой дом он продаёт, а покупает новый.

— Идиот! Значит, мы ему хотели его собственный дом продать? Хорошее предприятие.

Братья сидели молча, свесив усталые от дум, хлопот и расчётов головы.

— Яша! — тихо спросил убитым голосом Абрам. — Как же ты сказал, что его фамилия начинается на «це», когда он Огурцов?

— Ну, кончается на «це»... А что ты сказал? На «бе»? Где тут «бе»?

— Яша... Так что? Дело, значит, лопнуло?

— А ты как думаешь? Если ему хочется ещё раз купить свой собственный дом, то дело не лопнуло, а если один раз ему достаточно — плюнем на это дело.

— Яша! — вскричал вдруг Абрам Гидалевич, хлопнув рукой по столику. — Так дело ещё не лопнуло!.. Что мы имеем? Одного Огурцова, который хочет продать дом и хочет купить дом! Ты знаешь, что мы сделаем? Ты ищи для дома Огурцова другого покупателя, не Огурцова, а я поищу для Огурцова другого дома не огурцовского. Ну?

Глаза печального Яши вспыхнули радостью, гордостью и нежностью к младшему брату.

— Абрам! К тебе пришла такая гениальная идея, что я... сегодня плачу за твоё кофе!!

Саша Чёрный

Голубиные башмаки

Было это в Одессе, в далёкие дни моего детства.

Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьёзный мальчик.

По целым дням он всё что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.

Пальцы у него были всегда липкие, курточка — в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах от мелкой дробы до сломанного пробочника можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьевщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашёл где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и всё пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

Изобретает — и всё, бывало, что-нибудь жуёт в это время: хлеб с повидлом, резинку либо копчёную колбасную верёвочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал всё такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порох.

То готовил из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырёк, перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щёлкала Володю медным напёрстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, а ты знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, к напёрстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.

Уходил в кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.

То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб по три мыши оптом ловить — для экономии.

Но проволочка зажимала защёлку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал мёдом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркала и стёклах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.

Обыкновенные силки дело нехитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, надо было только не попадаться на глаза ломовым — «биндюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они плели леску, делали петли — вправо и влево поочерёдно, прикрепляли силки к колышку и засыпали зерном... Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.

От каждой петли он ещё проводил с нашего дворика к своему окошку нитку.

И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом.

Чтобы, пока он у стола другим делом занят (мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры), каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробы всё зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли, благодаря Володиному усовершенствованию, вместо того чтобы стягиваться, только растягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало — на мышей, да на мух, да на птичье угощение.

А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал: то повидло, то гусиных шварок, то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.

* * *

Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.

Слышал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углём грузят.

Дед согласился, что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и всё клянит...

Надел Володя новые жёлтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят.

Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула «ах ты, Боже мой!» — точно крыса в котёл с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник...

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слезы.

— Где башмаки?!

— Жу... Жулик унёс...

— Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!

— Я не чу-че-ло... Я сам... снял... За что ты меня мучаешь?

И стал реветь всё громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.

Только пузыри изо рта выскакивали.

А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, упёрся — и ни одного слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.

Тогда я увёл его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упрямил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и всё мне рассказал.

* * *

Голубей на угольном складе не оказалось.

Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.

Дедушка ушёл в свою контору.

Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, когда ещё сюда попадёшь?

Скользнул за ворота, прошёл под эстакадой, и действительно — голубей на набережной — туча...

Прямо живая перина на камнях шевелилась!

Отошёл он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зёрнах, ешь не хочю...

Володя ждал-ждал... Грузчики стали на обед расходиться.

Совсем он разочаровался, хотел, было, и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.

Подошёл поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.

А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и завистал. Кто же так голубей ловит? Это способ устарелый!..

Конечно, Володя зашевелился, какие такие ещё способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в жёлтые — этот цвет голуби обожают, — насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой напухнет, так в башмаке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем... Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, доверчив он был, как божья коровка, да и новый способ заинтересовал.

Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушёл за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет...

Он так и просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали его чёрные мысли мучить.

Вскочил он, бросился за ящик.

Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются-урчат... Возьми голый рукой.

И вот так, всхлипывая, — к дедушке в склад он и носа показать не решился, — босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу...

Помню очень хорошо: прослушал я Володин рассказ серьёзно-пресерьёзно, ведь дал слово...

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.

За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «жёлтый цвет обожают», так суп у меня в горле и заклокочет... Бабушка, помню, даже обиделась:

— Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завёлся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал.

Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотить.

Около 1930

Иван Бунин

Галя Ганская

Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

— А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, ещё прекраснее, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

— А мне почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, ещё лучше меня знаешь всю её совершенно особенную прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской ещё зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garçon, un demi!»¹ — и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, — одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел её где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но всё равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдётся какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное моё воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, всё-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью...

Я знал её ещё подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии — неудавшийся художник, любитель, как говорится,

¹ Гарсон, кружку пива! (*фр.*)

но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом — у него была усадьба в Отраде — старыми и новыми картинами, скупая всё, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростёртыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать-четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щёк, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

— Ой, ой, что за девочка растёт у меня, друзья мои! Боюсь я за неё!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде — верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл ещё один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провёл две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щёголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождём, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всём новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь неё сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упрёки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так

давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствием. — Подняла вуальку, пьёт шоколад, празднично поглядывает и всё спрашивает о Париже, а я всё гляжу на неё. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или всё парижанками увлекаетесь? — Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру её под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеётся. — Галя, — говорю, — ведь мне можно называть вас Галей? — Быстро и серьёзно отвечает: вам можно. — Галя, что с вами сделалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьёзно: — Это ещё что, то ли будет! — Ты помнишь тёмную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идёт, шурша нижней шёлковой юбочкой, и всё оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шёпотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и всё Париж... И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! — Хотите рюмочку портвейна и печений? — Не знаю... — Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял её ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? — Но я же в перчатке... — Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь неё аквамариновыми глазами тихо говорит: ну, мне пора. — Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас ещё не рассмотрел хорошенько. Сел и посадил её к себе на колени, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже лёгоньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на неё на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. — Опустив глаза, смеётся: — У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю... — И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поплёскивают... Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал — ещё немного отклонила. Пошёл по скользкому шёлковому зеленоватому чулку вверх, до застёжки на нём,

до резинки, отстегнул её, поцеловал тёплое розовое тело сначала бёдра, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мне губы...

Моряк с усмешкой покачал головой:

— *Vieux satyre!*¹

— Не говори глупостей, — сказал художник. — Мне всё это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, рассказывай дальше.

— Дальше было то, что я не видал её целый год. Однажды, тоже весной, пошёл наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но всё та же одушевлённость в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперёд вы сделали! Крепитесь, но сияет, как мальчик. — Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! — А где дочка? — Уехала в город. Вы её не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! — Вот не повезло, думаю, я и пошёл-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть её, и вот, как нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел — а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я ещё больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополёк, а целый тополь, — так оно и есть. — И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось... — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда... Пройдёмся, говорю, к морю. — Пройдёмся. — Пошли между садами переулком, вижу, всё время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с неё глаз. Идёт, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зелёной волной, всё в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждём, она, очевидно, думает то же, что и я, — как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял её за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю

¹Старый сатир! (*фр.*).

губы — старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдаётся, даёт мне их. И всё это молча — ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убеждённо говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй. Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? — спросил моряк.

— До конца не было. Целовались ужасно, ну и всё прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо... Стал нежно целовать ручки, успокоилась...

— Но как же после этого ты целый год не видал её?

— А чёрт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

— Плохой же ты был Мопассан.

— Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я её ещё с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче — эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»

— Что это вы такая весёлая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

— Не знаю. После моря всё время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и ещё вытянулась — правда?

Смотрю — правда, и, главное, такая весёлость и свобода в разговоре, в смехе и во всём обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас ещё есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу смотреть вашу мастерскую. Можно?

— Господи Боже мой! Ещё бы!

— Ну, так идём. И быстро, быстро!

На лестнице я её поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довёл её до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла...

А сама уже сдёрнула соломенную шляпку и бросила её в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая чёлка, лицо в лёгком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать

её, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с неё шёлковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде её розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул её на подушки дивана, глаза у неё почернели и ещё больше расширились, губы горячечно раскрылись, — как сейчас всё это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?

— Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

— При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

— Нет, поеду.

— Нет, не поедешь.

— А я тебе говорю, что поеду.

— Это твоё последнее слово?

— Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

— Я вам не Галя. Я вас теперь поняла — всё, всё поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь всё равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придёт в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать её, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, чёрт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось — непостижимо!

— Я хотел застрелиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошёл...

Михаил Козырев

Крокодил

Три дня из жизни Красного Прищеповска

Первый день

Председатель Прищеповского Совета, которого из уважения к высокому его званию назовём мы и впредь будем называть Степаном Аристарховичем, придя в Совет ровно в десять часов по новому времени, увидел на столе своём газету с отчёркнутой красным карандашом заметкой следующего содержания:

Из Прищеповска сообщают, что в реке Щеповке появился крокодил ростом около двух аршин. Крокодил наводит ужас на местное население.

Не поверив глазам своим, взял Степан Аристархович очки, прочёл ещё раз вышеприведённую заметку, несколько минут оставался в глубоком раздумье, а потом, преодолев вполне в его положении понятное недоверие к представителям саботирующей интеллигенции, обратился за разъяснением к секретарю.

Секретарь со смехом заявил, что крокодилы вообще в России не водятся, а если бы и водились, то подобный экземпляр вряд ли смог бы в реке Щеповке повернуться, и при этом сослался на данные буржуазной науки, что одно могло бы опровергнуть правильность его рассуждений. Степан Аристархович, наоборот, совершенно справедливо полагал, что тут без врагов советской власти дело не обошлось, что скрывается в этом сообщении намёк или предостережение, а то и сигнал, к контрреволюционному, что ли, выступлению, и, одновременно вспомнив, что доверять никому нельзя, а в особенности всякого рода секретарям, благонадёжность коих и вообще сомнительна, решил самолично за это дело взяться.

Многие видели затем, как уважаемый председатель Прищеповского Совета не шёл, а прямо-таки бежал по главной, прежде Дворянской, а ныне Советской, улице, оглядываясь, по обыкновению, назад и

озираясь, по обыкновению, по сторонам, и придерживая одной рукой портфель, а другой — револьвер.

Тем же часом взорам прищеповских граждан предстало ещё более замечательное явление: все видели, как по той же улице прошёл субъект, одетый в матросскую форму. Шёл он, размахивая руками, и громко распевал привезённую, очевидно из Питера, песенку о том, как ходила по улице какая-то «кродила» и что из этого вышло. Особенность его исполнения заключалась в том, что, заканчивая каждый куплет, он на полминуты останавливался, выделывал такой жест, словно вылавливал что в воздухе, и, выловив, сочно преподносил каждый раз новое, но всегда одинаково малопечатное слово к удовольствию прищеповских мальчишек, следовавших за этим странным феноменом на довольно-таки почтительном расстоянии.

Но вернёмся к Степану Аристарховичу. Он, как и следовало ожидать, направился в Учека, дабы лично ознакомиться сие учреждение со столь необычным в практике Прищеповского Совета делом. Но дело это, к его удивлению, новостью для Учека отнюдь не явилось: заслушав Степана Аристарховича, Учека возразило, что в некоторых случаях несвоевременное оглашение сведений, касающихся преступлений государственной важности, может повредить делу пролетариата, и Степан Аристархович ушёл нельзя сказать чтобы особенно успокоенным. Да и действительно, события только что начинали развёртываться.

Не успел он уйти из Учека, как вбежала в то же учреждение баба и по обычаю этого сорта людей безо всякого предупреждения заголова:

— Разбойники окаянные, ироды проклятые. Нет на вас креста совести.

Такое обращение понравиться уездной Чека не могло. На просьбу говорить толком, скреплённую довольно-таки выразительной угрозой, баба начала божиться, что молоко у неё свежее, только что подоила, а он подлец... и далее следовали те же отборные эпитеты. Попытка узнать, кто же её, собственно, обидел, привела к тому, что баба понесла форменную ахинею:

— Всё, говорит, он, *кродил* энтот.

Стремление же точнее установить личность кродила окончилось полной неудачей — баба чистосердечно заявила:

— Все они разбойники и большевики, и нет на них никакой управы.

Разговаривать с человеком до такой степени бессознательным, конечно, не стоило, и бабе пришлось уйти из Учека восвояси.

Но и этим дело не окончилось. Не прошло и пяти минут, как стало известно, что какой-то субъект, судя по форме, матрос, войдя в помещение советской столовой, потребовал пива и на объяснение буфетчика, что употребление спиртных напитков запрещено по всей

территории республики, ответил довольно-таки неприличной руганью. На вежливую просьбу не выражаться он удвоил количество не подлежащих печатанию слов, а когда была сделана попытка насильно вывести его из столовой, он пригрозил взорвать столовую и для очевидности присоединил к этой угрозе бомбу. На упоминание об Учeka он к первой бомбе незамедлительно присоединил вторую. Чем бы могла закончиться подобная демонстрация разрывных снарядов, трудно и предположить, но, к счастью, матрос неожиданно для всех свалился на пол и подняться, несмотря на все старания, уже не смог, что и позволило связать его и доставить в живом, хотя и бессознательном, виде в Учeka.

Становилось для всех очевидным, что заметка о крокодиле имеет свои основания: оставалось только расследовать факт, и к следствию было приступлено в тот же день и час, ибо самое дело было из ряда вон выходящим.

Начали с опроса лиц, живущих на берегу реки, совершенно справедливо полагая, что означенным лицам должно быть более всего известно о крокодиле, и с этой целью двумя красноармейцами был приведён в Учeka один из старейших рыбаков города Прищеповска. Сначала старик отнекивался, заявляя, что ни о каких крокодилах он и слыхом не слыхал, что живёт он в Прищеповске вот уже сорок лет, и все его знают, и что тёлку зарезал вовсе не он, а его двоюродный брат, да и то месяца три тому, когда и запрета не было.

Но стоило на него немножко прикрикнуть, как оказалось, что в реке действительно не всё ладно, что рыба вот уже неделю не идёт, а недавно поставил он жерлицу на щуку, и оказалась съеденной вся затравка и даже кусок жерлицы явно отгрызен. На вопрос, не думает ли он, что виною тому какая-нибудь особенно большая рыба, ему пришлось сознаться, что это возможно. На вопрос же, не думает ли он, что эта рыба и есть крокодил, он снова начал божиться, что с мошениками дружбы не водит, а что касается крокодила, то волен в том один только Бог.

Следующим свидетелям вопрос был поставлен прямо: не видели ли они в реке Щеповке крокодила — и ввиду такой откровенности дело пошло на лад. Все в один голос заявили, что оно и есть. Многие видели своими глазами, как огромный предмет ухнул в воду и по воде пошли такие круги, что, будь здесь лодка, её, конечно бы, перевернуло. Это и был крокодил — хотя некоторые тут же возражали, что это мог быть и не крокодил.

В дальнейшем выяснилось, что крокодила видели на улицах Прищеповска одетым в матросскую форму, будто бы шёл он и распевал это самое, а потом исчез — вероятно, ухнул в реку. Другие возражали, указывая довольно-таки справедливо, что матрос — как-никак чело-

век, да и слова такие загибал, каких крокодилу, казалось бы, и взять неоткуда. Откуда прищеповские обыватели были так осведомлены о быте и нравах крокодилов, неизвестно, но тождество крокодила с матросом на этом основании было тотчас же отвергнуто.

Здесь один из допрашиваемых заикнулся, что если матрос и не крокодил, то из «евоной шайки», — тут-то его и зацепили: расскажи, что знаешь о шайке. Оказалось, что шайка разбойников появилась неподалёку от Белебеева и что будто один из разбойников украл у белебеевского попа штаны, причём весьма нахально заявил, что поп почти баба и без штанов ходит. О других действиях белебеевских разбойников известно ничего не было, но языки уже развязались и остановиться не могли. Отчасти к слову, отчасти для того, чтобы выгородить себя из непонятной, но не обещающей ничего доброго истории, рассказали о том, кто спекулирует в городе мукой или сахаром, кто в не особенно лестных выражениях отзывался когда о советской власти вообще и о Прищеповском Совете в частности, и к слову было сообщено, что учителя местной прогимназии устраивают заговор, с каковой целью собираются они у бывшего прапорщика Сосункова под видом какого-то общества — «знаем мы эти общества» — и что на собраниях этих бывают представители местной буржуазии; последние тут же были перечислены поимённо.

Рассказали ещё множество очень интересных вещей, которые, к сожалению, к нашему рассказу никакого отношения не имеют. Важно одно: следствие, несомненно, выяснило, что в реке Щеповке действительно появился крокодил, что событие это находится в связи с появлением матроса, и что крокодил и матрос напущены белебеевскими разбойниками, и что разбойники эти причастны к заговору местной буржуазии и саботирующей интеллигенции. В таком смысле и был представлен доклад, рассмотрев который Прищеповский Совет постановил: крокодила из реки изъять, разбойников уничтожить, а во избежание могущих быть осложнений от буржуазии и интеллигенции взять заложников.

Несмотря на то, что заседание Совета происходило поздно ночью и самый факт экстренного его созыва тщательно скрывался, прищеповские обыватели всё-таки толклись у Совета, желая узнать, что там такое происходит. При этом передавались слухи, что в Питере будто бы восстание и что Советам вообще и Прищеповскому в частности — крышка.

Последнее так ободрило местных контрреволюционеров, что они перед самым Советом запели «Боже, царя храни». Стоявший у Совета часовой не мог стерпеть подобной наглости и, погнавшись за ними, — одного, а именно Петьку, трактирщикова сына и отъявленного спекулянта, поймал и водворил в Учека.

Второй день

Утро застало Прищеповск в волнении и оживлении невероятном. В разных местах города производились обыски и аресты: арестованы были — двое учителей, одна учительница, человек двадцать местных буржуев и сам прапорщик Сосунков. Кроме небольших запасов продовольствия, у арестованных ничего обнаружено не было — да и не в том дело. Дело в том — как писала потом газета «Красный Прищеповск»:

что тюрьма переполнилась таким ассортиментом арестантов, каких не видела она с самого своего существования: сели те, кто числился когда-то попечителем тюрьмы, кто освящал здание, служил молебны и кто ни во сне, ни наяву не думал о подобной «чести».

Одновременно приняты были меры и к исполнению первых двух постановлений Совета: послан был отряд для обследования реки на предмет изъятия крокодила, буде таковой в ней обнаружится, а другой отряд послан был в Белебеево на предмет поимки тамошних разбойников. Степан Аристархович решил заодно обследовать и железную дорогу, но тут дело не обошлось без явного саботажа: дорожный мастер наотрез отказался дать требуемую Советом дрезину, ссылаясь на какие-то там распоряжения какого-то там своего начальства. Дрезина всё-таки была взята, а старому саботажнику предоставлено право составить о сем случае протокол, если уж без этого он не мог обойтись.

Взбудоражилось и местное население: весть о появлении крокодила быстро разнеслась по городу, и с утра народ высыпал на набережную, желая своими глазами посмотреть на это невиданное до сих пор в городе Прищеповске чудо. Передавали, что крокодил успел-таки изрядно поработать, что, конечно, не без его участия была уведена у одной бабы корова — понятно, надо же и крокодилу чем-нибудь кормиться. Некоторые видели крокодила своими глазами и не особенно одобрительно отзывались о его наружности. Утверждали также, что крокодил давно в Учека и посажен туда за попытку съесть общественную столовую, но и это не соответствовало действительности; крокодил успел улизнуть из Учека и уплыл, вероятно, в реку. Шутники — при всяких, даже трагических обстоятельствах свойственно иным людям шутить — нарочно вбегали в реку, чтобы с криками «крокодил» вернуться обратно на берег. Но шутки не встречали сочувствия: настроение было тревожное и даже несколько торжественное.

В два часа экспедиция, присланная Прищеповским Советом, вернулась; надо сказать, вернулась ни с чем: в реке крокодила не оказалось. Белебеевские мужики тоже о крокодиле ничего не слыхали,

когда же им объяснили, что крокодил — это рыба величиною около двух аршин, они сразу сообразили, что такой рыбы в реке и быть не могло, иначе «наши молодцы» поймали бы её непременно и была бы она съедена всем обществом. Существования в белебеевских лесах шайки разбойников мужики не отрицали — «с городу виднее», но слышать о ней ничего не слыхали и склонялись больше к тому, что разбойники есть, но, по-видимому, смирные. Обратились к попу, который, по слухам, пострадал от разбойников, — попа дома не было, но попадья сразу вспомнила, что виновник всего — Старостин Ванька, которого она при всём народе и честила разбойником. За Ванькой был установлен строгий надзор.

Сообщения отряда настолько успокоили Степана Аристарховича, что он дал в газету телеграмму, в которой довольно-таки ядовито отозвался об осведомлённости корреспондента, поместившего крокодила в такую реку, где и щуке тесно.

Мы и забыли сказать, что ещё до возвращения отряда был расстрелян уже известный читателю матрос. От ханжи ли, от болезни ли матрос еле держался на ногах — по городу он ещё кое-как брёл, но когда его привели в лес, он идти отказался. С большими усилиями красноармейцы прислонили его к дереву и дали залп. Залп был неуверенный и неровный, и красноармейцы, даже не посмотрев на расстрелянного, поспешили вернуться в город.

Вернёмся к нашему рассказу: если Совет и его глава успокоились, то население Прищеповска успокоиться не пожелало — едва только версия о том, что никакого крокодила не существует, стала очевидной, в умах прищеповских обывателей крокодил превратился в полную и неоспоримую реальность.

Стало очевидным, что и ловили его больше для виду, потому что Совет успел как-то стакнуться с крокодилом, — а на самом деле сидит теперь крокодил у Степана Аристарховича и пьёт чай. Ходили нарочно смотреть — и действительно — сидит кто-то у Степана Аристарховича и пьёт, подлинно, чай. Баба, у которой пропала корова, сразу сообразила, что и корова у этого ирода, чтоб ему ни дна ни покрывки. Оказалось: во дворе у Степана Аристарховича действительно мычала корова.

После таких очевидных доказательств, что крокодил с совдепцами заодно, злые языки стали, уже не стесняясь, судить и рядить о действиях Совета и его председателя, вспоминая все, конечно, неизбежные ошибки и все часто необходимые крайние меры. Говорили, что у жены председателя появилась откуда-то шуба с каким-то особенным (не крокодильею ли меха) воротником, вспомнили, как были съедены пленарным заседанием двадцать шесть реквизированных у заезжего спекулянта поросят, вспомнили ещё, как Совет, постановив уничто-

жить отобранный у кого-то спирт, *собственными средствами* выполнил это постановление так хорошо, что абсолютное большинство выползло из помещения на четвереньках.

Да и в кассе оказалась недостача. А отчего застрелен матрос? Не хотят ли на него свалить эту недостачу?

Таково было настроение обитателей города Прищеповска.

В то время, ссылаюсь опять на газету, когда ответственные работники были заняты строительством пролетарского государства, враги рассыпались по городу и ядом злостной клеветы, морем провокации залили мозги обывателя, сбитого с толку массой впечатлений и слухов.

Да и не одни слухи. Прищеповская революция получила удар в спину со стороны железнодорожников. Об известном же читателю случае с дрезиной донесено было куда следует — и в результате телеграфное предписание прищеповскому Совету не вмешиваться в дела транспорта. Так центр не считается с местными условиями.

Получив такой козырь в руки, железнодорожники не замедлили открыть враждебные действия. Вечером устроено было собрание, на которое, и это уже вполне незаконно, приглашено было и гражданское население. На собрании произносились явно контрреволюционные речи — и даже Степану Аристарховичу не дали сказать ни одного слова и чуть не вытолкали из собрания.

Постановлено было избрать комиссию для расследования будто бы происходивших в Совете злоупотреблений. Среди публики находились и некоторые из прищеповских купцов, которые тут же вели агитацию за свободу торговли, уверяя простодушных обывателей, что будь их власть — хлеб дороже двадцати не стоил бы.

Контрреволюция подняла голову и выявила свою классовую природу. Надо было действовать, и действовать решительно. Степан Аристархович на свой страх и риск сообщил в губернский центр о начавшемся контрреволюционном движении, прося немедленной помощи, так как на свои силы он не рассчитывал.

И он оказался прав.

Но, чтобы не забегать вперёд, отметим ещё один или, лучше сказать, два факта: во-первых, Степан Аристархович видел крокодила собственными глазами — крокодил будто бы стоял у столба и щёлкал, будто бы от холода, зубами. И во-вторых, в городе появился расстрелянный однажды матрос. Прошёл он по городу тем же путём, что и в первый раз, но уже не пел и не ругался, а стонал и вздыхал, жалуясь на простреленную будто бы руку. Подойдя к красноармейской казарме, он робко постучал в окно: окно открыли и слышали явственный

шёпот: «Пустите, товарищи, ночевать...» Конечно, его, как покойника, не пустили, но появление мертвеца чрезвычайно взволновало прищеповцев. <...>

Несмотря на позднее время, устроили они собрание и на собрании этом, присоединяясь к решению железнодорожников, постановили произвести ревизию совдепа и, во избежание могущих быть неожиданностей, председателя совдепа арестовать.

Тщетно пытались ответственные работники отговорить красноармейцев от этого могущего стать роковым шагом; они твёрдо стояли на своём. Степан Аристархович поднят был преждевременно с постели и помещён под стражу в собственном своём кабинете. Вопреки ожиданиям, при обыске у председателя Совета ничего не нашли, что ещё и лишний раз подтвердило неосновательность наветов буржуазии на ответственных представителей советской власти, твёрдо стоящих на страже завоеваний революции.

Само собой разумеется, что и экспедиция в Белебеево не прошла бесследно. Сначала догадливые мужики пытались разыскать ту удивительную рыбу, за которой приезжали из города комиссары, но рыба эта была уже, по-видимому, кем-то поймана. Тогда мысль направилась в другую сторону: не нашедшие рыбу комиссары захотят хлеба — за хлебом они и пожалуют в Белебеево не сегодня-завтра и отберут всё до последнего зерна, как это и было в соседней волости.

Но почему тогда они на этот раз о хлебе ничего не говорили? По-видимому, их было мало, вот они и спрашивали о разбойниках, чтобы с ними сговориться и вместе нагрянуть на Белебеево.

Хлеб было решено не отдавать, и начали потихоньку вооружаться. В газете «Красный Прищеповск» по этому поводу напечатано:

В связи с начинающимся контрреволюционным движением, когда известные лица и классы, ещё не добытые восставшим пролетариатом, стали заметно шевелиться, в один тон с ними закрипели и смазные сапоги прищеповских кулаков.

Третий день

Арест Степана Аристарховича не успокоил, а скорее усилил всеобщее брожение умов. Никто в Прищеповске не поверил, что у председателя совдепа ничего не нашли: говорили о пудах обнаруженного будто бы сахара, о кипах припрятанной мануфактуры. Показывали даже кость, найденную неподалёку от дома Степана Аристарховича: несомненно, что кость эта принадлежала съеденной вчера, совместно с крокодиллом, корове, тем более что оказалась она частью её, коровьего, черепа.

Были довольно-таки смутные слухи, что будто бы движутся из Белебеева мужики, вооружённые вилами и топорами, грозя и самый совет стереть с лица земли, но двигались они медленно, да и куда было им торопиться.

А в Совете кипела работа. Спешно писались повестки по волости с требованием прислать представителей для производства ревизии. На подпись эти повестки были даны тому же Степану Аристарховичу, и он их, не задумываясь, подписал. Да и вообще неудобства того, что председатель находится под арестом, заставили дать ему некоторую свободу, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей, тем более что надвигавшаяся в виде белебеевских мужиков гроза требовала большей сплочённости и взаимного доверия между ответственными представителями советской власти.

А в городе между тем нарушался самый элементарный порядок. У Совета стояла толпа, требовавшая ни более ни менее, как выдачи самого крокодила, а небезызвестный уже матрос ходил по городу и даже заговаривал с отдельными гражданами, будто бы прося у них хлеба и будто бы жалуясь на простреленную руку, но на самом деле демонстрируя бессилие советской власти. И было о чём волноваться, если даже не помогли и панихиды, отслуженные местным попом за упокой души раба Божьего «имя же его ты, Господи, веши»...

Во что бы вылились нараставшие час от часу события, трудно и предположить, если бы не приезд, и внезапный (Степан Аристархович забыл предупредить товарищей), отряда из губернского города не разрядил тревожную атмосферу.

В двенадцать часов дня brave красноармейцы рассыпались по городу, наводя одним своим видом трепет на контрреволюционный элемент и в то же время восхищая сердца всех искренних сторонников рабоче-крестьянской революции, —

читаем мы в газете «Красный Прищеповск». Даже как марксисты отрицая роль личности в истории, мы не сможем отрицать, что личность начальника отряда в истории революционного Прищеповска сыграла не последнюю роль. Можете вы себе представить внушительного воина в кожаной куртке, с двумя револьверами за поясом, офицерской шашкой сбоку, винтовкой, небрежно перекинутой через плечо, опоясанного крест-накрест пулемётной лентой, — и если вы сможете его себе представить, то вы представите и впечатление, произведённое им на возбуждённое и будирующее против власти население.

С этого момента тёмные силы почувствовали над собой грозную и карающую руку пролетарской диктатуры («Красный Прищеповск»).

В городе немедленно был водворён революционный порядок. На стенах, на столбах, на заборах появились афиши, объявляющие военное положение. Запрещено было выходить без документа после восьми часов вечера — и хотя в восемь часов, да ещё по новому времени, солнце в Прищеповске стоит довольно-таки высоко и приказа впоследствии никто не выполнял, но всё ж и он произвёл своё отрезвляющее действие.

Приказ сопровождался угрозой предания военно-революционному трибуналу, что и было произведено над трактирщиковым сыном Петькой и прапорщиком Сосунковым, как идейными вдохновителями и руководителями мятежа. Петька был несомненный контрреволюционер, но в отношении прапорщика Сосункова были и разногласия, но в конце концов было справедливо решено, что хотя он и не принимал в мятеже открытого участия, но как бывший офицер должен был это сделать в силу своих классовых интересов, — и оба они были отправлены в губернский центр.

И дальше — на чьём-то огороде был найден в бесчувственном состоянии матрос: на этот раз он был расстрелян уже собственноручно Степаном Аристарховичем во второй, и надо надеяться — в последний раз. Энергией начальника отряда найдена была даже пропавшая у бабы корова, что послужило окончательным доводом неосновательности злостных выпадов против Прищеповского Совета и его председателя. Тем самым отпала необходимость в производстве ревизии; по волостям срочно было разослано новое предписание: о необходимости быть наготове ввиду готового с минуты на минуту вспыхнуть кулацкого восстания. Все граждане приглашались дать вооружённой рукой отпор противникам революции.

Оставалось только покончить с белебеевскими разбойниками.

Белебеево находилось в расстоянии не более четырёх вёрст от Прищеповска, и потому воззвание было получено там в тот же день и час и не замедлило оказать своё действие. Белебеевцы, ещё ранее начавшие вооружаться, выступили в поход и остановились на дороге, ведущей в город, поджидать врага. Прослышавшие же неведомо какими путями о могущем произойти у Белебеева сражении собрались неподалёку, не только мужики, но и бабы, и малые ребята: все они с нетерпением ждали битвы, готовясь каждую минуту перейти на сторону победителя.

Ожидали недолго. Скоро со стороны Прищеповска появился вражеский отряд. Белебеевцы дали залп. Отряд выстроился в боевом порядке.

В газете «Красный Прищеповск» события эти описаны следующим образом:

Отряд, полный решимости научить мятежных кулаков признавать власть трудового народа, двинулся в направлении на Белебеево. Встреча произошла на опушке леса. Как и следовало ожидать, отряд был встречен залповым огнём, причём у некоторых красноармейцев были прострелены шинели. Тогда кулацкая цепь была обстреляна пулёмтным огнём, а для рассеяния находящейся на другой стороне многотысячной толпы открыта была ружейная стрельба в воздух, дабы избежать невинных жертв.

Толпа моментально в панике разбежалась, и сразу же дрогнул отряд кулаков, рассеявшись в лесу и по болоту.

Белебеево было занято, таким образом, без боя. Немедленно же начальник отряда выпустил воззвание, в котором подробно излагал причины, а также историю белебеевского заговора, руководимого, несомненно, кулаками, с целью вернуть власть помещикам и капиталистам, и содержались призывы к повиновению своей собственной власти.

Но всякая охота к восстаниям была отбита у белебеевских контрреволюционеров. Рассеявшиеся в лесу и по болоту кулаки вернулись в село раньше, чем отряд, боявшийся засады, вошёл в Белебеево, и, вероятно, сознав свою ошибку, первыми исполнили просьбу о сдаче оружия. Некоторые из них всё же были арестованы и переданы в губернский центр, в том числе известный читателю разбойник Ванька.

Подавив кулацкий мятеж и восстановив советскую власть в Белебееве, отряд с развёрнутыми красными знамёнами вернулся в Прищеповск, честно и доблестно выполнив свой святой долг защитить угнетённых («Красный Прищеповск»).

Так полной победой правого дела окончилась эта трагическая эпопея, грозившая одно время гибелью всем завоеваниям революции. Но о крокодиле, несмотря на наступившее вслед за отъездом отряда успокоение, говорили ещё долгое время. Правда, он ни на улицах города, ни в реке более не появлялся, но были смутные слухи, что до сих пор переплывает он из города в город, совершая всюду своё тёмное дело, и добрался, говорят, до столицы, но все эти разговоры велись теперь с некоторой опаской и сопровождались самыми неопределёнными жестами в направлении на Учека.

А. Н. Толстой

Диалоги

На перекрёстке

- Послушай! Подожди.
- Здравствуй!
- Куда ты бежишь?
- Да, говорят, надо убегать. Бегу.
- Что случилось?
- А чёрт его знает. Что-то случилось...
- Стреляют?
- Нет... Кто-то пришёл, понимаешь. Какие-то войска вошли.
- Откуда? Из порта?
- Говорят — из порта и с вокзала.
- Чьи войска?
- Одни говорят — тибетские какие-то, другие говорят — из Никарагуа. Во всяком случае — ориентация неизвестна.
- За кого же они, а?
- Почём я знаю. Знал бы — не бежал.
- погоди минутку. Ты сегодня как думаешь насчёт добровольческой армии?
- Продолжаю опасаться.
- Чего?
- Молчания генерала Деникина. Почему он молчит? Почему ему открыто не сказать мне — так, мол, и так. В ту же минуту я беру винтовку и иду сражаться за единую, великую...
- А что именно так и так?
- Ну, братец, ты осёл. Нужно, чтобы генерал Деникин твёрдо и решительно мне обещал: единую, великую Россию, демократическое самоуправление, понимаешь, самую широкую федерацию, охрану частной собственности, порядок, и чтобы он мне этих спекулянтов за ребро крючком да на фонарный столб...
- Ради Бога, тише!..
- А что такое?

- Ничего. Прощай.
- Ну, прощай.

В столовой за остывшим самоваром

- Осип, опять стреляют.
 - Это не у нас, в переулке.
 - Закрывать бы ставни, Осип.
 - Всё равно прошибёт.
 - Это налётчики стреляют или дружинники?
 - Не приставай, видишь — я читаю газету.
 - Самовар остыл, а углей нет.
 - Карахан заболел испанкой. Отлично!
 - Осип...
 - Ну что тебе?
 - Что такое — Карахан? Ты всё сегодня — Карахан да Карахан.
- Ой, Осип! Под самым окном...
- Да, шарахнули.
 - С Веры Ивановны вчера пальто сняли на Куликовом поле. Домой пришла босиком. Доктора звали.
 - Не шляйся по ночам... Вильгельма казнить хотят.
 - А говорят, стали продавать чай из сушёной моркови. Многие хвалят.
 - Ещё революция.
 - Где?
 - Не разберу, слово смазано. В какой-то Бр... Какая страна на бр?
 - Кто её знает? Разве всё запомнишь? Вот уехать бы нам, Осип, весной на щелочные воды, ужасно хочется.
 - Ну, матушка, нынче все воды прокисли. И дома посидишь... Ага!
 - Что ещё?
 - Сожгли живьём совдеп. Молодцы!
 - А электричество сегодня горит и не тухнет. Не глазить бы.
 - Да, Мария, как ты хочешь, а я за добровольческую армию. Понимаешь, — я до последней капли крови желаю защищать завоевания революции — все свободы, я демократ. Но, с другой стороны, я всё-таки за великую Россию. Подожди, я ещё возьму винтовку. Пойду и запишусь в добровольцы, честно слово.
 - Осип.
 - Молчи!
 - Отошел бы ты от окошка.
 - Подай мне холодного чаю. Сегодня встречал французские войска, вот это народ! Не то что мы — сидим, распустили губы. Я, ма-

тушка, дай срок, не посмотрю, что ты у меня на шее висишь с тремя мальчишками. Пора всем взяться за оружие. Довольно слов! Стыдно!..

— Осип, а кто такие эти петлюровцы, на самом деле?

— Петлюровцы — это тоже русские. Хотя чёрт разберётся во всей этой чепухе, фу ты, гадость! Маша, Маша, где у нас спички! Опять потухло, проклятое...

Бах! Бах! Бах!

— Осип, у Янкелевича налёт.

— Если у Янкелевича — значит, не у нас. Идём спать. Надоело. Я давно говорю: к нам бы сюда — хорошего губернатора с ежовыми рукавицами...

Покойной ночи.

В гостинице, за стеной

— Войдите, Софья Тимофеевна! Откуда?

— Прямо из Москвы.

— Ну что в Москве? Рассказывайте.

— Ах, душенька, и рассказывать нечего. Всё запрещено.

— То есть как всё запрещено?

— Вот — последним декретом запрещены диваны.

— На чём же лежать прикажете?

— В декрете так и сказано: днём все должны ходить или в крайнем случае сидеть на жёстком, но отнюдь не находиться в лежачем положении.

— Вот это коммунизм.

— Я так сказала комиссару, когда брала паспорт.

— А он что?

— Скривился, промолчал.

— Ну, а ещё что?

— Налог на ванны и на образа.

— Этого ещё не хватало! Чем им ванны и образа помешали?

— Одни разнеживают тело, другие душу, так сказано в декрете.

— Ещё что?

— Нет магазинов, никаких.

— Какой кошмар, оставьте!

— И на всё карточки.

— Как? И на пудру?

— И на пудру.

— Бедная, бедная Россия. Подождите, Софья Тимофеевна, мы ещё покажем, что нельзя безнаказанно издеваться над целым народом. Я вам могу сообщить много утешительного. Неужели вы способны обогреть руки в крови?

— Способна, душечка.

— А я так устала от ненависти, от кровожадности. Подумайте — целый год жить одной ненавистью? О любви и пикнуть нельзя. Разве хватит на такое испытание женского сердца?

— Не нужно плакать. Прилягте. Неужели большевики так-таки не способны любить? Клянусь вам, их дни сочтены.

1918

«На Святках суженый»

— Пожалуйста, Алексей Николаевич, напишите фельетон.

Так мне сказали.

— Ради Бога, голубчик. Какой же я вам напишу фельетон? Я и не умею, и не знаю, о чем. Как это — взять и написать то, о чем, именно в этот день, думают одесситы. Нет, нет. Одесса — загадочный город. Я отказываюсь.

После этого происходит длинный и сложный разговор. Рядом, в свою очередь, говорят по-английски, по-французски, по-русски, по-немецки, по-гречески, по-еврейски, по-румынски и ещё по-какому-то.

Всё это происходит на вавилонском месте, в кафе. Наконец, я сдаюсь. Я говорю сквозь зубы:

— Ну, а тема?

Собеседник делает рукою жест, точно ловит воздух:

— Останется ли в Одессе след от пребывания москвичей? Вот!

Подумав, я ответил по совести:

— А я почём знаю.

В тот же вечер бессонный дух занёс меня в Дом артистов в ту именно минуту, когда на паркете между раздвинутыми столиками в бешеном и лёгком танце кружилась, как язык чёрного пламени, Воронцова-Ленни.

В ложах обоих ярусов под цветными абажурами ламп сидели все будто бы знакомые и будто незнакомые лица.

Вон тот — в черкеске с кинжалом, вон тот — поседевший и согнутый с молодым лицом, вон та дама, одетая с жалкой роскошью, вон тот, с остатками жёлтой краски на волосах и бритый, но, ей-Богу, я его не

знаю. Ба, да это всё москвичи, весёлые когда-то посетители премьер, радушные хлебосолы, шумные спорщики, исконные славянофилы, неискоренимые патриоты. Кто-то из них поднялся с бокалом и кричит через всю залу:

— Господа, за встречу в Москве!

Кричат: «За встречу!» И капают в стакан пьяные слезы.

За столиком один, схватив другого за руки и дыша в лицо:

— Жить, ну скажи, жить я могу, если её нет? Ты только вдумайся — Москвы нет, кончена. А?

И на улицах у всех — точно маски, весёлые маски с глубокими морщинами страдания, и видно, что веселы они только на час, выйдут на сырой, морской воздух — осунутся, погаснут. Рядом за столиками и в ложах сидят одесситы. Их лица выжидающие, внимательные.

Они тоже чокаются и пьют за Москву, но если бы я мог, как мой давешний собеседник, горстью ловить в воздухе вопросы и вопросики, то услышал бы:

«А какой след останется от вас, господа москвичи? Что существенное и важное оставите вы нам, когда начнёте перелёт журавлиный на север?»

Другими словами: что должно родиться от гражданского брака Москвы с Одессой? Но для этого нужно точнее разобраться — кто из нас муж, а кто жена?

Одесса, конечно, желает быть супругой, то есть понести в чреве некоего культурного младенца. Москва же (в лице её наличности) стремится тоже быть супругой, но с целями несколько иными: отдохнуть на груди, выплакаться в жилет, собраться с духом и с силами.

При таких взаимоотношениях надежды на потомство очень мало, и не мудрено, что все эти вопросы волнуют город.

«Ну, а что, — как думает одессит, — ну, а что, кроме трогательных речей, выпитого вина, слёз в бокалах да добрых пожеланий, останется у нас, когда окончится маскарад, разъедутся ряженые? Шум в голове, да воспоминания, да сожаления».

Да, мой давешний собеседник, вы поймали в кафе не вопрос и не вопросик, а целую проблему, и не только одесскую или херсоно-николаевскую, а всероссийскую, всемирную.

Как с наибольшей выгодой использовать великое смешение, смешение и перегруппировку мировых культур?

Но здесь не место таким отклонениям. Одессит вправе волноваться: весною двинутся на север танки, и вместе с шумом войны, удаляющейся от заставы первой на Москву, окончится беспримерный в жизни Одессы год, когда город, точно волшебством, начинает превращаться в столицу, в умственный, коммерческий, военный и политический центр.

Налицо имеются: университет, газеты, растущие, как грибы, книгоиздательства, театры, армия безработных актёров, армия безработных промышленных рабочих и вообще северяне, рыдающие за неимением дела в стакан с вином.

Нужно раздвинуть город, дать работу рукам и головам, всем этим с огромной быстротой накапливающимся силам, закрепить их так, чтобы пустили корни.

Таковы задачи одесситов. И, как знать, — будущее темно, — быть может, на наших глазах — начало перемещения к югу, к тёплому морю всей русской культуры.

Нагадали себе на святках суженого-ряженого, он пришёл, выпили, поплясали — пора и за дело.

Иначе не вышла бы банальнейшая история: жених сопьётся и даст стрекача, поди его потом ищи, кланяйся.

Георгий Шенгели

Чёрный погон

<Фрагмент>

...На принимающем нас молу — толпа. Не былая тысячеголовая крикливая толпа грузчиков, носильщиков, комиссионеров, а сумрачная куча неопределённого вида людей, которые явно сами недоумевают — зачем они здесь столпились.

В сторонке — шеренга двухколёсных тачек.

— Революционные извозчики, — острит кто-то.

Пароход ошвартован, сходни брошены, стал сверкающий погонами кордон.

— Предъявляйте документы!

Три тысячи пассажиров, оказывается, межпалубные помещения и даже некоторые трюмы были полны, липким тестом продавливаются меж перилами сходен. Здесь выходят все. Проверки документов на самом деле нет: офицер кидает быстрый взгляд на развёрнутую перед ним бумажку и поворачивается к следующему.

Мне как-то со стороны становится досадно: такая расхлябанность, у нас бы... Но если «у них» такая расхлябанность, то почему мне «досадно»? Неужели где-то, в самом потаённом уголке души, я всё-таки желаю успеха «им»?

Но скорей, скорей, нечего заниматься самоковырянием.

После качки слегка колеблется под ногами земля, мой чемоданчик лёгок, и никто не предлагает мне услуг. Но вижу, что и к тем, кто кряхтит под тяжестью узлов и корзин, не суются с предложениями носильщики и тачечники. Что здесь? Трудовое самолюбие? Но какое тут самолюбие, если какой-то жирный прохвост, наворотив на тачку десяток корзин и свёрток в засаленном ватном одеяле, сам взгромоздился сверху, и ободранный «рикша», вздуваясь шейными жилами, повёз его по неровным булыжникам мола. Правда, это исключение: на дикую группу показывают, смеются, но и только, — у нас бы давно корзины лежали на мостовой, а пассажир не знал бы, куда бежать...

Или это влияние англичан? Они ведь привыкли к рикшам...

Подымаюсь в город. Он по-прежнему великолепен своими прямолинейными улицами, безвкусной, но щегольской архитектурой гро-

манных домов, трёхсаженными зеркальными стёклами витрин. Нигде ни следа уличных боёв, бомбардировок, взрывов. По широчайшим панелям течёт и завивается в водовороты ладно одетая толпа. Исчезли только котелки еврейских маклеров, золотые пуговицы студенческих тужурок. Офицерские кителя и френчи — тех много. Много нерусских униформ: сербские зелёные пирожки на головах, стрекозьё голена-стость английских обмоток, дурацкие петушьи хвосты берсальеров¹. Вон саженным шагом пробежал гигант-шотландец в клетчатой юбочке, в толстейших чулках, вызывая хохот мальчишек и восхищённые взгляды женщин. Вон под странную музыку промаршировал и скрылся за угол взвод английской морской пехоты...

Англичане, по-видимому, хозяева здесь и, во всяком случае, диктаторы моды: у всех фланёров — щегольские трубки, и в тёплом ещё воздухе висит золотой запах кэпстена.

Я пересекаю Соборную площадь. Слышу за собой крик. Иду. Крик усиливается, различаю:

— Борода, стой!

Обернувшись, вижу, что три офицера машут руками и бегут, по-видимому, за мною. Надо остановиться. Я не ошибся: ко мне.

— Кто вы такой?

Я называю машинально своё настоящее имя и холодею.

Напрасно: им это имя знакомо: я — «известный критик»; о «комиссаре искусств» они не знают. Все-таки, не спрашивая бумаг, они внимательно всматриваются в меня. Один буквально водит носом по моим бакенбардам: не наклейная ли борода? Убедившись в бесспорности моего украшения, они с извинением отпускают меня; к большому разочарованию уже собравшейся толпы.

Но из толпы отделяется бритый юноша с лицом кинематографического злодея и шагает ко мне. Это ещё кто?

— Позвольте представиться: Танцфельд, поэт и сотрудник «Черноморских новостей».

Я, конечно, очень рад, но дело в том, что я только что приехал, спешу и лишён возможности сразу окунуться в литературную жизнь города.

Танцфельд всё это понимает. Но я должен ему разрешить напечатать заметку о моём приезде, и быть может, я назначу ему час и место для интервью.

Чёрт его возьми: не разрешить — всё равно напечатает (гонорар-то на земле не валяется), да ещё и выругает.

Благодарю, разрешаю, а насчёт интервью — время терпит, я сам, конечно, побываю в редакции...

¹Берсальеры — итальянский корпус стрелков и егерей.

Но Танцфельдувязывается со мной и начинает читать мне свои стихи, шеголяя гипердактилической рифмой. Стихи недурные.

Постепенно моя профессия начинает сказываться, я заинтересовываюсь, задаю вопросы и выясняю, что в городе уйма литераторов из Москвы и Питера — и академик Шевелёв, и Юстиниан Хорватов, и Андрей Енот, и Семён Смушкевич, и Пётр Рыльский, и Тарас Сагайдачный, и «целая плеяда» местной блестяще-талантливой молодёжи... Танцфельд сыплет именами блестяще-талантливой молодёжи, захлёбываясь, читает стихи этих ребят, и мне странно видеть в пронырливом репортёре страстную, болезненную любовь к поэзии, несомненное чувство слова и тонкий вкус, да и сами образцы положительно хороши. Этакая подъёмная романтика во вкусе Кольриджа...

Очевидно — судьба: придётся мне встретить старых знакомых, придётся ввязаться в борьбу «Зелёной лампы» с «мистиками» и с «неофутуристами».

Прописаться я смело могу по подложному паспорту: не многие знают, что моё литературное имя, довольно звонкое внешне, — настоящее имя, а не псевдоним. Затем здешние газеты и журналы совсем не проникают туда, откуда я бежал, мало шансов, чтобы Курицын пронохал обо мне.

Но откуда здесь такое литературное цветение? Что столичные сюда прикатили — ясно. Но здесь? Эта высокая культура, это изобилие одарённых людей? И ведь в стихах — ни слова о революции, ни отзвука на сумасшедшую встряску событий. Значит, «колониальное» положение этой окраины, где перебивали войска семи европейских держав, где раз десять менялась власть, нисколько не помешало культурному подъёму? Гм, над этим надо подумать.

Я прощаюсь с Танцфельдом и уже всерьёз обещаю ему заглянуть в ближайшее время в редакцию.

Ближайшие выводы: надо сбрить бороду, которая только привлекает внимание; надо подумать — что мне ближе: революция, творчество нового мира, или... литература во вкусе Кольриджа. Ой, боюсь...

Что я, однако, за дрянь безличная...

Старая Рыбная, 47, 11. Да, именно в эти ворота я входил восемь лет назад, после моего сумасшедшего побега с Ольгой, униженно просить денег на обратный билет.

Здесь жил и, вероятно, теперь живёт мой дядя. Он человек консервативный, навряд ли переменял квартиру, если не умер.

Подымаюсь по лестнице. Звоню.

Открывается дверь, и передо мной прямой как зонтик, и крепкий как сухожилие возникает дядя.

— Что вам угодно?

Мне становится весело: так холодно и пронизывающе смотрят на меня голубые глаза, так непоколебимо респектабельно серебрится ровнёнькая бородка. Я помистифицирую дядю: пусть в другой раз узнает родных.

— Во-первых, — закусить, затем поспать, а потом думаю бороду снять: бритва у вас найдётся?

Дядя вдруг начинает пятиться. Ровный, сухопарый, не сводя с меня немигающих холодных глаз, он шаркающими шажками относит себя вглубь прихожей.

Тьфу, как бы его удар не хватил!

— Дядя, да неужели не узнаете? Ведь это я...

Дядя вновь наплывает к первому плану, всматривается, потом пергаментно, не говоря ни слова, целует меня в усы. Потом говорит, не шевеля губами:

— Пойдём, накормлю.

Я иду за ним, и на пороге следующей комнаты он вдруг оборачивается и так же застыло роняет:

— Только считаю необходимым предупредить, дабы не возникло никаких недоразумений, которые столь печально отражаются на родственных отношениях, особенно ценных в переживаемое нами ужасное время, что я тебя содержать не могу.

Узнаю дядю — и его абсолютно точную речь.

Своей манерой говорить он, несомненно, сократил жизнь множеству иностранных капитанов, пунктуально и досконально объясняясь с ними в таможне. Имя моего дяди столь же популярно среди моряков, как имя Летучего Голландца, и встречи с последним моряки боятся, вероятно, не более, чем встречи с дядей, я только однажды присутствовал при дядином официальном разговоре, — и в середине беседы капитан какой-то русской шхуны, побывавшей в Пирее, бия себя в грудь, возопил:

— Девять лет плаваю — впервые такого таможенника вижу. Поймите: у меня рот засох с вами разговаривать.

— Итак, продолжим, — хладнокровно перебил его дядя.

Я успокаиваю старшего в нашем роде: его бюджету не грозит потеря равновесия. Я к нему всего на несколько дней, пока отыщу себе подходящую комнату. Деньги у меня есть, и свою долю я внесу. Но где тётка, где кузина?

— Они сейчас живут в деревне, — официально уведомляет меня дядя, — как тебе, должно быть, известно, живительный воздух полей благотворно действует на бронхи и лёгкие, а моя дочь и твоя двоюродная сестра Елена ещё с детских лет...

— Да, да, я знаю, — прерываю я дядю. — Лёля всегда была слабого здоровья.

— ...страдала катаральными явлениями, локализованными в верхушке левого лёгкого, — доводит речь до точки дядя.

Пока я просматриваю местную газету, дядя хлопочет насчёт чая. Я искоса наблюдаю за ним. Он не спеша передвигается, аккуратно достаёт посуду, провизию, и всё это расставляет на столе с такой точностью, будто на клеёнке обозначены места для каждой тарелки и стакана. Налив в мензурку сколько-то кубических сантиметров спирта, он разжигает примус, водружает алюминиевый чайник и, усевшись у стола, устремляет на меня пронизательный взор, я жду расспросов. Но расспросов нет. Дядя ровно говорит:

— У меня два чайника: алюминиевый, стоящий сейчас на примусе, и эмалированный, по-видимому — железный, который ты можешь увидеть в буфете. Я задался вопросом: в котором из этих чайников вода быстрее нагревается до точки кипения и, следовательно, который из этих чайников требует меньшего расхода газа? В переживаемое нами ужасное время, конечно, все расходы и издержки должны быть доведены до минимума. И вот...

Дядя с полчаса рассказывает мне, как он отмеривал воду и газолин, как давал одинаковое давление, считая количество движений насоса, как с секундомером следил, сколько минут и секунд потребно для закипания. Наконец выяснилось, что алюминиевый чайник закипает в среднем (дядя не принимал во внимание исходную температуру воды) на сорок секунд быстрее. При двукратном же ежедневном кипячении за десять лет это составит экономию в восемьдесят один час.

Я соглашаюсь с дядей в том, что это весьма значительная экономия, и подаю ему новую мысль, что соответственно уменьшается количество вредных продуктов горения, выделяемых примусом в воздух. Дядя воодушевляется и начинает вычислять сумму расходов на Доверовы порошки и аnisовые капли, которыми приходилось ему врачевать ослабляемые продуктами горения бронхи и лёгкие.

Чайник давно кипит, извергает твёрдую струю пара, но я никак не могу прервать ток дядиной статистики и бухгалтерии. Наконец он спохватывается. Чайник выкипел наполовину. Дядя рассудительно доликает его и успокаивает меня тем, что извергнутый пар способствует увлажнению воздуха, что в этом районе, столь удалённом от житейского дыхания моря, существенно важно.

Наконец чай готов. Дядя наливает себе сразу четыре или пять стаканов, так как чай очень полезен в нисходящей градации температур, и кроме того, после финального, почти остывшего, стакана труднее простудить бронхи, мне предоставлено распоряжаться самому. Распоряжаюсь и гляжу, как дядя остреньким перочинным ножиком со штампованным Толстым на черенке аккуратно отрезает пластинки хлеба, срезает корочку и принимается запихивать мякиш в рот, где

ослепительно белеют целёхонькие, несмотря на шестьдесят дядиных лет, тридцать два зуба. Он никогда не ел ничего твёрдого.

После чая дядя моет и прибирает посуду, садится к своей конторке, извлекает из ящика пачку исписанной бумаги и торжественно говорит:

— А вот моя революционная деятельность. Это лекция, которую я прочитал таможенным досмотрщикам восемнадцатого марта тысяча девятьсот семнадцатого года христианской эры. Я тебе её прочту.

Смотрю с ужасом: толстенная пачка, листы с четырёх сторон исписаны изумительным бисером дядиного почерка. Но что делать? Дядя читает:

— «Республика» — слово латинское, состоящее из двух слов: «рес», что по-русски значит — «дело», и «публика», что значит — «общественный». Следовательно, слово «республика» означает «общественное дело». Какое же дело мы называем общественным?...

Чтение длится два с половиной часа.

— Ну как? — спрашивает дядя.

— Очень обстоятельно, — говорю я, заминая в пепельнице тридцатый или сороковой окурочок, — только мне кажется, что досмотрщикам она не могла быть вполне доступна — ваша лекция: она рассчитана на очень квалифицированного слушателя.

— Лектору ни в коем случае не должно спускаться до своей аудитории, но наоборот: всемерно подымать её до себя, — снисходительно поясняет дядя.

Меня всё-таки очень интересует, как же такой человек относится к настоящей революции? Как в его пергаментном мозгу отпечатались исступлённые события последующих лет? Я задаю наводящие вопросы.

Оказывается, у дяди, у этого точнейшего систематизатора, прекрасного аналитика, шутя справляющегося с анализом самых запутанных балансов, — полный ералаш в голове. Его воображение раз навсегда ушиблено тем обстоятельством, что «цена на печеный хлеб доходила до тридцати рублей за фунт». И лавина этих тридцати рублей сплющила для него в один ком большевиков и петлюровцев, австрийских оккупантов и григорьевские отряды¹, спекулянтов и налётчиков. Ему кажется, что весь мир соединился со специальной целью затруднить ему жизнь и перевести его с белого хлеба («а по вечерам всегда были франзоли»²) на серый, потом на чёрный, потом на мамалыгу «и едва ли не на макуху».

Обратное движение, — при добровольцах белый хлеб стоит всего пять рублей, — ему нисколько не импонирует. Главнначальству-

¹То есть отряды атамана Николая Александровича Григорьева (1885–1919), поднявшего в мае 1919 г. мятеж внутри Красной армии.

²Так в Одессе назывались булки «с гребешком», которые в других российских городах именовались французскими.

ющий, генерал Стерлинг, — несомненно, жулик и спекулянт, раз не может распорядиться продавать хлеб по пятаку, как всегда было в нормальное время.

Моё возражение насчёт падения курса дядя быстро отводит:

— Тогда и получаемый мною оклад жалованья должен был бы возрасти до двадцати семи тысяч рублей в месяц, я же получаю всего тысячу двести.

Я пытаюсь вновь свести разговор к основным вопросам — никак: дядин кругозор не расширяется дальше глубокого вопроса: почему Шапирштейн с самого раннего утра уже знает, что ему надо накинуть на квартиру керосина полтинник?

В конце концов, дядя полагает, что в основе основ — кагал. Кагал затеял войну, кагал давал директивы Вильгельму и Николаю, кагал снабдил оружием петлюровцев, кагал послал красные войска, кагал послал белые войска, кагал диктует цены Шапирштейну и кагал же ревностно следит за тем, чтобы дядя нигде не мог достать целлулоидных воротничков «монополь», а принуждён был носить требующие стирки и ввергающие, следовательно, в расход полотняные.

Затем дядя излагает свои воззрения на идеальный государственный строй. В общем — править государством должны мудрецы.

Я советую организовать «партию мудрых» и добиваться установления идеального строя. Но дядя находит, что треволнения политической жизни не по нём:

— Я человек кабинетный и созерцательный. В нашем роду было немало учёных. Мой двоюродный дед, а твой прадед, например, написал учебник по итальянской грамматике — для благородных девиц. Я предполагаю вскоре засесть за мою Историю Малороссии.

Вспоминаю, что разговор об Истории Малороссии был ещё в одиннадцатом году...

— Кроме того, я нужен моей семье, — продолжает отбрасывать от себя политику дядя, — хотя моя жена, а твоя тётка, Мелания — женщина с ужасным характером, и, если бы не моя железная выдержка, я давно уехал бы на Мадагаскар, куда меня влечёт с юности.

Затем дядя демонстрирует мне свои пружинные брюкодержатели, свои автоматические пуговицы, которые не требуют пришивания и не отрываются, а если отрываются, то «с мясом», свою трость-стул и прочие достижения индивидуального комфорта.

Наконец дядя снисходит и к моей персоне, предлагая рассказать о себе. Но куда там: я совершенно измучен и прошу указать мне ложе. Дядя указывает, но, прощаясь со мной, всё же вопрошает:

— Ты женат?

И, получив отрицательный ответ, даёт художественную концовку дню:

— Тогда, во избежание недоразумений, пагубно отражающихся на родственных отношениях, считаю нужным предварить, что разрешить тебе приводить сюда женщин я не могу.

Он прикрывает дверь моей комнаты и удаляется, я долго слышу, как он шелестит бумагой и разговаривает сам с собой.

* * *

Уже третий день как я сдыхался от дяди. Несмотря на его железную выдержку и мою голубиную кротость, мы всё-таки погрызлись. Дядюшка прочитал в газете заметку о моём приезде и нашёл, что «трепать имя своей семьи в уличной прессе» я не имею права. Я взбесился и наговорил дяде дерзостей, причём он каждую мою метафору немедленно переводил на академически строгий язык таможенных отчётов. Стало невозможно, я нажал на педали и вот уже третий день являюсь хозяином милой комнатки, дверь которой выходит на площадку лестницы. Правда, окно устремлено менее удобно: на некое учреждение в закоулке двора, — но ведь я не Гретхен: мечтательно у окна сидеть не буду.

Денег мне хватит недели на три. За это время надо устроиться с заработком. Меня самого удивляет спокойствие нервов и хозяйственное настроение, охватившее меня. Большой ли город, к каким я привык, ощущение ли литературной жизни (я ещё никого не видел, но газеты и журналы покупаю пачками), оживлённой и свежей, отсутствие ли с детства знакомой и столь измочалившейся обстановки, какая подсознательно терзала меня месяц назад, — не знаю. Но явно: революция отошла далеко, революционером я себя почти не чувствую, о том, чтобы установить связь с большевицким подпольем, не помышляю, — вообще — не девятнадцатый, а пятнадцатый год.

Неужели я всё-таки завишу от обстановки? Вернее, не от обстановки, а от окружающих? В Москве, в Харькове, в Додонске, когда вокруг меня клокотал революционный энтузиазм, я целиком был им охвачен. Теперь вокруг меня добровольщина, и я стал «только литератором».

Мне это не очень нравится, мне вовсе не хочется быть резонатором для чужих голосов, но, честное слово, меня сейчас больше заботят как-то подспудно задуманные очерки. Тут много писателей. О многих из них я ещё не писал. Публике нравится небрежный стиль полунасмешливой болтовни, принятый мною для моих «заметок на полях». Меня охотно будут печатать, мне хорошо будут платить.

Как «иерихонская роза», расцветает во мне примолкший в революцию редакционный Печорин... Кстати: хорошее словцо; записать: пригодится. Пожалуй, я так назову очерк о князе Худом.

Я прикалываю кнопками пропускную бумагу к столу, расставляю чернильницу, стаканчик для ручек и карандашей и прочую литературность, нумерую записные книжки и блокноты: какой на какую потре-

бу, размещаю на этажерке журналы и газеты, вешаю над столом план города. Творческий уют создан. Надо бы телефон...

Сегодня я начну визиты. К Шевелёву — к первому: знаменитый беллетрист, академик, фактический редактор громадной газеты... Правда, последняя издаётся на деньги добровольцев, но там большой литературный отдел, политики можно не касаться.

Я справляюсь с записной книжкой и планом: к Шевелёву недалеко. Сейчас пять часов, он, вероятно, дома. Чёрт, ведь у меня нет визитных карточек; Шевелёв обидится, может разыграть комедию, сделав вид, что никогда и не слышал моего имени. Совсем из головы вон. Досадно — день пропал: я не могу ни с кем повидаться, если я ещё не представился Шевелёву, он обидится...

В «свободной литературной республике» есть свой этикет. И — странно: мне эти накрахмаленные чопорности нравятся. Не могу решить, что здесь: тоска ли мещанина по аристократизму, утешаемая сим этикетом: «у нас, мол, не хуже, чем у вас», — или привычка к сюжетным иерархиям и проистекающее отсюда уважение к «стержню», «оси», «ключу»? Мне приятнее верить в последнее.

Я, пожалуй, напишу об этом статейку. В конце концов: литератор вовсе не обязан быть прав, он должен быть интересен... Заносу тему в соответственный блокнот.

Темы похожи на морских свинок: плодятся и множатся, успевай только записывать. Какой это осел плакался, что «тем нет», что обо всём уже сказано? Да вот это самое: у одного множество тем, у другого ни одной — уже тема.

Час-другой, и двести строк готовы; листок лежит несколько дней, за это время приходят в голову изящные парадоксы, вставляются в текст, и публика с удовольствием читает, чтобы через день забыть. Я много раз думал: дело это или не дело? В Додонске мне казалось, что — вздор. Теперь — наоборот... Опять тема.

Я переживаю чисто теннисное наслаждение, покрывая листки блокнота заметками: мысли замшевыми планетами описывают плавные дуги, пружинно отталкиваясь от струнного овала ракеты:

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны...¹

Думаю, что, если б явился поэт, работающий по методам журналиста, у него был бы потрясающий успех... Тема!

И ещё тема: в тактике теперь главенствует принцип «короткого удара»; не этот ли принцип породил новеллу, «поэмы для чтения в трамваях», мои очерки? Не в этом ли — дух времени?..

¹О. Мандельштам. Теннис (1913).

Остро отточенный фабер¹ № 1 покрывает ровными строками прямоугольные листочки...

Стук в дверь. Кого это чёрт несёт? Хозяйка?

— Войдите.

Входят двое парней. Один — в хорошо пригнанном костюме туриста, чистенький и подтянутый, со сверкающим пенсне на ироническом носу. Другой — в матросских штанах, в пиджаке с чужого плеча, из слишком коротких рукавов торчат большие красные пятерни; нечесанные патлы лезут в умные серые глаза.

— Простите: здесь такой-то?

Такой-то здесь; но с кем он имеет удовольствие говорить?

Мой тон приспособлен для обоих: первому он сигнализирует: «мы люди общества», второму: «будь корректнее». Мне почему-то кажется, что второй обязательно будет некорректен.

А в глубине души мне жутко: как «эти» меня нашли? И кто они? Агенты разведки?

— Позвольте представиться, — иронически водит носом первый, — поэты: Александр Красовский и Эдуард Кардан.

Он делает жест в сторону второго.

Эту фамилию я уже слышал от Танцфельда.

Я не вру, говоря, что мне «очень приятно».

— Но как вы меня нашли?

— А мы проследили за вами, — хриплым басом говорит Кардан, — Фимка Танцфельд описал вашу бороду, мы вас повстречали час назад со свёртками, пошли по пятам, увидали, куда вы вползли, навели справки, оказалось, что «какой-то бородач» снял здесь комнату. Сашка пожелал сначала побриться. От этого и запоздали. Как поживаете?

— А отчего вы просто не подошли на улице?

— Я ж говорю, что Сашка был небрит.

Усаживаю гостей на диван, расспрашиваю.

Кардан весело сыплет именами, захлёбываясь, читает стихи, свои и чужие, головокружительно острит и хрипло хохочет, когда Красовский вставляет коротенькие ядовитые характеристики.

Через час я уже в курсе всех местных дел, знаю, кто что пишет, кто с кем живёт, какой с кем случился скандал, как кого можно позлить.

— Вы знаете Бэрмана? — хрипит Кардан.

Лично я его не знаю, но мне известны его тонкие статьи в «хороших» журналах, я слышал, что это человек с большой эрудицией.

— Ну, так это Сашкин враг. Сашка его называет «троянским человеком»; снаружи — деревянный человек, а внутри — живые лошади. Сашка редактирует газету «Перо в спину»: лучшая литературная

¹Карандаш немецкой фирмы «Faber Castell».

газета в мире. Так он там написал в отделе «Паноптикум», что у Бэрмана под лопатками растёт грива. Сашка, изобрази.

И Красовский, охотно поднимаясь с дивана, закидывает голову, выдвигает подбородок и прохаживается, трясая задом и произнося нечленораздельные важные звуки.

Хотя я никогда не видел Бэрмана, я сразу чувствую, что шарж похож.

— Хотите, я вам прочту трагедию «Бэрман и Доротея»? — летит, вдохновляясь, Кардан. — Мы с Сашкой сочинили.

И отваливает двести или триста великолепных александрийцев, где чудесно спародирован торжественный и сладкий стиль Расина и где фигура несчастного Бэрмана переживает все насилия трагедийной композиции.

У меня колет в бок от смеха. Что за чудесные парни. Сколько у них чисто пушкинской щедрости в слове, сколько темперамента и остроумия. Мне, привыкшему к петербургской литературной диете, к важности поэтов, к аптекарскому взвешиванию стихов, кажется, что я приехал в деревню и играю в горелки.

Решительно, мы будем друзьями.

Однако что, если Красовский про меня напишет в своём «Пере в спину» что-нибудь вроде «гривы под лопатками»?

Я категорически обещаю в ближайшее время поместить об обоих хвалебную статью в «Черноморских новостях» или в «Обновлённой России» у Шевелёва.

— А вы и там, и там напишите, — хладнокровно советует Красовский, — тогда Эдьку в обеих газетах печатать станут.

— Что слава? Яркая з а р п л а т а на бедном рубище певца, — вождельенно комментирует Кардан.

И, очевидно, уверовав в мою дружбу, заявляет, что ему хочется перекусить.

Однако, чего ж не перекусить? Я живу бобылем, у меня даже стакана нет. Ничего: Кардан сбегает в лавочку, купит лимон, хлеба, камсы, брынзы.

— И мы будем есть, как короли!

Я несколько неуверенно достаю бумажку; Кардан подхватывает её, и его уже нет в комнате.

Красовский, повояв носом, говорит:

— Вы не очень кормите Эдьку, а то заленится и стихи забросит. Я ему всегда гонорар выплачиваю в половинном размере с условием доплатить, когда принесёт второе стихотворение.

— Ну, кажется, его нельзя назвать скупым поэтом: этот «Бэрман и Доротея»...

— Это меня нельзя назвать скупым, — перебивает Красовский, — я ему заплатил за сотрудничество.

Вот тебе на, — тарашу я глаза, — а я думал, что эта трагедия написана в порядке досужей шутки.

Красовский удивлённо меня оглядывает:

— Стану я тратить время на шутки. Бэрман читал доклад о местных поэтах и не упомянул обо мне. Теперь почёсывается, и уж в следующем докладе поставит меня на первое место. Карьеру, знаете ли, надо делать, сама она не делается.

О-о! Здорово! Значит, «и всюду страсти роковые и от судеб защиты нет»? Мне становится несколько неуютно: эта молодёжь опаснее, чем я думал. Правда, мне стихи Красовского нравятся, но меньше, чем Эдькины (я его уже так называю про себя); пожалуй, и мне придётся испить чашу Бэрмана и стать героем какой-нибудь новой трагедии. Правда, я не Бэрман, и сам насолить умею, но всё же...

Эдя является со свёртками и кладёт передо мной сдачу. Правда, он вышел из объявленной программы: здесь и коробка хороших папирос, и кус халвы, и ещё что-то; но всё же сдача должна быть втрое больше. Это меня раздражает: денег мне не жаль, но почему просто не попросить, зачем непременно надеяться на то, что я из любезности (не по глупости же) не «замечу»? Спрашиваю, почём сыр, почём камса. Кардан называет несусветные цены.

— Вас бессовестно надули, — холодно говорю я, — почуяли в вас поэта, с которого можно слупить втрое.

— Эдька, отдай, — хладнокровно цедит Красовский.

Кардан, шморгнув носом, сует руку в карман, потом с мужеством отчаяния выпаливает:

— Я вам буду должен.

Красовский немедленно снимает пенки:

— Я удержу из его гонорара.

И мне угодил, и Кардана пришпандорил: будет вынужден лишнее стихотворение написать.

Кардан рычит по его адресу крупное ругательство и, достав из кармана ржавый ножик, «кортик, который ему достался от одного турецкого пирата», начинает чистить на куске газеты камсу. Потом поливает крошево лимонным соком и, предусмотрительно держа локоть на поларшина от снеди, чтобы не присоседился Красовский или я, молниеносно съедает всё, запихивая в рот потрясающие комья хлеба. Столь же молниеносно пожирает брынзу, заглатывает халву и, закурив папиросу, удовлетворённо усаживается на диван. Глаза его полузакрыты от неги.

Здорово парень голодает.

Красовский приглашает меня в будущую среду на собрание «Зелёной лампы», где Юлий Ардаши будет читать «знаменитую поэму»

«Онегин в 1918 г.»¹ и где «разыграют» начинающую поэтессу Бобкину.

Я полуобещаю: возможно, если будет время.

Наконец гости выкатываются, отняв у меня четыре часа, но обогатив меня ценными наблюдениями.

Совсем новый мирок: иной колорит, иной темперамент. Люди, много более здоровые, чем мы: без предрассудков. И, пожалуй, Красовский сделает-таки карьеру... руками Кардана. Если только...

Впрочем, будет ли это «если»? Сегодняшние газеты говорят о новых успехах добрармии...

Улицы полны народа. Хотя уже порядочно свежо по вечерам, толпой владеет весеннее оживление. Гул, хохот, шутки. Странная смесь офицеров и бульвардые², сутенёров и матросов катится по широким панелям. Красивые накрашенные женщины — не разберёшь: проститутки или нет, — и кажется, что любую из них можно взять под руку и увести в сверкающую «Квисисану» или в ту старенькую гостиницу на углу, подъезд которой означен тысячесвечной лампой с экраном внизу: чтобы не освещать лица входящих.

Передо мной возникает костистое бледно-зелёное в свете ювелирной витрины лицо: слоновья крутая челюсть, плотно сжатые губы под щетинистыми подстриженными усами, большие, как бы невидящие глаза. Чёрта с два — невидящие: Шевелёв — лучший колорист русской литературы. Подойти? Какой вздор, совершенно неприлично. И, однако, следуя за ним по пятам: мне хочется знать, что делает великий писатель поздно вечером на улице Мазарини.

Мне почему-то хочется, чтобы он мигнул крупным дворянским глазом той крохотной в детских кудряшках проституточке, проследовал за нею, сгорбившись, в переулок — и великолепная медаль: Шевелёв — показала бы мне дрянненький оловянный реверс... Странно: значит, всё-таки и мне приятно видеть великого человека, как говорил Пушкин, «на судне».

Но Шевелёв доходит до угла, спускается с тротуара на мостовую и минуты две пристально смотрит на шевелящуюся перед ним толпу. Сфотографировав её холодными камер-обскурами глаз, он жестом подзывает извозчика и чётко говорит ему:

— Во дворец.

Во дворец, я знаю, живёт главнокомандующий, генерал Стерлинг. О чём может беседовать с ним Шевелёв поздним вечером...

Шагаю домой.

¹ «Онегин в 1918 г.» — т. е. «Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе» — см. далее примеч. к этой поэме.

² Бульвардые — праздношатающийся, фланёр.

В одну из подворотен силится толкнуть свою круто нагруженную тачку оборванный блузник. Я, поглядев, подсобляю, наваяв плечом. Тачка одолевает подъем и вкатывается. Блузник, не пророня ни слова, даже не глянув на меня, исчезает с нею. Точно моё назначение — подсоблять слабосильным тачечникам. Конечно, тут не за что благодарить, но всё-таки почему не почувствовать во мне человека, товарища? Ведь не всякую минуту, не от всякого тачечник встретит хотя бы и такую пустую помощь.

Во мне извивается раздражение: я чувствую, что я совсем чужд «младшему брату», что этот блузник, несомненно, принял меня за дурака, который зачем-то тратит силы. Никакого благородства нет в этих людях. Правда, люмпен-пролетариат, но всё же... Нет: врал Горький!

* * *

С девяти утра я в типографии: заказываю карточки и самолично слежу за набором, приправкой, печатаньем. Наконец аккуратная корбочка у меня в кармане. И от неё такое ощущение, как будто меня «допустили»... Как это ни гнусно, но обладание визитными карточками — почти то же, что чистый воротничок и свежие ботинки.

Решаю сбрить бороду, хотя Эдька Кардан наверняка изготовит по сему случаю эпиграмму.

Брадобрей любезно рассказывает мне о «чекистке Доре», которая будто бы вырезала офицерам на плечах погоны и вбивала гвозди по числу звёздочек, возмущается большевицкой манерой переводить стрелки на три часа вперёд и по этому «ихнему времени» загонять людей в девять вечера домой. Потом, каналья, он повествует, что после внезапного занятия города белыми множество людей сбивало бороды:

— Все большевики.

И вкрадчиво вопрошает:

— А вы издалека будете, мусье?

Я делаю судорожный глоток, и бритва пускает мне слегка кровь. Извинения и хлопоты брадобрея дают мне время оправиться. Я сурово мылю ему голову за небрежность:

— На базаре аккуратнее бреют, — а потом спрашиваю, где Гранд-отель, в котором остановился мой друг генерал Андрусов...

Теперь я достаточно приличен для встречи с академиком.

Звоню у массивной резной двери. Вообще, дом, занимаемый Шевелёвым, великолепен: колонны, лоджии, витражи — с прихотливым гербом прежних хозяев, князей таких-то, ведших свой род от какой-то византийской династии. Хотя, может быть, Красовский соврал: моя эрудиция в данном вопросе идёт от него... Но чем-то совсем не русским

вееет от этого щедрого барокко: из лоджий не раз направлялась зрительная труба на паруса корветов и бригов; по широкой мраморной паперти вносили не раз клетки с диковинными птицами и тючки с редкими пряностями, после которых гораздо приятнее любить женщину; из той калиточки, приютившейся между двух колонн, выходил ночью усатый фанариот в фустанелле, с кремневым пистолетом за поясом, и уносил кожаный мешочек с дукатами, чтобы потом в Стамбуле или Яссах лёг под кинжалом паша или господарь...

Шевелёву, с его исключительным чувством прошлого, с его атлантическим лиризмом, пристало жить в таком доме...

Дверь распаивается, передо мной — вся накрахмаленная субретка. Хорошенькая.

— Георгий Алексеевич дома?

— Пожалуйте. Как прикажете доложить?

Вручаю визитную карточку; хорошо, что вспомнил и успел, подходя к дому, сунуть несколько штук в записную книжку: глупо было бы доставать из коробочки... Субретка, указав мне прекрасные кресла в вестибюле, уходит.

Выйдет Шевелёв мне навстречу или нет? Ой, не выйдет.

Шуршит субретка:

— Велено просить в кабинет.

Я вхожу в широкую комнату, сверкающую паркетом, мрамором камина и огромным хрустальным окном: посередине — небольшой стол, прикрытый белой клеёнкой, два-три плетёных кресла, вращающаяся этажерка возле стола, узкая железная кровать в углу, небольшой старинный шкаф. И всё. Успеваю заметить стеклянную чернильницу на столе, толстую тетрадь в коже, аккуратную дорожную машинку со вставленной и наполовину исписанной страничкой... Ни одной картины, ни одного роскошного предмета, если не считать великолепного китайского халата, тяжёлой зелёной парчой облакающего своего владельца, отчего Шевелёв несколько походит на дьякона.

— Очень рад познакомиться, — холодно выдавливают Шевелёв, большой сухой рукой отвечая на моё пожатие. — Прошу садиться и курить; вот египетские, вот английские.

Он достаёт из ящика несколько коробок:

— Вы ко мне по делу?

Подожди, я выведу тебя из твоего космического равновесия.

— Нет, — отвечаю я равнодушно, — я просто хочу отнять у вас полчаса.

— ?

— Я пришёл посмотреть на Георгия Шевелёва в его домашней обстановке.

Глаза академика слегка свирепеют:

— Разве я предмет обозрения? Феномен?

— Да.

— Милостивый государь, — Шевелёв считает с карточки моё имя и отчество, — уверены ли вы, что ваше поведение гармонирует с вашим почтенным именем известного критика?

— Уверен, — продолжаю я его раздражать невозмутимостью. — И не только гармонирует, но положительно вытекает из моей профессии. Разрешите, я объясню. Допустим, вы пишете повесть; вы собираете материалы, документы, письма и прочее; у вас сложилось всё; и тем не менее вы едете на место событий, изображаемых вами, чтобы непосредственным наблюдением схватить нечто неуловимое, усвоить аромат и колорит местности. Я пишу роман, больше того: поэму, под названием «Георгий Шевелёв». Я там говорю об атлантическом лиризме...

— Как вы сказали?

Ага, понравилось...

— Об атлантическом лиризме вашей поэзии, о предметной декоративности, об исключительном, не превзойденном никем — ни Готье, ни Эредиа — колоризме, и так далее. Но мне необходимо посмотреть «место действия». Я не буду писать ни о вашем халате, ни о вашем почерке, ни о чем, что лежит вне ваших томиков, — и всё-таки непосредственное наблюдение вас, феномена — ибо гениальный поэт есть феномен, — даст мне возможности вложить в ваш литературный портрет убедительность колорита. Я рассматриваю работу критика как художественное творчество и работаю по методам художника.

— Извините меня, — добреет и вдруг стареет Шевелёв, — я отнёсся к вам слишком педантично. К сожалению, нравы литераторов в большинстве случаев весьма далеки от правил хорошего тона, и некоторая колючесть моя объясняется печальным опытом встреч с литераторами.

Я отвечаю в тон, задаю тонкие вопросы, дающие Шевелёву возможность проявить свою зоркость, знание психологии и прочее, цитирую наизусть клочки из его стихов, рассказов и воспоминаний (у меня прекрасная память на мелочи), и Шевелёв начинает в меня влюбляться. Он именует меня уже дорогим другом, потчует папиросами, заботливо рекомендуя то один, то другой сорт: этот нежнее, этот крепче, после «Квин» не следует переходить к «Сфинксу», а лучше продолжить «Нестором»; он звонит и приказывает подать кофе, осведомляясь, предпочитаю ли я турецкий или по-венски. Так как он сам требует турецкого, то и я, конечно, присоединяюсь, ибо, несомненно, турки больше всех знают толк в кофе.

В конце концов он предлагает мне заведовать в его газете литературным и критическим отделом, пишет «издателю» полковнику Крав-

ченко сухую записку, уведомляя его о моём приглашении и предлагая удовлетворить все мои денежные пожелания...

Разговор переходит к политическим темам.

Шевелёв чётко излагает взгляд на государство как на организм, на революцию — как на болезнь, называет евреев стрептококками, а добровольцев лейкоцитами, и намечает программу реформ, имеющих последовать тогда, когда Деникин вступит в Кремль. Первая реформа — поголовное выселение евреев:

— А кто скроется или вернётся из-за границы — смертная казнь через повешение.

Затем — передача земли крестьянам с обязательной фермеризацией. Право владения производственными предприятиями — только коренным русским.

— Ну, а если какой-нибудь немец или армянин негласно финансирует русского? — задаю я осторожный вопрос.

— Смертная казнь через повешение, — со вкусом выговаривает Шевелёв.

— А как с верховным управлением? Монархия? Романовы?

У меня вдруг лезут глаза на лоб: Шевелёв отпускает по адресу Романовых такое ругательство, которое только в академическом словаре сыскать можно.

— Триста лет гадили, всю страну растрясали! Земский царь! — выкрикивает Шевелёв, и на его лице проступает раскольническое, экстатическое выражение. — Земский царь — вот кто возглавит Россию! Каждая волость выставит своего кандидата, уездный сейм выберет одного из них, губернский — из уездных одного, и так далее. Отберём! Пусть это будет мужик — но коренной русский, сидевший на земле, умеющий пахать...

Чёрт возьми, что за нелепая мешанина! Что за узкое представление о государстве, как о хуторе! Громаднейшие вопросы: финансовый капитал, кредитная система, акционерные общества, внешняя торговля, рабочий вопрос, — все это абсолютно вне поля зрения.

Со мной говорит редактор крупнейшей белой газеты, идеолог, глашатай, — и его политические воззрения — отвар из Каткова и Хомякова, одобренный толчёным Столыпиным.

Ну, допустим, белые победят — какой же дикий кавардак заварится в Москве, в какие пропасти будут шлёпаться люди и ценности, какая дурацкая разруха на десятилетия воцарится в России!

Мне определённо становится страшно. Белое движение встаёт бунтом безумцев. Неужели Шевелёв всё это сумасшествие внушает Стерлингу и хоть как-то проводит в жизнь? Бррр...

Мне хочется бежать. Но... литература всё-таки в стороне. Поживём-увидим. А пока можно будет поработать и заработать.

Мы прощаемся. Завтра я буду в редакции.

Шевелёв заставляет меня взять с собой коробку «Квин» — в продаже их не найти, а я — любитель и тонкий знаток.

Я на улице. Теперь куда? Пойду к Сагайдачному. Интересно, что думает «король фельетона»?

Громадная туша поворачивается навстречу мне в кожаном кресле и радостно ржёт:

— А-а-а!

Как постарел Сагайдачный за эти два года!

Ему лет пятьдесят пять, но на вид смело — семьдесят. Все буйства богатой удачливой жизни, знавшей скрипичные слёзы всех концертных зал Европы, горевшей восторгами над тарелками черепаших супов, мчавшейся в автомобильных гонках, столбеневшей перед гильотинным помостом и тусклыми глазами мосье Дейблера, переходившей из горячих ванн женской нежности в холодящие золотым звоном водоёмы рулеточных зал, глядевшей в мудрое свинство серых глаз Сергея Юльевича Витте¹, — все эти сотни тысяч, пропущенные меж пальцев, бочки шампанского, пробулькивавшие в толстом горле, батальоны женщин, целовавшие эти большие с рыжим пухом руки, дуэли, бежавшие смутной волной славы и скандала от этой громадной плечистой фигуры, — всё это легло тяжкими морщинами, свинцовыми подглазницами, золотом пломб и мертвенным фарфором искусственного зуба, осело семью пудами в терпеливых пружинах старинного кресла...

Тарас Сагайдачный... Человек, сумевший сочетать остроумие пушкинского времени с бесстыжим цинизмом бильярдных — и из этого сплава выковавший себе славу и богатство. Номер газеты с его фельетоном шёл в рознице учетверённым тиражом; его имя в списке сотрудников обеспечивало подписку; его рецензия создавала имя актёру. Давно это было. После пятого года всё реже и реже появлялись подписанные им подвалы: старел, ленился, уставал. Да и зачем работать: издатель платил ему сорок восемь тысяч в год только за то, что он не писал в газете конкурента. Но иногда встряхивался Сагайдачный — и пух и перо летело от не понравившегося ему министра...

Он мнёт мне руку и усаживает рядом. Он до гроба будет помнить присоветованное ему путешествие: проехать из Петербурга в Москву радищевским, пушкинским путём — по старому тракту: он проделал всю программу пушкинского стихотворения: ел пожарские котлеты в Торжке, варил уху из форелей в Яжелбицах, сдобрив её стаканом шабли, у «податливых крестьянок» Валдая пил чай с баранками и читал всю дорогу Дельвига, «Северную Пчелу» за 1828 год, заплатив букинисту чёртовы деньги за комплект, стараясь вчувствоваться в эпоху... Он

¹Граф Сергей Юльевич Витте (1849—1915), российский государственный деятель.

никогда об этом не писал; но когда у него перестанет сверлить проклятая печень, он напишет об этой поездке целую книгу и посвятит её мне.

На полу у кресла — ручной чемоданчик, в нём книги.

— Это — моё сокровище, всё, что я вывез из Петербурга, если бы у меня пропал этот чемодан, я был бы близок к самоубийству. Поглядите, что там.

Гляжу: журналы Великой французской революции, протоколы Конвента, якобинских клубов... Какие они маленькие и старенькие — эти листки, потрясшие мир.

— Вы готовите работу, Тарас Михайлович?

— Нет, после того, как по этой ниве прошла такая жатвенная машина, как Мишле или Жорес, — какую же можно готовить работу? Мне вот хочется ясно себе представить, что видели французы, когда Людовик лёг под нож. Знаете, репортёрский отчет составить. Как я когда-то их составлял. А я умел в молодости быть репортёром!

Он жмурится от сладких воспоминаний...

Приходит его старая экономка, сообщает мне, что она меня «трёхлетним чёрногузиком» знала, и напоминает о завтраке. Сагайдачный предлагает мне разделить его трапезу.

Экономка подкатывает воздушный столик, устилает его сверкающей салфеткой, и появляются шашлыки из мидий. Эта чёрная ракушка даёт широкий простор поварскому творчеству.

Сагайдачный поясняет: он на строжайшей диете; и потом у него совсем нет денег; старуха же умудряется устраивать ему изысканный стол за смехотворные копейки.

— А почему вы, Тарас Михайлович, не печтаетесь? Вы ещё полны сил.

Сагайдачный отваливает презрительно полуфунтовую губу:

— У дурака Шевелёва я не стану печататься: я уже тридцать лет показываю редактору только кончик рукописи, чтоб он видел моё имя. А Шевелёв хочет прежде читать манускрипт и, только «одобрев», отправлять в типографию. Я на это не пойду.

— А в других газетах?

— Голубчик, — прожёвывает ракушку Сагайдачный, — сколько сейчас стоит фунт хлеба? Пять рублей. Стократное увеличение. Могут ли «Черноморские новости» мне платить двести рублей за строчку? Не могут. А я не привык снижать свой гонорар...

Он машет рукой и принимается рассказывать, как он расхворался, когда вопреки его приказанию в ресторане ему подали майонез, в котором был «намёк на перец». Потом — о некоей старинной виннице, где в задней комнатке хозяин подавал какое-то особенное вино, тушил электричество и зажигал спичку, предлагая рассматривать рюмку на свет:

— Рубин или не рубин?

Он очень интересно рассказывает, Сагайдачный, — о соусах ли он говорит или о папе римском, но мне больше хочется знать, что думает эта большая умная голова о революции.

Сагайдачный не хочет думать о революции: смутное время, путаница, ничего не разберёшь. Но, конечно, обе стороны — и красные, и белые — бессильны. Добровольцы до Москвы не дойдут:

— На днях начнётся отступление.

Красные докатятся до Дона, до Днепра, не дальше. Потом их снова попрут. Чёртовы качели.

— Но ведь не может же так быть вечно?

— Ну что ж: размежуются. Север и Юг. А вернее — явится Наполеон. Или наведёт порядок Англия, послав армию. Знаете, Англия, раз взявшись за дело, доводит его до конца, хоть бы ей пришлось тридцать лет воевать. Наполеона сломило английское упорство. Вильгельма — тоже.

— Но ради чего Англия будет тратить миллионы?

— Возьмёт Кавказ, подчинит Персию...

— Значит, вы её рассматриваете как врага?

Сагайдачный смотрит на меня удивлённо:

— Как врага? Да за избавление от товарищей я Сибирь и Среднюю Азию готов отдать, не то что армяшек! Хотя за одно я товарищам благодарен: мощи вскрыли. С детства хотелось узнать, что в них такое.

Так... Значит, и у Сагайдачного перед глазами туман, и он не понимает чего-то в революции... Кто же понимает?

Влетает плотный подвижный мужчина в щегольском пиджаке, хохочет, трясёт руку Сагайдачному, мне, плюхается в кресло и докладывает:

— Финкель чуть с ума не сошёл. Кричит, что его зарежет общество дантистов, что теперь он ни одной пломбы себе поставить не решится. Я его насилу успокоил тем, что номер продан без остатка.

Из путаного хохочущего рассказа я наконец выделяю фэбулу. Плотный мужчина — редактор «Утренней почты», Финкель — издатель. С месяц назад в зоологическом саду сбесился слон Джумбо; его убили, и бранные останки поступили в университет. Скелет на днях отпрепарировали, а гору мяса и внутренностей выбросили, причём эту дрянь сфотографировал репортёр. Сегодня справляет свой юбилей заслуженный дантист доктор Ватиканчик. В «Почте» должен был быть помещён его портрет. Редактор «Почты» ночью вдохновился и велел метранпажу переставить подписи под клише. Номер вышел и показал читателю кучу слоновьей требухи с подписью: Наш почтенный юбиляр доктор Ватиканчик», — а редкобродую очкастую физиономию доктора с подписью: «Всё, что осталось от Джумбо»...

— Номер у газетчиков так и рвут, — заливается плотный господин. Сагайдачный жирно хохочет:

— Совершенно по-американски! Вот как надо создавать газете успех!

И вдруг спохватывается:

— Господа, я вас не познакомил?

Оказывается, весёлый редактор — знаменитый Пётр Рыльский, «великий босяк русской журналистики».

Он гордо несёт своё прозвище. Он вдохновенно рассказывает, как он обедал в лучших ресторанах Петербурга и не платил, выдавая себя за македонского революционера, у которого в кармане бомба, или за секретаря Распутина.

Он по-настоящему талантлив, искромётно весел и бесовестен. Редактируя какой-то юмористический журнальчик, он печатал анонсы вроде: «Следующий номер — специально порнографический». Он знаменит знанием всех трющоб, где можно было достать водку, славен каким-то изумительным нюхом, приводившим его в незнакомые квартиры, где «должен быть алкоголь» и где алкоголь действительно оказывался. Но при всём этом его критические очерки, которые он иногда натуживался написать, его полемические статьи, которые он строчил с восторгом, иногда даже для своих газетно-ресторанных друзей, тонки, остроумны и просто умны. Он, конечно, «продажная шпага», но купивший её никогда не жалеет.

По-видимому, я всё-таки отравлен жёлто-газетным ядом, мне милы такие фигуры, как Рыльский, хотя займы я ему не дал бы и не познакомил бы его со своей любовницей.

Я не спрашиваю Рыльского: о чем его можно спрашивать? Зато он сыплет вопросами и, заливчато смеясь, открывает мне тайну одной пасквильной рецензии, напечатанной несколько лет назад и изничтожившей мою первую книгу: рецензию писал, оказывается, Рыльский. Надо сказать, что она меня задела — не издевательским своим тоном, а тем, что в ней было много верного.

Я, конечно, смеюсь и выражаю надежду отплатить когда-нибудь.

— Батенька, — грохочет Рыльский, — семь бед — один ответ: рецензию в «Северном Голосе» помните? Тоже моя!

Как? Эта восторженная статья, где меня сравнивали с Реми де Гурмоном и Уолтером Патером? Тьфу! На Рыльского даже сердиться невозможно!

Я уже собираюсь идти, как из-за двери раздаётся очаровательный контроль:

— Можно?

Входит сероглазая блондинка, щегольски одетая и весьма умеренно подкрашенная.

У Сагайдачного вспыхивают глаза:

— А-а-а, Ольга Васильевна, обрадовали, обрадовали. Уж подойдите к старику, — кокетничает он, — дайте поцеловать ручку.

У неё очень пластичные движения.

Я вдруг узнаю её: актриса Крамская. Хороша была, помню, в «Дворянском гнезде», в «Собаке садовника».

Сагайдачный знакомит нас. С Рыльским метаморфоза: куда делся беспардонный журналист? У него превосходные манеры, он со светской уверенностью начинает беседу; кажется, что и пиджак у него стал респектабельнее.

Крамская достаёт черепаховый портсигарик и коробок спичек; последнее — редкость: у всех зажигалки.

— Это вам в бенефис поднесли? — шутит Сагайдачный.

Но Крамская как-то не очень отзывается на остроты; у неё печальный рот; у неё какое-то горе.

Сагайдачный быстро схватывает тон и начинает расспрашивать. Оказывается, её муж, Беседин, возглавлял революционный театр в большом южном городе. После занятия города добровольцами он был арестован, судим и на четыре года отправлен в рудники.

— Вы ведь его знаете, Тарас Михайлович, — начинает ломать руки Крамская, — какой он большевик? Он христианский социалист. Он чириковских «Евреев» поставил так, что в последнем акте, в сцене погрома, на сцену врываются не дружинники, а появляется Христос и устрашает погромщиков... Ему просто отомстили, точно он виноват в том, что прежняя труппа после прихода большевиков отказалась играть...

Сагайдачный гладит и целует её руку: ничего, у добровольцев суд скорый, но и помилование довольно просто: всё зависит от усмотрения генерала; он, Сагайдачный, поедет к Стерлингу, и тот побоится отказать.

Удивительно всё-таки: или это особый, присущий Сагайдачному магнетизм? Через две минуты Крамская уже всецело верит в то, что Стерлинг побоится отказать Сагайдачному, уже смеётся и тараторит и даже раза два внимательно поглядывает на мои усы.

Мне не хочется уходить, хотя и пора бы, ибо никто не мог бы вообразить, что произойдёт через минуту...

В комнату входит невысокий офицер с одинокой прапорщицей звёздочкой на погонах. У него бритое лицо, энергичные чёрные брови и капризный вялый рот.

Он на секунду приостанавливается на пороге, и лицо его передёргивается. Затем решительными шагами он подходит к Сагайдачному, который радостно ржёт ему навстречу, и жмёт руку.

— Ольга Васильевна, — говорит Сагайдачный, — позвольте вам представить...

— Извините, Тарас Михайлович, — резко перебивает офицер, — вы напрасно беспокоитесь. При всём уважении к вам, я не могу подать руку такой особе, как госпожа Крамская.

Рыльский удивлённо поднимает брови; Крамская вскакивает и, не дав оторопевшему Сагайдачному вымолвить слово, выкрикивает:

— Видите? Это из той же шайки, что погубила мужа! Это сын антрепренёра, которого выгнали большевики из городского театра. Они с отцом клеветали на меня и мужа, мешали нас с грязью...

Офицер делает шаг к ней:

— Клеветали?!

Сагайдачный покрывает его своим басом:

— В моём доме...

Но офицер закусил удила:

— В вашем доме, — визжит он, — я не ожидал встретить большевицкую потаскуху!

Крамская вскрикивает и закрывает лицо руками.

— Послушайте, — грозно начинает Рыльский...

Но Сагайдачный, великолепным жестом потребовав молчать, с хрустом распрямляется во весь свой оглушительный рост, делает шаг вперёд и тыльной стороной кисти слегка ударяет офицера в лицо:

— В моём доме вы оскорбили женщину, господин прапорщик, и я к вашим услугам.

Офицер бледнеет и — отступает на шаг: от громадной фигуры Сагайдачного веет такой уверенностью в себе, такой мужской силой и красотой, что о сопротивлении не может быть и речи. Офицер циркульно поворачивается и выходит.

Сагайдачный, сразу размякнув и обрюзгнув, пыхтя усаживается в кресло:

— Вас, господа, я прошу быть секундантами.

Вот так фунт! Попал, что называется! Эх, надо было уйти!

— Пётр Мосеич, — поворачивается Сагайдачный к Рыльскому, — о происшедшем не должен знать никто.

И Рыльский, точно чуя всю силу приказа, заключённую в этих вялых словах, отвечает по-военному:

— Слушаюсь.

Я пробую говорить. Дуэль не состоится: в военное время дуэли запрещены, и офицер, съев оплеуху, сошлётся на это правило. А если бы и принял вызов, надо сделать всё возможное, чтобы дуэли не было: нельзя подвергать Тараса Михайловича опасности — он нужен литературе. Глупо, преступно глупо погибнуть от пули истерического мальчишки!

К моей аргументации присоединяется Крамская.

Но Сагайдачный, дав нам выговориться, спокойно гильотинирует проповедь:

— Я ведь его не вызывал, я только заявил, что приму вызов. Если он удовлетворится пощёчиной — его дело. Но если он пришлёт своих друзей — как же можно уклониться от поединка? Я счёл бы себя глубоко оскорблённым, если бы кто-нибудь стал ловить прапорщика и уговаривать его не посылать вызова.

Я внимательно всматриваюсь: что это? Сагайдачный подсказывает образ действий мне и Рыльскому? Ничего не прочтёшь в его массивном лице. Впрочем, конечно, вздор: у Сагайдачного было столько дуэлей, что он не может в данном случае лицемерить...

Значит, моя судьба — в руках прапорщика: заблагорассудится ему устроить поединок — и я должен участвовать, попасть под суд, рисковать, что вскроется моя додонская эпопея. Ну нет! Было бы постыдной бесхарактерностью, если бы я позволил так с собою играть!

Я очень благодарю Сагайдачного за сделанную мне честь: предложение быть секундантом; но я вообще противник дуэли; а в данном случае — сугубо: случайностям прицела обрекается жизнь одного из замечательнейших русских писателей. Если я не могу помешать поединку, то я, во всяком случае, не буду к нему прикосновенен.

Сагайдачный лениво освобождает меня от обязанности послужить ему: хватит и Рыльского, ведь он не отказывается?

У меня, что называется, гора с плеч, но в то же время я чувствую, как неуловимо изменился тон Сагайдачного в отношении меня, как Крамская старается не встретиться со мной глазами, как даже Рыльский, не замечая протянутой навстречу его папиресе зажигалки, прикуривает у Сагайдачного.

Я ухожу с ощущением неприятным, точно меня слегка припачкали. Ну и чёрт с вами! Ведь я прав, прав!..

Евгений Петров

Гусь и украденные доски

Рассказ провинциального поэта

Ксаверий Гусь обладал двумя несомненными и общепризнанными качествами: большим красным носом и не менее большой эрудицией. Первое было необъяснимо. Второе он заимствовал на юридическом факультете. До революции он был помощником присяжного поверенного. О своём былом величии он вспоминал редко, предпочитая довольствоваться величием настоящего. Впрочем, служба в Уголовном розыске не мешала ему петь баритоном (именно баритоном) «Во Францию два гренадёра...» под мой аккомпанемент в нашем неприхотливом сельском театре.

Я служил в «ЮгРОСТЕ» районным корреспондентом. Служил честно и ревностно: разъезжал по волисполкомам и собирал животрепещущие сведения. В то, полное лишений, но от этого трижды прекрасное время я за день успевал бывать в разных концах моего района. В невозмутимых немецких колониях я рычал передовицы и хронику с клубных подмостков (систематическое проведение устных газет на местах). В безалаберных украинских сёлах я лихорадочно записывал в блокнот повестки дня очередных волсъездов. В степных хуторках я воевал со стаями одичавших собак. А сидя в подводе, нырявшей в жёлтых хлебах и зарослях кукурузы, под синим украинским небом я сочинял стихи. Всё шло прекрасно, если бы не эта встреча. Эта встреча меня подкосила.

Мы встретились с ним в Народном доме. Я сидел за пианино. Рядом со мною сидела она. Она была блондинкой и, занимаясь педагогической деятельностью в местной школе, незадолго до этого знаменательного дня покорила моё честное корреспондентское сердце. Он вошёл в залу в сопровождении милиционера, смерил мою соседку с головы до пят и сказал своему попутчику свистящим шёпотом:

— А она недурна, эта блондинка.

Потом он посмотрел на меня в упор и сказал:

— Потрудитесь предъявить ваши документы.

Несмотря на июльскую температуру и трёхаршинный мандат в кармане, я похолодел.

— Позвольте, товарищ, в чём дело? Кто вы такой?

— Кто я такой? Это мне нравится,— сказал он, поглядывая на мою даму,— я начальник Уголовного розыска Первого района. Потрудитесь предъявить документы, ибо в противном случае я буду вынужден вас арестовать.

Он внимательно прочитал мой широковещательный мандат.

— Простите. Маленькое недоразумение. Я ошибся. Во всяком случае, будем знакомы.— Он протянул руку.— Гусь. Ксаверий. А это милиционер Буфалов. Теперь ты, Буфалов, иди в район и скажи Перцману, что я сейчас приду.

Он познакомился с моей блондинкой и, живописно облокотившись на пианино, стал говорить. Он начал музыкой и кончил грустным повествованием о краже со взломом двух гневных кобыл. В промежутке он сообщил нам, что у него есть жена — пианистка и брат — секретарь Губревтрибунала.

Вечером мы были уже друзьями. Разгуливая по главной улице села, мы говорили, говорили и говорили. Он с энтузиазмом рассказывал о своих приключениях. Я восторгался. Слова: рецидивист, взломщик, убийца и бандит склонялись нами в единственном и множественном числе в продолжение четырёх часов. Я был подавлен величиим моего нового приятеля. Он предложил мне поступить в Уголовный розыск. Я долго не решался. Он корил меня. Он рисовал мне соблазнительные картины. Он показал мне «кольт». Я согласился.

Лёжа в постели, я впервые за две недели не думал о покорившей меня блондинке. Я думал о моей будущей карьере. Мне приснился ужасный сон: я сидел в засаде и, сжимая в руке «кольт», поджидал бандита. Он появился. Я крикнул «руки вверх». Он, не обращая на меня внимания, шёл. Я спустил курок. Осечка. Ещё раз. Осечка. Ещё. Осечка. Бандит шёл прямо на меня. В его руке сверкнула бомба... Я проснулся, обливаясь холодным потом. Рассветало. Пели петухи.

В десять часов утра я был уже в милиции. Дежурный милиционер указал мне на дверь с табличкой — «Кабинет начальника Уголовного розыска. Без доклада не входить». Я был ошеломлён. Я попросил милиционера доложить о себе. Милиционер доложить отказался и, пнув ногой дверь, пригласил меня войти.

В небольшой комнате с деревянным полом и ободранными обоями стоял большой стол. За столом сидели Гусь и неизвестный мне здоровенный мужчина, который склеивал вместе несколько больших, испещрённых цифрами, листов бумаги. Получалась простыня, которую он аккуратно развешивал на спинках стульев. В то время я был ещё наивен. В то время я ещё не знал, что эта простыня просто-напросто отчётная цифровая ведомость за июнь месяц.

Гусь встретил меня с достоинством.

— Здравствуйте. Познакомьтесь. Мой сотрудник Перцман. А это, Перцман, ваш будущий коллега.

— Вы умеете вести настольный реестр? — прогудел Перцман.

Этот вопрос поставил меня в тупик. Я пробормотал что-то о борьбе с бандитами.

— Какие там бандиты, когда чуть ли не каждый день нужно всякие ведомости посылать в Управление.

Перцман злобно плюнул и продолжал клеить.

— Молчите, Яша. Что вы мутите человека. Не пройдёт и недели, как я достану делопроизводителя, и всё пойдёт как по маслу. Пишите заявление, — сказал Гусь.

Я написал. Он размашистым почерком наложил резолюцию: «Ходатайствую о зачислении», — и сказал:

— Сегодня же я отошлю ваше заявление в город, и не позже, чем через три дня, вы сможете приступить к исполнению служебных обязанностей.

Он порылся в делах и крикнул в пространство:

— Дежурный! Приведите арестованного Сердюка.

Моё сердце ёкнуло. Мне предстояло присутствовать при допросе. Даже сейчас, когда моё сердце за три года успело окаменеть, я без содрогания не могу вспомнить об этом допросе.

Когда вводили арестованного, Гусь шепнул мне:

— Смотрите и учитесь.

Он облокотился на стол и уткнул нос в дела. Арестованный переминался. Я затаил дыхание. Перцман шуршал бумажной простыней. Минута напряжённого молчания показалась мне вечностью. Вдруг Гусь вскочил и изо всей силы тарарахнул кулаком по столу.

Я похолодел.

— Где доски?! — закричал Гусь раздирающим голосом.

— Не могу знать, — прошептал арестованный и, прижав руки к груди, побожился.

— Где доски, я спрашиваю?!

— Та я ж...

— Где доски? Говори. Я всё знаю. Куда ты их спрятал?

— Ей-богу, не знаю. Товарищ начальник, вы дядьку Митро допросите. Они вам усё подтвердят, как я в тот день дома сидел.

— Где доски?!

Арестованный молитвенно сложил руки. Гусь с рычанием бегал вокруг него и потрясал кулаками стол. Я замер. Перцман спокойно клеил. Гусь с добросовестностью испорченного граммофона хрипел:

— Где доски? Говори! Где доски? Говори! Где доски? Говори!!!

Арестованный молитвенно сложил руки.

Гусь сел на своё место и стал перелистывать дело. Он, несомненно, что-то замышлял. Перцман сложил простыню и стал запаковывать её в конверт, равный по величине детскому гробику.

Гусь судорожным движением откинул волосы и откашлялся. Глаза его наполнились слезами. Он начал проникновенным голосом:

— Эх, Сердюк, Сердюк... Кажется, таким хорошим хозяином были... Да вы садитесь. Да... Нехорошо, нехорошо... Значит, вы утверждаете, что о досках, которые вы укра... то есть взяли, вы якобы понятия не имеете? Да?

— Так точно,— сказал арестованный и сделал глотательное движение,— не могу знать.

— Так, так...— продолжал Гусь,— а я вот имею понятие. Да. А так как вы не хотите мне об этом рассказать, то я вам расскажу. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня у гражданина села Васильевки Гоговича неизвестными злоумышленниками были похищены пять сосновых досок. Кража пустяшная, но дело, конечно, не в количестве и не в качестве украденного, а в принципе. Вы меня понимаете?

— Так точно,— прошептал арестованный,— очень хорошо понимаю. Только я...

— Ну-с,— продолжал Гусь,— как же это произошло? А вот как это произошло: некий крестьянин, ни в чём ранее не замеченный, хороший и семейный хозяин, не отдавая сам себе отчёта в том, что он делает, и находясь, я бы сказал, в состоянии аффекта, по фамилии Сердюк, сказал своему приятелю... Этому, ну, как его? Чёрт возьми, забыл его фамилию...

Гусь щёлкнул пальцами и взглянул на свою «жертву».

— Как его фамилия?

— Не могу знать.

Гусь поморщился.

— Ну, всё равно, скажем — иксу. Так вот, он сказал иксу: «Послушай, икс, давай пойдём к Гоговичу и возьмём у него пять сосновых досок». «Давай,— сказал икс,— пойдём и возьмём у Гоговича пять сосновых досок». Они пошли. Это было в ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня. Была безлунная ночь. Где-то лаяли собаки (Гусь подмигнул мне глазом), Сердюк и икс перелезли через заборчик и подошли к сараю. Собака Гоговича залаяла. Сердюк и икс сломали замок, вошли в сарай, взяли доски и вынесли таковые из усадьбы вышеуказанного Гоговича. Непосредственно затем они спрятали эти доски. Я знаю, куда они спрятали эти доски. Я даже очень хорошо знаю, куда они спрятали вышеуказанные доски; но я не хочу сейчас об этом говорить. Я хочу, чтобы вы сами нам об этом рассказали. Почему же я хочу, чтобы вы сами нам об этом рассказали? А вот почему. Потому что мне жалко вас. Мне жалко вашей погибшей молодости. Мне жалко вашей бедной покинутой жены. Мне жалко ваших крошечных детей, которые, хватаясь ручонками за... за что попало, будут кричать: «Где наш папа?» Да... Дело не в досках. В конце концов, что такое доски?

Ерунда. Тем более что в любой момент я могу их взять, так как знаю, где они спрятаны. Но что тогда будет с вами? Вас запрут в тюрьму. Да. Возьмут и запрут в тюрьму. Запрут не за то, что вы взяли доски. Нет. А за то, что не хотите в этом сознаться. Если вы сознаетесь, я вас сейчас же освобожу. В противном случае я принуждён буду запереть вас в тюрьму. Скажите только одно слово: признаюсь — и вы свободны. Ну?

— Признаюсь,— прошептал арестованный и махнул рукой.

Гусь ожил.

— Вот и великолепно. Я так и знал, что вы признаетесь.

Гусь торжествующе посмотрел на меня. Арестованный встал и покосился на дверь.

— Мне можно идти?

— Пойдите! Где же доски?

— Да вы ж, товарищ начальник, знаете, а мы не можем знать, поэтому мы такими делами не занимаемся.

— Да ведь вы сказали — «признаюсь»?

— Не могу знать.

Гусь вскочил и треснул кулаком по столу.

— Какого ж чёрта ты мне морочил голову столько времени?

Вежливый арестованный молчал.

— А? Как вам нравится этот фрукт? — спросил меня Гусь.

Гусь взял лист бумаги и обмакнул перо в чернила.

— Ну-с, Сердюк, теперь мы приступим к официальной части допроса. Как твоя фамилия?

— Моторный.

Я взглянул на Гуся и ужаснулся. На его лице прыгала ядовитая усмешка. Он прошипел:

— Что? Вы говорите, то есть, вернее, вы выдаёте себя за Моторного? Так я вас понимаю?

Арестованный стал на колени.

— Ваше сия... Господин товарищ начальник... Ей-богу... — Он перекрестился.— Я Моторный. Павло. Хоть всю деревню спросите. Сердюк Васька в одной камере со мной сидит. Что самогонку гонял — это верно. Было такое. Признаюсь. А воровать — никак нет... Не решаюсь... — Он зарыдал.

Гусь прогулялся вокруг стола и стал насвистывать: «Во Францию два гренадёра»... Моего взгляда он избегал.

Когда арестованного увели, Гусь закричал в пространство:

— Дежурный! Приведите Сердюка! Для допроса. Понимаете? — Сердю-ка!!!

Я вышел на носках.

Семён Гехт

Абрикосовый самогон

Десять лет длилась тяжба между Каховкой и Алёшками. Десятым годом был двадцать первый. Хотелось бойкой Каховке быть днепровским центром, но этим центром были сонные, плавающие в дюнах Алёшки.

Где-то переиначивались судьбы, перекраивались карты, честные люди теряли свой облик, свой цвет и запах, но здесь на пламенном правом берегу — всегда разговор одинаковый, словно кто-то замариновал людей, и мысли их, и их желания.

— Как это так! — кричали каховчане. — В Алёшках пристань — не пристань, а бадья и речка то-о-же — паршивая Конка, одно удовольствие — голое солнце и песок по колена. В нашей Каховке — асфальт, и Днепр, и кусты, и прохлада, в будни — базар, по воскресным дням — ярмарки, что хочешь выбирай: пшеница — на отбор и кони-красавцы. Сам Бог Каховку назначил быть столицей.

Хорошо говорили каховчане. Каховская кровь — таврическая кровь, кучегурами пылает, виноградом брызжет.

Но в Алёшках народ хоть и не торгового звания, а себе на уме. Отвечали алёшкинские огородники так:

— Вам сам Бог завещал, да нам губисполком приказал.

Ездили обиженные каховчане в Алёшки на съезды. Кричали на съездах со слезой, с надрывом:

— Наша программа такая. Пора обратить внимание, приложить данные усилия, добиться во что бы то ни стало собственного исполкома и комхоза.

Ничего не помогало. Из Алёшек шли директивы, из Алёшек летели приказы, и Каховка принимала их к сведению, к исполнению, безропотно подчинялась и съёживалась в зелёной зависти.

Но крепки пословицы, и против них не попрёшь. «Будет, — говорит одна, — и на нашей улице праздник». «Всякому овощу, — поддакивает другая, — своё время». Это значит, что каждому городу — будь он велик или мал — суждён свой час, знаменательный час, когда прокатившееся по его стогнам событие делает его местом историческим. Стоял в Каховке сивашский стрелковый полк. Врангеля поперли, о войне

забыли, и занимался этот полк караульной службой и любовью. Был в этом полку адъютант, беловолосый латыш Дрн — сам, как крыса, и фамилия крысиная. Стрелки считали его своим, городские торговцы хаяли, но с лаской, огородники любили его весьма. А женщины — те ценили его манеры, но возмущались его речью. О всякой вещи, будь она самого прелестного назначения, он говорил в мужском роде.

Завелась у него в Каховке Оксана, а сердце у Дрна было такое же, как и волосы, и стал он яростным каховским патриотом.

— Чудной мой латыш, — говорила ему часто Оксана стеклянным голосом, голосом, не допускающим возражений, — ты здесь власть, тебя у нас за начальника считают, и почему бы тебе не осрамить этих алёшкинцев. Зазнались они очень, гордые — не подходи.

Дрн слушал и мотал на ус. Но когда узнал, что в Алёшках его называют не Дрн, а дрянь, его щеки вспыхнули, как плавни в засуху.

* * *

В то время в Таврическом уезде убирали урожай. Был двадцать первый год, невероятная засуха сожгла юг, урожай выдался худой и жалкий. Чахлая карликовая пшеница, сморщенная картошка и жёлтые водянистые огурцы. Хорошо только вышли абрикосы. Такие же, как и всегда, пухлые и ласковые, с ямочками и пылью. И что важнее всего — их было много. В Алёшках их было невыносимое количество. Город задыхался от их клейкого аромата, их желтизна смешалась с белым цветом мазанок и бурой массой песка — другого цвета город не видел. У каждого огородника было собрано не меньше двухсот пудов. Вывоз был запрещён, налог внесён, оставались целые возы, абрикосы от времени портятся и гниют, что прикажешь делать с ними.

В Алёшках бывает так. Стоит одному сделать какое-либо дело, как все остальные делают то же самое. Люди, как дети, и мозги их — воск, лепи, что попало, — материал подходящий. Это обстоятельство быстро уразумел молодой огородник с Доброй Слободки Франц Самосуд. Никто не знал, откуда он родом и к какой нации принадлежит. Полагали, что либо еврей, либо немец, но женщины настаивали, что турок.

— У него глаза, — говорили они, — шёлковые-шёлковые, бархатные-бархатные, совсем турецкие.

Жил он в Алёшках всего полгода и огород получил по ордеру, от колхоза. Хозяйство у него было плёвое, но продуктов всегда горы стояли. Говорили алёшкинцы робко, что он — жулик и жила, но любили его за балагурство, и никому не удалось узнать, закупил он своё добро или сам наработал.

В июльский день Самосуд вылез во двор и стал сушить абрикосы. С утра до вечера сидел он подле воза, бережно разламывал абрикосы

пополам, выхватывал косточку и раскладывал все абрикосы отдельно и косточки отдельно на крыше своей мазанки.

— Абрикосу надо сушить, абрикосу, — кричал он сверху своим соседям, — если её да не сушить, пропадёт, как сирота пропадёт.

И доверчивые алёшкинцы на следующий день только и делали, что сушили абрикосы.

Но через два дня Самосуд сполз, кряхтя, с крыши, зло плюнул в корзину и сказал тем же соседям:

— Абрикосу сушить, что блох разводить. Дрянь дело, товарищи. Овчинка выделки не стоит. На рубль наработаешь, на копейку удовольствия, на копейку.

Вечером этого же дня все горожане прекратили вялую сушильную работу.

И вот тут-то начинается история с самогоном, печальная и неуклюжая история, переиначившая судьбу двух днепровских столиц.

— Надо варить самогон, надо, — сказал озабоченный Франц Самосуд. — Настоящий абрикосовый самогон. Без него пропадёт абрикоса, как сирота пропадёт. А в самогоне — крепость и сладость. Приятное с полезным, гони самогон, товарищи, гони.

И алёшкинские огородники начали гнать самогон.

Но как он делается? Посмотрим, как его делал в данном случае Франц Самосуд.

Он разложил абрикосы на горячем песке под отвесными лучами солнца и ждал, пока они, абрикосы, густо перепреют. Потом он свалил их в гигантскую кадущку и долгие часы стоял над нею, мешая фруктовое тесто круглой тяжёлой качалкой. Когда оно перебродило в кадке и превратилось в кислую огненную жижу, Франц установил блестящую жестяную змею, самодельный аппарат. Он разогревал чан, абрикосовая жижа уходила парами, пары переползали из трубы в трубу, медленно охлаждались и оседали уже на дне настоящим абрикосовым самогоном.

Так делал этот напиток Франц Самосуд, и точно так делали его на другой день все огородники.

А рыбаки, у которых есть плоскодонные шаланды, но нет огородов с фруктовыми деревьями, которые имеют в изобилии карасей и хамсу, но совсем не имеют абрикосов, эти рыбаки покупали их и варили самогон, варили с упоением, со злостью, с обидой.

Под знаком самогона кончился бешеный июль. И начинался уже август, когда Самосуд произнёс однажды на рыночной площади, в шумный базарный день, следующие слова:

— Граждане огородники, — сказал Самосуд, — много работы ждёт нас впереди, много. Ещё баштаны лежат необранные и зелёные кавуны... — хорошо говорил Самосуд. Недаром он был горожанин. И не напрасно прозвали его балагуром.

Он предлагал устроить трудовой праздник. Местом действия будет Добрая Слободка, материалом — абрикосовый самогон, а в программе — песни и танцы.

Он обещал пригласить почётных гостей — местную власть: комхоз и исполком, и духовное сословие.

— Ох, подведёт, — думали те, что постарше, — куда немец гнёт — не иначе как политика.

Но люди в Алёшках, как дети, и мозги их — воск, лепи что попа-ло, — материал подходящий.

И Самосуд лепил.

Что было потом, никто хорошенько не помнит. Видели только, как Франц разъезжал до самого вечера в крашеном шарабане, как он оставовился у крыльца земской управы, где теперь находился комхоз, как выходил из калитки церкви Бориса и Глеба, видели ещё, как он весело потирал руки, когда спускался с исполкомовской террасы.

А вечером... Но вот что произошло вечером на Дobreй Слободке в городе Алёшках, уездном таврическом центре и первой днепроvской столице.

Среди гостей были Митяй-Митюха — заведующий комхозом, военмор Дырка — секретарь исполкома и батюшка Андрей. Столов и стульев не было. Стаканов также не было. И ещё не было никакой закуски. Сидели группами, подле каждой кадущки по десять человек. Самогон черпали жестяными чумичками и пили его молча.

Глаза у всех были турецкие, а носы хуже турецких — багровые, огненные, казацкие. Огородники ползали, карабкались, плясали вокруг костров, вокруг кадущек, ковырялись руками в остывшей жиже, плевали в неё и снова запивали. Почётные гости были в ажиотаже. Военмор Дырка спал на груди у отца Андрея, а Митяй-Митюха лил обоим на головы по капле самогон.

В темноте Самосуд держал речь. Он говорил о том, что необходимо сделать общественный поступок для гражданской пользы. Огородники кричали — согласны, клянёмся, и заставили отца Андрея читать анафему каховчанам.

— Пусть знают наших, гони анафему, поп!

И батюшка читал срамословную анафему.

Потом Самосуд опрокинул кадущку, тёмная жижа побежала по траве, и влез на неё.

— Рядовой Юла, отправляйся на колокольню. Да не жалея каната, не жалея.

Огородник, которого звали Юлой, был толст и неподвижен. И менее всего он был похож на Юлу. Он поплыл мелкими шажками вниз по Слободской, улице, к церкви Бориса и Глеба.

Десять минут спустя город содрогался от колокольного звона. Звон был неожиданным и необычайным и очень печальным. Юла вызвонил на колоколах «Яблочко».

Пили, пели и снова пили. Шаландщик Давыдко, молодой цыган, кричал скользким фальцетом:

— Я имею предложение, — кричал он, размахивая руками, как вёслами.

— Какое предложение, какое? — спросил Самосуд.

— Построить радиостанцию. На этом самом месте. В знак памяти.

— Хорошо. Ты говоришь радиостанцию, ты говоришь? А материал, Давыдко, материал где ты возьмёшь?

— Какой же материал, — усмехнулся Давыдко. — Шпалы у нас есть, скажи, есть?

— Ну, есть, ну?

— И проволока есть?

— Есть.

— И песок есть, и камень есть, так?

— Так, — весело свистнул Самосуд искомандовал:

— Айда, ребята, строить радиостанцию.

Шпал под рукой не оказалось. Выдёргивали целиком загати и сваливали их в кучу. Проволоки также не нашлось. Вместо проволоки натаскали сухой камыш и конопляные палки.

Радиостанция была уже почти готова, то есть была сооружена клеть из трёх гнёзд, расположенных ярусами и удлинявшихся кверху. Внизу поставили круглую корзину, а наверх забросили бечеву с флагом.

Флагом служила жёлтая юбка, на ней был мелом нарисован череп и написано большими буквами: «Смерть Каховке».

Итак, радиостанция была почти готова, когда Самосуд спросил:

— А кабель, Давыдко, кабель?

Давыдко вылупил глаза.

— Чёрт, — буркнул он с досадой, — о кабеле-то я и не подумал.

Самосуд захохотал диким хохотом. Потом он схватил радиостанцию за фундамент и повалил её.

— Отменяется, несостоятельно.

И, обратившись к обществу, он сказал:

— Граждане-огородники, предлагаю перебросить мост через Конку, мост. В лесопилке, за кучегурами, сложено десять тысяч срубов, сложено.

Эти слова были встречены весёлым гулом и хохотом. Мост через Конку — да это ведь загадочная мечта всех алёшкинцев, да тогда ведь Каховке похвастаться нечем будет, а кому не приятны успехи своей родины.

И Самосуд это обстоятельство также уразумел.

В весёлое гуденье вмешался печальный и дикий колокольный звон — Юла вызванивал на колоколах танго.

Был второй час ночи — горланили уже петухи и пахло рассветом, когда жёлтая алёшкинская луна была очевидицей следующего шествия.

По всем улицам, вниз по пути к плавням и камышовым зарослям медленно двигались телеги, фуры и шарабаны, запряжённые лошадьми, волами, верблюдами и огородниками. На телегах были сложены свежие пахучие сосновые срубы. Обоз, уже достигавший плавней, кончался за Доброй Слободкой.

Шествие напоминало похоронную процессию — его сопровождал тягучий, непонятный, мрачный колокольный звон.

Над зданием земской управы часы показывали четыре часа и тридцать минут, когда прелестная пунцовая алёшкинская заря была свидетельницей следующего события.

Огородники бросали срубы в воду. Митяй-Митюха читал над ними благословение. Военмор Дырка тяжело спал, уткнувши голову в грязь. Отец Андрей скулил над ним отходную. Давыдко просовывал ему в ноздри сухие камышинки и зажигал их.

Видела ещё алёшкинская заря, как горожане водружали собственный флаг на Конке — этим флагом была разодранная на семь кусков ряса отца Андрея.

Флаг был прикреплён к носу плоскодонной шаланды.

Шаланда была опрокинута вверх дном. И был уже седьмой час, когда Дырка проснулся и спросил:

— Товарищи, где же Самосуд?

Тогда все обернулись и увидели, что Франц Самосуд мчался в крашеном шарабанае, запряжённом парю вороних, вниз по городскому шоссе, держа направление на Каховку.

Беловолосый Дрн пришёл из штаба рано вечером. В штабе нечего было делать — в то лето занятия Сивашского стрелкового полка были несложны: посменные караульные часы и бессменное любовное томление.

У калитки Дрна встретили Оксана и Самосуд. Самосуд был возбуждён. Оксана щебетала.

— В чём дело? — спросил Дрн.

Самосуд выхватил из кармана газету и прочёл:

— Общественное безобразие в уезде...

Дрн просиял.

— То-то, — вздохнул он, улыбаясь.

— Преступное попустительство алёшкинских властей, — продолжал Самосуд.

— То-то, — опять вздохнул с радостью Дрн.
— Отчисление от должности, строжайшее порицание, судебное следствие.

— Вот то-то и оно-то, — сказали вместе Оксана и Дрн.

Позже, когда латыш немного успокоился, Самосуд ткнул ему газету. В ней траурной каймой были обведены следующие строки:

«В губернии говорят о перенесении днепровского центра из Алёшек в Каховку».

Дрн торжествующе затопал ногами:

— О, какой фокус, — закричал он, — какой перемен, какой событий! О, мой милый жён, поцелуй Самосуд за мой счёт.

И он закрыл глаза от счастья. Самосуд наклонил голову, и Оксана приблизила к его щеке горячие, потрескавшиеся, облупленные губы.

<1920-е>

Пятница

Вспомнил я равви Акиву случайно.

Возвращался я на той неделе, в пятницу утром, из общественной школы. Как вам известно, у главного уполномоченного Кождреста, Сендера Квак, — дочь на выданье. Об этом я слышал от него не однажды, но в этот вечер Сендер взял меня под руку и сказал:

— Ицхок-Лейб, ради нашей старой дружбы пойдём со мной. Мы подпишем с тобой договор.

— Какой договор, дорогой Квак?

— Я жертвую свиток Торы для ремесленной синагоги и прошу тебя написать его в шесть недель. Я хотел ещё переговорить с тобой в понедельник, но раздумал начинать в плохой день.

Потом он усмехнулся и спросил:

— Идёт?

— Идёт, — сказал я и сейчас же спохватился: — Постой, Квак, какой у нас сегодня день?

Он рассмеялся и покачал головой:

— Ты возвращаешься из общественной школы и не знаешь, какой день? Что это с тобой, Ицхок-Лейб?

Тогда я вспомнил о пятнице и сказал ему:

— Нет, Сендер, сегодня я никаких сделок не заключаю. Для тебя понедельник плох, а для меня пятница горчицы горше.

И мне пришла на память короткая зимняя пятница прошлого года, когда большое несчастье обрушилось на наш милосердный Хмельник.

Об этой истории узнал тогда главный уполномоченный Кожтреста, Сендер Квак, и эту самую историю вы услышите от меня сейчас.

Равви Акива был человеком необыкновенным. Напрасно вы морщитесь — я не собираюсь рассказывать вам легенды. Но скажите на милость — разве не от вас мне приходится слышать каждый день о ваших чудотворцах. Вот уже несколько лет, как от вас только и слышно: Ленин, Ленин и Ленин. Вы говорите: один на сотни миллионов. Но разве у него рога на голове или, извините, сияние на затылке? У него такая же лысина, как у бывшего земского начальника, такие же кривые глаза, как у богатого огородника, и такой же живот, как у учителя гимназии. Вы говорите: а внутри-то что у него творится. Ум-то какой, душа-то какая! Напрасно вы кипятитесь — я с вами согласен. Вместе с вами я не верю в чудеса, но равви Акива был человеком необыкновенным и учёным, каких мало.

Казалось бы, если еврей горбат и сед, чем же он может отличаться от других евреев.

Но равви Акиву можно было узнать с другого берега Буга в весеннее половодье. Причина: он был разноцветным и похож на потускневшую радугу. Судите сами: белый китель, лаковые калоши, синие чулки, седая голова и жёлтая борода.

Дом для равви Акивы строили плотники из Проскурова: одиннадцать комнат, не считая кухни и амбара. Равви жил в них с женой Малкой и сыном Михаэлем. И ещё были с ними одиннадцать слуг по числу комнат.

В то утро, когда убили полицмейстера и в водосточную трубу на крыше земской управы воткнули струганную палку, обтянутую шёлком, равви Акива говорил так:

— Мы видим мёртвое тело и бледнеем, мы слышим безумные крики и дрожим. Работа нарушена, и отдых помрачён. День перестал быть днём, и ночь отказалась быть ночью. Я вижу кровь над ковчегом и рубцы на скрижалях. Но я говорю вам — дети мои, и это к лучшему.

Вот его слова, сказанные осенним полуднем на рыночной площади, потемневшей от жёлтых польских солдат в зелёных шинелях.

— Каждый благочестивый человек, укладываясь спать, вручает душу свою Богу. Подымаясь на заре, он благодарит Его за её возвращение установленной молитвой. Новые времена сулят нам новые испытания. Выходя из дому, мы думаем: несчастье подстерегает нас за углом; возвращаясь домой, тревожимся: смерть ждёт нас на дверях.

— Но тот, кто убоится холодного ножа или горячей пули, собаки гаже, и плоть его псам на потребу.

Уходили годы — над водосточной трубой менялись шелка, но жизнь в доме равви Акивы не изменилась. Так думал равви:

— Спокойствие и благодать в моём доме: Михаэль идёт по моей стезе. Он не ходит никуда, и не читает газет, и не садится без шапки за обеденный стол.

Говорят: один раз свойственно ошибаться праведникам. И равви Акива познал горечь обмана. Так начиналась короткая зимняя пятница.

Старая Малка раскатывала тесто и растирала мак. Десять слуг окружили чугунную дверь в передней и вели спор: что значит 180? Ибо в имени «Ленин» было 180 единиц. Одиннадцатый слуга стоял на дверях у равви и пропускал бедняков — в утренние часы равви принимал просителей. Их было много, и жалобы их были велики, но ответы равви были короче времени. Прошёл час, и комната была пуста.

— Всё? — спросил равви и услышал крики.

— Женщина, — ответил слуга из передней и захлопнул дверь. Акива слышал, как он отмахивался от кого-то и говорил шёпотом:

— Нельзя, женщина! Равви Акива женщин не принимает.

Она не уходила.

Равви постучал палкой о пол и сказал:

— Уойна, впусти.

Потом он поднял голову — у женщины был распахнут тёплый халат и спущена кофта. Он увидел её сосцы и отвёл глаза.

— Запахни халат, дитя.

Она застонала, как ревнующий голубь, и слезы её закапали на новый ковёр из красного бархата.

Так капает воск от свечи на изголовье мертвеца, подумал равви и спросил:

— Имя твоё, дитя?

— Нехама, — ответила она, и плечи её заходили.

— Кто твой отец?

— Ицхок-Лейб из Литина.

— Сойфер?

— Да, — ответила она и сжала ресницы.

Может быть, ей в ту минуту стало стыдно за своего отца, может быть, она вспомнила его лицо в морщинах и голову в серебре.

Равви встал и прошёлся по комнате. Он почувствовал, что недобрые вести ползут в его дом.

Он посмотрел ей в глаза:

— Дитя, я видел твои сосцы. Ты — женщина?

И не дождавшись ответа, он спросил ещё:

— Но ты явилась ко мне с расплетённой косой и распущенными волосами, ты пришла ко мне без косынки. Ты — девственница?

Но слёзы девушки были горше ответа.

— Кто же твой муж, Нехама?

Если каждое слово смерти подобно, губы не шевелятся. Акива понял:

— Назови срамное имя недостойного пса, обманувшего тебя.

И равви задумался.

Над земской управой флаги менялись часто. В те дни в городе были красные. Каменный замок убитого пана Ксило Владовского был занят круглыми сибирскими солдатами и проскуровской молодёжью в кожаных куртках и больших папах из кошачьей шерсти. Эти не признавали закона и таскали с собой пятикнижие на гнусную потребу. Если это один из них сотворил глумление над девушкой, то... Но равви понял, что не может этого быть — если бы это был один из тех, эта женщина не пришла бы к нему.

— Кто же он? — спросил Акива. — Твой... я знаю его?

— Да, — ответила Нехама, ибо слёз у неё больше не было и губы открылись для речи.

Акива достал из кармана красный платок. В печную трубу задувал ветер, но у него лоб был в поту.

— Женщина, скажи мне его имя. Запахни халат.

Тогда она встала и, хрипя, прошептала.

— Михаэль .

Он услышал, но показалось ему, что ничего не сказала женщина, и он подошёл к ней.

— Повтори.

Он услышал то же самое, и лицо его стало, как субботняя скатерть, закапанная воском.

В эту минуту равви Акива уже не был похож на потускневшую радугу. Он был весь жёлтым.

Казалось даже, что его белый китель и отливавшие лаком галоши пожелтели тоже.

— Женщина, — закричал равви, но голос его был слаб, — скажи мне имя его отца.

И так как она молчала, он повторил, и голос его был ещё слабее:

— Я понимаю твоё молчание, женщина, но я должен услышать это от тебя.

— Это твой сын, равви.

На ресницах её опять повисли слёзы, и она перестала говорить.

Тогда Акива постучал палкой о пол, но стук был слаб, и слуга не вошёл. Он бросил её к дверям, и перепуганный слуга показался на пороге.

— Позови Михаэля, — сказал равви и возвысил голос, когда увидел, что Нехама собиралась уходить. — Сядь, я хочу, чтобы он видел тебя.

Одиннадцать слуг шептались в передней. Молодой Михаэль был на кухне и говорил с матерью, раскатывавшей тесто и растиравшей мак. Он прошёл сквозь десять комнат и не видел стен. В одиннадцатой он поднял глаза и покачнулся. Но лицо его стало не жёлтым, как у отца, а синим и тёплым.

— Михаэль, — закричал равви, но сам не услышал своего голоса. Потом он повалился на стол и соскользнул на пол. Падал он медленно, как подсекаемое дерево. Нехама выбежала на улицу с распахнутым халатом и распущенными волосами.

Равви Акива лежал десять минут, и дыхание его стало хриплым. Михаэль закричал, как женщина.

Сколько суеты было в доме, когда весь город узнал об этом, рассказывать не стоит. Но когда пришёл доктор и сказал, что равви осталось жить десять часов, суета сменилась тревогой, и народ решил спешно созвать совет.

— Равви не должен умирать, — сказал старший габай¹, и все с ним согласились.

— Равви должен жить, и мы дадим ему жизнь. Мы пойдём по еврейским домам. Пусть каждый оторвет от своей жизни часть для равви.

И на этот раз все с ним согласились.

Три габая главной синагоги, старший, помощник его и младший, взяли с собой счетоводную книгу, стальное перо и складную чернильницу и пошли из дома в дом. Говорят люди: больше всех любят жизнь старики и калеки. Вспоминаешь прежние времена — спокойствие и сытость. Дана тебе, человеку, жизнь — радуйся и веселись.

Но бывало, когда умирал великий человек, не проходило часа, как десятки лет были собраны на одной улице. Люди дарили месяцы и годы так же легко, как нищему ломоть хлеба. В те же дни, когда не было дома без потери и семьи без жертвы, люди хотели жить, и жажда к этой жизни была у них буйная.

Едва только замечали на улице трёх габаев из главной синагоги, как во всех домах замыкались двери и захлопывались ставни. Но старший габай сказал:

— Святая обязанность возложена на нас.

И они находили людей в амбарах и на задворках. Тупое отчаяние было в глазах у хозяев. Скупость их была безмерна и подающая — жалки.

¹Габай — должностное лицо в еврейской общине или синагоге, ведающее организационными и денежными делами.

— Эля, — сказал старший габай своему помощнику, — подведи итог. Скоро вечер, и придётся идти назад.

— Четыре дня, — ответил помощник, и они переглянулись. — Что делать?

Но младший габай указал им на дом Ицхок-Лейба, литинского софера¹.

— В этом доме двери не заколочены и окна не задёрнуты занавесями. Здесь есть милосердие.

И они вошли. Но, кроме девушки и старухи-матери, в доме не было никого.

— Девушка, — спросил старший габай, — где твой отец?

— Он уехал в Проскуров.

Потом она сказала:

— Отец повелел мне говорить за него с домохозяевами. Что вам нужно?

— Девушка, — обратился к ней старший габай, — равви Акива умирает. Вот наш список. Мы зываем к твоему милосердию...

Он хотел ещё говорить, но она поняла.

— Господа, — сказала она. — Я...

Они отвели глаза, потому что она разодрала на себе кофту.

— Господа, — сказала девушка. — Я отдаю всю свою жизнь.

Видя, что они молчат, она возвысила голос.

— Она не нужна мне. Но вам-то ведь всё равно. Запишите сто один год — мне всего девятнадцать лет.

— Евреи, — закричал старший габай, — в этом доме обитает горе.

Но младший габай схватил его за рукав, и слова его были, как ледяные глыбы.

— В этом доме есть милосердие. Будь благословенна, женщина.

И он сделал росчерк в книге и захлопнул её.

В наши дни никто не верит в чудеса. Наше поколение говорит — нет чудес, и убеждает нас в том, что, когда евреи проходили через Красное море, был большой отлив. Случай создаёт молву о чуде. Пусть так. Значит, в ту пятницу суждено было быть неожиданной случайности. К вечеру равви встал, как будто бы ничего и не было.

Голова его была свежа и шаг спокоен.

Старая Малка перестала раскатывать тесто и растирать мак — она обтянула голову шёлковой косынкой и зажгла субботние свечи.

Равви Акива пошёл в синагогу. Десять слуг ступали впереди. Одиннадцатый слуга вёл равви под руку.

Было на улице светло — от выпавшего снега, молодой луны и ясных мыслей в голове.

¹Софер (софер-стам) — еврейская религиозная специальность по написанию свитков Торы и др. священных текстов.

И все видели равви Акиву, и каждый думал о себе: «Я исполнил свой долг. Я сделал всё, что мог».

И все радовались, ибо равви был опять похож на потускневшую радугу.

Равви шёл в синагогу, и шаг его был спокоен.

Но в переулке, где баня, он услышал женский плач и остановился. Он прижался к стене и послал слугу.

— Уойна, пойдн узнай — в чьём доме плачут над изголовьем мертвеца. — Ибо он знал, что так плачут только по усопшим.

Уойна не возвращался десять минут, и равви понял, что не освящать ему эту субботу в синагоге.

Когда же он пришёл, и на лице его была тревога, равви уже не сомневался в том, что быть большому несчастью.

— Равви, — сказал Уойна, — умерла девушка, отдавшая тебе свою жизнь.

И он закусил зубами бороду, ибо спохватился — он сказал, что говорить не надо было.

— Имя этой девушки? — закричал Акива.

Уойна молчал.

Акива ударил его по руке и захрипел.

— Имя этой девушки, Уойна?

— Нехама, дочь Ицхок-Лейба, сойфера из Литина.

Равви неслышно упал в снег.

Последние слова его были:

— Господи, за что? Ты продлил мне жизнь за грех моего сына. Она не нужна мне.

Теперь вы понимаете, почему пятница для меня горчицы горше.

В этот зимний день прошлого года милосердный Хмельник потерял своего равви, а я — свою дочь.

Обо всём я узнал у Уойны неделю спустя, когда я вернулся из Прокурова.

Вы не удивлены, и я вижу по вам, что вы успели догадаться, кто был Ицхок-Лейба, сойфер из Литина.

Илья Ильф

Повелитель евреев

В Брянске шёл дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил её только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной.

Толстую даму — моего пятого спутника — я тоже не забуду. Я ненавидел её всё время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму.

— У меня 38 градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале¹, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться.

Раму подняли, и до Казатина воздух, разгорячаясь всё больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать.

Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч вёрст я был повелителем четверых мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробьи, выпавшие из гнезда.

Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Моё маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью 40 вёрст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого...

— Иля, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстёгнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Иля, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это.

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своенравие мануфактурщицы.

¹Ныне — Киевский вокзал (с 1934 г.).

Всё-таки, если мне придётся на моей жизни ещё раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знамёнах дивизий, два года спускавшихся к югу для захвата Крыма, был повторен сахарной цепью на сладком тесте.

Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой.

Когда я вошёл в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против неё сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Ещё двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова.

Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня.

— Можно мне опустить полку?

Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и двинулся.

Я лёг, чтобы думать о том, для чего ехал.

2

Он пришёл ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мёртвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочёл своё имя. Для того чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон.

Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели.

Они говорили о ней на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама.

Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты, дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спёкшегося в печке угля.

Тяжёлый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжёлый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала.

Когда я во второй раз проснулся, стёкла вагона ещё звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу.

Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица стена пила чай, а мебельщики копошились над курицей.

Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я ещё не знал, что через час смогу распоряжаться ими, как захочу. Я относился к ним, как равный, и если не вступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча.

Моё молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обглаживание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон.

Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звёздным знаменем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял лёгкий треск.

Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всём, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что, если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.

— Он — чекист! — сказал один из мебельщиков. — Я это знаю. Не бойтесь, он не поймёт, он не знает языка!

3

Они ошиблись. Жаргон я понимал, я чекистом никогда не был.

Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя.

Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулок, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки!

Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нём немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево.

Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте.

Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.

Мебельщики называли даты и города, где я всё это проделывал. Они были возбуждены, и единодушные их раскалывалось только иногда и только в мелочах.

Я насилывал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шёлка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелке были вышиты жёлтые пчёлы с чёрными кольцами на животах. Я много порвал такого шёлку и многим девушкам показал жизнь с той стороны, где были не пчёлы, а только боль пчелиных укусов.

На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы, и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома.

Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз.

— Евреи!

Я ликовал и говорил хриплым голосом.

— Евреи, кажется, сейчас пойдёт дождь!

Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят.

Я сказал их по-еврейски.

Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им, как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском.

От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил своё знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом.

Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять.

Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а моё желание было их действительностью.

Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза ещё продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний.

Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей.

В Сухиничах я ел кислые яблоки.

— Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан.

Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена шука.

В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сарра сидела под зелёным дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами.

Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке.

Я довольствовался немногим, хотя мог получить всё. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета.

Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошёл до описания ямы, в которой лежал Даниил.

Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелёными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землёй ртом и жаловался львам на негодяев-военачальников Вавилона. Львы слушали и молча уходили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зелёные глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила.

В окне на мгновение останавливалось зелёное цветенье семафоров и молча уносилось назад.

Колёса били по стыкам, и, пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая жёлтыми квадратными фонарями, ходили по тёмным вагонам, там, куда я ехал, ещё ничего не знали.

Там ещё не знали, что писем, падающих в большой чугунный ящик у почтамта, оказалось мало, что телеграммы показались мне недостаточно быстрыми.

Там ещё ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колёса уже били по стыкам, зелёный огонь в семафоре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали.

Зелёный горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон.

В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие моё окончилось.

5

Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл всё, что случилось в поезде, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведённые этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью.

Мы сидели на подоконнике, и я говорил:

— Сколько раз ночью я шёл под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и входил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и жёлтых гранёных фонарей было лучше всего вспоминать о тебе.

Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда-нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку, она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треска, разваливался, и я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату.

В то время была война, и из-за неё я узнал страх смерти. Разве я когда-нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убегавшего из-под обстрела. От пяти часов вечера я знал страх смерти. Потом я узнал его ещё много раз и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла.

Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал её кровью, но больше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе.

На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собаки стада задавленно и хрипло кричали «ура».

Когда зелёный коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала:

— В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлён дорогой. Всю дорогу он не спал.

— Почему же он не спал?— рассеянно спросил я.

— К нему пристал какой-то чекист и для своей забавы заставил его всю дорогу читать Библию.

— Сегодня? — Я пошёл в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу.

Я так и не пошёл к нему. Но мне придётся пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.

<1920-e>

Владимир Жаботинский

Акация

Ещё один май кончился, и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так её не напоминает вдали, как запах акации. Даже море. Во-первых, море на море не похоже: под Петербургом море бледное, подлинялое, «малосольное», как где-то кто-то выразился, и напомнить наше море оно может только по контрасту; а где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на Ланжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых — убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке опросил как-то свой класс, и оказалось, что четыре малыша, лет по семи-девяти, никогда не видали море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе Св. Петра.

Вообще человек далеко не так любопытен, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу запах обоняния.

Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит ещё к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать — как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии, — «или я принят в пригготовительный». Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох, поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне; я иду, и от моих подмышек и штанишек подымается пар, ergo, я сохну, но всё-таки страшно: вдруг там учителя заметят, что я вохкий, и Бог знает что подумают? Это во-первых. А во-вторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в пригготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщики (это значит: в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили чёрную форму) — и всё проваливался, и мне уже надоело проваливаться. И вот я пришёл. В классы ещё не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, подымаю руки на голову, чтобы под мышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с

соседом. Он уже матёрый гимназист: второгодник из того самого пригготовительного класса. Оба мы — видные, хорошо известные в своём кругу коллекционеры: собираем «кардонки», то есть верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба — люди опытные, с большим знанием биржи, но столковаться трудно. За одну Одалиску Месаксуди он требует четыре бр. Поповых. По-моему, это живодёрство; кроме того, я ему указываю, что одалиска неумытая, на декольте у неё размазанная сажа: ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата-студента: новёхонькая; папиросы он высыпал, а коробочку украл; и совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит, «анатомия» — он выражается гораздо определённое, как прилично матёрому гимназисту, и для убедительности божится: «Накарай меня Бог!» Я ему отвечаю на том же языке:

— Откогда (что значит: «с тех пор как») я собираю кардонки, не видал такого кадета.

— Сам кадет! — отвечает он. («Кадет» означало тогда плута).

— А ты — гобелка, — отвечаю я. (А что значит это ругательство, и по сей день не знаю).

В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я наконец принят. Я в восторге. Бросаюсь со всех ног — обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки, и я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Оказывается, он «сховался» и курит, выпросив бычка у коллеги-второгодника, только из третьего класса.

— Чёрт с тобою, говорю я, — на тебе всё, что хотишь, и давай сюда твоё сметьё.

Он берёт у меня четырёх братьев, даёт мне одалиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит:

— Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси.

Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю:

— А меня приняли!

Он смотрит на меня презрительно:

— Нашёл чему радоваться. Дурак.

Но я едва бормочу сквозь зубы установленную формулу ответа: «Дурак? Твоё имя так; моё прозвище, а твоё родное». Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку.

Это воспоминание — из глупого детства. По мере того как я умнел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчёт того, что нечему радоваться, — по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм на-

уки, а из храма. Нас ещё не распустили, и даже я знаю наверное, что учитель такой-то такой-тович хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня! Я ещё с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопортофранковской. Я аккуратно складываю книжки и даже — чтобы уж быть совершенно en gèle — заранее изготавливаю записку: «Сын мой не явился такого-то мая по болезни» и виртуозно подписываюсь маминым росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две «персядки». Мы садимся на конку и едем к Ланжерону, словно князя какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку с колючего «турка»? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок — «турка». И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. (А мы «да» ловили, сказал бы я в то время). Ловить крабов на массивах — дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента: во-первых, он вспыльчив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на верёвочку и, завидя в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить верёвочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернётся и изо всей силы защемит клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды.

Дома вы сказали, что из гимназии пойдёте к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке: и на алгебру непохоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это, опять, не для простецов дело: нужна фантазия и техника. Вот, у дверей бакалейной лавочки, стоят два открытых бочонка: один с солёными огурцами, другой с чёрной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку, и вытаскивает, что требуется; если покупатель брезгливый, лавочник не обижается: пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы (как это сказать по-русски, но так же кратко?), а я тем временем колонизирую крабов: парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. Авось не задохнутся до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин, видно, ждёт кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а неряха: не скрутил зонтика, чёрная ленточка с пуговичкой повисла зря, и фалды между проволочными рёбрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем ещё одного краба. Ещё одного кладём вверх животиком на сиденье дрожек: дрожки стоят у парадного входа, сейчас выйдет седок — даст Бог, это будет дама в лёгком майском платье, подходящем для сезона акации.

Всё сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневают сумерки, в домах позажигали лампы, с улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит, через дорогу, девица у пианино; окно раскрыто, и исполняет она Полонез Огинского. Мой товарищ останавливается, и я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило! Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается — так, как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской ряби, чтобы он семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся — я замираю, — и краб, перелетев через тротуар, улицу, ещё тротуар, окно и полкомнаты, плашмя шлёпается на третью октаву слева и даёт смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из четырёх последовательных нот, не считая двух дизезов. А акация пахнет, как скаженная.

* * *

Потом... потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна ещё непременно светить луна. Как зовут барышню, это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают, но у неё длинная коса и славные глазки, сто миловидных ужимок и лёгкий, добрый, уступчивый характер: если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал: «ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя, и за что люблю, и надолго ли». Она и сама не отрицает, что вы в её шестнадцатилетней биографии не первый, и от вас не спросит никакой присяги и не потребует никаких лишних церемоний. Угостить её можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к её тоненькой блузке. А дальше вы уже сами должны понять и найтись.

Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость. Но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще, нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни, город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землёю. Только пахнет акация, как пахла всегда, и напоминает невозвратимое.

<1934>

Константин Паустовский

Случай в магазине Альшванга

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моём распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трёх пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо ещё, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал её, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замёрзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег ни разу не выпал, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить её было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нём по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя всё тёплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели¹. Стихи эти были изданы в Одессе в этот голодный год, и я

¹Точнее — Жозе Мария, имеется в виду книга: *Ж.-М. Эредиа. Избранные сонеты*. Одесса, 1920.

могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне. Мы истекаем кровью...»¹

Кровью мы, конечно, не истекали, но всё же и нам, молодым и весёлым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развёртывала суетливую и несколько подозрительную деятельность художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитьё женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось несколько тесёмок — и всё!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по чёрному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на неё.

Я работал тогда секретарём в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболев — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболев принёс в «Моряк» свой рассказ, раздёрванный, спутанный, хотя и интересный по теме, и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболеву исправить его никто не решался. В этом отношении Соболев был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболева почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всею своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодёжью нашей редакции.

¹Г. Шенгели. Поэтам (1918).

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть её ещё раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погружённый в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрёстках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я туго свернул жгут из газеты, зажгёт его и пошёл с ним, как с факелом, открывать тяжёлую магазинную дверь, заткнутую ржавым куском газовой трубы.

Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

Стоило, задумавшись, уставиться на неё, как она тотчас начинала жалобно потрескивать, моргать и тихо гасла. Поэтому я даже избегал смотреть на неё.

— К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как думал Жора.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придёт к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что, — сказал Благов. — Я всё думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного коня, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно — наверняка разденут. И при вас я пройду по рукописи.

— Что значит «пройду»? — спросил я. — «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажгёт этот

огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрёпанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришёл Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушёной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свёклы.

— Поимейте в виду, — сказал Жора, — что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ, — ответил я. — Для очередного номера.

— Поимейте в виду, — снова сказал Жора, — что не каждый работник милиции поймёт, чем вы занимаетесь. Благодарите Бога, Которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура — выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куса навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на чёрной бархатной подушке мраморная рука неопикуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В своё время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень, — ответил я. — У вас есть сахарин?

— Есть, — ответил Жора. — В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала её начисто.

Я прочёл рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Всё стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из чёрного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я. — Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан¹. А на следующий день в редакцию ворвался Соболев. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрёпаны, а глаза горели непонятным огнём.

¹Рассказ не был напечатан — в газете «Моряк» (равно как и в другой, иногда печатавшей прозу газете) Андрей Соболев не публиковался ни разу, иначе говоря, перед нами — не воспоминания, а... рассказ.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль, как извержение, взлетела над столом.

— Никто не трогал, — ответил я. — Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболев. — Брехня! Я всё равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболев бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболев. — Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболев достал где-то полбутылки коньяка и принёс в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная вовремя.

Написано в Одессе

Александр Грин

По закону

1

Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, дверью мира, началом кругосветного плаванья, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладёт начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом волн. Вид чёрной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пёстрые, как шуты, попугаи), все встречаемые мной моряки и, в особенности, матросы, в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде — были герои, гении, люди из волшебного круга далёких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»... голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжалчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым чёрным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти впущенные в морской рай безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая её с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход.

Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где на каждом шагу открывал Америку. Здесь бился

пульс мира. Горы угля, рёв гудков и сирен, заставляющий плакать моё сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию, — по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла удушливая жара, но в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день молы, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами, и после колебания взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебёдки, под отчаянный крик турка: «Вира!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии», — рассеянно отвечал: «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнём с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.

Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьёзно думал, что на мачту лезут по её стволу, как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере через месяц, попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешёвыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рождёнными не иначе как русалками, — не может обыкновенная женщина родить такого счастливца.

2

Подъезжая к Одессе, я разговорился в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладнокровно душат старух, присваивая бриллианты и золото. Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свёл знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.

Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щёгольском клетчатом костюме, лиловых носках и жёлтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря ещё обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизируются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублём, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но, до момента вручения письма, я был непоколебимо уверен, что письмо заключает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне уют и полное матросское содержание, — правда, без жалованья, — в так называемой «береговой команде».

«Береговой командой» были матросы, кочегары и, другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полулазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днём, кто хотел, работал носильщиком в складах пристани, а ночью нёс очередную вахту около пакгаузов Общества.

Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рёва и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, — и голубым заревом свободного за волнорезом, за маяком синего Чёрного моря. Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, показал мне, что я никуда не ушёл, что я — не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.

3

В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь — этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесён внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьёзно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была

не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал, ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».

Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».

Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.

Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лёжа, смотрел в сторону и слушал.

Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришёл по его просьбе. У него жена, дети, сам он — военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.

— Вы видите, — сказал доктор в заключение, — что от вас зависит, как поступить — «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнём дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.

Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречёт он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...

Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнёс:

— Пусть... уж... по закону.

Доктор, тоже помолчав, встал.

— Значит, «по закону»? — повторил он.

— По закону. Как сказал, — кивнул матрос и закрыл глаза.

Я был так взволнован, что не вытерпел и ушёл на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.

С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с её внутренних, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас.

Андрей Соболев

Салон-вагон

*...И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...*

А. Блок

До войны он был в личном распоряжении генерал-губернатора одной из восточных окраин. А так как генерал-губернатор, старик шестидесяти лет, страдал водянкой, разбухнув весь, и почти никогда не расставался со своим дворцом и садом, пышным и занимательным, похожим на сады из арабских сказок, где тонкоголосые фонтаны, замысловатые лабиринты и узорные беседки ещё хранили молчаливо-грустные воспоминания о последнем эмире, убитом на пороге его дворца, и так как телеграммы предпочитал поездкам, а халат, мягкий и вкрадчивый, словно улыбка восточной женщины, мундиру, то голубой салон-вагон мирно стоял на запасных путях.

Только раз в году, весной, отправлялся он в Петербург за генерал-губернаторской внучкой и привозил из Смольного девочку с косичкой. В его большом зеркальном трюме между двумя шифоньерками только и отражалось одно: белокурая институточка, худенькая, с большими, не по летам невесёлыми глазами, и толстый умильно-широколицый денщик — не то нянька, не то дядька.

Девочка Тоня, а впоследствии Антонина Викторовна Ашаурова, надолго запомнила вагон № 23. Когда летом 1906 года умер дед и на вокзале трубы, флейты и фаготы провожали его высокопревосходительство в последний путь, а на площади толпами стояли длиннобородые сарты, похожие на фокусников и чревоушителей, девочка плакала не только о дедушке, но и о «голубеньком», с которым надо расстаться навсегда. О голубеньком вагоне, где в углу она когда-то нацарапала перочинным ножиком, как это делают все солдатики и о чём ей рассказывал денщик Прохор, свою тайну, тайну никому не рассказанную, даже лучшей подруге, — своё стихотворение с заглавными

буквами в каждой строчке, как в хрестоматии, и над которым долго-долго работали и маленькая голова и маленькое сердце:

Голубенький вагон,
Я люблю тебя, как деда,
Я люблю тебя, как Бога,
Если б не было бы Бога —
Умерли бы все души.
Если ты меня покинешь —
Я умру,
Голубенький,
И меня зарюют, как папу, как маму,
Как брата Серёжу.

В начале войны судьба сначала закинула его на Кавказский фронт, откуда он перекочевал на Юго-Западный. На Юго-Западном фронте он был в непрерывном движении: новый командующий армией жил и спал в нём. Неутомимый и горячий, генерал нигде подолгу не засиживался, с одного места переносился на другое. Не раз вагон попадал под обстрел, не раз вывороченные рельсы и калекисемафоры преграждали дорогу, но тотчас же из соседних вагонов выскакивали солдаты-железнодорожники, чинили — и вагон катил дальше. Покачиваясь, мчался вдоль опустошённых полей, мимо разорённых деревень, дрожал всеми своими стенками, и дребезжало зеркало-трюмо, отражая карты, планы, кобуры револьверов, обветренные смуглые лица французских офицеров из миссии.

А чаще всего энергичный, слегка жёсткий, как жёсток бывает контур одинокой скалы, профиль того, кто несколько лет спустя (так же склонившись над картой), вздумал повернуть колесо истории России, пытался выдернуть его из колдобины, хотел направить его к старой Дорогомиловской заставе.

Вскоре вагон заболел — заболел, как болеют люди: подался, где-то лопнули какие-то пружины, дававшие жизнь, где-то что-то свернулось. Как уносят больного человека, так увели и его лечить: выстукивали, щупали, возились с ним, царапали потрескавшуюся голубую кожу, поднимали, вновь опускали. А вылечили, — пришла к выздоровевшему бумага, что такой-то и такой-то вагон переходит к министру такому-то и такому-то.

Тотчас же заново перетянули кожаные диваны и кресла, переменили гардины, занавеси, навели блеск на все медные части, подновили голубую краску, растянули ковры, — и уже в первую поездку зеркальное трюмо — молчаливый, но всевидящий свидетель — отразило иную жизнь иной полосы. В его таинственной глубине появи-

лись бокалы, серебряные ведёрки, чарки, замелькали модные дамские причёски, камергерские мундиры, фраки, косынки сестёр милосердия вокруг накрашенных губ и подведённых глаз, сверкнули серьги, браслеты, свитские аксельбанты, разнокалиберные золотые и эмалевые значки, поплыли кружевные вырезы, лощёные проборы, монокли, голубые жандармские плечи, молодцевато расправленные.

И однажды грузно и жутко обрисовалась в зеркальной глади неуклюжая, как каменная баба в степи, и страшная, как сам рок, вдруг принявший человеческий облик, растопыренная фигура косматого сибирского чудотворца и царского советчика в лакированных сапогах и шёлковой поддёвке поверх малиновой рубахи.

Надолго задержался вагон на Царкосельской ветке; разъезжал редко. А отпрянув от перрона, уносил с собой дикие указы: за каждым словом — новое бедствие; дикие проекты, — а самая незаметная чёрточка их всё глубже и глубже рыла пропасть, куда, как по бесовским рельсам, катилась вся страна, — и разнузданную, сумасшедшую волю временщика. И шум колёс, отрывистый и резкий, не в силах был заглушить ни стука серебряных занятых стопок с донышками из редкостных юбилейных рублей, ни всплесков женского рассыпчатого смеха.

Под звон, под пьяный гул, под кощунственный хохот шла Россия по своему крестному пути, куда толкала её холеная рука из окна голубого вагона.

А февральская вьюжная ночь приковала вагон № 23 к какой-то маленькой станции Николаевской дороги, где он застрял на обратном пути из Москвы в Петроград с единственным пассажиром — личным секретарём временщика. И секретарь в ночь под первое марта сбежал, скрылся. Первого марта чья-то рука мелом вывела вдоль всего вагона:

«Да здравствует революция».

Два проводника, лет пятнадцать разъезжавшие с вагоном, привыкли к нему, как привыкают заключённые к своей камере, наглухо заперли первую дверь в начале коридора и засели в своём чулане.

Старший проводник сказал второму, помладше: «Ну-ну, времечко», — второй протянул: «М-м-да, достукались», — и стали они оба день за днём следить, как тает снег, как мчатся взад и вперёд переполненные поезда, неугомонные, словно вешние ручьи, и как кричат и радостно хорохорятся чуйки, картузы, шинели и студенческие фуражки, все опьянённые допьяна весенней сладкой отравой.

За окном вокзала телеграфист, молоденький, вихрастый, любитель Дюма и автор ещё неоконченной поэмы, где главной героиней была великосветская княгиня Беловзорова, не разгибаясь работал днём и ночью, торопился. От усталости глаза смыкались, но надо, надо было стучать, и рука его не сползала с рычажка, и дробно, дробно выступивал он и, подхватив одну весть, передавал её дальше — всем, всем,

всем, — а уж очереди ждала другая, пятая, сотая — для всех, всех, всех. И рядом с вестями о новом министерстве, с речами министров, с именами арестованных была и краткая строчка для двоих, спящих в чуланчике рядом с топкой: немедленно отправить вагон в Петроград.

И снова очутился вагон у Царскосельского перрона, отдохнув, перешёл на Николаевский вокзал, где полоскались красные флаги. А вечером повёз в Москву, быстро, быстро, нигде по пути не останавливаясь, кучку людей в пиджаках и гимнастёрках. И никто из них не спал всю ночь, и всю ночь в трюмо мелькали возбуждённые лица, даже от бессонницы не притихшие, косоворотки, расстёгнутые в волнении. И всю ночь проводники кипятили воду и в гранёных стаканах с серебряными чеканными подстаканниками разносили по диванам, по креслам мутно-жидкий чай и тоненькие сухарики из последних остатков министерского запаса.

В конце июня вагон перешёл в полное владение комиссара Временного правительства Гилярова, Петра Фёдоровича, который в Париже был известен под кличкой Алхимик.

Полный же новый его титул был таков: особоуполномоченный комиссар Соединённой комиссии по обследованию фронта и тыла.

Высокое зеркало, как всегда, невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина, сутулую и узкогрудую, и френч его неопределённого цвета — хаки с сизым, и губы его, плотно сжатые, как будто упорные и решительные, но в то же время таящие в углах рта характерные складки болезненного раздумья и тоски, и лоб его, круто выдвинутый вперёд, и глаза — серые, как и губы, будто властные и повелительные на первый взгляд, а потом, когда пристальнее взглядишься, надломленные и усталые. Но так как зеркало давно уже не вытирали, и покрылось оно лёгким слоем пыли, то отражение получилось чуть туманным и расплывчатым, словно замутилась зеркальная глубь и пошла поверху мелкой рябью.

Господин комиссар приказал остаться прежним проводникам и в первый же вечер, случайно увидев, где они спят, велел им занять крайнее купе.

И проводники остались, и подстаканники, и юбилейные стопки, и маленькие строки в углу, детские строчки о любви к «голубенькому».

Глава первая

I

Господин комиссар диктовал машинистке:

— ..И потому Центральному комитету необходимо немедленно же вынести резолюцию, что упадок дисциплины в войсках грозит всем за-

воеваниям революции и что для спасения их революционная власть не остановится перед самыми строгими мерами, как...

Постукивал ремингтон, словно другая, уже огромная машина, вторил вагон, чеканя свои собственные, только ему одному понятные слова, ровно горело электричество в матовых грушеобразных колпаках, и матовый снег падал гладко, но безжизненно. У крайнего столика, где тускло блеснул небольшой мельхиоровый самовар, осторожно возилась вестовой Панасюк, стараясь не звенеть чайной посудой. Туго натянутые занавески вздувались в открытых окнах, как паруса, встречный ветер упруго боролся с ними, и, когда ему удавалось то в одном, то в другом окне слегка сдвинуть занавеску, в трюмо как след падающей звёзды в небе отражался на миг лёт золотых искр, пропадающих в темноте, куда мчался поезд и где вдогонку кивали ему расплывшимися кронами ольхи, берёзы, ясени и сосны.

Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью.

И на мгновение остановился Гиляров: так остро-волнующе и близко-ощутительно пахнуло мятой.

— ...строгими мерами, как...

И ещё ворвалась горько-сладкой струёй дразнящая полынь.

Машинистка, не отнимая рук от клавишей, повторила:

— ..строгими мерами, как... Дальше?..

Но Гиляров уже стоял у окна, отдернув занавеску, и не слышал. Машинистка подняла голову и, глядя вверх бумаги, переспросила:

— Как?

Господин комиссар не отвечал — перегнулся он через окно, и только виден был широкий хлястик его френча. Машинистка усмехнулась; за короткое её пребывание в вагоне, что-то всего около месяца, Гиляров уже в третий раз приводил её в полное недоумение: в первый раз своим вопросом, неожиданным, посреди разговора о грядущей революции в Германии: «А вы любите церковное пение?»; затем своей просьбой не называть его товарищем, а по имени-отчеству; и вот теперь в третий. А так как машинистка, барышня из Клина, уже успела за март месяц стать членом городского района Петроградской организации, то поведение комиссара, облечённого особо важными полномочиями, казалось ей более чем странным. В таких случаях короткая пренебрежительная усмешка являлась насущным делом — и, усмехнувшись, она откинулась к спинке стула. Замер у чайного столика и вестовой Панасюк, попросту считавший, что нельзя беспокоить начальство, когда оно изволит думать.

И никто не мешал Гилярову, как и никто не знал, о чём думает он и что видит он в степной темени, где только изредка, как будто вы-

нырнув из глубокого омута, внезапно появлялся один-другой огонёк заброшенного хутора, притаившейся усадьбы.

Да и что можно увидеть в тёмной степи, когда только изредка вспыхивают искры паровоза и сейчас же гаснут в полёте, делая ночь ещё темнее, а степную даль ещё глубже?

II

Но «алхимик» Гиляров, бывший ссыльно-каторжный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, обоуполномоченный и т. д., видел многое. И не только от мяты кружилась голова, и не только от полынного ветра замирало сердце под сизым френчем.

Или, быть может, именно мята и полынь, — эти чудесные запахи родины, — обо всём напомнили и, напомнив, сердце подтолкнули и мысли? Кто знает...

А сердце колотилось быстро, тревожно, точно накануне неожиданного счастья или ещё неизведанной боли, боли, перед которой побледнеет всё прежнее больное, и мысли неслись быстрее насыпи, ветра, быстрее степи.

Степь! Как дышит она, какой усладой нежит она и щёки, и глаза, и руки. И как давно, как много лет он не видел её, он, алхимик, погружённый в книги, и он же, ненавидящий их, как ненавидят дверь, в которую стучишься, стучишься без конца и должен стучаться, чтобы за ней увидеть всё или ничего. Сколько раз под чужими небесами он думал о ней и тянулся к ней, и как часто она всплывала то в рюмке абсента, то в таблицах о «безлошадных», то в тоненьких листиках заграничных изданий.

И вот она пришла, она здесь, она перед глазами — что же говорит он, что несёт он ей, какую весть, каков подарок, какое знамение?

Дверь открылась, человек достучался, — что же за дверью: всё или ничего?

III

Ширился, рос, крепчал томящий запах, от степи нёсся к поезду.

Стоя в окне своего салон-вагона, Гиляров видел сон наяву, где явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной, даже и во сне, под крышей мансарды на rue Sante, куда Париж, как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам, на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в начале улицы, за-полненной «этими господами» в косоворотках и нелепых шляпах, — тюрьму.

Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурное, и, сплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная — кем предначертанная? — судьба бросала всё новые и новые звенья. Каждое звено было отлично от другого, как различалась сибирская каторжная тюрьма от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаки. Но всё же звено примыкало к звену, и смыкались звенья, и грани стирались.

И ковался, ковался загадочный круг и куётся дальше, забрав, забирая в себя, словно назло всему земному, разумному, но во имя неразумного свыше, неразумно нужного, и Черемховский рудник с вагонетками, и номер в петербургской «Астории» с чемоданом бомб в ногах английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывшую по Амуру вниз, к океану, к Азии, к воле, и мертвый приговор, выслушанный в здании военного суда, и ночное парижское кафе возле Halles¹, когда на рассвете шумит железный рынок, загромождённый товарами, цветами, птицами, рыбами, фруктами, а русские гости, подневольные, пленные, плачут над стаканом вина, удивлённым Марьэттам и Жаннам поют «Лучинушку» и, запинаясь от слёз, водки и удручающей тоски, рассказывают под смех собравшихся сутенёров о том, как далека Россия, как хочется к ней, любимой, близкой и единой.

И карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому, и ночь в Колизее, когда перед глазами стоял Кремль, и копенгагенской Тиволи, и пёструю толпу мелкокорослых японцев, где посреди русская сутулая спина мелькала безобразным пятном и казалась в тысячу раз более уродливой, чем все бумажные драконы, парящие под аметистовым небом в час шумного праздника. И нетопленую комнату на гие Sante, где жизнь билась, как птица в силках, между тюрьмой и сумасшедшим домом, и сербский походный госпиталь, где корчились от ран стройные македонцы. И гул снарядов над Лесковацем, и бегство в Ниш, и палубу норвежского угольщика, и переполненный взвинченной толпой коридор Смольного, и залы Таврического дворца.

И знамёна, знамёна красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон с зеркалами, с голубыми мраморными умывальниками, с фарфоровым в гербах сервизом.

Круг, охвативший Сибирь, Азию, Францию, Англию, Балканы, фюрорды, бурятские степи, скаты Малого Хингана, звенья подбиравший в угольных копях, на амурских баржах, в морских кабачках разноплеменного Марселя, в кибитке кочевников, в тесной комнате подпольной

¹ Halles — знаменитый (ныне не существующий) парижский рынок, увековеченный описанием в романе Эмиля Золя «Чрево Парижа».

редакции, в курильне Шанхая, на эмигрантских вечеринках, кошмарных на рассвете, когда всё выпито и все больные слёзы выплаканы, в общих камерах тобольской каторги, на пляже итальянской деревушки, — этот круг покрыл ещё: степь, июньскую ночь с полынью, и бумаги с донесениями представителей воинских частей о гибели той, над которой рыдали в Париже и молились в Торнео, трепетно приближаясь к её земным желанным границам.

IV

Плыл и качался вагон, стучали вразбивку колёса.

Стоя у окна, Гиляров отчётливо видел в немой темноте все очертания дней, событий, лиц — весь круг, и себя посредине него, и ещё одно новое звено: свою длинную телеграмму в Зимний о том, что во имя завоеваний революции и спасения родины надо принять самые строгие меры, как...

V

Гиляров отошёл от окна, резко рванув занавеску вниз; машинистка выпрямилась и положила руки на клавиши, изогнув кисти, словно пианистка перед началом трудного пассажа.

— Пишите, — сказал Гиляров, подходя к машинистке. — Как, например... Уже? Вычеркните «например». Пишите: как твёрдое и категорическое осуждение и презрение революции всем тем, кто... — И вдруг, скривившись, точно от внезапного ожога, крикнул, взвизгивая, срываясь на высокой ноте: — Не надо, разорвите. Идите спать! Не надо!..

Панасюк остолбенел на месте со стаканом в руке; звякнув, упала ложечка.

Плавно покачиваясь, на поворотах вздрагивая, вагон мчался всё дальше и дальше.

Глава вторая

I

Штаб 16-й дивизии находился в бывшем графском имении Нейшван. Чтоб добраться туда, Гилярову пришлось за Венденом с шоссе свернуть на просёлочную дорогу, где мокли вялые худосочные берёзки, где на исковерканных проволочных ограждениях уныло торчали чохоточные галки.

Когда дорогу преграждали заброшенные окопы, похожие на ряд начатых, но недоконченных рытьём могил, полные зеленоватой воды,

лошадь пятилась назад, и Гиляров, спешившись, брал её за повод — и всадник и конь пробирались по кочкам, то подсакивая, то глубоко уходя в густую жёлтую грязь, — оба унылые под осенним предвечерним ветром.

А в штабе сразу позвали к прямому проводу, — уже в третий раз командир корпуса нетерпеливо справлялся о приезде комиссара. Не успев обсохнуть, Гиляров пошёл к аппарату; стоя за спиной телеграфиста, глядя, как тянется белая лента и неуклонно покрывается буквами, мокрым рукавом шинели вытирал грязь с лица.

От рукава пахло кислым, напоминало запах этапки, где человек сто лежат вповалку после длинного перехода под дождём; у телеграфиста, чистенького и аккуратненького, в новенькой гимнастёрке, голова была в мелких кудряшках и напомажена, как у писаря из полковых любимчиков, и этот сладкий до гадливости запах сливался с первым. Гиляров морщился, глотал липкую слюну, едва выдавливал слова и изнывал в ожидании конца переговоров. Но командир распространялся, дважды повторял одно и то же, и хотя по повторности и по любой фразе заметно было, что он взволнован до испуга и ждёт тех или иных, но во всяком случае немедленных поступков комиссара, все же не отпускал его от аппарата.

И разматывалась, разматывалась бумажная лента, такая же долгая, как только что покинутая просёлочная дорога, и такая же тусклая, безрадостная, и даже буквы были похожи на тех общипанных голодных галок, которые обмызганные перья свои трепали о проволочные колючки.

— Хорошо... Хорошо... — с усилием выдавливал Гиляров слова. — Хорошо, генерал. Я к вечеру всё выясню. Всего хорошего.

— Примите во внимание, что беспорядки перекинулись в соседнюю дивизию, — не отпускала лента. — Примите во внимание, что образуется прорыв чуть ли не в пятнадцать вёрст... Примите во внимание...

— Всё приму. Всё... — еле-еле отвечал комиссар и судорожно поводил головой, отворачиваясь от писарских завитушек.

II

На обратном пути из аппаратной его тут же у дверей перехватил начальник дивизии, круглый, безбородый генерал, ниже среднего роста, но затянутый в талии, голубоглазый, с сединой в височках, неторопливый в своих округлённых движениях, слегка грассирующий, похожий на тех генералов, что в старые времена на Мойке отбирали у просителей заявления и прошения и неизменно корректно и мягко отвечали: «Обязательно. Немедленно. Сочту своим долгом».

И только когда он запер дверь своего кабинета, два раза щёлкнул ключом и даже попробовал, крепко ли заперта, Гиляров понял, что голубые глаза только по привычке беззаботны и чуть-чуть игривы, а пухлые руки с перстнем старинной чудесной работы не суетны и сдержанны, но что на самом деле генералу жутко. И по тому, как он попросил его присесть и как раскрыл золотой с вензелем портсигар, предлагая папиросу, Гилярову ясно стало, что генералу не по себе, что он не знает, как начать разговор, и что смущён он встречей и не уверен в себе, боится не в тон попасть, не так сказать, как надо, а сказать-то хочет и знает, о чём надо сказать, даже и слова подходящие знает, но вот убежали они, сгнули.

От генерала тоже пахло, но уже по-другому, и уже не тошнило, не было в горле противного подкатывающегося комочка, от которого скулы немеют, и потому легче стало, но по-прежнему плечи давила сырая шинель, и по-прежнему мерзко липли к ногам намокшие носки.

Генерал заговорил о скверных латышских дорогах, о том, как вязнут пушки; Гиляров слушал, всё бормотал:

— Да-да, — и, поддакивая, думал, глядя на генерала: «На кого он похож? На кого он похож?» — и даже занервничал от желания вспомнить, как вот бывает на вокзале, когда поезд уходит и в окне мелькает чьё-то лицо, такое знакомое, близкое. И, наконец, вспомнил детскую книжку «Векфильдский священник»¹ и картинку к ней: круглое лицо, височки, полный, мягкий подбородок, ласковые глаза и воротник вроде жабо.

А за окном одна на другую громоздились лохматые, растрёпанные тучи, бился по ветру сломанный флюгер на изрешечённой пулями башенке, полз за поворотом обоз с фуражом, и на высоких покачивающихся глыбах сена крошечными серыми комочками виднелись солдаты.

«Векфильдский священник... А солдаты требуют его удаления... И домой хотят... Мир дому сему... А в окна стреляют», — и ласковый генерал, и съёжившиеся фигурки на фургонах, и уцелевший гобелен на стене, и столетняя башенка, и мокрая шинель на плечах — всё это внезапно почудилось таким нелепым и сумбурным. Гиляров поднялся со стула, генерал встрепенулся:

— Куда вы? Куда вы?

И вдруг голубые глаза потемнели, опали сочные губы, и сразу обмякли генеральские плечи — и стоял перед Гиляровым растерянный, напуганный человек, ошарашенный ударом, вот как бьют сзади на ходу в пустынной улице, вынырнув из переулка.

Чувствуя, как у него холодеют ладони, Гиляров шагнул к генералу.

¹ «Векфильдский священник» — роман (1766) английского писателя Олмвера Голдсмита (1730—1774).

— Всё уладится. Всё уладится, — зашептал он прерывисто. — Мы ещё повоюем... — И неловким движением обнял генерала, а когда он, высокий, обнимая, поневоле должен был пригнуться, чтоб рука его не задела генеральской макушки, он увидел, что генерал плачет, беззвучно, только холёные щеки заходили, и побежал к переносице ряд внезапно появившихся морщин.

III

Вечером в соседнем флигеле Гиляров присутствовал на заседании дивизионного комитета.

Председатель, солдат с усечённой головой и белками навывкате, задыхаясь, кашляя нудно, докладывал, какие, по его мнению, должны быть приняты меры для успокоения взбунтовавшихся солдат, и перечислял пункты, при каждом из них выпрастывал косым движением головы зобастую шею. В это время вестовой принёс Гилярову из штаба письмо от генерала. Под шум споривших и речь с цитатами по-латыни — говорил уже другой член комитета, вертлявый еврей-фельдшер с носовым платком в руках, — Гиляров читал письмо генерала:

«Мне не стыдно, что я, боевой генерал, бывший ординарец Скобелева¹, плакал. Мне не стыдно, что я, георгиевский кавалер, разреvelся, как новобранец при приёме, но я не хочу, чтобы мои слёзы вами были неверно поняты и ложно истолкованы, ибо эти слёзы не страха ради, не из опасения за свою жизнь. Я не раз глядел смерти в глаза, погляжу и сейчас, и если, дай Бог, случится, то приму её не на четвереньках. И плакал я даже не потому, что любимая мной дивизия потребовала моего изгнания, хотя нет ни одного солдата, которого я бы обидел даже до переворота, хотя с того дня, как я принял её, я был только с нею, только ею жил — и под Ригой, и под Двинском, и каждый солдат знал меня, как я знал каждого из них. А вот кто спасёт Россию? Кто спасёт нас всех и всех нас укроет? Все мы одинаково бедны и все мы одинаково бессильны. Я не скрою, и смешно было бы скрывать: я не республиканец, мне дорога была монархия, и тридцать лет своей жизни я отдал ей, но пошла старая Россия прахом, восстала новая — и не судить теперь нам, было ли это хорошо или плохо, кто виноват и кто довёл — встала новая, и пусть мёртвые хоронят мёртвых, — значит, так надо, значит, такова судьба, и да идут вперёд живые. Но почему, почему живые уже мертвы? Но почему всё глубже яма, куда мы ползём со страшной закономерностью, и почему от этой закономерности не уйти? Вы, конечно, пожелаете объехать полки. Вас примут, вас не прогонят, вас выслушают, вы не золотопогонник и вы как будто свой,

¹ Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882), генерал, освободитель Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

но вы тотчас же убедитесь, что нет исхода и что вы и они — как древние строители Вавилонской башни. Над этой башней работают в Москве и в Киеве, генералы и последние безграмотные пастухи, министры и грошовые репортёры, чудь и мордва, талантливые и бездарные, добрые и злые. Растёт башня — и ничего с этим не поделатъ. Взбунтовалась моя любимая дивизия — вы услышите, что вам будут кричать из рядов, когда вы с ними заговорите, — завтра другая, третья, но разве дело в этом и разве рухнет чудовищная башня, когда дивизия согласится выйти на позицию, когда все дивизии подчинятся? Нет, нет и нет! А почему? Я не знаю, потому я и плакал. И если бы сейчас собрать всех генералов, всех купцов и всех учёных, как вот завтра вы соберёте всех солдат, и пусть мой любой солдатик пойдёт к ним и, как завтра вы, станет объезжать их ряды, — та же башня встанет. Я подъеду — то же самое. Потому искренно говорю, что мне страшно, потому я смерти хочу, как избавления. Не дивизия взбунтовалась и хочет покинуть передовые позиции, а вся Россия поднялась с насиженных старых мест и идёт. Куда? Куда? Идёт неуклонно вперёд или неуклонно падает в пропасть? Не знаю, не знаю, но закономерность я чувствую и сгибаюсь под её железной волей. Сегодня плакал я, быть может, ещё многие возле меня, вот плакал вчера капитан Снитников, которого в сумерках подкараулили у цейхгауза и дали камнем по голове. А капитан Снитников в 1906 году только чудом спасся от суда за участие в военной социалистической организации, и ещё недели три тому назад солдаты прислали мне резолюцию, что мне они не доверяют, так как я “царский”, и хотят, чтобы начальником дивизии был назначен свой — капитан Снитников. А завтра, послезавтра заплачем все: и те, кто с камнем, и те, кого камнем по виску. И если вы, господин комиссар, при объезде спросите любого солдата, любому заглянете в глаза, вы увидите... Ах, впрочем, всё равно: и вы, и вы знаете... Ваш покорный слуга...»

IV

— Товарищ комиссар, — хрипло проговорил председатель. Гиляров недоумённо поглядел на него и вернулся к письму; кто-то из солдат хихикнул, председатель натужно повёл шеей, стало тихо, и, легонько тронув Гилярова за плечо, фельдшер зашептал скоренько:

— Вас зовут, товарищ. Вас.

Гиляров сжал письмо и подошёл к столу, зашевелились в углах, и только теперь заметил Гиляров, что в комнате много солдат и что все они блёклые, пожухлые, словно не то выпались, не то накурились до одурения. Дымились трубки, папиросы, собачьи лапки, потели окна, в углу на куче шинелей спали беленькие котята, и точно на дозоре сидела возле них бесхвостая кошка. На столе лежала гряда газет —

армейских и столичных, и молоденький офицер, как потом оказалось, секретарь дивизионного комитета, подпоручик Разумный, разложив поверху лист бумаги, вёл протокол. Пальцы его и губы темнели в лиловых пятнах от чернильного карандаша; стриженный бобриком, с зачатой губой, безусый и угловатый, подпоручик до смешного смахивал на гимназистика с последней парты, даже гимнастёрку он то и дело одёргивал по-мальчишески, даже поясок у него был с алюминиевой пряжкой.

— Вот, товарищ, — тянул председатель, и зоб его лез наружу, — наша резолюция такая, чтоб уладить по-мирному. В обед заявились к нам дилигаты из стрелковой дивизии, там тоже будто неладно и сухари к концу, а полушубков не везуть.

Фельдшер всем своим туловищем повернулся к Гилярову, говорил он правильно, но слишком отчётливо:

— Каково ваше мнение, товарищ комиссар? Мы хотели бы знать. Принимая во внимание ваше...

— Я хочу поговорить с солдатами, — сказал Гиляров и ещё крепче сжал письмо.

— То есть с полковыми представителями. Они тут, — улыбнулся фельдшер. — Это и суть дивизионный комитет. На началах вроде паритетных...

— Со всеми, — угрюмо перебил Гиляров. — Я объеду полки.

Фельдшер согнал улыбку и, махнув платочком, крикнул:

— Собрание объявляется закрытым.

Глава третья

I

Ещё только сумерки надвигались, как ветер упал и, поредев, расплзлись облака.

Когда Гиляров покинул флигель, уже над всклокоченными полями, над дальним леском, над разрушенными усадебными пристройками висела луна. В неверном, как туман, но неподвижном свете, сумрачно и гордо, как обнищавший рыцарь, вставал изуродованный замок, бывший великолепный Schloss Neuschwann¹, где некогда древний герб украшался мальтийским крестом, где однажды гениальнейший музыкант прошлого века в отдалённой комнате, обитой тёмно-синим трипом, посвящал графине Вермон-Нейшван свою бурную, как он сам и как его жизнь, свою пламенную, как его неугомонное сердце, сонату.

¹Schloss Neuschwan: т. е. Schloss Neuschwanstein, замок баварского короля Людвиг II в юго-западной части Баварии; «гениальнейший музыкант прошлого века» — Рихард Вагнер (1813–1883)

От ворот замка далеко уходила аллея в тополях, некогда прекрасная, как непрекращающаяся галерея готического собора, а теперь вся искалеченная, с прорехами от снарядов, с вывороченными корнями, с рытвинами, с надломленными верхушками, и в широкие просветы издали блестело гладкое, ровное озеро, такое же бледное, как лунный свет, такое же невозмутимое и мёртвое, точно огромное серебряное зеркало, на которое дохнули.

Солдаты расходились, сворачивали в сторону — и силуэты пропадали за различными постройками без крыш, покосившимися, горбатыми, за стенами с уродливыми впадинами вместо окон.

Упорно глядя на озеро, Гиляров направился к нему, но услышал позади себя шаги: за ним следом шёл подпоручик Разумный.

Когда комиссар остановился, подпоручик метнулся было в сторону, но вдруг обернулся к Гилярову и по-детски неестественным басом спросил:

— Можно мне с вами?

И, не дождавшись ответа, подошёл совсем близко и сказал:

— Мне так нужно с вами поговорить.

И заячья губа его ещё выше задралась кверху, точно он, как мальчишка, от волнения носом шмыгнул. Фуражка была у него в руках, шинель расстёгнута, из бокового оттопырившегося кармана торчал свёрток бумаги — сегодняшний протокол собрания, а может быть, и вчерашний, — и на одной штанине, повыше колена, наивно и убого лежала чёрная большая заплата.

— Со мной? — переспросил Гиляров и передёрнул плечами: от озера тянуло холодом. — Хорошо. Вот... Скажите... Вы знаете капитана Снитникова?

— Знаю, — ответил подпоручик и надел фуражку, и сразу он стал старше на много лет.

— Он где лежит? В лазарете?

— Нет, в штабе.

— Вы можете меня проводить?

— К нему?

— Да, да, вам не трудно?

— Помилуйте, — чуть не крича, ответил подпоручик. — Я даже... так рад этому. — И, покраснев, заспешил.

II

Гиляров шёл за подпоручиком, — и вбок уплывало озеро, будто таяло. Тополя расплывались, за поворотом чернела новая башня с рассечённой пополам главкой, а в треугольной комнате, где туго нависал сводчатый потолок и за бумажным крохотным экраном оплывала

свеча в позеленевшем от времени массивном подсвечнике, Гилярову навстречу приподнялась с подушки сплошь забинтованная голова. Глухой, но твёрдый голос спросил:

— Кто тут?

Под прямыми чёрными усами сверкнули плотные, плоские зубы, сильные, крепкие, как крепок был удар, от которого эти зубы, раз скрипнув, застыли в кривом оскале.

— Вам нельзя волноваться, — бережно уговаривал подпоручик и поправлял откинутое одеяло.

— Я не волнуюсь, — кривился капитан Снитников. — Я только отвечаю, раз меня спрашивают. И, надеюсь, господин комиссар слушает меня не из праздного любопытства. Не так ли? И не для очередной статьи? В газете, в благонамеренном органе, на горячую тему о разладе между погонами со звёздочками и погонами без всяких звёзд... А, вы не пишете? Тем лучше. И я никогда не писал. Я только дело делал. Как и те, что тоже никогда не писали и тоже только делом занимались. Как вчера... за цейхгаузом. Тоже дело. Да-да, дело, дело. В этом-то всё дело. Я острою неудачно, но это простительно. В пятом и шестом году мы не острили, и когда по очереди нас хватали и ссылали на каторгу...

— Я был там, — почти шёпотом, с усилием проговорил Гиляров.

Белая голова взметнулась выше, и опять за изголовьем послышался голос подпоручика:

— Вам нельзя.

— В Алгачах? Нет? Где же? В Тобольской? Значит, вы знали Первухина, Кочегова? Господи, знали! И я туда чуть было не угодил, но нелёгкая выручила. А те... ведь ни один из них не вернулся... Было их четверо. И вот мы могли с вами встретиться там, и там бы вместе молились: грянь, грянь, буря! А встретились тут. И вот я избит, а вы... Вы будете тоже избиты, будете, рано или поздно, но будете, будете. Там бы нас били тоже, но чужие. Ведь были тогда и свои, и чужие. И вот все свои очутились вместе. И вот свой подкарауливает — и камнем, камнем раз, другой, третий. Подпоручик Шаповаленков на суде говорил: наступит час, когда нас, вами осуждённых, вами ошельмованных, русский народ, русский солдат встретит радостно, любовно и вместе с нами пойдёт... К цейхгаузу? Крадучись? Навалившись сзади?

Ещё выше взметнулась белая голова.

Суется у изголовья, подпоручик Разумный молил:

— Ради бога...

— Оставьте! Шаповаленкова казнили, и он перед смертью крикнул: «Да здравствует революция!» Капитана Снитникова проклятая, трижды проклятая нелёгкая уберегла от расстрела — и вчера ему крикнули: «Эх ты, сволочь!» Капитана Снитникова угнали в Оханск,

и в Оханске, на берегу Камы, в лесочке твердил он солдатам: ничего, ничего — будет, будет светлое царство. Капитан Снитников при первой телеграмме из Питера выскочил из окопов и заорал восторженно: «Наша взяла, наша!» А вот вчера Шаповаленкова, Снитникова, тобольчан колошматили за цейхгаузом. Бедный Шаповаленков, бедный Снитников, бедные тобольчане, не пожелавшие помилования, — все с повязками и бинтами. Остановите все заводы — и пусть только выделяют бинты. Много их понадобится, много. Запасайтесь, спешите запастись. Ничего не надо, кроме бинтов. Торопитесь выделкой, торопитесь. И пошлите к дьяволу все газеты, все передовые и задовые, пинком опрокиньте все трибуны, разметаите по ветру все книжки, брошюрки, реляции и резолюции. Оставьте только одну резолюцию: желаем, чтоб всё похерить. Оставьте одну резолюцию: у российского цейхгауза всё по-прежнему; оставьте одну книжку: руководство для наложения повязок. О, о, чёрт!..

Клубок бинтов заметался по подушке, и между ним и Гиляровым тотчас же выросла напряжённая фигурка подпоручика Разумного, и игрушка замахала руками.

Гиляров вышел из комнаты, спотыкаясь в коридоре об ящики, наугад побрёл к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик и, наконец, добрался до крыльца, где некоторое время спустя подпоручик нашёл его сидящим на верхней ступеньке.

Подпоручик молча присел рядом, и оба долго сидели — один слишком прямо, как будто его насильно держали в таком положении, другой согнувшись, маленькие, как у ребёнка, посиневшие ладошки сжав коленками, оба не спуская глаз с озера, где раньше плавали чёрные лебеди и сильным крылом били по воде, где когда-то в ажурной беседке читали вслух Новалиса.

И слушали, как рядом, за освещёнными окнами, стучали ножами, вилками, гремели тарелками: господа офицеры из штаба ужинали.

III

Молчание нарушил подпоручик; он продолжительное время ёрзал на одном месте и, когда до боли натёр ладони, робко заговорил:

— Мне можно завтра? Вместе с вами?

— К чему? — спросил Гиляров, не оборачиваясь, всё пристальнее и пристальнее всматриваясь в озеро.

— Да вот... — Подпоручик поглядел в небо — туда, где белесоватый круг замкнул луну, — и замигал ресницами. — Да я... Ведь я секретарь комитета... Меня солдаты... — И вдруг воскликнул жалобно: — Я не могу иначе. — И не то горестно, не то сконфуженно кинулся с крыльца, стуча громоздкими, не по ноге, сапогами.

— Пойдите! — негромко окликнул Гиляров. Подпоручик остановился и ниже надвинул фуражку: длинный козырёк почти уткнулся в нос.

— Пойдите. Хорошо, поедем вместе. Присядьте.

Подпоручик сел на нижнюю ступеньку, отвернулся, поднял воротник шинели, и комиссар увидел, что левое ухо его загнулось, как-то смешно, грустно и обиженно. Комиссар подался вперёд, протянул руку, чтобы поправить, но тотчас же отнял её, опять выпрямился и только спросил:

— Вам тяжело?

— Ужасно, — быстро отозвался подпоручик.

— Уезжайте. Хотите, я это устройю. Только скажите, куда бы вы хотели.

— Куда? — и снова подпоручик глянул в небо и снова заморгал ресницами. — Всё равно, — проговорил он как бы про себя. — Всё равно. — И заячья губа его дрогнула.

— Везде?

— Везде, — сказал подпоручик.

— А вы верите, — Гиляров с трудом подбирая слова, — а вы верите, что ещё будет хорошо? Что ещё... случится?

Подпоручик стиснул руки под шинелью и ничего не ответил.

— Значит, всё равно?

— Всё равно, — ответил подпоручик и голову положил на перила.

IV

Часа два спустя, уже вызванный командующим армией к аппарату и поговорив с ним, Гиляров шёл к генералу. По дороге попадались ему офицеры и безмолвно кланялись, в столовой два солдата подметали пол, и один из них, увидев комиссара, бросился к буфету за салфеткой и прибором, но Гиляров остановил его, заявил, что ужинать не будет. В комнатке перед кабинетом генерала, в золочёном облупленном кресле дремал вестовой, и кренился над ним потемневший портрет женщины в розовом, безглазой: вместо глаз — пульки. Не будя вестового, Гиляров постучал в дверь.

— Войди, — слышалось за дверью. Гиляров толкнул дверь.

— Это не вестовой, — сказал он на пороге. — Это я.

Растерянно натягивая на себя одеяло, генерал непослушными ногами ловил туфли, не мог найти и присел на краешек постели; под тонкой шёлковой фуфайкой блестел крестик, и на покрасневшей мигмом шее забелел узенький след от цепочки.

— Я не знал, что вы уже в постели, — продолжал Гиляров, всё ещё стоя на пороге.

— Прошу, прошу, — бормотал генерал и теребил подбородок и приглаживал височки.

— Я на рассвете еду к солдатам. Я только что говорил с командиром, и я хотел вас предупредить. Я иду на всё. Или они завтра к вечеру займут указанное место. Или я... Ну, и вот. Через час сюда направится Третий драгунский, одна батарея и казачья сотня. Утром будут здесь. Если угодно, вы можете сдать дивизию полковнику. И можете уехать в штаб армии. Так вот... остаетесь?

Генерал оставил височки и качнул головой; сползло одеяло, и под фуфайкой заколыхался выпуклый толстый живот.

Гиляров отвёл глаза.

— Так вот, я еду. До свидания. А письмо ваше...

Генерал зашаркал ногами, снова стал искать туфли.

— Письмо ваше... мне понятно. Всего хорошего.

— Господин комиссар... — тихо, но внятно позвал генерал. — Если вам не трудно... на полчаса...

Гиляров отпустил ручку двери, беглым взглядом поймал неуверенную, надломленную улыбку генерала и, на ходу сбрасывая шинель, пошёл к кровати: «Векфильдский священник... Всё равно».

V

И до рассвета горела лампа в генеральском кабинете, где над кроватью висел гобелен «Похищение Прозерпины» и где по столу с картой обоих полушарий торопливо, по-осеннему шмыгали тараканы, невозмутимо переходя из Европы в Азию.

Глава четвёртая

I

Чуть свет выехали втроем, верхами; присоединился и председатель дивизионного комитета. А фельдшер провожал и на прощание скороговоркой, но внушительно давал председателю последние наставления, на ухо, встав на цыпочки; скособочившаяся голова председателя никла к лошадиной гриве и кивала послушно.

Первым на очереди был Старорусский полк, самый надёжный.

У избы с погорелой крышей, где заседал полковой комитет, солдаты собирались вяло, по два, по три человека, обмахивались, когда комитетчики поторапливали, на ходу в липняке ломали ветки, но тут же, поиграв прутьями, бросали их, лениво переругивались, нехотя перекликались. Стоя у окна, следя за ними, Гиляров видел перед собой скучающую толпу, не знающую, что ей делать: улюлюкать ли проезжающей мимо бабе в рваной австрийской куртке, или колотить рябого

плосколицего солдата с серёжкой, который приставал ко всем, заламывал шапку, притопывал ногами и кукурекал по-шутовскому. За его спиной подпоручик Разумный, уже застёгнутый на все пуговицы и потому сосредоточенный, шептал:

— Не будут слушать. Вы одно только слово скажете, как они уйдут. Так было на прошлой неделе, когда мы умоляли взяться за постройку землянок. Повернулись и ушли.

Зобастый председатель, загнав комитетчиков в угол, что-то хрипел им, и раздавалось там то и дело: «Революция, значит... значит, порядок надобен»... Безостановочно хлопала дверь, шинель напирала на шинель, в подслеповатое оконце заглядывали узкие, толстые, вздёрнутые носы, недовольный голос тянул: «Санька, где ты?» — у крыльца пофыркивали лошади, и солдат-татарин, заткнув полы за верёвочный пояс, совал лошадям мокрое сено и уговаривал ласково: «Кускай. Кускай».

И этот же татарин прямо глядел в рот Гилярову, когда тот с табуретки говорил солдатам, и он же радостно пискнул: «Иса, ца-ца», когда кривоногий ефрейтор с багровым родимым пятном во всю щеку крикнул комиссару:

— А зачем вы всякую сволочь в министрах держите? Не хотим таких. Кого в Париж посолом отправили? Капиталиста. Такой все пошлит. Пусть вертается — тогда и говорить будем. Не пойдём!

Весело захлёбывался жизнерадостный татарчонок: «Ай-ай, министра, ай-ай», — добродушно, как только что упрашивал лошадей «кускать», — единственный весельчак, вертевшийся во все стороны, точно недавно оперившийся воробей среди серых и голодных галок.

II

И снова лошади понуро шлёпали по лужам. Снова у Гилярова из-под ног убегали стремена, и снова придвинулась новая «комитетская» изба, но с тем же запахом ржаного хлеба и махорки. И опять кто-то звал недовольно: «Гришка, где ты?» — и опять солдаты тащили табуретку, а вокруг неё смыкались кольцом такие же, как в Старорусском полку, сухо замкнутые глаза.

И снова самому себе слова казались никчёмными, и снова и снова тянулись поля, взрыхлённые снарядами, придавленные пушечными колёсами, обмытые кровью, человеческой кровью, которую временно лишь смыли дожди, но которая вновь и вновь польётся по ухабам, по колеям, по межам и на многие годы напоит землю — землю людскую, землю Божью, землю ничью и всех.

А перед вечером Гиляров в аппаратной дивизии диктовал в полковые штабы о немедленном распространении по полкам его приказа о

том, чтоб под угрозой военной силы полки складывали оружие и выдавали зачинщиков, и что если к семи часам утра не последует сообщения об исполнении, дивизия будет окружена и обстреляна.

К вечеру в штабе всё притихло, как на мельнице, где вода уже не бьёт через плотину и где замерли жернова в белой пыли от последних размолотых зёрен. В столовой стыл суп, и тщательно свёрнутые салфетки лежали около пустых приборов; в задних комнатках маленькими группками сходились офицеры, а собравшись, подолгу молчали и только курили беспрерывно. Поджарый подполковник фон Гутлебен не рассказывал анекдотов из армянской жизни, на кухне прислуга глушила самовары, и самовары, понатужившись, замурлыкали огорчённо, — и только не переставая гудели полевые телефоны.

А в это время Третий драгунский обходил справа полки, а казачья сотня слева отрезала лес и проезжую дорогу к соседней дивизии.

Батарея не двигалась: артиллерийские представители вели за гумнами переговоры с комиссаром, и председатель их в разговоре нервничал и фуражкой крутил в воздухе.

III

— Это торг? — спрашивал Гиляров и отстранялся от фуражки, которая все теснее наступала. — Я не намерен торговаться. Коротко: да или нет?

— Мы же вам говорим, — надрывался артиллерист, — что так нельзя.

— А как же?

— По домам, — вставил другой артиллерист, пожилой, с сектантским ртом, и чуть раздвинул губы, не то в усмешке, не то в улыбке. — По-Божьему, как птицы.

— Зачем же вы сразу не отказались? — обернулся к нему Гиляров. — Для чего же вы сюда явились?

— Приказали выступить. Вот что. Дурачьё приказало — дурачьё пошло, — крикнул председатель.

— Вы ведь знали, для какой цели, — стараясь говорить спокойно, ответил Гиляров.

— Ну и знали! — дёрнулся председатель. — Что ж из этого? Там узнали, а здесь и знать не хотим.

— Ты стой, стой, — внушительно отстранил его пожилой и шагнул к Гилярову. — Вот что, товарищ. Знайки бывают разные. У вас одна знайка, у нас другая. Вчера палили — нынче нет охоты. Сегодня пришли, — глянешь утром — нету. Значит, товарищ, ни при чём, что пришли. Пришли, да ушли. На то и люди, а не какая-нибудь животная. И у пушек своя знайка, по кому стрелять и по-каковски стрелять.

— Какая же сегодня знайка у ваших пушек?

Пожилой артиллерист на этот раз уже усмехнулся открыто:

— Верная, без ошибки.

— И правду знают?

— Увидите, — злобным криком сорвался председатель.

— Ну ты, ну ты, — остановил его пожилой и пошёл за Гиляровым, проводить его, а на повороте, когда попрощался и сказал: «Спасибо, я найду дорогу», — вдруг вежливо, не по-солдатски приподнял фуражку и спросил:

— А позволено будет у вас узнать, вы не из священнической семьи будете? А то есть такое хорошее церковное заявление.

— Какое, говорите. Я пойму.

— Да вот такое... — протянул пожилой и как будто застыдил, опустил ресницы, но внятно и важно произнёс: — Никем же не мучимы, сам ся мучаху.

— Что? Что?

Пожилой вскинул глаза и, уже не отводя, в упор посмотрел на комиссара и серьёзно и проникновенно повторил:

— Сам ся... Сам ся... Вот понапрасну.

Покатая спина пожилого давно уже пропала за гумнами, а Гиляров всё ещё стоял на тропинке и не чувствовал, как дождь накрапывает, как ветер подхлётывает и лезет, острый, за воротник.

В сумерках одна за другой потянулись пушки; гремели передки, подскакивали прикрытые брезентом дула, и никто не знал, куда они тянутся: дорога была одна и та же и к полкам, и к штабу корпуса, только за пригорком раздваивалась.

Полевые телефоны работали: «К мызе Больше один эскадрон... За Шонфильдом к северу»... Кружился стальной карандаш прямого провода и требовал к себе комиссара экстренно, срочно, но комиссара не было; искали его долго, пока не нашли у капитана Снитникова, а когда пришли за ним, капитан, приподнявшись, жаркой рукой цеплялся за Гилярова и говорил:

— Милый вы мой... Не надо пить до дна. Не надо, голубчик. Ни к чему. Последний глоток будет такой же чёрный и хмельной, как и первый. Бежать надо. К чёрту чашу. Да минует она... Не надо, голубчик, не надо.

— Сам ся мучаху? — с горечью спросил Гиляров и, пощадив горячие пальцы капитана, заторопился к двери, точно убежать хотел (от кого, от кого?) или сам спешил (к кому, к кому?), волнуясь встречей новой и неожиданной.

IV

К десяти часам вечера позвонили из Мухтанского полка: комитет вызывал комиссара для личных переговоров, соглашался сдать, но предварительно желал повидаться с комиссаром.

Подали крытую санитарку.

На дышле покачивался фонарь, подпоручик Разумный стягивал поясок и умолял взять его снова с собой. На крыльце стоял генерал и смотрел на отъезжающих. На его ярко вычищенные сапоги падал отсвет из окна, и та щека генерала, которая была к свету, рдела и начиналась густым лихорадочным румянцем.

Подпоручик дорогой молчал, только всё старался разглядеть в темноте лицо комиссара, но не мог. А в душной избе, где, откашливаясь, жались друг к другу солдаты и при крохотном огарке под низким потолком маленькие казались большими, а большие — гигантами, где старуха латышка в печи шарила кочергой и что-то шамкала босоногой девчонке, подпоручик думал о том, что всё страшно: страшно с этими и страшно без них, страшно жить и страшно умирать, и что нет ни исхода, ни выхода, что не часы проходят, а годы и что всегда, всегда будут сумерки в мокром поле и бескрайние поля в ночных шорохах.

Когда кончилось тягостное совещание и, не прощаясь, солдаты разбрелись, когда на обратном пути, в лесу, вдруг со всех сторон на санитарку посыпались камни, забарабанив по крыше, по бокам, и понесли лошади, и вдогонку раздался один выстрел, другой, третий, и мгновенная вспышка выхватила из темени несколько корявых стволов, кучу валежника и лоснящийся лошадиный круп, и запрыгала будка на колёсах, точно лодка у водоворота, — подпоручик, сползая со скамьи на дно санитарки, закричал пронзительно:

— За что? За что?

Гиляров как сидел в углу, так и не пошевелинулся, но когда во все стороны завертелась будка, он встал, расставил ноги и затылком упёрся в навес, как упирается человек, застигнутый в горах оползнем: упирается, стискивает зубы и молчит, потому что тогда равнодушны одинаково и Бог наверху, и люди на земле.

Замелькали огни усадьбы. Гиляров по полу шарил руками.

— Подпоручик Разумный... Мы приехали... Подпоручик Разумный...

— Я не разумный, не разумный, не разумный, — твердил подпоручик. — Я не знаю, кто я... — И копошился под скамьёй.

V

До зари Гиляров сидел в аппаратной.

«Ду-ду-ду» — гудели маленькие ящики, и телефонист в сердцах швырялся трубками. Над озером низко плыло большое чёрное облако, похожее на лебедя, и ширились его крылья — вот-вот ударят по воде.

В семь с четвертью сообщили, что Мухтанский начал сдавать оружие, а к десяти часам прошумел неугомонный дудец, что зачинщики Старорусского полка уже в районе Третьего драгунского.

Гиляров встал и попросил подать ему лошадь; согнувшись, теряя стремена, он медленно отъехал от крыльца.

В окне, чуть отдернув гардину, в одном белье, стоял генерал и тяжело дышал; золотой крестик выбился наружу и зашуршал по шёлковой фуфайке.

Глава пятая

I

Покорный приказаниям центра, салон-вагон № 23 перерезывал страну вдоль и поперёк.

С севера нёсся к западу, с востока уносился на юг. И на востоке барышня из Клина барабанила на машинке точно так же, как и на западе, и на севере с той же аккуратностью, как и на юге, ставила номера исходящих бумаг. Со всех четырёх сторон России летели по почте, по проволоке донесения Гилярова, то короткие, как условный пароль, то пространные; но и лаконические, без лишнего слова и многословные, с длиннейшими мотивировками, — они говорили об одном.

И верстах в ста от Петрограда, и на расстоянии пятисот, тысячи вёрст они твердили одно и то же, и как похожи друг на друга дробинки одного заряда, так похоже было двадцатое донесение на сотое и сотое на трёхсотое — об умолкнувших фабриках, о боевых генералах, уличённых в неверности республиканским идеям, о полках, отказывающихся воевать, о рабочих, прекративших работу на пушечных заводах, о беженцах, умирающих с голоду в богатом крае, о дезертирах, угоняющих паровозы от состава с амуницией, об офицерах, обвинённых в измене социализму, о резолюциях, принятых в окопах, о начальниках городской милиции, провозглашающих самостоятельные республики, о митингах над брустверами, о городских думах, выносящих своё неодобрение иностранной политике.

II

Летели, сыпались донесения, без усталости танцевали клавиши ремингтона, росла и увеличивалась груда копий, а рядом с ней другая — из указаний, распоряжений и циркуляров центра. И между копиями своих бумаг и оригиналами петроградских предписаний всё ниже и ниже гнулся Гиляров, словно сдавленный двумя яростными, мчащимися в противоположные стороны волнами.

И всё чаще и чаще зеркальное трюмо отражало по ночам, рядом с ремингтоном, мирно спящим в своей жестяной коробке, малень-

кую настольную лампочку с картонным козырьком, лист бумаги и над листом — осунувшееся лицо комиссара Временного правительства. И лицо это откидывалось назад к спинке стула, тяжело, напряжённо, как будто кто-то, угрожая снизу, подносил к подбородку увесистый кулак, то вновь наклонялось к столу.

И не раз видело трюмо, как беспорядочно топтался карандаш на одном месте, как летел в корзинку скомканный в бессильной ярости лист бумаги с незаконченной фразой, как тоскливо, уныло сплетались пальцы, обхватывая то пылающий, то холодеющий лоб, и как беспомощно, с какой-то детской пытливостью, где слиты страх и надежда, останавливались глаза на тёмных провалах окон, за которыми растянулась ночь, Россия и вечные судьбы той и другой с нерукотворными предназначениями.

А по утрам барышня из Клина, машинистка с позитивным мировоззрением, нередко находила на столе листок, исчерченный зигзагами, завитушками, крестиками, квадратами и покрытый странными отдельными словами, из которых некоторые повторялись неоднократно, иногда одно за другим следом.

Приподняв иронически брови-ниточки, машинистка читала:

«Русь... Россия... Запад... Дон-Кихот... Центральный комитет... Так... Так... Так... Во имя... Во имя... Дон-Кихот... Выход... Исход... Выход... Конец... Конец... Казнь... Революция... Кнут... Революция... Резолюция... De profundis... Казнь... Конец... Сам... Сам... Будет... Будет... Русь... Рассея... Russie... Русь...»

Точно так же она пренебрежительно ухмыльнулась, как взрослый при детской глупой болтовне, когда случайно подслушала часть разговора между Гиляровым и неизвестным ей по имени генералом.

Было это в первых числах октября, в Карее, откуда потом Гиляров и генерал уехали вместе на автомобиле в Эрзерум. Сперва они долго беседовали, запершись в салоне, и до машинистки, которую попросили уйти, только глухо долетал голос генерала, и только он один всё время говорил, а потом они из салона направились в коридор, и машинистка юркнула в ближайшее купе.

Резко прозвучал басок генерала:

— Это моё глубочайшее убеждение. Иначе нельзя. Иначе крышка. Кто боится — пусть уходит.

И тихо ответил Гиляров:

— Я не боюсь, но я уйду. Вернусь и пошлю телеграмму. Но не изменится...

— Увидим, — перебил генерал. — Ещё не поздно.

И ещё тише сказал Гиляров, почти шёпотом:

— Не знаю... Возможно. Я... ничего не знаю, я... всё перестал понимать. Я... Я... с ума схожу. Вот... сейчас. — И, не dokonчив, комиссар

ушёл в вагон; уходя, покачивался, хотя вагон крепко и неподвижно стоял на железном пути.

Генерал, звеня шпорами, направился к выходу.

Лавируя между рельсами, подкатил автомобиль, шофёр распахнул дверцы, проревела сирена, вскоре — ещё раз. Генерал сидел в автомобиле и ждал комиссара; из-под низко надвинутой папахи зорко глядели холодные, бесцветные и круглые, как у хищной птицы, глаза.

Долго, долго не являлся комиссар, а когда на ступеньках вагона показались его ссутуленные плечи, с наброшенной поверх длинной кавалерийской шинелью без петлиц и погон, генерал ещё более округлил глаза — и сразу они стали непроницаемыми.

Путаясь в шинели, Гиляров занёс ногу на подножку; посторонившись, генерал сел глубже и вдруг улыбнулся: выгнув ладонь, Гиляров подносил руку к голове, отдавая честь, скрючив пальцы лодочкой.

III

А дней через восемь, когда Гиляров вернулся из поездки по фронту, уже один, вялый, как осенний лист под забором, с просинью вокруг век, снова всю ночь отсвечивалась в трюме электрическая лампочка с зелёным козырьком.

И снова поутру машинистка нашла на столе бланк, испещрённый ромбами, георгиевскими крестами, цифрами, контурами каких-то лиц, голов и словами, будто бы бессмысленными на первый, посторонний взгляд, но так значительно-жуткими — словами, которые попадают на бумагу в те страшные минуты, когда мысли бьются, словно ночные бабочки вокруг огня, и когда бедное человеческое сердце не в силах ни принять их, ни уничтожить.

И она же, внешне спокойно, но внутри сгорая от любопытства и изумления, немного позже выстукивала на машинке заявление Гилярова о невозможности продолжать свою работу и просьбу прислать заместителя, ввиду того, что «веления моей совести не совпадают со взглядами и указаниями правомочных органов революционной власти, а посему...»

В этот раз машинистка уже писала не под диктовку, как обычно, а с черновика, и черновик был перемазан весь, и одни и те же фразы то зачёркивались, то восстанавливались, и буквы лежали криво, иные выпадали, оказывались внизу, точно быстро, быстро катились под гору.

Адрес Гиляров написал собственноручно, но долго сидел над конвертом; перед ним стыл чай, и Панасюк стоял за креслом; солнце заходило, вперегонки с поездом бежали вечерние тени: кто кого обгонит; машинистка шелестела бумагой. А в конце вагона, на нижней ступеньке площадки сидел старший проводник Сестрюков и тихонько,

чтобы комиссар не услышал, играл на губной гармонии и тянул с короткими придыханиями одну длинную-предлинную мелодию, тоскливую, без изменений в начале, в конце, в середине.

И всё-таки до Гилярова долетело.

— Кто это играет? — спросил он Панасюка.

Тот объяснил. Гиляров встал и с конвертом в руках направился к выходу. Машинистка, подождав немного, метнулась за ним, осторожно подошла к выходной двери, за которой после короткого перерыва снова жалобно заныла губная гармошка, воровски потянула дверь к себе и глянула в широкую щель: Сестрюков играл, а рядом с ним, так же свесив ноги на ступеньки, сидел комиссар и слушал. Как Сестрюков, покачивал в такт головой и размеренно рвал на клочки конверт, и оба — тот, кто играл, и тот, кто прислушивался, — одним и тем же взглядом следили, как ползут облака по верхушкам гор, как уносятся вдаль дрофы и как рдеют крутые склоны, покрываясь багряными отсветами — последними, осенними, усталыми.

IV

Перед ужином Гиляров подал машинистке новый черновик, и было там сказано коротко: «Прошу назначить заместителя, отказываюсь ввиду тяжёлой болезни».

Машинистка не удержалась и ахнула. Гиляров услышал и подошёл к ней.

— Это правда, — сказал он, — я очень болен. — И посмотрев на неё невидящими глазами, поверх её лица, помолчав, добавил: — Я давно уже болен, но я не знал.

Телеграмма Гилярова в пути разошлась с пространной телеграммой — приказом из Петрограда о немедленном отправлении на Юго-Западный фронт, ввиду критического положения Н-ской армии, и вместо того, чтобы ждать в Тифлисе приезда нового комиссара, как это было решено Гиляровым, вагон двинулся на Ростов.

Скомкав телеграмму, Гиляров пошёл к коменданту переговорить о прицепе вагона.

Шёл, спотыкался о рельсы, путался, в темноте натыкался на чужие вагоны.

Дождило, смутно маячили скупые, припавшие вплотную к земле одинокие огни сигнальных знаков, мычали быки, запертые в теплушках, по ногам била мокрая шинель, сумрачно выползали из тьмы пакгаузы, будки, холодом обдавал кривой дождь — и такой же холод и сумрак были в душе Гилярова, и такая же темнота обволакивала сбившиеся, спутанные мысли о том, что и впереди один и тот же путь: склизкий, бесприютный и бесконечный.

В дороге между Минеральными Водами и Дербентом вагон завяз на маленькой станции: началось восстание таинственных, неведомых Гилярову абреков. Полыхало оно в глубине края, но один из отрядов, случайно подошедший к железнодорожной линии, на всякий случай взорвал ближайший мостик.

Сотни пассажиров забили крохотную станцию доверху; потом, пока успели предупредить, подошёл ещё один тифлисский поезд, за ним — следующий.

Глава шестая

I

Между двумя холмами, — одним невысоким, узловатым, похожим на перевернутый дуб, и другим — кругобёдрым, голым — шумно, крикливо, сумбурно, то на минуту затихая, то снова с утроенной силой разгораясь, зажила внезапно потревоженная станция.

Ушла, исчезла бледно-жёлтая тишь опадающих листьев, деревянная платформа загудела под ударами бесчисленных ног, как некогда в лесу гудели под ветром молодые сосны, из которых она была сделана. Замелькали мундиры, мохнатые бурки, черкески, красные башлыки, пальто, шляпы, котелки и бараньи остроконечные шапки. Зазвенели шпоры, выгнутые шашки, зазвучали грубые, нежные, хриплые, сердитые, взволнованные, весёлые, пришамкивающие, старческие, детские и девичьи голоса, и друг дружке в затылок, точно при перекличке, стали вагоны, в последний раз лязгнув буферами и проскрипев колёсами.

К оконцу с надписью «Телеграф» ринулись десятки людей, другие десятки — к начальнику станции, но вскоре те и другие вернулись: стало известно, что раньше четырёх-пяти дней нечего и думать о дальнейшей поездке.

Минут через десять в буфете уже всё было съедено и выпито: толпа вплотную облепила столы и, как саранча, поднявшись, оставила место пусто и голо; по тропинкам к соседним уровням потянулись чающие хлеба.

Вечером за водокачкой пели солдаты; сперва о богачах, жадно пьющих кровь, а потом задушевно, грустно о тумане, павшем на море, и ей-то тонкий-тонкий голос волнующе спрашивал:

Скажи, о чём задумал,
Скажи, наш атаман!..

Кое-где в вагонах играли в карты, по платформе разгуливали парочки, но везде — и за картами, и между песнями, и после старых слов о страсти, о прекрасных женских ручках и о том, как отрадно знать, что ты не один, даже в чужих горах, — говорили о дороговизне, о буржуазии, о том, кому из руководителей можно верить, кому нельзя, о социализме, о необходимости переустройства всего мира, о рабстве, о том, что партийные вожди подкуплены немцами, о смертной казни, о капиталистах, губящих революцию, о разгромленных имениях, о рабочих, предающих родину, о голодающих мужиках, о жалованье.

И тот, кто одних ругал, а других хвалил, и тот, кто обвинял и первых и вторых, и тот, кто никого не одобрял, — все, и робкие, и храбрые, и обойдённые, и неудачники, невысказанными словами мечтали о тишине и покое, и каждый думал о себе, что он больше всех устал, что больше всех пострадал за Россию, за человечество и мир, и скорее, чем кто бы то ни было, вправе отдохнуть, успокоиться. И каждый не верил другому, и каждый каждого ловил на себялюбии и упрекал в отсутствии любви к стране, но всем было одинаково жутко, все одинаково тревожно переживали свои часы. И, как бывает часто, меньше всего думали о том, что тут за спиной, — о восставших абреках, — и не это страшило, и не взорванный мост пугал, а то, что дома по-прежнему не будет ни тишины, ни отдыха.

Ещё кто-то смеялся, ещё кто-то шутил, кто-то любовался поздними осенними переливами по холмам и чувствовал всю нежную тихую печаль дальних очертаний гор в золотисто-пепельной дымке, ещё кто-то говорил о Боге, о любви неумирающей, ещё были губы, отвергавшие хулу и проклятия, — но, словно самая крошечная капля, они, одиночки, не ведающие, как пленительны они в своём одиночестве, терялись и пропадали в одной огромной человеческой волне горя, злобы, страдания, корысти, иступления, ненависти, зависти, жадности, скупоści и жути.

II

На третий день соседняя станция по ту сторону моста — ближе к Дербенту, к России — перестала отвечать.

А к вечеру 15 октября из Минеральных Вод сообщили, что в Петрограде восстание, что вся Москва в огне, что убиты члены правительства, и несколько немецких конных корпусов, клином врезавшись в Северный фронт, захватив Валки, Псков и Юрьев, спешно двигаются на Петроград.

Сотни фигур заматались по вагонам, по перрону, по насыпи, по рельсам. Стемнело — и они разбрелись по своим местам и притихли, но света не зажигали. И уже слышались предостерегающие голоса:

«Тише, тише!» — и уже бормотали: «Дожили... Дожили...» — и бес­покойно советовали офицерам снять на время погоны.

В окнах первого класса женские руки торопливо задёргивали занавески. Всё чаще и чаще боязливо раздавалось: «Кто тут?» — и чиркала спичка, выхватывая из темени то клочок волос, то часть лба, то беглый взмах испуганных ресниц; осторожно шаркали ноги, и, когда кто-нибудь поднимался, чтобы выйти из вагона, ему бросали тревожно: «Куда вы? Куда вы?» — и вставший покорно, не раздумывая, садился вновь, и вскоре уже сам окликал других вздрагивающим голосом. И все думали только о том, почему тихо за водокачкой, где обычно собирались солдаты, почему песен не слышать об атамане, что-то задумавшем, о штыках, привинченных к ружьям, и почему не горит костёр, на котором они всегда варили себе похлёбку. Сидящие у окон старались в окна не глядеть, но, не удержавшись, отгибали край шторы и, откинувшись назад, издали пытались разглядеть. Но и на платформе было глухо, пустынно и темно, только светилось окно телеграфа. Там два генерала, оба седые, оба высокие, сидели по бокам стола и молча смотрели, как разматывается под колесом бумажный моток, как ползут, словно трудолюбивая муравьиная рать, чёрные точки-тире. Нагибались, прочитывали, посматривали друг на друга, — один бровями шевелил, другой покусывал кончики усов, — и снова, не проронив ни слова, выпрямлялись.

Гиляров лежал у себя в купе и дремал.

Когда машинистка постучалась к нему, он сперва не отозвался, поморщился и промолчал, но машинистка стучала настойчиво, и Гилярову пришлось встать, отбросить задвижку.

И снова барышня из Клина изумилась, и снова поразил её Гиляров, но уже так, что она нескоро пришла в себя — и как подшибленная убралась из купе, где Гиляров в ответ на то, что она ему передала, в ответ на невероятнейшее сообщение, после которого, убеждённо думала барышня из Клина, Гиляров должен был бы содрогнуться, закричать, или принять, как это бывает, как об этом пишут в книгах о Великой французской революции, какое-то немедленное, исключительное решение, или, наконец, застонать, — сказал лишь одно, и сказал спокойно, даже равнодушно: «Вот как», и опять лёг, попросив только дверь прикрыть.

Покинув купе, машинистка тут же в коридоре расплакалась. Была она хроменькой, припадала на левую ногу; в Петрограде на собраниях она постоянно заявляла, что «нам нужны две революции: политическая и социальная». Говоря, не могла усидеть на месте, расхаживала, и тогда при слове «политическая» левое плечо медленно опускалось вниз, а при слове «социальная» оно стремительно и победоносно летело вверх.

А сейчас оба плеча ходуном заходили.

И долго и горько плакала барышня из Клина, и сама точно не знала почему: потому ли, что обманули её Арну и Блос, потому ли, что в коридоре было так холодно и так одиноко.

Ночью прогремел выстрел, откликнулся другой, и машинистка, присев на койке, подумала с ужасом: «Началось», — как с тем же ужасом вскочили и в других вагонах, как одна и та же дрожь охватила всех — полусонных и сонных, дремлющих и бодрствующих, — и впотьмах беспомощно забилась маленькая человеческая мысль о том, что всё рушится, что смерть идёт, и почему, Боже, я, умный, хороший, должен погибнуть.

Не спал и Гиляров.

При первом выстреле он подошёл к окну, потянул вниз раму — и повеяло ночной свежестью, и были в ней умиротворяющая чистота и сладкая благодать, как от прикосновения родимых рук в час безнадежной болезни.

И не потому ли и выстрелы, и заметавшиеся по платформе одиночные силуэты показались столь незначительными, столь несущественными, как круги от внезапно брошенного камня на безупречно ясной поверхности мудрой водной глади, знающей, что никакими камнями не замутишь сокровенной глубины?

IV

Уже давно отзвучали случайные выстрелы, и уже попрятались по своим укромным уголкам на миг ошарашенные — на миг, чтобы снова при любом шорохе сорваться, а Гиляров всё стоял у окна. И так же ровно, как ровно за холмами возникал рассвет, неторопливый, как молитва, и, как молитва, успокаивающий, думал о том, что не смерть страшна, а путь пройденный, путь в самом начале неверный, путь уже неисправимый, где не те вехи ставились, не те зарубки заносились, где уже поздно, поздно ровнять выбоины, метить новые заметы, и что смерть будет незаслуженным даром нерадивому, и что надо встретить и принять её просто и тихо.

Путру новая телеграмма из Минеральных Вод сообщила о вздорности вчерашнего известия.

Опять загудела платформа, и снова по тропинкам змейками зашевелились ходоки за молоком, за хлебом, голодные, но повеселевшие. И машинистка на радостях напудрилась — очень она пожелтела за ночь — и за чаем усиленно-звонким голосом спросила Гилярова, как ему спалось, и добавила при этом, что она спала восхитительно, точь-в-точь как малюсенькая девочка, как будто под крылышком у няни, а не в дни революции, когда...

Ещё немного — и вскинулось бы левое плечо, утверждая строго и неуклонно, что нам нужны две революции, но комиссар рассеянно поглядывал в окно и жевал губами, точно старик после ночных ревматических припадков.

И не знала машинистка, что нет уже для него ни настоящего, ни будущего, а только одно недавнее прошлое, в котором он раз навсегда и безоговорочно прочёл для себя: «И ты, и ты виновен», — и ждёт после приговора нужного и должного наказания, ждёт безропотно и покорно.

День разворачивался солнечный, совсем не по-осеннему молодой. В салоне в чехарду играли зайчики» в зеркальном трюме, как в пруду от раки, опрокинулись узорные тени привокзальных каштанов, и поблизости женский голос негромко, но затаённо ликуя пел:

Прощай, хозяин дорогой,
И я пойду вслед за водой,
Да-лё-ко... Да-лё-ко...

Не докончив завтрака, Гиляров вышел на площадку — с той стороны, где песня казалась ближе. Комиссар любил пение, и когда то — это было несколько лет тому назад — он в Италии, в Сан-Ремо, услышав уличную певицу, потом весь день ходил за ней по пятам, от одного отеля к другому, и только сумерки помешали, а то бы шёл за нею без конца, безотчётно, как, купаясь в море, безотчётно тянешься за белыми гребнями. А вот в эту минуту, быть может, дальше своего вагона и не двинулся бы, как бы ни манил к себе завлекающий голос, но ближе к пению всё же хотелось быть. Ближе — и подальше, хотя бы на миг, от окончательной и бесповоротной мысли о тусклом и беспросветном завершении своего круга: ведь и самоубийцы невольно рады ничтожной временной помехе, когда то мышшь заскребётся у ног и отвлечёт внимание, то сосед за стеной затянет песню о счастливом корабейнике.

Но, открыв дверь к ступенькам, он на нижней увидел перед собой женщину в белом, и огромная шляпа с широкими полями, с горстью васильков сбоку очутилась у него как раз под подбородком, заслонив лицо пришедшей.

— Чей это вагон? — спрашивала женщина. — Ради Бога, чей это вагон? — И поднялись васильки, и под ними показались белокурые волосы, глаза взволнованные, узкие, но большие до странности, и в вырезе платья худенькая, по-девичьи поставленная шея. Но и васильки, и волосы, и глаза одинаково были поблёкшие, точно долго-долго над ними носилась пыль. Только назойливо выделялись слишком ярко-красные губы.

— Мой, — ответил Гиляров.

Губы дрогнули и сразу стали такими детскими, такими неуверенными, даже помада тут же улетучилась.

— Ваш? — И замерли растерянно бедные, дохленькие васильки.

V

Когда Гиляров взялся за перила, васильки опять встрепенулись, точно набрались храбрости.

— Ради Бога... на одну минуту... Можно, можно войти?

Гиляров посторонился.

— Пожалуйста. Дверь справа.

— Я знаю. Я знаю, — нетерпеливо отозвалась пришедшая и побежала к коридору, но вдруг комиссар услышал её громкий крик. Обернувшись, Гиляров увидел, что она, в дверях столкнувшись со старшим проводником Сестрюковым, ловит его за плечи и тянет к себе:

— Сестрюков, милый... Господи, и ты тут?.. Не узнаёшь, — не узнаёшь меня? Милый, не узнаёшь?

Сестрюков, оторопев, уронил ведёрко с углём. Женщина плакала; качались запылённые мёртвые васильки.

Глава седьмая

I

Без шляпы, без жакета, в беленькой, с простенькими прошивками блузке, а рукава, как у гимназистки, кончались манжетками; она на ученицу, так класса шестого или седьмого, и была похожа. Полуплача, полусмеясь, она перебежала от окна к окну и в шифоньерках выдвигала ящички, и непонятным казалось, почему косы лежат коронкой поверху, а не извиваются по спине. Жадно она никла к ящичкам, словно искала в них сласти, как дома, после надоевшего дня в гимназии, после «а—b—с» и династии Мервингов, в старом оливковом буфете разыскиваешь, чем бы полакомиться, и боишься, как бы бабушка или старая тётка не застала на месте преступления.

И как порозовели кончики ушей, когда в одном из ящичков она нашла круглый беззубый гребень.

— Мой, мой гребешок. Уцелел. Посмотрите. — И она показывала Гилярову и через плечо кричала Сестрюкову: — Погляди... Сестрюков... Я его узнаю. Мне казалось, что я его в Харькове на вокзале потеряла. Помнишь, Сестрюков, — это когда мы в Харькове бежали с тобой в буфет за пирожными, а ты меня торопил: «Барышня, опоздаем». Помнишь, ты тогда меня на руки схватил. Я барахталась... Кричала, что я уже большая. А ты мчался сломя голову и налетел на какого-то офицера. Помнишь? Помнишь?

Сестрюков мотал головой и всё ещё не мог прийти в себя, всё ещё не верил, что перед ним генерал-губернаторская внучка, барышня Тоничка, за которой ежегодно в Питер отправлялся вагон, а старый генерал-губернатор в шёлковом расписном халате каждый раз накануне поездки призывал к себе проводников, подносил им по стакану добротного сияб-чашмы и по золотому в придачу и просил внучку бегать, чтобы, упаси Боже, под колёса не угодила.

— А Прохор где? Ты, может быть, знаешь? Где он теперь? А ты помнишь его?

— Как же, — откашливаясь, говорил Сестрюков. — Как изволили преставиться его высоко...

Сестрюков осторожно поглядел сбоку на комиссара, который стоял сгорбившись неподалёку от трюмо, и, малость запнувшись, продолжал:

— Как скончались ваш дедушка покойный, то и Прохор вскоре помер.

— Умер? — она бросила гребёнку и тут же над выдвинутым ящиком заплакала и сквозь слёзы говорила Гилярову:

— Простите... Но я не могу. Я его так любила. Он мне и сказки рассказывал, и спать укладывал. И он же мне говорил, что быть мне несчастной, если мало молиться буду. А я много молилась. И всё же... Он как няня был. А этот вагон. Вы не поверите, но я каждое утро тихонько целовала его. Вот здесь, видите, вот слева от дивана. Раз навсегда отвела место. Точно на лице, где есть любимое место. Всё лицо любишь, а всё же есть уголок милее всего. Когда я сегодня увидела его — я сразу узнала. У меня сердце остановилось. Мой голубенький вагон. Я и ступеньки узнала, и окна, и крышу. Побоялась поверить, даже отошла. Но тут увидела номер и бросилась к нему. Другие так на вокзале встречаются с людьми близкими. Вот едешь — и вдруг такая неожиданная, такая чудесная встреча. А я встретила с ним... Я совсем одна, никого у меня нет. Ну да ладно. А тут вот, левее... Тут я однажды написала стихи. Я была очень глупенькой и стихи сочиняла. Теперь я не сочиняю, но поумнела ли — не знаю. Вот тут. У меня был маленький перламутровый ножичек, и я вырезала. Вот тут я целое утро...

Она отвела в сторону гардину крайнего окна, нагнулась и тотчас же откинулась назад:

— Всё сохранилось. Господи! Как это чудесно и как это больно! Миленький, миленький, — тянула она Гилярова за рукав, — посмотрите, всё сохранилось. Прочтите мне, прочтите. Я сама не в силах.

II

Зажмурившись, она слушала, как Гиляров неуверенно, еле-еле разбирая каракули, читает.

И так, стоя с закрытыми глазами, вслед за ним повторяла про себя:

...Я люблю тебя, как Бога,
Если б не было бы Бога —
Умерли бы все души...

— Если ты меня покинешь, я умру ... — читал Гиляров.

— Я умру... Голубенький... — медлительно и серьёзно, точно жалуясь на большую, ни за что ни про что нанесённую обиду, твердила и она.

Гиляров обернулся к ней: она всё ещё стояла с опущенными ресницами. Солнечные лучи крест-накрест обняли её, белую, тонкую и порывистую, и как бы приподняли с полу, вот-вот собираясь унести. Но те же лучи явственно показали, что юбка потёрта, что туфли беленькие в заплатках, а белокурые завитки утомлённо, как у больной, пробиваются у висков и точно липнут ко лбу.

«Зачем она губы мажет?» — досадливо подумал Гиляров.

— Все души, — ещё раз повторила Тоня и вскинула глаза на Гилярова. — Если б не было бы Бога... Это правда?

Гиляров молчал.

Тоня, покраснев, потянулась к жакету, и от краски ещё моложе, ещё более девичьим стало её лицо, а приколола шляпу — сразу всё юное, трепетное и чистое сгнуло.

И вновь стояла перед Гиляровым неверная женщина, хотя и с зовущими губами, но поблёкшая и уставшая — облик, какой встречаешь на рассвете в ночном ресторане с дутыми мавританскими колоннами, у кадушки с высохшим филодендроном, когда линолеум липок от пролитого ликёра, и окурки противно пристают к подошве.

Уходя, она только сказала «спасибо», а уж с перрона вдруг крикнула в окно:

— Господин комиссар!

Гиляров глянул в окно.

— Я хочу вам сказать.

— Слушаю, — проговорил Гиляров.

— Я хочу попросить вас... Ничего... — махнула она рукой и отошла. Белое платье исчезло за мохнатой буркой, потом вынырнуло за красным башлыком, снова показалось вдали — и потонуло в крикливой, галдящей, движущейся взад и вперёд толпе. Долго не отходил Гиляров от окна, всё ждал, не мелькнут ли васильки на жёлтой соломенной шляпе с нависшими полями, под которыми словно нарочно удлинённые глаза так часто и так удивительно меняются, то притягивая к себе, то отталкивая, как вот сразу оттолкнули накрашенные губы. И опять подумалось: «Зачем это она... напрасно», — и внезапно потя-

нуло к нацарапанным строчкам в углу — снова на них взглянуть, снова прочесть о том, как без Бога умирают все души, прочесть и — что? Посмеяться над собой, над своей неожиданной чувствительностью, глупой, вздорной, или заново при этом вспомнить и ясно представить себе, как вот несколько минут тому назад светлела в утренних лучах девушка вся в белом, в заплатанных туфельках, и грустно говорила о том, что она умрёт, если её покинут?

И хотя морщился Гиляров, но всё же прильнул к кривым строчкам.

А в обед Сестрюков иноходцем рыскал по платформе, суетливо шмыгал по вагонам и всё искал «барышню Тоничку». Ту самую, дед которой, хоть и в халате, а генерал-губернатор, своими руками угощал вином и просил, как просят родного, присматривать за внучкой. Всюду шарил, и наконец нашёл её и доложил, запыхавшись, что комиссар покорнейше просит пожаловать к обеду. А уже от себя шепотком добавил, что комиссар человек хороший, редкий, не похожий на всех прочих из нынешних новых вылезалок, совестливый, что не след отказываться барышне Тоничке пообедать в «нашем вагоне» и что для этого он, Сестрюков, уже раздобыл в кладовке тот самый приборчик, что некогда служил Тоничке.

— Синенькие тарелки с золотыми каёмками? — спрашивала Тоня, смеялась, а ладонью всё же заслонила от Сестрюкова, будто солнце жгло.

Точно таким же шепотком, после того как Тоня пообещала ему прийти к вечернему чаю и ушла к себе, он докладывал Гилярову о том, что барышня никакого места для себя в третьеклассном вагоне не имеет, что приходится им Бог знает где сидеть, на торчке, что воздух там густой, людей напихано, как на свадьбе, всё больше мужичков и солдат, не говоря уже о татарах с длинными ножами, и по всему видать, что барышня по ночам не спит по причине малого места, а едут они в Харьков, точка в точку по дороге с нами. Рассказывая, умильно и заискивающе заглядывал Гилярову в рот, как собачонка, которая прибежала к хозяину, чтоб потащить его туда, где другая собачонка лежит с перебитой лапой, — и говорил всеми своими движениями, умолял растроганными морщинками вокруг вспотевшего лба, упрашивал растопыренными реденькими усами: «Ну, вымолви заветное слово, ну, прикажи же...»

К чаю Тоня не пришла, и напрасно Сестрюков дважды разогревал самовар, и даром дежурил на площадке. Шпоры звенели, и брякали кавказские шашки, но не окликал милый голос: «Сестрюков, это ты?» — а Сестрюков ждал, всё не верилось ему, что Тоничка не придёт: ведь слово дала. Правда, за обедом она почти звука не проронила, как будто не по себе ей было, но, уходя, она всё-таки ещё раз сказала,

что не обманет, придёт, а вот уже и народ на перроне редееет, и давно второй самовар заглох, ещё немного — и огни зажгут.

Не выдержал Сестрюков и сбежал — в поиски.

В вагоне на Тонином месте два татарина, разложив платочек, ели овечий сыр, на Тонином чемодане дымились чужие кружки с кипятком.

Лишь к поздним сумеркам Сестрюков разыскал Тоню за плетнём привокзального садика, там, где над сваленными шпалами нависал дряхлый дуб.

Обрадовался Сестрюков, даже оторопел от радости, но не пошла с ним барышня Тоничка, на все уговоры отзывалась молчанием. На коленях у неё багряной горкой лежали опавшие листья, и она их перебирала руками, только всего, а обмолвился, между прочим, Сестрюков «наш вагон», она вскочила и крикнула ему: «Не смей так говорить, это не мой вагон, не мой, ничего у меня нет, я всё растеряла». Но тут же попросила ласково, совсем как в те времена, когда по вокзальным буфетам носились за кремовыми трубочками: «Иди, милый, оставь меня», — а замешкался Сестрюков — она топнула ногой:

— Уйдёшь ты наконец?

Но тотчас же побежала за ним, воротила, говоря:

— Не сердись на меня, — и усадила рядом с собой. — Сиди, сиди, только не зови меня туда. Я дурная, понимаешь, я очень дурная. Ты ничего не понимаешь. Старый ты мой проводничок. Я не смею... в тот вагон. Мне стыдно перед его зеркалом стоять, видеть себя в нём. Там ведь я осталась прежняя, и зеркало меня другой запомнило. По утрам я подходила к нему, глядела и у него спрашивала, хорошо ли на мне передник застёгнут. Я была чистенькой, скажи мне, проводничок, — я чистенькой была? А теперь я вся, вся замаралась. И не зови меня, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь, ничего не понимаешь, потому что ты уже сморчок, а я уже не Тоничка. На, развеселись, поиграй!

И сгребла она листья и кинула ему пригоршню, а сама стала насвистывать, покачиваясь, но свист был нарочитый, вскоре прекратился.

По-старчески шелестел дуб, точно перелистывая пожелтевшие страницы стариковских записей, брызжал над тем, что молодое старится, а старое помереть должно.

Гиляров, проходя мимо купе проводников, услышал, как, тяжело кряхтя, рассказывает Сестрюков младшему своему товарищу:

— И подумать только, что с барышней нашей сделалось. Ищу, ищу — нету их, а самовар канючит. Ищу, ищу, а нигде не видать. Дикий-то человек, в соседях у барышни, и говорит мне: «Уехала». Куда, говорю, дурень без рельсов поедешь? «Уехала», — говорит и гогочет. Без сил остался, пока заприметил. Сидят себе у возле садика и молчок, молчок. Я упрашиваю Христом-Богом: пойдём, миленькая ты наша, самовар растренькается, с огнём оставил, а она мне такое отве-

чает, что и знать не знаю, как мне быть. Одно чувствую: смята во рту. Ведь как домой, говорю, зову, а она мне про зеркало такое невозможное, что хоть плачь.

Гиляров остановился — и не морщился, как днём, читая наивный стишок, много лет тому назад выведенный детской рукой, — рукой, которая теперь уже иная, но пальцы чьи живут, как самостоятельные, совсем отдельные живые существа, и, промелькнув раз-другой, не исчезли из памяти, а запечатлелись в ней, как оттиск в мягком воске, запечатлелись вопреки желанию того, кто их увидел, даже словно назло, наперекор.

А может быть, во благо, может быть, для последнего необходимого указания?

Вот, вот так они шляпу прикалывали и чуть-чуть трепетали, будто оскорблённые, когда он не отвечал на её вопрос: правда ли, что без Бога умирают души людские? А вот так они скользили по платью, когда лучи перекрестили её, а за обедом они едва-едва шевелились, точно их вспугнули, и они притаились, точно украдкой взирая на свет Божий.

И даже поближе стал Гиляров, чтобы явственнее разобрать сеструющее бормотание Сестрюкова, но тот приумолк и засопел только: возможно, что сапоги снимал натужно, а возможно — слёзы глушил.

В окно, подплыв, глянула луна, и по коридору протянулся зыбкий след. Гиляров одёрнул на себе френч и вышел на платформу.

Свежело, у водокачки догорал костёр, в хвосте поезда неосвещённые вагоны стояли понуро, точно быки, застигнутые ночью в степи, а две-три фигурки, маячившие у огня, казались погонщиками.

Гиляров прошёл внутрь вокзала — там на весах дремал седой железнодорожник с веником в руках, на оголённой буфетной стойке усиками пошевеливали прусаки и карабкались по забытым пустым бутылкам. Гиляров снова направился к платформе и круто повернул к садику.

Но белого платья там не оказалось.

Вскоре Сестрюков, на ходу натягивая куртку, спешил к Гилярову; второй проводник недоумевал, что это вдруг в такую пору понадобился Сестрюков комиссару.

— Так вы сказали, что она в Харьков едет? — спрашивал Гиляров, старательно поправляя зелёный козырек лампы.

— Точно так! — отвечал Сестрюков и глаз напряжённых не отводил от комиссаровского лица, вцепившись в тайной и бодрой надежде.

— В Харьков, вы говорите. Вот как... А нам надо в Екатеринослав.

— Барышня могут и от Екатеринослава повертаться, — посмелев, подсказал Сестрюков, и сам же обомлел от своей смелости.

— Всё можно и ничего нельзя, — проговорил Гиляров и сломал козырёк, надавив слишком.

Сестрюков потупил глаза, но ненадолго: мигом ожили они, и если, действительно, глаза человеческие могут улыбаться, то они не только улыгнулись, а расплылись одной сплошной улыбкой и рассмеялись счастливо, когда Гиляров, отбросив куски смятого картона, привстал и молвил:

— Вы найдёте её вагон? Проведите меня.

И не менее счастливым говорком покрикивал Сестрюков под окошком Тониного вагона:

— Барышня Тоня, а барышня Тоня, — и возбуждённо кивал Гилярову, стоявшему позади. — Сейчас отзовётся, Пётр Фёдорович, сейчас отзовётся, одну капелюшечку.

В окне забелели рукава.

Сестрюков отошёл в сторону — что ж, загляделся на остаточные угольки костра, а такие же угольки перекатывались по собственному сердцу и грели, и грели...

Глава восьмая

I

Уже поздно ночью Сестрюков перетаскивал Тонины свёртки в салон-вагон, а она шла рядом и говорила:

— Зачем, зачем я только согласилась?

В 15 купе, отведённом для неё, где уже постель заранее приготовили и столик покрыли салфетками из уцелевшего министерского добра, она не переставая твердила:

— Зачем? Зачем?

И не пожелала прилечь, как ни уговаривал Сестрюков, и не верила ему, что это сам комиссар надумал, а не он подстроил:

— Ты меня обманываешь, Сестрюков. Это нехорошо. А ещё старый друг. Вот ты какой. Не лягу, пока ты мне правду не скажешь. Не приставай, не буду спать. — И вдруг обхватила его шею, целуя бурые щеки: — Ой, только не горюй — буду, буду. Лягу, лягу. Вот уже легла, видишь. Вот уже сплю. Как хорошо: подушка, удобно, никто не курит — как дома. Да-да, я дома. Это мои каникулы. Я уже шесть ночей не ложилась. Всё сидя дремала, то на одной скамейке, то на другой. Как странница — без места, без ночлега. Я и есть такая... «Тучки небесные, вечные странники...» Но я не тучка. Я... Они по небу бродят, им хорошо. А я по земле. Иди, иди. Тебе спать надо много-много, я тебя сегодня так утомила. А больше не буду. Вот увидишь завтра: добренькой буду, а ты мне завтра расскажешь, как ты жил, где ты бывал. А там, где я, где дедушка, где арбакеши кричат, ты ни разу больше не был?

И фазанов больше не видел? И не ел хандалек? Ты уже всё забыл? Так ты уже совсем как бабай — старенький.

Перед уходом она попросила его прикрутить электричество, повынимала гребни — косы упали.

И так лёжа в потёмках, руки за голову забросив, отчего сразу всему телу стало легче, точно свалилась с него сухая короста, она думала о чуде, что осенило её так неожиданно и так просто, бесхитростно встало на её пути сегодня, когда ещё вчера путались тропинки, и по-обычному все до одной были не свои:

«Вот я опять в голубеньком. Вот я опять с ним. Как все странно. Революция, война, а я все-таки с ним. Это настоящее чудо. Боже, значит, на земле ещё есть чудеса? А если одно пришло... Может ведь и другое прийти, и я отдохну. Может? Опять я с голубеньким. Могла ли я думать? Могла ли я ожидать? Тогда я спала в первом купе справа. Адумка моя потеряна. Я всё растеряла. Кто там теперь? Он? Комиссар? Он как будто больной. А лоб у него высокий, как у дедушки. Он когда-нибудь улыбается? Машинистка тоже революционерка? Как она за обедом следила за мной. Она постоянно улыбается. Нет, это не улыбка. А он? Никогда? Чудно: ко-ми-с-сар. — Это слово она произнесла вслух, разбивая по слогам. — Почему он мне предложил перебраться? Ведь я ему чужая. Сестрюков не лжёт. Или пожалел? Значит, я очень жалкая, и каждый может сразу заметить, что мне плохо, что в октябре я — в белом платье и надо меня пригреть? И я ещё в соломенной шляпе. Не хочу я жалости, не хочу. Вот прямо я и скажу ему: не хочу. Господин комиссар, я не хочу, чтобы вы меня жалели. Мне совсем... не так худо. Ну, из миниатюры я, ну, пою я скверные песенки. Ну, актриска я. Да-да, актриска, а не артистка. Так в Ростове мне поручик Рымгайло крикнул: пей, пей, актриска, нечего жалеть себя, все окончимся вскоре, время такое, все на том свете будем. Он уже там — злой и несчастный. А я...

Она насторожилась, приподнялась: в коридоре раздались шаги.

— Это он. Я ему должна сказать. Сегодня же. Пусть он не думает.

II

Она распахнула двери и, забыв, что волосы не в порядке, что косы по плечам пущены, вышла в коридор: сонно, никого нет, на окнах шторы натянуты, а вот только в раскрытом салоне что-то блестит, что-то отражается издали, будто ручей пробежал.

И на отражение пошла Антонина Викторовна Ашаурова, по паспорту дочь гвардии полковника, двадцати трёх лет от роду, по сцене Викторова, когда-то девочка Тоничка, институточка с наруканниками, а ныне артистка батумского театра миниатюр «Ренессанс», где зимой

пела о том, что «есть у меня один секрет», потом весной читала солдатам-фронтовикам «Каменщик, каменщик, что ты там строишь», а после «Каменщика» танцевала танец ковбоев в сомбреро, в стоптанных сапожках и красном шейном платочке поверх мужской пикейной рубашки, в паре с веснушчатым премьером, у которого зубы гнили, и потому дышал он в лицо креозотом.

Пошла на отблеск и лишь на пороге догадалась, что это зеркальное трюмо светится. В одном окне штора была приподнята — струились по зеркалу колеблющиеся лунные пряди; за облако пряталась неуёмная луна — зеркало темнело, но тотчас же снова и снова тянулись пряди, будто бесконечные, бесконечные, будто живые и в то же время неживые, неведомо куда стремящиеся, как вода проточная с гор: по камням, по ложбинкам, по песку, всё вперёд, вперёд. Но куда, куда?

Тоня подошла поближе, но робким шагом: так с огромной душевной боязнью тянешься к заветному, не можешь не тянуться, но опасаясь, не встретят ли тебя с укоризной, тебя, кого от заветного оттринули и отбросили в противоположную сторону.

Ещё ближе — и встала перед зеркалом во весь рост.

— Здравствуй, зеркало, — сказала она. И молчаливый вечный свидетель, как всегда невозмутимо, принял ещё один подошедший к нему лик.

— Узнаёшь? — спросила Тоня и даже подалась вперёд, как за ответом желанным, а в этот миг луна зацепилась краем за облако, побежала вниз тёмная полоска, переломила зеркало на две половинки — нижнюю вглубь погнала, верхнюю выдвинула — и точно кивнуло зеркало: да.

Тоня ахнула и прикрылась руками, а когда отняла ладони — всё лицо изнутри горело целительным огнём.

— Милое, милое ты моё зеркало. Хорошее ты моё.

И, подвигая к нему кресло, говорила:

— Я посижу с тобой. А ты погляди на меня. Погляди, какой я стала, как мне нехорошо...

III

Как некогда, как бывало в незабвенные, безвозвратные дни кремовых трубочек, обильных слёз над утаченным томиком «Обрыва», сувениров от подруг, засушенных цветов, нансеновского «Фрама», писем бабушки о том, что в саду удачно взошли азалии, стихов об ангеле, который душу младую в объятиях нёс, и рассказов Прохора о солдатских представлениях «Чёрта, мельника и колдуна», уместилась в кресле с ногами, глубоко ушла в него и кожаной, надёжно-просторной спинкой отгородилась от всего.

От всего — и от пляски ковбоев, и от мебелирашек с запахом кофейной гущи и посапыванием коптящего примуса, и от летних садов с куплетистами, с мраморными столиками, к ночи испещрёнными скабрёзными рисунками и надписями, со зрителями, похожими на лакеев, и лакеями, похожими на жуликов. И от ротмистров, угоревших в кровавом дыму и угар новый возобновляющих на отдыхе, и от отдельных кабинетов с пробуравленными дырками в дощатых стенках, с тёпленьким шампанским, допущенным высоким покровительством меценатствующего пристава. И от мартовских дней, когда крики «ура» взмыли Тифлис и красные флаги вихрем опоясали его, а она лежала в своём номере третий день без еды, кутала пледом стынувшие ноги, в отчаянии одурманивая себя остатками эфира, а сосед по номеру, коллежский советник в отставке, в нанковых не по сезону панталонах, проворовавшийся земский начальник в эспаньолке, уговаривал: «Рвите, рвите паспорт. Нас, дворян, будут резать, *parole d'honneur*. Нас, чистокровных, эти каналы пороть будут, *je vous assure*, увидите. Рвите». Перед зеркалом и уснула.

Сперва в глазах зарябило, потом неведомо откуда прилетевший фазан крыльями взмахнул, рябь прогнал, но тонкую пахучую сетку накинул на веки, пахучую и разноцветную. Затем сквозь дрему почудилось, что подошёл бабай-Мутала, тот самый, что неподалёку от дедушкиного дворца торговал кок-султаном, виноградом и персиками, подошёл и опрокинул над ней кумган с розовой водой, и от тёплых ароматных струек даже по кончикам пальцев прошла неизъяснимая радость, и почему-то рядом с ним очутилась *mademoiselle* Жиро с французским диктантом и прошипела: «Не шалите, вы из порядочной семьи», — а затем снова фазан развернул крыло. И стало кресло падать, падать, падать...

IV

До зуда в коленях бродил в эту ночь Гиляров; вокруг всех поездов кружил, и на холмах побывал, и слушал за семафором, как гудит проволока: «Новые вести. Каждую минуту будут новые, одна другой ошеломляющее, а я уже позади, давно позади. Кончено, Пётр: можешь гроб себе тесать, можешь и головой биться о телеграфные столбы, можешь и стихи писать — всё равно». У себя в купе даром постель снял: не спалось, а когда в салоне от круглого обеденного стола подошёл к своему письменному столу, увидел в зеркале кресло, в кресле белый комочек, и косу, перекинутую поверх ручки почти до полу.

Стараясь не шуметь, он на цыпочках пробирался к выходу: но оттого ли, что уж очень старался, или оттого, что, идя, всё оглядывался, он зацепился за стул.

— Это я, не бойтесь, — успокаивал он, — я не знал, что вы тут. Простите.

А белое платье уже покинуло кресло и притаилось в углу, между ремингтоном и овальным диваном.

— Я не боюсь. Я не испугалась. Я сама виновата. И я рада, потому что я хочу...

Покрышка ремингтона звякнула под возбуждённой рукой: рука легла на него, точно прибегая к опоре.

— Потому что я хотела... Хочу переговорить с вами. Вам меня жалко. Я знаю. А я не хочу жалости. Вам Сестрюков наговорил, потому что он глупый, потому что он носил меня на руках. А меня не надо жалеть. Я в этом не нуждаюсь. Да, да. Я этой жалости не хочу от вас. И завтра я уйду из вашего вагона..

— Он не мой, он ваш, — не изумляясь, принимая как должное и ночную встречу, и необычный разговор, ответил Гиляров. — Я здесь чужой, а вы своя.

— Вы хозяин. А я...

— Я временный гость. Нежеланный и незванный. Даже не татарин, — усмехнулся он, — а недоразумение одно.

Белое платье отделилось от стены.

Лунные пряди всё набегали и набегали безостановочно, как безостановочно и долго раздавался в салоне двойной шёпот: то один поглуше, то другой помягче, — в том самом вагоне, где когда-то князь Григорий Ильич, царедворец и винокур, делился анекдотами из придворной жизни, а полногрудая фрейлина, надев кокошник, отплясывала русскую для увеселения сибирского прорицателя.

— И не надо бояться жалости. Быть может, это самое прекрасное из всех человеческих чувств, завещанных нам. И если даже пожалел! Разве жалость оскорбительна? Бьёт? Унижает? Только бездушным она кажется унижительной. И только тот, кто говорит: я всё знаю, — клеймит её. А кто всё знает? Никто. Или сумасшедшие. Но и им она нужна. Природа знает жалость и утвердила её, как утвердила огонь, свет, смерть. И если я даже пожалел? Тогда ответьте той же жалостью, чтоб не страшила мысль остаться в долгу.

— Она нужна вам?

— Нет такого, кому она не нужна. Кто говорит: я не хочу её, — тот себя обманывает; кто говорит: она не нужна мне, — тот боится её, ибо она и дар и, как дар, не только радует, но и обязывает. Люди перестали друг друга одаривать, они не хотят обязательств, поруки, потому скудеет земля. Вот в пустыне даже шакал шакалу весть подаёт. Вот ночью в море посылает же пароход другому пароходу сигнал: я тут, слышишь? И люди должны, как корабли...

— Корабли, проходящие ночью, говорят друг с другом огнями.

— Откуда, откуда, это? Чьи это слова?

— Не помню. Быть может, в ролях попалось. Нет, не там, — что я говорю! Нет, нет. Хорошие, да?

— Хорошие.

— Есть ещё настоящие слова?

— Корабли...

— Скажите: есть?

— Корабли, что ночью прохо...

— Не так, вот как: корабли...

И Гиляров, ловя подсказанное, шевелил запёкшимися губами:

— ...проходящие ночью, говорят друг с другом огнями, — и видел необозримое бурлящее море, а себя привязанным к сломанной мачте с потухшим фонарём.

V

Рано проснулась Тоня в своём купе и после многих дней впервые почувствовала себя неразбитой, хотя спала всего-то часа три. А вскоре и Сестрюков постучал:

— Барышня, чайку кушать.

Тоня отвернула занавеску — над холмами плыли тонкорунные барашки, то тут, то там голубели небесные проталины. Тоня поправила у плеча сорочку и присела.

— Ко-ми-с-сар, — проговорила она отдельно, вслух и засмеялась смущённо и радостно.

Глава девятая

I

День пробежал, как весенняя тень по косогору, Тоня даже не успела оглянуться.

Уже давно — когда это было? — не проходили дни так безболезненно, не задевая, не рая, точно не часы шли, а лепестки осыпались, точно не в жизни ещё шаг-день отмерен был, а на берегу нездешнем, высоком-высоком, над синим провалом день — мгновенье пронежилась. И потому не сушили злополучные мысли, ставшие в последнее время неотъемлемыми — никакие, даже новые о чудесном не посетили, даже чудесные о новом, где озарение, где предчувствие пленительных минут уже не исторгнуть из души. А за ужином перевела взор с блюда на Гилярова, посмотрела, как он от телеграммы, только что полученной из Тифлиса, отщипывает кусочки и кусочки то ко рту подносит, то сбрасывает на пол, словно не знает, куда девать самого себя

промеж этих лоскутков, поглядела, как он дёргает бровью, — и подумала с жутью, жалостью и первым волнением приближающейся любви:

«Господи, да ему ещё хуже, чем мне», — и снизился высокий берег.

Но не горевала, что пропал он, а с ним и безмятежность, не объяснила себе, почему нет сожаления, но поняла бездумно, что взамен другое будет, — ярче, нежнее, и, быть может, выше, выше любой горы...

...Снова притих вагон, улеглись проводники, машинистка заснула над развёрнутой книгой о городском самоуправлении. На Тонин стук Гиляров тотчас же отозвался, как тотчас же после её слов: «Идёмте, идёмте в салон», сказал:

— Я вас ждал.

II

В эту ночь луна где-то заблудилась. Зеркало только едва отсвечивалось, уже само по себе, как будто от всего отмахнулось, чтобы суметь прислушаться по-настоящему, чтоб никто не помешал, никто и ничто.

— А мне можно при вас с косой? — спрашивала Тоня и поджимала ноги под себя. — Вы не смейтесь. Поймите, милый, милый комиссар... Я вас так буду звать. Пока... Мне нравится это слово — «комиссар», в нём для меня необычное и... И приятное. Поймите, что я так много вольностей насмотрелась, что мне страшно, когда я... Ах, что насмотрелась! Я сама позволяла другим и себе. Я... комиссар. Я гуляющая. Слышите?

— Слышу, — ответил Гиляров и, взяв её руку, поднял пальцами кверху. — А пальцы остались. И живые. И не надо, не надо больше об этом.

— Почему? Почему? — сухо отозвалась Тоня. — Вам противно? А если мне хочется, чтобы вам стало противно. Нет, нет, — потянулась она к нему испуганно и плечами передёрнула — такой холод вдруг объял их. — Я не этого хочу. Я хочу другого. Я хочу, чтобы вы всё знали обо мне. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я под маской пробралась сюда. Как ряженные свою настоящую одежду оставляют дома. Клянусь... Комиссар, милый, клянусь, я ни на одну минуту не притворялась. Когда вы попросили меня перейти сюда, я сразу сказала: нет. Только потому, что не знала, смогу ли я вам всё рассказать о себе. Я побоялась, — да, да, побоялась. А прийти и не сказать, таиться, — нет, ещё хуже, точно под чужим именем. Я побоялась, Боже мой, ведь я только женщина. А потом... Вы стояли на платформе. Сестрюков приуныл, чуть не раз-

ревелся. Я вспомнила, как он говорил мне, что вы не такой, как все, особенный. И я опять поглядела на вас, а вы сказали: ведь это ваш вагон, ведь это единственная радость, которая вам осталась, вы снова обрели её, и надо идти к ней, ведь это ваше старое пепелище, и надо вернуться к нему. И у меня сердце замерло. Господи, подумала я, ведь этот человек заглянул мне в душу. И я сказала: да. А ночью я решила: жалеет, как котёнка, который попал на рельсы, и вот его сейчас поезд раздавит. И вот пришла тогда и сказала об этом. Я хочу, я хочу, чтобы вы всё знали про меня.

— Я знаю, — мягко проговорил Гиляров, — я сразу всё понял. И не надо об этом.

— Поняли? — она окончательно зарылась в кресле и не пошевельнулась.

А потом глухо спросила:

— Значит, по мне видать? По лицу? Да? По платью?

— Ничего не видать, бедная странная женщина. У вас лицо девичье, вы ещё в школе, и мел от доски на локтях. А в платье без шляпы вы — как причастница. Мне губы объяснили.

Она рванулась и снова свернулась клубочком неподвижным. Вскоре оттуда протянулась рука, на слабом свету сквозная, и легла на колено Гилярову.

— Я больше не буду их красить. Никогда. Хорошо?

— Хорошо, — помолчав, ответил Гиляров и осторожно-осторожно снял её руку и положил её на край кресла.

Так она там и белела до рассвета.

И от пальцев не отрывался Гиляров, и жили они перед его глазами на тиснёной обивке кресла и, словно камни драгоценные на дне раскрытого ларца, переливались и просились взять их, любоваться ими...

III

Второе Тонино утро в салон-вагоне застало её в слезах.

— Я хотела рассмеяться, когда проснулась, — рассказывала она Гилярову в третью ночь.

Не могла не постучаться к нему, не позвать его к зеркалу, к лунным пятнам, к креслу, где можешь вся целиком уместиться, и оттого кажется, что ты в безопасности от всяких бед и напастей, покоишься на широкой, родной груди, и грудь эта не выдаст, защитит, убержёт.

— Мне сон снился. Редкий, дивный, не как прежние, потому смеяться хотелось, так это хорошо было. Вот в саду я будто, на качелях, качели взлетают, а я кричу: ещё, ещё. Они ещё выше. А на мне красное-красное платье, а в саду вишни распускаются, и вся я в цветах

вишнёвых. А я заплакала, я услышала в коридоре ваши шаги и вспомнила, как вы за ужином кривились, читая телеграмму, какой бледный сидели, как сгорбились. Я не хочу качелей. Я хочу знать, что с вами. Не хочу я вишнёвого цвета, когда вижу, как вы угрюмы, как вам тяжело. Что мне качели, когда вам трудно.

— Пройдёт. Пройдёт, — отвечал Гиляров и не горбился, точно доказать хотел милым пальцам, будто вовсе не так тяжело — и вот даже не придавлен, а стоит прямо, — точно успокоить их хотел, отвести от них и горести и заботы. — Пройдёт. Ещё немного...

На том же месте, что и вчера, и третьего дня, Тоня уже не спрашивала, есть ли настоящие слова, а верила им.

«Я глупая, — говорила она себе. — Я многого не понимаю, о чём он говорит. Но я пойму, пойму. Но я хочу, чтобы он мне говорил. Со мной никто так не говорил. Он мне, мне это говорит. Значит, он знает, как мне с ним светло, чувствует, что всё мне нужно — и он, и слова его, и боль его».

— Ещё немного, ещё немного, и я уже совсем успокоюсь. Я уже почти спокоен. Ведь я уже знаю, во что я уткнулся. Разбился, уткнувшись. Тем лучше, только плохо, что не насмерть. Надо вот ещё раз заглянуть и раз навсегда условиться с самим собой: посторонись, Пётр, посторонись и пропусти тех, кому ворожея наворожила. Наворожила по-сказочному: плечом двинешь — переулочек, рукой взмахнёшь — улица. Бог мой, старая русская ворожея — не то ведьма, не то ангел. Посмотришь: ангел, ангел; взглянешь — ведьма, ведьма полосатая. Но всё равно: от святого или дьявольского, а посторониться надо. Не то в лягушонка обратишься, не то в жабу, не то в сыча. Тоже по колдовству. Посторониться — и убежать, убежать. Не в переулочек, не в тупичок — нет, все переулочки затряслись, ходуном пошли все Скатертные, Спасские, Борисоглебские, все тупички, все клетушки попадали. Убежать, зарыться на краю или затянуть на себе кушак покрепче, вынуть рукавицы и гаркнуть: «Эй, бабушка-ворожея, исполать тебе, верю. Верю, что Русью пахнуло подлинной, бегу, родненькая. Сарынь на кичку, молчавшие досель. Сарынь на кичку, не ушкуйники, нет — угодники, праведники! Пльви, расшива, гуляй, волна, смой всю ветошь, потопом пройдишь по земле. Лейся, огненный дождь, сорок-сороков ночей. Дорогу, дорогу, храмы, дворцы, старые книги, старые истины, старые боги, старые заповеди. Всё залей потопом, никаких ковчегов. Ни одной пары нечистых на разводку. Все потопа, на дно потяни навсегда, пусть раки гложут, или выпусти, как из новой купели, заново крещёным великим крещением, новой живой водой. А если всё это наваждение и ворожея — ведьма? Надо ответить, надо. А тяжело, тяжело, сил нет — и гнусь, и гнусь.

А с кресла слышалось:

ЕФИМ ЛАДЫЖЕНСКИЙ. ИЗ СЕРИИ «ОДЕССА МОЕЙ ЮНОСТИ»

Ефим Бенционович Ладыженский (1911, Одесса — 1982, Иерусалим) — художник. В двадцать лет, то бишь тогда, когда выглядел ненамного младше, чем на «Автопортрете», окончил Одесский художественный институт. Работал в театре и кино. С 1936 г. жил в Москве. В пятьдесят четыре года отказался от театра, занялся «только своим» — живописью и графикой, в которых умел всё. В середине шестидесятых началось его «чтение Бабеля»: кто видел его живописную «Конармию», уверен, что глубже и ярче эту книгу не *прочитал* никакой другой художник. Несколько лет спустя появились первые «воспоминания в картинах» — из серии «Одесса моей юности», сложившейся в итоге из двух сотен работ. В них — удивительное сочетание острой юношеской впечатлительности и виртуозной *наивности* зрелого мастера... У него были замечательные друзья — художники, искусствоведы, кинорежиссёры. Но не было зрителя, того *вечного зрителя*, которому адресовалось его искусство. Этот зритель явился, когда художника уже не стало, — в Израиле, Европе, Америке...

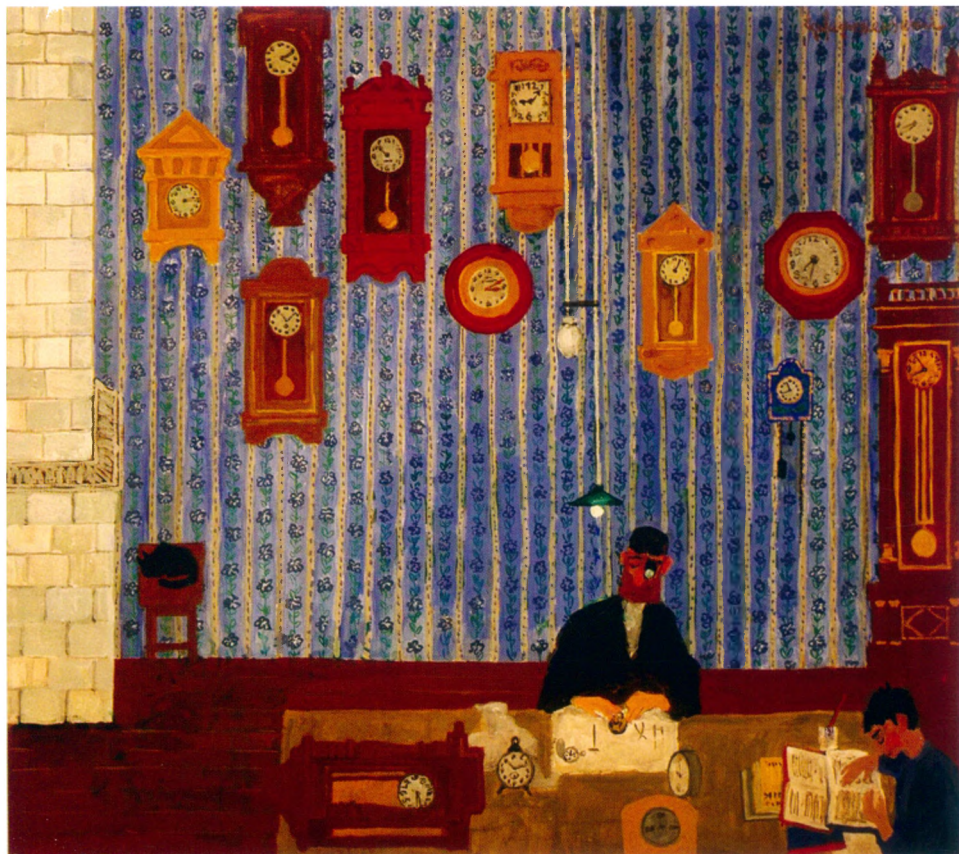


Автопортрет
Собрание семьи художника

...Моя Одесса — чудесный город, и определялась она не архитектурой, как некоторые города в мире, и потому ее у меня в картинах почти нет. Нет и неба, потому что особого неба, кроме доброго, тогда над Одессой не было. Были закаты и восходы и серое, покрытое тучами, небо, и ясное, голубое... Были люди, и я носил их в своей душе, их помнил и ощущал больше, чем дом на Дерибасовской, угол Ришельевской...

Ефим Ладыженский





Часовщик Коган
Частное собрание

*Любое ремесло несёт в себе элементы,
почти соприкасающие его с искусством,
но искусство нигде и никогда
не рождается без ремесла.*

Вечерние новости
Собрание семьи художника

Три кустаря-одиночки на один патент
Частное собрание Кононовых



Мадам Мирвис купила пианино
Собрание семьи художника

...Они любили кушать и пить, им нужны были стол и тарелки, они ездили на дрожках, они торговали и покупали, они работали и учились... Этот микромир захлестнул меня. Он стал моей реальностью.

Налётчик, его невеста и шаферы
Частное собрание

Нам принесли мацу
Частное собрание





Старый базар утром
Частное собрание

...На Базаре все запахи терялись, растворялись в лучах одесского солнца и обретали свою индивидуальность только при приближении к пахучему товару... Рынок оживал ещё задолго до восхода солнца, а когда оно всходило, чешуя рыбы отражала падающие на неё лучи множеством лучиков. Лёд истекал водой, продавцы обуревались желанием поскорей и повыгодней продать, а у покупателей разбежались глаза, и разжигались страсти.



Засолка скумбрии
Частное собрание

*Мой папа, мастер по засолке рыбы, работал в фирме Моисея
Филоновича Таланова, являвшейся поставщиком двора Его
Императорского Величества Николая II...
Из всех засаливаемых рыб я больше всего запомнил СКУМБРИЮ.
Эта рыба приходила из Средиземного моря огромными стаями «в
сопровождении» остроносой, хищной пелагиды, непригодной к еде,
грубой, жёсткой, как все пожиратели и уничтожители изящного...*



На арбузном дубке
Собрание семьи художника

— А я не могу помочь? Ничем? Не могу?

И потянулись было пальцы порывисто, но застыли по пути, словно сознали всё своё бессилие.

— А если это метелица метёт? А если это ведьма дыму напускает, гарью мутит, чтобы, потешившись, взвиться на метле в трубу, а из трубы каркать: сгинь, Русь, сгинь, ни дна тебе, ни крыши? Все равно: рукавицы так или иначе надо надеть, и рукавицы железные. А у меня руки-дощечки. Из таких дощечек кустари коробки делают, а потом их покупают и дарят на память для хранения писем, мелочей. Вот мы и наделали таких коробочек много. И сами там очутились: на память. И нас подарят новой России с надписью: безделушки. Не хочу в коробочку. А куда? Под кирпич хочу. Когда строят дом — и то кирпичи иногда падают с лесов. А генерал писал: строится башня Вавилонская. Тем больше падающих кирпичей на головы. Кому на горе, кому на счастье. Я не заслужил этого счастья, я знаю, но я молюсь о нём, потому что больше некому и не о чем молиться.

IV

Всё утро Гиляров оставался в своём купе и от обеда отказался.

Машинистка усмехнулась и, следя исподтишка за Тоней, делилась:

— Пётр Фёдорович не в духе. С ним это бывает. — И как бы мимоходом небрежно осведомлялась: — А почему вы не едите? Нет аппетита? Вы тоже не в духе? Плохо спали? Пётр Фёдорович тоже в последние дни не спит. Сегодня ночью я слышала, как он дверью хлопнул. А вы не слышали? Вы крепко спите?

Тоня, едва досидев до конца обеда, встала. Машинистка поковыряла вилкой, развернула очередную брошюрку, но не читалось — тянуло в коридор, туда, куда вот только что направилось белое платье.

У дверей Гилярова Тоня остановилась.

— Комиссар... — позвала она, и голос дрогнул; дрогнул и упал. — Комиссар...

Не отозвались изнутри; зарделись щёки и погасли, а пальцы скользнули с фанерок двери, не задев, не стукнув.

Минут через тридцать Тоня снова подошла, но дверь уже была открыта, и в неубранном купе валялись на полу, на постели нетронутой клячки бумаги и куски изломанного карандаша.

Тоня позвала Сестрюкова, сказав:

— Надо у Петра Фёдоровича приборать.

Прислонилась к косяку, глядела, как Сестрюков наливает воду в графин, как он взбивает подушку, и говорила ему:

— А когда Пётр Фёдорович придёт — ты мне скажи.

— Они на вокзал прошли. Говорят, будто на мосте уже поправили.

Стало быть, в дорогу.

— Что ты говоришь? Поедем? Когда?

— Может, и сегодня, а то и завтра.

— А куда мы... Куда вы сначала поедете?

— В Бердичев.

— А потом? — тоскливо спрашивала Тоня.

— Куда начальство прикажет.

— Какое начальство?

— Из Питера. Министр и прочие.

— Куда прикажет? А куда... самому захочется?

— Что вы, барышня! Никак нельзя — служба. Пётр Фёдорович такой: раз приказано...

— Нельзя, говоришь?

— Нельзя, Тоничка.

Тоня посторонилась: Сестрюков подметал пол. Встретилась она с Гиляровым только за ужином. Ужин прошел в молчании, барышня из Клина зубочисткой выводила на салфетке узоры.

Когда убрали со стола, Гиляров сказал, ни на кого не глядя:

— Сегодня ночью мы едем. Путь уже открыт.

Ночью застучали молотки.

Тоня глянула в окно: внизу шевелились фонари, чёрные спины нагибались к земле, и постукивали, постукивали молотки, пробуя крепость колёс, вдоволь отдохнувших на стоянке.

V

Накинув жакет, торопясь, Тоня покинула купе, по коридору поспешила к выходу — скорей, окончательно убедиться, что не обманывают молотки, что правду выстукивают они о близком конце, о том, как за Ростовом разбегутся рельсы: одни на Харьков, другие на Бердичев, туда, где есть приказы, начальства, служба.

А в коридоре её тут же окликнули изумлённо:

— Вы куда?

— Не знаю, — ответила Тоня. — Не знаю, — повторила она, когда Гиляров с порога салона, где он немало минут простоял, подошёл к ней. — Не знаю. — И на рукав его френча положила похолодевшие пальцы.

— Я вас жду давно.

И услышала, что добавил он тихо-тихо:

— Вас... Тоня...

— Я не Тоня, — проговорила она. — Я... я тону. — И прижалась к нему, всё отдавая блаженно — и себя, и свою просветлевшую душу, и томленьё своё.

Снова, после недельной передышки, салон-вагон помчался по русским полям.

Снова по утрам ремингтон освобождался из жестяного плена, и комиссар Временного правительства кратко и сухо сообщал Петрограду о продвижении своём, о причинах невольной задержки, указывал свой маршрут, изредка прибавлял два-три слова о разбитых паровозах, о самоубийстве нескольких офицеров на станции Дербент, где неизвестно почему очутившиеся там матросы, дробя стекла, срывая двери, ворвались в штабной вагон, о поджогах в Баку, о бабьем бунте в Таганрогском уезде, где одна помещица оказалась ведьмой и колодцы отравляла, о погроме под Ростовом, о пастухе-пророке с Дона, антихриста воочию увидавшем, об эшелоне, разгромившем депо, о женском монастыре, где монашки продавали Божью воду для изуничтожения социалистов, о деревенских ходоках, ищущих новые земли. Но Петроград упорно молчал, не отзывался.

А по ночам Пётр Фёдорович Гиляров, человек во френче цвета хаки с сизым, голову свою прятал в колени певички, танцовщицы и декламаторши из батумского «Ренессанса» и умолял уехать, не считаться с ним, забыть о нём:

— Я тяжкий груз. Не по твоим плечам. Да, ты мне нужна, и смешно теперь скрывать это. Да, я один, и тяжело мне. В Белоострове я плакал от счастья, а сейчас я на четвереньках — придавило меня. Но ведь земля-то та же. Стоял ли я на ней обеими ногами или лежу теперь пластом, но она-то осталась. Почему же теперь не поит она меня верой, надеждой? Высохла она? Потрескалась? Нет, это я высох, это на мне трещины. И не возись со мной. Верю, верю, что корабли говорят друг с другом огнями, знаю, как глубока темень, но ведь я давно потушил их. Испугался ветра, не смог сквозь бурю пронести. Я давно несусь, не зная ни путей, ни гавани. Ради Бога, не говори мне, что ты никчёмная, что ты лишняя. Ты живая, у тебя душа жива, а моя давно выдохлась. Ведь это я только по виду прежний. Я не люблю лишних телодвижений, потому кажется, будто всё благополучно. Неправда, — как есть губернии, неблагополучные по холере, так я давно неблагополучен по силе и выдержке. И сколько нас таких — дутых, безруких, безногих. А мы машем руками, топчемся на одном месте и кричим: идём, идём. Русская интеллигентско-революционная вампука. Не хочу её, довольно. А ты — беги скорее. Ты не знаешь, что такое социализм, нужен ли он России, кому нужны мы, кто нужен нам, — и ты уцелеешь, милая русская женщина. Уцелеешь даже в кабаке, даже под пьяными поце-

луями. Когда нужно будет — сотрёшь их, и уста станут чисты. Когда нужно будет — кабак отодвинешь и в храм войдёшь. А мне... Мне не по дороге ни кабак, ни храм. Уезжай, уезжай, родная!

На остановках он первым устремлялся к вокзалам и уходил последним.

Жадно прислушивался к разговорам, к толкам, с такой же ненасытностью приглядывался к лицам, от одной шинели переходил к другой, от армяка к зипуну, от бабьего платка к косынке сестры, от матросской полосатой фуфайки к засаленной скуфейке лукавого монашка, от теплушки к теплушке, от котомки старика-странника к венгерке проходимца-жулика.

Гудела толпа — он торопился на гул, где-нибудь кучка останавливалась — он ютился возле неё, песня раздавалась — он шёл на песню, вопль прорезал воздух — он бежал на вопль, щёлкали винтовки — он протискивался вперёд.

А возвращаясь, глядя, как трещат крыши вагонов под сапогами, лаптями, как сотни обветренных рук липнут к перилам, хватаются за буфера, за оконные рамы, за дверные скобы, как треплются по ветру юбки, шинели, очипки, платки, как гнутся оси, оседают мостики, перекинута от одного вагона к другому, как гуляют мешки по головам, слушая, как в один непрерывный ропот сливаются крики, визг, хрип, кашель, ругательства, чавканье и несутся вдоль насыпи, перебитых щитов, за которыми мёртво лежат серые голые поля, кренятся пустые овраги, и чернеют буераки, — ещё настойчивее, ещё с большей горечью, словно упорнее назло себе, убеждал Тоню:

— Ты должна оставить меня. И твой голубенький не защитит. Только чудом он ещё держится, но это ненадолго. Пойми, что тебе нельзя оставаться здесь.

— А тебе, а тебе? — И она потянула его к зеркалу. — Погляди на себя, во что ты обратился. Ты уже разогнуться не можешь. А тебе?

— Я капитан, — попробовал он пошутить. — На гибнущем корабле. Должен до конца остаться.

— Не шути, — взмолилась она и побледневшее лицо спрятала в старом гостеприимном кресле, но и этот верный друг долго не мог успокоить её.

— Плохой капитан, — пробормотал Гиляров. — Дырявый, безрукий, но остаться должен.

И зеркалу, молчаливому неизменному свидетелю конца многих «капитанов», улыбнулся искривлённой и жалкой улыбкой.

На остановках Сестрюков гасил электричество, запирали выходные двери, а в Ростове ещё к тому смастерил деревянные заслоны.

И всё чаще и чаще шушукались меж собой проводники, и не раз замечала Тоня, что порывается Сестрюков заговорить с ней, но нет в

нём решимости, а потому старается не попадаться на глаза. Однажды подслушала, как справляется Панасюк у Гилярова, где прикажет он припрятать серебряные подстаканники, ножи и ложки.

В тот день, когда Сестрюков впервые приладил к двери заслоны, Гиляров твёрдо сказал Тоне:

— В Синельникове мы расстанемся. Молчи. Так должно быть. — И отвёл глаза от задрожавших, испуганных, милых ресниц. — Я попал в водоверть. Страшна она, бешено разворачивается. Ты, к счастью, не видишь, но я вижу. Всё ширится и ширится. Кого заденет — конец тому. Не могу, чтоб ты даже подле стояла. Я попал — и пойду ко дну. И не пробуй удержать — всё равно не сможешь. В Синельникове ты пересядешь в харьковский. Нельзя иначе. Нельзя. Нельзя.

А при гудке сорвался с места.

И снова побегал к платформе, к вокзалу, к гулу, к запаху овчин, махорки, доморощенной сивухи, к ларькам с воблой, к облупленным стенам, где спина спину выпирает, где звенят стёкла от брани, к грудам тел и мешков, вместе спаянных жадностью, верой, слезами, проклятиями, мозолями, к тверской, вятской, черниговской, олонейской, пензенской волне, — к водоверти: ещё раз заглянуть, ещё раз убедиться, ещё раз понять.

В сумерки Тоня внесла к нему в купе свечку. Он с постели приподнялся ей навстречу.

— Теперь я тону, Тоничка. И вот даже пузыри пускаю.

И, уже не пряча ни тоски, ни боли, искал в пальцах её забвения, тишины и отдыха.

— Ты когда-нибудь видела, — спрашивал он, руку её укладывая себе под голову, — как в половодье гибнет человек, застигнутый на реке? От одного берега отошёл, другой далеко, а может быть, его и совсем нет и никогда не было, только марево одно. Громоздится льдина на льдину, гора растёт. Вдруг грохот, один удар, третий — и впадина. И летит в неё человек, и не за что ему ухватиться. Все соломинки ветром унесло, а льдины руки режут, а по льдине ноги скользят. Вскрылась река. Не угадали мы часа, уговаривали себя, что вскроется она смиренно, ласково, в положенный день. Ведь мы учёные, знаем законы природы, недаром изучали их годами по Парижам, Женевам — и сели, Бог мой, с каким треском! С какой убеждённостью мы талые места заклеивали бумажками. Умники, умники, алхимики всякие, законоведы. И летят вверх тормашками все законы. И учёные тож, с приборами, с выводами, с барометрами и словами. Туда им и дорога. Но только не ты. Ты тут ни при чём. Ты маленькая.

— Так пожалей меня, — попросила Тоня.

— И не покидай меня, — поутру говорила она, держа шляпу в руках, когда поезд приближался к Синельникову, а Сестрюков из купе

выносил её чемоданы. — Не покидай. Я не жена тебе, я даже не любовница, но мы не должны расставаться. Ведь и тебе так же худо, как и мне. Ведь и ты один, как я. Так уйдём оба.

— Куда?

— Не знаю. Но мы узнаем, потом узнаем. Вот уже и вокзал. Пётр, я сейчас надену шляпу — и конец. Ты уйдёшь, салон-вагон уйдёт. Ни тебя, ни его. Чудесно обоих нашла и обоих потеряю. Я ничего не прошу — ни ласк, ни клятв. Я не говорю: возьми меня в жёны. Не говорю: дай мне счастья; Бог с ним, со счастьем. Мне счастья не надо. Но только не уходи. Пётр... хотя бы до Екатеринослава. Мы узнаем, мы потом узнаем, куда.

Зашипели тормоза, Сестрюков вскинул чемодан, Тоня застёгивала жакет, и увидел Гиляров, как она не той петелькой ловит пуговицу.

— Сестрюков, — крикнул он, — подождите. — И глухо сказал Тоне: — Объясните ему... Скажите, что раздумали... пересаживаться в Синельникове.

III

Из Екатеринослава поезда на Харьков не шли: бастовала линия, харьковские телеграммы не доходили. Одна случайно проскочила с известием, что украинские полки, покидая Север, запрудили все дороги. В городе постреливали на окраинах, ждали погрома, в университете с утра кипел митинг, в двух-трёх аудиториях раздавали оружие самообороне. Съездив в город, комиссар снёсся со Знаменкой, оттуда ответили, что пока продвинуться можно.

Ночью, при одном фонарике, вдаль от вокзала составлялся поезд.

Работали с оглядкой; часть поездной прислуги разбежалась, и помогали офицеры: подталкивали вагоны, неуклюже, но лихорадочно возились с буферными цепями. Работал и Гиляров. Была минута, когда он чуть-чуть не угодил под колёса; похолодел, споткнувшись: «Вот... конец», — и только невольно заслонился рукавом, а поднялся — опять то же небо и те же осенние продрогшие звёзды.

Крадучись, погасив огни, точно убегая от врага, или к врагу подкрадываясь, поезд с опаской пробирался по запутанной сети рельс, пока не выскочил на нужный путь и не понёсся вдаль, оставляя за собой дымные полосы, вдогонку крики обманутых мужиков и солдат, вокзал, полный распластанных фигур, залитый потом, бабьими слезами, остатками солдатских шей.

Но точно такие же вокзалы побежали ему навстречу, с тем же чадом, с тем же рёвом, с той же шелухой от семечек, с теми же заплёванными полами, с теми же грошовыми свечками перед образами, возле

которых хныкали дети, переругивались мужики, почёсывались переселенцы, и брякали манерками беглецы с фронтов, — обшарпанные, в рваных обмотках.

— Конечно, — сказал Гиляров, входя к Тоне. — Попрощайся с Харьковом. Надолго, а быть может — и навсегда, — и горестно припал к её руке. — Моя вина. Я должен был настоять в Синельникове. Моя вина — прости.

— Не твоя, не твоя, — поднимала Тоня его голову и искала глаз его. — И не проси прощения. За что? За то, что ты мне помог? Найти себя и тебя? Нет вины, нет виноватых. Милый, милый...

IV

В Знаменке барышня из Клина сбежала.

В ночь перед этим она проплакала до зари, и не только потому, что обманул её Блос, — о Блосе и не вспоминала, когда в Екатеринославе от одиночества, темени и насторожившейся тишины не знала, куда приткнуться. Прощаясь с Гиляровым (с Тоней не простилась), просила иногда вспоминать её.

— Не отпускай её, — говорила Тоня и порывалась бежать за машинисткой, остановить, вернуть её.

— Пусть, пусть, — удерживал Тоню Гиляров. — Она знает, что делает. Она не пропадёт. Она, как крыса, заранее убегает. Она маленькая-маленькая крыса, но жить и ей хочется. Пусть бежит. Она права: мы тонем. Беги и ты.

— Я не крыса, — сквозь слёзы улыбалась Тоня и мелкими-мелкими поцелуями, точно крестиками, покрывала Гилярова, — я не крыса. Посмотри на меня, только посмотри, и ты всё поймёшь. Поймёшь, что меня нельзя было отпускать. Поймёшь, как безмерно ты наградил меня, поймёшь, что спас меня. Ляг, ляг. Я посижу около тебя. Ты сейчас бледен, как умирающий, а я хочу, чтобы ты жил. Я дурная, я знаю: я ненавижу твою революцию, я ненавижу твоих министров. Я... я не понимаю, для чего всё это, к чему. Я глупая, я как баба деревенская, но сердце моё чувствует, что нужно тебе, куда надо увести тебя, почему ты такой. Чувствует и не ошибается. И мы уйдём. Вот ты в Бердичеве сдашь дела свои... Ведь ты их можешь сдать?.. Можешь?.. Ну, ответь же мне. Не хочешь? Ну, хорошо, хорошо. Потом, потом ответишь. Господи, какой у тебя лоб горячий. Приляг, приляг. Ни о чём не думай, хоть полчаса. Милый, слышишь, как колёса стучат?.. Ведь это мы едем домой. Мы найдём дом свой, и ты забудешь о кирпичах, как я для тебя всё забуду, всё, что только захочешь. Тебя и меня везёт наш голубенький. Тебя и меня. Слышишь, слышишь, как он стучит: домой, домой!..

Покачиваясь, дребезжа, на поворотах вздрагивая, вагон мчался всё дальше и дальше.

А перед ним, за ним, вокруг него гигантской сказочной птицей кружилась октябрьская ночь, одним — чёрным — крылом осеняя поля, леса, города, окопы и села, а другим — красным — сея по русской, по-старому алчущей нови колдовские семена огней, пожаров, искр, бурь, криков, песен, смерти и вихря для будущих великих восходов нового святого преображения бездны и хаоса.

Глава одиннадцатая

I

В Фастове поезд задержался на полдня. Человек тридцать пехотинцев в полной походной амуниции, молча, лишь изредка отрывисто переговариваясь промеж себя, отцепили паровоз, без лишних слов избили машиниста и заставили его повернуть назад к Знаменке, забрав десятка два теплушек, переполненных людьми, откуда предварительно усач в жёлтом чепане, при помощи двоих сподручных в шлёпанцах на босую ногу, но в лихо надвинутых мерлушковых шапках, выкинул всех евреев:

— Выходи, бердичевские. Бердичевских не надо.

В лужи летели подушки, узелки; свёртки, тут же исчезая по рукам, и возвращались в те же теплушки, но уже к новым владельцам. Толстый, старый еврей вцепился в край теплушки и повис над рельсами, — задралась брюки поверх глубоких галош, показывая клетчатое цветное бельё, наземь упал порыжевший котелок, и разметались по ветру седые волосы. Ловя за ноги, один из сподручных тянул его вниз; две еврейки барахтались у стрелки и, плача, путались в юбках; у одной на затылок сползал парик; неподалёку стоявшая баба в нарядной плахте хлопала себя по бёдрам и повизгивала от восхищения. Кружились редкие снежинки и таяли, не доходя до грязной, чёрной земли, повитой криками спотыкающихся детей, стонами слепо мечущихся женщин.

Паровоз засвистал — жёлтый чепан напоследок пинком повалил в лужу еврейку с бубликами, веером разлетелись бублики. Подхватывая их, сподручные зашлёпали к вагонам; в одном из них солдаты запели «Марсельезу», — поезд тронулся.

— «Отречёмся от старого мира», — выводили удаляющиеся голоса; старик еврей ловил свой котелок.

В окне салон-вагона стоял Гиляров и, как ни упрашивала Тоня уйти, не отходил, шурил глаза, мял занавеску и твердил:

— Я всё должен увидеть. Вот ты просишь уйти с тобой. Надо же, чтоб перед уходом всё запечатлелось. Вот тут. — И взяв её руку, прикладывал к сердцу. — Тут... Потому что в голове давно уже мутно. Мутно, родная. А ты и мутную голову будешь ласкать? Будешь? И успокоишь её? А вот кто эту девочку успокоит? Вот эту евреечку? Видишь, как она за стенку хватается? Кто её утешит, рыженькую? Есть, рыженькая, утешение. Лет через пять-десять у всех будет курица в супе. Терпи, терпи, рыженький цыплёнок. А её мы тоже возьмём с собой домой?

Сестрюков возился с занавесками, Панасюк в кладовке зарывал в мусор министерский сервиз, сворачивал ковры, всё гадал, куда ему приткнуть их, лез за советом к Сестрюкову, а Сестрюков, кряхтя над болтом, сердито отмахивался:

— Да плюнь ты на ковры. Ты лучше о живой душе подумай. Куда нам барышню деть? Ну-ну, времечко.

И опять протянул Панасюк, как в мартовские дни, когда растопились снега и переливчато, звонко и бодро зашумели весенние молодые потоки:

— Мм-дд-аа, достукались.

II

В Казатине Гиляров послал свою последнюю телеграмму в Петроград, — Петроград молчал.

От Бердичева, с фронта, с позиций грядями катились к северу солдатские волны, то целыми эшелонами, то отрядами, то отдельными кучками, побросав окопы, в сторону отойдя от войны. И как гремели пустые манерки, и стучали приклады теперь уже будто ненужных винтовок, разносились по насыпям, по рельсам, по мостам, по вокзалам охрипшие голоса: «Домой. Домой».

За Казатином на разъезде сухонький артиллерист собирал вокруг себя шинели и случайным свиткам махал рукой:

— Подходи, товарищи. Ноне нету никаких разниц. Что мужик, что солдат, — все заодно. Солдат по барину, мужик за солдата. Повоевали на чужой карман, а всё пусто. У Киеве народная республика. Есть телеграмма. Без господ, ефрейтор — губернатор. Есть телеграмма. Без обману, замирение и прочее. Подходи, подходи, мужички. Ноне все заодно.

На пути к рязанским, воронежским, московским деревням сметались, точно вихрем, вокзальные лари, будки, опрокидывались вагоны, откатывались локомотивы, дотла очищались еврейские хибарки,

присоседившиеся к станциям, и по избам тех же русских деревень хозяйничали туляки, костромичи, залезая в квашни, шаря по печам, швыряясь ухватами, давя кур, топча огороды и пашни.

III

Петроград молчал — и только в Бердичеве узнал Гиляров, почему он замолк.

В штабе, у стола командующего, за картами с флажками, теперь лишними, точно детские игрушки в разгромленном доме, он окончательно понял, как развернулась водоверть, куда она закинула концы свои, на что размахнулась, кого втянула в свою могучую воронку.

Презрительно, почти с отвращением поглядел он на присутствующих, когда те убеждали не ехать в Шепетовку и равнодушно мямлили то о бессилии, то о том, что надо переждать, пока «безумцы опомнятся», и, получив нужный ему приказ к коменданту бердичевского вокзала, вышел не попрощавшись.

Из штаба он подошёл к Центральной гостинице, о чём-то условился со швейцаром и поехал к себе. Густо падал снег и плотно залеплял опустевшие улицы, заколоченные магазины, одиночных прохожих, при стуке пролётки бросающихся с тротуара к стенам домов, словно под защиту, а дома тоже прятались за ставнями и тоже нуждались в помощи, и не было её ни для тех, ни для других.

Подъехав к вокзалу, Гиляров велел извозчику не уезжать и ждать его.

Весь запушённый снегом, Гиляров прошёл к Тоне, — Тоня спала.

Он нагнулся к ней, и упали на неё с фуражки, словно лепестки неведомых, но прекрасных цветов, несколько снежинок. Тоня со сна провела ладонью по лицу, вздохнула, но не проснулась.

И долго стоял Гиляров, глядя, как, пошевелившись раз, затихали пальцы на порозовевшей щеке.

Потом осторожно и нежно разбудил её:

— Вставай, Тоня. Надо укладываться, извозчик ждёт. Я сдал все свои дела.

Все падали вещи из рук, когда Тоня укладывалась: не слушались в один миг ошастливленные руки, не знали, за что раньше взяться, а Гиляров присел к столу с карандашом и блокнотом.

Кончив писать, поманил к себе Сестрюкова и заперся с ним в купе; выпуская его, вдруг опять втянул его в купе, с силой взяв его повыше локтя:

— Так как, доведёшь её до Питера?

— Довезу. Как Бог свят, — багрово вспыхнул Сестрюков и даже перекрестился.

— Не забудешь адреса?

— Ваше благородие... — внезапно сорвалось у Сестрюкова. — И вы бы...

— Что? Что?

— Невский проспект, 35... — невнятно пробормотал Сестрюков и попятился к двери.

В коридоре Тоня, уже одетая, с сумочкой через плечо, остановила Гилярова и смущённо спросила, не будет ли он смеяться, если она попросится с зеркалом, с голубеньким, и Гиляров нашёл в себе силы не только приветливо и светло улыбнуться ей, но и сказать, что это даже надо, что и он попросится с ним, как с близким, любимым человеком. Тоня обходила все уголки и кивала:

— Прощай! Прощай!

Ещё раз мелькнули в трюмо удлинённые, повеселевшие глаза. Мелькнули и исчезли навсегда.

IV

Сестрюков и Тоня усаживались в пролётку; Сестрюков двигал желваками и отворачивался.

— Где тебя ждать? — спрашивала Тоня.

— В Центральной, — отвечал Гиляров, пригнувшись: копался на дне пролётки, укутывал пледом заплатанные белые туфельки. — Я снял номер. Сестрюков знает. Ну, с Богом.

Пролётка закрипела по снегу, а вскоре замело и колеи проложенные, и чёрное, все уменьшающееся и уменьшающееся пятно.

Гиляров на одну минуту, только на одну минуту прислонился к фонарному столбу — и прошёл в комендантскую.

Часа через два салон-вагон с небольшим составом платформ отошёл на Шепетовку; еле-еле плёлся поезд, потрёпанный паровоз задышался, отдыхал на каждой версте, Панасюк завалился спать.

Гиляров снимал заслоны с дверей и по белым полям скользил тупым взглядом, и, как поля, мертвенно-чисто было лицо его.

А в Шепетовке салон-вагон как врезался в солдатскую гущу — так и застрял там.

В Шепетовке ловили офицеров и мимоходом громили станцию.

И когда один из убегающих, волосатый генерал со шрамом поперёк лба, увидев голубой салон-вагон, чётко выделявшийся среди плоских платформ, кинулся к нему, в нём усмотрев неожиданное спасение, каблуками отбиваясь от цепких рук, растянутых кричавших ртов, красных, похожих на развороченные помидоры, а Гиляров, рванув дверь к себе, с верхней ступеньки поймал генерала за шиворот, упёрся обеими

ногами в железную обивку и втащил его на площадку, — один и тот же приклад обрушился и на него, и на генерала.

Потом оба лежали на снегу, рядом, плечо о плечо: Гиляров и генерал со шрамом от порт-артурской раны — оба в шинелях защитного цвета, оба запрокинув разmozжённые головы к небу, откуда не переставая сыпались мохнатые хлопья и одним белым покрывалом крыли алую кровь, скудную землю и голубой салон-вагон.

А в этот час в номере бердичевской гостиницы, где выцветшие драпри тщетно пытались приукрасить убожество сырых стен, облезлых пуфов и колченогих стульев, Тоня читала письмо Гилярова на двух листиках из блокнота, с неровными в зубах краями.

Как некогда в дни кремowych трубочек и писем об азалиях, старый проводник Сестрюков взял на руки барышню Тоничку, поднял её с полу и понёс к дивану...

А на следующий день, 30 октября, салон-вагон повёз председателя военно-революционного комитета Н-ской армии в штаб фронта.

Высокое зеркало по-прежнему невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина — приземистую, крепко сколоченную, и каштановую прядь волос из-под папахи, вбок надетой, и наган без кобуры за поясом, и гимнастёрку на выпуклой груди, и вздёрнутые брови над смышлёнными, молодыми и слегка лукавыми глазками.

Но так как зеркало было надтреснуто крест-накрест — от сильного удара после того, как убили комиссара и солдаты ринулись в вагон, — то и отражение получилось неверное, словно на несколько частей расколотое.

Коктебель, 1919 — Одесса, 1920—1921

Сигизмунд Кржижановский

Хорошее море

Ай, Чёрное море, хорошее море.

Э. Багрицкий. Контрабандисты (1927)

I

Стрелка вокзальных часов, дёрнувшись, показала четыре пятьдесят. Поезд медлительным ядром выскальзывает из стеклянного жерла Брянского вокзала. Пассажиры моего вагона меняют верхние полки на нижние, заказывают постель, спорят о том, открыть или закрыть окна, а если открыть, то справа или слева. Проводник отбирает билеты: завёрнутые в бумажные простынки плацкарт, они ложатся в глубь коричневых мешков его вагонной книги, а пассажиры, хотя солнцу ещё далеко до заката, начинают спускать спальные полки и громоздиться на деревянных насестах.

Мы не отъехали от Москвы ещё и десятка километров, а я уже отделил, может быть приблизительно, москвичей, едущих в Одессу, от одесситов, возвращающихся восвояси. Первые говорят: Одесса. Вторые: Одэсса.

Входит старший проводник. Он произносит краткое и убедительное слово о том, что для плевков имеются плевательницы, а что мусорный ящик, в конце вагона, предназначен только для мусора, и исключительно для мусора, и ни для чего другого. Солнце гаснет. На потолке вспыхивают электрические лампы. В проходе вагона торчат плоские задки туфель, каблуки сапог и обтянутые чулками пятки. Я успел увидеть не то два, не то три сна. Просыпаюсь от остановки. С левой верхней полки: «Это что за станция?» — с правой: «Черезбрянск».

Утром — редко-редко берёзки. Всё больше сосны и дубняк. Потом притиснутые к земле кусты. Потом степь. Кто-то, вытянув шею и голову из окна, говорит: Одесса. Да, Одесса. Навстречу мчатся зелёные пальцы укусного дерева, надгородная пыль и каменные тычки гор. Перрон. И сразу разительная разница между откуда и куда. В Москве на трёх уезжающих — один провожающий, а здесь, в Одессе, на одного приезжающего — трое встречающих.

Вот я и мои чемоданы — на трамвае номер восемнадцать. Мы с чемоданами сразу же попадаем в совершенно новый лексический мир. Оказывается, что: вагоновожатый не вагоновожатый, а «ватман»; кондукторша — «кондуктрисса»; ролик, или токосниматель, как называет его техника, — «бигель»; управляющий трамвайным движением — «лоцман зализницы». На стене трама висят объявления и плакаты: одно о том, что «До зупинки» нельзя вставать, другое о том, что «Лучше встать на пятнадцать минут раньше, чем рисковать своей ЖИЗНЬЮ».

Мой сосед, вероятно москвич, спрашивает смеясь: «Ну, а если я еду на десять минут езды, то выходит, что надо раньше встать, чем сесть». Он же: «Удивительный город Одесса, вот видите там объявление — “Зубной кабинет ликувания”, — казалось бы, зубы болят, чего тут ликовать, а ликуют».

Трамвай, вычертив кривую, поворачивает к Фонтанам. Проезжаем мимо Куликова Поля. Вот здесь, за зеленоватым скучным домом, жил катаевский Петя¹ с «Канатной улицы», угол «Куликова Поля».

На шестнадцатой станции пересаживаюсь на девятнадцатый номер. Это скрипучая дряхлая клеть, еле-еле ворочающая своими колёсами. На Фонтане так и говорят: лучше на одиннадцатом (разумей — на своих двоих), чем на девятнадцатом. Трамвай, отскрежетав две-три станции, останавливается. С передней площадки просовывается лицо и стальная рукоять вагоновожатого — ватмана. Голос среди публики: «Току нет?» Ответ Ватмана: «На нас хватит». Едем дальше. На белых камнях прифонтанских дач мелькают имена и слова: «Врач Парижер» — «Здесь продают утков, цыплев и яйцо» — «Зубной врач Капун». Раз или два слева блеснула голубая чешуя моря, и снова рыжие холмы, пористый, вырастающий в стены и дома одесский ракушняк, прибитые ветром к земле кусты и бестолочь камней, разбросанных по дороге.

Приехали. Станция Ковалевская. Навстречу бежит лохматый пёс Шарик (здесь все псы на тридцать вёрст вправо и влево — Шарики), он лижет мне руки и осторожно хватается зубами за полу пальто. Ну вот.

II

Раннее утро. Я иду по пустому тротуару. Надо побриться. Но парикмахерские ещё закрыты. На одной из стен, прямо по извёстке, остатки каких-то расплывшихся букв: «П-р-и-р». Ступеньки, над ступеньками дверь. Я вхожу. Тёмная комната. За длинным столом сидит длинная семья. Пятеро детей, мать, отец в белом балахоне.

¹Персонаж повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» (1936).

— Я, кажется, не туда попал?

— Почему не туда? Я вот вижу, у вас левый висок ниже правого. Сейчас подброим. Гриша, дай клиенту стуло.

Гриша, положив вилку, толкает по направлению ко мне, грудью, тяжёлое плюшевое стуло.

— Вы, извиняюсь, из Москвы?

— Да.

— Гриша, дай трумо.

Гриша приносит круглое карманное зеркальце, подоткнутое двумя картонными тычками. Нагнувшись, я могу увидеть в нем свой нос и верхнюю губу. Парикмахер, засучив рукава, намыливает мне щеки. Потом начинает брить, забавляя разговором:

— Я, знаете, работаю в колхозе. Но счастье вам подмогло. Сегодня я выходной. Только я вам скажу, теперь работать в парикмахерских, так это горе. Вот, например, я кончу вас брить, и вы, вероятно, мне заплотите. Так как вы мне будете платить, вы влезете себе в карман, расстегнете портману, дадите два рубля, а я вам тридцать копеек сдачи. Все ясно и понятно. А вот пойдите куда-нибудь под вывеску — и что у вас получится. Сперва у нас было так: клиент даёт деньги, мастер опускает их в жилетный карман, и они говорят друг другу «до свиданья». А потом порядок изменился: клиент спрашивает у мастера, сколько, идёт в кассу и плотит столько сколько. Ну, а потом выдумали по-другому: клиент спрашивает, сколько, идёт в кассу, потом получает бумажку, на которой написано столько сколько, несёт её мастеру — и тогда ему позволяют одеться и уйти. Но и это рационализировали: мастер пишет на бумажке, что и как, касса получает, как и что следует, клиент уходит. Но и это им показалось мало: мастер уже пишет не на бумажке, а на целом ведомстве, и они уже идут вместе к кассину окошку, и кассир удостоверяет, и тут только все они трое говорят друг другу «до свиданья». И вы думаете, что это все? Так нет же. Опять новый порядок: клиент, прежде чем сесть вот в это кресло, говорит, на сколько он хочет постричься, а на сколько побриться, а на сколько брызнуться одеколоном. И тогда он со счётом идёт в кассу и плотит вперёд. И если во время работы ему ещё захочется компресс или массаж с вазелином, так он после опять идёт в кассу и плотит назад. Так вы думаете, что это все? Так нет же. Теперь они делают так: клиент...

Но, по счастью, бритва окончила своё дело — и я ушёл, не дослушав.

III

Я встаю ранним утром. Красные лепестки ночной красавицы ещё чуть-чуть приоткрыты навстречу угадываемому солнцу. Все спят.

Даже собаки. Спускаюсь к берегу. Вода прилипает к телу нарзанными пузырьками. Берег пустынен. Я плыву, скользя подбородком над холодной водой, — и тут, навстречу глазам, из горизонта выплывает корабль. Над ним нет ни труб, ни дыма. Над высоким бушпритом — ко-сой белый треугольник, а за ним — будто множество крыльев, подни-мающих корабль над водой. Это идёт наше парусное судно «Товарищ». Я узнал его сразу. Кажется, будто высокие мачты его поддерживают небо, как колья палатки — её полотнище. Он окружён беззвучием. Ни шума винта, ни крика сирены. Вот из серого края моря показался край солнца. Потом и весь диск. Паруса корабля стали красными. Ветер надал. Паруса стали круглы, как груди женщины. Корабль медленно режет волны. А я устал и поворачиваю к берегу. Ещё украдут платье, чёрт возьми!

IV

На б. Греческом базаре сохранился и до сих пор ряд невысоких домов, сросшихся кирпичными боками в один дом, окруживший площадь. Все эти строения — из двух этажей: в нижнем этаже лавка — в верхнем квартира лавковладельца; торговля — базис, семейная жизнь — над-стройка. Днём двери и окна лавки были открыты навстречу солнцу, слышалось щёлканье счётных костяшек; к вечеру лавка смыкала свои железные ставни, а наверху распахивалось окно, загорался жёлтый язычок лампы и слышалось брэнчанье струн гитары.

Сейчас, конечно, это старое архитектурное напластование уже не совпадает с социальными этажами. Вывески остались, но ря-дом с ними, у крытых лесенок, ведущих наверх, появились дощечки: «врач» — «контора» — «модистка» и так далее.

По утрам здесь у лавок оживление:

— Это что за рыба?

— Севруха.

Трамвай, проходящий сюда с Фонтана, описав дугу, возвращается назад. У конечной его остановки, если пройти ещё вдоль редкой цепоч-ки дачных домиков, тоже пригородный базар. Днём там торчат лишь десятка три камней да длинный из промасленных досок стол. Но по утрам на камнях рассаживаются торговки. На столе — кочаны капу-сты, белые горки чесноку, кое-где торчащие рыбы хвосты. Весь этот базар, вместе со столом и камнями, заменяющими сиденья, можно ку-пить за сотенную бумажку, потребовав ещё и сдачи. Но темпераменту здесь тратится каждое утро на тысячи. Домашние хозяйки, с корзин-ками на левом локте, нюхают мёртвую рыбу с головы и с хвоста за-совывают пальцы под жабры. Свежесть яиц незачем здесь проверять, как это делают в московских магазинах при помощи светоаппаратов,

покрытых дощечкой с овальными вырезами. Самое солнце здесь — светоаппарат такой силы, что достаточно поднять товар к глазу: лучи пронизают и скорлупу, и белок.

Лишь изредка площадь пригородного базара оживляется. Это бывает в те дни, когда «пойдёт рыба». Тогда откуда-то прикатываются новые камни. Торгуют и на столе, и на земле, на подостланных рогожках, и в прилегающих к рынку переулках.

Так вот это внезапно произошло в прошлом году, в конце августа. Я бродил вдоль берега, слушая всплески волн. Лодки все отдыхали на песке, а солнце падало к закату. Берег был пуст. Сети лежали на земле, поверх стеблей и цветов. Худой длинноногий рыбак сидел на срыве скалы и, посвистывая в такт прибою, чесал левой пяткой правую.

Затем, с утра, началась путина. Первыми вестниками о подводных стаях была белая воздушная стая чаек. Они низко кружили над морем, то и дело макая длинные крылья в воду и садясь на волну. Затем вода стала странно чешуйиться и серебриться, хотя ветра не было. Это было дуновение водного ветра, рождённое движением плавников тысячи тысяч рыб. Берег, ещё на рассвете сонный и ленивый, вдруг пришёл в движение. Лодки покинули причалы и пошли в море. Сети, лежавшие поверх прибрежных стеблей и кустиков, в которых были лишь изловленные в верёвочные петли жёлтые и красные цветы, нырнули в воду и пошли навстречу рыбе. У самого берега на всех торчащих из воды камнях появились люди с удочками. Их блестящие на солнце лески непрерывно двигались то вниз, то вверх, выдёргивая из волн серебряных рыбёшек. Это было похоже на странную вертикальную косьбу. Ещё страннее было то, что не косари шли вдоль поля, а самое водяное поле двигалось на них, колыхаясь пенными стеблями. У приёмочных пунктов стучали топоры, обивающие ободья бочек. Не хватало рук. С крутого берега сбегали, по два-три человека, какие-то люди. Это был резерв в помощь рыбакам.

Через несколько часов маленький фонтанский рынок был переполнен, завален грудами рыб.

Тут продавали, за гривенники, престранные экземпляры. Например, жирная паламида, из растянутого рта которой торчит наполовину проглоченная скумбрия, затиснувшая меж мягких челюстей хвост чируса и узкое рыльце феринки. Продаётся только половина. Но с бесплатными приложениями, как в прежнее время журнал «Нива» — с полным собранием сочинений Шеллера-Михайлова¹. Дело в том, что вслед за крохотной феринкой, скользкой к берегам, идёт чирус, за чирусом — скумбрия и, наконец, — мутноглазая паламида. И всё последующее пожирает всё предыдущее.

¹Шеллер (псевд. Михайлов) Александр Константинович (1838—1900), романист.

Цена прыгает вниз с рубля на рубль. Утром десяток серебряных скумбрий стоит три рубля, к полдню — два, к вечеру — рубль.

К сумеркам в воздухе возникают песни, приплывшие тоже из моря. К солёной воде, по почти вертикальным тропинкам, движется горькая водка. У самых волн вспыхивают костры. Люди целуют друг друга, друг друга ругают и пляшут друг с другом. Наутро лодки снова выходят в море. Кое-где сети прорваны: от напора рыбьих носов. Отяжелевшие чайки почти не поднимаются с колышущихся волн.

Теперь рыба покинула пределы Фонтанов и идёт на город. В трамвае можно увидеть людей, у которых под левой рукой портфель, а на пальцах правой — концы бечёвок, с которых свешиваются жирные паламиды. На балконах одесских домов повисли целые веера из нанизанных на шпагат рыбёшек. Ветер взмахивает их хвостами над решётками перил. На тротуарах всюду просыпанная мелкая рыба чешуя. В магазинах, даже в кондитерской, острый запах рыбы и солёной воды. У лавок, торгующих солью, длинные очереди. Грузовики то и дело сбрасывают перед разверстыми тёмными горлами рыбных подвалов новые и новые груды ящиков, наполненных рыбой.

И вдруг дня через три или четыре все это внезапно прекращается. Грузовики идут порожняком, рыба чешуйка выметена мётлами. В трамвае пахнет пылью и человеческим потом. Фонтанский рынок пуст. Пуст и берег. И камни, брошенные в море. И тот самый худой длинноногий рыбак сидит на выступе скалы, свистя в ритм прибою и почёсывая левой пяткой правую.

Впрочем, память о рыбьем наплыве исчезает сразу. Помню, в тот год я возвращался в Москву в душном жёстком вагоне. Рядом со мной в купе были: двое чинных родителей, девочка лет пяти и толстая мутноглазая дама. Девочка, вероятно, от скуки и жары, временами капризничала и кривила рот, собираясь заплакать. Тогда родители её говорили: «Молчи, не то нахлопаю по женичке». И мать ребёнка, вежливо улыбнувшись, объясняла: «Мы её воспитываем без грубых слов. Так, чтобы похожие, но другие». Толстая мутноглазая дама тоже приняла участие в отвлечении внимания ребёнка от слёзных тем. «Я вот знаю, как тебя зовут». — «Нет, не знаешь». — «Знаю, Маша». — «Нет, не Маша». — «Тогда Саша». Девочка в изумлении открыла рот. Её имя было угадано. «Ну, а меня как зовут?» — продолжала допрашивать торжествующая толстая дама. Девочка оглядела её узкими щёлками глаз и отвечала очень серьёзно: «Паламида».

V

Фонтанская почта.
— Вот телеграмма.

— Придётся подождать. Телеграфист вышел.

— Но мне спешно.

— Ну, это другое дело. Тогда поищите телеграфиста. Он здесь недалеко, на пляже на Золотом берегу. Нос в веснушках, правое плечо ниже левого. Да вы его сразу найдёте.

— Мне нужен конверт. И марка. Для заказного.

— Пройдите в лавочку. Через три дома. Там вам и марка и конверт. Только на копейку дороже.

Тычу пером в чернильницу. Надо написать адрес. Но перо сломано, чернильница пуста. Оглядываюсь по сторонам. Тогда из-за угла появляется худой человек с небритой серой щетиной. Он кладёт передо мной ручку, вынимает из кармана чернильницу и пододвигает листок промокательной бумаги. Я, обмакивая перо, пишу, притискиваю промокательной бумагой и вручаю гривенник. В воздухе носятся десятки мух. Окна, несмотря на жару, плотно закрыты.

VI

Et ego in Arcadia fui¹. И я тоже был в Аркадии. Меня довёз туда трамвай номер двадцать пять. Это место около Одессы, которое показывают иностранцам одним из первых номеров. Тут крутой и высокий берег чуть-чуть посторонился, оставив у волн неширокую песчаную площадку. Место это очень нарядно. Хижины рыбаков будто склеены из папье-маше и придвинуты к берегу театральными рабочими. Сохнувшие сети декоративно подоткнуты палками. Семья рыбаков, сидящая на открытом воздухе, будто не ест обед, а разыгрывает его, как это делают в опере, где пьют из картонных пустых чаш. Оркестр заменяет здесь шум прибоя, а зрителей — бродящие по шафранным тропам любопытствователи, вроде меня. Кстати, я замечаю, что заборы здесь имеют лишь лицевую свою часть, ту, которая поставлена против моря, боковые же стороны забора отсутствуют. Это как раз техника театрального художника, который заботится лишь о плоскостях, повернутых к зрительному залу. А где же здесь зрительный зал? Вон там огромный морской партер залива, весь усеянный лоскутами парусов. Оттуда зрители смотрят на рыбацкий посёлок, и им кажется, что он настоящий. Но мы, в оркестровой дыре, видим и щели вдвинувшихся кулис и вообще видим многое из того, что выпадает из кадра.

В Аркадию вводит недлинная асфальтовая дорожка. У конца её спуск вправо — к пляжу. Надо обойти грядку. Нетерпеливые одесси-

¹ «Дополненная» (союзом) цитата из Вергилия (откуда берёт начало термин «аркадская идиллия»); далее — игра «соименностью» — у Кржижановского имеется в виду одесский парк того же названия, что и горная область в центральной части Пелопоннеса

ты пересекали раньше грядку по диагонали. Ставили запретительные надписи, угрозы штрафом. Но ведь надписи можно не прочесть. Перегораживали путь колючей проволокой. Но через проволоку можно переступить. Тогда поставили новую надпись, красными буквами по жёлтому дикту: «Разве это дорога?» И одесситы стали обходить надпись. Вскоре тропинка через грядку заросла новой свежей травой. Вот что значит поговорить с человеком на его языке. Но если держаться левой стороны асфальта, то вскоре подойдёшь к круглому фонтану, в котором много бронзы и мало воды. Несколько бронзовых, позеленевших от времени лягушек, сидя на стенках водоёма, смотрят зелёными глазами на скудную струю воды, стекающую из центрального горлышка фонтана. Из раскрытых ртов лягушек сочатся жидкие водные струи. Но местные мальчишки придумали не лишённую изобретательности игру. Взобравшись ногами на спинку бронзовой лягушки, они зажимают ладонью ей рот. Вода накапливается. Затем, стоит отдернуть руку, и лягушка плюётся длинным и стремительным плевком. Зрители хохочут.

Дальше, если идти вдоль берега, видишь группу акаций. Акация — одно из немногих деревьев, которое согласилось жить в Одессе¹. Ещё в первое десятилетие существования города дюк Ришелье насаждал свой и посейчас называемый Дюковским сад. Сейчас от него почти ничего не осталось. Дерibas привозил туда редкие сорта флоры. Сейчас осталась лишь маленькая площадка, дающая довольно скудную тень. Граф Потоцкий привозил сюда из своих украинских имений целые обозы деревьев. Растрескавшаяся сухая почва города иссушила им корни, и мало что уцелело до нашего времени. Только акация стала одесситкой и цветёт здесь пышным цветом. Дальше видишь открытый павильон с десятком игрушечных бильярдов, по поверхностям которых бегают какие-то посеребрённые пилюли. Раковина для оркестра. В море — вышка для прыжков в воду. Вообще черновой набросок будущего курорта. Остаётся съесть порцию мороженого и вернуться к трамвайной остановке.

VII

Сегодня с утра жара. Куда тень, туда и я. Сел в саду под старым орехом и переползаю вслед за его движущимся пятном тени. В руках у меня старая книга о старой Одессе. Автор её, потомок знаменитого рода Дерibasов, вздыхает о том, что теперь уже Одесса не та. Все в ней и вокруг неё не то! «О, доброе старое одесское солнце! Где ты? Куда ты скрылось? (О, чтоб ты скрылось, — думаю я про себя.) Поднимается и

¹А. М. Де Рибас. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913.

теперь какое-то бледное светило на нашем Востоке, но это уже не то. Его лучи не жгут, не ослепляют нас, как прежде». Далее автор с грустью вспоминает, что нет уже прежней одесской пыли, такой пыли, из-за клуба которой, бывало, часовой на гауптвахте у Соборной площади не мог различить проходящего прапорщика от генерала и вызывал колоколом весь караул для отдания чести тому, кому она не причитается. «Прежняя одесская пыль была не такая, как ныне; она была благоуханной, как пыль цветов. Море, степи, акации отдавали ей свои остатки и были причиной её своеобразного приятного аромата. Шла к нам прежняя пыль от солончаковых песков Пересыпи, от большого чумацкого шляха в новороссийских степях. Тонкая, мелкая, чистая, легко дававшая отпечатки всему, что к ней касалось, она прекрасно заменяла тот золотистый песок, которым в старину посыпались любовные записки».

Проходят дни. Жара спадает. А стопка книг растёт и растёт. Поверх объёмистого Дерибаса — толстенные отчёты Городской думы Одессы. Над ними — дневники старожилов, несколько номеров французской газеты, издававшейся ещё во времена Воронцова. Лень все перечислять.

И понемногу Одесса начинает вырастать в моём воображении. Она стоит на извилистых воздушных корнях. Ведь большинство её первых зданий выросли из камня, скрытого под её поверхностью. В результате: над поверхностью — каменные дома, под поверхностью — пещеры, подземные переходы. За своё право на жизнь Одесса заплатила десятью тысячами апельсинов. Павел I не хотел легализировать город, выдать ему метрику о рождении, пока поселившиеся на пустом месте купцы не послали ему этой верноподданнической взятки. Впрочем, их тогда называли не купцами, а «негоциантами». Женою¹ одного из них, «негоцианткой молодой», увлекался Пушкин.

Первые годы город ютился на вершине холма, там, где ещё недавно стояла небольшая турецкая крепостца, вскоре снесённая. Есть предание, что на второй же день после захвата Хаджибея² какой-то предприимчивый грек прямо против бреши, пробитой в стене фортеции, раскинул шалаш, под тенью которого были вскрыты первые бочки с вином. С этого и началась торговля города.

Понемногу появились неопределённые очертания улиц. К двадцатым годам домики побежали по склону холма к Пересыпи, направляясь к лиманам. Все они, как и деревья, были низкорослы, всего в один этаж. По стандарту: крутой скат крыши, в центре — крылечко с двумя подпорками, справа и слева — по два или три окна.

¹Амалия Ризнич (1803—1825).

² На месте этой турецкой крепости, взятой штурмом в 1789 г., в 1794 г. была основана Одесса.

Но зато подвижные дома кораблей толпились довольно-таки густо в гавани Одессы. Гавань слишком широко раскрывала свои берега морю — и в самом начале пришлось заботиться о защите от его волн.

«Дюк», как звали жители первого хозяина города, граф Ришелье, был добродушен и близорук. Каждый день он ходил с визитом к деревьям, насаженным под его наблюдением. Иногда он, по близорукости, первый приподымал треуголку при встрече с горожанами. Может быть, о нем думал А. Пушкин, когда начинал свою поэму «Анжело» словами «о добром дюке». Впрочем, не всё в годы его городоуправления было столь умирительно. Так, например, однажды произошла чрезвычайно конфузная история. Из Петербурга в Одессу — по почте — было направлено письмо. От особы весьма важной к особе более чем важной. Письмо затерялось: где-то на перегоне от Курска до Одессы. Добрый дюк отдал приказ: высечь всех станционных смотрителей всех станций, расположенных между Одессой и Курском. Его личный секретарь, маркиз де Рошешуар, был отправлен для проведения приказа в жизнь. Маркиз ехал в дормезе¹. Позади везли два воза, груженных связками розог.

Но вскоре, в 1814 году, Ришелье, в связи с событиями во Франции, покинул Одессу и на место его на круглый цоколь взошло бронзовое изображение графа. Оно стоит и по сей час, с рукой, протянутой над срывом берега и чётко врезанной в него гаванью.

В гавань завозили товары и болезни. Вследствие этого возникли здания: таможня и карантин. Кольцо Старо-Портфранковской улицы говорит о диалектике строительства: город, получивший право свободной торговли, привилегию порто-франко, к концу того же года стал строить вокруг себя стену, напоминающую тюремную ограду. Для тщательного процеживания свободы. Впоследствии стена эта двигалась по направлению к центру и наконец исчезла вместе со свободой торговли. Затем негоцианты, потомки корсаров и контрабандистов, превратились в купцов тех или иных гильдий, а многие из их внуков получили возможность держать под правым локтем не карабин, а портфель директора банка. Обороты кружат всё быстрее и быстрее. Прилив денег, отлив товаров. Прилив товаров, отлив денег. Процент еврейского населения прыгает с каждым годом через две-три цифры. Строится биржа в грубо мавританском стиле. Ещё до этого на месте прекрасного, в аттическом стиле театра, в котором наш Пушкин слушал Россини, сооружается грузный овал облепленного богатой буржуазной орнаментикой современного оперного театра города.

Город преуспевает. Все флаги приплыли к нему в гости, все якоря упали в песок одесской бухты.

¹Дормез — большая карета, приспособленная для сна в пути.

Навстречу прибывающим из-за волнолома судам город выставляет огни кафе, ресторанов и кабаков. Матросы сходят со своих палуб, пьют, и земля качается под ними, как палубы их судов. Приезжает и трагик Олдридж¹. Ему не надо гримироваться для роли Отелло. Негр играет негра. Одесса любит настоящий товар. Настоящую страсть. В чемодане у Ойры Олдриджа полторы дюжины бумажных рубашек. Это чтобы в третьем акте, в момент припадка ревности, разорвать их одна вслед другой, без необходимости ходить потом в магазин для покупки полотняных рубашек. Одесса любит страсть, но уважает бережливость, режим экономии. Даже в искусстве.

Город заполняется людьми торгующими, приторговывающими и торгующимися. Торгуют: фруктами, зерном, биржевыми слухами, диабетом, векселями. У конторских столиков, у прилавков лавок, у перекрытков, у столиков кафе Фанкони. За десять семикопеечных марок высылают, по первому требованию, «100 предметов»: 99 иголок и одну пуговицу.

Город, отбросив тюремные стены «свободы торговли», тянулся к своим лиманам и к своим фонтанам. На окраинном Фонтане выросла узкоплечая Башня Ковалевского. Ещё несколько лет тому назад она последней уходила из поля зрения пассажира, увозимого пароходом из Одессы. Теперь её свалили.

Ну, а дальше: 1905, Потёмкин, Шмидт, пожар доков, интервенция, бегство иностранных кораблей — все это вы знаете. Умолкаю.

VIII

В городе у меня есть три любимых места, которые я никогда не забываю навестить. Тем более что они не слишком далеко друг от друга. Первое место — дом, где останавливался Пушкин, на улице его имени. № 10. Здание это, вероятно, перестраивалось. Но я всегда испытываю странное «пушкинское» чувство, когда вхожу в сумрачную подворотню дома и затем на квадратный, окружённый каменными подпорками молчаливый двор. Окно пушкинской комнаты выходило как раз сюда. Вероятно, сюда выплёвывал он черешневые косточки и бросал скомканные и порванные клочки своих черновиков.

Второе место — Пале-Рояль, как называют его одесситы. Этот архитектурный ансамбль действительно отдалённо напоминает Пале-Рояль Парижа. Сад, запертый внутри каре домов. Я люблю здесь сидеть и думать об Одессе.

И, наконец, третье: старый дом на Софийской улице. Когда-то здесь жила графиня Нарышкина. Сейчас музей. Против здания, прямо на

¹ Ойра (Айра Олдридж (1807–1867)), американский актёр-трагик.

земле, без цоколя — довольно странный памятник. Подходя к нему в первый раз, я подумал: «Мюнхгаузен?» И через секунду ответил себе: «Нет, Суворов». На весёлой, иронически улыбающейся лошади сидит маленький человечек, крепко вжавший худые колени в ребра зверю. В правой руке его — поднятая навстречу невидимой толпе треуголка, левая накрутила на кулак удила. Лицо металлического человечка полно вызова, дерзости и смеха. Когда я подошёл ещё ближе к конной статуе, то заметил около неё группу красноармейцев, которые пришли, очевидно, осматривать музей. Но статуя надолго задержала их внимание. Они с видимым удовольствием и уважением оценивали посадку седока и конские стати бронзовой лошади.

Вскоре я узнал: автор статуи — одесский художник Эдвардс, эмигрировал за границу. Умер на Мальте.

IX

У крыльца флигелька, где я живу, зелёные листики и усики дикого винограда. А дальше, за проредью деревьев, синее море. У края веранды круглые и квадратные цветники: тут и розовая, подвязанная шпагатом мальва, и стыдливые красные цветы ночной красавицы, и петунии, и гортензии, и резеда, и кручёный панич, взвивающийся зелёными штопорами в воздух.

Я задумал, с самого начала, с первых моих встреч с солнечным зайчиком на белёной стене комнаты, противопоставить всем этим культурным, кувшино- и чашеобразным цветам, в их рыхлых, в зелёных пупырышках стеблях, свой Гяур-бах, грядку диких, с твёрдым камнем, отверженных садами и садовниками растений. Посоветовавшись со знающими людьми, я вооружился лопатой и ведром, полным воды, и отправился, вслед за падающим в море солнцем, к сухим склонам побережья. Тут, ещё раньше, я наметил глазом несколько иглистых, бледно-зелёных, но яркоцветных кустарников.

Первым объектом, на который напали моя лопата и ведро, был высокий с зелёными почками и жёлтым цветком молочай. Корень его цеплялся за почву с необыкновенной силой. Я изломал стебель, смял широкие лопухие листья и вытащил на поверхность половину корня.

Ещё более тяжёлая схватка предстояла мне с обыкновенным, как мне казалось, одуванчиком. Я подкапывал его лопатой, лил воду из ведра, а одуванчик вонзался в пальцы множеством мелких шершавых игл, цепляясь ветвистым корнем за каменную почву.

В ведре оставалось уже немного воды. Я атаковал какое-то странное тёмно-зелёное растение, семью звёздными лучами впластавшееся в землю. Вот сухощавый кустик, растопыривший бледно-зелёные сухие шишечки и иглы. Чуть ниже — странное подобие подорожни-

ка с листом, похожим на вывалившийся язык висельника, почему-то утыканный тёмными занозами. Пускаю в работу рукавицу, воду и кирку. Ничего не берёт. Растение страстно цепляется за родной грунт длинными, с множеством мочек, корнями; никак их не разлучить с их здесь. Они колют меня, и сквозь перчатку, шипами, предпочитают сломаться, умереть, чем уйти. И из моего гяур-баха ничего не вышло: три-четыре стебля, которые я перенёс с сухой почвы берега на хорошо увлажнённую грядку нашего сада, сжали свои лепестки и отказались жить в первый же день.

Х

Мы встретились на Приморском бульваре (улица Фельдмана). Она, подав мне левую руку (правая сжимала несколько тетрадей и книг), сказала:

— Видите вон тот буксирный пароходишко. Вот если б был такой пароход, что притащил бы к нам в Москву на буксире это вот море.

Я улынулся, как полагается, и мы сели рядом на скамью. Море внизу под сотней ступеней знаменитой одесской лестницы было чуть подёрнуто кисеёй тумана. Волнолом перечёркивал его длинной каменной чертой. Вспомнили о наших московских общих знакомых. О номерах журналов, недавно нами разрезанных. Вслушиваясь в речь собеседницы, я сказал:

— Пустое вы одесским ви¹.

Она, обмолвись, заменила...

— А дальше?

— А дальше я не поэт.

— Жаль, а ведь поэзия — это и есть дальше. Вы понимаете, какой-нибудь Аю-Даг, там, в Крыму, его все видели сперва как гору, ну и гору, а потом кто-то назвал её Аю-Дагом, и всем стал виден медвежий контур. А там родилась легенда: огромный каменный медведь приполз к Чёрному морю, чтобы напиться; стал пить и пить — и когда выпил всё море, конец и миру, и морю, и ему. Вот это и есть дальше.

— И миру, и морю, и ему. А кстати, Понт Эвксинский, как называли греки вот это море, значит: гостеприимное, доброе море. Багрицкий вряд ли знал об этом, когда писал о «Чёрном море, хорошем море».

— У меня рядом с путеводителем и планами Одессы — сборник памяти Багрицкого². Вы читали?

— Да.

— Скучно. Правда, скучно на вате: скучновато. Всё рыбки да птички, птички да рыбки. Аквариум. А Багрицкий не аквариум, а море.

¹Шуточный перифраз начала стихотворения Пушкина «Ты и вы» (1828).

²Эдуард Багрицкий. Альманах. М., 1936.

— А вы читали «Белеет парус одинокий»?

— Катаева? Вы спрашиваете потому, что там вон парус или...

— Нет, потому что на вас парусиновое платье.

— Глупо.

— А вот он написал умно, местами даже мудро.

— В чём там дело?

— Представьте себе вот этот самый порт. Отодвиньте время на тридцать лет вспять. Вот сюда, к левой пристани, причаливает старый пароход «Тургенев». На нём старые и новые люди, а самая эпоха — та, когда новое причаливает к старому.

— Витиевато.

— Как та жизнь. Ведь вас тогда ещё и на свете не было. И свет, хоть с трудом, а обходился без вас. Среди пассажиров парохода десятилетний Петя. Он видит мир десятилетне. В этом прелесть романа. Предупреждаю, я не умею рассказывать.

— Вижу без предупреждений. Дальше.

— Но революция пятого года тоже юна, тоже почти ровесница Пети. И они понимают друг друга, они...

— Они понимают, а я не понимаю. Я ещё допускаю, что у людей из глаз слёзы, но чтобы из-под ресниц капал гуммиарабик, которым человек склеивает...

— Я не склеиваю. Так у Катаева. Между прочим у Катаева...

— Остерегайтесь «между прочим»: это тоже одессизм.

— Да. Основной недостаток очень хорошей повести Катаева в наличии клея. Когда он говорит о приморских камешках, то вы видите перед собой ящик с минералогической коллекцией. Рыбы у него не плавают тоже в одиночку. Дан сразу целый аквариум причудливо подобранных особей. Впрочем, нет приёмов плохих или хороших. Есть хорошо или плохо применённые приёмы. Так, Катаеву удалось с блеском оправдать этот же приём коллекционирования сходных объектов в главе, описывающей мальчишескую игру в пуговицы. Сотни пуговиц, отрезанных и оторванных от вицмундиров, сюртуков, форменных тужурок, образуют довольно жуткое собрание. Создаётся образ тогдашней России, застёгнутой на многое множество пуговиц, — чинной, бездушной и бюрократической.

— Знаете, а не свернуть ли нам в этот ваш «Парус».

— Если вам скучно, извольте.

— Мне всегда скучно, когда пробуют пересказывать художественные произведения. Вообще у нас три вида оскучения вещей, три типа критики и истолковательства.

— Первый?

— Первый: критика без руля и ветрил. Второй: с ветрилом, но без руля. Как вот ваша. И наконец: с рулём, но без ветрил.

XI

Сижу на берегу, под чёрной тенью запрокинутой и подоткнутой велослом шаланды. У ног спутанные космы водорослей и мелкая дохлая рыбёшка. В море на торчащих из воды склизлых камнях стоят рыболовы. Они замахиваются на волны длинными кнутовищами удочек и изредка выдёргивают из рыжей взбаламученной воды рыжих бычков. Английские рыбаки называют их *miller's thumb*, «большим пальцем мельника», и действительно, голова бычка напоминает приплюснутый большой палец руки. Сейчас я вижу, как ближайший охотник за рыбьими черепами нанизывает на нить очередного бычка и затем бросает нить в воду. Таким образом, изловленному пучеглазому, с круглыми плавниками существу временно возвращена жизнь, но жизнь — на нити. Образ, который мог бы быть весьма с руки любому пессимисту. Вообще, в приёмах ловли более сильным более слабого немало мрачной иронии. Возьмите хотя бы название одной из простейших рыболовных снастей: самодур. Или устройство японских неводов, или скипасей, длинными перпендикулярами составленных от берега в море. Они рассчитаны только на то, что рыба, ткнувшись в перегородивающую им дорогу сеть, не уходит назад, а начинает искать выхода и именно поэтому попадает в мотню, сетевой мешок, из которого нет выхода.

Мне рассказывали о редко применяющемся сейчас способе вылавливания тенью, прохладой. В жаркие дни над поверхностью штилевого моря расстилается непрозрачный навес: рыба, ждущая прохлады, плывёт под тень навеса и попадает в расставленные ей здесь сети.

XII

Дня два шторм. Купаться нельзя, море бьёт камнями, вхлестывается в ноздри и в рот волной и приглашает в утопленники. Наконец низовка израсходовала себя, волны спрятались под поверхность, и я, обмотавши шею полотенцем, спускаюсь к берегу. Часть его проглочена утихомирившимся штормом. На оставшейся полосе — груды вереска и травы зостеры. Мёртвые стеклянные грибы медуз. Я, извините меня, снимаю штаны и присаживаюсь на мокром камне. И странное явление: у ногтей моих ног ползают сотни и сотни божьих коровок. Некоторые из них высовывают из-под своих красных, в чёрной точковине, элитр¹, длинные, подмоченные солёной водой перепончатые крылышки. Но ни одна из них не взлетает. Мало того — всех их притягивает не берег, а море. Вероятно, их принесло ветром. Сейчас его

¹Элитры (элитры) — надкрылья.

нет. Но — я слежу очень внимательно — ни одна из букашек не уползает прочь, все они взбираются на привольные острия камней, на эллиптические выступы мидий, и всех их слизывает лёгкий прибой туда, в волны. Я вспоминаю рассказы Замятина времён гражданской войны, смерть лирика Блока и его статьи «о кризисе гуманизма»¹ и ...мало ли о чем я вспоминаю. Так, например, в памяти, как на поверхности воды, всплывает одно трагикомическое, насосавшееся воды бревно, которое я наблюдал несколько лет тому назад у Надвоицкого водопада. Там, где сейчас построены шлюзы на магистрали канала-Беломорья. Тогда о будущем канале говорили лишь редкие глухие взрывы да домики рабочих посёлков у берега только намечавшейся трассы. Бревно, шедшее «молью», с озера Выг, сброшенное водопадом вниз, случайно попало в боковую заводь, чуть шевелимую проносящимся мимо водопадом. Бревно, двигаясь по часовой стрелке, притягиваемое током вод, описывало полный круг, но, подойдя к вертикальному руслу водопада, отшвыривалось им назад и снова свершало свой путь по водному циферблату затона, отсчитывая, часовой стрелке подобно, проносящееся мимо время.

ХIII

Собаки, как известно, не любят почталыонов. Может быть, потому, что сумки их всегда набиты запахами человеческих рук, запечатанными в конверты. Я сам, когда вижу на аллее кривоногого фонтанского почталыона с его тяжёлой суковатой палкой, ощетиливаюсь и как-то сжимаюсь. Это Москва ищет меня своими письмами. Скоро и меня сложат на верхней полке, подогнув колени к подбородку, сунут в вагон, как в конверт, запечатают парой железных дверей, а снаружи проставят адрес: Москва.

Веет, особенно по вечерам, первым осенним холодком. Люди, кутаясь в платки, пледы, пальто, выходят посмотреть на ночное море и лунную дорожку на зыбях. Даже собаки предчувствуют своё близящееся одиночество и полуголодную жизнь у заколоченных пустых домов. Особенно остро это ощущает, как мне кажется, мой любимец Шарик. Это простой дворовый пёс с серой спиной и жёлтыми подпалинами на груди и у концов лап. Он умеет: поймать на лету муху, лякнув при этом длинными зубами; разгрызть, в течение минуты, любую кость; смотреть страдальчески-нежно в глаза тому, кто её бросил. Аристотель, открывший формальную логику, от которой на земле столько бед, полагал, что и собакам доступны некоторые модусы силлогизма: например, умозаключения от частного к частному. Несомненно, это так.

¹А. Блок. Крушение гуманизма (1919).

Когда я выдвигаю из-под кровати чемодан и смахиваю с него пыль, в дверях появляется Шарик. Он стоит, опустив хвост и не замечая мухи, кружащей у самого его носа. Это уже не первый чемодан. Силлогизм Шарика строится, вероятно, так: как только появляется чемодан, исчезает человек. В течение последних дней несколько этих странных вещей из мёртвой кожи с лязгающим железным зубом уводили с собой людей — туда, к трамвайной остановке, — и после того ни один человек не вернулся из страны, в которую уводят чемоданы.

Впрочем, Шарик, должно быть, не вполне твёрд в своих выводах. Не далее как вчера я провожал своего соседа по даче к трамваю и помогал нести ему один из его чемоданов. Шарик был очень взволнован. Он шёл рядом со мной и один раз лизнул мне руку, опущенную книзу тяжестью ноши. Подошёл трамвай. Чемоданы уехали, а я остался. Пёс сначала был ошеломлён, потом с радостным лаем бросился ко мне на грудь. Хвост его смеялся. Аристотель был посрамлён, Шарик торжествовал.

Но теперь... Я стою на корточках среди разбросанных вещей. Пёс подходит ближе. Это удобный случай, чтобы лизнуть меня не в руку, а прямо в лицо. Глаза его спрашивают.

— Да, Шарик, этот чемодан уведёт меня в страну, откуда ни единый путник ещё не возвращался... до весны.

Это бывает со мной всегда, когда поезд увозит меня из Одессы. Справа и слева — степь, неглубокие овраги. И вдруг среди поля, вдалеке, возникает тёмное и прохладное пятно. Море? Нет, тень от облака. И сердце щемит.

Ефим Зозуля

Рассказ об Аке и человечестве

1. Были расклеены плакаты

Дома и улицы имели обыкновенный вид. И небо с вековым своим однообразием буднично голубело над ними. И серые маски камней на мостовых были, как всегда, непроницаемы и равнодушны, когда очумелые люди, с лиц которых стекали слёзы в ведёрки с клейстером, расклеивали эти плакаты.

Их текст был прост, беспощаден и неотвратим.

Вот он:

«Всем без исключения.

Проверка права на жизнь жителей города производится по-районно, специальными комиссиями в составе трёх членов Коллегии Высшей Решимости. Медицинское и духовное исследование происходят там же. Жители, признанные ненужными для жизни, обязуются уйти из неё в течение двадцати четырёх часов. В течение этого срока разрешается апеллировать. Апелляции в письменной форме передаются Президиуму Коллегии Высшей Решимости. Ответ следует не позже, чем через три часа. Над ненужными людьми, не могущими по слабости воли или вследствие любви к жизни уйти из неё, приговор Коллегии Высшей Решимости приводят в исполнение их друзья, соседи или специальные вооружённые отряды.

Примечания:

1. Жители города обязаны с полной покорностью подчиняться действиям и постановлениям членов Коллегии Высшей Решимости. На все вопросы должны даваться совершенно правдивые ответы. О каждом ненужном человеке составляется протокол-характеристика.

2. Настоящее постановление будет проведено с неуклонной твёрдостью. Человеческий хлам, мешающий переустройству жизни на началах справедливости и счастья, должен быть безжалостно уничтожен. Настоящее постановление касается всех без исключения граждан — мужчин, женщин, богатых и бедных.

Выезд из города кому бы то ни было на всё время работ по проверке права на жизнь безусловно воспрещён».

2. Первые волны тревоги

- Вы читали?
- Вы читали?!
- Вы читали?!
- Вы читали?! Вы читали?!!
- Вы видели? Слышали?!!
- Читали?!!

Во многих частях города стали собираться толпы. Городское движение тормозилось и ослабевало. Прохожие от внезапной слабости прислонялись к стенам домов. Многие плакали. Были обмороки. К вечеру количество их достигло огромной цифры.

- Вы читали?
- Какой ужас! Это неслыханно и страшно!
- Но ведь мы же сами выбрали Коллегию Высшей Решимости. Мы сами дали ей высшие полномочия.

— Да. Это верно.

— Мы сами виноваты в чудовищной оплошности.

— Да. Это верно. Мы сами виноваты. Но ведь мы хотели создать лучшую жизнь. Кто же знал, что Коллегия так просто и страшно подойдёт к этому вопросу?!

— Но какие имена вошли в состав Коллегии! Ах, какие имена!

— Откуда вы знаете? Разве уже опубликован список всех членов Коллегии?

— Мне сообщил один знакомый. Председателем выбран Ак.

— О! Что вы говорите! Ак? О, какое счастье!

— Да. Да. Это факт.

— Какое счастье! Ведь это светлая личность.

— О, конечно! Мы можем не беспокоиться: уйдёт из жизни действительно только человеческий хлам. Несправедливостям не будет места.

— Скажите, пожалуйста, дорогой гражданин, как вы думаете: я буду оставлен в живых? Я — очень хороший человек. Знаете, однажды во время крушения корабля двадцать пассажиров спасались на лодке. Но лодка не выдержала чрезмерного груза, и гибель грозила всем. Для спасения пятнадцати пятерым пришлось броситься в море. Я был в числе этих пяти. Я бросился добровольно. Не смотрите на меня недоверчиво. Теперь я стар и слаб. Но тогда я был молод и смел. Разве вы не слыхали об этом случае?

О нём писали все газеты. Четверо моих товарищей погибли. Меня же спасла случайность. Как вы думаете, меня оставят в живых?

— А меня, гражданин? А меня? Я раздал бедным всё своё имущество и капиталы. Это было давно. У меня есть документы.

— Не знаю, право. Всё зависит от точки зрения и целей Коллегии Высшей Решимости.

— Позвольте нам сообщить, уважаемые граждане, что примитивная полезность ближним ещё не оправдывает существования человека на земле. Этак всякая тупая нянька имеет право на существование. Это — старо. Как вы отстали!

— А в чем же ценность человека?

— В чем же ценность человека?

— Не знаю.

— Ах, вы не знаете! Зачем же вы лезете с объяснениями, если вы не знаете?

— Простите, я объясняю, как умею.

— Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите! Люди бегут! Какое смятение! Какая паника!

— О, сердце моё, сердце моё!.. А-а-а... Спасайтесь! Спасайтесь!

— Стойте! Остановитесь!

— Не увеличивайте паники.

— Стойте!

3. Бежали

Бежали по улицам толпы. Бежали краснощёкие молодые мужчины с беспредельным ужасом на лицах. Скромные служащие контор и учреждений. Женихи в чистых манжетах. Хоровые певцы из любительских союзов. Франты. Рассказчики анекдотов.

Билльярдисты. Вечерние посетители кинематографов. Карьеристы, пакостники, жулики с белыми лбами и курчавыми волосами.

Добряки-развратники. Лихие пьяницы. Весельчаки, хулиганы, красавцы, мечтатели, любовники, велосипедисты. Широкоплечие спорщики от нечего делать, говоруны, обманщики, длинноволосые лицемеры, грустящие ничтожества с черными печальными глазами, за печалью которых лежала прикрытая молодостью холодная пустота. Молодые скряги с полными улыбающимися губами, беспричинные авантюристы, пенкосниматели, скандалисты, добрые неудачники, умные злодеи. Бежали толстые женщины, многоедящие, ленивые. Худые злюки, требовательные и надоедливые, скучающие самки, жёны дураков и умниц, сплетницы, изменницы, завистливые и жадные, сейчас обезображенные страхом. Гордые дуры, добрые ничтожества, от скуки красящие волосы, равнодушные развратницы, одинокие, беспомощные, наглые, просящие, умоляющие, потерявшие от ужаса всё прикрывающее изящество форм. Бежали корявые старики, толстяки, низкорослые, высокие, красивые и уродливые.

Управляющие домами, ломбардные оценщики, железоторговцы, плотники, мастера, тюремщики, бакалейщики, любезные содержатели публичных домов, седоволосые осанистые лакеи, почтенные отцы семейств, округляющиеся от обманов и подлости, маститые шулера и тучные мерзавцы.

Бежали густой, стремительной, твёрдой и жестокой массой.

Пуды тряпья окутывали их тела и конечности. Горячий пар бил из ртов. Брань и вопли оглашали притаившееся равнодушие брошенных зданий.

Многие бежали с имуществом. Тащили скрюченными пальцами подушки, коробки, ящики. Хватали драгоценности, детей, деньги, кричали, возвращались, вздымали в ужасе руки и опять бежали.

Но их вернули. Всех. Такие же, как они, стреляли в этих, забегали вперёд, били палками, кулаками, камнями, кусались и кричали страшным криком, и толпы бросались назад, оставляя убитых и раненых.

К вечеру город принял обычный вид. Трепещущие тела людей вернулись в квартиры и бросились на кровати. В тесных горячих черепках отчаянно билась короткая и острая надежда.

4. Процедура была проста

— Ваша фамилия?

— Босс.

— Сколько лет?

— Тридцать девять.

— Чем занимаетесь?

— Набиваю гильзы табаком.

— Говорите правду!

— Я говорю правду. Четырнадцать лет я честно работаю и содержу семью.

— Где ваша семья?

— Вот она. Это моя жена. А вот это сын.

— Доктор, осмотрите семью Босс.

— Слушаюсь.

— Ну, каковы?

— Гражданин Босс малокровен. Общее состояние среднее. Жена страдает головными болями и ревматизмом. Мальчик здоров.

— Хорошо. Вы свободны, доктор! Гражданин Босс, каковы ваши удовольствия? Что вы любите?

— Я люблю людей и вообще жизнь.

— Точнее, гражданин Босс. Нам некогда.

— Я люблю... Ну, что я люблю... Я люблю моего сына... он так хорошо играет на скрипке. Я люблю поесть, хотя, право, я не обжора.

Я люблю женщин. Приятно смотреть, как по улице проходят красивые женщины и девушки. Я люблю вечером, когда устаю, отдыхать. Я люблю набивать гильзы. Могу пятьсот штук в час. И ещё многое я люблю. Я люблю жизнь.

— Успокойтесь, гражданин Босс! Перестаньте плакать. Ваше слово, психолог!

— Чепуха, коллега! Сор. Самые заурядные существа! Бедное существование. Темперамент полуфлегматический, полусангвинический. Активность слабая. Класс — последний. Надежд на улучшение нет. Пассивность — семьдесят пять процентов. Мадам Босс — ещё ниже. Мальчик — пошляк, но, может быть... Сколько лет вашему сыну, гражданин Босс? Перестаньте плакать!

— Тринадцать лет.

— Не беспокойтесь. Сын ваш пока остаётся. Отсрочка на пять лет. А вы. Впрочем, это не моё дело. Решайте, коллега!

— Именем Коллегии Высшей Решимости, в целях очищения жизни от лишнего человеческого хлама, безразличных существ, замедляющих прогресс, приказываю вам, гражданин Босс, и вашей жене оставить жизнь в двадцать четыре часа. Тише! Не кричите! Санитар, успокойте женщину! Позовите стражу! Они вряд ли обойдутся без её помощи.

5. Характеристики ненужных сохранились в Сером Шкафу

Серый Шкаф стоял в коридоре в главном управлении Коллегии Высшей Решимости. У него был обыкновенный солидный задумчиво-глуповатый вид, как у всех шкафов. Он не имел ни в ширину, ни в высоту трёх аршин, но был могилой нескольких десятков тысяч жизней. На нём красовались две коротенькие надписи:

«Каталог ненужных».

И:

«Характеристики-протоколы».

В каталоге было много отделов и, между прочим, такие:

«Воспринимающие впечатления, но не разбирающиеся».

«Мелкие последователи».

«Пассивные».

«Без центров».

И так далее.

Характеристики были кратки, объективны. Впрочем, иногда попадались и резкие выражения, и тогда на обороте неизменно алел красный карандаш председателя Коллегии Ака, отмечавший, что бранить ненужных не следует.

Вот несколько характеристик:

«Ненужный № 14741

Здоровье среднее. Ходит к знакомым, не будучи нужен или интересен им. Даёт советы. В расцвете сил соблазнил какую-то девушку и бросил её. Самым крупным событием в жизни считает приобретение мебели для своей квартиры после женитьбы. Мозг вялый, рыхлый. Работоспособности нет. На требование рассказать самое интересное, что он знает о жизни, что ему пришлось видеть, — он рассказал о ресторане «Квссисана» в Париже. Существо простейшее. Разряд низших обывателей. Сердце слабое.

В 24 часа».

«Ненужный № 14623

Работает в бондарной мастерской. Класс — посредственный.

Любви к делу нет. Мысль во всех областях идёт по пути наименьшего сопротивления. Физически здоров, но душевно болен болезнью простейших: боится жизни. Боится свободы. По праздникам, когда свободен, одурманивается алкоголем. Во время революции проявлял энергию: носил красный бант, закупал картофель и всё, что можно было: боялся, что не хватит. Гордился рабочим происхождением. Активного участия в революции не принимал: боялся. Любит сметану. Бьет детей. Темп жизни ровно-унылый.

В 24 часа».

«Ненужный № 15201

Знает восемь языков, но говорит то, что скучно служить, и на одном. Любит мудрёные запонки и зажигалки. Очень самоуверен. Самоуверенность черпает из знания языков. Требуется уважения. Сплетничает. К живой настоящей жизни по-воловьи равнодушен. Боится нищих. Сладок в обращении из трусости. Любит убивать мух и других насекомых. Радость испытывает редко. В 24 часа».

«Ненужная № 4356

Кричит на прислугу от скуки. Тайно съедает пенку от молока и первый жирный слой бульона. Читает бульварные романы. Валяется по целым дням на кушетке. Самая глубокая мечта: сшить платье с жёлтыми рукавами и оттопыренными боками. Двенадцать лет её любил талантливый изобретатель. Она не знала, чем он занимается, и думала, что он электротехник. Бросила его и вышла замуж за кожевенного торговца. Детей не имеет. Часто беспричинно капризничает и плачет. По ночам просыпается, велит ставить самовар, пьёт чай и ест. Ненужное существование. В 24 часа».

6. За работой

Вокруг Ака и Коллегии Высшей Решимости образовалась толпа слушающих-специалистов. Это были доктора, психологи, наблюдате-

ли и писатели. Все они необычайно быстро работали. Бывали случаи, когда в какой-нибудь час несколько специалистов отправляли ни тот свет добрую сотню людей. И в Серый Шкаф летела сотня характеристик, в которых чёткость выражений соперничала с беспредельной самоуверенностью их авторов.

В главном управлении с утра до вечера кипела работа. Уходили и приходили квартирные комиссии, уходили и приходили отряды исполнителей приговоров, а за столами, как в огромной редакции, десятки людей сидели и писали быстрыми твёрдыми неразмышляющими руками.

Ак же смотрел на всё это узкими крепкими непроницаемыми глазами и думал одному ему понятную думу, от которой горбилось тело и всё больше и больше седела его большая буйная упрямая голова.

Что-то нарастало между ним и его служащими, что-то стало как будто между его напряжённой бессонной мыслью и слепыми неразмышляющими руками исполнителей.

7. Сомнения Ака

Как-то члены Коллегии Высшей Решимости пришли в управление, намереваясь сделать Аку очередной доклад.

Ака на обычном месте не оказалось. Искали его и не нашли.

Посылали, звонили по телефону и тоже не нашли.

Только через два часа случайно обнаружили в Сером Шкафу.

Ак сидел в Шкафу на могильных бумагах убитых людей и с небывалым даже для него напряжением думал.

— Что вы тут делаете? — спросили Ака.

— Вы видите, я думаю, — устало ответил Ак.

— Но почему же в Шкафу?

— Это самое подходящее место. Я думаю о людях, а думать о людях плодотворно можно непосредственно на актах их уничтожения. Только сидя на документах уничтожения человека, можно изучать его чрезвычайно странную жизнь.

Кто-то плоско и пусто засмеялся.

— А вы не смейтесь, — насторожился Ак, взмахнув чьей-то характеристикой, — не смейтесь! Кажется, Коллегия Высшей Решимости переживает кризис. Изучение погибших людей навело меня на искание новых путей к прогрессу. Вы все научились кратко и ядовито доказывать ненужность того или иного существования. Даже самые бездарные из вас в нескольких фразах убедительно доказывают это. И я вот сижу и думаю о том, правилен ли наш путь?

Ак опять задумался, затем горько вздохнул и тихо произнёс:

— Что делать? Где выход? Когда изучаешь живых людей, то приходишь к выводу, что три четверти из них надо вырезать, а когда изуча-

ешь зарезанных, то не знаешь: не следовало ли любить их и жалеть? Вот где, по-моему, тупик человеческого вопроса, трагический тупик человеческой истории.

Ак скорбно умолк и зарылся в гору характеристик мертвецов, болезненно вчитываясь в их протокольно жуткую немногословность.

Члены Коллегии отошли. Никто не возражал. Во-первых, потому что возражать Аку было бесполезно. Во-вторых, потому что возражать ему не смели. Но все чувствовали, что назревает новое решение, и почти все были недовольны: налаженное дело, ясное и определённое, очевидно, придётся менять на другое. Но на какое?

Что ещё выдумал этот выживший из ума человек, у которого была такая неслыханная власть над городом?

8. Кризис

Ак исчез.

Он всегда исчезал, когда впадал в раздумье. Его искали всюду и не находили. Кто-то говорил, что Ак сидит за городом на дереве и плачет. Затем говорили, что Ак бегает в своём саду на четвереньках и грызёт землю.

Деятельность Коллегии Высшей Решимости ослабела.

С исчезновением Ака что-то не клеилось в её работе. Обыватели надели на двери своих квартир железные засовы и попросту не пускали к себе проверочные комиссии. В некоторых районах на вопросы членов Коллегии о праве на жизнь отвечали хохотом, а были и такие случаи, когда ненужные люди хватали членов Коллегии Высшей Решимости, проверяли у них право на жизнь и издевательски писали характеристики-протоколы, мало отличающиеся от тех, которые хранились в Сером Шкафу.

В городе начался хаос. Ненужные, ничтожные люди, которых ещё не успели умертвить, до того обнаглели, что стали свободно появляться на улицах, начали ходить друг к другу в гости, веселиться, предаваться всяким развлечениям и даже вступать в брак.

На улицах поздравляли друг друга:

— Кончено! Кончено! Ура!

— Проверка права на жизнь прекратилась.

— Не находите ли вы, гражданин, что приятней стало жить?

Меньше стало человеческого хлама. Даже дышать стало легче.

— Как вам не стыдно, гражданин! Вы думаете, что ушли из жизни те, кто не имел права на жизнь? О! Я знаю таких, которые не имеют права жить даже один час, а они живут и будут жить годами, а с другой стороны, сколько погибло достойнейших личностей! О, если б вы знали!

— Это ничего не значит. Ошибки неизбежны. Скажите, вы не знаете, где Ак?

— Не знаю.

— Ак сидит за городом на дереве и плачет.

— Ак бегаёт на четвереньках и грызёт землю.

— И пускай плачет!

— Пускай грызёт землю!

— Рано радуется, граждане! Рано! Ак сегодня вечером возвращается, и Коллегия Высшей Решимости опять начнёт работать.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю. Хлама человеческого ещё слишком много осталось. Надо ещё чистить, чистить и чистить!

— Вы очень жестоки, гражданин!

— Наплевать!

— Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите!

— Расклеивают новые плакаты.

— Смотрите!

— Граждане! Какая радость! Какое счастье!

— Граждане, читайте!

— Читайте!

— Читайте! Читайте!

— Читайте!..

9. Были расклеены плакаты

По улицам бежали запыхавшиеся люди с ведёрками, полными клейстеру. Пачки огромных розовых плакатов с радостным трескучим шелестом разворачивались и прилипали к стенам домов.

Их текст был отчётлив, ясен и прост.

Вот он:

«Всем без исключения.

С момента опубликования настоящего объявления всем гражданам города разрешается жить. Живите, плодитесь и наполняйте землю. Коллегия Высшей Решимости выполнила свои суровые обязанности и переименовывается в Коллегию Высшей Деликатности. Вы все прекрасны, граждане, и права ваши на жизнь неоспоримы.

Коллегия Высшей Деликатности вменяет в обязанность особым комиссиям в составе трёх членов обходить ежедневно квартиры, поздравлять их обитателей с фактом существования и записывать в особых «Радостных Протоколах» свои наблюдения.

Члены комиссии имеют право опрашивать граждан, как они поживают, и граждане могут, если желают, отвечать подроб-

но. Последнее даже желательно. Радостные наблюдения будут сохранены в Розовом Шкафу для потомства».

10. Жизнь стала нормальной

Открылись двери, окна, балконы. Громкие человеческие голоса, смех, пение и музыка вырывались из них. Толстые неспособные девушки учились играть на пианино. С утра до ночи рычали граммофоны. Играли также на скрипках, кларнетах и гитарах. Мужчины по вечерам снимали пиджаки, сидели на балконах, растопырив ноги, и икали от удовольствия.

Городское движение необычайно усилилось. Мчались на извозчиках и автомобилях молодые люди с дамами. Никто не боялся появляться на улице. В кондитерских и лавочках сластей продавали пирожные и прохладительные напитки.

В галантерейных магазинах шла усиленная продажа зеркал.

Люди покупали зеркала и с удовольствием смотрелись в них.

Художники и фотографы получали заказы на портреты. Портреты вставлялись в рамы, и ими украшали стены квартир. Из-за таких портретов даже случилось убийство, о котором много писали в газетах. Какой-то молодой человек, снимавший в чьей-то квартире комнату, потребовал, чтобы из его комнаты были убраны портреты родителей квартирохозяев. Хозяева обиделись и убили молодого человека, выбросив его на улицу с пятого этажа.

Чувство собственного достоинства и себялюбие вообще сильно развились. Стали обычным явлением всякие столкновения и дразги. В этих случаях наряду с обычной бранью донимали друг друга и таким ставшим трафаретным диалогом:

— Вы, видно, по ошибке живёте на свете. Как видно, Коллегия Высшей Решимости весьма слабо работала.

— Очень даже слабо, если остался такой субъект, как вы.

Но, в общем, дразги были незаметны в нормальном течении жизни. Люди улучшали стол, варили варенье. Сильно увеличился спрос на тёплое вязаное бельё, так как все очень дорожили своим здоровьем.

Члены Коллегии Высшей Деликатности аккуратно обходили квартиры и опрашивали обывателей, как они поживают. Многие отвечали, что хорошо, и даже заставляли убеждаться в этом.

— Вот, — говорили они, самодовольно усмехаясь и потирая руки, — солим огурчики, хе-хе. И маринованные селёдки есть... Недавно взвешивался: полпуда прибавилось веса, слава богу.

Другие жаловались на неудобства и сетовали, что мало работала Коллегия Высшей Решимости:

— Понимаете, еду я вчера в трамвае, и, представьте себе, нет свободного места. Безобразие какое! Пришлось стоять и мне, и моей супруге. Много ещё осталось лишнего народа. Толкутся всюду, толкутся, а чего толкутся — чёрт их знает! Напрасно не убрали в своё время!..

Третьи возмущались:

— Имейте в виду, что в четверг и в среду меня никто не поздравлял с фактом существования. Это нахальство! Что всё это такое?.. Мне к вам ходить за поздравлением, что ли?..

11. Конец рассказа

В канцелярии Ака, как и раньше, кипела работа: сидели люди и писали. Розовый Шкаф был полон радостными протоколами и наблюдениями. Подробно и тщательно описывались именины, свадьбы, гулянья, обеды и ужины, любовные истории, всякие приключения — и многие протоколы приобрели характер и вид повестей и романов. Жители просили членов Коллегии Высшей Деликатности выпускать их в виде книг, и этими книгами зачитывались.

Ак молчал.

Он только ещё более сгорбился и поседел.

Иногда он забирался в Розовый Шкаф и подолгу сидел в нём, как раньше сиживал в Сером Шкафу.

Однажды Ак выскочил из Розового Шкафа с криком:

— Резать надо! Резать! Резать! Резать!

Но увидев белые быстро бегущие по бумаге руки своих служащих, которые теперь столь же ревностно описывали живых обывателей, как раньше мёртвых, — махнул рукой, выбежал из канцелярии и исчез.

Исчез навсегда.

Было много легенд об исчезновении Ака, всякие передавались слухи, но Ак так и не нашёлся.

И люди, которых так много в том городе, которых сначала резал Ак, а потом пожалел, а потом опять хотел резать, люди, среди которых есть и настоящие, и прекрасные, и много хлама людского, до сих пор продолжают жить так, точно никакого Ака никогда не было и никто никогда не поднимал великого вопроса о праве на жизнь.

Исход

Тянулись дни за днями, садилось и всходило солнце, и все так же уныла, и страшна, и бесконечна была пустыня. Сохли языки у людей и животных. От ветра, и зноя, и горькой суши воспалялись веки. Фиолетовые миражи томили мозг. Вязли ноги в песке, и зябкая боль сковывала члены.

И всё же народ продвигался. В горячем воздухе пестрели знамёна колен и патриархов — красные, зелёные, бело-чёрные, лазоревые, тёмно-синие и цвета сапфира, и дымчато-розовые, и цвета хризолита, и смешанных цветов.

Стан за станом, отряд за отрядом грозной армией, взбивая пыль и дыша густым дыханием масс, уходил народ из рабства.

Позади оставались трупы уставших. Ночью, пугаясь необъятного чужого неба, выли собаки, жалобно кричали ослы, и только верблюды молча носили облезшие горбы свои, и одиноко и гордо покачивались на тонких шеях некрасивые вешние морды.

После года свободы даже у молодых появились морщины. Глаза стали глубже. Горькие складки легли у губ. Но народ шёл, увлекая за собой малодушных, трусливых, привыкших к рабству. Слова Моисея уже казались обычными, знакомыми, но все же поднимали веру. На стоянках в отрядах пели. Молодёжь отделялась и плясала, и в заученных, тоже всем знакомых песнях славословила свободу.

Но опять начинался исход, опять дни тянулись за днями, пухли ноги, горячий песок скрипел на болящих зубах, всё больше оставалось мёртвых на покинутом затоптанном песке, и грозные будни прекращали веселье.

- Куда ведёт нас Моисей?
- Зачем он вывел нас из Египта?
- За что мучает нас этот человек?

Темнели лица. Наливались тёмной недоброй кровью. Скашивались сухие дрожащие злые рты.

По ночам под далёким странным звёздным небом во тьме на песке собирались мужчины и женщины, старики и подростки и шептались, шептались, и едко, и злобно звучали приглушённые голоса в суровом мраке:

- Кто он такой, этот человек?
- Он честолюбец!

— Он мечтатель?
— Нет, он палач!
— Он хочет нашей гибели!
— Вы слышали? В стане Рувима вчера змеи искусали тысячу человек.
— Неправда, только пятьсот!
— Искусали их не змеи... Они умерли от усталости.
— Что будет с нами? Что будет с нами?
— Зачем, зачем он вывел нас из Египта?
— В Египте было так хорошо!
— Мы ели там финики.
— Мы пили там молоко с густыми сливками.
— Помните, в Египте были орехи. Какие прекрасные орехи!
— И мёд был в Египте. И мёд!
— Да. И мёд. Все было в Египте.
— Братья! Вернётесь в Египет!
— Тише! Трубят рога. Опять поход. Расходитесь, нас услышат шпионы Моисея. Ти-ше...

Неровным резким призывом трубил сигнальный рог. Далеко по пустыне перекатывались знакомые звуки — из стана в стан, из отряда в отряд. И опять шуршал и скрипел песок, зажигались факелы, грузно поднимались с колен верблюды; крики погонщиков, блеяние и мычание стад, нервная брань, толчея и суета движения заполняли воздух, и опять сотни тысяч ног, покорные единой мощной воле, пружинились от усилий, множество тел сливалось в живом потоке, и дух людской поднимался над головами, выюками и знамёнами в равнодушную неведомую высь.

Моисей сидел в шатре и напряжённо думал. Лицо его было скорбно. Толстые губы решительно сжаты. В больших тёмных зрачках трепетала великая растерянность подлинной творческой мысли.

Наступал вечер. Лагерь расцвётился огнями. Тёплый живой гул стоял над ним. Синий дым костров вился в лиловом закате. Холодеющие холсты шатра дышали покоем.

Но Моисей не знал покоя. Предстоял бой с Амаликом.

Недалеко от шатра ждали люди. О них докладывали Моисею с утра. Они ждали. Томились. Заученно пели славу Господу. Много волосатых, бородатых, почтенных, почтительных и непроницаемых. Томились в тесных черепах розоватые комья мозгов. Непроницаемо извивались в ненависти, страхе, трусости и мутной бесформенной злобе. Но рты были раскрыты. Пели. Заунывно, молитвенно. Усвоили форму: вздымали руки, кланялись, гнули тела к земле.

Таковыми они бывали почти всегда, но всегда же бывали и непроницаемы, и Моисей говорил с ними одним языком — языком обещаний.

А они принимали обещания как должное и поклонами своими, и внешней покорностью, и безразличными пятнами лиц своих требовали ещё и ещё того же — благ и обещаний, благ и обещаний благ. И ещё чудес требовали...

Затем поворачивались и уходили на прямых бездумных ногах, а от твёрдых затылков и плоских спин тянулась к большому сердцу Моисея тревожная острая боль.

— Они при первой возможности возведут себе золотого тельца, — сказал как-то Моисей Аарону, брату своему.

У Аарона были мясистые щеки и ласковый нрав. Он неопределённо усмехнулся и сказал:

— Пока ты жив, Моисей, это вряд ли случится!

— А если меня не будет?

— Тогда народ не забудет своего учителя, — уклончиво отвечал Аарон.

Моисей молчал. Аарону хорошо было знакомо это грозное молчание брата. Он знал, что оно легко может перейти в гнев, в гнев Моисея, когда голос его заглушал рёв толпы, крики женщин, проклятия умирающих, когда люди, не вынося непонятого взрыва этой нечеловеческой энергии, падали наземь или бежали во все стороны, или же — чаще всего — каменели, не смея двинуться с места.

— Что вам нужно? — спросил Моисей у людей.

— Хлеба, мяса, — отвечали люди, перестав петь и открыв красные одинаковые рты.

— Завтра будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом.

Звонкий, открытый, цельный, прямодушно-наивный, святой и наглый голос, какой во все времена имеется во всякой толпе, произнёс:

— И воды дай нам! Зачем вывел ты нас из Египта? Уморить голодом и жаждой хочешь нас!

И другой плаксиво добавил из-за спины:

— И детей наших. И стада наши.

Моисей стоял и молча слушал, склонив на грудь тяжёлую седую голову.

Аарон и Ор подошли к нему и, желая успокоить, гладили по широкому могучему плечу.

— Что мне делать с этим народом?.. — сказал Моисей. — Ещё немного, и они побьют меня камнями.

Затем, почувствовав холодок яркого одиночества, какое знает каждый вождь, уверенно и властно обратился к толпе:

— Жестоковейные! Вы были гнусными рабами в Египте. Вас били палками по спинам и лицам. Вам плевали в глаза. Не было рабов более мерзких, чем вы! Ваших первенцев топили в реках. Красота ваших

жён и дочерей блекла от непосильного труда. Кнут надсмотрщика сёк их так же, как и вас. Как скоро вы забыли об этом! Как скоро! А сейчас вы искушаете Господа вашего, который вывел вас, гнусных рабов, из дома рабства и дал вам свободу, и ведёт вас в землю обетованную, текущую молоком и мёдом. Жестоковейные! Не искушайте господа ничёмным ропотом! Все будет у вас — и мясо, и хлеб, и мёд. Все будет! Но вы слишком искушаете Господа, и он шлёт вам испытания, чтобы наказать вас. Знаете ли вы, что Амалик идёт на вас, чтобы истребить род ваш, забрать в плен ваших жён и скот? В Рефидиме будет встреча его войск с народом израильским. Перестаньте роптать! Мужественно выдержите испытание. Идите сейчас, разойдите по станам и сообщите народу, что будет бой. Примите бой с Амаликом, бейте врага нещадно, и Господь поможет вам. Я буду стоять на холме и подниму руку, и поднятая рука будет знаком для истребления Амалика. Идите! Не ропщите! Господь простит вас за глупость вашу и истребит врага Израиля, как истребил войска Фараона.

...Шли сражаться свободные рабы. Шли лохматые, сутулые, крепкорукие, полуобёрнутые в разноцветное тряпье. Прощались с плачущими жёнами. Передние кричали: «Мы победим! Мы победим!» Остальные сурово молчали. Молча носили стрелы, камни, мечи.

Ночь была темна. Резко командовали тысяченачальники, стоначальники, десятиначальники. Ржали кони, скрипели колесницы. Ветер выл во мраке, шуршал песком.

— Я не хочу умирать! Не хочу! У меня молодая жена. У меня был виноградник в Египте.

Тонкий рабий жалобно звенящий голос. Пауза. Затем короткая жестокая давка. Удар мечом по голове. Глухие проклятья, стоны и — тишина. Опять ровный мерный топот и хруст ночного влажного песка.

Бледный рассвет еле приподнял крышку необъятного тёмного ящика ночной пустыни. Редкие облачка, как не выспавшиеся барашки, сонно слонялись по небу. Потухали звёзды. Хмуρο уходил на запад мрак.

И вдруг в полоске рассвета зачернели люди. Множество людей на конях, с копьями, мечами и остроконечными головными уборами.

— Войска Амалика! Амалик! Амалик идёт!

Поднялось солнце. Красными искрами замерцали копыя.

Тёмная масса дрогнула, закачалась, ринулась вперёд...

С криком, свистом и щёлканьем бросились враги на евреев. Зубастые, коричневые, широкоплечие, они криво неслись на конях, точно сросшись с ними, точно не люди, а жестокие, рукастые, колючие, драчливые придатки к животным. Их стрелы метко били в сердце. Камни дробили черепа. Столкнувшись с передовыми отрядами израильтян,

они соскакивали с коней и, оглушительно крича, дрались, как взбесившиеся обезьяны, пуская в ход руки, ноги, зубы — всё, что могли. От их беспредельной ярости обращались в бегство даже стойкие, мужественные, даже те, кто любил Моисея и лелеял мечту о свободе.

Кровавые пятна запестрели на песке. Крики, стоны, проклятия, скрежет и звон оружия, пытящий гул борьбы слились в сплошной сумасшедший шум, и вскоре в тылу, в мирном стане поднялась тревога.

Растрёпанные женщины с детьми на руках пронизали воздух новыми криками и стонами. Хватали длинные кувшины и наполняли кипящим маслом. Ремесленники заматались с орудиями ремёсел своих — молотками, поясами, пилами. Вихрь ненависти и страха спаял людей и даже животных. Лошади со вздыбленными гривами неслись по пустыне и били врагов копытами, впивались во вражьи коней разъярёнными зубами.

Но все же Амалик побеждал. Всё ближе и ближе падали люди. Уже вопли убиваемых и уводимых женщин звеняще прокалывали общий глухой смертный гул.

На горе показалась высокая фигура Моисея. Он стоял неподвижно. Смотрел на бегущие, вертящиеся и падающие людские завитушки. Стоял. Смотрел. Потом медленно властно поднял руку. Рука звала, толкала, толкала вперёд — на врага...

День прошёл. Садилось солнце. Синюю толпу туманов заливал бурый мрак. А рука всё ещё неподвижно чернела, простёртая, железная, зовущая...

Люди сплотились, напряглись, бросились вперёд. Разбили врага, отогнали.

...А руку Моисея, почерневшую от последней усталости, поддерживали Аарон и Ор.

...И опять начались будни. Ели. Пили. Шли. Останавливались, раскидывали шатры и шептались, шептались выпяченными жадными быстрыми губами.

— Взгляни, какой затылок, что за плечи откормил он себе на народном хлебе!

— Бездельник!

— Пустой мечтатель!

— Как вам нравятся его законы?

— Ничего! Потерпим! Скоро это кончится. Придут египтяне и снова возьмут нас к себе. Вы слышали, вчера мой погонщик говорил с людьми из встречного каравана. Они сообщили, что египтяне уже близко. Теперь народ благоразумен и не будет драться с ними. Я первый сдамся в плен.

— А вы знаете, Фараон уже не будет гнать нас на работы, как раньше. Уже издан соответствующий приказ.

Люди приспособились к походной жизни. Шатры раскидывались умело и быстро. Семьи устраивались уютно. Животастые женщины, жиреющие на верблюжьих горбах, во время стоянок не жили на подушках. Вокруг костров резвились загорелые подростки в пустыне юнцы. Юноши влюблялись в девушек. Часто устраивались пляски. Мужчины в пёстрых одеяниях и женщины с золотом в ушах, на руках и на шее торжественно ходили в гости в соседние шатры, садились на ковры и подушки и беседовали:

— Ну, когда это кончится?

— Кто знает? Вероятно, скоро!

— Ведь это не жизнь!

— Да. Мы мученики.

— Помните, как хорошо было в Египте?

— Всего два года тому назад в это время у нас был изюм. Изюм! Подумайте, у нас был изюм!

— А я так тоскую по молодому зелёному луку. Какой чудный лук был в Египте!

— Это ужасно! Мы уже два года не варили варенья.

— Зато Моисей нас кормит законами. В этом блюде недостатка нет...

— Не говорите мне о Моисее. Надоело!

— Скажите, эти сандалии ещё египетские? Или вы в пустыне сшили их? Какие красивые сандалии!

Без сна, без пищи, в каменной пыли, один на горе выбивал Моисей растерзанными до крови руками письма на скрижалях. Звонко стучал молот, птицы испуганно кружились над горой, ветер уносил великую пыль...

— Где Моисей?

— На горе.

— Неправда! Так долго не может он быть на горе!

— Он покинул нас.

— И хорошо сделал! Наконец мы отдохнём!

— Он умер. Он умер. Я знаю.

— Люди видели, как он вознёсся на небо. Идите в третий стан. Там есть одна старуха, которая сама это видела. Я сам слышал, как она рассказывала.

— На небо вознёсся?

— Да. На небо.

— Ну, это всё равно. Лишь бы подальше от нас.

— Тише! Могут услышать шпионы Моисея.

...Маленький человек, обыкновенный и ясный, и в то же время непонятный и неведомый, средний человек, знающий, что ему надо, и целно выражающий свои желания, и твёрдо уверенный, что многие, многие хотят того же, вдруг крикнул:

— Идём к Аарону!

И у толпы появилась цель.

— К Аарону! К Аарону! Идём к Аарону!

Увеличиваясь в пути, толпа повалила к Аарону. Обыкновенные люди и в то же время непонятные в стихийном движении своём, взволнованные друг другом, с внезапной целью и внезапной решимостью, крича, изрыгая брань и проклятия, окружили шатёр Аарона и страшно потребовали:

— Строй золотого тельца! Строй бога! Не нужен нам ваш Господь, которого ни одна собака не видела!

— Строй! Моисея нет больше. Моисей умер!

Бледный черноглазый Хур вскочил на камень и с горьким возмущением крикнул:

— Жестоковейные! Вы забыли всё, что Моисей сделал для вас. Скоты! Глупые овцы! Подлые псы! Кто вас вывел из дома рабства? Гнусные вечные рабы! Прокажённые души, неспособные почувствовать свободу!

Хур был подхвачен множеством рук и тут же растерзан. Через несколько минут мёртвый лежал он в песке, а старики добивали замученное тело ремнями и палками, а один остервенело колотил мёртвого твёрдой сандалией по черепу.

Привели Аарона.

— Если не хочешь того же, строй тельца!

— Строй, пока не поздно! Аарон подумал и сказал:

— Братья! Господь бог наш — Господь единый. Я вам советую подождать Моисея. Он не умер! А что касается золотого тельца, то, конечно, это не то, что Господь Бог, но можно, если вы хотите, построить и тельца. Может быть, через золотого тельца вы придёте к Господу Богу. Может быть, путь постепенный — верный. Принесите золото, и я возведу вам золотого тельца.

Из стана в стан перебросилось живое буйное веселье.

Стоял толстый золотой телец на четырёх ногах, и все было так ясно, так понятно.

Вернулась прежняя жизнь, привычная, знакомая. Кончилась суровая тягость непонятной новизны. Милый золотой телец! Как всё просто и понятно с ним несложным душам! Старики бились старыми лбами об его неуклюже сколоченные ноги. Женщины в умилении стояли перед ним на коленях и визгливо просили благословения.

Но вскоре и этого стало мало.

Разъярённые люди с мечами в руках носились по шатрам и арестовывали тех, кто не хотел молиться золотому тельцу. Делали обыски, находили золото и кричали:

— Смотрите! Смотрите! У них золото! Они не хотели отдать золото для тельца! Бей их!

Били. Тащили из шатров на песок и проламывали головы. Громили шатры. Гнались за убежавшими.

Но постепенно буйство сменялось весельем. Веселились и между прочим били, пока окончательно не увлеклись весельем. Прыгали вокруг золотого тельца, снимали платье, прыгали голые, орали, пели, пили вино. Молодые дурачились, хватали женщин, удалялись с ними под навесы. Старухи вылезли из шатров и беззубо хохотали провалившимися ртами. Слава богам! Всё кончилось. Стоит золотой телец. Вернулось старое, привычное, понятное...

...Моисей спускался с горы, неся скрижали.

Первый автор шёл с первой книгой в руках. Кто поймёт, как дрожали эти руки?.. Кто почувствует, как билось сердце Моисея?

Моисей услышал гул.

— Что это такое? — спросил он Иисуса.

— Это гул сражения в стане, — ответил Иисус.

— Нет, это не гул победы и не гул поражения. Гул песен слышу я.

Он приблизился к стану. В угаре криков, хохота, рёва, дыма и музыки стоял золотой телец на четырёх толстых ногах...

Слёзы брызнули из суровых глаз Моисея. Он поднял скрижали, высоко поднял, бросил на землю и — разбил. «Люди не доросли до скрижалей!» — горько подумал он.

Моисей внимательно, внимательнее, чем всегда, посмотрел на плотную человеческую резину лица Аарона и спросил:

— Что тебе сделал этот народ, что ты ввёл его в такой великий грех?

Аарон ответил:

— Да не возгорится гнев господина моего! Ты знаешь этот народ: он глуп и тёмн. Он не дорос до понимания Господа. Они велели мне сделать им бога. Понимаешь, они заставили!

Моисею не о чем было говорить с Аароном. Он ушёл. Ушёл на край стана и внешне спокойно, но могуче, оглушая всё вокруг себя, крикнул:

— Кто за Господа, ко мне!

Один раз крикнул и стал ждать.

Стан замолк. Мрачное молчание сковало людей.

И вскоре раздалися шаги. Шли к Моисею. Кто? Люди. Юноши со светлыми глазами, девушки, загорелые воины — все, кто хотел новой жизни, кто не забыл рабства и не хотел вернуться к нему.

Весь день шли. Из всех отрядов, из всех станов. Когда людей собралось много, Моисей приказал:

— Возложите каждый меч свой на бедро своё, пройдите по стану из конца в конец, от ворот до ворот, и убивайте: кто брата своего, кто друга, кто ближнего. Бейте нещадно! Не жалейте ни отца, ни сына, ни матери. Сегодня посвятите себя Господу, чтобы дано было вам сегодня же благословение.

Несколько тысяч человек было убито сразу.

Лежали грудами изувеченные трупы с застывшими мольбами на губах и скрюченных пальцах. Рваное платье, залитое кровью, ненужно пестрело на ненужных ногах, животах, головах и спинах.

Лежали бывшие отцы и матери, дети и друзья, красавицы женщины, умницы и весельчаки, добрые и злые, трусливые и мужественные — всякие, во всем многообразии человеческих отличий, но одинаково повинные в том, что не хотели новой жизни.

— Моисей, Моисей, что сделал ты с нами?

— Моисей, скажи Господу, чтобы он пощадил нас!

Моисей молчал. Суровая дума бороздила лоб.

Он прошептал в раздумьи как бы про себя:

— Господь сказал мне: «Я помилю, кого надо помиловать, и пожалею, кого надо пожалеть».

...А небо жило своей жизнью.

К вечеру на западе собирались все краски и образовывали толпу из разноцветных пятен. Как знатные гости, толпились они вокруг хозяина-солнца, а солнце торжественно удалялось, красное и важное. И разноцветные гости обижались, темнели, вытягивались и расходились... А наутро опять появлялись и ждали солнца, которое важно появлялось, для того чтобы опять разогнать их... Для чего все это?

Моисей шёл на гору, долго смотрел на небо, искал Бога, одиноко говорил с ним, падал в изнеможении наземь, потом возвращался к людям, и люди опять рождали в нём суровые решения...

Так в одно утро Моисей пришёл к спящему Аарону и разбудил его.

— Что заставило тебя так рано прийти ко мне? — спросил Аарон.

— Этой ночью, размышляя о мудрости божественной, я остановился над одним вопросом, — сказал Моисей.

— Над каким?

— Что сказать об Адаме, который грехопадением дал смерти доступ к миру? Долго ли нам осталось жить?

Аарон знал, что бездейственные рассуждения несвойственны Моисею. Разговор Моисея о смерти был страшен.

— Не о моей ли смерти говоришь ты? — дрожащими губами спросил Аарон.

— Да. О твоей. Ты должен умереть.

Аарон похолодел. Мелкая рябь ужаса поползла по спине его — точь-в-точь, как ползёт она у всех людей во все времена перед смертью.

— Моисей, брат мой, сердце трепещет во мне, и ужасы смертные напали на меня, — взмолился Аарон.

— Ты должен умереть, — неотвратно повторил Моисей.

Аарон был уведён на гору и не вернулся.

Люди узнали. Собирались. Говорили.

— Это Моисей убил Аарона из зависти.

Когда Моисей спустился с горы, его спросили:

— Где Аарон?

Моисей холодно ответил:

— Господь принял его для жизни вечной.

— Мы не верим тебе! Ты приговорил его к смерти.

Жалели Аарона. Он был такой покладистый, а главное, такой понятный. Моисей же был суров и требователен.

Даже в пустыне было тесно таким братьям.

Жёлтые пески пустыни были всё так же унылы и бесконечны. Много жизней нашли вечный покой в этих песках, а живые продвигались и продвигались вперёд.

Моисей состарился, но твёрдость и мудрость не покидали его.

«Ещё долго будете блуждать в пустыне, — говорил он мысленно народу. — Прямым путём я поведу вас в землю обетованную. Нет! Если прямо привести туда, займётся каждый своим полем и своим виноградником. Нет! Надо сначала дух истины Господней внедрить в ваши рабские души. Долго ещё вам блуждать, долго, долго...»

И Моисей учил народ истине, работал для этого неустанно, а по вечерам уходил один в пустыню, смотрел на закат солнца и унылые волны темнеющего песка.

Александр Куприн

Гамбринус

I

Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти её было довольно трудно благодаря её подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и, только пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад.

Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От неё вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и искривлённых многими миллионами тяжёлых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиной приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем — сам великий король пивоварения.

Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась белыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и ночью, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно было достаточно ясно различить следы занимательной стеной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков, в охотничьих зелёных куртках, в шляпах с тетеревиными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое обнимали за талию дебелых девиц, служащих при сельском кабаке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стене изображался великосветский пикник времён первой половины XVIII столетия; графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зелёном

лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, — пруд с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в золотой скорлупе. Следующая картинка представляла внутренность хохлацкой хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Ещё дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, два безобразно толстых амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно масляными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделённой от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушечьей жизни: лягушки пьют пиво в зелёном болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играет струнный квартет, дерутся на шпагах и т.д. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер.

Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанном опилками, тяжёлые дубовые бочки; вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка-еврей, — кроткий, весёлый, пьяный, плешивый человек, с наружностью обезьяны, неопределённых лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и разносчики пива, сменялись сами хозяева, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива.

Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо — буфетчица мадам Иванова, — полная, старая женщина, которая от непрерывного пребывания в сыром пивном подzemелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубины морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос её редко удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаковой бесцветной улыбкой.

II

Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили тёмно-ржавые гигантские броненосцы. В нём грузились, идя на Дальний Восток, жёлтые толстотрубые пароходы Добровольного флота¹, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов.

¹Добровольный флот — российское судоходное общество, основанное на добровольные пожертвования в 1878 г., просуществовало до 1925 г.

Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголённые, с пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух- и трёхмачтовые итальянские шуны со своими правильными этажами парусов — чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин; показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись — особенно в ясные весенние утра — чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зелёной портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и трапезондские фелюги, с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под чёрными просмолёнными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не чиркнув об него бортом, такое судно, всё накренившись набок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, — совершенно голые, бронзовые маленькие люди, — издавая гортанный клёкот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мёртвое. И так же загадочно, тёмной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел лёгкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весной — мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом — уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой — десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много вёрст от берега.

Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, весёлые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты, — все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили ужас и прелесть ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлёткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещающая что-то новое, радостное, ещё не испытанное, и всегда обманывающая.

Город соединялся с портом узкими, крутыми коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными, забранными решёткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Ещё чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду вплоть до купальной матросской сетки и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалёванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в шестьдесят шесть, и турецкие кофейни, с приборами для курения — наргиле и с ночлегом за пятачок; были восточные кабаки, в которых продавали улиток, петалиды, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах, за глухими ставнями, ютились игорные притоны, в которых штосс и баккара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом, и тут же рядом, за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от бриллиантового браслета до серебряного креста и от тюка с лионским бархатом до казенной матросской шинели.

Эти крутые узкие улицы, чёрные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая им крепкие мускулистые тела и простые души.

Здесь буйные обитатели редко подымались наверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стёклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублёвки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города.

Многие, правда, совсем не знали мудрёного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал:

— Идём к Сашке?

А другие отвечали:

— Есть! Так держать.

И все вместе уже говорили:

— Вира!

Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался большим почётом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И, без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Чёрного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа от-важных рыбаков.

III

Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там ещё никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива и было темновато, потому что днём берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада.

Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила:

— Саша, сыграйте что-нибудь!

— Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.

— Что-нибудь своё...

Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напряженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она уже давно привыкла не подвывать музыке, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали её: она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуточку дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой.

Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и, наконец, зажигались все остальные газовые

рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад, ейн, цвей, дрей!» — и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своём лысом, покатым назад черепе, двигал комически губами и улыбался на все стороны.

К десяти-одиннадцати часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до двухсот и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны; если обижались, то только по пьяному делу «для задёра». Подвальная сырость, тускло блестя, ещё обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий, тяжёлый, тёплый дождь. Пили в Гамбринусе серьёзно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоём-втроём, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зелёном лесу.

В разгаре вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гаме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своём возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики.

Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дёргая его за рукав и мешая ему играть, по два, по три человека, с тупыми глазами и нетвёрдыми движениями.

— Сашш!.. Страдательную... Убла... — проситель икал, — ублатвори!

— Сейчас, сейчас, — твердил Сашка, быстро кивая головой, и с ловкостью врача, без звука, опускал в боковой карман серебряную монету. — Сейчас, сейчас.

— Сашка, это же подлость. Я деньги дал и уже двадцать раз прошу: «В Одессу морем я плыла». — Сейчас, сейчас... — Сашка, «Соловья»! — Сашка, «Марусю»! — «Зец-Зец», Сашка, «Зец-Зец»! — Сейчас, сейчас...

— «Чабана»! — орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребчатый голос.

И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:

— Сейча-а-ас...

И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.

— Сашенька... Милочек... Одну кружечку.

— Саша, за ваше здоровье. Иди же сюда, чёрт, печёнки, селезёнки, если тебе говорят.

— Сашка-а, пиво иди пи-ить! — орал жеребчий голос.

Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличиться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом, с игривым, капризным смешком:

— Сашечка, вы должны непременно от мене выпить... Нет, нет, нет я вас прошу. И потом сыграйте «Куку-вок».

Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрюкать свиньёю или хрипеть раздражающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шуточки с благодушным одобрением:

— Го-го-го-го-о-о!

Становилось всё жарче. С потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь, другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, униженные пивными кружками. Мадам Иванова, ещё более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури.

— Всех одолевало желание петь. Сашка, размякший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьёзностью в глаза:

На что нам ра-азлучаться,

Ах, на что в разлу-уке жить.

Не лучше ль повенчаться,

Любовью дорожить?

А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем вразброд:

Вижу я по походке,

Что пестреются штанцы.
В него волос под шантрета
И на рипах сапоги.

Гамбринус часто посещали малоазиатские греки «допголаки», которые приплывали в русские порты на рыбные промыслы. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого однообразного воя на двух-трёх нотах, и с мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни.

Один репортёр местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, бляеть и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно:

— Клоунство.

И ушёл, не допив своей кружки.

IV

Нередко деликатные маркизы и пирующие немецкие охотники, жирные амуры и лягушки бывали со своих стен свидетелями такого широкого разгула, какой редко где можно было увидеть, кроме Гамбринуса.

Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый со своей возлюбленной, каждый в фуражке, лихо заломленной набок, в лакированных сапогах, с изысканными трактирными манерами, с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые, воровские песни: «Погиб я, мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другие. Плясать они считали ниже своего достоинства, но их подруги, все недурные собой, молоденькие, иные почти девочки, танцевали «Чабана» с визгом и щёлканьем каблуков. И женщины и мужчины пили очень много, — было дурно только то, что вору всегда заканчивали свой кутёж старыми денежными недоразумениями и любили исчезнуть не платя.

Приходили большими артелями, человек по тридцати, рыбаки после счастливого улова. Поздней осенью выдавались такие счастливые

недели, когда в каждый завод попадалось ежедневно тысяч по сорока скумбрии или кефали. За это время самый мелкий пайщик зарабатывал более двухсот рублей. Но ещё более обогащал рыбаков удачный улов белуги зимой, зато он и отличался большими трудностями. Приходилось тяжело работать, за тридцать-сорок вёрст от берега, среди ночи, иногда в ненастную погоду, когда вода заливала баркас и тотчас же обледеневала на одежде, на вёслах, а погода держала по двое, по трое суток в море, пока не выбрасывала куда-нибудь вёрст за двести, в Анапу или в Трапезонд. Каждую зиму пропадало без вести до десятка яликов, и только весной волны прибывали то тут, то там к чужому берегу группы отважных рыбаков.

Зато когда они возвращались с моря благополучно и удачливо, то на суше ими овладевала бешеная жажда жизни. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном, пьяном кутеже. Рыбаки забирались в трактир или ещё в какое-нибудь весёлое место, вышвыривали всех посторонних гостей, запирали наглухо двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала, посуду, женщин и нередко друг друга, пока сон не одолевал их где попало — на столах, на полу, поперёк кроватей, среди плевков, окурков, битого стекла, разлитого вина и кровавых пятен. Так кутили рыбаки несколько суток подряд, иногда меняя место, иногда оставаясь в одном и том же. Прокутив всё до последнего гроша, они с гудящими головами, со знаками битв на лицах, трясясь от похмелья, молчаливые, удручённые и покаянные, шли на берег к баркасам, чтобы принятьсь вновь за своё милое и проклятое, тяжёлое и увлекательное ремесло.

Они никогда не забывали навестить Гамбринус. Они туда вламывались огромные, осипшие, с красными лицами, обожжёнными свирепым зимним норд-остом, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах и в воловьих сапогах по бедра, — в тех самых сапогах, в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну, как камни.

Из уважения к Сашке они не выгоняли посторонних, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжёлые кружки об пол. Сашка играл им ихние рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как шум моря, и они пели все в один голос, напрягая до последней степени свои здоровые груди и закалённые глотки. Сашка действовал на них, как Орфей, усмирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бородатый, весь обветренный, звероподобный мужчинец, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни:

Ах, бедный, бедный, я, мальчишечка,
Что родился рыбаком...

А иногда они плясали, топчась на месте, с каменными лицами, громяя своими пудовыми сапогами и распространяя по всей пивной острый солёный запах рыбы, которым насквозь пропитались их тела и одежды. К Сашке они были очень щедры и подолгу не отпускали от своих столов. Он хорошо знал образ их тяжёлой, отчаянной жизни. Часто, когда он играл им, то чувствовал у себя в душе какую-то почти-тельную грусть.

Но особенно он любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку, — все как бы на подбор грудастые, широкоплечие, молодые, белозубые, с здоровым румянцем, с весёлыми, смелыми голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и, приветливо скаля белые зубы, приветствовали его по-русски:

— Здрайст, здрайст.

Сашка сам, без приглашения, играл им «Rule Britannia» («Правь, Британия»). Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягощённой вечным рабством, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. И когда они пели, стоя с обнажёнными головами, последние великолепные слова:

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом! —

то невольню и самые буйные соседи снимали шапки.

Коренастый боцман с серьгой в ухе и с бородой, растущей, точно бахроме, из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широко улыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть джигу. При первых же звуках этого залихватского морского танца англичане вскакивали и расчищали место, отодвигая к стенам бочонки. Посторонних просили об этом жестами, с весёлыми улыбками, но если кто не торопился, с тем не церемонились, а прямо вышибали из-под него сиденье хорошим ударом ноги. К этому, однако, прибегали редко, потому что в Гамбринусе все были ценителями танцев и в особенности любили английскую джигу. Даже сам Сашка, не переставая играть, становился на стул, чтобы лучше видеть.

Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а вое выступали в серёдку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, всё в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинута назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка — это одно веселье,

только колена танца становятся всё сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер — ходить по палубе уже не так удобно, танцоров слегка покачивает с боку на бок. Наконец вот и настоящая буря — матроса швыряет от борта к борту, дело становится серьёзным. «Все наверх, убрать паруса!» По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты, между тем как буря всё сильнее раскачивает судно. «Стой, человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напряжив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит, мало-помалу утихает качка, проясняется небо, и вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром, и опять танцоры с неподвижными телами, со скрещёнными руками отделяют ногами весёлую частую джигу.

Приходилось Сашке иногда играть лезгинку для грузин, которые занимались в окрестностях города виноделием. Для него не было незнакомых плясок. В то время когда один танцор, в папахе и черкеске, воздушно носился между бочками, закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали в такт и подкрикивали, Сашка тоже не мог утерпеть и вместе с ними воодушевлённо кричал: «Хас! хас! хас! хас!» Случалось ему также играть молдавский джок и итальянскую тарантеллу, и вальсы немецким матросам.

Случалось, что в Гамбринусе дрались, и довольно жестоко. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас с какого-то крейсера, и английскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками для сидения. Не к чести русских воинов надо сказать, что они первые начали скандал, первые же пустили в ход ножи и вытеснили англичан из пивной только после получасового боя, хотя превосходили их численностью в три раза. Очень часто Сашкино вмешательство останавливало ссору, которая на волоске висела от кровопролития. Он подходил, шутил, улыбался, гримасничал, и тотчас же со всех сторон к нему протягивались бокалы.

— Сашка, кружечку!.. Сашка, со мной!.. Вера, закон, печёнки, гроб...

Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся из его глаз, спрятанных под покатым черепом? Может быть, своеобразное уважение к таланту и что-то вроде благодарности? А может быть, также и то обстоятельство, что большинство завсегдаев Гамбринуса состояло вечными Сашкиными должниками. В тяжёлые минуты «декохта», что на морском и портовом жаргоне обозначает безденежье, к Сашке свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшим кредитом у бу-

фета. Конечно, долгов ему не возвращали — не по злому умыслу, а по забывчивости, — но эти же должники в минуту разгула возвращали ссуду десятирицею за Сашкины песни.

Буфетчица иногда выговаривала ему:

— Удивляюсь, Саша, как это вы не жалеете своих денег?

Он возражал убедительно:

— Да мадам же Иванова. Да мне же их с собой в могилу не брать. Нам с Белочкой хватит. Белинька, собачка моя, поди сюда.

V

Появлялись в Гамбринусе также и свои модные, сезонные песни.

Во время войны англичан с бурами процветал «Бурский марш» (кажется, к этому именно времени относилась знаменитая драка русских моряков с английскими). По меньшей мере раз двадцать в вечер заставляли Сашку играть эту героическую пьесу и неизменно в конце её махали фуражками, кричали «ура», а на равнодушных косились недружелюбно, что не всегда бывало добрым предзнаменованием в Гамбринусе.

Затем подошли франко-русские торжества. Градоначальник с кислой миной разрешил играть марсельезу. Её тоже требовали ежедневно, но уже не так часто, как бурский марш, причём «ура» кричали жиже и шапками совсем не размахивали. Происходило это оттого, что, с одной стороны, не было мотивов для игры сердечных чувств, с другой стороны — посетители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а с третьей было замечено, что каждый вечер требуют марсельезу и кричат «ура» одни и те же лица.

На минутку сделался было модным мотив кекуока, и даже какой-то случайный, заколобродивший купчик, не снимая енотовой шубы, высоких калош и лисьей шапки, протанцевал его однажды между бочками. Однако этот негритянский танец был вскорости позабыт.

Но вот наступила великая японская война. Посетители Гамбринуса зажили ускоренной жизнью. На бочонках появились газеты, по вечерам спорили о войне. Самые мирные, простые люди обратились в политиков и стратегов, но каждый из них в глубине души трепетал если не за себя, то за брата, или, что ещё вернее, за близкого товарища: в эти дни ясно сказалась та незаметная и крепкая связь, которая спаивает людей, долго разделявших труд, опасность и ежедневную близость к смерти.

Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то «Куропаткин-марш» и вечеров двадцать играл его с некоторым успехом. Но как-то в один вечер «Куропаткин-марш» был навсегда вытеснен песней, которую привезли с собой балаклавские рыбаки, «солёные греки», или «пиндосы», как их здесь называли:

— Ах, зачем нас отдали в солдаты,
Посылают на Дальний Восток?
Неужли же мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок?

С тех пор в Гамбринусе ничего другого не хотели слушать. Целыми вечерами только и было слышно требование:

— Саша, страдательную! Балаклавскую! Запасную!

Пели и плакали и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил петухом, бросал шапку об землю, грозил один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами.

Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала, по обыкновению:

— Саша, сыграйте, что-нибудь своё...

У него закружились губы и кружка заходила в руке.

— Знаете что, мадам Иванова? — сказал он точно в недоумении. — Ведь меня же в солдаты забирают. На войну.

Мадам Иванова всплеснула руками.

— Да не может быть, Саша! Шутите?

— Нет, — уныло и покорно покачал головой Сашка, — не шучу.

— Но ведь вам лета вышли, Саша? Сколько вам лет?

Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сто-рожившему вход.

— Сорок шесть. — Саша подумал. — А может быть, сорок девять. Я сирота, — прибавил он уныло.

— Так вы пойдите, объясните кому следует.

— Так я уже ходил, мадам Иванова, я уже объяснял.

— И...Ну?

— Ну, мне ответили: пархатый жид, жидовская морда, поговори ещё — попадешь в клоповник... И дали вот сюда.

Вечером новость стала известной всему Гамбринусу, и из сочувствия Сашку напоили мертвецки. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких смешных глаз глядели грусть и ужас. Один здоровенный рабочий, ремеслом котельщик, вдруг вызвался идти на войну вместо Сашки. Всем была ясна очевидная глупость такого предложения, но Сашка растрогался, прослезился, обнял котельного мастера и тут же подарил ему свою скрипку. А Белочку он оставил буфетчице.

— Мадам Иванова, вы же смотрите за собачкой. Может, я и не вернусь, так будет вам память о Сашке. Белинька, собачка моя! Смо-

трите, облизывается. Ах ты, моя бедная... И ещё попрошу вас, мадам Иванова. У меня за хозяином остались деньги, так вы получите и отправьте... Я вам напишу адреса. В Гомеле у меня есть двоюродный брат, у него семья, и ещё в Жмеринке живёт вдова племянника. Я им каждый месяц... Что ж мы, евреи, такой народ... мы любим родственников. А я сирота, я одинокий. Прощайте же, мадам Иванова.

— Прощайте, Саша! Давайте хоть поцелуемся на прощание-то. Сколько лет... И — вы не сердитесь — я вас перекрещу на дорогу.

Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не спаясничать напоследок:

— А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохну?

VI

Гамбринус опустел и заглох, точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклейным носом, в клетчатых панталонах и в воротничке выше ушей, исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха: наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендеровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке.

Однако, по старой памяти, Гамбринус ещё посещался морскими и портowymi молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер:

— Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно...

— Да-а... Где-то ты витаешь, мил-любезный друг, Сашенька?

— В полях Манжу-у-урии далеко... — заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущённо замолкал, а другой произносил неожиданное:

— Раны бывают сквозные, колотые и рубленые. А бывают и рваные...

Сибе с победой проздравляю,

Тябе с оторванной рукой...

— Постой, не скули... Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?

Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа её от себя на расстоянии вытянутой руки, отклонив голову и шевеля губами. Белочка лежала у неё на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а её команда бродила по пивной вялая и заспанная.

На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой.

— Ничего не знаю... И писем нет, и из газет ничего не известно.

Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с тёплой, угревшейся Белочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала.

Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным, трогательным голоском:

— Что, Белинька? Что, собаченька? Где наш Саша? А? Где наш хозяин?

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными чёрными глазами и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать:

— А-у-у-у... Ау-ф... А-у-у...

Но... всё обтачивает и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других утвердился в Гамбринусе известный Лёшка — гармонист, по профессии вор, но решивший, вследствие женьитьбы, искать правильных путей. Его давно знали по разным трактам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть, дела в Гамбринусе шли очень плохо.

Проходили месяцы, прошёл год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошёл ещё год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка.

Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трёх больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкальной команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезён на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья.

Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским... Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять, кружки с пивом передавались из рук в руки через головы и хотя многие ушли в этот день не плативши, Гамбринус торговал, как никогда. Котельный мастер принёс Сашкину скрипку, бережно завернутую в женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лешка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю подённо, и у меня контракт!» — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и, наверное, поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество.

Уж, наверно, ни один из отечественных героев времён японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали

Сашке! Сильные, корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городской несколько раз заходил в пивную и упрашивал, «чтобы потише, потому что на улице очень громко».

В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением:

— Братцы, да ведь это Сашка!

Густым ржанием и весёлым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом.

Сашка, казалось совсем не изменился и не постарел за своё отсутствие: время и бедствия так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которые она видела в них при прощании, но стало ещё глубже и значительнее. Сашка по-прежнему паясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется.

VII

Всё пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Так же праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, так же плясали воровские подружки, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезённые из всех гаваней земного шара.

Но уже близились переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом: «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная, доверчивая страна.

Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своём веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от этой пламенной

надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им на встречу.

— Сашка, марсельезу! Ж-жарь! Марсельезу!

Нет, это было совсем не похоже на ту марсельезу, которую скрепя сердце разрешил играть градоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...

Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно её смыло, как следы детских ножек на морском побережье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпучеными глазами, тёмно-красный, как очень спелый томат.

— Что? Кто здесь хозяин? — хрипел он. — Подавай хозяина!

Он увидел Сашку, стоящего со скрипкой.

— Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов!

— Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство, — спокойно ответил Сашка.

Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.

— Ник-как-ких!

— Слушаю, ваше превосходительство, никаких.

— Я вам покажу революцию, я вам покаж-у-у-у!

Помощник пристава, как бомба, вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние.

И на весь город опустился мрак. Ходили тёмные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения.

Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским Богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжёлых испытаний ещё не исполнена.

Внизу, около моря, в улицах, похожих на тёмные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек.

Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умилением грядущего братства, шли по ули-

цам с пением, под символами завоёванной свободы, — те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью».

В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей, чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та небоязнь боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившейся во всю ширь улицы, какой-то каменщик, в красной рубашке и белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал:

— Жи-ид! Бей жида! В кррровь!

Но кто-то схватил его сзади за руку.

— Стой, чёрт, это же Сашка. Олух ты, матери твоей в сердце, в печень...

Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно — отца, сестру, священника, даже самого православного Бога, но также был готов, как ребёнок, послушаться приказаний каждой твёрдой воли.

Он осклабился, как идиот, сплюнул и утёр нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, тёрлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал её за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперёд, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и глазами, круглыми и белыми от безумия.

На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка отёр пятно платком.

VIII

Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всём городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафешантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, ещё не насытившись вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах, с георгиевскими лентами в петлицах курток, ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в част-

ные квартиры, шарили в кроватях, в комодах, требовали водки, денег, гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой.

Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплёскивали на пол пиво под предлогом, что оно несвежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотыка Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек — как говорили — большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенёр и сыщик, крещёный еврей.

Сашка играл «Метелицу». Вдруг Гундосый подошёл к нему, крепко задержал его правую руку и, оборотясь назад, на зрителей, крикнул:

— Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха... Гимн!

— Гимн! Гимн! — загудели мерзавцы в папахах.

— Гимн! — крикнул вдали одинокий, неуверенный голос.

Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно:

— Никаких гимнов.

— Что? — заревел Гундосый. — Те не слушаться! Ах ты жид вонючий!

Сашка наклонился вперёд, совсем близко к Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил:

— А ты?

— Что а я?

— Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?

— Я православный.

— Православный? А за сколько?

Весь Гамбринус расхохотался, и Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам.

— Братцы! — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие, заученные слова. — Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церквью?..

Но Сашка, встав на своём возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда бы не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно.

— Ты! — крикнул Сашка. — Ты, сукин сын! Покажи мне твоё лицо, убийца... Смотри на меня!.. Ну!..

Всё произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и трах! — высокий человек

в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.

— Братцы-ы, выруча-ай! — заорал Гундосый.

Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу.

Но спустя час, когда Сашка, окончив своё дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому:

— В Бульварный участок. По политическому. Вот мой значок.

IX

Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал её другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение Бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков.

Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нём. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач (между прочим, Сашкин ученик), которого разыскал аккомпаниатор.

И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно:

— Ребята, Сашка!

Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул:

— Братцы, рука-то!

Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтём к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.

— Что это у тебя, товарищ? — спросил наконец волосатый боцман из «Русского общества».

— Э, глупости... там какое-то сухожилие или что, — ответил Сашка беспечно.

— Та-а-к...

Опять все помолчали.

— Значит, и «Чабану» теперь конец? — спросил боцман участливо.

— «Чабану»? — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. — Эй, ты! — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. — «Чабана»! Эй, цвей, дрей!

Пианист зачистил весёлую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый чёрный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно весёлого «Чабана».

— Хо-хо-хо! — раскатились радостным смехом зрители.

— Чёрт! — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищёлкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источённый временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, ещё не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство всё перетерпит и всё победит.

Валентин Катаев

Фантомы

I

...Итак, всё было как полагается...

Ночь... Революция... Метель... Москва.

Вероятно, я прошёл тридцать вёрст и обошёл сто улиц. Я подымался и опускался. Я наткнулся на греческие портики и скользил по обледенелым помоям проходных дворов. Я видел белый снег на чёрной голове Пушкина, который держал за спиной полубелую шляпу и смертельно скучал. В каком-то узком, высоком и тёмном переулке стоял дом, созданный для того, чтобы в нём родился Золя: каменноугольный, плоский и по-европейски старомодный. Напротив стоял другой дом, уходивший верхушкой во мрак. На нём было написано «крыша». Но почему крыша и чем она замечательна, я не успел обдумать, так как передо мною появился человечек. Он возник из воздуха, из небольшого снежного вихря, не иначе. Гробовая зелень газового фонаря упала на его остренькую мордочку с мышинными глазками. Человек был одет крайне легкомысленно. Бабья стёганая кацавейка поверх солдатской шинели, носившей на себе отпечаток сотни пехотных дивизий и распространявшей дезинфекционный запах доброго санитарного эшелона. Ноги карлика были обкручены замогильными обмотками. Громадные солдатские башмаки, разъехавшиеся по всем швам носорожьими панцирями, еле защищали грязные ноготки детских пальчиков. Человечек испустил страшный вопль:

— О-у-э!

Тогда я ещё не знал, что это — клич фантомов.

Теперь, через полтора года, когда я пишу эти строки, мне слишком хорошо известно значение этого ночного жуткого вопля. Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щёку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жуёт губами. Стол мой вплотную придвинут к двери. Дверь закрыта на крючок. За дверью — «они». Они говорят монотонно, тягуче, длительно, неинтересно, плоско. Но говорят, говорят, говорят... И вдруг за окном

раздаётся стук. Моментально они подымают невообразимый шум. Мебель трещит и падает. Валятся какие-то стёкла. Пружины матраса бьют, как провинциальные стенные часы.

Раздаётся вопль: «О-у-э!..» Слышится сухое щёлканье языка: «Эге!» И только что прибывший фантом, неуклюже зацепившись за подоконник, грузно валится в комнату. Гун! Мой письменный стол содрогается. Жена испуганно вскрикивает во сне «ах!», открывает широкие синие глаза и минуту смотрит на меня в упор, ничего не понимая. Потом засыпает.

Десять минут за дверью они, захлёбываясь, веселятся. Они палят вопросами и ответами, грузно хохочут, визжат, задыхаются, танцуют, суетятся, просят папироску, ищут спичек, декламируют, завывая, Андрея Белого. Кричат «тише, господа» и «просим». Проходит десять минут — и снова они впадают в деловитое уныние, и говорят, говорят, говорят... Вот, например, под самой дверью кто-то бубнит таким деловым, небрежным, даже усталым голосом: «Видите ли, на днях я беру в аренду дом, так что вы не беспокойтесь. Сто двадцать четыре комнаты. Никакого ремонта. Освещение электрическое, отопление паровое, окна на юг. Представьте, до сих пор никем не занят! В центре города. Я сам удивляюсь. Дайте папироску. Плохая? Это ничего, благодарю вас...»

Впрочем, я, кажется, отклонился в сторону. Итак, человек, возникший из воздуха, испустил вопль: «О-у-э!» Он склонил голову в эскимосской шапке набок, подобрался ко мне, сложил ручки на груди крылышками эльфа и заговорил бабьим голоском:

— Ба! Кого я вижу? И вы здесь, в Москве? Приветствую вас, приветствую!

Я присмотрелся и, чёрт возьми, узнал его. Конечно, это тот же самый молодчик, который в своё время, на юге, предсказывал антихриста дрянным пятистопным ямбом и таскал за собой какую-то рыжую лошадь, уверяя, что это святая женщина Софья Ивановна.

— Милый Валя! Это — провидение! Да. Я знал, что встречу вас. Знал-с. Да. Я должен вам показать Москву. Гм! Немедленно. Это моя священная обязанность. Час ночи? Это ничего. Самое подходящее время. Пойдёмте.

У меня не было ни малейшего основания отказаться. Он вцепился в мой рукав и поволок через сугробы. Всю дорогу он говорил. Он называл улицы и показывал дома, в которых обитали «совершенно изумительные люди». Он забегал вперёд, путаясь под ногами, вертелся мелким бесом, расточал ласки и улыбки. Через каждые две фразы он вскидывал в припадке конспиративного энтузиазма:

— Валя! Вы должны с ней познакомиться! Она святая женщина. Великая блудница!

— Лошадь-то?

Он укоризненно хихикал.

— Ай-яй-яй! Нехорошо! Святая женщина. Магдалина. Великая блудница, кристальный человек — Вера Трофимовна. Мученица.

Затем он, подмигивая, шептал мне в бок:

— Скупа, скупа-с. Врать не буду. Как чёрт скупа, но при случае может бутылку спирту поставить. Совершенно изумительная женщина! Святая. Мужа в милицию определила. Красть заставила. Выгнали-с. А святая. Вы должны с ней познакомиться. Идёмте-с. Не сопротивляйтесь. Грешно. А насчёт ночлега не беспокойтесь. Будет. Святая женщина.

Мы пересекли какую-то часть ни с чем не соразмерного и затейливого города и наконец вышли на Чистые пруды. Здесь было меньше свету и больше снегу. Выпала пороша. В полупрозрачных белых облаках прорезывалась зеленоватая ущербная луна. Чёрная вязь деревьев смутно и дико рисовалась на её туманном пятне. Голосили невесть какие петухи.

Это была Москва! Да, это была Москва, это были Чистые пруды, и в Кривом переулке над воротами дома мутным фосфором горела цифра.

Карлик засуетился ещё пуще:

— Сюда-с, сюда-с! Держитесь за мой хлястик.

Он втащил меня в туннель подворотни и втокнул в чёрную дыру. Я трахнулся головой о притолоку. В полной тьме (как за пазухой) он заставил меня опускаться и подыматься по каким-то ступенькам. Наконец послышался стук в дверь.

— Э-о-у! Эгэ? Войдите! (Из недр.)

Он потянул скобку. Дверь была не заперта. Темнота скрипнула и раскололась. Прямо в нос ударило крепким сивушным запахом. Следом за карликом, конфузясь от света, через гремящую железным хламом прихожую я вошёл в комнату.

Великая блудница, кристальный человек, изумительная женщина Вера Трофимовна валялась посреди комнаты на громадном пружинном матрасе, завернувшись по голые толстые плечи в стёганое одеяло, пахнущее халвой и крысами. Над ней в пыльной, пышной, ужасающей люстре тупо горела одна дрянная электрическая лампочка слабого накала. Дюжина крыс метнулась из-под наших ног и дробным галопом брызнула в чёрные углы, полные антикварной дряни и окурков. Перед ложем великой блудницы стоял обеденный стол. Посреди стола лежала горка сахарного песку. Рядом чулок и стоптанный башмак с левой ноги. Несколько ложек, грозных размеров бюстгальтер, полтора фунта хлеба, стеклянный кубок, скелет селедки, «Дали» Брюсова, картофельная шелуха, краска для губ, пудреница, машинка для снятия сапог.

Увидев нас, великая блудница ещё раз сказала «эгэ» и щёлкнула языком. Затем она заговорила, и больше уже никогда в жизни я не видел её молчаливой. Это было стихийное бедствие. Катастрофа. Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной дамы, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высовывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, вращала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок.

Моему карлику не терпелось. Ему тоже страсть как хотелось поговорить. Он поправлял круглые стальные очки, потирал ручки-крылышки, мыкался по углам, совал в рот корки и приговаривал:

— Очень хорошо-с. Вот именно-с. Святая женщина. Великая блудница. Что я хотел бишь сказать? Да... Новая мемория...

Громадная, неуклюжая, обляпанная кашей кирпичная печь занимала четверть комнаты. Она стояла боком. Она угнетала своей сапожной трубой. Она была воплощённым надругательством над идеей домашнего очага. Все печи, виденные мною в период 1919—1921 годов, бледнели перед этим детищем военного коммунизма.

Обо мне забыли. Я уныло снял шапку и, как извозчик, пришедший на квартиру получать деньги с пьяного седока, нелепо путался в лисьей шубе с чужого плеча, которая в Харькове казалась мне весьма столичной. Мебель красного дерева, стеклянные горки, копии Маковского, румяные тройки и синие ящики на лаковых ларьках, бронзовые шандалы, японские ширмы, золочёные стулья, портьеры, сапоги, статуэтки, старинные монеты, сушёные грибы и немые тарелки — вся эта московская бутафория, всё было покрыто чёрной паутиной и хлопьями густой пыли. За окнами угадывалась свежая синева ночи.

Она всё говорила и говорила. Карлик не вытерпел. Он выждал удобную паузу и резвой рысью ринулся по афоризмам великой блудницы. Они заливались в два голоса.

Насколько великая блудница в своих тирадах была бескорыстна, настолько карлик был расчётлив и корыстен. Она была просто глупа. Глупа восхитительной глупостью шестипудовой эмансипированной купеческой дочки, окончившей Высшие женские курсы и ударившейся в антропософию. Он был глуп далеко не просто. Он был глуп талантливо. Он говорил невероятную чепуху об иезуитах, об антихристе, о патриархе Тихоне, о мистике Соловьёве и о прочем в этом же духе, не забывая, однако, время от времени вздохнув, прошептать:

— Я взалкал. Вера Трофимовна! Взалкал. Хорошо бы поесть чего-нибудь. Да. О чем бишь я? Да...

Она была скупа, эта несчастная Рекамье N-го переулка. Но он был ещё более настойчив. Она подбросила в печку дров и поставила на огонь громадную кастрюлю какого-то варева.

Этого карлику показалось мало. Он подмигнул мне украдкой и пошёл сыпать таким отборным горошком, что блудница не выдержала. Она выпросталась из своего тряпья и зашлёпала босиком в соседнюю комнату, откуда несколько раз уже выходил безмолвный, дубовый солдат с дымящимися вёдрами. (Я ничему не удивлялся.) Она выскочила из таинственной комнаты, прижимая к пудовым грудям бутылку спирта, вакхически повела бёдрами и, жадно закусив толстые губы, хрипло воскликнула: «Эгэ?» Ей было смертельно жалко своего добра, но у меня был настолько провинциальный вид, что не убить меня на месте шириной своей строгановской природы было выше её сил.

II

Да, доложу я вам, это был спирт. Самогонный, правда, но какой выделки! Давненько я не пробовал такого спирта. За первой бутылкой явилась вторая. Мы пили спирт из стеклянного кубка. Мы сыпали в него сахар, мы доливали его кофе, мы безумствовали. Тупая жёлтая лампочка размножалась под потолком со сказочной быстротой. Дубовый солдат проплывал взад и вперёд, размахивая дымящимся ведром. Карлик снял шинель и в одной кацавейке вытапывал русскую. Она разметала свои русые подрубленные волосы. Груды её болтались. Она палила в меня порнографическими декадентскими стишками, восклицая:

— А? У вас на юге так писать умеют?

Это меня взорвало.

— У нас? На юге? Так? Писать? Ха-ха-ха!

Я не владел собой.

— А Нарбута Владимира «Александру Павловну» читали, сударыня? Нет?

Я вытащил из сапога книжку.

Карлик хлопал по бёдрам рукавицами. Я её раздавил. Его очки сверкнули и погасли. В стихах, которые я прочёл, точек было больше, чем слов. И, клянусь, я эти точки яростно заполнил.

Ну и спирт же был, чёрт его подери! Часы у соседей прозвонили пять, а потом что-то много — не то четырнадцать, не то семнадцать. Дубовый солдат дымился, как миска щей, из которой торчат тараканьи усищи. Карлик лежал в углу и простирал вверх руку. Я потребовал подушку и три квадратных аршина чего-нибудь подходящего. Меня ткнули в тёмную комнату и уложили на неудобном. Ветер засвистал в ушах, и меня понесло вниз головой к чёртовой матери в обратную перспективу.

Вчера тоже дул пронзительный ветер. День был яркий и ледяной. Ветер брил мои щёки. Он подметал булыжные мостовые незнакомых мне улиц, глодал голые, обледенелые с подветренной стороны дерева, раздувал до невероятного блеска полярное стеклянное солнце, низко и косо висевшее в васильковом мартовском небе.

Шесть трактиров встретили меня у вокзала почётным караулом. Четыре из них были «Орёл», остальные — «Тула». Улица называлась Садовая. Это был Курский вокзал. Это была Москва. Я был раздавлен.

Роскошный извозчик, вероятно, родной сын того самого лихача в островерхой лисьей шапке, который в своё время возил князя Нехлюдова, коварный раскосый татарин типа Золотой Орды, потребовал с меня половину всех моих провинциальных сбережений. Я не осмелился возразить. Он был слишком столичный, а я слишком ничтожен. Он назвал меня «вашсиясь» и повёз.

Я не скрою от вас ничего.

В тот миг я мечтал раскусить Москву, как орех. Я мечтал изучить её сущность, исследовать, осмотреть, понять, проанализировать.

Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройти по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!), потрогать колесо Царь-пушки.

На каждой улице, по моим расчётам, должен был гулять кто-нибудь из великих — Шалапин в шубе или Маяковский в полосатой фуражке и шарфе.

Я знал, что в Москве есть кафе союза поэтов и ещё кафе «Стойло Пегаса», битком набитые неоклассиками и имажинистами.

Исследовать Москву!

Не так-то легко это было сделать.

Немедленно же я попал в коварный заговор.

Улицы и переулки, дома и бульвары, церкви и автомобили, трамваи и тресты — они все сговорились против меня. Извозчик был с ними. Я ничего не понимал.

Несуразный город поворачивался ко мне углами и трещинами переулков. Дома шарахались и разбегались во все стороны. Трамваи пронеслись мимо, пугая моё нищее воображение литерами и искрами. Все без исключения в автомобилях были наркомы. Пешеходы сплошь состояли из знаменитых. За десять минут, пока мы ехали по некоей монументальной улице, я насчитал не менее ста шестидесяти Шалапиных и такое же количество Маяковских.

Часы на трамвайных остановках явно были в заговоре. Они путали время и приводили меня в замешательство. В начале улицы стрелки показывали четверть четвёртого. В конце — без четверти четыре. А когда меня провозили через площадь, заваленную трамваями, на гигантском циферблате было десять минут пятого.

Я проехал через весь город, но не заметил ни Кремля, ни Щукинской галереи, ни Каменного моста, откуда Чехов так любил слушать пасхальный звон. Я даже не видел «Яра», того самого «Яра», где герои русских романов прожигали с цыганами отцовские деньги.

Зато я увидел зелёных лошадей.

Я запомнил их на всю жизнь. Они сделались моей путеводной звездой, моим ориентировочным пунктом, самым любимым моим местом в Москве. Их была четвёрка. Они летели над латинским портиком какого-то официального здания, вытянув ноги и классические шеи. Впоследствии я узнал, что это здание — Большой академический театр, а лошади эти — квадрига, как мне потом объяснили.

Человек, к которому я вошёл в комнату, с ужасом посмотрел на мою дорожную корзинку и на сапоги. Он побледнел. Это был известный писатель.

Он был мужественным человеком.

Он поборол свой ужас и, бледно улыбнувшись, воскликнул глухим шёпотом, — невероятно, но факт, он воскликнул именно шёпотом:

— Ах, как я рад! Давно?

Мы расцеловались.

— Давно. Пятьсот улиц и тысячи переулков тому назад. Из Харькова. Я видел зелёных лошадей и множество часов, которые были заодно с извозчиком. Щукинской галереи я не видал. Дайте мне чаю. Я умираю от Москвы.

Он указал мне угол: сорок штук дорожных корзинок, столько же подушек и столько же чайников.

Я поставил свою наверх.

Мне дали чаю.

В соседней комнате пищал писательский младенец. Писательская жена кончиками пальцев сжимала виски. Сорок одна корзинка занимала треть комнаты. Копна корректур лежала на письменном столе, ожидая необходимой выправки. За окном, к вечеру, начиналась метель.

Я спрятал свои некрасивые сапоги под стул и жизнерадостно развлекал хозяев украинскими новеллами. В то же время я лихорадочно прикидывал, где бы мне расположиться на ночь. За печкой было бы, конечно, самое приятное, но на худой случай я бы не отказался и в сенях. Три стакана чаю, пора и честь знать. Однако хозяин тягостно молчал. Тогда я развязно встал и потянулся:

— Эх-эх-хе! Пора бы и на боковую.

Хозяин побледнел.

— Да, — сказал он, — уже того... десятый час. А вы что же, квартиру-то имеете?

Конечно, это была пустая формальность. Он знал, что у приезжих в Москву комнаты быть не может. Это знал и я. Но в лице хозяина я

усмотрел нечто заставившее содрогнуться моё очерствевшее за пять лет сердце. Нет, положительно, у меня не хватило сил резать его, этого лихого хлебосола. Да, я украл в 1921 году в одном знакомом доме простыню, что отрицать бесполезно, но на убийство, честное слово, я был ещё не способен. Я небрежно зевнул.

— Квартиру? Да, имею.

Он обалдел.

Это была настоящая победа. Первая московская победа, она же, впрочем, и поражение.

Он весело восторженно:

— Так что же вы, голубчик? Ещё стаканчик? Или хотите бай-бай? Ну, доброй вам ночи. Не буду задерживать, дуся, поезжайте, отдохните с дороги. Завтра — обедать. Где же вы устроились?

— Устроился? В районе этого самого...

— Вот и чудесно! Рад за вас. Прекрасный район.

Я попросил у него разрешения оставить свою корзинку до завтра. Он с восторгом разрешил. Он умолял её оставить. Он жалел, что это не велосипед в основном ящике.

Мы нежно простились.

Выпуская меня, писатель тревожно выглянул из сеней во мрак. Ночь и вьюга охватили меня в недрах этого собачьего переулочка, что в районе Трубной площади. Впрочем, впоследствии оказалось, что площадка Собачья, а переулок Трубниковский, а вся эта музыка в совокупности помещалась в районе Арбата. Но в ту жуткую, вьюжную ночь мне ничего не было известно. Снег валил резко и обильно. Одинокий (эпитет каков, эпитет каков!), одинокий газовый фонарь задыхался в его дифтеритных налётах. Чёрный ветер дул в ресницы и жёг уши.

Куда идти? Чёрт его знает...

Единственная московская улица, известная мне из русской литературы, была Тверская. Та самая, по которой «возок несётся чрез ухабы», но где находились вышеупомянутые ухабы — было покрыто мраком. И ни одного прохожего.

Мороз крепчал.

Увы, я не могу выразиться менее банально, ибо это был действительно добрый, выдержанный мороз, и он действительно крепчал, чёрт его подери.

Идти можно было налево или направо. Я выбрал из двух зол меньшее и пошёл направо. В десяти шагах я наткнулся на прохожего. Это был великолепный экземпляр замерзающего младенца. Драповое пальто, барашковый воротник, борода, пенсне и руки в карманах. Я обрадовался:

— Скажите, как пройти на Тверскую?

Он с трудом разодрал обледеневшие усы и жалобно ответил:

— Я приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя? Это где-то здесь, поблизости, я уверен, но я забыл улицу и номер.

— Пятый дом налево. Торопитесь. Злоумышленники похищают вашу корзинку и чайник.

Он дико вскрикнул и кинулся во мрак.

Я закурил и, весело насвистывая «Интернационал», пошёл дальше. Я шлялся по метели битых два часа, но никто не мог указать мне, как попасть на таинственную улицу. Не менее десятка прохожих застенчиво говорили:

— Я тоже приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя?

Положительно Москва была населена провинциальными гостями моего столичного друга.

Улица сменялась улицей. Москвичи отсутствовали. Толпы «нездешних» двигались в этой великолепной ночной путанице светящихся циферблатов, косога снега, пылающих вензелей кино и загадочных слов «Моссельпром», выбитых электрическими гвоздями в чёрном небе.

Остальное вам известно.

III

Я проснулся. Я вернулся из обратной перспективы неизвестно в каком часу утра и неизвестно где. Забыл.

Я лежал на сундуке. Вся комната была заставлена примусами, бидонами, змеевиками, бутылками. Это была очаровательная химическая лаборатория, небольшое предприятие на полтора ведра в день. Четыре примуса дружно гудели четырьмя синими розами, полными пчёл. Окно было заставлено шкафом и завешено тряпками. Лампочка слабого накала горела сбоку мёртво и угнетённо. Великая блудница деловито ползала меж синих роз с иголкой и, вся в пламени, звенела пожарными касками примусов. Стеклянные стрекозы меркли над бидонами. Подо мною, в сундуке, слышалось сладкое сахарное брожение и посасывание. Там, в кадлушках, под подушками шипела сахарная брага. Дубовый солдат возился с ведрами.

«Они» встали чуть свет.

Когда ещё на улицах было пусто и розово, в утренний час белых столбов дыма и липовых толстых лопат дворников, румяная бабёнка Дуняша и её сын Андрейка звенели в прихожей бутылками и шушукались с великой блудницей. Они положили в мешок товар, погрузили его на салазки-ледянки и двинули (от ворот поворот) по крепкому

снежку, хрустящему, как огурец. Великая блудница засунула деньги куда-то под юбку, в панталоны.

Затем мальчик в башлыке, молочник, наливал у печки молоко в голубую саксонскую вазу. Великая блудница хитро говорила:

— За деньгами завтра придёшь. Нету. Завтра об эту самую пору, утречком. Нету денег, видишь? Ну да, об эту пору самую. За мною две кружки.

Мальчик потоптался, высморкался в передней и, громыхнув левой жостью, ушёл.

Вдруг над самым моим ухом зазвенел телефон. Вера Трофимовна вихрем, подобрав юбки и мелькая голыми ногами, ринулась через аппараты, через пламя и змеевики к моему сундуку. Надо мною висел телефон. Она схватила трубку и всунула её в растрепанные патлы возле уха. Её глаза были круглы и толстые губы закушены. Она навалилась на меня локтем и, нервно почёсывая затылок, сказала:

— Эгэ? Алло! Да, да...

Затем она завопила в трубку:

— Иван Платоныч, это невозможно! Это чёрт знает что! Это вас не касается... Что? Извините меня, пожалуйста, но этот номер не пройдёт... — И пошла, и пошла. Она истерически хохотала и ругалась басом. Она вся наливалась кровью и багровела. Её крутые глаза круглели и пучились.

Она повесила трубку и стала носиться по комнате, на ходу одеваясь, подмазывая губы и ресницы, прихлёбывая из саксонской вазы молоко, суя щипцы в горящий примус и в рот — хлебный мякиш. При этом она говорила, говорила и говорила. Она была взбешена. Она выболтала мне всё. Звонил экс-муж, Иван Платоныч. Негодай. Мошеник, но с большими связями в милиции. Взяточник. Композитор-скрябинист. Они разводились. Он жил на стороне. Они делили обстановку и вещи. Она дала ему какие-то брильянты, лишь бы он убрался из квартиры. Он съехал. Теперь он шантажирует. Скотина. Кроме того (глаза круглы и голос — конспиративный хрип)... он влюблён. В неё. Он её домогается. Он будет стрелять. Это ужасный человек. Демонический. Швейная машинка её, а не его. Она это так не оставит. Он дьявольски ревнив. Он подглядывает за ней в окна. Каждые полчаса он звонит. Он умоляет, грозит, хохочет. У него связи. Его знают все, он злой гений. Он «засыпет» самогон. Он такой! Он всё может. Ах, он сейчас придёт!

— Ты его сейчас увидишь, Ивана Платоныча. (Это мне. На «ты».)

А карлик лежал на диванчике и, задрав ноги, ждал, когда дадут «подшамать», перелистывая с голодным отвращением «Миги» Брюсова.

Я умывался в ванной. Крысы пищали за трубами. Полотенца не было. Утирался портьерой.

Иван Платоныч пришёл, несмотря на восемнадцать градусов холода, в чёрном испанском плаще и сомбреро. Его лицо и длинный голубой нос в совокупности были похожи на тот нарисованный указательный палец, под которым обычно пишется: «Мужская уборная — первая дверь налево». Он держал во рту длиннейшую английскую трубку, пустую, впрочем. Он был высок и тощ, как антенна. С первого взгляда было ясно, что его пожирают высокие страсти и низкие инстинкты. Он криво и загадочно улыбался. Он сел за стол, щедро расставил ноги и процедил сквозь зубы:

— Ну-с, Вера Трофимовна... Как мы вырешим вопрос относительно швейной машинки и бронзовой девочки? А? Ну что, ваша фабрика работает?

Великая блудница заметалась, прыгая по золочёным стульям и саксонским вазам. Она кричала, топала ногами, швыряла небьющимися предметами и закусывала губу. Было видно по всему, что она дьявольски боится своего демонического «экса», у которого связи.

Он ледяным тоном требовал мебель. Она иступлённо кричала о брильянтах. Он язвительно спрашивал о её любовниках. Она швырялась стоптанным башмаком с левой ноги. Он грозился съездить к Бондарчуку. Она вопила: «Вы этого не сделаете!» Он цедил: «Отдайте швейную машинку». Тогда начались счёты. Оба они понижали голос и шипели друг против друга, как две змеи. И вдруг из этого шипа взвилось ракетой: «Ах! Если на то пошло, то кто крал дрова? Кто достал ордер на красный шкаф? Кто?..» — и дальше свистящим шёпотком о браслетах.

Очевидно, в своё время «было дело под Полтавой».

Она рванула ящик стола и бросила ему в лицо браслет. Он повертел его, посмотрел пробу.

— Мерси, — сказал он. — За вещами я пришлю завтра. Но, может быть, ты одумаешься?..

Она стояла перед ним — руки в боки — в позе разгневанной царицы.

— Композитор! Негодяй! Оставьте меня в покое. Увозите свои вещи к чёрту!

Он закутался в плащ и исчез, хрипя пустой трубкой.

Потом она металась по комнатам, надевая лиловую шубу и рыжую папаху. Она кричала:

— Я этого не оставлю! Я поеду к Бондарчуку! Я ему подложу свиню!

Бондарчук был участковый надзиратель и жил рядом. Как только она вылетела, карлик полез искать «шамовки». Он набивал рот холодной кашей и сахарным песком. Он блистал стальными очками и сокрушённо крутил мышинной своей головой.

— Ахти, какие неприятности! И вот всегда так. Взалкал я от всего этого... Да, о чём бишь я? Да: кристальные люди. Оба. Он — совершенно изумительный композитор. Маг. Вы не знаете его Прелюдии смерти? Напрасно. Не от мира сего человек. Она тоже изумительная. Блудница. Грешница. Скупа-с. Скупа-с. Но...

И, закатив глаза, он рассыпался мелким горошком. «Чёрта теперь меня отсюда высылает!» — весело подумал я и пошёл к писателю за вещами.

В этот твёрдый, белый день я увидел Москву опять. Зелёные лошади летели над портиком, вытянув классические ноги и шеи. Хрипели автомобили. Трамваи сыпали искрами. Летел снег. Папиросники продавали «Иру» и «Яву». Зелёная черепица Китай-города и круглые Никольские ворота двигались панорамой через синие стекла пенсне, над лавочкой оптика. Кремль стоял грудой золотых яблонь и шахматных фигур. Василий Блаженный распустил свой павлиний хвост. Мосты на Москве-реке были в толстом снегу. Свистели полозья. Фыркали лошади. Стеклянными громадами вставали тресты. В частнокоммерческих магазинах висели брёвна осетров, которые сочились жёлтым жиром. Восковые поросята лежали за стёклами Охотного ряда. Перед «Рабочей газетой» зеваки читали «Крокодил».

Да, это была Москва. Это был нэп.

Снег мелко стриг множество заводных людей. Которые были с портфелями, которые без портфелей.

Я втащил свою корзинку в комнату, отодвинул примусы в угол, застелил сундук простыней и сказал:

— Довольно бродячей жизни. Здесь я буду жить долго. Чёрта вы меня высылите отсюда!

Юрий Олеша

Первое мая

29 апреля 1936 года

Я стоял в Театральном переулке перед домом, в котором жил когда-то.

«Наш» балкон был на третьем этаже. Кажется, что и тогда перила были зелёные. С этого балкона, перегибаясь через перила, мы смотрели вниз, на балкон второго этажа, увитый зеленью. Там сидели дамы — итальянки; и я помню фамилию: Манцони.

Одесса — город балконов. Их украшают зеленью, цветами и полосатыми занавесками.

В Театральном переулке я жил мальчиком, в возрасте, когда уже умеют читать.

Я читал сказки Гауффа. С тех пор они не попадались мне. От них осталось неизгладимое впечатление. Это сказки о превращениях. «Карлик-Нос». Он съел какие-то запрещённые вишни, и у него вырос огромный нос. О халифе, который превратился в аиста. О молодом англичанине, оказавшемся обезьяной.

Колорит этих сказок — летний.

Лето, пестрота одежд. Действие происходит в Багдаде.

В одной из сказок песенка:

Маленький Мук,
Маленький Мук...
Ходит по улице:
Туфлями — стук!

Сказок Перро я никогда не читал. Анатоль Франс в одной статье восторженно отзываясь о них. Он приводит описание того, как на празднество собирались из разных стран короли. И некоторые — сказано в этом описании — прилетали на орлах.

Очень мало было авторов, писавших сказки! Поэты этого рода — действительно редкое и удивительное явление. Здесь не может быть подделки, здесь поэзия и выдумка — первоклассны, здесь индивидуальность автора — исключительна.

Только огромный поэт мог написать сказку о Гадком утёнке. Лев Толстой сказал об Андерсене, что, по его мнению, это был очень одинокий человек.

После сказок появились «Дон-Кихот», «Робинзон» и «Гулливвер».

Много лет спустя они появились вторично, когда мы уже стали взрослыми. При этом втором появлении мы узнали, что в этих книгах есть особый смысл, о котором мы в детском возрасте не подозревали.

Только картинки остались те же. Тот же Гулливер, расставивший ноги в чулках и башмаках над армией лилипутов. Та же каменистость и сушь иллюстраций Доре к «Дон-Кихоту». Те же капитаны Робинзоны в треуголках и шарфах, стоящие под пальмами.

Пожалуй, первая встреча с этими образами была более впечатляющей!

Кто-то из великих писателей, говоря о Робинзоне, сказал, что всякий раз вздрагивает, когда доходит до того места, где Робинзон внезапно обнаруживает на песке след человеческой ступни.

В детстве мы не знали, что «Гулливвер» — это сатира. Не знали мы также, что в «Робинзоне» Даниэль Дефо даёт обобщённый образ смелости и предприимчивости колонизаторов.

Великие книги, отображающие философию целых эпох, детьми воспринимаются как книги о приключениях и чудесах. В этом поразительная, двойная жизнь этих книг.

В своих автобиографических заметках Маяковский говорит, что, прочитав «Дон-Кихота», он стал деревянным мечом «разить окружающее».

Действительно, в «Дон-Кихоте» только нападения и драки.

Пьесы о Дон-Кихоте нет.

Есть опера и балет. Художественный театр предложил мне переделать «Дон-Кихота» для сцены. Я стал обдумывать и остановился перед затруднительным соображением: изображать на сцене пришлось бы только бои. Рассуждает Дон-Кихот только тогда, когда он лежит и лечится от ран.

30 апреля 1936 года

Каждое утро прохожу по Театральному переулку. Он расположен позади театра. Театр возвышается над ним. Эта часть переулка всегда в тени.

Из переулка поднимается чугунная лестница в сквер. Над лестницей стоит огромный платан.

Платаны расцветают очень поздно. Сейчас все деревья в листе, только платаны ещё неподвижны. Но они и падают последними.

Опера.

Когда-то здесь пели знаменитые итальянцы. В столовой за чаем из уст мамы и знакомых то и дело раздавалось: Тито-Руффо, Ансельми, Баттистини.

Особо значение театра в те времена. Театр был одной из форм роскоши. Золото и плюш. В театре сидели с коробками шоколадных конфет на коленях. Перламутровые с золотом бинокли. Веера.

В театр целился «Потёмкин», когда стрелял по Одессе.

Было два выстрела. Я возвращался домой с вишнями, за которыми меня послали. Под грохотом первого выстрела я споткнулся и упал на ступеньках лестницы чёрного хода. Я помню жёлтый солнечный свет на широких досках ступенек и прыгающие со ступенек вишни.

Ночью горел порт.

На той же лестнице стоят в темноте люди и смотрят на окна, за которыми клубится и перекачивается разноцветными слоями пламя.

Никто не говорит ни слова, страшная тишина вокруг и страшная тишина этого пламени, хотя оно всё в движении и превращениях.

Тогда же

В Одессе есть памятник Пушкину, улица Пушкина и дом, в котором жил Пушкин.

Действительно, это так: с первыми впечатлениями детства входит в наше сознание это слово — Пушкин!

Мы ещё не умеем читать. В руках у нас оказывается книга. В ней очень много картинок. Они расположены по четыре на одной странице.

Взвивается над землёй карлик с длинной бородой, и витязь висит в воздухе, уцепившись за эту бороду.

Что это?

Почему такой странный карлик?

Рассматривание картинок сопровождается в детстве удивительными переживаниями. Целое нам было неизвестно. Мы только видели отдельные сцены. Карлик летит в воздухе. Витязь его ловит.

Что это всё значит?

Мы не знали, что до нашего появления на свет существовали поэты. Однако при рассмотрении картинок у нас возникали первые догадки о том, что в мире есть искусство. Изображения, которые мы видели, пугали нас, удивляли и, главное, вызывали в нас желание понять — то есть чувство интереса. Что это? Что это происходит? Почему это так? Почему этот маленький человек сидит верхом на каменном льве? Мы ясно понимали, что изображено необычайное. Сидящий на каменном льве над бушующей водой находится в положении, которое для него страшно. И, видя это и понимая, мы впервые знакомимся с чувством драмы. Оно было очень острым в те времена. Содержание драмы оставалось для нас неизвестным. Мы не знали ни причин, ни следствий —

не знали логики всего события и не могли делать выводов. Поэтому от изображений исходила загадочность. И эта загадочность сообщала изображениям ни с чем не сравнимую силу.

Пушкин.

Его лицо.

Тогда оно казалось странным. С годами эту странность перестаёшь видеть.

Может быть, впечатление странности рождалось по той причине, что при первом знакомстве с Пушкиным наше детское восприятие сталкивалось с такой непонятной и такой тревожной даже для взрослого воображения вещью, как посмертная маска.

Она была изображена в той же книге. Изображение это было непостижимо.

Маска Пушкина.

Нам известно было, что была дуэль и Пушкин умер, раненный на дуэли. Но что такое дуэль — этого тоже нельзя было постигнуть.

На картинке его держали с двух сторон люди в шубах — он, в позе шагнувшего, откидывался назад. Его как бы уговаривали, припав к нему с двух сторон, — как бы пугали его образом того, кто стоит перед ним. Те двое как бы испугались, а он, казалось, страдает оттого, что не может шагнуть. Он полон гнева против того, неподвижно стоящего на снегу, — но что-то случилось такое, что ввергает всю первую группу в испуг и слабость, а тому, стоящему отдельно, придаёт ужасающий облик грозности и неуязвимости.

Действительно, эта фигура в шинели до пят и с птицей на голове казалась грозной и неуязвимой.

Дантес.

В далёком детстве уже охватывала нас обида за Пушкина. Теперь, когда мы думаем о дуэли Пушкина, мы всякий раз испытываем особое чувство — какое-то очень живое удовлетворение, — вспоминая, что всё-таки он выстрелил. Смертельно раненный, он всё-таки выстрелил и не промахнулся. Таково было первое знакомство с Пушкиным. Но ещё раньше — на самом пороге мира — мы слышали: Пушкин. Ещё не связывалось это слово с книгой. Его произносили на прогулках. Пушкин стоял в садах и в каменных нишах больших зданий — чёрный и блестящий, с железными баками, выпуклыми, как виноград.

1 Мая 1936 года

Вышел на балкон утром. Налитый солнцем бульвар. Море. Над парходами разноцветные флажки.

В весне есть несколько дней, когда только что расцветшие деревья и земля, покрытая травой, сообщают общему виду природы характер изделия. Даже облако кажется сделанным. Ничто не напоминает о

том, что природа — это стихия. Наоборот, во всём как бы чувствуется артистизм. Если внезапно проходит дождь, то можно подумать, что это было рассчитано ради того, чтобы на мгновение все изделие показалось серебряным.

Сегодня Одесса празднует Первое мая.

С утра тишина.

Тишина, которая бывает перед парадом. Впечатление такое, что город пуст. Однако я знаю, что где-то стоят в неподвижности и напряжении огромные массы людей. Так тихо, что произнесённое слово или вдруг раздавшийся, оттого что лошадь кивнула головой, металлический звук сбруи летят через все пространства и могут быть услышаны на большом отдалении.

В городе появляется эхо.

Шествие продолжается четыре часа. С прошлого года первомайские демонстрации приобрели новизну: карнавальность. Очень много театральных костюмов, масок, париков, картонных носов, разноцветных перьев, лент. Сыплется конфетти, люди танцуют в шествии. В прямом движении шествия вертится круг танца. Молодые люди впервые оделись в маскарадные костюмы. Видно, что это им непривычно и очень смешит их самих. Им кажется, что можно усомниться в их серьёзности. И, чтобы никто не подумал, что они утратили серьёзность, одевшись в костюмы кардиналов и дам из Лопе де Вега, они показывают пренебрежение к этим костюмам, размахивая полами мантий и лихо заламывая шляпы.

Ещё одна новизна этого года: шествие пронизано темой детства. Несут изображения детей. Просто детские головы. Смеющиеся, розовые, лоснящиеся лица.

Украшают шествие гимнасты. Замечательно сложенные, здоровые, сильные девушки и юноши. Плакат, который движется над ними, сообщает нам, что эти гимнасты, кроме того, занимаются наукой. Это студенты физического факультета.

Вечером — фейерверк.

Над тем же портом, над тем же городом, бульваром, над теми же красивыми зданиями, над той же Одессой, которая принадлежала авантюристам и продавцам живого товара, рассыпается фейерверк первомайского праздника рабочих, студентов, трудящихся.

Исаак Бабель

Ди Грассо

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шёлковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с трупной. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошёлкой на базар. Вечером — с другой кошёлкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мёртвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали её во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвёл её к нишей и раскрашенной статуе **святой девы** и на сицилианском своём наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — **святая дева** хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехав-

шему из города, **святая дева** даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите её, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается её судьба... Она остаётся одна в эти мгновения, одна, без **девы** Марии, и ни о чем не спрашивает у неё...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял её, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ёрзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех нёсся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актёра столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство. Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлёпанцах вынесли на улицу зелёные бутылки вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далёких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными,

расчёсанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent» [«Граф Кентский» (англ.)], но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поёживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привёл с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадёры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босьяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз её текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька — называют эти мужья своих жён — золотко, деточка...

Присмиривший Коля шёл рядом с женой и тихонько раздувал шёлковые усы. По привычке я шёл за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босьяк, — вытаращив рыбы глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босьяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещённую листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

Мариан Ткачёв

Письмо Татьяны

— Вот тебе конверты, — сказала мама; у неё в Консерватории начались каникулы, и она уезжала в Донбасс, в гости к тёте. — Напиши мне сегодня же вечером первое письмо и брось завтра в ящик. Не успею я по тебе соскучиться, а оно тут как тут.

Я поднялся на цыпочки — взглянуть, наклеены ли марки.

«Если нет, — решил я, — конверты невзаправдашные, и она просто хочет, чтобы я каждый день писал красивые буквы».

Но марки были: большие и разноцветные — с портретами папанинцев и географической картой, с дирижаблями и пароходом, из трубы которого валил густой сиреневый дым. Все точь-в-точь как у рыжего Изи с третьего этажа; только в его альбоме марки были со штампами.

«Друзья шлют из разных городов», — объяснял он нам, мне и Борису, с которым мы жили в одной квартире.

У Изи, хотя он ходил только в первый класс, были друзья повсюду; даже генерал Гинденбург и английская королева прислали ему на память марки со своими портретами...

Почта поставит на эти марки штампы, — сказала мама, — а потом я привезу их тебе и подарю альбом. Начнёшь собирать коллекцию.

...Коллекция! Я сразу понял, что именно коллекции мне не хватало все эти годы. Например, выезжаете вы из ворот верхом на палочке, а люди, идущие пешком, здороваются с вами и спрашивают:

«Скажите... Скажите, пожалуйста, куда это вы мчитесь так быстро?»

«Простите, — отвечаете вы на всем скаку, — простите, я очень спешу собирать коллекцию!»

Я даже почувствовал какое-то утешение в предстоящей разлуке с мамой. Тем временем она уложила свой чемодан, и мы втроем — бабушка, мама и я — присели на минутку, чтобы набраться сил перед дорогой на вокзал.

Я помогал маме нести чемодан два с половиной квартала. А бабушка несла провизию, потому что иначе она могла испортиться, и маме пришлось бы голодать два дня и две ночи.

Потом мы сели в двадцать третий трамвай и стали ждать, пока ватман попьёт воды с сиропом и получит сдачу. Бабушка, как всегда,

очень разволновалась, и я испугался, что она сама поведёт трамвай и ватману придётся бежать за нами целую остановку.

Но тут зазвенел звонок, и мы покатали.

По-моему, на извозчике ездить куда интереснее: сидишь себе и видишь все и впереди, и справа, и слева. А из трамвая, даже если раз в год найдётся место возле окошка, все равно видно только одну сторону и обязательно не ту, которую хочется. И потом извозчик может подъехать к самому вокзалу, а у трамвая не хватает рельсов, и он останавливается так далеко, что бабушка вообще не могла понять, зачем мы с ним связывались.

На вокзал пускали только по картонным билетикам. Их давала всем людям за деньги женщина, посаженная в стеклянную будку, чтоб они никогда не кончались. И хорошо, что за вход на вокзал берут деньги. Чем он хуже музея?

А здесь посередине ещё фонтан с живыми рыбками! По залу впереди толпы с чемоданами ходила экскурсовод в красной фуражке и давала всем справки. Мы тоже походили за ней и узнали, на каком пути стоит наш поезд. По-моему, вместо номера перрона ей проще было припомнить, что у нашего поезда зелёный паровоз. У чужого он был чёрный. Мама объяснила, что паровоз зелёный — от скорости: скорый поезд — зелёный паровоз, медленный поезд — чёрный. Иначе люди не могли бы различать поезда: вагоны-то все зелёные. У мамы вагон был совсем новый, жаль только, он уезжал вместе с нею!

По перрону ходила женщина с лотком и вместо мороженого продавала цветы. Я достал из кармана все мои деньги и купил маме букетик, а она приколотла его на платье с матросским воротником и перламутровыми пуговицами — моё — любимое. Потом пришли мамини подруги и принесли ей большой букет. Но мой все равно был лучше!

Они почему-то вдруг загрустили. Тогда я прочитал им все слова, написанные на вагоне, и им опять стало весело. Но тут ударил первый звонок, и я сам загрустил. Лучше бы мама в этом новом вагоне приезжала сейчас обратно. Я так и сказал ей, но она решила все-таки уехать. Она поцеловала меня и шепнула мне на ухо про коллекцию. А потом ещё дёрнула за нос — и совершенно напрасно, потому что все как раз смотрели в нашу сторону.

Конечно, женщины целовались до третьего звонка, и мы с мамой не успели даже поговорить. Она только крикнула мне: «Пиши!» Паровоз загудел, и вагоны тронулись. Стоило им разогнаться, как прибежал усатый мужчина с чемоданом. Он, наверно, только сейчас узнал у экскурсовода в красной фуражке номер перрона. Но машинист не заметил его и не дал задний ход. Тогда мужчина плюнул не в урну и пошёл со своим чемоданом обратно на вокзал, а мы зашагали к выходу.

Я рассказал маминим подругам, какая у меня скоро будет коллекция, и они сразу написались к нам в гости.

Дома я сообщил обо всем Борису. Борис пересчитал конверты, сосчитал дни, оставшиеся до маминого приезда, и результат перевёл в альбомные страницы (теперь он знаменитый физик). Выходило, что писать стоит.

После обеда я взял первый конверт и долго разглядывал самолёт с велосипедными колёсами, прикидывая, куда лучше поставить печать, чтобы — во избежание аварии — не лишить аэроплан какой-нибудь важной детали. Решив, что безопасней всего пристукнуть расстилавшуюся внизу тайгу, где все равно нельзя приземлиться, я перебирал остальные марки, пока не отыскал подходящее для посадки место в сердце пустыни Каракумы, по которому мчались похожие на детские коляски автомобили.

Успокоясь на этот счёт, я достал бумагу и карандаш и загрустил: о чём писать? Ведь маме известен был мой распорядок до самого вечера, она даже знала, что у нас будет на ужин. Я вызвал Бориса в коридор. Он предложил завтра отправить сразу два письма, разделив пополам то, что мама уже знать не могла. Но я опасался: а вдруг мама предупредила почту? Не зря же она на вокзале подходила к стеклянному окошку с надписью «Письма-телеграммы». Борис тоже почуял в этом подвох.

Напиши тогда сегодня про паровоз и вокзал, — предложил он.

Так ведь мама сама и уезжала!

— Ну-у, придумай что-нибудь... Что мы... Что нами все довольны. Или, что я тяжело заболел, а папа сразу меня вылечил.

— Не могу, в письмах можно писать только правду. Это если на словах...

— Да-а?

— И потом, вдруг она захочет проверить. Ещё огорчится.

— А может, написать, как Сея (это был его старший брат, ходивший уже в школу) набил себе шишку?

— На лбу? — спросил я с надеждой.

— Не-ет, на затылке.

— Жалко. Это не так красиво... А-а у вас все здоровы?

— Да. На обед у нас сегодня был зелёный борщ, котлеты и компот из черешен — очень вкусный.

— Из черешен? — переспросил я.

— Ага, я спрятал целую чашку. Могу дать попробовать.

— Давай.

Компот был вкусный.

— Понимаешь, — сказал я с чувством, — я написал бы про ваш компот, но тогда я должен написать и про наш компот, а у нас сегодня был чай.

— Жалко, — вздохнул он.

Мы снова задумались и думали до самого ужина.

Назавтра рыжий Изя узнал про мою будущую коллекцию и вылил со своего балкона на наш целый стакан воды. По дворовым законам это было объявлением войны. До обеда мы искали отобранную у нас рогатку. После мёртвого часа сразу нашли её и снова были обезоружены моей бабушкой, уважавшей Лигу Наций. Из двух разных углов мы напрасно зывали к лучшим её чувствам. Бабушка не приняла мой отказ от вечернего умывания и чистки зубов и заперла на ключ карандаш и игрушки.

Улёгшись в постель, я, как всегда, пересчитал для порядка звёзды в балконной двери и вдруг вспомнил, что снова не отправил маме письма.

Утром, увидев на столе манную кашу, я понял: гонения продолжаются. Я очистил тарелку и начал переговоры. Добивался я вот чего: бабушка посылает маме письмо и объяснит, что я не мог написать ей вчера без карандашей; а я предоставлю для этого письма конверт с маркой. И сам я тоже отправлю сегодня письмо в отдельном конверте.

Но бабушка положила мне ещё каши и сказала:

— Я вообще сильно подумываю, не отнять ли у тебя эти марки. Потому что коллекции собирают только приличные дети.

— Не имеешь права! — воскликнул я, отодвигая тарелку. — Не имеешь никакого права! Никто не может отобрать у человека то, что уже подарено!

— Так, значит, никакого права? — спросила бабушка. — Говори, говори. Я люблю послушать про права, у нас в семье как раз не хватало юриста.

Она взяла конверты со столика и тоже заперла в шкаф.

Я вызвал Бориса в чулан рядом с ванной и рассказал ему про кашу и про конверты, а потом спросил у него напрямик, кто главнее — бабушка или мама? Он осведомился, с чем была каша, и, узнав, что с джемом, мечтательно сощурился.

— Ну, вот что, — сказал он наконец, — я думаю, раз бабушка это — мамина мама, значит, она главнее.

— А марки? — спросил я упавшим голосом.

— Ну, их же заперли, так что они не пропадут, — вдумчиво произнёс он, достал из кармана горбушку и, сдув с неё разный мусор, предложил мне самый поджаристый край.

Я отказался.

Он съел хлеб, и мы приуныли.

Потом пришла мамина подруга Мария Михайловна, которую мы называли М. М. (Эм. Эм.). Мы оба её очень любили. В квартире у неё было столько чудесных вещей. У стены стоял старинный рояль с дико-

винными золотыми буквами и золотой короной. Когда, ужасно скрипя на повороте, мимо проезжал двадцать первый трамвай, за чёрным полированным деревом сердито гудели струны. Рядом на красивом мраморном столике сверкали канделябры — тоже из чистого золота. Когда мы с мамой приходили в гости, М. М. зажигала в золотых канделябрах белые, похожие на длиннющие эскимо, свечи и угощала нас чаем с пирожными. А потом играла для нас музыку, сочинённую лукавым молодым человеком в кружевах и белом завитом парике, портрет которого висел на стене. От музыки этой у меня холодело сердце; мне чудилось, будто тысячи прозрачных сосулеч звонко раскалываются в высоте и долго-долго падают в чёрную пропасть, где, не умолкая, гулко грохочет эхо. Огни на свечах качались из стороны в сторону, и молодой человек на портрете, улыбаясь, качал головой и глядел на меня с неодобрением. Наверно, потому, что он в мои годы уже сочинял музыку и мог вслепую играть на клавесине, у которого платком накрывали клавиши.

Вдоль стен стояла мебель на смешных гнутых ногах. Борис считал, что мастер выточил сперва из дерева огромный круг, потом распилил его на равные доли и сделал из них ножки ко всем этим столам, сервантам и стульям. За стеклянными дверцами синели расписные тарелки. Их было ровно двенадцать — по числу месяцев, и на каждой стояла погода, какая бывает обычно в этом месяце, и кавалеры с дамами разгуливали по тарелкам в любую погоду. Рядом высился голубой фарфоровый замок; маленькие башенки его были на самом деле солонка, укусница, перечница и горчичница, а в большой башне помещались настоящие часы. Они тикали и показывали время. В другом шкафу лежали витые перламутровые раковины, в которых тихонько гудело море, и тяжёлые стеклянные шары с распутившимися внутри цветами. А в уголке, у самой стенки, крылатый фарфоровый мальчик целовал зачем-то фарфоровую девочку.

На софе, покрытой цветным покрывалом, лежал огромный чёрный кот по имени Чёрт. Толстый и важный, он в ответ на мои заискивания брезгливо зевал, скручивая трубочкой свой розовый язык. А по всему дому носилась Делька (полное имя Корделия), большой рыжий эрдельтерьер, вышколенный для верховой езды...

Дом этот был нашим волшебным замком, а сама М. М. — доброй феей, осыпавшей меня и Бориса подарками и чудесами. Не подвела она нас и сегодня. Улыбаясь, она поправила пенсне, открыла сумочку и помахала перед нашими носами белым бумажным квадратиком.

— Ну-ка, собирайтесь, кавалеры, — сказала она. — Это контрамарка в оперу. Днём дают «Онегина». Начало через час. Быстро надевайте камзолы и шпаги.

Покуда М. М. выслушивала бабушкин рассказ о моём зверском поведении и о том, что будет со мною и всей нашей семьёй, когда задатки мои и склонности разовьются в полную меру, мы успели — во второй уже раз — умыться и влезть в свои выходные костюмы. Конечно же, бабушка не забыла повязать на мне пышный шёлковый бант, из-за которого весь двор называл меня Котом. И мы запрыгали по ступенькам, лоя на ходу последние наставления.

На улице нас ждал извозчик. Конь у него был почти белый, а фаэтон — чернее сажи, и спицы в колёсах — тонюсенькие, как иголки. Слава богу, рыжий Изя стоял у ворот и видел, как мы рассаживались на сиденьях. Мы не торопились, потому что, когда часто разъезжаешь на извозчиках, это уже входит в привычку. Щёлкнул кнут, и почти белая лошадь, услышав, что нам надо в оперу, свернула на Успенскую и помчалась вниз, к Ришельевской. Акации убежали назад, туда, где ползли, догоняя нас, трамваи, и люди, сидевшие на балконах, смотрели на нас с удовольствием.

Возле статуй, толпившихся у входа, извозчик остановился, мы прыгнули на тротуар, и я, как принц, подал М. М. руку, чтобы помочь ей сойти с подножки. Солнечные зайчики запрыгали перед ней по фиолетовым и красным цветам прямо к тяжёлой окованной медью двери. Створки раскрылись, и мы, втроём, побежали по зеркальному коридору, мимо колонн из замечательного прохладного наощупь камня, по лестнице, которой до революции пользовался сам царь.

Едва мы уселись в своей ложе, начала гаснуть большая хрустальная люстра и зазвучала музыка. Всё шло хорошо, пока не раскрылся занавес, потому что Бориса сразу заинтересовало, какое именно варенье варит Ларина с няней, а так как они пели совсем о другом, он обратился ко мне, а потом — и к М. М. Соседи стали шикать на нас, как рассерженные гуси, но он стоял на своём. Загадка эта мучила его, пока не начались именины у Лариных. Тут он сразу потребовал у сидевшего впереди мужчины, с бритой головой и большими прозрачными ушами, бинокль и замер, разглядывая стоявший далеко от рампы стол, за которым сидели и пели не занятые в танцах гости. Радостно вскрикнув, он сообщил, что узнаёт окорок, жареных кур и торт, а также бутылки с ситро. Тогда бритый мужчина взмахнул ушами и попросил бинокль обратно. До самого конца именин Борис изучал столы невооружённым взглядом, возмущаясь, что никто из главных действующих лиц не присядет с гостями и не закусит как следует. Особенно он был недоволен Ленским, который на голодный желудок затеял ссору с Онегиным и сорвал праздник до того, как гостям подали чай с вареньем, сваренным в первой картине. Поэтому к трагической гибели Ленского он отнёсся с полным равнодушием; тем более что тот прибежал второпях на

место дуэли, не подумав даже о завтраке и не покормив своего секунданта. Тогда как Онегин явно успел перекусить вместе с месье Гильо.

Но предела возмущение его достигло после антракта, когда какие-то необозначенные в программе люди создали на бал кучу разодетого народа и не предложили им даже бутербродов. Сперва он, правда, надеялся, что Онегин, как человек, понимающий толк в жизни, подговорит генерала пустить в ход его никелированную саблю и силой оружия восстановит справедливость. Но потом он разочаровался и в Онегине и стал с нетерпением дожидаться конца, потому что М. М. обещала после театра угостить нас мороженым.

Для начала мы пошли на Бульвар. Если вы собрались на прогулку, начинать полагается с Бульвара. Это самое красивое место на свете! И я всегда завидовал двум каменным женщинам, которые, подмяв под бок большие часы, улеглись себе на крыше чудесного дома с колоннами и оттуда видели сразу и Дворец пионеров на другом конце Бульвара, и парходы, и лестницу. Александр Сергеевич Пушкин, наверно, тоже завидовал им; он повернулся спиной к ихнему дому и глядел на Дворец пионеров, куда он сто лет назад ходил в гости к графу Воронцову. М. М. — а она знала все на свете — считала этого Воронцова очень плохим человеком, и мы с Борисом радовались потихоньку, что памятник его загнали далеко-далеко от дворца, где он жил, в самый конец Дерибасовской, и ему не видать оттуда ни платанов с зубчатыми листьями и облезлыми, словно после скарлатины, стволами, ни старинной пушки, ни герцога Ришелье с протянутой рукой.

Покатавшись с М. М. на фуникулёре, мы решили, что уже можно идти есть мороженое.

Мороженое мы ели не на улице, как маленькие, а в кафе на Ришельевской, где по стенам сверкали снега и льды и бегали белые медведи, стараясь привлечь внимание посетителей к смельчаку, ставшему обеими ногами на золотой круг с надписью «Северный полюс».

И ели мы не какое-то там фруктовое мороженое из бумажных стаканчиков, а пломбир с орехами и цукатами. Бориса особенно восхитило, что здесь к каждой порции подавали лимонад с подпрыгивающими колючими пузырьками, и он обещал, когда вырастет, зайти сюда и написать в висевшую возле кассы книгу большую благодарность.

М. М. положила на столик бумажные деньги. Тогда официант стал кланяться ей, как будто это он, а не мы, съел все пломбирсы, и проводил нас до самых ступенек.

Хорошо, что обратно мы шли пешком. Иначе не видеть бы нам, как собачники поймали чёрного пса мадам Фамильян, — потому что, кроме него, им никто никогда не попадался, — а потом сама мадам Фамильян, как обычно, погналась за собачьей будкой, призывая на головы собачников и их толстой лошади разные взрослые болезни.

Но этого мало! Посреди двора стоял всем известный старик с мешком и тачкой, крича во всю мочь: «Ар-рые ещи пайем!»... И М. М. предложила нам выбрать у него по воздушному шару. Я взял зелёный, и он, конечно, лопнул, как только бабушка открыла нам дверь.

Вечером пришло письмо от мамы. Она удивлялась, как это я до сих пор не написал ей и напоминала про наш уговор. Я тут же потребовал назад конверты, карандаш и бумагу. Но бабушка сказала, что, может быть, сделает это завтра, и отправила меня спать.

Положив голову на подушку, я пересчитал звёзды и стал думать над «Евгением Онегиным». Насчёт театра у меня вообще была своя теория. Я знал: многие важные события происходят во время антрактов в глубочайшей тайне от зрителей. И приучился, вернувшись домой, представлять для себя все непоказанное в театре. Для начала я представил, как к Онегину попадает письмо Татьяны, и понял, ему было бы куда приятней получить письмо не из рук неумытого мальчишки, а благородно — в конверте с красивой маркой и штемпелем. Именно этим я объяснял его холодность. Потом я побывал на свадьбах: сперва у Ольги (М. М. говорила, что Ольга сразу после смерти Ленского вышла за улана), затем — у Татьяны. Само собой, у генерала всё было поставлено пышней и богаче. За столами сидели знаменитые полководцы в эполетах и лентах. Они, гремя саблями, кричали «Горько!» и пили ситро за здоровье жениха и невесты. Потом все пошли в большую комнату танцевать экосез, а Татьяна, обмахиваясь веером, беседовала с присутствовавшим на свадьбе испанским послом. Посол довольно уже старый — лет тридцати или около этого — рассказывал ей про бои под Барселоной и про детей, убитых бомбами в Мадриде. И тут я не выдержал, подошёл к ним, поздоровался и сообщил послу, что я и Борис, мы оба — за Республику и что я недавно отдал для испанских детей свою копилку с деньгами, которые целый год собирал на настоящий футбольный мяч. Посол погладил меня по голове и обещал как-нибудь заехать за мной и покатать на машине, а Татьяна печально улыбнулась и пошла танцевать со своим генералом. Вы представить себе не можете, до чего я жалел Татьяну! Она кружилась под музыку — красивая и нарядная, точь-в-точь как моя мама, и генерал, самодовольный и толстый, рядом с нею выглядел невыносимо. Онегин нравился мне куда больше: он был такой грустный и симпатичный, и ему всё время не везло — прямо как мне. Его не развеселила даже поездка в дальние страны. Ах, если б он из своих странствий хоть раз написал Татьяне, этой бы свадьбе не бывать!

И вдруг я похолодел. Я вспомнил: а маминьы-то подружки уговаривали её выйти замуж. Тогда я не обратил на это никакого внимания, потому что мы с Борисом как раз переживали, не пропадут ли в пещере

Том Сойер и Бекки, ведь им бы ещё жить и жить! Теперь же я понял весь ужас создавшегося положения. Я должен был написать маме и не написал. Она там ждёт не дожждётся моего письма и может с горя выйти за первого попавшегося старого генерала! Я представил себе всё очень ясно. Вот они возвращаются с вокзала домой, и он тут же выходит на середину комнаты и, заложив руку за борт своего расшитого мундира, неимоверно громким голосом поёт, как он безумно любит мою маму, а соседи, само собой, нервно стучат в капитальную стену.

Нет!.. Нет, этого нельзя допускать!.. Письмо должно уйти завтра, прямо — с утра. Поклянусь бабушке слушаться её всю жизнь и добуду конверты и бумагу с карандашами. Ну, проживу паинькой день-другой; люди меня поймут.

Я проснулся очень рано, и бабушка обрадовалась, что успеет до завтра накормить меня завтраком. Съев всё без остатка, я принёс клятву и объяснил бабушке, что по сравнению с пожизненным послушанием и конверты с марками, и карандаши, и бумага — всё равно что ничего. Вообще-то она дрогнула, но характер у неё был железный, и, подумав, она взяла себя в руки и сказала:

— Ну-ну!.. Звучит очень даже мило. А я люблю не только услышать, но и увидеть. Продержись до вечера как полагается, получишь всё обратно.

— Бабушка, миленькая! — взмолился я. — Вечером будет уже поздно. Ведь у меня пропадает день. Целый день!..

— Э-э, — отмахнулась бабушка, — что такое один день, когда человек решил стать примерным ребёнком на долгие годы. Не задерживай меня, а то надо мной весь Привоз будет смеяться.

Что делать!?! Не мог же я выдать ей всё про генерала, она бы небось сразу за него ухватилась, чтоб наладить военную дисциплину.

Бабушка захлопнула за собою дверь, и я слышал, как она, громыхая пустыми бутылками, спускалась по лестнице. Потом она прошла через двор и вышла за ворота.

Я вызвал Бориса. Мы думали очень долго — наверно, минут десять, — и вот что мы решили: карандаши надо взять из Сеинового пенала (в крайнем случае он поколотит за это Бориса); а бумага есть в красной энциклопедии, где на самых последних листах почему-то ничего не напечатано. Надо вырвать два листа — на одном написать письмо, а из другого скроить конверт. Пока Борис возился с ножницами и клеем, я закончил письмо. Времени на подробности не было, я просто написал маме, что люблю её по-прежнему, что соскучился по ней и жду. Борис прочитал всё очень внимательно. Содержание, в общем, ему понравилось, только сильно расстроил неординарный наклон букв. Но я не огорчился: лист ведь был нелинованный!

Мы заклеили конверт. Я надписал адрес...

Не хватало одного — марки!

И тогда я решился. Я положил в карман мой пружинный пистолет, распахнул дверь в парадное (что строжайше нам запрещалось) и, оставив Бориса караулить у входа, поднялся на один этаж. Там я, помедлив, огляделся и нажал кнопку звонка.

Рыжий Изя лично открыл дверь. Увидев меня, он шагнул назад, огляделся и сжал кулаки.

— Здравствуй, — сказал я с заискивающей улыбкой. — Можно войти? У меня к тебе очень важное дело.

— Ха-ха! — воскликнул он. — Не имею дел с мелюзгой.

Я вытащил из кармана пистолет. Рыжий изменился в лице и сделал ещё шаг назад.

— Мне во что бы то ни стало нужна марка! — я улыбнулся ему как другу. — За марку я отдам тебе пистолет. Он совсем новый... И вот — две палочки с резинками.

Рыжий протянул руку, взял пистолет, зарядил его и выстрелил в моё отражение в зеркале. Резина, чмокнув, прилипла над переносицей. Я невольно потер лоб.

— Снип-снап-снурре! — заорал он. — Пурре-базе-люрре!..

Потом он потрогал насечку на рукоятке и спросил:

— Какая тебе нужна марка?

— Все равно, какую дашь.

— Все равно?.. А что ты с ней будешь делать? Альбомчиком обзавёлся, тюлька?!

Я проглотил подкатившую к горлу обиду, набрал побольше воздуха и единым духом выложил всё про письма, про погубленную мою коллекцию, про бабушкину несправедливость и старого генерала.

— Ха-ха! — снова воскликнул он. — А звону было на весь двор: альбомы, марки, штампы... Скажи лучше, где твой бант, котик — круглый животик?

Побелев, я шагнул прямо на него.

— Ха-ха! — сказал он потише. — Не волнуйся, котик. Ты лучше запомни: марки в коллекциях уже погашены, их клеят на письма только дураки.

— Погашены?.. Как погашены, а кто их зажигал?

— Никто, конечно, тюлька ты безмозглая! Это просто научное слово такое. «Погасить» значит — «поставить штамп». А тебе нужна чистая марка. Ясно?

Я молчал.

— Ладно, — взмахнул он пистолетом, — жди тут!

Да, рыжий Изя жил неплохо. В зеркале резинка с палочкой вместо моего лба торчала теперь прямо посреди распахнутой двери, и там за

шёлковыми портьерами виден был шкаф из красного дерева и радиоприёмник, и половина усатого портрета в золотой раме.

Рыжий, выйдя из другой двери, протянул мне две марки:

— Пошли «авиа», быстрее дойдёт.

— Спасибо, — прошептал я, подавленный его благородством, повернулся и пошёл к выходу.

Рыжий Изя со скрипом вогнал в дуло пистолета вторую палочку и вывел меня под прицелом за дверь. Но, защелкнув замок, он вдруг снова открыл его, вышел за мной на площадку и, оглядевшись, спросил тихонько:

— Думаешь, он и вправду бы пел?

«Я — одессит»

Михаил Левитин

Только живи

Рассказы об отце

Огурчик

— Скушай солёный огурчик! Ну, пожалуйста, скушай солёный огурчик!

И всё это на фоне оперного театра с душераздирающими руладами из тысячи сверкающих окон.

Дался ему этот огурчик, откуда он его хочет достать — из кармана? Нет, из кармана он достаёт много бумажек, скомканных, надорванных бумажек, и среди них — целая, но тоже скомканная — билет, билет в театр.

— Скушай солёный огурчик, пожалуйста!

— Дался тебе этот огурчик! Где я его должен съесть — здесь или дома?

— Где хочешь! Он вкусный и не очень солёный, малосольный, ты любишь.

— Хорошо, я приду и съем.

— Почему не сейчас?

Честное слово, никакого огурчика я не вижу, хочу, пытаюсь увидеть, но не вижу. Кажется, он сам жуёт что-то — мороженое?

— Он прибавит тебе аппетит, ты плохо ешь.

Как объяснить ему, что я не хочу быть толстым, мне не поможет солёный огурчик.

— Зачем много есть, папа?

— Чтобы жить! Я хочу, чтобы ты жил!

Я тоже хочу, здесь наши желания совпадают. И тогда мы пойдём, хрустя огурчиками, на балет. И на базар — за огурчиком.

Театр дышит чёрной массой, а из окон — рулады, рулады.

— Как ты достал билет, папа?

— Да, я достал, ты же меня просил, на этот самый, как его... ну там ещё ничего не говорят... ну же... забыл, как это называется!

— Балет, папа.

— А чёрт его знает, пусть называется как хочет. Директор нашего театра — мой хороший знакомый. Так ты категорически отказываешься съесть?

— Ты издеваешься надо мной, папа?

— Я? Пусть все так издеваются над тобой, я принёс тебе билет, ты просил, его невозможно было достать, а ты говоришь — издеваешься!

«Всё хорошо, — думаю я. — И море, и бульвар, и вот эти девушки, высекающие из булыжников искры, спускаясь к бульвару, всё хорошо».

— Скушай солёный огурчик, пожалуйста, что тебе стоит?

И я ем. На самом деле, как отказать любимому человеку, он принёс мне билет на этот... как его... на что и сам не знает, и если он просит о такой мелочи, почему не съесть?

Но, Боже мой, я не помню, я не вижу никакого солёного огурчика, дался ему этот солёный огурчик. Хорошо, я съем.

Голубое утро кувyrкается перед театром, или это рябит у меня в глазах море, солнце, всё сразу, вместе, или я слишком напряжённо вслушиваюсь в зауспокойное пение из окон?

— Не понимаю, что ты нашёл в этом, как ты его называешь... балете? Могли спокойно посидеть, ты рассказал бы мне про свои дела.

— Я ещё успею рассказать тебе, папа.

— Ты всегда говоришь — успею, успею, а я ничего не знаю про тебя.

Ему жарко, он вытирает лысую голову носовым платком.

— Тебе понравился огурчик?

Боже мой, ну, конечно же, огурчик, я никак не начну его есть, где же он? Такой хрустящий, совсем малосольный.

— Спасибо, папа.

— Правда, вкусный? Меня самого только что угостили. Хочешь, я принесу тебе много, целую банку? Ты будешь есть по утрам. Не каждый же день ты прилетаешь домой.

— А то пойдём со мной на балет, папа?

— Боже упаси! Чего я там не видел? На этот... как его... где поют, я бы ещё пошёл, а здесь я ничего не понимаю.

— А ты просто смотри, папа.

— На что смотреть? На них жалко смотреть — одни кожа да кости. Что ты смеёшься? Старый дурак, да?

— Оба дураки. Что старый, что молодой.

— А то пойдём домой, поговорим...

— Я скушаю солёный огурчик...

— А почему бы и нет? Тебе не понравилось?

Он так тревожно спрашивает, а я не помню, я не помню никакого солёного огурчика, не могу вспомнить, театр, рулады, море, девушки, а огурчика нет, могу поклясться.

— Очень вкусно, спасибо, папа.

— Красивый город, — говорит он и оглядывает своё хозяйство, он живёт здесь давно, и весь город, море, порт, театр — его хозяйство. — Правда красивый? Тебе нравится?

— Я здесь родился, папа.

— Кому ты об этом рассказываешь? — всхлипывает он и тянется за платком, скомканным, не очень свежим носовым платком.

— Пойдём, я провожу тебя, до начала есть ещё время, — говорю я, и мы идём, он проходит рядом со мной несколько шагов, а потом мы расстаёмся, он никогда не оглядывается прощаясь, не машет рукой, это я смотрю ему вслед, а он идёт быстро-быстро, так быстро, что я, как ни вглядываюсь, как ни вглядываюсь...

Тогда я возвращаюсь к театру, сажусь на скамью и начинаю есть огурчик, очень вкусный огурчик, совсем малосольный, совсем.

Сикирамотере-трам-та-рам-та

Мне приснился отец. И тут я понял, что всё неправильно, что все живы и первыми догадываются о бессмертии псы, проснувшиеся раньше меня.

— Что ты там поёшь, ну-ка, ну-ка!

— А-а-а, ерунда.

— Нет. Ты пой!

Он начал снова:

— Сикирамо...

— Как?!

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

— Как? — хохочу я. — Сикира...

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

Он тоже смеётся и одновременно готов обидеться.

— Да ну тебя! Сам заставил.

Он так застенчиво смеется!

— Как это мило! — говорю я. — Научи.

— Не буду.

— Ну, пожалуйста!

— Хорошо, хорошо, только не смей больше смеяться. Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-рам-та.

— И это всё? А дальше?

— Это всё.

— Какая длинная песня!

— Меня научила ей твоя бабушка. Она сидела в кресле после уда-
ра и всё время молчала, а потом я подслушал про сикирамотере.

— И ты не спросил её, что дальше?

— Нет, она спела только это.

— А ты не спросил, кто научил её это петь?

— Не приставай, пожалуйста.

— Тогда спой ещё раз.

— Не делай меня сумасшедшим.

— Не буду делать. Спой.

И он поёт. Странно. Он поёт. Я слышу его голос. Он поёт, как учила
его бабушка: «Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-
рам-та... Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та...»

И больше я не слышу ничего.

Кто первый?

Скрипит кровать. Это он так готовится. Затаился. Прислушивается
к моему дыханию. Нет, улёгся. Боится встать. Меня боится. И пра-
вильно. Я приехал на каникулы. Даст он мне выспаться хоть один раз?
Угомонился, кажется.

Пять утра. И так каждое утро, каждое утро. Комната маленькая.
Между раскладушкой и родительской кроватью только стол, ква-
дратный полированный стол. Я могу видеть их кровать из-под стола.
Но мне не надо смотреть, я знаю — лежит, думает, прижав костяшки
пальцев к губам. Лысая голова на подушке. Мыслитель! Затылком к
нему — мама.

Пять десять. Неужели даст доспать? В кои веки я дома. Я до-сы-
паю... Скрип. Надо опередить, опередить. Трудно. Силы покинули
меня.

Спускается на пол левая его нога, нащупывает тапочек, скоро оче-
редь правой. С ней посложней — не задеть маму. Сейчас, сейчас.

Сейчас он опустит обе ноги — и тогда... Что — тогда? Тогда бу-
дет поздно. Он вскакивает проворно, будто проверяет прочность ног,
прижимает к глазам будильник. Что он разглядывает? Двадцать пять
шестого. Я определяю не глядя. Боже мой, каждое утро, с ума можно
сойти.

Теперь он попытается выйти из комнаты, не задев по пути мебель.

Ему это удаётся. Но дверь в кухню необходимо прикрыть. А она
скрипит. Скрипит дверь. Под этот скрип мама и я, мы лежим по-раз-
ному. Я — затаясь, она — раздражённо жмурясь. Ей вставать в семь.

Половина шестого. Я должен, должен, не для того я приехал домой,
чтобы мой старик... Сейчас, сейчас, ещё минуточку, ну, пожалуйста.

Теперь дверь в коридор, она без скрипа, вылезает из петли туалетный крючок, можно ещё полежать чуть-чуть, но быть на стрёме, быть на стрёме! В туалете он не задержится.

Так и есть — застучал по коридору. Теперь — лови. Каждая минута дорога. Тридцать пять шестого.

Я вскакиваю, задеваю виском угол стола. Больно, но некогда. Где брюки, куда он сложил мои брюки? Недовольно вертится мама. Но молчит. Ей вставать в семь.

Что он там делает в коридоре? Почему тишина? Не успею, неужели я не успею, он должен был вернуться за чайником. Да, но какой может быть чайник, если я с вечера не набрал воды? Который час? Ещё тридцать минут, ещё целых тридцать минут во дворе из крана будет течь вода. Потом её выключат до вечера, лето, но ещё целых тридцать минут мы, полуодетые, полусонные, выстраиваемся во дворе внизу у крана с пустыми вёдрами в руках. Очередь, слава Богу, очередь, конечно же, я успею.

Нахожу брюки, застёгиваю сандалии, натягиваю майку. Прохожу мимо спящей мамы, оттуда — в коридор.

Тишина. Какая-то паутинная тишина — с велосипедами на стенах, с паучками в тени коридора.

Сосед-астматик зашёл в кашле, скрипят половицы, шуршит чердак надо мной. Мы на третьем этаже, высоко, чёрный ход, крутая лестница, над нами только чердак, он всегда шуршит, будто оползает. Кто там — коты?

Надо торопиться — вода в это время идёт быстро, бьёт струя в ведро, очередь подходит. Я тороплюсь. Застёгиваю ширинку, спускаю бачок. Выхожу на кухню взять вёдра. Никого. Тишина. Один только чайник собирается начать кипеть.

И стоят два больших жестяных ведра, наполненные до края.

Индийская музыка

Как мы искали эту волну! Вместе. Вырывая приёмничек друг у друга. У него не хватало терпения дожидаться, пока я найду.

— Дай, я сам!

— Возьми себя в руки, папа.

— Дай сюда. Мама права — ты ничего не умеешь!

И не находил. Кидался по шкале из стороны в сторону и не находил.

— Где она есть?

— Папа, дай мне.

— Ну на, на.

А потом сидел рядом, сложив руки на коленях, и ждал.

— Конечно, ты же умней меня!

— Не торопи, папа. Возможно, у них перерыв.

— Перерыв?!

Этого он не мог перенести. Они должны были петь, они должны были петь для него, и петь тоненькими, почти девичьими умильтельными голосами: «Мульмулькинадек мульмульки мульмулькинадек мульмульки а-а-а-а-а».

И тогда он расцветал, глаза его светились, он был доволен, представляете, доволен, спокоен, представляете, спокоен!

Вот что с ним делала индийская музыка!

Рукой он вертел в воздухе, как куколкой, в разные стороны, кукол-ка танцевала, кукол-ка подпевала той, что по радио...

Хвала тебе, индийская музыка, негромкая, нежная индийская музыка, несколько мгновений покоя, звучи, звучи.

Мы сидим и слушаем индийскую музыку, а потом приходит мама и говорит, что мы бездельники.

Ты мне не сын

Он улыбается ей, улыбается, а потом, когда мы отходим...

— Ты что, в самом деле вздумал это сделать?

— Что?

— Жениться!

— Конечно, папа.

— Ты негодяй! В кого ты такой негодяй? Мы с мамой порядочные люди. Ты её видел?

— Кого?

— Ну эту девочку, на которой собираешься жениться?

— Что ты говоришь, папа? Мы только что...

— А если видел, то как ты мог? Она ребёнок, посмотри, какой она ребёнок, ей можно дать десять лет. Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— Не может быть, ей не больше четырнадцати, тебя обманули. Ты посмотри на неё, она крохотулька, совсем крошечка, вот такая...

И он показал — размером с ноготок.

— Что ты будешь делать с ней? То же, что со всеми твоими бабами? Как ты будешь смотреть этому детёнышу в глаза, ты видел её глаза?

— Что ты хочешь, папа?

— Я хочу, чтобы ты взял своё предложение назад. Если ты, конечно, не законченный мерзавец. Если ты этого не сделаешь, знай, я тебя прокляну, ты мне больше не сын, слышишь, ты мне больше не сын!

Я сделал это. Мы поженились. Он привык, хотя и смотрел на неё с состраданием. Через несколько лет я полюбил другую.

— Что, ты хочешь опять жениться? Тебе мало одной трагедии, нужно ещё?

— Я люблю её, папа.

— Ты всех любишь, ты у нас уродился таким любвеобильным, никак не пойму, в кого ты уродился? Ты понимаешь, что изуродовал жизнь человеку, понимаешь?

— Понимаю.

— А теперь ты лезешь в петлю, ты её видел? Ты её хорошо рассмотрел?

— Кого?

— Твою новую. Ты видел, что она красавица?

— Тебе правда понравилась?

— Мне — не страшно. Она всем понравится — вот что страшно. И тогда тебе — конец, с ней не пройдут те номера, что с этой. Ты видел, какие у неё глаза?

— Конечно, папа.

— Это с ума можно сойти! И тебе этого мало? Если ты женишься на ней, знай, я тебя прокляну, если ты женишься, мама пришлёт на свадьбу телеграмму о моей смерти. Если ты женишься, ты мне больше не сын.

С той, второй, мы прожили больше двадцати лет. И счастливо. Родили двух детей и разошлись. Отец умер. Я собираюсь жениться снова. Хорошо, я — не сын тебе, папа. Только живи.

После драки

Я всегда буду помнить, как мы бежали. Нет, сначала мы, конечно, победили, но потом бежали. О, как мы бежали по пустырям, мимо освещённых дач, вверх — вниз, вверх — вниз. Мы бежали, хотя за нами и не гнался никто. Но мы бежали, и я слышу разрывы его дыхания внутри.

Он молчит, только держит меня за руку и тянет за собой всё быстрее, быстрее.

Мы бежали на дачу. Только что уехали оттуда и вот уже возвращаемся, даже бежим. Он — недовольный собой, я — торжествующий.

Я не помню, что хорошего он сделал, но что-то очень-очень хорошее. Если его спросить, он тоже не вспомнит, пусть знают враги, он — ураган, мой папа, его нельзя дразнить, иначе он сорвётся, и тогда...

— Как ты его, папа? — говорю, заглядывая ему в лицо. — Пусть не задирается к старым людям, правда? Так ему и надо, правда?

Он молчит, не отвечает, мы бежим всё быстрее, быстрее, пока не прибегаем на дачу, где нас, конечно же, не ждут, только отчаянно

всплещивают руками и помогают ему снять порванную рубашу, под которой я вижу его кровь и ещё чью-то.

В потёмках

— Что?!

В темноте что-то рухнуло. Он стоит посреди комнаты и смотрит невидящими глазами. Такое с ним впервые, есть надежда, что это он со сна.

— Тебе что-то приснилось?

Он дрожит, озирается то на луну, то на лампу.

— Тебе что-то приснилось?

Он делает движение, должное что-то объяснить и вернуть в прежнее состояние, но почему-то не получается. Кто его напугал? Начинаю искать и не нахожу.

— Что тебя напугало?

— Сядь рядом, — просит он. И я сажусь.

— Я тебя разбудил? — спрашивает он.

— Ничего.

— Нет, я тебя разбудил, мне, наверное, что-то приснилось. Мне никогда ничего не снится. Когда ты улетаешь?

— Не скоро, папа.

— Это хорошо, — говорит он. — Спасибо тебе.

И целует мою руку.

Это так неожиданно неловко, что я отвечаю тем же. Мы сидим на даче посреди веранды и целуем друг другу руки.

— Ладно, спи. Тебе надо поспать, ты устал.

— Мне уже надоело отдыхать, папа.

— Ты должен хорошо отдохнуть у меня, — говорит он. — На всю жизнь. Чтобы я был спокоен. Ложись.

И мы ложимся. Я гашу свет, но ещё долго не сплю, прислушиваясь к его дыханию. Он засыпает сразу, а я долго ещё не сплю, до самого рассвета, а я ещё долго лежу даже после его ухода, а я ещё долго лежу с открытыми глазами и боюсь встать, чтобы не огорчить его.

Болезнь

— Да, он стал гораздо хуже.

— А? — растерянно. И вертит головой.

— Хуже? Он просто ничего не понимает. Один Бог знает, как я с ним измучилась за это время.

— А? — хочет что-то сказать, но не получается. И вертит головой.

— Ничего, ничего, пока он будет в больнице, вы отдохнёте.

— Я за ним каждый вечер кал выносила.

Плачет, а потом кричит на него: «Что ты смотришь, что ты смотришь, старый дурень?»

— А? — совсем уже растерянно не то им, не то ей.

— Не надо на него кричать, не волнуйте его. Видите, он волнуется. Сейчас, мой дорогой, мы пойдём с вами вниз...

— А?

— Посидим на скамейке, придет машина, и мы поедем в больницу, вас должны посмотреть врачи, хорошие врачи.

— А?

— Зачем вы ему объясняете? Видите, он совсем ничего не понимает.

— Ничего, ничего.

Перед тем как выйти из комнаты, попытался ухватиться за дверной косяк, но его слегка подтолкнули сзади.

— Ничего, ничего.

И только внизу на скамейке, когда один из провожающих сказал: «Потерпите, скоро сын ваш придет», — он повернул голову и внятно спросил:

— Когда?

Призрак

Отец наш Шекспир с чемоданом, и все с тех пор у меня с чемоданами. И совсем не страшно. Да, да, совсем не страшно. Я опоздал из Геттингема.

«У-у-у» — завывает ветер, и где-то на крыше мы оба, высоко, срываемые ураганным ветром. Только он ещё почему-то с чемоданом, а я нет.

Ветер свирепый, слов не слышно, да и не умеет он говорить стихами, вообще не умеет говорить. Так что перевод не нужен. Он только хочет сказать, но не умеет и улыбается застенчиво.

Что он таскает в этом проклятом чемодане, у него никогда ничего своего не было, откуда взялся этот чемодан?

Я протягиваю руку, ветер отбрасывает меня к самому краю. Но он не помогает мне подняться, он улыбается и думает: «Он так играет». Обо мне. Это он привык думать так обо мне.

И ни одной звезды на небе, как сказал бы старик наш Шекспир, если бы умел говорить. Но он сидит на чемодане, маленький, лысый, чем-то ужасно довольный, и вытирает лысину платком, совсем не страшный, такой же.

Ночь. Мрак. Молнии драконят небо. Аплодисменты.

Без названия

Я, как ныряльщик, набрал воздуха — и на дно, вынырнул уже, а дышать боюсь. Такая натура.

— Что ты там видел? — спрашивают меня. А как ответишь с закрытым ртом? А если бы даже и открыли, ничего не скажу. Под пыткой. Потому что я такое видел, такое...

Ах, мои славные, зачем вам оно? Вещественности никакой, подтвердить не сумею. И не стану. Это моя жизнь. Блеск помню и звучание. Не музыку, а звучание. Ласковое и дерзкое. А больше ничего. Ни одного лица. Если только отцовское. Да и то в профиль. Это я вам уже слишком много рассказал. А больше там ничего нет. Даже течения.

Одно беспокойство — не поджидает ли там меня кто? А если поджидает, почему я его не вижу? Почему не удерживает оно меня поговорить? Ведь там поговорить не с кем! И я к нему, одинокому, спускаюсь и спускаюсь. О Господи, Боже мой, живи долго! Господи, переживи нас всех.

Михаил Жванецкий

Отец мой, врач мой!

Из книги

Миша! Есть люди несчастливые, но везучие.
Им часто везёт.
Но у них не накапливается.

Шизофрения — самая человеческая болезнь, как венерические.
Остальные болезни есть и у лошадей
Но ты же не скажешь, что у этой лошади мания величия.
Или у этого пса раздвоение личности.
Шахматы — человеческая игра.
Бегать наперегонки можно и с лошадью.
И грузы поднимать.
Я уже не говорю о стихах.
Это не лошадиного ума дело.

Разум или нравственность?
Вопрос.
Нравственность выше и важнее, хотя разум экономически выгоднее.
Как лечащий врач могу сказать: «Вы подумайте и я подумаю».
Это я больным говорю.
Хуже всего человеку большого дарования.
От него требуют факты, доводы, а он весь на бессознательном.
Он ничего не может объяснить.
У нас в пульмонологии лежал больной. В коридоре лежал.
Пришёл Кассирский и раскричался: «...грязь, тифозный больной в пульмонологии, в коридоре...».
Он даже не подходил к нему.

Мы шептали: «С ума сошёл...»
Оказалось — тиф...
Он ставит диагноз, не сознавая почему, и всегда прав.
А его необъяснимость, кроме вражды, ничего не вызывает.

* * *

Если ты выпил — молчи.
Твоё мнение будет от выпитого, не от увиденного.

* * *

Мы в восторге от «Битлз».
И вдруг — Высоцкий.
И вдруг — Ахматова.
Вдруг понимаем слова.
Если бы также понимать Эдит Пиаф.
«Садитесь, милорд.
На стол кладите ноги.
Заботы — на меня».
Петь-то надо слово, сынок...

* * *

А у тебя одна мысль в голове: «Селиванова».
Селиванова Надя, Селиванова Надя...
Как и о чем с тобой можно говорить?

* * *

Да, да, ты не можешь.
Ты женишься.
Жить не с красотой.
Жить не с фигурой.
Жить тебе придётся с характером.
Даже не с умом.
Что такое характер?
Это — как человек откликается на мир.
Давай подерёмся или давай разберёмся, или давай пропустим.
Плохо, когда всё на лице человека видно.
Плохо, когда ничего на лице не видно.
Когда на лице всё видно, то и всё слышно.
Бесконечно выясняешь отношения.

Открывая дверь в дом, ты уже объясняешь, почему поздно, почему рано, где ты был, сколько будешь, когда уйдёшь, почему ты такой грустный, весёлый, безразличный, грязный, чистый, помятый, поглаженный, пахучий, вонючий.

Это когда всё на её лице.

Когда на лице ничего — в глазах сталь, в щеках медь, в душе металл и в мозгу полная неизвестность.

Тебе не известно.

В её характере — сила!

У тебя узнают всё.

Тебе не сообщают ничего.

Ни то, что её волнует.

Ни то, что случилось.

И дело не в подозрениях.

Твои вопросы просто отскакивают — «со временем узнаешь».

Мы с тобой эмоциональные люди, для нас такой человек — закрытый гроб.

* * *

Ужасно, когда от тебя уходят.

Но тут правило одно: твоя от тебя не уйдёт.

Если ушла, значит, не твоя.

Бороться за женщину не стоит.

Слезами не поможешь.

Слежка — себе дорожке.

Почему же это самое страшное горе в жизни?

Потому что уходят из сердца.

И ты ничего сделать не можешь.

Время лечит.

Но когда вылечит — уйдёт и время.

Эти удары непоправимы.

А хороший характер — это желание помочь даже без желания разобратся.

Такие есть.

Ну, спи!

* * *

Не выясняй отношения.

Если человек не понимает.

Как же он поймёт.

Человек всё время говорит о себе: «Я этого не люблю. Я этого не ем».

И это за общим столом.
А нет ли у вас для меня чего-то солёного?
Намёков не понимает.
Упрёков не понимает.
Обид не понимает.
Как же он поймёт объяснения?
Собирай вещи и уходи.
Хотя он и этого не поймёт.
Будет звонить: «Объясни мне, что случилось? Почему ты ушёл?»
Не теряй времени, он не понимает, что делает.
Так же как не поймёт, что ему говорят.
К сожалению, таких людей трудно бросать. Они умны.
Кто-то должен их сдерживать и содержать.
У них нет итогов, но они и этого не понимают.
Они себе кажутся пострадавшими за правду.
Хотя это было хамство и бестактность.
Ко всем пристают: «Вот объясните мне...»
Спи...
Дорогой... Мой... Я смотрю... На тебя... На вас... И вспоминаю...
Свою... Ну всё...
...И ещё, Миша... Не пей от переживаний... Пей от радости.
Полрюмочки коньяку, если глубоко тронут.

* * *

А когда жизнь изменится, ты вспомни одного мужчину.
Он держал ребёнка.
К ребёнку была прицеплена авоська.
В авоське была газета, хлеб, бутылка молока и марганцовка.
Это был я и это был ты.

Москва—Одесса

Юрий Михайлик

Сонет

Столько лет волна стучала в этот берег одичалый,
столько лет его качало, что другого ритма нет.
Голосам людей сначала только море отвечало.
Этот город величавый был написан, как сонет.

Что за славное начало — срифмовать бульвар с причалом,
а потом двумя лучами уходить за морем вслед,
чтобы улицы звучали, помня море за плечами,
и безлунными ночами излучали зыбкий свет.

Это море создавало лёгкий привкус карнавала —
слишком грозно бушевало, слишком громко горевало,
слишком быстро утихало, удивляя тишиной.

Кто ссылал сюда поэтов, ничего не смыслил в этом —
ни в тенетах, ни в запретах, ни в сонетах, ни в поэтах,
ни в лучах добра и света над прибрежною волной.

* * *

Неукротимое движенье
волны, её тугой разгиб
обречены на поражение —
взметнулся, рухнул, и погиб.
Но час за часом снова тщатся
седые пращурьы строки,
как будто можно достучаться
в третичные известняки,
как будто вовсе нет границы
пространству, воле и тоске,
как будто может сохраниться
написанное на песке...

О, Господи — под облаками,
под чуждой бездной голубой
веками, слышите, веками
выкатываться на убой,
ни йоты, ни единой ноты
не оставляя про запас...
Всё против нас. И небо против,
Но море всё ещё за нас.

* * *

*Если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря.*

И. Бродский

Да, в провинции, у моря, в отдаленье,
не у Белого, на острове Мудьюге,
не на каторжном Охотском поселенье,
а у тёплого, у Чёрного, на юге.
Да в империи, на юге, в эмпирее,
где от солнца, как от бабелевской прозы,
смуглы девушки, лукавы брадобреи,
и томительны июльские стрекозы.
Да, на юге, где под жарким небосводом,
отрицающим движенье и усилье,
пахнет йодом, пахнет сероводородом,
и припахивает прелостью и гнилью.
На окраине, на выгоревших склонах,
на границе, а ещё точней — на пляже,
где натаскана отыскивать влюблённых
похотливая полуночная стража.
Да, в провинции, у моря, в отдаленье,
да, в империи, на юге, в эмпирее,
тут и жили мы в четвёртом поколеньи
на краю своей родной Гипербореи.
Плюс четырнадцать, как крепость разливного
виноградного, так среднегодовая
образуется везеньем в подкидного,
летний выигрыш зимою продувая.



ПОЭТЫ (1920)

Стоят: Сигизмунд Олесевич, Эдуард Багрицкий, Наум Соколик.

**Сидят: Аделаида Адалис, Андрей Соболев, Георгий Шенгели,
Александр Соколовский, Зинаида Шишова, Юлия Шенгели**

Комментарий: Олесевич и Соколик — художники.

**Александр Шапиро, вырезанный на московской фотографии, — журналист и поэт,
исчезнувший из Одессы в середине 1920-х годов**

ПОЭЗИЯ





Памятник герцогу Дюку де Ришелье. Вид на море

1900–1980-е годы

ИВАН БУНИН

На маяке

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,
Осенний ветер дует — и, звеня,
Гудит вверху. Он влажен и прохладен,
Он опьяняет свежестью меня.

Остановясь на лестнице отвесной,
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой
И зыбь бежит. А выше — свод небесный
И океан туманно-голубой.

Внизу — шум волн, а наверху, как струны,
Звенит-поёт решетка маяка.
И всё плывёт: маяк, залив, буруны,
И я, и небеса, и облака.

1903–1904

* * *

На мёртвый якорь кинули бакан,
И вот, среди кипящего залива,
Он прыгает и мечется тоскливо,
И звон его несётся сквозь туман.

Осенний мрак сгущается вдали,
Подходит ночь, — и по волнам тяжёлым
Ныряют и качаются за молотом
Рыбацкие пустые корабли.

И мачты их средь тёмной высоты
Чертят туман всё шире, всё быстрее,
И плавают среди тумана реи,
Как чёрные могильные кресты.

1900

САША ЧЁРНЫЙ

В Одессе

Вдоль деревянной длинной дамбы
Хвосты товарных поездов.
Тюки в брезенте, словно ямбы,
Пленяют чёткостью рядов.
Дымят гиганты-пароходы,
Снуют матросы и купцы.
Арбузной коркой пахнут воды —
И зыбь, и блеск во все концы.

На волнорезе так пустынно...
Чудак в крылатке парусинной
Снимает медленно с крючка
Вертляво-скользкого бычка.

Всю гавань тихо и лениво
Под солнцем добрым обойдёшь...
Воркуют голуби учтиво,
Босяк храпит в тени рогож.
Кадит корицей воздух летний...
Глазеешь на лихой народ
И выбираешь, как трёхлетний,
Себе по вкусу пароход.
Вперёд по лестнице гигантской!
Жара бросает в пот цыганский,
Акаций пыльные ряды
С боков свергаются в сады.

Дополз до памятника «Дюку»...
День добрый, герцог Ришелье!
Щитком к глазам подносишь руку:
Спит море — синее колье...
В ребре средь памятника — бомба,
Жужжит кольцом цветник детей,
И грек, исполненный апломба,
Раскрыл, пыхтя, лоток сластей.
Голландский шкипер белоснежный
Склонил к Кармен одесский лоб.
Взлетает смех, как жемчуг нежный,
Играет палкой местный сноб,
Горит над жирным турком феска,
Студент гарцует средь девиц...
Внизу среди морского блеска
Чернь пароходных верениц...
Казачи, статные, как они,
Кружком расселись в павильоне...
Урядник грузен, как бугай.
Запели... Эх, не вспоминай!

<1923>

Дон Аминадо

Ато-атаге

Довольно описывать северный снег
И петь петербургскую вьюгу...
Пора возвратиться к источнику нег,
К навеки блаженному югу.
Там первая молодость буйно прошла,
Звеня, как цыганка запястьем.
И первые слёзы любовь пролила
Над быстро изведанным счастьем.

Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.

Играет шарманка. Цыганка поёт,
Очей расточая сиянье.
А город лиловой сиренью цветёт,
Как в первые дни мирозданья.

Забуть ли весну голубую твою,
Бегущие к морю ступени
И Дюка, который поставил скамью
Под куст этой самой сирени?..

Забуть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре
Единственный в мире латинский глагол —
Атаге, атаге, атаге?!

И боги нам сами сплетали венец,
И звёзды светили нам ярко,
И пел о любви итальянский певец,
Которого звали Самарко.

...Приходит волна, и уходит волна.
А сердце всё медленней бьётся.

И чувствует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернётся.

Что ветер, который пришёл из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью.

<1940-е>

ВЛАДИМИР НАРБУТ

Железная дорога

Под рысь рессорную перечеркнул
Край сумерек фонарный карандаш
И, выжидая (сердца не отдашь?),
Аукается город, как аул.
Болтливое, ты взято на болты,
На даче спрятано, висит замок.
Но и под крест, что на холму измок,
В слезах подкатываются кроты.
Плакучий зонт — прозрачен и надут,
Похож на мышью летучую, но так
Нельзя ж, любимая, встречаться тут,
Нельзя ж Дьячихиных дразнить собак!
Как птица падает (и пропадёт
С лукавым локоном!) твой голос, твой.
Дитя, большеголовый идиот,
Бараньей мямлит, мучит тетивой.
Ягнёнок-ангелочек! Только сей
Наследует нам царствие. Увы!
Не Даниилы — мы, — и здесь не львы,

Не ров, а ровный перестук осей.
Не светляки молчат, а папирос
Да вот фонтанчиков висят ряды,
И стрелочники ищут череды,
Чтоб разрешить таинственный вопрос.
И просто всё: в вагоне простыня,
Мутящиеся щёки охладив,
Как плащаница пестует меня:
Качайся, пасынок, не будь ретив!
Да не хочу (и вспомнить больно мне!)
О Пасхе — мамочка, ты умерла?
И думать — необыкновенный лай
И в необыкновенной стороне.
Толчок, и — нотные несут столбы
Скрипичный ключ и жизнь — от «ре» до «си».
Голубчик! Четверга не уноси,
Не уноси страстей моей судьбы!
Ведь как же быть: скрипит моё перо,
Нога медвежья, папёрть заперта,
И крест нахохленный, сырой-сырой
Над юностью сжимает два болта...
И даже зонтик, в рёбрах подробясь,
Бесчисленными спицами слывёт
За колею и за беседку. Вот —
Как режет рельс, упрямый контрабас!
И вот как станция летит, мелькнёт
И пропадёт (уже навек, навек!)
Среди ключей, мурлыканий и нот,
Где детский похоронен человек.

<1922>

* * *

Гудок стремительный, и — в море
Отваливает пароход.
В каюте, в тесненькой каморе
Мы прокоптились целый год.
По кабакам, по дырам порта —
Шататься надоело нам.
На суше быть?! Какого чёрта,
Коль счёт утратили мы дням.
Морского не унять повесу:

Ему ль заказаны пути
Из Севастополя в Одессу,
Из Сингапура в Джибути!
Под ветром парус, словно вымя,
Всё туже, туже, — прёт дугой,
И над просторами живыми
И горизонт совсем другой!
Сияйте, чайки! И дельфины,
Дробите хлябкий антрацит,
Гранатов сладость, горечь хины
Нам край иной предвостанит...

<?>

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

Флейта Марсия

Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед —
Неверная. О Марсиевых ранах

Нельзя забыть. Его кровавый след
Прошёл века. Встают, встают в туманах
Его сыны. Ты слышишь в их пэнах
Фригийский звон, неумерщвлённый бред?

Ещё далёк полёт холодных ламий,
И высь — твоя. Но меркнет, меркнет пламя,
И над землёй, закованною в лёд,

В твой смертный час, осуществляя чей-то
Ночной закон, зловеще запоёт
Отверженная Марсиева флейта.

1911

Фонтанка

Асфальтовая дрожь и пена
Под мостом — двести лет назад
Ты по-змеинному надменно
Вползла в новорождённый град.

И днесь не могут коноводы
Сдержатъ ужаленных коней:
Твои мучительные воды
Звериных мускулов сильней.

Что — венеитйское потомство
И трубачей фронтоных ложь,
Когда, как хрия вероломства,
Ты от дворцов переползёшь.

Под плоскогорьем Клодта Невский
И сквозь рябые черныши
Дотянешься, как Достоевский,
До дна простуженной души?..

1914

* * *

Уже непонятны становятся мне голоса
Моих современников. Крови всё глуше удары
Под толщею слова. Чуть-чуть накренить небеса —
И ты переплещешься в рокот гавайской гитары.

Ты сумеречной изойдёшь воркотнёй голубей
И даже ко мне постучишься угодливой сводней,
Но я ничего, ничего не узнаю в тебе,
Что было недавно и громом и славой Господней.

И, выпав из времени, заживо окостенев
Над полем чужим, где не мне суждено потрудиться,
Ты пугалом птичьим раскроешь свой высохший зев,
Последняя памяти тяжеловесной зарница...

Чуть-чуть накренить эти близкие к нам небеса,
И целого мира сейчас обнажатся устои,

Но как заглушу я чудовищных звёзд голоса
И воем гитары заполню пространство пустое?

Нет, музыки сфер мы не в силах ничем побороть,
И, рокоту голубя даже внимать не умея,
Я тяжбу с тобою за истины чёрствый ломоть
Опять уношу в запредельные странствия, Гея.

2 мая 1929, Ленинград

ВЕНИАМИН БАБАДЖАН

Из книги «Кавалерийские победы»

* * *

Седлом опять набиты
Все те ж места.
Бледны мои ланиты,
Душа — пуста.

Свинцовая усталость
В плечах, в спине.
Соснуть бы славно малость
И есть во сне!

Смакуя запах ложки,
Слюну глотать,
С дымящейся картошки
Мундир содрать,

Полить солёным сальцем,
Под кустик сесть,
Большим и средним пальцем
Схватить и съесть.

1.916

* * *

В окопе сыро. Ночь темна.
Река окутана туманом.
И вражеская сторона
Грозна покоем и обманом.

Не воеет подлая шрапнель,
Не скачут пули. Всё застыло.
Росу вобравшая шинель
На мне топорщится уныло.

Не верит тишине земля,
И ждут уныло пробужденья
И галицийские поля,
И галицийские селенья.

X. 915

* * *

Вернулись все аэропланы,
Зажглась вечерняя звезда,
И ночь туманы и обманы
Распростирает, как всегда.

Уходит в даль ночных вуалей
Соседний холм, соседний лес.
И приближается от далей
Толпа кисейная завес.

Ни выстрела. Уединенье
И тишина, и грусть томят.
И, выставленный в охраненье,
Поёт за проволокой солдат.

IV.916

* * *

К полуночи прозрачная луна
Муть фонарей осилила. Ночная
На мостовых почила тишина,
И отзвенел последний звон трамвая.

Зелёным камнем город засыпал,
Деревья отдали домам прохладу,
Росистой сеткой августовский пал
Туман на памятнике возле саду.

Дни жёлтые! Ночей голубизна.
Луна и холод. Мысли, словно тени,
Предутренняя тишина видений
И странный час, когда в листве весна.

X.918

Из стихотворений Климентия Бутковского

Трубка

О, долгий путь! В усталой позе
Сидишь и куришь натошак.
Как ароматен на морозе
Медовый английский табак!

Голубизна дымка и снега
И пасмурная эта даль —
Такой покой, такая нега,
Такая долгая печаль.

Дорога круто убегает
За побелевшие холмы.

Голодный конь едва ступает,
Иззябли мы, устали мы.

Седло, в какой ни мёрзнуть позе,
И бьёт, и давит — всё не так!
И только тешит на морозе
Медовый английский табак.

* * *

Альма-Тадема — крайняя правая¹,
Крайняя левая — сам Пикассо.
Живопись гнусная и корявая,
Живопись псевдо-натурного класса.
Мучаясь в спазме творческих колик,
Томно раздумчив, истинно тонок
Трудится юный маэстро Соколик
Над сотвореньем своих заслонок.
Дань отдавая рукою покорной
Велению самой последней моды,
Фикс фиксирует охрой и чёрной
Плотность кирпично-жёлтой природы.
Кто-то трактует модель под Сезанна,
Кто-то старается быть, как Репин.
Словом — натурный класс без обмана,
Разнообразен и великолепен!

1917–1918

¹То есть картина британского художника Лоуренса Альма-Тадемы (1836–1912).

ВЕРА ИНБЕР

* * *

Лучи полудня тяжело пламенеют.
Вступаю в море, и в морской волне
Мои колена смугло розовеют,
Как яблоки в траве.

Дышу и растворяюсь в водном лоне,
Лежу на дне, как солнечный клубок,
И раковины алые ладоней
Врастают в неподатливый песок.

Дрожа и тая, проплывают чёлны.
Как сладостно морское бытиё!
Как твёрдые и медленные волны
Качают тело лёгкое моё!

Так протекает дивный час купанья,
И ставшему холодным, как луна,
Плечу приятны тёплые касанья
Нагретого полуднем полотна.

* * *

Уже заметна воздуха прохлада,
И убыль дня, и ночи рост.
Уже настало время винограда
И время падающих звёзд.

Глаза не сужены горячим светом,
Раскрыты широко, как при луне.
И кровь ровней, уже не так, как летом,
Переливается во мне.

И, важные, текут неторопливо
Слова и мысли. И душа строга,
Пустынна и просторна, точно нива,
Откуда вывезли стога.

* * *

Шелестя сухими злаками
Подымая синий дым,
Осень с рыжими собаками
Рыщет по садам пустым.

Вслед летят, свистя и гикая,
Листья с мохом и корой.
Осень, хищная и дикая,
Воздух нюхает сырой.

В утро злое и ненастное
Инеем дохнёт земля,
И лисицу — лето красное —
Осень выгонит в поля.

Зинаида Шишова

Лето

Волна воспоминаний сладких,
Простых, как песня рыбака,
На локте красный отпечаток
Упругой сетки гамака.

Холодноватый запах мяты,
Над морем близкая гроза
И под причёскою измятой
Твои усталые глаза.

VI. 918

* * *

Рука руки искала на колене,
Глаза закрылись в томном забытьи,
Но положила смерть сухие тени
На губы воспалённые твои.

Открой глаза и подыми ресницы,
Не закрывай ладонями лица, —
Я не боюсь, мне ночью не приснится
Тяжёлая усмешка мертвеца.

Тебя я помню светлым и влюблённым
Весной в кафе за золотым столом...
Сухая встреча, строгие поклоны
И нежные записки под столом.

1.919

Сумерки

На столе заблудились слоны,
И неясно светлеет окно...
Я не верю в зловещие сны —
Я тебя полюбила давно...

А когда тебя жизнь победит,
И ты будешь усталый и злой
От больших и от малых обид, —
Я уйду, посмеюсь над тобой.

Я несчастных любить не могу,
Их нельзя ни любить, ни прощать...
Только, если... я всё это лгу, —
Значит, ты научил меня лгать.

<1920>

Счастье

«Если под окошком лечь,
К стеночке вплотную,
Траектория полёта
Пули нас минует».

Это ты сказал, и я
Сделала, как велено:
Сербская шинель твоя
Под окном расстелена,

Твой наган и мой наган
Рядышком, как братцы.
Раз приказ начальством дан —
Нечего бояться,

Ты со мной, и, значит, я
Навсегда с тобою,
Значит, это для меня
Небо голубое,

Значит, это для меня
Посметюшек стая,
Значит, это для меня
Всё журчит и тает,
Всё журчит, блестит, летит,
Сердце рвёт на части...
«Траектория полёта»...
Может, даже скажет кто-то
Так о нашем счастье?

1922

Пьяный вечер

В небе плыл хмурый корабль — качался месяц рдяный,
А вечер смеялся звонко, гримасничал вечер пьяный.
Пронзая дали, как стрелы месяца нити вились,
Но чары ночные плыли, но чары ночные длились.

Было смешно и странно на улицах тёмных и мрачных:
Прошла кухарка. С ней рядом два денди в костюмах фрачных...
В тавернах, полных народа, трубил граммофон огромный,
Звенел жеманный танго, кружился танго истомный.

И я, надевши платье из тонких синих батистов,
Прошёл по улице чёрной, среди буйных шумов и свистов.
И я был принц непонятный, но я глядел огнезорко,
Меня встречали лаи, покинув гнилые задворки.

Затем, войдя в таверну, я сказал бродягам хрипевшим,
Что вечер недаром выплыл за днём, в двух зорях сгоревшим...
Но вспомнил о синем батисте и луне — далёкой подруге,
И вспрыгнул на стол надменно, разрешив целовать мне руки...

А после плясал качучу, звеня кастрюлей, как бубном,
И хрип шершавый и терпкий за мной подвывал многогубно...
И только когда хозяин, почтительно снявши шляпу,
Просил, чтобы я ещё раз сплясал пьянящий «Амапа»,

Я гордо сознался всем им, что вечер, странный и страстный,
Я создал в желаньи диком пером на бумаге красной...
И чары, сгорев, потухли, и мой синий батист был сорван,
И остался я с жизнью серой, от знойной мечты оторван...

О лошадях

1.

На улицы спустился вечер зябкий
И горестно мерцал в овальных лужах.
Сновали исполнительно лошадки,
Стараясь заслужить, как можно лучше,
Физическим трудом свой скромный ужин.
Уныло падал дождь, сочась из тучи,
И лошади, зевавшие украдкой,
Шептали про себя: «Как будет сладко,
Домой часов в двенадцать воротившись,
Овёс сначала скушать, утомившись,
Затем уснуть, к коллеге прислонившись...»

2.

О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Собаки

Собаки чёрные,
Собаки белые,

Всегда проворные,
Безумно смелые.

Лулу прелестные,
Вас любят ангелы,
И клички лестные
Вам шлют архангелы.

А вы, проворные,
Всё это знаете,
Собачки чёрные,
Вы звонко лаете.

И есть громадные
Псы ярко-белые,
Они не жадные,
Но дерзко-смелые.

В снегах белеющих
Спасают в зимний зной
Людей немеющих
Из рук метели злой.

Собаки белые,
Собачки чёрные,

Вам шлю несмелые,
Но всё ж упорные

Мои мечтания
И всю любовь мою,
Средь душ искания
Всегда о вас пою...

Собаки тёмные,
Собаки снежные.

Хвостом вертящие!
В вас души нежные,
В вас души скромные
И настоящие...

* * *

Не архангельские трубы —
деревянные фаготы
пели мне о жизни грубой,
про печали, про заботы.

И теперь, как прошлым летом,
не грущу и не читаю,
озарённый тихим светом,
дни прозрачные считаю.

Не грустя и не ликуя,
ожидаю смерти милой,
золотого аллилуйя
над высокою могилой.

Милый Боже! Неужели
я метнусь в благой дремоте!
— Всё прошло, над всем пропели
деревянные фаготы.

Эдуард Багрицкий

Арбуз

Свежак надрывается. Прёт на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружён,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придётся проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!

Пошёл!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ёрзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны — навывлет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней ещё не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду,
Мне жизни весёлой теперь не сберечь —
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встаёт,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывёт
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдёт,

Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берёт
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить её,
Что в руки взяла она сердце моё!..

1924

Бессонница

Если не по звёздам — по сердцебиению
Полночь узнаешь, идущую мимо...
Сосны за окнами — в чёрном оперении,
Собаки за окнами — клочьями дыма.
Всё, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле?..
Уши мои, что ли, не слышат вольно?
Пальцы мои, что ли, окостенели?..
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают, в кулак размером!
Буря от Волги, от низких побережий
Чёрные деревни гонит карьером...
Вот уже по стёклам двинуло дыханье
Ветра, и стужи, и каторжной погоды...
Вот закачались, загикали в тумане
Чёрные травы, как чёрные воды...
И по этим водам, по алому вою,
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое,
Круглом и долгом, как гром колёсный...
Словно корабельные пылают знаки,
Стёкла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,
Лязгая цепями, скуля по-волчьи...
Лопнул частокол, разлетевшись пеной...
Двор позади... И на просеку разом
Сруб вылетает! Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.

Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая...
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звёзд — золотых баранок;
Это расступается Чёрное море
Чёрных сосен и чёрного тумана!..
Это летит по оврагам и скатам
Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному прибою.
Это стремглав, наудачу, в прорубь,
Это, деревянные вздувая рёбра,
В гору вылетая, гремя под гору,
Дом пролетает тропой недоброй...
Хватит! Довольно! Стой!
На разгоне
Трудно удержаться! Ещё по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора ещё играют,
Ветер от разбега ещё не сгинул,
Звёзды ещё рвутся в порыве гонок...
Хватит! Довольно! Стой!
На перину
Падает откинутый толчком ребёнок...
Только за оконницей проходят росы,
Сосны кивают синим опереньем...
Вот они, сбитые из бревён и тёса,
Дом мой и стол мой: моё вдохновенье!
Прочно установлена косая хвоя,
Врыт частокол, и собака стала.
— Милая! Где же мы?
— Дома, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала...

1927

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Июль

Над морем облака встают, как глыбы мела,
А гребни волн — в мигающем огне.
Люблю скользить стремительно и смело
Наперерез сверкающей волне.

Прохладная струя охватывает тело,
Щекочет грудь и хлещет по спине,
И солнце шею жжёт, но любо мне,
Что кожа на плечах, как бронза, загорела.

А дома — крепкий чай, раскрытая тетрадь,
Где вяло начата небрежная страница.
Когда же первая в окне мелькнёт зарница,

А в небе месяца сургучная печать,
Я вновь пойду к обрывам помечтать
И посмотреть, как море фосфорится.

1914

На яхте

Благословенная минута
Для истинного моряка:
Свежеет бриз, и яхта круто
Обходит конус маяка.

Захватывает дух от крена,
Шумит от ветра в голове,
И жемчугами льётся пена
По маслянистой синеве.

1918

Эвакуация

В порту дымят военные суда.
На пристани и бестолочь, и стоны.
Скрипят, дрожа, товарные вагоны.
И мечутся бесцельно катера.

Как в страшный день последнего суда,
Смешалось всё: товар непогружённый,
Французский плащ, полковничьи погоны,
Британский френч — всё бросилось сюда.

А между тем уж пулемёт устало
Из чердаков рабочего квартала
Стучит, стучит, неотвратим и груб.

Трёхцветный флаг толпою сбит с вокзала
И брошен в снег, где остывает труп
Расстрелянного ночью генерала.

1920

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Дом (Диптих)

1

Столетний дом. Его фанариот
В античном стиле выстроил когда-то.
Мавромихалис иль Маврокордато
Оттуда воскрешали свой народ.

Туда входил корсар эгейских вод
Попробовать на зубе вкус дуката, —

Чтоб через месяц Пера и Галата
Пашам пронзённым подводили счёт.

Порою для него везли фелюги
Те зелья, что придуманы на юге,
Чтоб женщину пьянить избытком сил.

Порой там бал плыл на паркете скользком
И Воронцов, идя с хозяйкой в «польском»,
Взор уксусный на Пушкина цедил.

2

Теперь там агитпроп. Трещат машинки
Среди фанерных, сплошь в плакатах, стен;
В чаду махры — мохрами гобелен;
И заву — борщ приносят в грубой крынке.

Сошлись два мира в смертном поединке;
И слово правды, гаубицам взамен,
Слетает с лёгких радиоантенн,
Как радия бессмертные крупинки.

Носящий баки (Пушкину вослед)
Здесь, к символу камина, стал поэт
И думает, жуя ломоть ячменный,

Что стих его — планету оплеснул
И, подавляя голос папских булл,
Как брат грозы, стремится по Вселенной!

1920 (1937)

Одесский карантин

Дома уходят вбок, и на просторе пегом,
Где ветер крутизну берёт ноябрьским бегом
И о землю звенит, — обрисовался он:
Старинной крепости дерновый полигон...
Солдаты некогда шагали здесь вдоль зала.
Здесь пленная чума в цепях ослабевала.

Потом здесь вешали. Потом над массой стен
Взлетели острия уклончивых антенн
И кисточки огней с них в темноту срывались,
Портам и кораблям незримым откликались.
Потом — убрали всё. И ныне — пустота,
Простор иззябнувший — могильная плита...
(Где даже резкий ветер, избородивший море,
Травы не угнетёт в укатанном просторе...)

10.XI.1920

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

* * *

Бриллиант, сверкающий в небе,
Бриллиант чистой воды!
Безмерно великолепен
Прожектор ночной звезды!

Он так лучезарно светел,
Что будто бы видит глаз,
Как лижет огненный ветер
Поверхность бурлящих масс.

Что, если взорвавшись разом,
Он брызнет миллионом брызг?
Такой космический казус
Для всех нас чертовский риск!

На землю свалится брызга
В три солнца величиной!
Она не услышит писка
И нашего крика: "Стой!"

Мы скопишем ярких капель
Ворвёмся в поток огня.
Я буду гореть, как факел,
И все увидят меня!

1920

Москва

Столица-идолопоклонница,
Кликуша и ворожея, —
Моя мечта, моя бессонница
И первая любовь моя!

Почти с другого полушария
Мне подмигнули, егоза,
Твои ворованные, карие
Замоскворецкие глаза —

И о тебе, о деревенщине,
На девятнадцатом году
Я размечтался, как о женщине,
Считая деньги на ходу;

А на двадцатом, нерастраченный,
Влюблённый по уши жених,
Я обручился с азиатчиной
Проездов кольчатых твоих,

Где дремлет, ничего не делая,
Трамваями обойдена,
Великолепная, замшелая,
Китайгородская стена,

И с каждым годом всё блаженнее,
Всё сказочнее с каждым днём
Девическое средостение
Между Лубянской и Кремлём...

Я знал: пройдёт очарование,
И свадебный прогоркнет мёд —
Любовь, готовая заранее,
Меня по-новому займёт,

И я забуду злое марево,
Столицы сонной житиё
Для ярких губ, для взора карего
Живой наместницы её.

1928

Загадка

Когда на сердце гадко,
Когда душа во тьме,
Весёлая загадка
Рождается в уме:

Как вымысел весёлый,
Как беззаботный стих —
Старинные камзолы
В аллеях золотых.

Там фрейлинами — павы,
И фрейлины — под птиц,
Там эхо длит забавы
Пяти императриц,

Там, в страхе перетруски,
Декабрьский «пардон»
С французского на русский
Как «бунт» переведён...

Там ветреные марши
Над городом глухим
И вдовы-генеральши,
Внимающие им,

Играющая белка
В нетронутой тени,
И мальчик-скороспелка
Над томиком Парни...

1927

Бытие

В чрево матери птица меня принесла,
В некий день я рождён на углу Госпитальной.
В этом доме, где некогда баня была,
Где за баней ютился дом синагогальный.
И индюк, гоготающий, расплёскивал грязь.
Я любил зацветавшие щели молелен —
В них торчал липкий мох — омертвевшая зелень.
Но я рос. Тают годы, как в оттепель снег.
Мох ободран, петух был на Пасху зарезан.
Но люблю этот дом, где был начат мой век.
Ах, не там ли зачат, рождён и обрезан?
Да и как мне забыть мой родной Хаджибей,
Берега Ланжерона меж мыльных зыбей,
И не я ль неуклонно, закинутый, помню
Слободу, Бугаевку и каменоломню.
Волны вечности хлынут и вновь утекут,
Уподобив меня переполненной чаше.
Я ребёнок. Я снова читаю Талмуд
И ищу откровений великого Раши.
Я забыл этот бред и, от книги ушед,
Я познал беззаботность в течение лет,
И древесные шумы, и отклики птичьи,
И дыхание пашен, и ласки девичьи.
Но есть год. Он семнадцатым мечен числом, —
Неуклюж и коряв, как кирпичный обломок.
И не раз и не дважды вспомнят о нём.
И в торбине столетий отыщет потомок.
Этот год, распрямивший согбенные выи,
Взбудоражил инстинкты и спутал стихии.
Пил и я Октября золотое вино,
Воевал под Тамбовом, встречался с Махно;
Нагружал шарабаны, повозки и фуры.
Наступал на Махно, убегал от Петлюры.
И в тюрьму, что похожа была на сераль

(Часовой — и на шомполе солнце полудня) —
Где засовы тяжки и решётчатая сталь,
Я познал одиночество, скуку и будни.
Знаю ныне: меж чуждых и высохших нив
Суждено расхлестать мне желавшее тело.
От младенческих вёсен бродягою быв,
Мне ль бродяжьего можно избегнуть удела?

1923

СЕРГЕЙ БОНДАРИН

* * *

И вот докатился до самого Чёрного моря.
Лермонтов. Листок (1841)

От самого Чёрного моря,
От самых мальчишеских лет
До самого старого горя —
В Сибири теряется след.

И где здесь найдёшь молодое!..
С утра и до поздней поры —
Без песен, а в дружбе с бедою —
Стучат и стучат топоры.

И в самой тайге, поределой
От тех топоров им, от пил,
Для самого грустного дела
Я тоже осинку срубил.

И самый притихший меж нами,
И самый ненужный сейчас,

Казалось, вздыхал временами
О самом понятном для нас.

И в жутком, бесплотном укорё,
Казалось, был важный завет
От самого тёплого моря,
От самых безоблачных лет.

<Конец 1940-х>

Звезда

Звезда играет над тайгою,
Над снежно-искристой землёй, —
Воспоминанье дорогое —
О чём? И точно ли — зимой?

Да! Драгоценное, живое
Очарованье навсегда:
Пахучая — с мороза — хвоя,
Снег, Вифлеемская звезда...

Волхвы... Прости кощунство, Боже, —
Каким волхвам, кому повем?
Скажи, ты на Голгофе тоже
Сквозь слезы видел Вифлеем?

...Звезда Халдеи над тайгою,
И над снегами, в звёздах, —
Ты, Боже, Ты!..

Кто б мог такое
Излить сиянье красоты!

<Конец 1940-х>

СЕМЁН КИРСАНОВ

Долгий дождь

Дождь идёт, дождь идёт.
Молодую догарессу
старый дождь ведёт...
Через душную Одессу,
полумёртвый порт,
молодую догарессу
старый дождь ведёт...

Через дымную завесу
(где разбитый дот)
в тыл, к расстрелянному лесу,
мокрый Додж идёт,
парень держит пулемёт,
дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу
старый дождь ведёт...

Он прижал к лицу ладони,
мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
солнечных волос!
По разбитым бомбой рельсам
пулковских высот
в гимнастёрке догаресса
через дождь идёт...

Боже, свадебное ложе —
тот же эшафот!
Додж идёт. В Палаццо Дожей
хлещет пулемёт.
Парни в вымокшей одежде
Додж ведут на дот.
В золотой собор на мессу
молодую догарессу
старый дождь ведёт.

Это с ними или с нами
долгий дождь идёт
беспорядочными снами
войн и непогод...
С Моста вздохов по дороге,
оскользаясь об лёд,
поседевший, одинокий,
старый дождь идет.

Реквием

Смерти больше нет.
Смерти больше нет.
Больше нет.
Больше нет.
Нет. Нет.
Нет.

Смерти больше нет.
Есть рассветный воздух,
Узкая заря.
Есть роса на розах,
Струйки янтаря
На коре сосновой,
Камень на песке.
Есть начало новой
Клетки в лепестке.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет.
Будет жарким полдень,
Сено, чтоб уснуть.
Солнцем будет пройден
Половинный путь,
Будет из волокон
Скручен узелок.
Лопнет белый кокон,
Вспыхнет василёк.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет!
Родился кузнечик
Пять минут назад,
Странный человек
Зелен и носат,
У него, как зуммер,
Песенка своя,
Оттого, что я
Пять минут как умер,
Смерти больше нет!
Смерти больше нет!
Больше нет!
Нет!

АДЕЛИНА АДАЛИС

* * *

Пейзаж кудряв, глубок, волнист,
Искривлён вбок непоправимо,
Прозрачен, винно-розов, чист,
Как внутренности херувима
И стыдно, что светло везде
И стыдно, что как будто счастье
К деревьям, к воздуху, к воде,
Чуть-чуть порочное пристрастье.
Тот херувим и пьян, и сыт.
Вот тишина! Такой не будет,
Когда я потеряю стыд
И мелкий лес меня осудит.
Быть может, Бог, скворец, овца,
Аэроплан, корабль, карета,
Видали этот мир с лица, —

Но я внутри его согрета.
А к липам серый свет прилип,
И липы привыкают к маю,
Смотрю на лёгкость этих лип
И ничего не понимаю.
Быть может, тёплый ветер — месть;
Быть может, ясный свет — изгнание;
Быть может, наша жизнь и есть
Посмертное существование.

* * *

Ах, хорошо, в твоих руках дымясь,
Неловко изворачиваясь; частью
Сухих волос для смеху оплеться,
То грудь, то шею подставляя счастью,
Додумывать — пусти мои слова
Расследовать — и сослепу не тронь их!
О зрелищах Вселенной: но едва
О зрелищах, начать об электронах...
Но лучшее, когда не в слух, но в такт,
Не пульс, а так: когда не кожа — камедь;
И так смешишь и убиваешь так,
Вернётся стихотворческая память!
И не спешу с воображеньем строк,
Пока нейдёт, пока совсем не придёт
Из верных рук ритмический урок,
Из тёплых глаз таинственный эпитет.
Так ощущать, так связывать покой!
Так осязать на сонном попеченье,
Сквозь бред ума и жар его сухой,
Законных ласк прохладное течение!

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

Пожарище

Я вижу город детства моего,
И мне не надо больше ничего.
Доходный дом, в котором я родился,
Домовый двор, которым я гордился,
Гнилого неба маленький кусок,
Печной трубы опухшее колено
И дерево — рогатое полено,
Уткнувшееся головой в песок.

Я вижу город, где меня встречали
Былой любви восторги и печали.
Я вижу пыль его дрянных садов,
Я вижу гавань, полную судов,
Окраины, заставы и задворки,
Органчики, бумажные цветы,
Плеск поцелуев, запах дынной корки
И женский смех на грани темноты.

Здесь я мечтал в мансарде заповедной,
Здесь я кичился нищетой наследной.
Я жил один. Мне было всё равно.
По вечерам я отворял окно
На море крыш, на тлеющие гребни
Кирпичных гор, на городской предел,
И я не знал, что может быть волшебней
Живого сна, который мной владел.
Передо мной дымилась пирамида
И подымались сомкнутой стеной
Висячие сады Семирамиды,
Учебники науки жестяной.
И я зубрил наглядные уроки:
Глубокий двор и горизонт широкий.
Подмяв локтями гипсовый карниз,
Я до отказа наклонялся вниз,

В бродило тьмы, где золотой калачик
Изображал насущный хлеб людской
И голоса трудолюбивых прачек
Переполюблились подлинной тоской.
Я совершал далекие прогулки,
Торчал часами в каждом переулке.
Облюбовав какой-нибудь фасад,
Я голову закидывал назад,
Потом кидался со всего размаху,
Как на арену — головой вперёд,
Под бутафорский купол у ворот,
Похожий на черкесскую папаху.

Кого искал я? Что меня влекло
На лестницу, обитую железом?
Она, как орудийное жерло,
Вела мой шаг по винтовым нарезам.
Я подымался и, не чуя ног,
Дрожащим пальцем нажимал звонок.
Дверь отворялась. Лёгкие воланы
За ней мерцали, белизной дразня.
Но этот рай постылый и желанный
Дыханьем лжи окаменил меня.
И тени, что слетались к изголовью
Благословить двойных объятий плен,
Глухие просьбы, шёпот клятв: «I love you» —
«Ich liebe dich...»

Всё это прах и тлен.
Я строил храмы, опьянённый зодчий,
И вот — лежат в развалинах, в пыли,
У ног моих... Бессовестные ночи!
Они меня вкруг пальца обвели!

И снова ночь — коварна и тениста.
Всё затопила смоляная тьма.
Подобно книгам в лавке букиниста,
На мостовой валяются дома,
И между ними, в каждом промежутке,
Где гаснет даже месяц молодой,
Таятся опечатанные будки
С гремучей газированной водой.
Я шествую вдоль улицы пустынной,
Сжав кулаки, поросшие щетиной,

И вижу город моего стыда:
Он был, он есть, он будет навсегда,
Как узелок, завязанный на память,
Как след происхожденья моего,
Я не могу его переупрямить,
И мне не надо больше ничего.

Пусть он сгорит со всеми потрохами —
Доходный дом, где я грешил стишками,
Домовый двор, наполненный трухой,
Вся эта гниль, весь этот скарб сухой,
Чумные стены, дыры и заплаты,
Заборов угловатые края...
Пускай сгорят лачуги и палаты,
А заодно и молодость моя!

Беспечной спичкой, праздничным огарком
Ему судьба, как пальцем, погрозит,
Назло громоотводам и флюгаркам
Негаданная молния сразит.
Иль, может быть, играющие дети,
Куря табак в заброшенном клозете,
Затеют бой, свернут газетный жгут
И незаметно город подожгут...

Быть может, ночью мне поможет случай,
Слепой зарей иль на исходе дня:
Из всех щелей прорвётся дым колючий,
И вспыхнет эпидемия огня.
Под хлопанье простынь и полотенец,
Развешанных на гулких чердаках,
Проснётся в зыбке розовый младенец
С египетскими змеями в руках.
Он кажется подростком безбородым,
Он слишком юн, чтоб довершить свой суд,
Но небеса подушку с кислородом
К его губам, как соску, поднесут.
Теперь огонь мужает с каждым часом,
Он ширится, он обрастает мясом,
Бодает стены козлорогим лбом,
Мурлычет, изгибается горбом...
Гори, гори, мой город обречённый,
Летучим пеплом прыгай по волнам!

Пускай твои беспомощные стоны
О мужестве напоминают нам.

Когда ж, сражённый солнечным ударом,
Весь в пламени умрёт последний дом,
На черепках, на пепелище старом
Мы новый город за ночь возведём.
Из гекатомбы переулков тесных
Он вырастет, как дерево, живой,
Дыша грозой, касаясь туч небесных
Своей неукротимой головой.

1932

СЕМЁН Липкин

В толпе

Здесь, в городе большом,
Где жизнь бежит широко,
Но, как в краю глухом,
Мертва и одинока,

В торговый, шумный час,
В толпе, за разговором,
Что наполняет нас
Житейским, дельным взором,

Сверкнула мне гроза
Любви моей незрячей,
И я узнал глаза
Под влагою горячей.

Прошли передо мной
Восторги, неудачи,

Гражданскою войной
Разрушенные дачи,

Свиданье, тёмный двор
Среди полуразвалин,
Я снова то хитёр,
То злобен, то печален.

Далёкий от всего,
Под блеском звёзд бездомных
Не вижу ничего
Я, кроме глаз огромных,

Слезами полных глаз,
Горящих верой зыбкой,
Где всё же сбереглась
Улыбка — не улыбка...

И вдруг открылось мне,
Что не сломить ей козней,
Что дело не во мне,
Что дело посерьёзней,

А звёзды, ночь, обрыв
И знать не знали горя,
И ясен был призыв
Невидимого моря.

1936

Зола

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Ещё и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шёл среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «Мерседесы».
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

1967

Якиманка

Аркадий, друг с одесских лет,
Художник юный и поэт,
Втроём — с женой, с ребёнком малым
(Насколько помню — годовалым),
Родителям наперекор
Снял комнату на Якиманке.
Вхожу в замоскворецкий двор
Со свёртком (колбаса, баранки).
В снегу задумчиво залёг
Одноэтажный флигелёк.

Квартиросъёмщик, старец плотный,
Иконописец безработный,
Нам говорит, хлебнув чайку:
«Толпа идёт по большаку.
Все видят: от толпы безвестной
В степи исходит свет чудесный.
Вопрос друг другу задают:
“Из рая ли они идут?”
Так ваш народ, гласит преданье,
Обрёл Израиля прозвание».

Сказал, нисколько не шутя.
В кровати плакало дитя.
И вдруг в движенье долгом, гулком,
От церковки за переулком,
До нас мелодия дошла:
Звонят, звонят колокола!
Давно былое отмечалось.
Что мне от прежних дней осталось?
Какою памятью богат?
Колокола звонят, звонят,
Колокола звонят...

1992

МАРГАРИТА АЛИГЕР

Ночь накануне

Флоренция, тоска моя, Тоскана!
Как коротко, как смутно, как давно...
Как будто из тяжёлого стакана
пью старое тяжёлое вино.
Он долго длится, этот поздний ужин.
Флоренция мне шепчет: отдохни.
Лукавая, твой отдых мне не нужен,
когда мы наконец с тобой одни.
Лицом к лицу с тобой и с глазу на глаз,
на площадях, на плитах, на кострах...
Не знаю, это доблесть или наглость,
и что сильнее, радость или страх.
И что-то будет, если я отважусь?
Но мне уже ничем нельзя помочь.
Флоренция, какая это тяжесть
сладчайшая... Вся жизнь как эта ночь!

Позеленевший, выщербленный камень,
как будто бы застывшие века.
Исполненными трепета руками
я только прикоснусь к нему слегка,
глотну его сухой тревожной пыли,
историю пригублю, как вино,
то самое, — его в столетьях пили.
Как коротко, как смутно, как давно...

Торжественно, невидимо, коварно,
как будто бы история сама,
свои ночные воды катит Арно,
готовая вот-вот сойти с ума.

Её ночная свежесть губы студит.
И кажется: река уходит прочь.
Ах, что-то будет завтра, что-то будет!
Флоренция! — вся жизнь — как эта ночь!

Ещё спокойна южная Европа,
в её пределах нет ещё войны,
чумы, землетрясения, потопа,
и ночь ещё показывает сны.
Ещё спокойна площадь Синьории,
и статуи во мраке чуть видны,
и камни предрассветные, сырые,
сквозь башмаки тревожно-холодны.
Но где-то ладят бурю, рубят стропы...
Грядущее зловеще и темно.
Флоренция — сокровища Европы!
Как коротко, как смутно, как давно...

Уже рассвет. Уже у Санта-Кроче
ударил во все колокола.
И жизнь моя на эту ночь короче.
Но эта ночь в судьбе моей была.
И жизнь моя на эту ночь длиннее.
И эта ночь в судьбе моей — одна!
Так растворяйся в ней, сливайся с нею
и пей свою Флоренцию до дна!

Суббота

Суббота в городе чужом,
на берегу чужого моря,
за пограничным рубежом
забот, обыденности, горя.

Как будто бы тупым ножом
меня от них отрезал кто-то.
...Суббота в городе чужом.
Ах, в городе чужом суббота!

Как странно не иметь задач,
не ждать чего-то и кого-то.
День так огромен и горяч...
Ах, в городе чужом суббота!

Как странно, что уже закат,
что люди, сбросив день со счёта,

куда-то все-таки спешат.
Ах, в городе чужом суббота!

Огни горят, огни горят!
Огни от центра до окраин.
И кто тут прав, кто виноват?
И кто тут гость, и кто хозяин?

И где тут боль? И где тут злость?
И где тут гнев и где досада?
Но я, однако, только гость,
и забывать о том не надо.

Огни горят, огни горят
над морем, над толпой плывущей.
Я молча поднимаю взгляд
туда, где ночь темней и гуще.

Где нет отелей и гостей.
Где есть уступы и вершины.
Где, не сбавляя скоростей,
проходят редкие машины.

Ах, покажи мне, покажи,
республика, не только виллы —
твои крутые виражи,
твои святые рубежи
и партизанские могилы.

Огни горят, огни горят,
от напряженья на пределе.
Но в понедельник, говорят,
начнётся новая неделя.

И для меня её восход —
как знак посадки для пилота
на той земле, где кто-то ждёт...
Ах, в городе чужом суббота!

АСАР ЭППЕЛЬ

Молдаванка

День, как белая невеста,
Ночь, как фрак на аферисте,
На Привозе за бесценок
Приобрёл трубу архангел...
Кто-то вышел прогуляться,
Но обратно не вернётся.
Кто-то спросит старый адрес,
Но ответа не запомнит...
Молдаванка...

Это нас вспоили мёдом
Те янтарные помойки.
Нам наплакала шарманка.
Молдаванка.
Ночью ломтик лунной брынзы.
Оловянный дождь к обеду.
Накрахмаленные крылья.
Парусиновые перья.
Молдаванка...

Молдаванка! Молдаванка!
В перстенёчках оборванка —
Сине море нежит ножки,
Солнце нижеет белый жемчуг.

Всё хлопочем — жить не хотим,
Фонари нахально мочим
Тоненькие финикийцы
И дегтярные хохлы.

Лавочница, каторжанка,
На копейку интриганка,
Дни и ночи,
Между прочим, —
По тебе сажу и плачу,
Молдаванка...

Середина 1980-х

«Под весёлым одесским небом...»

Юрий Олеша

Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе

Я жил тогда в Одессе пыльной...
«Евгений Онегин»

Об удивительном эксцессе
Я в звучных строфах расскажу...
Опять я в солнечной Одессе
По шумным улицам брожу...
В жабо, во фраке старомодном.
Но всё же денди благородным.
Я стал посмешищем для всех!
То слышу сзади скрытый смех.
То сожалеющие вздохи,
То чей-то глупый разговор,
Что я, мол, выгнанный актёр! —
Но, впрочем, гость другой эпохи
Своим костюмом рассмешит
Не только тех, кто одессит...

Как изменилось всё... Одессу
Узнать теперь огромный труд, —
Да, впрочем, прежнего повесу
Во мне ведь тоже не найдут,
Того скучающего франта.
Что без особого таланта
Умел прельщать дебелих дам
Иль по неведомым следам
Лихим героем из картинки
Врывался в девичьи мечты.
Как плевел в вешние цветы,

И друга в глупом поединке
Убил рассеянной рукой...
О, нет! — Я стал совсем другой.

Меж всеми уголками мира
Меня особенно всегда
Пленяет Южная Пальмира.
Слегка ажурится вода,
У берегов звеня жемчужно...
Конечно, выкупаться нужно, —
И в семь часов прервавши сон,
Душою тих и беспечален...
Иду по берегу... Бычки
Так вкусно жарят рыбаки,
А у Синицынских купален
(О современность, это — ты!)
Стоят безмолвные хвосты...

Заняв прохладную кабинку,
Освобождаю телеса.
Потом на стройную блондинку
Гляжу сквозь щёлку с полчаса.
Ей от воды свежо и бодро.
Загар целует грудь и бедра, —
Из пены, кажется, она.
Как Афродита, рождена!
А вот — пленительная группа:
С ногами тощими юнец
И толстый грек, его отец,
Обросший до и ниже пупа.
Лежат, где влага так светла,
Подняв прыщавые тела...

Потом легко по косогору
Взбираться в этот жаркий час.
И так приятен в эту пору
В «буфете» благодатный квас...
Один стакан — за шесть копеек!
Ах, время жареных индеек,
Пирожных, водки (сладкий звук!)
И «Salve» — 6 за десять штук!
Ни о войне, ни о свободах
Не слышал в эти дни никто, —

Но тридцать стоило пальто.
И даже в «Минеральных водах»
(Какая сладостная быль!)
Пятак — вода и ром-ваниль!

Иду, с надрывом вспоминая
Невозвратимые года.
Об изобилии трамвая.
Сновавшего туда-сюда...
Теперь смотрю, у остановки
Семейство, франты и торговли
Стоят, обедают и спят,
Собой являя редкий клад
Для предприимчивых мальчишек...
Но вот проносится вагон,
Облепленный со всех сторон
Крикливой массой из людишек, —
Мелькнёт, как гений быстроты, —
И все стоят, разинув рты...

Дошёл до парка... Так приятно
Дорогой теневой идти.
Узорят солнечные пятна
Трескучий гравий по пути...
Тут смотрит в небо неуклонно
С целковым мраморным колонна,
И рядом (кой-кому урок!)
Гниёт чахоточный дубок...
Направо, вознесясь сурово.
Увитый гнёздами ворон.
Стоит, как призрак, павильон —
Остаток жертвы Толмачёва,
Что тихо гасла от чумы.
Взбурлив трусливые умы...

Вот я и в городе... Тут кони
По звонким мостовым стучат,
И аппетитно у Фанкони
Дымит горячий шоколад
...О, время прежнее... Как было
Здесь в этом городе всё мило
Для Пушкина и для меня!
Тогда мы с ним, с начала дня,

Искали чувственных гармоний —
То у Отона, где всегда
Бонтонны гости и еда,
То там, где дивная Тальони
Вложила силу и талант
В неподражаемый пуант.

Но, распрощавшись с днями теми,
Я возродился там, где новь
Сочла по карточной системе
И хлеб, и сахар, и любовь!
Вот общий вывод (буду краток):
Невероятный недостаток
Во всём в последние лета
Заел одесских tiers-etat..
Хоть, дыры прежнего заштопав.
Они хотят на лучший путь
С размаху сразу повернуть, —
Но здесь от разных зам «Оснопов»
По воле царственной руки
Есть много мук и нет муки...

И вот, в карманах хоть не пусто,
(Чтоб быть богатым — есть война).
Сидят за столиками густо
В safe у Поля Робина,
И в ожиданье лучшей доли
Сухие трескают франзоли...
Тут, между прочим, я бы мог
Заметить вкратце между строк.
Что Робина — одесский форум,
Где всякий кажется иным.
Где жизнь по клавишам пустым
Бренча усиленным мажором.
Выводит пошленький мотив,
Двуногих в пляске закрутив...

Двенадцать... Жарко... Душный запах
Льёт раскалённая смола...
Тут спекулянты в жирных лапах
Решают «чистые» дела...
(Порода их едва открыта:
Так что-то вроде паразита,

И там лишь водится оно.
Где сено, сахар и сукно)...
Бранятся, путаются в счётах
И, наслюнив карандаши,
Записывают барыши
В своих засаленных блокнотах...
И слышно: «Хлеб», — «Беру». — «Фасоль»,
«Есть франко-Гомель», «Счёт-онколь!».

Висит туманом дым табачный.
Не умолкает разговор.
В углу о сделке неудачной.
Грустит над кофе мародёр...
Тут кто-то в промежутках торга,
Захлёбываясь от восторга
И затопив слюною рот.
Рассказывает анекдот...
А после франтик лопухий,
Влетев с разбега на крыльцо.
Состроит страшное лицо
И шёпотом разносит слухи.
Что будто с Марса на Фонтан
Упал немецкий гидроплан...

Потом, когда в усталом тоне
Растает жёлтый горизонт, —
У Робина и у Фанкони
Блестит нарядами бомонд...
Тут paradisы, и панамы,
И офицерики, и дамы,
И журналист, и земгусар...
Смешался аромат сигар
С духами, пылью и угаром...
По улице летят в театр
Кареты здешних Клеопатр.
И вдруг мелькнёт мясистым шаром
Пыхтя, как порченный мотор.
Известный фарсовый актёр...

Тут шум и говор целый вечер.
Как в день базарный на шоссе.
Но ёжатся под шёлком плечи
От холода *café-glace*

Да и от сырости... Наглее
Становятся ночные феи.
В надежде каждая на то.
Что кто-нибудь с собой в авто
Её возьмёт... Safe пустеет...
Ещё мне слышен вялый крик
Мальчишки, продавца гвоздик.
...А вдалеке бульвар чернеет.
И Дюк с протянутой рукой
Стоит во мгле, как часовой...

Но как я глупо многословно
(А это худшее, ей-ей)
Когда-нибудь я изготовлю.
На удосуженности дней
Роман огромный, глав хоть на сто.
(Такие были прежде часто) —
Там в многоречие пушусь
И вволю уж наговорюсь...
Но ведь сказать я должен много —
Одессу-маму, как-никак,
А описать ведь не пустяк, —
И, кроме этого, ей-Богу,
С уничтоженьем буквы ять
Всем стало так легко писать!

Какой своеобразный город...
Здесь, не тревожась ни о чём,
Хоть мрак прожектором распорот
В ночи, как огненным мечом, —
Все спят у вражьего порога
В одесского поверив Бога.
И, право, помните, — не раз
Он их спасал в тяжёлый час —
От злонаправленных орудий,
В пятидесятые года
(Соврал ли цифру?) и когда
На mine сгинул Месаксуди...
Pardon! — «Меджидие», — но тут
Его евреи так зовут.

Ах, одесситы все готовы
На новый лад слова менять —

Здесь лишь разводятся коровы,
Написанные через ять...
Не спекулянт, а спекулятор,
Не симулянт, а симулятор,
Понтить — здесь означает врать.
Взамен форсить — фасон ломать;
Увы, к последнему примеру
Нам не добраться — их полно,
И ведь не ново: уж давно
Себе блестящую карьеру
На этом сделал, мстя за свист,
Небезызвестный юморист.

Но всё же милая Одесса,
Где так сиренева сирень,
И от зелёного навеса
Листвы не жарок летний день,
Где в шуме греческих кофеен
Сидишь, экзотикой оваян,
Где на концертах, и в кино,
И в ресторанах — всё полно;
Где у брекватора несменно,
Направив жерла в дальний лоб,
Стоит решительный «Синоп»
И где горят попеременно
(Беру для рифмы «падекатр»)
Сибиряков или театр.

Где слышит запоздалый путник
Кондукторское «нет местов».
Где биржевой оратор Гутник,
Когда свободы путь готов,
Свободы требует народной,
И там, где Финкель благородный
Собрал в поток нежнейших слёз
Окурки царских папирос;
Где с одинаковым подъёмом
Готовы всем ура кричать
И с поклонением бежать
Ко всем прославленным хорам:
Лишь кто-нибудь воздвиг алтарь —
Керенский, Линдер или царь!

Пора кончать. В моём рассказе
(О непростительный пробел!)
Я о Хари и Ашкинази
Сказать ни слова не успел...
Но, впрочем, лишняя услуга:
Они ведь с севера до юга
Известны каждому (увы!).
От Аргентины до Москвы,
От Гонолулу и до Марса...
Ах, что об Анатра сказать?
Умеет кой-куда летать,
Пилот, любимец Каульбарса.
Я умолкаю и на том
Поздравлю вас, друзья, с концом.

1917

*Эдуард Багрицкий
Георгий Шенгели*

Месть Калиостро

Сцена представляет собою уголок за трельяжем в зале Калистрова дворца.
Доносится музыка. Калиостро смотрит сквозь ширмы в зал.

Калиостро:

Музыка два часа гремит,
И вот, с арапом два часа скользит.
Лилейну шею наклоня
И пальчиками свой роброн
С лукавством приподымая,
К арапу ластится. А он,
На монстра некого похожий,
Своею наваксенной рожей
Ей ухмыляется, пыхтит...
О-о. Непереносимый вид.
А я, мудрец, познавший книги
И тайны древние собрав,
Любови тягостной вериги
Влачу и не имею прав
Ни ручку не пожать воздушно,
Ни к башмачку её припасть...
О, как пребыть мне равнодушно,
Когда сию я вижу часть,
Что негр её душой владеет
И нежну ладошку её
Своею дланию лелеет
И страстна Хлоя не умеет
Сердечко убережь своё..

Впархивает княжа Елена. Следом за нею арап Ибрагим в мундире гвардейского офицера.

Ибрагим:

Сюда, любезная княжна.
Здесь, в тишине уединенной,
Уханьем розы напоенной,
Минута сладка суждена.

Княжна:

О, сколь приятно здесь. А все же
На ваших диких островах
Стократ приятнее...

(замечает Калиостро)

Мой Боже,

Сей человек внушает страх.
Как смотрит он. Какие взгляды
Он мечет...

Калиостро:

О, княжна, я рад
Вас не пугать. Пускай услады
Вас лёгким хором окружают.
Пускай, исполнена прохлады,
Речь Ибрагима зажурчит
Ручьём текучим. Пусть наяды
Хрустальный смех вас упоит.
А я — я ухожу: там гости
Меня зовут на краткий миг

(в сторону)

Чорт побери. Себе от злости
Готов я откусить язык.

Делая вид, что удаляется, прячется в складках занавесей.

Княжна:

Убрался сей волшебник старый.
О, Ибрагим, я так робка.
Я всюду чую злобны чары.
Его костлявая рука
Меня преследует незримо,
И я укрыться не вольна.

Ибрагим:

О, под защитой Ибрагима
Вы в безопасности, княжна.

Княжна:

Ах, ваша мощная ладонь...

Ибрагим (*обнимая княжну*):

Не правда ли, она пылает.

Княжна:

О, друг, не тронь меня, не тронь;
В твоих объятьях сердце тает,
И некий сладостный огонь
Его любовно пронизает.

Ибрагим:

Вот и чудесно.
(*Целует её.*)

Калиостро:

Асмодей.
Они целуются. Злодей.
Нет. Должно мне её избавить
От козней негра и направить
Её любовь в пристойный путь.
Но как влияние покачнуть
Широкогубого злодея.
Приди на помощь, колдовство.
С тобою сокрушить его
Незамедлительно сумею.
Пусть нежная душа княжны
Переселится в негра тело.
Она узнает, как гнусны
И плоть, и страсть его и дело.
И что с араповой душой
Соделать мне? Куда я дену
Сей дух нелепый и глухой?
А... Вот. Я совершу подмену.
Пусть поменяются они
Своими душами на время.
(*делает пассы и читает заклинания*)
Трулу кашками барогани
Верьяматхобен мулу тремя
Паракомулу игадзушу
Иккимугалу зик динджир
Твою переселяю душу,

Твою.. Гарбениум кабир.
Готово.
(Исчезает.)

Княжна и Ибрагим, кружившиеся во время пассивов, как наглотавшиеся вишен из-под наливки птицы, падают на отдалённые стулья и погружаются в сон.

Входят друзья Ибрагима — Первый и Второй.

Первый:

Он, конечно, здесь,
В сетях пленительной любви
И пыжится.

Второй:

Пусть кинет спесь,
Присущу африканской крови,
Да сядем в ломбер. Ибрагим!
(Расталкивает его.)
Пойдём сыграем.

Ибрагим:

Ах, мой боже,
Предерзкий! Да на что похоже
Все поведенье ваше! Ах!

Первый:

Да не ломайся, что за чванство!

Ибрагим:

Непереносное буянство!
Но что я зрю? О холодный страх!
Мои в чём ноги?

Второй:

В чём? В штанах.

Ибрагим:

О небеса! Я упадаю
В беспамятстве. Воды, воды!

Первый:

Пора из радостного раю
Его исторгнуть. Но куда?

Второй:

Ведём его. Впервые вижу,
Что наш весёлый Ибрагим,
Как будто пышному Парижу,
Штанам дивуется своим.
Ну что ж, и снять их можно право...
(*Уводят Ибрагима.*)

Ибрагим (*исчезая*):

О где моя девичья слава...

Молчанье. Входит мать княжны Елены, княгиня Непарнокопытная.

Княгиня (*заметив дочь, будит её поцелуем*):

Ты здесь, Еленочка, одна.
Устала, душенька, наверно?

Княжна:

Отдыди, гробовая скверна!
Сегодня пост. Иль ты пьяна,
Что лезешь с ветхим поцелуем?
Иной я страстию волнуем:
Где ты, любезная княжна?..

Княгиня:

О, дочь!..

Княжна:

Я — дочь? Сие ужасно,
Чтобы гвардейский капитан
Так поносим был, иль я пьян?
Уйди тебе быть здесь опасно!

Княгиня:

Да что с тобою, дочь моя?

Княжна:

Уйди! А что то сухо в глотке!
Пришли сюда графинчик водки
Да пирога...

Княгиня:

Мешаюсь я.
Князь, князь!..

Входит князь Непарнокопытный.

Князь:

Что здесь за суматоха?

Княгиня:

Елена повредилась.

Князь:

Что?

Княжна (*вытаскивая у князя из жилетного кармана табакерку*):

Да, табачку нюхнуть неплохо...

Князь:

Закрой, чтоб не видал никто.

Княгиня загораживает дочь фижмами.

Пошлёт же бог такое чудо...
Скорей ведём её отсюда!

Княжна:

О, Господи, на мне роброн!
Я драться буду! Страшный сон!
Куда моя девалась шпага?
Нет, изменяет мне отвага...

Князь:

Уймись Елена!

Княжна:

Семь чертей
И восемь ведьм вам в зубы!

Княгиня:

Дочка,
Слова какие! Ей-же-ей
Мешаюсь я...

Княжна:

Молчи ты, квочка!
Спасите! Ой, ко мне, друзья!

Князь:

Тащи её, жена моя.

Утаскивают княжну. Появляется Калиостро.

Калиостро:

Всё рухнуло: Душа Елены,
Что в чёрном теле пленена,
Плодов не узрит перемены.
В руках товарищей, пьяна,
Она безумствует, страдает,
И Ибрагим её вдвое мил,
И южно-африканский пыл
Её любовь вдвойне вздувает.
Ах, я, дурак, понять не мог,
Что тело нежное Елены,
Арапским духом напоено,
Удвоит сладострастья ток.
Ах, я, дурак...

Вбегает Ибрагим, весь в слезах.

Ибрагим:

Спасите: там
Они в меня коньяк вливают,
Табачным дымом окуряют.
Что, если разгласится срам?!

Вбегает княжна.

Княжна:

С поносной не мирюсь судьбою.
Они меня, как дурака,
Святой, но трезвою водою
Опрыскивали с уголька.

Вбегают князь и княгиня.

Князь:

Она опять сюда сбежала,
Ужели прежнего ей мало!

Княгиня (*замечая Калиостро*):

О, добродетельный Жозеф,
Вы — маг, блистательный и тонкий,
Небесный отвратите гнев
От сей свихнувшейся девчонки!

Вбегают друзья Ибрагима.

Первый:

Он здесь! Держи его, хватай!

Второй:

Чёрт! Он кусается! Ай-ай!..

Ибрагим:

Неопытну спасите деву!

Первый:

О, граф Жозеф, не дайте гневу
Небесному его пожрать!

Княгиня:

Исполните! Вас просит мать..

Калиостро:

Согласен. Но одно условие:
Елена с нежною любовью
Облобызает пусть меня, -
Тогда их расколдую я.

Ибрагим:

Согласна!

Кидается на шею Калиостро и целует его.

Калиостро:

Отвяжись, арап!
(*Подходит к княжне.*)
Княжна, ваш преданнейший раб,
Не возмущаясь, не ревнуя,
Покорно просит поцелуя.

Княжна:

Отыди, мерзкий шарлатан!
Чтобы гвардейский капитан
С женщиной поцелуй тратил!..

Калиостро:

Нет. Видно я совсем уж спятил
От буйных треволнений сих.
Расколдовать их нужно ране.
(Делает пассы.)
Лулувикос гарем лабих
Лотопрем эманаско хани.
Готово.

Княжна:

Ах!

Ибрагим:

О, сколь приятно:
Моя душа пришла обратно.

Калиостро:

Ну, князь, уж коль на то пошло,
Елену выдать замуж надо.

Ибрагим *(устремляясь к княжне):*

Моя небесная услада!

Княжна:

Так нас несчастье сопрягло.

Князь *(разводя их):*

Ещё подумать надо.

Калиостро:

Бросьте!
Чего там думать! Поскорей
Вы повенчайте сих детей,
Да и меня зовите в гости,

Князь:

И то резон.

Благословляет Елену и Ибрагима.

Калиостро:

Теперь, друзья,
Вас всех благословляю я.

(Поёт)

Моя любовь, Елена,
Безмерно велика:
Вас с негром съединила
Влюблённого рука.

Князь *(поёт)*:

Что ж, если всё прилично,
Доволен и отец.
Идите в церковь, дети,
Принять святой венец.
Да будет вам судьбина,
Как нежный пух, легка:
Ведь вас соединила
Влюблённого рука!

Княгиня *(поёт)*:

О, капитан, храните,
Сокровище моё,
Она хоть своенравна, —
Лелейте все ж её.
Поранила любовью
Вас тетива стрелка
И к браку привела вас
Влюблённого рука!

Друзья *(поют)*:

Оставлен пунш горячий,
Забыв зелёный стол,
И капитан гвардейский
Благой приют нашёл.
Так поцелуй, товарищ,
Уста нежней цветка:
Ведь вас соединила
Влюблённого рука!

Ибрагим, Княжна *(поют)*:

Нам розами Купидон
Устлал тернистый путь,

Уста он свёл с устами
И с нежной грудью грудь.
И наша страсть, волнуясь,
Как море широка:
Ведь нас соединила
Влюблённого рука!

Все (*поют*):

О счастье, о радость,
О неги, о покой!
К нам Гимен сладкогласный
Привёл восторгов рой.
Так радуемся ж вместе:
Спокойна и легка
Вас, дети, съединила
Влюблённого рука!

1920



**Памятник основателям Одессы —
памятник Екатерине Великой и ее сподвижникам —
де Рибасу, де Волану,
Потемкину и Зубову.
Екатерининская площадь**

детская площадка



Ну, а как же я буду в апреле
Без базара на вербной неделе?
Жалко также и новых коньков:
Там, пожалуй, не будет катков...
Жалко маму, котёнка и братца...
Нет, уж лучше остаться...

Апельсиновые корки

Горько жить мне, очень горько, —
Все ушли, и я один...
Шебаршит мышонок в норке,
Я грызу, вздыхая, корки, —
Съел давно я апельсин.

Час я плакал — длинный-длинный, —
Не идёт уже слеза.
Соком корки апельсиновой
Я побрызгаю глаза.

Запасусь опять слезами,
Буду плакать хоть полдня, —
Пусть придут, увидят сами,
Как обидели меня.

Беглец

Посвящается Гале Ч.

Утром Гришка удрал в Америку.
Боже мой, как его искали!
Мама с бабушкой впали в истерику,
Мне забыли на платье снять мерку,
И не звали играть на рояли...
Гришку целые сутки искали —
И нашли на Приморском вокзале.
Папа долго его ругал,
Путешествия звал ерундой...
Гриша ногти кусал и молчал, —
Гриша очень неловок и мал.

Но я знаю, что он — герой.
И в подарок бесстрашному Гришке
Вышиваю закладку для книжки,
Красным шёлком по синему полю:
«Герою, попавшему в неволю».

Вера Инбер

О мальчике с веснушками

Бывают на свете
Несчастные дети.
Ребёнок — ведь он человек.
Веснушек у Боба
Ужасно как много,
И ясно, что это навек.

Ресницы и брови
Краснее моркови,
Глаза, как желток. А лицо —
Сплошная веснушка,
Как будто кукушка
Большое снесла яйцо.

Кто зло, кто без злобы
Смеётся над Бобом.
Соседская лошадь — и та,
Впрягаясь в тележку,
Скрывает усмешку
Особым движеньем хвоста.

И Боб, это зная,
Робеет, хотя и

Ни в чем остальных не глупей.
Он первый из школы
Усвоил глаголы
И нрав десятичных дробей.

Ведь как бы иначе
Решал он задачи
Для девочки с ближней скамьи
Для маленькой Дороти
С бантом на вороте,
Из строгой-престрогой семьи.

И Дороти, ради
Ответа в тетради,
Сулит ему дружбу по гроб.
Но после урока
Домой одиноко
Уходит веснушчатый Боб.

И думает: кто же
К нему расположен,
Понятно, из тех, кто не слеп.
Как выбиться в люди,
И как же он будет
Себе зарабатывать хлеб.

И, лёжа в постели,
Грустит, — неужели
Он так-таки в цирк не пойдёт,
Где звери и маги,
Которые шпаги
Глощают, как мы — бутерброд...

Но как-то на крыше
Прочёл он афиши,
Что фирме Дринкоутер и Грей
Нужны для рекламы
Мужчины и дамы
С веснушками, и поскорей.

Пришёл он последний.
Все стулья в передней —
Всё занято было сплошь, но

Напрасная проба,—
С веснушками Боба
Тягаться им было смешно.

Дринкоутер и Грей
Поглядел из дверей
На Боба и был восхищён.
Другие веснушки
Шепнули друг дружке,
Что, видно, приём прекращён.

Условия были:
Помесячно или
Полдоллара в день и еда
Из лучшей колбасной.
Спросили: «Согласны?»
И Боб им ответил, что да.

И профили Боба
По ниточке строго
В длину разделили, как флаг.
Один для контраста
Намазали пастой,
Другой же оставили так.

И стало понятно,
Что рыжие пятна
Теперь уже снега белей.
«Лечение приятно,
Образчик бесплатно
На складе Дринкоутер и Грей.

Поверьте успеху!»
И вот на потеху
Всем людям и всем лошадям,
Решимости полон,
Двухцветный пошёл он
По улицам и площадям.

Пускай посторонние
Люди и кони
Смеются. Ему нипочём.
Полдоллара — это

Такая монета,
Что в цирк он пройдёт богачом.

Но даже в столице —
Стотысячелицей —
Хотя и не часто, но ведь
Бывают же встречи
Такие, что лечь и —
Немедленно же умереть.

И Боб, как картофель
Отрезавший профиль
И на день продавший купцу,
С тактичной, хорошей
Соседскою лошадыю
Встретился мордой к лицу.

И в сторону Бобью
Взглянув исподлобья,
Та лошадь заржала смеясь:
«Да это не Боб ли?»
И даже оглобли
Присели от хохота в грязь.

И Боб, уничтоженный,
Обмер до дрожи,
И профиль — не тот, а другой,
Стал розовым очень
От этой пощёчины,
Данной честной ногой.

И красный, толкая
Дома и трамваи,
Срывая с одежды плакат
С различными пломбами,
Пёстрою бомбой
Влетел он в аптекарский склад.

«Дринкоутер и Грей!
Пред лицом лошадей
Позорно порочить людей!
Мне денег не надо,
Нужна мне помада!
Прощайте, Дринкоутер и Грей.

Я вынесу стойко
Хоть голод, какой кол-
басою меня ни корми!»
И с гордой осанкой,
Без денег, но с банкой
Боб вышел и хлопнул дверьми.

Судьба — лотерея:
Дринкоутер и Грея
Скосили плохие дела,
А Бобу не цирк, а
Веснушечья стирка
Гораздо важнее была.

И с этого часа
Он староста класса,
Он ставит спектакли зимой.
И девочку Дороти,
Лучшую в городе,
Он провожает домой.

1927

Корней Чуковский

Обжора

Была у меня сестра,
Сидела она у костра
И большого поймала в костре осетра.

Но был осетёр
Хитёр
И снова нырнул в костёр.

И осталась она голодна,
Без обеда осталась она.
Три дня ничего не ела,
Ни крошки во рту не имела.
Только и съела, бедняга,
Что пятьдесят поросят,
Да полсотни гусят,
Да десяток цыпляток,
Да утят десятком,
Да кусок пирога
Чуть побольше того стога,
Да двадцать бочонков
Солёных опёнков,
Да четыре горшка
Молока,
Да тридцать вязанок
Баранок,
Да сорок четыре блина.
И с голоду так исхудала она,
Что не войти ей теперь
В эту дверь.
А если в какую войдёт,
Так уж ни взад, ни вперёд.

<1923>

Бебека

Взял барашек
Карандашик,
Взял и написал:
«Я — Бебека,
Я — Мемека,
Я медведя
Забодал!»

Испугались зверюги,
Разбежались в испуге.

А лягушка у болотца
Заливается, смеётся:
«Вот так молодцы!»

<1935>

Муха в бане

Муха в баню прилетела,
Попариться захотела.

Таракан дрова рубил,
Мухе баню затопил.

А мохнатая пчела
Ей мочалку принесла.

Муха мылась,
Муха мылась,
Муха парилась,
Да свалилась,
Покатилась
И ударилась.

Ребро вывихнула,
Плечо вывернула.

«Эй, мураша-муравей,
Позови-ка лекарей!»
Кузнечики приходили,
Муху каплями поили.

Стала муха, как была,
Хороша и весела.

И помчалася опять
Вдоль по улице летать.

<1969>

...и проза

Борис Житков

Шквал

— Провались он совсем и с своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалёв. — Этакую тяжесть на палубу валит!

— Ладно, сейчас кончаем, ещё только тысяча осталась, — прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла несносная, был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе, — ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

— Продаёшь нас за пятак, — бубнил на палубе матрос Ковалёв, укладывая рядами черепицу, — рванёт хороший ветерок, и амба: ляжем парусами на воду.

— Да что вы, что вы? — испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто, — серьёзно сказал Ковалёв и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он не то нас, он и внучку не жалеет, — и Ковалёв кивнул головой на девочку. — Вот подите, скажите ему.

— Да разве ему скажешь?.. — прошептала женщина и ещё ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевёл взгляд на

горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

— Мёртвый штиль, — сказал боцман. — Ух как бы не сорвалась ночью погода.

— Ничего, ничего, — затараторил хозяин, выходя из каюты, — бриз, бриз будет, хорошо пойдём. Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплёвывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змейёй извивалось его отражение в воде.

— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалёв девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.

— Да ну? — сказал Ковалёв и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалёва.

— Не дадим, не бойся! — сказал матрос. — Это он шутит.

— А если буря будет? — спросила девочка, — страшная-престрашная, зайчику захлестнёт волной?

— Мы его тогда в каюту к деду занесём, — утешал её Ковалёв.

— Ковалёв! — раздался голос хозяина, — Дмитрий! Шлюпку на палубу!

Ковалёв быстро сунул зайца обратно в ящик и пошёл исполнять приказание.

Настя теперь не отходила от Ковалёва. Ей казалось, что Ковалёв главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепахи.

Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалёв стоял на руле.

— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадёжная погода, — говорил ему боцман.

Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

— Чуть что, буди меня, Коваль, — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдём до мыса, непременно разбуди. Я пойду, сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.

Ковалёв остался один. В отворённый люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счётной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне.

«Эта зайца своего видит, — подумал Ковалёв, — а дед всё пятаки считает».

В это время ветер вдруг прервал своё дыханье, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжёлыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегли на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалёв беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Её диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нём тёмным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалёв не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной.

Бриз усилился, и судно побежало быстрее. Ковалёву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдалённый гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рёв.

— Хозяин, — закричал Ковалёв, — шквал идёт с подветра!

Грек оглянулся.

— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и... ах, чёрт! — сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалёв опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с рёвом несётся на судно.

— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалёв в люк. — Шквал идёт!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

— Чего орёшь? — бормотал он спросонья.

— Шквал! — крикнул Ковалёв, нагнувшись к самому уху старика. — Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалёв не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела

черепица, гулко стукнула о борт покотившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало, казалось, всё судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал своё дело и понёсся дальше.

Всё это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятья. В тёмной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалёва. Обезумевшие люди на мгновение замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.

— Нас перекинуло, — сказал Ковалёв, воспользовавшись минутой молчанья, — мы не пошли подзаныр : вон как зыбь в борт бьётся.

— Давай топор, — крикнул матрос Христо, — руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая её за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах верёвка.

— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.

— Повыше, повыше рубайте, — молил боцман, — вот тут!

Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалёв взял ощупью из рук Дмитрия топор.

— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди. Все знали силу Ковалёва. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалёв устал.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнёт погружаться под воду.

Ковалёв рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звёздочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалёв перевёл дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден

свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалёв приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идёт воздух? Ковалёв понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идёт! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг всё сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдёт через неё, и весь стакан заполнит вода.

— Дай топор! — кричал Дмитрий.

Он шарил в темноте руки Ковалёва.

— Да давай же скорей! — кричали кругом.

Но Ковалёв быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

— Стой, хлопцы! — кричал Ковалёв. — Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалёв знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

— Стой! Ударишь — пропали все!

— Рубай! — кричал боцман.

— Нет! Воздух уйдёт! — выкрикивал Ковалёв, удерживая руку Дмитрия, — вода снизу через люк напирает... её воздух сюда не пускает... Дыра будет... потонем, как мыши... Сюда вода зайдёт.

Все замолчали.

— Вот! — Ковалёв выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес её к дырке.

— Верно! — сказал голос боцмана.

— Всё одно, рубай! — кричал Христо.

— Хлопцы, — сказал Ковалёв, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли, — сейчас на воле будем. Вот он люк, я ногой нащупал. Давай верёвку, я поднырну, а вы по верёвке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец верёвки. Ковалёв сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце верёвки петлю, надел её через плечо и исчез под водой. Бьёт проклятая верёвка по ногам, мешает плыть; обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребёт руками. Вот он, борт — Ковалёв стукнулся в него теменем. Не хватает воздуха — хоть водой дохни. А там внизу чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — миг на воле. Но Ковалёв изо всей силы дёрнул верёвку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвётся, горло сжимает, вот-вот дохнёт водой.

— Ну, на воле! Вот дохнул-то! — огляделся Ковалёв. Уж поднышавшая луна ярко освещала спокойное море. Лёгкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных

снастях. Ковалёв подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чём не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалёку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней.

Ковалёв направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.

— Рубят, ей богу, рубят! — крикнул Ковалёв.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалёв достал конец верёвки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нашупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалёва.

— Брось рубить! Пропадёшь! — кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.

— Оставь! — заорал грек. — Убью!

Ковалёв наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нашупал женщину. На руках у неё Настя.

— Давай девочку, а сама за нами по верёвке — ныряй под судно.

— Ой, ой! — закричала женщина. Но Ковалёв вырвал из её рук девочку, сгрёб подмышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взял за верёвку. Перебирая верёвку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалёвым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля всё яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.

— Могилу себе рубает, — сказал Ковалёв. — Дорубится и пойдёт.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьёт топор.

— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалёв. Христо что-то часто кричал по-гречески.

— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

— Ай-ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.

Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

— Ну, аминь, — сказал Ковалёв, — пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

— Отваливай! — скомандовал Ковалёв.

Шлюпка отошла. Лёгкий ветер гнал её к берегу и помогал гребцам.

— Чего ты, Настя? — спросил Ковалёв.

Девочка плакала.

— А зайнька, где зайнька?

— Не плачь, — утешал матрос, — мама другого купит.

Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: вёсла пропали, их не нашли.

— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка. Чёрное пятно маячило на воде справа.

Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалёв засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

— Зайнька, вот он, зайнька! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал, — сказал Дмитрий и оглянулся на блестящее на луне осклизлое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек ещё стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.



Возле гостиницы Бристоль

профессия — читатель



Леонид Гроссман

Сонеты

Русский сонет

Суровый Дант не презирал сонета¹.

Раскрыл нам Дельвиг тайнства сонета,
Чей трудный шифр был Тредьяковским дан,
И принял Пушкин кованый чекан
Для строгих дум о подвигах поэта.

С тех пор игра кватранта и терцета
Манит певцов гиперборейских стран,
И стих Ронсара вьётся, как аркан,
У Каролины Павловой и Фета.

Его размерам царственность придав,
Венок сплетает пышный Вячеслав
Строфой, чей лад торжественно-роскошен.

Бальмонт и Брюсов чтут канон его,
И хищный облик тѣзки своего²
Обводит им Максимильтян Волошин.

Веневитинов

Без мысли гений не творит³.

В тиши архивов, в говоре кружков,
За колоннадой мраморной гостиной,
Где восхищались Северной Коринной
Князь Вяземский и юный Хомяков,

Один поэт, не ведавший венков,
Но в тишине любимый Мнемозиной,
Питал свой стих премудростью змеиной,
Кормя мечту добычею веков.

¹ *Пушкин*. Сонет (1830);

² Робеспьера. — *Примеч. авт.*

³ Д. Веневитинов. Апофеоза художника

ЕФИМ ЛАДЫЖЕНСКИЙ. ИЗ СЕРИИ «ОДЕССА МОЕЙ ЮНОСТИ»



На нашей улице опять сменилась власть
Частное собрание Кононовых



Впервые слушаю радио
Частное собрание Калининских



Моя улица замерзает
Частное собрание





Силач
Частное собрание

Заехал к ним в городок на площадные гастроли бывший борец — тяжеловес. Он был одет в трикотажный борцовский костюм, широченный кушак подпоясывал обвисший живот, и обут он был в сандалии — копии тех, что изображались на античных вазах...

Школа Столярского
Частное собрание

Студия Бершадского
Частное собрание



В театр на спектакль
Частное собрание

*Отнять у человека хлеб, значит обречь его на
смерть, а отобрать у него зрелища, значит обречь
его на свинскую жизнь.*



У нас снимается кино
Собрание семьи художника

...Все праздники, освещённые и обогреты солнцем, сплелись в один клубок. Мне кажется, что в те дни, независимо от времени года, не бывало ненастной погоды.



Кафе бывший Фанкони
Частное собрание Виноцких



«Наш паровоз вперёд летит...»
Частное собрание

Быть может, первый пламенник Софии,
Он в срубленных часовенках России
От эллинских лампад затеплить мог.

Но рано он сошёл в ладью Харона,
Успев сплести в цветущий диалог
Бред Шеллинга с виденьями Платона.

Гнедич

О, песнь волшебная Омира!

Торжественный, как некий иерей,
Циклоп в жабо среди актрис и фатов,
В пыли кулис и в залах меценатов,
Скандировал классический хорей.

А ночью гнев героев и царей
Тревожил сонный мир его пенатов,
Вздымая гул воинственных раскатов
Над пеной фиолетовых морей.

Суда неслись в пучинах глубодонных,
И тучей щитоносцев меднобронных
Срывался в дол Скамандра ратный шквал.

А он, внимая бранноносным строям,
Железные гексаметры ковал,
Как латы шлемоблещущим героям.

Языков

*И мы кистями винограда
Разукрашаем жизни крест...*

Как виночерпий льёт бурлящей влаги
По звонким чашам пенистый поток,
Так он кропил ковёр узорных строк
Рубиновыми брызгами малаги.
Но в час молитв виденья древней саги
Вели его на дремлющий Восток,
Где сквозь миражи, пальмы и песок
Влачили пастухи, жрецы и маги.
Тяжёлым вретищем библейской тьмы

Трагическая муза затынула
Блудящие огни в чаду корчмы

И в буйный звон застольного разгула
Вдохнула громозвучные псалмы —
Самсонов гнев и скорбь царя Саула.

Козлов

И ночь моя полна Сияной...¹

Гвардейский щёголь, ветреник салонов,
Танцор и сноб, средь бальной суеты
Он обновил проклятьем слепоты
Тернистый путь Гомеров и Мильтонов.

Когда веленьем жертвенных законов
Пред ним померкли книжные листы,
В безмолвную пустыню темноты
Повеял лёгкий лёт вечерних звонов.

Под тяжким покрывалом чёрных дней
Изведал он, что в скорби жизнь звучней,
И загорелся поздними строками,

Всем зовам близкий, всем лучам чужой,
Ночной балладник с мёртвыми зрачками,
Ослепший бард с прозревшею душой.

Денис Давыдов

Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю²

В хмельной толпе отчаянных рубак,
Под звонкий говор пуншевых стаканов,
Ты зажигал чесменских ветеранов
Своим стихом, курчавый весельчак!

¹И. Козлов. Сияна (1836).

²Д. Давыдов. Графу П. А. Строганову, за чекмень, подаренный им мне во время войны 1810 года в Турции (1810);

Поэт, стратег, сатирик и казак,
По льду болот вожатый партизанов,
Ты целым вихрем пёстрых доломанов
Бросал свои полки в огонь атак.

По лагерям, в манежах эскадронных,
Средь топота дивизий легкоконных,
Кидаясь в бой, стреляя и рубя,

Везде носился ты, герой бриенский,
Победным витязем! Таким тебя
Парадной кистью написал Кипренский.

Василий Пушкин

Мои мебели и драгоценная моя библиотека — всё сгорело.

Письмо Вяземскому, 14 дек. 1812

Когда он с мерным пафосом играл
Альцеста, Дон-Жуана иль Панкраса,
На комика московского Парнаса
Партер друзей насмешливо взирал.

Но он не падал духом. Театрал,
Библиофил и модник Арзамаса,
Он томы Плавта, Бомарше и Тасса
По-прежнему прилежно собирал.

Король куплета, мастер эпиграммы,
Он испытал ожог военной драмы
В морозные и пламенные дни,

Когда средь буйных искр и дымных взлётов
Пожар лизал сафьяны переплётов
На томиках Мольера и Парни.

Жуковский

*Светит месяц, дол сребрится,
Мёртвый с девицею мчится...¹*

В дворцовой келье песенник Ундины
Вычерчивал таинственный офорт,
Где ужас лунным призраком простёрт
Над башнями готической руины.

Он видел мир, где бродят капуцины,
Гомункулы роятся из реторт,
И вьётся ураган бесовских орд
У виселиц заклятой котловины.

Но сын турчанки полюбил Восток,
Реченья мудрых в арабесках строк,
Слова любви в персидском фолианте

И вкрадчивые шелесты поэм,
Где брачной лаской тешится Руستم
И в пламени блуждает Дамаянти.

Боратынский

Болящий дух врачует песнопенье...²

Остановись, прохожий! Здесь лежит
Один из тех, кто, рано жизнь оплавав,
Брёл вдоль цветущих кущ и зрелых злаков,
Унынием, как грауром, повит.

Он в этот мир вступил, как в тёмный скит.
В своих угрюмых вкусах одинаков,
Любил он черепа масонских знаков
И бледных ангелов надгробных плит.

Но благосклонной Музой одарённый,
Он горечь дум струил в свой стих гранёный,
Как едкий пепел в стройный мавзолей.

¹В. Жуковский. Людмила (1808).

²Е. Боратынский. «Болящий дух врачует песнопенье...» (1835).

О путник, загорись молитвой жаркой,
Чтоб он обласкан был печальной Паркой
Средь асфodelей Орковых полей.

Зинаида Волконская

*Волшебница! Коль сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты...
Веневитинов, «Кн. Волконской»*

Она вошла в московские салоны,
Чтоб в городе шатровых куполов
Пропеть под мерный гул колоколов
Палящие Петрарковы канцоны.

И полюбила тёмные иконы,
Кириллицу, славянский часослов,
Чтоб вспоминать о них среди балов
В толпе конгрессов Вены и Вероны.

Но снова Древний Рим пред ней возник,
И позабыла в дыме базилик
О бедных храмах с нищими в приделах,

Когда горящий пурпуром прелат
Пред нею пел в торжественных капеллах
Терцины католических сонат.

Батюшков

О розы юные, слезами омоченны...¹

Его строфа, певуче равномерна,
Струясь вином, звенела, как фиал,
Когда нубийский раб в хрусталь вливал
Из полных урн душистый ток фалерна.

Но грусть певца, темна и суеверна,
В сетях Эрота чуяла привал,

¹К. Батюшков. «Свидетели любви и горести моей...» (Из Асклепиада) (1817).

Пока он пел харит без покрывал
И в роще нимфу, лёгкую, как серна.

И вот сбылось! Унылый сибарит,
Смирительной рубашкою повит,
Прорезал воплем звоны тамбурина

И смолк, изнемогая в жутких снах,
Безумный, как поющая в волнах
Офелия в венке из розмарина.

Вяземский

*К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
«Евгений Онегин»*

В ограде Александровых колонн,
Блещающих на лаковых паркетах,
Проходит скептик в кружевных манжетах,
В уме слагая колкий фельетон.

Он беззаботно мечет фараон
Острот в стихах и дерзостей в газетах
И жалит в эпиграммах и памфлетах
Язвительней, чем едкий Кребильон.

Фехтуя раз «Московским телеграфом»,
Он кинул стих, блеснувший эпиграфом
Над первую онегинской главой,

И сам шутя приблизился к роману,
Когда развлёк грустящую Татьяну
Своей беседы пёстрою канвой.

Кюхельбекер

*Один из вещей гулов я
Рыданий плача мирового...¹*

Осмеянный шумливою гурьбою
Весёлых школяров, ты как в бреду

¹В. Кюхельбекер. «Не суждено мне было в мире...» (1844).

Скитался в императорском саду,
Мечтатель с героической судьбою!

Тебе Париж раскрыл в хмельном чаду
Виденья толп, расплавленных борьбою,
И призрак плахи встал перед тобою
В один декабрьский день на невском льду.

За то в глухих песчаниках Сибири
Ты угашал молитвами Псалтири
Отвагу неумелого борца.

И оживая в звонах эолийских,
Ты чуял огнезарный лик Творца
В лучистой клинописи звёзд азийских.

Дельви́г

В смиренную хижину любят слетаться Камены...¹

Баронский герб в наследственном кольце
Не пробудил воинственных усилий
В потомке праздном рыцарских фамилий,
Ленивом и задумчивом певце.

С улыбкой на рассеянном лице
Он брёл тропой, где шествовал Вергилий,
И розы Феокритовых идиллий
Выращивал в Лицейском Мудреце.

Пусть позабыты строфы антологий,
И бледный очерк их, и стих нестрогий,
Но память нам преданье донесла

Об этой жизни краткой и безбурной,
О первых музах Царского Села
И плаче Пушкина над ранней урной.

¹ А. Дельви́г. Дамон (1821).

Пушкин

*Пришли мне Essais de Montagne —
четыре синих книги на длинных моих полках.*

Н. Н. Пушкиной, 1835

Был полдень жизни. Тени залегли
На обликах Петра и Дон-Жуана.
Напев Бахчисарайского фонтана
И чумный пир, смолкая, отошли.

Скончался Дельвиг. В пропасти земли
Ушёл Вильгельм из неевского тумана,
И страсть кавалергардского шуана
Уже смутила сердце Натали.

Но он, ещё не чувствуя обиды,
Устав на буйных празднествах Киприды,
Был тих и прост. В покое зрелых сил,

Не веря в страсть, заздравных чаш не пеня,
Он терпкое вино сомненья пил
Из синих книжек мудрого Монтеня.

Плеяда

Проходят мерной поступью поэты:
Вот Батюшков, певец ахейских жён,
Василий Пушкин, книжник-саладон,
И Кюхельбекер, выходец из Леты.

Языков мечет строфы, как ракеты,
Давыдов их стремится, как эскадрон,
Медлительно роняет их барон
И Вяземский их точит, как стилеты.

Жуковский, Веневитинов, Козлов
Несут Волконской дань цветущих слов
И дышит Гнедич древним дифирамбом.

Ждёт Боратынский смертного костра,
И всех животворит гремучим ямбом
Вяатель Командора и Петра.

Вениамин Бабаджан

Сезанн

Посвящаю моей сестре Тотеш

1.

Всё изложенное в этой книге может показаться сухим трактатом о вещах, мало относящихся к живому искусству. Книга о живописи, в которой ни разу не упоминается слово «красота», в которой всё сводится к рассуждениям о «методах» и «способах», — это ли не апология ремесленного подхода к искусству? Мы привыкли к пафосу, к возвышенному волнению, и чем дальше от нас художественное творчество, тем меньше мы склонны ему приписывать рациональный элемент.

Поэт, художник, музыкант являются в глазах публики постоянными носителями вдохновения — заблуждение, которое, к сожалению, нередко поддерживается лицами, близко стоящими к искусству. О том же, что искусство — труд, тяжёлый, исполненный самопожертвования, нередко непосильный (вспомним, как часто умирают, надорвавшись, артисты), об этом знают очень немногие. Публика не подозревает, что ходячие понятия: «красота», «вдохновение», которыми с такой лёгкостью играет критика, — звучат в ушах художника, как оскорбление и профанация. Потому что о самой нежной любви не говорят. Слово есть орудие, пользование которым налагает очень большую ответственность, и легкомысленное обращение с ним недопустимо.

Невозможно объяснить произведения искусства. Самая талантливая критика бессильна перед молчаливой оппозицией профанов, т. к. ей приходится апеллировать к эстетическому чувству, которое даётся Богом, а развивается только самовоспитанием. Последнее является причиной того, что отношение к искусству без конца индивидуализируется, и два человека, спорящие о достоинствах какого-нибудь оеувге'a, фатально друг друга не понимают. Так как понимание художественных произведений зависит главным образом от самостоятельно предпринятых изысканий, то все находки в этом направлении имеют для сделавшего их огромную, часто чрезвычайно преувеличенную ценность. Отсюда проистекает неохота, с которой люди расстаются

со своими художественными воззрениями, и почти полная невозможность втиснуть в круг понимания данного субъекта новое понятие. Вот почему критику приходится обращаться только к тем, которые приемлют исследуемое художественное явление как положительный факт, отказавшись от более широких и плодотворных задач. Критику остаётся только упорядочить понимание зрителя, указав ему на возможно большее число связующих нитей, протянутых от одного факта к другому, не обосновывая самих фактов. Таким образом, вся система сама себя оправдывает, не пытаясь опереться на что-либо объективное. В силу этого, — настоящая книга не претендует на научность, несмотря на рациональный метод, положенный в основу её изложения.

Признаком углублённого понимания искусства является чувство преодоления впечатления, которое получает зритель при первом восприятии произведения. Разница между старым и новым искусством заключается в том, что первичное и последующие впечатления от произведений старых мастеров относятся друг к другу, как элементы аккорда консонирующего, в то время как в новом они подобны элементам аккорда диссонирующего. С течением времени диссонанс начинает звучать, как консонанс. И новое искусство становится классическим. Поэтому, строго говоря, термин «новое искусство» является условным, служебным словом, временно прилагаемым к образцам, ценность которых ещё не окончательно выяснена. Таким образом, например, произведения Теотокопули казались нам одно время новыми, т. к. отношение к ним, постепенно вырабатываясь, менялось. Делить искусство на «старое» и «новое», придавая этим словам значение понятий строго различных или враждебных, — бессмысленно, ибо искусство всегда подчинялось единым незыблемым законам, которые столь же неизменны, как законы мышления.

В частности, изобразительные искусства опираются на два фактора: некое объективное представление природы и субъективную его передачу художником. Это, так сказать, две точки опоры, на которых строится восприятие зрителя, и постоянная смена взаимоотношений между этими двумя точками есть процесс художественного наслаждения. Если эти точки совпадают — взаимоотношение исчезает, если они расходятся слишком далеко — взаимоотношение теряет ясность, искусство перестаёт быть изобразительным. Ошибки первого рода приближают живопись к фотографии и паноптикуму, ошибки второго — к музыке и архитектуре. Между тем, живопись есть самостоятельный род.

Обыкновенно мы делим искусство на старое и новое, руководясь нашим неуловимым чувством, которое исчезает всякий раз при попытке его анализировать. Только повторные и многократные экскурсы в

этом направлении приводят к пониманию разницы. Первое восприятие произведения старого искусства оставляет чувство большой жизненной правды, реального, непосредственного соответствия между природой и изображением. Последующее изучение обогащает это чувство ощущением строгой организованности, «преднамеренности» и архитектурной «устроенности» изображения. По отношению к некоторым классическим образцам такое чувство появляется очень нескоро, а у профанов и вовсе никогда не появляется. Так, например, античная скульптура для очень многих есть только добросовестно и точно скопированная природа, вернее копии с «красивых особей», порожденных природой. Об архитектурном построении просто не подозревают: древние греки были красивы и умели точно изображать свою красоту — вот и всё. Нужно сознаться, что в этом святом неведении заключается причина популярности классиков, которая не стоит в связи с их пониманием. В настоящее время мы являемся свидетелями любопытного «обновления» Пушкина, когда в этой «простой и прозрачной» поэзии открывают сложные законы, о существовании которых не подозревали многие поколения.

Совсем не так воспринимаются новые образцы. Здесь прежде всего бросается в глаза воля художника, его распорядительная рука в выборе, комбинации и трактовке элементов природы. Таково первое впечатление, часто неприятное. Дальнейшее изучение ослабляет наше ощущение «организованности», и мы, чем дальше, тем сильнее чувствуем близость произведения к жизни, его тесную связь с ней. Эволюция протекает медленно, коренным образом перерабатывая наш вкус, и возврата по этому пути нет. Поэтому человек с развитым вкусом бессилён что-либо растолковать менее развитому зрителю, которого более всего поражают проявления воли художника, смысл же этих проявлений ему непонятен.

Высота художественного достижения определяется длительностью описанного процесса. Великие образцы обладают способностью постоянно вызывать в нас чувство преодоления, и мы углубляемся в них без конца, никогда не исчерпав до дна. Пушкин, разъятый по строчкам, разодранный на тысячи эпитафий, расчленённый и измеренный способами, претендующими, благодаря своей грубости, на научность, многократно истолкованный и перечитанный, остаётся по-прежнему новым, неисчерпаемым и загадочным в своём неумирающем искусстве.

Цель этой книги — побудить читателя к новым и новым усилиям по пути постижения творчества Сезанна. Будет ли эта его работа протекать в согласии или противоречии с тезисами, мною отстаиваемыми, вопрос второстепенный.

Если бы была необходимость определить в трёх словах творчество Сезанна, его пришлось бы назвать «искусством голых формул». В его творении живопись торжествует, быть может, в единственный раз свою окончательную, победоносную самоцельность. Всё, что глаз находит у предшественников Сезанна после внимательного исследования, что всегда преподносилось зрителю под тем или иным предлогом, выставлено у Сезанна напоказ, ничем не затуманенное и не опороченное. Он является синтетическим завершением блестящего аналитического пути, проделанного импрессионистами. Истины, завоёванные ими, поставлены на своё место, и каждой вновь найденной ценности отведено ровно столько, сколько она заслуживает. Ничего лишнего. Предельный лаконизм выражения, кратчайший путь в достижении цели, пуританская строгость и простота — вот свойства этой могучей, цельной и глубоко последовательной живописи, в которой каждое явление имеет своё оправдание.

Оголённость его формул доведена до крайнего предела, и дальнейшее движение по этому пути фатально приводит к разложению и ограниченности. Сезанна нельзя продолжать в целом, его можно разрабатывать только по частям. Он — фокус, в котором однажды пересеклись пути искусства, чтоб вновь рассеяться в пространстве. Предшественники Сезанна вложили каждый свой маленький дар в его живопись, последователи взяли каждый свою маленькую долю, отчего все предыдущее и последующее имеет характер обмельчания. Сказанное я отношу, конечно, к ближайшей к Сезанну эпохе, т. е. выяснение зависимости его от живописи итальянской, испанской и французской — дело будущего, быть может, весьма отдалённого.

Предшественники и последователи Сезанна любили объяснять свои произведения. Эдуард Мане сам составил предисловие к каталогу выставки своих картин, в котором призывал публику к самостоятельной оценке его творчества, отвергнутого официальными представителями искусства. Пикассо, по свидетельству И. Аксёнова, охотно даёт посетителям мастерской объяснения по поводу своей системы построения картин. То же и Матисс. Громкие манифесты самоновейших новаторов — вещь обычная.

Сезанн молчал. К чему слова? Только счастливому случаю обязаны мы тем, что до нас дошло несколько сжатых отрывков, содержащих его мысли об искусстве: их передал миру Эмиль Бернар, и по его книжке можно догадываться, что нужно было бы быть исключительно обаятельным и тактичным человеком, чтоб заставить Сезанна высказаться. Но это далеко не широковещательные программы и не попытки доказать свою правоту. Всё это писалось с неохотой, с явным

почти отвращением к разговорам о том, что подлежит действительному доказательству. Письма Сезанна имеют интимный характер коротких наставлений, даваемых учителем ученику. Вообще же — «разговоры об искусстве почти бесполезны» — таково отношение Сезанна к подозрительному смешанному роду, именуемому художественной критикой. «Литератор выражается при помощи абстракций, а живописец конкретно, посредством красок и рисунка передаёт свои чувства и понятия». И Сезанн до конца жизни трудился над своими бессловесными доказательствами, которые кажутся нам силлогизмами в красках.

Сезанн не спорил с Бернаром о достоинствах работ последнего. Он взял палитру и стал исправлять этюд неистовыми ударами кисти. «Этюд затрепетал на неустойчивом мольберте и чуть не упал на ковёр и не отпечатал на нём всю гамму красок, неузнаваемых после поправок мастера». В этом поступке можно видеть одну из странностей старика Сезанна. Я же нахожу в нём связь с общим настроением молчаливого упорства, характеризующего аскетизм мастера.

В частности, его пристрастие к натюрморту и пейзажу является следствием того, что задания этого рода не несут в себе и тени повествовательного элемента. Пейзаж и натюрморт есть просто стечение форм, комбинации, необходимость которых художник должен доказать средствами, ему предоставленными.

О методе этого доказательства я буду говорить ниже. Покамест только укажу на неоспоримую правду этих работ. Все эти кувшины, яблоки, салфетки, горшки и «мотивы» имеют характер категорической необходимости. Массы до такой степени слиты, что не остаётся никакого сомнения в том, что так должно быть. Причины этого явления, заложенные в глубине творческой личности Сезанна, долгое время приписывались внешним признакам, неизбежно присущим ему, как и вообще, каждому художнику, наделённому некоторой оригинальностью. В результате тысячи подражателей копировали почерк учителя, не будучи в состоянии понять его мысли.

Его холсты либо отталкивают, либо гипнотизируют. Живописцам нужно было обладать способностью к героическим усилиям, чтоб преодолеть соблазн падающих столов, кривобоких бутылок, обведённых чёрной чертой яблок, жестяных салфеток¹. Однако подражатели

¹ О чувстве пространства, гармонизирующем произведения Сезанна, подробно говорится ниже. Здесь же только укажу, что это чувство у нас отмечается способностью обостряться при наличии некоторых условий. Когда высокое дерево, подрубленное, начинает падать, мы особенно отчётливо ощущаем его высоту. Когда парусная лодка под ветром меняет направление, паруса хлопают и снасти находятся в колебании, наше ощущение пространственной связи всей системы обостряется. То же в отношении к массам, которым вообще присущ покой (например, падающие статуи в «Гибели Помпеи» Брюллова).

блестяще доказали, что не в этих особенностях ценность творчества Сезанна. Слава Богу, набившие оскомину «кривые» натюрморты переданы по наследству в дальнюю провинцию, где они продолжают беспокоить людей, имеющих в своём распоряжении только два термина: «декадентство» и «модернизм» для определения всего непонятого в искусстве. По обыкновению, маниеризм торжествовал свой пышный и пустой расцвет. Между тем хотелось бы, чтоб в этот раз было не так. Хотелось бы, чтоб история сделала исключение для этого единственного в своём роде таланта, принявшего на свои плечи богатейшее наследие эпохи великой революции французского искусства. Чтобы почитатели останавливались перед этим неповторяемым примером в скромном сознании невозможности сделать что-либо подобное. Так поступили по крайней мере лучшие из последователей Сезанна, и каждый из них нашёл свою тропинку.

Оголение формул доведено Сезанном до крайнего предела. Он остановился вовремя — это доказали его продолжатели. Невозможно указать, когда картина теряет объективную ценность. Уже приступая к исследованию Сезанна, я принуждён был ограничить круг лиц, к которым обращается критика. Следовательно, уже в понимании Сезанна мы становимся на путь субъективизма. Правда, можно спорить, понимают ли старое искусство все его признающие¹, и при-

По словам Сезанна, отвесные линии казались ему иногда падающими. Следовательно, вряд ли то же свойство линий в его картинах было результатом знания вышеуказанного принципа. Тут с большим вероятием можно предположить ненормальное устройство зрения художника. Однако, принимая во внимание статический характер масс у Сезанна, можно предположить, что именно в непропорциональном нарушении принципа покоя заключается часть силы пространственного воздействия его картин. С этой точки зрения становится понятным упорство, с которым подражатели копировали (сознательно или бессознательно) особенность сезанновского зрения. В этом нельзя не видеть стремления к постоянному подстёгиванию нашего пространственного восприятия — приём, сила воздействия которого ослабевала по мере того, как глаз к нему привыкал. Тогда понадобились новые порции возбуждающего, и мы видим, что к ним прибегли «кубисты». Так происходит всегда, когда интерпретация, оставив путь *качественных* изменений, переходит к *количественным*. — *Здесь и далее примечания автора.*

¹ Вот что говорит Вёльфлин в своей книге «Классическое искусство»: «Современная публика с трудом оценивает художественное содержание этих (рафаэлевских) произведений. Ценность изображений она видит в другом, в осмысленном соотношении отдельных фигур между собой. Прежде всего хотят знать, что означают те или иные фигуры, и не могут успокоиться до тех пор, пока не узнают их имена. Благодарно прислушивается путешественник к поучениям проводника, точно знающего имя каждого лица, и он уверен, что после подобных объяснений картины становятся ему яснее... Не многим удаётся наряду с лицами схватить общее движение фигуры, почувствовать

ходится признать, что искусство неизбежно обращается к ограниченному кругу лиц. Но должно ли оно двигаться по пути дальнейшего ограничения этого круга? Ведь в конце концов мы придём к тому, что художник будет творить только для себя, и в этом залог вырождения такого метода. Между тем это так. Комментарии стали необходимым предисловием к картине. Если о Сезанне ещё можно говорить, имея уверенность, что найдутся слушатели, понимавшие его раньше, чем их чутью пришла на помощь критика, то произведения кубистов можно научиться читать, только проглотивши солидную порцию комментариев. Не нужно при этом смешивать радость, проистекающую от того, что понимание наконец пришло, с радостью художества того постижения. Разгаданный ребус остаётся ребусом. Если же мы в этих сложных картинах и находим иногда отрадные места, то нужно остерегаться приписывать им преувеличенную ценность. Так, к сожалению, поступают именно наиболее художественно одарённые натуры, которых жажда правды доводит до готовности удовлетвориться каким угодно суррогатом.

Метод работы от общего к частному объясняет многое в произведениях Сезанна. Чувство общего настолько доминирует в его восприятии, что ему приносятся в жертву все прочие возможности. Сам Сезанн понимал, что это преклонение перед основным принципом искусства является препятствием для достижения полноты, свойственной венецианцам, которых он брал в пример. Отсутствие выполнения (*réalisation*) сделало его непонятным для широкой публики, да и теперь ещё является препятствием к его дальнейшей популяризации. Но не это его тревожило. Он чувствовал, что в этом недостижимом для него «*réalisation*» заключается последняя нотка, которая должна была сообщить его искусству окончательную полноту. Однако, когда дело доходило до работы, перед ним вставали непреодолимые препятствия, всякий раз останавливавшие его кисть, когда оставалось только выполнить. Чтоб понять причину этого явления, нужно внимательно изучить небольшой материал, оставленный Бернардом, в котором описывается, как Сезанн работал. Вот что говорит Бернар: «Его приём в работе был совсем своеобразен, абсолютно не похож на обычные приёмы и чрезвычайно сложен. Он начинал с тени, делая её пятном, затем это пятно он покрывал сверху более широким пятном, и снова крыл его третьим, четвёртым¹... и так до тех пор, пока все переходы не вылепливали предмет, расцвечивая его в то же время. Я понял тотчас, что его работой руководит закон гармонии, что все эти красочные отноше-

мотивы красивого наклона, манеры сидеть или стоять, и лишь совсем не многие чувствуют, что действительная ценность этих картин заключается не в частностях, а в общем соподчинении, в ритмическом оживлении пространства».

¹Здесь, по-видимому, описывается способ работы акварелью. — В. Б.

ния были заранее намечены в его мозгу; он поступал, в общем, так, как это делали старинные ткачи, заставляя следовать уступами родственные цвета до тех пор, пока они не встречали контрастного себе цвета. Я почувствовал тотчас же, что подобный метод, будучи применён к писанию с натуры, создавал как бы противоречие, т. к. всякая придуманная формула легче подчиняется свободному творчеству, чем писанию с натуры. Чтобы следовать природе с наивностью ребёнка, нужно было отказаться от предвзятой мысли, действовать не рассуждая, наблюдать и запечатлеть — и больше ничего. Ну, а его метод был совсем не таков: обобщая законы, он извлекал из них принципы, которые применял условно; таким образом, он толковал, а не списывал то, что видел». В другом месте Бернар передаёт такие слова Сезанна: «Всё в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра; надо учиться писать в этих простых фигурах, и если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете всё, что захотите. Нельзя отделить рисунок от красок. Нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок. При наибольшем богатстве красок форма неизменно достигает своей полноты. Контрасты и гармоничные отношения красок — вот секрет колорита и лепки». Делая наставления работающему Бернару, Сезанн советовал ему «начинать очень легко, почти нейтральными цветами, затем нужно было усиливать гамму, преследуя в то же время разложение цветов».

Если взять в этих отрывках только то, что исходит от самого Сезанна, то можно сделать один чрезвычайно важный вывод. Каждый накладываемый на холст мазок несёт в себе одновременно все элементы живописного восприятия: частицу краски, валёра, формы и композиции. Каждый мазок соединяет в себе пространственный и красочный элементы. Разработка картины идёт одновременно в обоих направлениях, что обеспечивает подчинение этих двух частей живописной массы идее синтетического единства. Трудность такого метода понятна тем, кто пробовал применение его на деле. Получаемый этим способом результат даёт до такой степени полное слияние живописных средств, что привнесение в позднем периоде работы новых задач грозит полным нарушением достигнутого единства. «Выполнение» в данном случае было бы грубым чехлом, надетым на нежные части очень сложной машины. Оно сделало бы непонятным и, вероятно, ненужным весь предыдущий процесс. Сезанну оставалось отказаться от этой задачи, предоставив пальму первенства венецианцам.

Проиграло ли от этого творчество Сезанна? Возможно, что да.

Но зато именно благодаря этому качеству мы имеем возможность учиться у него без конца так, как мы учимся на подготовительных набросках других художников, потому что умение «выполнить» погубило не одно произведение. Вспомним большую картину Александра

Иванова. Под её поверхностью погребены плоды трудов целой половины жизни нашего великого живописца.

Здесь я нахожу необходимым протестовать самым энергичным образом против распространённого даже в серьёзной критике мнения о неумелости Сезанна. Такой взгляд лишний раз указывает на неопределённость признаков, по которым судят о средствах художника. Сезанн не учился в академии, заведении, в котором у будущих творцов стараются выработать почерк. Дальше чистописания дело обыкновенно не идёт, и ученик, предоставленный в прочих отношениях самому себе, если в нём не заложена жажда правды, научается лгать, прикрывая свой позор правильными нажимами и искусными закруглениями. Но не по почерку, в самом деле, судим мы о произведениях, а по той сущности, которая лежит на глубине, для многих грамотных недостижимой. Поэтому условимся на будущее время не заикаться о неумелости Сезанна, ибо, когда разбираешь сложные вопросы, возникающие при анализе его творчества, некогда и неразумно заниматься внешними фактами, не имеющими никакого значения.

Произведения Сезанна обращаются только к зрению. Этот факт показался невероятным прежде всего критикам, и они поспешили объявить, что он — мистик, а потом, что его живопись имеет декоративный характер. Первое утверждение просто неверно, второе — оскорбительно. Слова Маер-Грефе о том, что «можно шить эти картины, сделать с ними всё, что только можно сделать с куском материи», — приводят в содрогание. Тот же Маер-Грефе, сравнивая Сезанна с Достоевским, доказал, что немец не способен до конца понять русского и француза. В таком положении поневоле приходится дополнять непонятные места фантастическими предположениями и, конечно, невпопад.

Легендой о мистическом настроении Сезанн в значительной степени обязан Греко. Сходство приёмов обоих живописцев в некоторых случаях простирается так далеко, что вопрос о влиянии Греко на Сезанна, мне кажется, должен иметь только одно решение: да, влияние имело место. «Дама в платке и в боа» Сезанна есть либо интерпретация, либо копия грековской «La dame a l'hermine» из глазговской коллекции Stirling-Maxwell'a. Предполагать в данном случае совпадение было бы излишней осторожностью. Маер-Грефе отводит очень много места исследованию сходства этих двух великих мастеров. Вот наиболее существенный отрывок из этого экскурса: «В отношении Греко и Сезанна встречаются неоспоримые точки соприкосновения, которых нет в отношении Сезанна к своим современникам. После Греко остались фрагменты композиций нагих движущихся тел — одна из них, насколько мне известно, находится у Зулоага, — которые мог бы создать Сезанн в какой-нибудь неизвестный нам период; в них одинако-

вая мощь выражения и такая же незначительная телесность деталей. Даже крупные произведения, вроде «Погребения графа д'Оргаза», в сущности, дают такое же впечатление, как плоскости Сезанна, хотя глаз мало-помалу открывает в них необозримое богатство подробностей. Роскошь костюмов так затмевается главными красками, что можно без труда устранить её в воображении, и Сезанн, может быть, не сделал ничего другого — он заменил только эти детали, излишние для его сюжетов, повышенной утончённостью оттенков и подобрал с ещё большей гармонией руководящие контрасты. Мы видим то же стремление, потому что природа абстракций сводится к тому же принципу: создать картину из контрастов различной силы тонов без линий».

Наличие сходства заставляет особенно внимательно отнестись к пунктам расхождения. Греко был мистиком, Сезанн мистиком не был. Оба мастера имели более или менее близкое отношение к венецианцам. Но в то время как Греко был носителем живых традиций, унаследованных непосредственно от Тициана, Сезанн является их реставратором. Он самостоятельно изыскал принципы, положенные в основу произведений его учителей. Мне представляется, что венецианское влияние было воспринято Греко не как система, а как комплекс советов и навыков, присущих этой школе. То, что он вынес из Венеции, было духом времени и вряд ли облекалось в отвлечённые формы. Много, вероятно, воспринималось без критики, как пример, не требующий объяснения, а только подлежащий подражанию. Много, что теперь кажется существенным и характеризующим эпоху, быть может, и вовсе не сознавалось. Одним словом, Греко был плодом органического развития школы, Сезанн же её логическим продолжателем. Таким образом, сходство ограничивается формальными реминисценциями. Назвать же Сезанна, подобно Греко, мистиком можно было бы лишь раздвинув до бесконечности рамки этого понятия. Я бы назвал его реалистом, если бы это слово, благодаря тому, что им слишком часто злоупотребляли, не потеряло своего первоначального здравого значения.

Приписывающие работам Сезанна свойства декоративной живописи недооценивают их. Декоративная живопись есть род низший уже потому, что он требует восполнения своей значимости архитектурным элементом. В отличие от станковой, декоративная живопись создаётся как приложение к другому роду искусства, и этим обуславливается некоторая компромиссность уже в самый момент её зарождения. Станковая живопись вырастает на совершенно чистой почве. Для её возникновения не нужны никакие предлоги — воля художника целиком оправдывает её существование. Поэтому она не нуждается в плохих комплиментах, сводящихся к утверждению её пригодности для практических целей. Менее всего нуждается в таких похвалах Сезанн, труд которого — станковая живопись чистойшей воды.

Композиционный талант Сезанна подвергался весьма серьёзным сомнениям. Указывали на его неумение строить картину по фантазии, «из головы». Бернар говорит, что Сезанн не обладал «воображением, которое отличало великих мастеров. Его силу составлял его ум в соединении с его вкусом». Маер-Грефе утверждает, что Сезанн компонует свои натюрморты примитивнейшим образом, и композиция этих работ носит почти случайный характер.

Однако едва ли это так. Мы знаем целый ряд картин Сезанна, построенных и разработанных в тех схемах и по такому же методу, как это делали классические итальянцы.

Геометрическая основа в построении композиции у венецианцев не подлежит сомнению. Однако одно указание на этот факт не разъясняет сущности вопроса. Почему именно нужно было вписывать композицию в треугольник, круг, многоугольник? Что привело художников к подчинению планов картины принципу «параллельной повторности»? Совершенно справедливо указывает И. Аксёнов («Пикассо и окрестности»), что «композиция имеет предпосылки, основанные менее всего на логически определяемых требованиях: они вырабатывались органически. Логическому обследованию подлежит сперва весь процесс их породивший, тогда, может быть, получим возможность указать на нормы целесообразности». Отсюда вытекает невозможность установить наперёд какие-нибудь каноны, которыми художники могли бы пользоваться, приступая к построению картины. Для каждого отдельного случая существует свой закон композиции, и отыскание его есть тайна творческого акта художника. Общность же схем, выработанных той или иной школой и отдельными художниками, указывает только на единство путей в разрешении поставленных задач. Прежде чем приступить к исследованию метода Сезанна, остановимся на нескольких старых образцах и попытаемся определить руководящие принципы в разрешении их композиционного задания. Не вдаваясь в оценку художественных достоинств выбранных произведений, я остаюсь на луврском «Положении во гроб» Тициана, «Снятии со креста» Тинторетто (Венецианская академия) и находящейся в Венской императорской галерее картине Веронезе: «Богоматерь с младенцем и святыми».

Есть несколько черт композиционного разрешения, объединяющих эти три картины. Все три группы расположены в неглубоком пространственном слое, параллельном плоскости картины. Это, так сказать, «фронтальная» основа построения, отчётливо выраженная у Тициана и Веронезе и несколько нарушенная у Тинторетто. Фронтальное положение каждой фигуры также последовательно проведено

в каждом из разбираемых образцов. Все фигуры поставлены по отношению к зрителю так, чтобы обозрению была представлена возможно большая их площадь. Ракурсы, по возможности, избегаются. Наконец, параллельное развитие плоскостных границ есть самое неоспоримое и удивительное свойство всех трёх картин.

В картине Тициана все грани текут параллельно диагоналям, соединяющим противоположные её углы. Соответствие этому правилу или уклонение от него — есть лейтмотив пластического построения картины. Картина Тинторетто базируется только на одной наклонной. Веронезе же строит композицию на двух наклонных и вертикали.

Не решаясь делать выводы, я ставлю вопросы:

Не есть ли общность в построении композиции результат общности задания — компактного размещения фигур в картинной плоскости? Не является ли фронтальность фигур следствием стремления увеличить до предела силу их пластического воздействия? «Параллельная повторность», но есть ли способ достигнуть наибольшей ясности в расчленении плотных масс картины?

Последнее явление зависит также, быть может, от того, что мастера стремились освободить от пересечений возможно большее протяжение контура фигуры для того, чтоб не было неясности в её позе и пространственной связи с другими. Опыты с известной китайской головоломкой, где нужно втиснуть в квадрат несколько дощечек разной формы, приводят к аналогичным результатам.

Объяснить все вышеуказанные явления стремлением к «ритмическому» развитию композиции я отказываюсь. Ритм, в том смысле, как его принято понимать в живописи, т. е. повторение или развитие одного и того же движения в нескольких фигурах, есть лишь внешнее проявление процессов, более глубоко скрытых. Исползованное как средство самостоятельного воздействия, оно теряет смысл и обращается в схему весьма сомнительной ценности. Банальная слащавость прерафаэлитов есть результат именно такого поверхностного понимания.

Ритм — динамическое начало живописи. Вытекающее отсюда некоторое чередование в развитии масс не может играть доминирующего значения, потому что массы картины слагаются в зависимости от многих, очень трудно уловимых условий. Кроме моментов, указанных выше, необходимо отметить ещё закон равновесия, играющий существенную роль в построении композиции. Не считая возможным останавливаться подробно на этом вопросе, я напомним лишь, что равновесие композиции тесно связано с динамическим началом. Характер этой связи даёт возможность разделить произведения искусства на две большие группы: первая — произведений, несущих в себе идею подчинения закону тяготения, и вторая — выражающих стрем-

ление к его преодолению. Безразличное отношение к этой зависимости есть неотъемлемое свойство плохих произведений.

«Параллельная повторность» теряет характер неизбежности, как только из задач построения выпадает компактность размещения. Появляющийся новый фактор — свободное пространство — вызывает иные приёмы, цель которых — определение характера, формы и границ этого фактора. Ракурсы, которых до сих пор приходилось избегать, находят здесь вполне уместное применение. Так пластические идеи, усложняясь, обогащают приёмы и возможности.

Весь круг этих идей находит в композициях Сезанна последовательное и мудрое применение. Его картины этого рода построены с редчайшим чутьём взаимодействия масс, которое развилось и созрело в очень ранних вещах. В этом чутье, которое уловить грубыми средствами, предоставленными человеку логическим мышлением, нет возможности, заключается зерно отрицательного влияния Сезанна на позднейшие течения живописи. Ибо чувство формы, которое у Сезанна было гармонически слито с прочими элементами живописного восприятия, начинает гипертрофироваться у его последователей в стремление произвести в этой области широчайшие лабораторные опыты. Интерес к свойствам формы возрастает у них несравненно быстрее их способности к восприятию пространства, постепенно вытесняя другие задачи. То, что произошло с краской у последователей импрессионистов, постигает теперь проблему формы. Неоимпрессионисты принесли свою живопись в жертву красочному восприятию природы. Кубисты исследуют только пространственный элемент, отказавшись от краски и светотени. «Плотность» формы становится ходячим лозунгом. Вновь открытые (утраченные в период упадка) законы пространственной организации ослепляют искателей, как в своё время их предшественников ослепляла своим радужным блеском спектральная палитра. Вот что пишут апологеты кубизма Альберт Глэз и Жан Метценже: «Он (Сезанн) научает нас властвовать над всемирным динамизмом. Он показывает нам изменения, которым подвергают друг друга предметы, казавшиеся неодошевлёнными. Благодаря ему мы узнаём, что изменять окраску какого-нибудь тела — это значит портить его строение. Он предсказывает, что изучение первоначальных объёмов открывает неслыханные горизонты. Его произведение — однородная глыба — при взгляде на него корчится, вытягивается, тает и загорается и доказывает неопровержимо, что живопись не является — или не является больше — искусством передавать какой-нибудь предмет с помощью линий и красок, но призвана передавать наше пластическое сознание».

Так неожиданно эволюционировали идеи Сезанна. Выделивши из понятия живописной массы её объёмный элемент, кубисты подчини-

ли своё прекрасное, вполне автономное искусство сперва скульптуре, потом архитектуре, растеряв по пути ценности основного рода. Напрасно они отказываются от справедливого упрека в архитектурной реминисценции — об этом красноречиво говорят их картины.

Теоретическая прямолинейность, доставляющая удовольствие людям, пустившим проспект впереди действительного осуществления своих планов, привела их к неслыханным утверждениям, справедливость которых подлежит проверке. Они не хотят понять, что в искусстве теория организует прошлое, но бессильна предрешить будущее. Что наши мыслительные процессы бесконечно грубее и примитивнее методов интуитивного постижения и не могут претендовать в искусстве на главенствующую роль.

Картины Сезанна делятся на две большие группы. Первая — композиции «к натуре» и вторая — композиции «от природы». Первые строились так, как это делали великие учителя мастера, т. е. идея, рождённая внутренним сознанием художника, воплощалась путём подыскания соответствующей формы в картине. В результате получился цикл, тесная связь которого с венецианцами не подлежит никакому сомнению. То же стремление до конца определить пространство, богатство световых и цветовых модуляций, пышная роскошь масс. Сравнение некоторых произведений приводит к заключению о тесном родстве, не только формальном, но и идейном. Образ «женских тел у воды»¹ осуществлён у Сезанна так, что, не будь различий, о которых я скажу ниже, можно было бы утверждать, что тут имеет место подражание Тициану. Сходство простирается вплоть до мотива ткани, вырезающейся на фоне неба, — приём, в обоих случаях разрешающий задачу разграничения близкого и дальнего планов.

Различие заключается в том, о чём так горевал сам Сезанн: ему не хватало выполнения (**realisation**). Тициановские тела дышат чувственностью, живут и двигаются со всей полной жизненных функций. В их пластическую форму влито богатое содержание, благодаря чему они воздействуют не только на нашу зрительную восприимчивость. Это — роскошь, позволительная в эпоху величайшего расцвета, когда можно было над зданием живописи делать надстройки, не только не нарушающие целого, но даже обогащающие его. Сезанн же даёт только идеи изображаемых предметов. Всё прочее отбрасывается для того, чтоб ни одна лишняя черта не затуманивала основного мотива. В результате — могучая композиция, основанная на элементарнейших соотношениях, целиком обращённая к нашему зрительному восприятию. На холст попало только самое существенное. Так написал бы и Тициан, если бы он был ограничен минимальным количеством

¹Картина Тициана «Диана и Каллисто» (Дворцовый музей в Вене) и сезанновские «Купальщицы перед палатой» (местонахождение неизвестно).

мазков. Деревья, тела, ткани, земля выполнены Сезанном ровно настолько, чтоб вызывать в нас представление об этих предметах. Чтоб моделироваться. Дальнейшее упрощение привело бы к невозможности считать изображение, и картина потеряла бы объективную ноту. Вот та грань, за которую переступили позднейшие искатели!

Классическая основа сезанновских картин из группы «к натуре», таким образом, кажется мне неоспоримой. Строго говоря, новизна этого цикла ограничивается лишь индивидуальными особенностями его кисти, достоинствами этой сочной, здоровой живописи, прочно связанной традициями с лучшими французскими, испанскими и итальянскими мастерами. Новым также является то, что Сезанн уже не импрессионист. В другом месте настоящей работы я указываю на разницу между палитрой Сезанна и его современников. Здесь же я напомню только, что его картины не претендуют на фиксирование отдельных моментов природы. Это — постройки гораздо более прочного типа. Они не ослепляют и не очаровывают. В них нужно всмотреться, погрузиться, отдаться их медленному, но глубокому влиянию. Тогда постепенно становится ясной их серьёзная, уравновешенная глубина, внутренняя гармония и необходимость самого метода. Одновременно в нас укрепляется уверенность, что до конца разгадать секрет этих произведений нельзя, что они заключают возможность бесконечного углубления в их организацию, т. е. именно то, что делает классические образцы неумирающими. Это нечто вроде сопротивления, никогда не ослабевающего, благодаря чему у нас остаётся всегда возможность борьбы и новых завоеваний.

Может быть, искание новых приёмов во всех разновидностях искусства является следствием стремления артистов скрыть на некоторой глубине главное богатство и основной мотив произведения. Ибо старый приём, быстро преодолеваемый благодаря привычке, приводит зрителя к основе раньше, чем он достаточно к этому приготовился. Это было бы ещё не так плохо, если бы старый приём не вызывал воспоминания о тех предшественниках, которые им пользовались и изжили.

Однако в близости Сезанна к венецианцам я нахожу нужным подчеркнуть не столько пункты внешнего сходства, которые легче воспринимаются и не подлежат сомнению именно потому, что в конце концов они не являются главными. Важнее сходство внутреннее. Его проследить трудней, потому что оно более общего характера и становится очевидным только после значительного расширения поля исследований. Оно заключается в двух-трёх принципах, свойственных вообще всякому здоровому искусству, о которых, к сожалению, не всегда помнили. Выше я говорил о ясности членения частей картины и о тех средствах, к которым прибегали венецианцы для достижения этой цели. Но центр тяжести — в цели, а не в средствах. Важно прежде всего

что Сезанн тоже стремился к этой безусловной ясности, а то, что он при этом прибегал иногда к «параллельной повторности», является обстоятельством второстепенным. Указанная цель была для него так важна, что он, подобно венецианцам, мобилизовал все средства. Поэтому никогда красочные достоинства его вещей не вытекают из желания достигнуть приятности сочетаний. Краска у Сезанна есть орудие пространственной и формальной характеристики предмета, и чем совершеннее способность этой характеристики, тем выше красочные достижения. Вот принцип, благодаря которому венецианцы пользуются славой великих колористов. То же и в отношении размещения частей картины. Каждая часть должна быть связана с прочим пространством законом необходимости. Для ЭТОГО нужны ясность членения масс и точность их взаимных отношений. Так творили венецианцы, так действовал и Сезанн. С этой точки зрения его «Курильщик», «Mardis Gras» и «Игроки» — картины столь же венецианские по духу, как и композиции с нагими фигурами в пейзаже.

Только поняв ясность этих основных пунктов сходства, мы получаем возможность разобраться в свойствах сезанновских натюрмортов и пейзажей. Сила воздействия этих вещей до сих пор остаётся таинственной. По всему миру прошла волна подражателей, перепевавших на все лады мотивы яблок, ваз, груш, салфеток и бутылок, и от этого тот, кому подражали, не стал ясней в своём неспостижимом очаровании. У продолжателей Сезанна следует отметить одно свойство, о котором выше уже упоминалось: все они разрабатывали проблемы, поставленные учителем, по частям. Одни ограничились копированием только внешних качеств этой живописи. С них довольно было только некоторого неряшества в способе накладки краски, кусочков незакрытого холста да протемнения плоскостей по краям, чтоб исчерпать своё понимание Сезанна. Другие прельстились его гаммой. Для них он был новатором, открывшим прелесть сочетания оранжевого с голубым при большом количестве белил. Третьим казалось существенным то, что Сезанн оперировал с крупными массами, проявляя одновременно понимание равновесия в их соотношениях и неумение провести горизонтальную прямую. Четвёртых более всего удивляло чувство объёмов и плотность этой живописи. Пятые... но разве можно перечислить все способы истолкования Сезанна, всегда односторонние, подражательные и эклектические? Обилие их показывает, как мало организуют свои впечатления даже те, кто посвятил себя живописи. Ибо наслаждение, получаемое от всей живописи Сезанна, всякий раз приписывалось какой-нибудь одной стороне его творчества, и эта черта разрабатывалась в ущерб основным законам.

Все эти ошибки побуждают меня к особенной осторожности в анализе сложнейшей области творения Сезанна — его натюрмортов и

пейзажей. Не думаю вообще, чтоб этот анализ дал возможность выделить из его живописи важнейшие моменты и указать на явления меньшей важности. Такой результат превосходит возможности индивидуального мышления — здесь нужен труд нескольких критиков, взаимно друг друга дополняющих. Натюрморты и пейзажи составляют цикл работ «от природы». Разница между ними и свободными композициями заключается в том, что построение мотива приходило художнику извне, чем ограничивалась свобода композиционной разработки. В натюрморте это ограничение чувствовалось меньше — здесь можно было раньше, чем приступить к работе, скомпоновать мотив. Не думаю, чтоб к этому моменту Сезанн относился безразлично или пассивно, как это утверждает Маер-Грефе: «...различие материи побуждает его расставлять предметы, как бы примитивно он это ни делал. Словом, он, до известной минимальной степени, компонирует так же, как и старые. Только эта композиция носит почти случайный характер, она совсем не лежит в сфере сознания, которое желает передать очертанием что-либо существенное. Она лишь невольное средство, и таким она и является». Трудно представить, чтоб так поступал мастер, живопись которого была «размышлением с кистью в руках».

Мнению Маер-Грефе можно противопоставить два возражения. Первое — это то, что натюрморты Сезанна производят впечатление явлений, глубоко закономерных. Другое, что многие из них имеют явные признаки композиционной разработки, в том смысле, как это принято понимать при оценке старых мастеров. В таком случае нельзя ли предположить, что так называемая случайность построения есть не что иное, как результат сложности пространственных взаимоотношений, разрешение которых было доступно Сезанну благодаря исключительному чувству пространства? Всякая идея композиционной схемы есть уже упрощение. Сезанн расширил и усложнил разработку этих задач.

Геометрические схемы родились из стремления достигнуть ясности членения масс. Сезанн достигал того же, усложнив геометрические предпосылки и даже отбросив их. Он перерос их. В этом отношении несомненна его связь с импрессионистами. Но те успели только разрушить традицию, ничего не создав взамен. Импрессионисты отрицали схемы, которые грозили ограничением дальнейшему развитию живописи, но они не умели создать организацию композиции на новых началах. Для этого они были слишком перегружены чувственными восприятиями и слишком мало умели обобщать. В их способе работы были зачатки нового метода, ещё не очищенного и не приведённого в систему. У них не было ещё достаточного опыта, чтоб сказать, что художник «должен быть не слишком робким, не слишком искренним, не слишком подчиняться природе. Он должен более или менее властвовать над моделью...». Он должен интерпретировать — принцип, ко-

торый благодаря развитию подражательных средств импрессионистов был предоставлен подсознательному использованию. Ибо их теория разработки красочных средств имела целью более совершенный способ передачи видимого, а не его истолкования.

Раньше, чем перейти к разбору метода этого истолкования, я считаю нужным указать на то, что тот первоначальный момент зарождения картины, которому Маер-Грефе приписывает случайный и пассивный характер, не был случаен даже в пейзаже, где очевидно отсутствовала возможность компоновать. Но ведь последнее обстоятельство оставляло за Сезанном широкую свободу в выборе мотива. Не берясь указать, чем именно руководствовался в данном случае мастер, я напоминаю, что такой выбор несомненно имел место. Во время прогулки с Бернаром, он громко восхищался местностью, что указывает на далеко не безразличное отношение к тому, что писать. Тот же Бернар сообщает, что Сезанн несколько раз убеждал его остаться в Эксе, чтоб поработать в этих прекрасных местах. Таким образом, Сезанн выбирал мотив, как выбирает почти каждый художник, пишущий с природы. Я подчёркиваю этот факт, полагая, что он имел определённое влияние на результат: Сезанн делал с природы не этюды, а картины. Само понятие картины исключает представление о случайном элементе, в какой бы форме таковой ни вторгался в процесс творчества. Думаю поэтому, что выбор производился очень тщательно, а постоянная работа в одной и той же местности дала Сезанну возможность достигнуть в этом моменте максимума свободы и сознательности.

Сезанн писал свои пейзажи с природы, и этот факт дал основание к сближению его работ с импрессионистским пленэром. Укажу на разницу. Клод Моне, один из наиболее последовательных импрессионистов, писал один и тот же мотив в нескольких вариантах, меняя холсты в зависимости от перемены освещения в различные часы дня. Это был чистый анализ, собирание материала о форме и характере данного объекта. Вывода Моне не делал. Сезанн же, по свидетельству Бернара, писал свои мотивы подолгу, ежедневно по несколько часов подряд. Он фиксировал не тот вид, который имеет местность в определённый час, он писал данный пейзаж вообще. При таком задании перемена освещения не только не мешала работе, но, напротив, помогала найти синтетическое воплощение видимости, которого Сезанн достигал почти всегда. Сложность такого процесса не подлежит сомнению, и проследить его могут только те, кто чувствует, что задачи, поставленные Сезанном, им по плечу. Я же ограничусь указанием на тот материал, который даёт перемена освещения художнику, изучающему какой-нибудь определённый мотив.

Пространственные взаимоотношения частей пейзажа при освещении с одной точки почти всегда представляют неясности. Дерево,

освещённое со стороны, противоположной к зрителю, отчётливо связывается с почвой, но его отношение к дальнему плану и к небу остаётся неопределённым. Чтоб точнее уяснить себе его форму, необходимо увидеть его освещённым сбоку и спереди. Рассеянный свет, который бывает разлит в природе в пасмурную погоду, также привнесёт в наше представление о дереве нечто новое. Весь этот опыт чрезвычайно полезен даже тогда, когда приходится изображать предмет, присвоив ему одно определённое освещение.

В зависимости от перемены света меняются все тона мотива. Сложная комбинация тел и пространств, называемая пейзажем, в различное время дня открывает разные свойства. То там, то тут отношения определяются отчётливее, и предметы принимают окраску, наиболее их характеризующую. Всё это нужно изучить, чтоб сделать вывод. Поясню свою мысль выдержкой из прекрасной книги Гильдебрандта («Проблема формы»): «Красочность природы играет роль цветной одежды, которую природа носит как тело, и ценность изменчивого явления окраски будет равным образом изменяться тем, насколько красочность способствует ясности пространственного выражения. В этом случае мы рассматриваем природу, как дающую нам в явлении только всевозможные вариации на одну и ту же тему, не давая нам, однако, никогда последней самой по себе. Ибо представление формы есть некоторый вывод, полученный нами из сравнения видов явлений, и в нём необходимое уже отдельно от случайного. Таким образом, оно есть не просто восприятие, а переработка восприятий с определённой точки зрения».

Результаты, которых Сезанн достигал, указывают именно на наличие подобного рода изучения. Невозможно указать, в каком направлении он его индивидуализировал, но сам факт применения этого метода мне представляется несомненным.

Вернёмся теперь к цели такой работы. Геометрические схемы приводили к ясности и закономерности членения масс картины. Того же достигал Сезанн благодаря своей небывалой чуткости в восприятии природы. Вот та точка, в которой сходятся его работы «от натуры» с работами «к натуре». Наличие архитектурной цельности объединяет обе эти группы, сообщая им ценность станковой живописи.

Мысль о сходстве Сезанна с Рембрандтом проскальзывает в литературе. Мне представляется, что можно найти несколько существенных точек соприкосновения. Главным пунктом сходства является невозможность приписать работам обоих мастеров и тени декоративности. Это слишком утончённая живопись, слишком самоцельное искусство, слишком «живопись в себе». Тонкость красочных модуляций, непостижимое чутьё в характеристике форм, точность в распределении самых неуловимых эффектов — всё это погибло бы, если бы

мы вздумали использовать эти работы как декоративный материал. К числу более внешних признаков сходства я отношу вибрацию плоскостей по грани, о которой в другом месте я говорю подробнее. Кроме того, Рембрандту, очевидно, также был знаком способ организации пространства без применения принципа «параллельной повторности».

Ясность связи между частями картины, кроме указанного упорного изучения одного и того же мотива (вспомним, как Сезанн восхищался горой Святой Виктории, которую он постоянно писал акварелью и маслом), достигалась ещё при помощи применения гениального метода анализа формы, сущность которого зафиксирована Сезанном в одном из его писем к Бернару. Вот формула в том виде, как её записал Сезанн: «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причём всё должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана, была направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, передают пространство, другими словами, выделяют кусок из природы или, если хотите, картины, которую всемогущий Бог развёртывает перед нашими глазами. Линии, перпендикулярные к горизонту, сообщают картине глубину, а в восприятии природы для нас важнее глубина, чем плоскость: отсюда происходит необходимость в наши световые ощущения, передаваемые красными и жёлтыми цветами, ввести достаточное количество голубого, чтобы чувствовался воздух». Другое место в письмах Сезанна гласит следующее: «В апельсине, яблоке, шаре, голове — в каждом предмете есть самая выпуклая точка, которая всего ближе к нашему глазу; и это всегда независимо от самых даже резких эффектов: света, тени и цветовых ощущений. Края предметов бегут к центру, помещённому на нашем горизонте».

Раньше, чем приступить к анализу этих кратких формул, считаю нужным подчеркнуть, что они не могут претендовать на исчерпывающее и обязательное значение даже в отношении к произведениям самого Сезанна. Невозможно приписать живому искусству незыблемый закон. Логическая последовательность есть нечто противное духу свободного искусства, которое, подобно растению, развивается стихийно, не ожидая, покамест будут созданы законы, регламентирующие это развитие. Да и как бы ни совершенствовались средства передачи словами наших чувствований и мыслей, они всегда будут отставать от органического процесса, определяющего развитие нашего искусства. Самая гениальная мысль об искусстве имеет значение лишь постольку, поскольку действительность подтверждает или опрокидывает её. Другими словами, всякое утверждение по поводу какого-нибудь явления несёт в себе возможность отрицания этого явления. Опасность возведения в канон какой-нибудь истины, добытой интуитив-

ным путём, возрастает пропорционально ясности формы, в которую эта истина облечена.

Всё это необходимо помнить при анализе заветов, оставленных Сезанном. Ибо благодаря устойчивости и силе воздействия, производимого его творениями, нам грозит опасность приписания исчерпывающего значения формулам, могущим только пояснить до некоторой степени процесс его творчества.

Что прежде всего в словах Сезанна бросается в глаза, это господство идеи пространства. «Трактуйте природу так, чтоб характеризовать её пространственную сущность» — вот экстракт из процитированных мыслей. Для этого необходимо соединение двух методов: метода членения и метода обобщения. Первый — помогает нам чувствовать элементы природы в их индивидуальной сущности, второй — указывает путь приведения этих элементов к единству.

Сводя каждый предмет к его геометрической первооснове, мы усиливаем пластическое воздействие, вскрываем основную идею его формы. Но такое толкование природы получает свой смысл лишь тогда, когда мы одновременно «приводим всё к перспективе», т. е. подчиняем найденные элементы общему закону. Перспектива в данном случае есть прежде всего синтезирующий фактор. Её законы глубоко индивидуальны и могут не совпадать с правилами линейной перспективы, которые не всегда способны сообщить картине требуемое единство.

Красочная задача подчиняется закону единства не меньше пространственной. Она тоже зависит от перспективы, вследствие чего простирается необходимость «в наши цветовые ощущения, передаваемые красными и жёлтыми цветами, ввести достаточное количество голубого, чтобы чувствовался воздух». Ибо воздух есть субстанция, заполняющая пространство между телами, и о характеристике этого фактора тоже не следует забывать.

Второй отрывок говорит о независимости нашего чувства пространства от изменчивой формы воздействия на наш глаз предметов природы. Близкая точка остаётся близкой, независимо от непостоянных условий окраски и освещения. Это свойство зависит, между прочим, от способности нашего глаза к аккомодации и от стереоскопического устройства нашего зрения. Оно позволяет нам из переменной формы явления выделить постоянный элемент. Сложность самого этого процесса допускает только интуитивный подход.

Характерно, что во втором отрывке, как и в первом, моменту аналитического восприятия Сезанн спешит противопоставить напоминание о важности синтетического обобщения, т. е. о перспективе: «края предметов бегут к центру, помещённому на нашем горизонте — прибавляет он, повторяя почти дословно мысль, однажды уже высказанную.

Таковы некоторые законы разрешения композиции у Сезанна. Применение их к работам «от природы» сообщило последним свойства станковой живописи.

Средства, которыми Сезанн добивался такого результата, были чисто живописного характера. В нём нет и следа того желания выйти из пределов возможностей масляной живописи, которое присуще творчеству Пикассо. Сезанн ещё вполне здоровый живописец, быть может, последний здоровый живописец нашей эпохи. Он властвует над своим искусством с уверенностью гения. Он ещё умеет соединять все столь различные и столь усложнившиеся элементы живописи в такое прочное и простое целое, что мы верим этой почти невероятной простоте. В этом его величие.

4.

Вот из каких красок состояла палитра Сезанна:

Красные

Жжёный лак. Кармин. Краплак. Сиена жжёная. Охра красная. Киноварь.

Жёлтые

Сиена натуральная. Охра жёлтая. Хром жёлтый. Неаполитанская жёлтая. Блестящая жёлтая.

Зелёные

Поль Веронез. Изумрудная зелёная. Зелёная земля.

Синие

Кобальт. Ультрамарин. Прусская синяя.

Чёрная персиковая.

Бернар рассказывает, что, когда Сезанн увидел его палитру, на которой было четыре краски, кроме белой, он заявил, что с таким бедным набором работать невозможно. Оптическая система импрессионистов, перенесённая из спектроскопа на палитру, его не удовлетворяла. Этому было два основания: на палитре не было чёрной краски и сложных тонов. Первое расхождение было принципиального характера, второе — технического.

Импрессионисты изгнали чёрную краску — заблуждение, которое было следствием того, что художники на время как бы забыли условные основания своего искусства. Сделав открытие, что в природе всё окрашено в цвета, имеющие основание в спектре, решили, что и на картине должно быть так. В провинции ещё и теперь можно встретить художников, вздыхающих о невозможности при помощи жёлтой краски соперничать с сиянием солнца. Сам Ван Гог подавал этому пример!

«Искусство есть построение устойчивого подобия прочувствованному посредством ритмического расположения избранного на сей предмет материала» (Аксёнов). В этом осторожном определении понятие «подобия» ограничивается другим фактором — «ритмом». Импрессионизм был шагом в развитии подражательных средств живописи.

Его заблуждения проистекали из того, что в искусство были перенесены истины, добытые научным путём. Чуждый элемент не привился и через некоторое время выпал, как непригодный к применению. Научная истина обратилась в ложь, когда её без интуитивной проверки втиснули в сферу живого творчества.

Поставив в основание гаммы синюю краску, импрессионисты ограничили свой диапазон на целую октаву. Им не хватало силы контрастов, и волей-неволей пришлось искать новых нот на верхах. На жёлтый цвет была возложена обязанность, принадлежавшая по праву чёрному. Сезанн вернулся к пользованию чёрной краской, и нарушенное равновесие было восстановлено. Помимо важности чёрного цвета в деле отыскания контрастов, он весьма ценен в смеси с прочими цветами, давая особую гамму сложных тонов.

Наличие на палитре Сезанна сложных тонов объясняется практическими соображениями. Применение на практике принципа разложения на спектральные цвета представляет существенные затруднения.

Первое затруднение — в невозможности утверждать относительно имеющихся в распоряжении художников красок их абсолютную чистоту. Цветовые свойства многих красок чрезвычайно оригинальны. Чёрная персиковая обнаруживает свою синюю основу лишь тогда, когда мы прибавляем к ней жёлтую. Ибо, получив в смеси зелёный тон, мы не можем отрицать, что в данном случае чёрная играет роль синей. Голубой кобальт — краска, обнаруживающая своё родство с изумрудной зелёной только после изучения смеси последней с ультрамарином. Однако сравнение ультрамарина с кобальтом приводит к выводу, что и ультрамарин не может считаться чистой синей: он имеет родство с группой краплавов. Краплак при сравнении с вермильоном кажется краской, отчётливо впадающей в синий оттенок. В свою очередь, вермильон рядом с суриком обнаруживает родство с лиловой гаммой. Но и сурик не может быть признан основным красным тоном: он не даёт лилового в смеси с ультрамарином, потому что в нём слишком много жёлтого. Жёлтые цвета различных оттенков впадают либо в зелёный, либо в оранжевый (т. е. приближаются к красному и синему).

Мне кажется, что грязь, получаемая при смешении тонов на палитре, есть хотя бы отчасти следствие того, что художники принуждены пользоваться исключительно сложными красящими пигментами. Если так, то нет основания избегать красок, сложность которых не подде-

жит сомнению. Ибо чем чище тон, тем труднее обнаружить заключающуюся в нём примесь другого цвета. Тем легче ошибается художник, приписывая такому относительно чистому тону чистоту абсолютную. Из всего сказанного я делаю вывод, что применение на практике теории разложения тонов осуществляется лишь приблизительно.

Отсутствие в обиходе абсолютно чистых тонов делает чрезвычайно рискованным пользование теми красками, которым мы привыкли приписывать эту чистоту. Ибо смешение двух только основных красок фактически даёт смесь, содержащую почти всегда все три цвета, причём совершенно безразлично, будет ли это смесь механическая или только оптическая. Получение же более сложных тонов из основной гаммы является задачей, заранее обречённой на неопределённый результат. Попробуйте получить тон золотистой охры из смеси основных цветов. Повторите опыт несколько раз, и вы получите всякий раз другой результат. Это зависит от двух причин: во-первых, приходится оперировать со сложными тонами и, во-вторых, количества краски, набираемой на глаз, каждый раз другие. Соотношение этих количеств меняется в зависимости от чуткости наших пальцев. Наконец, получение некоторых сложных тонов из простых является совершенно невозможным, т. к. смешение убивает интенсивность результирующего цвета. К числу таких неподдающихся «искусственному» воссозданию я отношу все оттенки охры и сиены, а также зелёные тона — главным образом, изумрудную зелёную и Поль Веронез.

После всего изложенного вряд ли остаётся сомнение в том, что исключительное пользование так называемыми чистыми тонами есть бесцельное усложнение метода, ставящее между восприятием природы и его закреплением на холсте ненужные и почти непреодолимые препятствия.

Теория разложения с этой точки зрения может иметь применение только в тех случаях, когда необходимо добиться исключительной интенсивности прозрачных гамм, но и тут нет необходимости избегать сложных (коричневых, зелёных и серых) красок, т. к. они отличаются теми же свойствами независимости и незаменимости, как и краски, которые мы привыкли считать основными. Разложение тонов как приём, имеющий целью количественное истолкование нашего восприятия природы, наиболее уместен в декоративной живописи.

Всё сказанное объясняет, почему Сезанн пользовался палитрой, на которой было около двадцати красок. Это было необходимо для того, чтоб в совершенстве и с наименьшей затратой энергии овладеть искусством «модулирования», которому он придавал такое большое значение.

Есть ещё одно обстоятельство, которым можно объяснить богатство сезанновской палитры — эти индивидуальные особенности,

присущие каждой краске в отношении её влияния на фактуру. Краски помимо цвета различаются, так сказать, «тембром», т. е. теми свойствами, которые вызывают в нас представление о различной плотности и прозрачности красящего пигмента. Охры дают нам ощущение непроницаемой матовой поверхности, напоминающей своим строением глиняные глыбы. Это свойство несколько смягчается у жжёных красок. Зависит оно от того, что слой краски непрозрачен и отражает свет непосредственно от поверхности. Краплаки, в противоположность охрам, дают прозрачный, блестящий слой, отражающий свет не только своей поверхностью, но и всей толщей. Цвет грунта оказывает на них большое влияние. Прочие краски в большей или меньшей степени отличаются «тембром». Существуют и такие, которые, будучи почти идентичны в цветовом отношении, резко различаются именно «тембром» (кармин и краплак). Разница эта обнаруживается особенно отчётливо, когда приходится смешивать с другими цветами одинаковые по тону, но различные по прозрачности краски.

Чуткий красочник не может оставаться равнодушным к этим свойствам своей палитры. Между тем состав её, в том виде, как это было у Бернара в момент его знакомства с Сезанном (жёлтый хром, киноварь, синий ультрамарин, краплак и серебристые белила), неизбежно принуждал пользоваться почти исключительно смесями, т. е. тонами неопределённо-сложного тембра. Это, может быть, и является причиной того, что Сезанн, по словам Бернара, сначала как бы потерялся перед простым набором на палитре последнего. Сам же он, по свидетельству того же автора, «работал, очень мало смешивая краски; у него на палитре были готовые гаммы или все градации каждого цвета, и он пользовался ими».

Чрезвычайная чуткость Сезанна к степени прозрачности краски сказалась в той особенности его техники, которая стоит в прямой зависимости от этого свойства. Характер мазка постоянно менялся в зависимости от консистенции краски. Краска в тюбе, имеющая консистенцию густой пасты, требует совершенно иных приёмов накладывания, нежели жидкая, более прозрачная краска, разбавленная большим количеством жидкой основы (обыкновенно масла). Жидкий мазок вибрирует по направлению движения кисти, меняя свою толщину и прозрачность в зависимости от нажима и количества основы. Для господства над свойствами жидкого мазка требуется чуткость касания кисти и виртуозная ловкость нажима. Густой, малопрозрачный мазок вибрирует поперёк направления движения кисти. Это зависит от того, что, набирая разные краски на плоскую широкую кисть, художник может получить по краям щетинной площадки два разных тона, а посередине её — переходный тон. Края кисти, таким образом, являются как бы полюсами, центр же — основной их соединяющей. В отличие от

жидкого густой мазок почти не вибрирует по направлению движения кисти (толщина наносимой краски мало влияет на прозрачность слоя).

Вибрация пересечений плоскостей — одна из неподражаемых прелестей сезанновского мастерства. Плоскости у него вибрируют по краю. Это свойство роднит его с величайшими живописцами — Тицианом, Греко, Рембрандтом. Для достижения этого эффекта писавшие жидкой краской вели мазок вдоль края плоскости, обводили его. Сезанн вводит новый приём — он ведёт мазок от края плоскости, как бы пересекает его. Преимущества нового приёма знают те, кто долго и терпеливо изучал оба способа. Так как поперечная вибрация возможна только на протяжении ширины кисти, которая обыкновенно очень невелика (пользование слишком широкими кистями неудобно), то сам по себе способ вынуждает к отысканию тона в каждой точке отдельно. Отсюда — точность достигаемого результата. Работы, исполненные таким способом, исключают подозрение в желании добиться лёгковесной приятности. В этом причина того, что Сезанну приписывали неловкость в обращении с кистями. «Он не пишет, а рубит сплеча», — говорит один критик.

Изобретением нового приёма, глубоко соответствующего свойствам густой масляной краски, Сезанн обязан импрессионистам. Разложение тона сделало ненужным писание «по фактуре», т. е. по направлению изображаемой поверхности. Ещё Делакруа ввёл штриховку планов исключительно в целях достижения красочной вибрации. Импрессионисты клали мазок, считаясь только с красочной его значимостью и игнорируя связь его направления с формой предмета. (я разумею в данном случае Клода Моне и Писсарро, т. к. у Эдуарда Мане и Ренуара эта связь существовала). Сезанн вновь устанавливает утраченную зависимость, но на иных, более совершенных основаниях.

Как водится, пионер последовательнее всего использовал новшество. Подражатели не поняли значения нового приёма и обратили его в модный трафарет, долженствующий служить доказательством передовитости их искусства. Подчёркивали наличие новой манеры, не заботясь о достижении результата, которому она служила.

Сезанн держался распространительного принципа в истолковании красочного состава природы: свет от тени отличается не количеством белого и чёрного, а интенсивностью тонов. Тень не менее красочна, нежели освещённая сторона предмета. Об этом говорит следующий отрывок из письма мастера: «Итак, вот мой совершенно определённый взгляд: зрительное ощущение зарождается в нашем органе зрения; он классификует на свет, полутон и четверть тона те планы, которые на самом деле представляются посредством цветовых ощущений. (свет, в сущности, не существует в живописи). Неизбежно, пока вы будете идти от чёрного к белому, принимая первую из этих абстракций за точ-

ку опоры для глаза и головы, вы блуждаете и не достигнете того, чтобы вполне овладеть передачей натуры».

Отыскание красочной значимости каждой точки на предмете — таков был метод колористического разрешения. Переход от света к тени разрешался при помощи подыскания связующих оттенков. Чёрная краска утратила значение условного признака, характеризующего тень. Ей была отведена, наравне с другими красками, роль элемента, составляющего тон. В этом нельзя не видеть влияния импрессионистов на Сезанна. Только у него взгляд на краску теряет теоретическую узость (импрессионисты отказались от чёрного цвета) и чутьё к градациям тона достигает неслыханной остроты. Он выше импрессионистов тем, что его больше занимает *соотношение тонов*, нежели их абсолютная чистота и интенсивность. Он уже не так наивен, чтоб соперничать с природой, ибо она благодаря своему «равнодушию» всегда остаётся в соревновании победительницей. Он строит свой мир, подчинённый законам, подобным, но не идентичным законам природы. Кроме того, Сезанн никогда не приписывал краске доминирующего значения.

Слова Сезанна о том, что нужно не «моделировать» красками, а «модулировать» их, указывают именно на *подчинённое* положение красочного элемента картины. Это утверждение на первый взгляд может показаться ошибочным: из того, что задача моделировки уступает место красочному разрешению, можно сделать вывод, что последнее играет более существенную роль. В действительности это не так. В данном случае имеет место совмещение двух задач — красочной и пространственной, а не замена первой задачей второй. Возложив на краску пространственную и объёмную характеристику изображаемого, Сезанн тем самым подчинил колористическое задание идее массы. Ибо слияние пространственных и красочных элементов и создаёт тот материал, из которого художник строит картину. Это именно и есть масса в том смысле, как её понимают живописцы.

Метод Сезанна, таким образом, повышал до предела выразительные возможности краски. Она из средства, долженствующего улаживать наш глаз своей безотносительной, беспредметной приятностью, обратилась у него в могучее орудие характеристики масс, которыми оперирует художник. Для выполнения этой ответственной задачи нужно было обострить и развить до предела красочное чутьё. Для этой же цели необходимо было усовершенствовать состав палитры, т. к. грубый спектральный набор не мог удовлетворить утончённое колористическое чувство.

Характерно, что художники, искавшие в краске только приятных сочетаний, услады для глаза, были принуждены прибегать к вспомогательным средствам для полной характеристики форм и пространст-

ва в своих картинах. Так, например, Гоген обводил пышно-красочные плоскости своих картин тёмной чертой, как бы опасаясь, что тон сам по себе недостаточно характеризует изображаемый предмет. Так же поступал Ван Гог — и благодаря такому приёму, картины этих художников имеют характер раскрашенных рисунков. Сам Сезанн говорил про Гогена, что его живопись — плоские китайские картинки, очевидно разумея под этим недостаточную убедительность их пространственной организации.

Выполнение задачи, поставленной Сезанном, требовало постоянно огромного напряжения творческих сил. Бернар описывает способ работы мастера (очевидно, акварелью) на мотиве — способ совершенно оригинальный и чрезвычайно сложный. Сущность его сводилась к отысканию градаций тонов в пределах каждой плоскости, причём работа в этом направлении шла параллельно с обработкой формы каждого предмета. Это было медленное и осторожное строительство, постоянно наталкивавшееся на препятствия, так как принцип, поставленный в его основу, был негибок и не допускал компромиссов. Именно этот принцип — слияние краски и формы — побудил Сезанна искать простейших форм в природе, т. к. только таким путём можно было добиться желаемого синтеза. Это стремление к упрощению повело к необычайной силе пластического воздействия.

5.

Вопроса об идейном содержании картин можно было бы и вовсе не затрагивать. Но отсюда могут возникнуть недоразумения, почва для которых, к сожалению, слишком подготовлена в русском читателе. Да и в критике встречаются серьёзные упреки по поводу исключительно зрительного содержания картин Сезанна. Его называли «молчаливым» художником, картины которого ничего не говорят уму и сердцу. Я далек от желания приписать картинам Сезанна какую-нибудь символику или, упаси боже, что-либо такое, что могло бы занять наш ум полезными размышлениями. Так, к сожалению, поступают с каждым художником задумчивые отечественные критики.

Однако безыдейным творение Сезанна я не назвал бы. Только эти идеи — чисто пластического характера, и передавать их словами — бесполезная затея. Сущность их сводится к доказательству необходимости и закономерности исследуемых и утверждаемых художником форм. Мир Сезанна — это стихия масс, связанных законом единства в органическое целое. Он не нуждается в диалектическом обосновании, ибо он целиком лежит в сфере зрительного восприятия, в которой — начало и цель его существования. Законы природы, идея движения и покоя, идея роста, развития, умирания, образ человека, пейзаж, на-

тюроморт — все это затрагивается искусством Сезанна, поскольку ему необходим материал для построения своих пластических комбинаций. До него живопись не знала такой величавой свободы, будучи придавлена бременем подражательности. Сезанн не уничтожил подражательной субстанции своего искусства, но он отвёл ей минимальное место, именно ровно в той мере, в какой это нужно для того, чтоб живопись не утратила объективного значения, чтоб изображаемые художником тела и пространства воспринимались зрителем как нечто соответствующее его реальным представлениям, а не как плод личной изобретательности художника.

В этой свободе нельзя не видеть сходства с музыкой, но я не нахожу оснований отыскивать пункты сходства в частности, т.к. это ведёт к подчинению одного искусства другому. Тем более опасны такие обобщения теперь, когда мы видим, что почти никому не удаётся удерживаться на достигнутой Сезанном высоте. Ибо те, кто пожелал прыгнуть выше Сезанна в отношении свободы от подражательности своего искусства, оторвались от почвы и перестали быть живописцами. В манифестах новейших течений нередко встречаются указания на то, что мы накануне создания нового рода искусства. Следовательно, живопись *останется для живописцев*. Последние будут по-прежнему черпать в творении Сезанна те великие идеи своего искусства, которые навсегда застрахованы от посягательств научного мышления, которые передаются только живой преемственностью, из души в душу, от кисти к кисти, без посредничества учёных скопцов. Только эта живая преемственность открывает нам путь к познанию прекрасных творений былых времён и укрепляет в художниках веру в необходимость их подвига.

Лидия Гинзбург

Встречи с Багрицким

Так же, как Эдуард Багрицкий, я выросла в Одессе.

Всё же по-настоящему мы познакомились хотя и в Одессе, но уже тогда, когда Багрицкий постоянно жил в Москве, а я в Ленинграде. Летом 1926 года наш общий приятель Николай Иванович Харджиев привёл Багрицкого в «Аркадию», ко мне на дачу.

«Дума про Опанаса» не была ещё напечатана или был напечатан только первый её вариант в «Комсомольской правде». Багрицкий читал её нам. Тогда в первый раз я услышала и «Думу», и столь характерную интонацию Эдуарда. С тех пор, до конца жизни Багрицкого, мы встречались в Москве, в Ленинграде. Во время этих встреч Багрицкий всегда читал стихи — новые и старые.

Думаю, что настоящий поэт всегда читает свои стихи именно так, как нужно, несмотря на отсутствие техники, несмотря даже на недостатки произношения. Навсегда запомнился голос Блока, глухой и монотонный, читающий «Возмездие» (Блока я слышала один только раз, за несколько месяцев до его смерти). Но есть поэты, у которых дар чтения — это второй дар, занимающий особое место в их творческой жизни. Таким был Багрицкий, и этой чертой, при всем различии масштабов и стилей, он подобен Маяковскому.

Маяковский, замечу, читая стихи, никогда не кричал. Своим голосом, мощным, глубоким и по-своему мягким, он владел с абсолютной точностью, и он выражал всё, что хотел, без тени тех грубых нажимов, к которым прибегают нередко профессиональные чтецы стихов Маяковского.

Моё поколение прошло через многие увлечения ощутимыми поэтическими средствами. Сейчас мне кажется самым важным другое — самое трудное для поэта — энергия скрытых поэтических средств и сила обнажённой мысли. Но и сейчас понимаю, не перечёркиваю то, что влекло нас к Багрицкому.

По всему своему психологическому складу по восприятию жизни Багрицкий был в высшей степени поэтом с превосходным пониманием поэтического дела, со страстной любовью к стиху произносимому. Казалось, он переполнен ритмами (хотя писал медленно и трудно). Не

музыка прежде всего, а именно ритм. Не мелодичность, поглощающая слово, а ритм, его выделяющий. Он так и читал, с особой ритмической раскачкой:

Уже, окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...

Формальные элементы как таковые заметны только в несостоявшихся стихах, в состоявшихся — они значат. Багрицкий утверждал: «“Опанас” был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки в регулярную армию строк» («Записки писателя»). Это неточно: не *из-за*, а в одновременности поэтической мысли и неотделимого от неё ритма.

Ритмы Багрицкого выражали его жизненный напор, о жизнелюбии Багрицкого говорили много. Лирика — это прежде всего разговор о самых больших жизненных ценностях, и потому поэт не может не любить то, о чем пишет. Это относится даже к самым трагическим поэтам. Ведь любовь к жизненным ценностям — условие трагического переживания их гибели, их утраты. Любовь к жизни предстаёт в лирике иногда в очень сложных косвенных формах. У Багрицкого речь о ней идёт прямо в лоб, хотя это любовь к трудной жизни, трудной исторически и лично, отмеченной болезнью, нуждой, противоречиями человека переходного поколения.

Ритмы Багрицкого, его узнаваемая интонация помогали сплавлять разнохарактерные элементы в единый поэтический образ. Этот образ питали противоречия поколения Багрицкого, противоречия среды. С самого начала смешалось здесь многое: наследие русского модернизма десятых годов, литературная богема, босяцкая стихия портового города (в своё время она привлекала молодого Горького) — со всей спецификой Одессы потом повела за собой революция; потом — Гражданская война, военный коммунизм. В поэзии Багрицкого всё отлагалось характерными языковыми пластами. Тут и фольклор — украинский, русский, и специально одесские диалекты, тут традиционно поэтические формулы, смешанные с самыми бытовыми словами, и язык Гражданской войны и первых лет революции. Всё разное, и всё это — Багрицкий, именно в этой пестроте. То же и с голосами поэтов — современников Багрицкого: не заглушая интонации Багрицкого, они слышатся в его стихах. Недаром Багрицкий писал:

А в походной сумке —
Спички и табак,

Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Пастернаком Багрицкий увлекался, охотно говорил о нём, о его поэзии.

Из встреч с Багрицким больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я бывала у него несколько раз; впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты Багрицкого был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Для людей была оставлена тахта у стенки; на неё можно было садиться, ставить пепельницу и класть книги.

Багрицкий, большой, уже располневший, со своим птичьим носом, с клоком волос, прямо свисающим на глаза, улыбался, нагнув голову набок. Читал стихи, задыхаясь от дыма (он непрерывно курил), от тяжёлого астматического кашля и как будто от ритмов, которым уже тесно в груди.

Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела несколько иначе. Птиц уже не было, Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать; собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали, но от аквариумов исходил лёгкий запах. Багрицкий объяснил: менять воду в аквариумах часто не следует, это знают все подлинные специалисты. В этот день у Багрицкого собралось несколько человек; московская гостья твёрдой рукой открыла окно. «Не можете ли вы приезжать хоть раза два в неделю, — сказала жена Багрицкого, Лидия Густавовна, — он не позволяет нам открывать окна, кричит: вы хотите, чтобы мои рыбы простудились и умерли!»

В 1928 году Багрицкому материально приходилось туго. Он не жаловался, но попутно шутил на эту тему. Кто-то из присутствующих стал его убеждать написать между делом халтуру, для денег. Если жалко имени, можно под псевдонимом. Разговор весь шёл в шуточном тоне. И вдруг, ломая его, Багрицкий сказал очень серьёзно, как говорит о вещах крепко продуманных:

— Не в том дело. Я всегда боюсь, что в халтуру попадёт строчка из настоящего стихотворения, из будущего, понимаете? — и пропадёт. Так нельзя...

Одно из проявлений блестящего профессионализма Багрицкого — его пятиминутные сонеты. Сонет писался в пять минут, по часам,

тут же, на заданную кем-нибудь тему. Об этом рассказывает Олеша в своей книге «Ни дня без строчки». Рассказывает о том, как Багрицкий в аудитории Одесского университета писал на доске сонет на тему «камень».

У меня сохранился автограф одного из этих сонетов-импровизаций. Написан он в Кунцеве в январе 1928 года на заданную мною тему «Одесса», Багрицкий написал его в шесть с половиной минут, то есть опоздал на полторы минуты. Он был огорчён этим, сердился и говорил, что мы, гости, мешали ему своими разговорами.

В Одессе на двух концах знаменитого Приморского бульвара расположены были с одной стороны — «Белый дом», бывший дом Воронцова, с другой — большой бронзовый бюст Пушкина. Это расположение Багрицкий обыграл в своём сонете.

Одесса

Ещё стучатся волны о маяк,
Ещё играют чайки над буруном, —
А в городе мечтательном и юном
Над белым домом полыхает флаг...
Над круглой площадью тяжёлый шаг —
То Воронцов встаёт в сиянье лунном,
Он новую принёс теперь игру нам —
Глядеть на Пушкина и так, и сяк.
Ну что ж из этого! Пора в дорогу.
Глухая ругань, подымаясь к Богу,
Тревожит мрак отчаянной божбой.
И кажется — с бульвара, там, с опушки,
Без ног и рук выходит мёртвый Пушкин
И Воронцова вызывает в бой...

В Поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво и неизменно вызывала образ Пушкина. Багрицкий преданно любил Пушкина — как подобает русскому поэту.

1965

Семён Вайман

Трагедия «Лёгкого дыхания»

*И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой...*

Тютчев

Рассказ этот широко известен и уже давно причислен к шедеврам мирового повествовательного искусства. История его создания отчасти сообщена самим автором — Иваном Алексеевичем Буниним: «...Вспомнилось, что забрёл я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, радостными глазами. Девушку эту я тотчас же сделал мысленно русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в чернильницу, стал выдумывать рассказ о ней с той восхитительной быстротой, которая бывала в некоторые счастливейшие минуты моего писательства»¹. Но это — только внешняя сторона «творческой истории» рассказа. Вчитаемся теперь в одну из бунинских биографических записей, лишь на скорый взгляд не имеющую прямого отношения к «Лёгкому дыханию»: «В тот февральский вечер, когда умерла Саша, и я (мне было тогда лет 7—8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу всё глядел в тёмное облачное небо, думая, что её маленькая душа летит теперь туда. Во всём моём существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапно совершившегося великого, непостижимого события» (9, 337). Запись эта относится к 1940 году, в ней очень точно обозначен биографический, сугубо личный источник той художественной ситуации, что запечатлена в «Лёгком дыхании». Зацепились друг за друга, сомкнулись в ассоциативный пучок, навсегда связались в сознании писателя — уже вне конкретного житейского события — девочка, зима, смерть, облачное небо, куда летит «маленькая душа», ужас, тайна. И стоило Бунину

¹См.: *Бунин И. А.* Собр. соч. В 9 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1967. С. 369. В дальнейшем ссылки на это издание даются непосредственно в тексте: первая цифра — том, вторая — страница. — Здесь и далее *примеч. автора*.

забрести на каприйское кладбище, увидеть могильный крест и фотографический портрет девушки с радостными глазами, как тотчас жили в нём и родственно отозвались впечатления детства. Потому и мог он с такой лёгкостью и «восхитительной быстротой» написать рассказ о Мещерской, что внутренне, психологически уже был на него ориентирован: и девочка, и последняя её зима, и ужасная смерть, и душа её, рассеянная в облачном небе, и тайна, сквозящая в каждом эпизоде и каждой сцене, не принадлежа ни одной из них отдельно, — все эти компоненты бунинского повествования восходят к ранним жизненным впечатлениям писателя как своему архетипу. Но это означает, что «восхитительная быстрота», с какою был написан рассказ, — прямое следствие глубокой укоренённости его в субъективном мире Бунина. И потому можно надеяться, что анализ этого небольшого по своему физическому объёму произведения позволит уловить и некоторые общие свойства художественной мысли его автора.

Заметим: попытки исследовать «философию» и поэтику «Лёгкого дыхания» предпринимались неоднократно. Тут сразу же должен быть упомянут выдающийся русский учёный Л. С. Выготский, автор во многих отношениях талантливый этюда о бунинском рассказе. Правда, в этом этюде, составляющем фрагмент знаменитой «Психологии искусства», искусству повезло всё же в меньшей степени, чем психологии: художественной плоти рассказа Л. С. Выготский касается лишь в той мере, в какой это необходимо для обоснования тезиса о «законе противочувствия» или «аффективном противоречии» как принципе построения, а потому и восприятия литературного текста. Сильные и слабые стороны концепции Л. С. Выготского и — конкретно — предпринятого им анализа «Лёгкого дыхания» уже были предметом специального рассмотрения¹; возвращаться к обстоятельному разговору на эту тему нет нужды. И ежели, тем не менее, я дерзаю ещё раз привлечь к нему внимание, то лишь с единственной целью: попытаться увидеть его не «в свете» той или иной проблемы, но как художественное целое — эстетически претворённое авторское «чувство жизни». Вполне понятно, что само оно, это чувство, во многом восходит к социально-историческим коллизиям эпохи, — недооценка этой стороны бунинского сознания могла бы, разумеется, и упростить и обесцветить его.

Ясность над бездной

О чём он, этот рассказ? Фабула его до чрезвычайности проста. Юная, безоглядно счастливая красавица-гимназистка Оля Мещер-

¹См.: *Дмитриева Н.* Диалектическая структура образа // Вопросы литературы. 1966. № 6; *Сендерович.* Функциональный анализ искусства // Вопросы литературы. 1966. № 3.

ская становится добычей 56-летнего сластолюбца, а затем — живой мишенью для обманутого ею казачьего офицера. Трагическая гибель Мещерской подвигает на иступлённое, иссушающее «служение» её памяти одинокую маленькую женщину — классную даму.

И вот здесь-то, среди этой, казалось бы, простоты и самоочевидности, завязываются и первые сложности. Бунинская простота обманчива — она сродни моцартовской «ясности над бездной».

Тут крупно проступает метод Бунина. Если воспользоваться известным афоризмом, Бунин видит свою задачу не в раскрытии скрытого, но в сокрытии раскрытого. Он берёт простенькую, едва ли не тривиальную историю и сотворяет из неё величайшую тайну. Он движется от знания к незнанию, от ответов к вопросам. С наступлением финала атмосфера загадочности достигает у него критической отметки. Может показаться: Бунин намеренно завлекает нас в некую сквозную прозрачность, приманивает, завораживает ею, — с тем только, чтобы мы внезапно угадали рассеянную в ней пучину. Такое впечатление, будто переходим от ясности к ясности, а вот уж незаметно вовлечены во мглу, окутаны ею — так странно сомкнулись у нас перед глазами эти разрозненные ясности. Кому случалось заблудиться утром в глухом бору, тот помнит: тревожит и страшит как раз не то, что скрыто, упрятано где-то, в глубине, в лесном чреве, а та обманчивая прозрачность, что неуловимо сквозит меж деревьев. Парадокс: ясность, обычно сулящая надежду на спасение, душит безысходностью. Вот начало «Лёгкого дыхания»:

«На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, ещё далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская».

Тут можно бы поставить последнюю точку и в который раз подивиться превратностям судьбы и власти случая. Всё ясно и в некотором роде даже тривиально. И тем не менее уже здесь, у истока бунинского повествования, мы тревожно насторожимся, именно ясность заставит наше сердце мучительно сжаться: дубовый надмогильный крест, крепкий, тяжёлый, и — словно парящие, радостные, сиюминутные, живые глаза. Чудовищный избыток веса, массивности, прочности, и — счастливая воздушность, полёт. Отчего и как зацепились они друг за друга — избыток жизни и избыток вещества? Крест и глаза? Они и дальше будут следовать рядом, уже не только как предметы, но скорее как музыкальные партии, — будут касаться друг друга смыслами,

пугать загадочной близостью. Очарование девичьих форм — отчего человеческая речь бессильна выразить его достаточно полно? И отчего в красавицу Мещерскую стреляет некрасивый казачий офицер? Как связались две эти судьбы? Всего этого мы так и не узнаем. Будет мучить догадка: а может, и не убийство это вовсе, а самоубийство, «исполненное» рукой разъярённого ревнивца? Вспомним дневниковую Олину запись: «Теперь мне один выход...» Вот и спровоцировала она гнев казачьего офицера, показав ему на железнодорожной платформе интимную страничку дневника. Может, так? Даже по отношению к себе самой Оля «движется» от знания к незнанию: её потрясает таинственность собственной души («...Я никогда не думала, что я такая»), словно чья-то сильная и недобрая рука забросила в неё горсть искусов. Наконец, финал: Олино «лёгкое дыхание» вновь рассеивается в мире, и всё начинается сначала. За этим — колдовская работа вселенной — соединение этого «лёгкого дыхания» с новым, родственным ему, полным огня и страсти телом. Когда состоится эта встреча? Может, через тысячу лет? Или — миллион?

Обманчива и в высшей степени загадочна простота бунинской фавулы. Тут ведь всё зависит от исходной величины. Пойдём «от» Оли Мещерской, и тогда рассказ — об Оле Мещерской. Пойдём «от» классной дамы, и тогда рассказ — о классной даме. Эта вторая фавульная версия поддерживается художественной организацией времени: настоящее время принадлежит здесь именно классной даме. Напомню начало рассказа: крест *стоит*, ветер *звонит*. Угадывается присутствие человека, чьими глазами мы видим и крест, и фарфоровый медальон, и просторное уездное кладбище, — человека, сейчас вот, сию минуту, здесь, на могиле, вспоминающего историю жизни и смерти Оли Мещерской. Человек этот, несомненно, классная дама. Вот доказательство. В первоначальной печатной редакции исходная фраза выглядела так: «На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий, *такой, что на него приятно смотреть*» (4, 490). В окончательном варианте рассказа подчёркнутые слова отсутствуют; очевидно, Бунин отсёк их из соображения краткости. Для нас тут важно вот что. «Приятно» — из речевого репертуара именно классной дамы; это слово вернётся в повествование на заключительной его стадии, там, где вновь возникнет контекст *настоящего времени*. Мы узнаем здесь, что городские камни за эти апрельские дни побелели и по ним легко и *приятно* идти. Разумеется, *приятно* классной даме. Это она направляется в трауре на кладбище, переходит площадь, где гуляет полевой воздух, пробирается между монастырём и острогом. На кладбище маленькая женщина крестится, привычно идёт по главной аллее, сидит на ветру, думает. Это она, классная дама, иступлённо всматривается в дубовый крест, это ей радостно сознавать, что пусть краем, а всё же и её коснулась

своей высотой трагическая судьба Мещерской. Оттого-то «в глубине души» она кощунственно «счастлива».

Таким образом, рассказ Бунина с фабульной точки зрения вариационен, и варианты его равноправны. То есть фабула в данном случае — не вектор, она не направлена; она — момент целого — всего рассказа. Рассказ — возможность фабулы.

Эта вариационность фабулы, «незакреплённость» её за единственным персонажем, вообще связана у Бунина с отказом от персонажного принципа видения и организации повествования в пользу неизмеримо более авторитетной «величины» — жизни в её целом. Главное у Бунина — не точка, а поле. Читая Бунина, надо научиться рассредоточивать взгляд, рассеивать внимание по всей обширности текста, иначе впадём в «персонажность». В этой ситуации равноправия каждый элемент ощущается как потенциально главный — любая деталь грозит разрастись и заполнить всё жизненное пространство рассказа. И так — не только в «Лёгком дыхании», так вообще у Бунина. Вот знаменитые «Сосны». Это — жизнь в подробностях, равноценных, хотя и не равновеликих. И фабула тут — не магистраль, не магнит, а тоже подробность наряду с другими, — правда, разросшаяся. Событие — смерть сотского Митрофана — само по себе малоинтересно; Бунин не позволяет ему фокусировать всю художественность рассказа, сводить воедино, в высшую полноту и цельность окрестные детали. Бунинское изображение — сплошное, безынтервальное; это вязкая, густая непрерывность, и смерть Митрофана, «беспрекословно» следовавшего законам жизни, надёжно размещена внутри этой непрерывности. И потому не трагична: ведь человек — что сосна; во вселенском круговороте превращений она — и горло, исторгающее мощный органный звук, и тесина для гроба, и дрова, и хоругвь. Вот и Митрофан — не исчезает, но превращается: в гробу — слушает, земля вокруг него — думает...

Равноправие различных вариантов фабулы, а также деталей, ослабленность — выравнивание — зачина и финала — словом, «демократизация» всех элементов повествования проистекает из особого, именно Бунину присущего *чувства жизни*. Безначальность и безконечность бунинских черновиков (2, 254) — одна из литературных «ипостасей» этого особого чувства жизни. Бунин признавался, что его рождение не было его началом, — начало затеряно в непостижимой тьме, таинственной бытийной дали (5, 300), и отстоит от метрического рождения на мириады лет. Вот так же, как Экклезиаст, он улавливает в себе дремучую глубь веков, помнит себя ещё козлёнком. Посетив индийские тропики, испытывает «ужас ощущения, что... был когда-то тут, в этом райском тепле»¹ «Но нет у меня и конца, — заключает

¹ См.: также в «Жизнь Арсеньева» (6, 35, 36): «... и я когда-то к этому (рыцарскому. — С. В.) миру принадлежал».

Бунин, — промелькнёт череда поколений, и кто-то почувствует себя мною» (5, 301). Это ощущение собственной жизни как непрерывной, неостановимой длительности, это отважное и вместе спасительное развёртывание себя и вспять, в предчеловеческую реальность, и по всему ходу времени снимало коллизию бытия и небытия. «Люди совсем неодинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под её знаком, с младенчества имеют обострённое чувство смерти (чаще всего в силу столь же обострённого чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я» (6, 26). Под знаком смерти прожила свой краткий век и Оля Мещерская. Первые перепады чувства, и гимназист Шеншин, заподозрив неверность, покушается на самоубийство; первый соблазн, первый искус, и первая мысль о собственной гибели («Теперь мне один конец...»); где-то под Мукденом ложится костями молодой прапорщик — брат классной дамы. Ни одну из ипостасей сущего — ни жизнь, ни смерть — не оставляет Бунин в изоляции, ни одна из них не перевешивает: на *Соборной улице* — гулянье, по *Соборной улице* «маленькая женщина в трауре» направляется на кладбище; в *городском саду* — каток, веселье, розовость — *городское* кладбище напоминает низкий сад. Обострённое или повышенное чувство жизни—смерти Бунин связывает с чувством целого. Симптоматичен в этом плане его интерес к «Размышлениям» Марка Аврелия: в философских сентенциях великого римского стоика Бунин находит и открывает... самого себя — формы собственного мирочувствия — идею круговорота бытия («всё из века равно самому себе, пребывая в круговороте»¹), идею переселения души умершего в воздух («души, нашедшие прибежище в воздухе»²) и другие философские образы. Как раз те самые, что творчески веют в «Лёгком дыхании».

Г. Н. Кузнецова сообщает: в июне 1932 года Бунин перечитывал Марка Аврелия. Безнадёжность, сквозящую в размышлениях императора, он непосредственно «выводил» из «пониженного чувства жизни», вообще характерного, по его мнению, для всей тогдашней эпохи. Стоические рекомендации не вызвали у Бунина ни малейшей симпатии: «Разложи танец, разложи совокупление», — но ведь как это разложить? Если разлагать — значит уже не хочется танцевать. А если разложить совокупление — оно тоже не будет совокуплением, любовью, восхищением... а голым актом...» [6]. Таким образом, пониженное чувство жизни Бунин связывает с самоцельным *анализизмом*, разрушением целого, упадком интереса и вкуса к нему. Для Бунина Целое — единственно реальная стихия существования, прибежище от смерти. Представление о Целом ассоциируется с круговоротом — космическим коловращением бытия, внутри которого рождение и гибель равноправны. Бытийный круговорот снижает катастрофичность кон-

¹ *Марк Аврелий*. Наедине с собой. М., 1914, С. 22.

² Там же. С. 45.

ца. Лёгкое Олино дыхание возвращается в финале рассказа миру, небу, весеннему ветру. Люди неумоимо передают друг другу эстафету жизни. Вот крохотный бунинский шедевр «Лапти». Ночь. Умирает мальчик. Умирает, бредит красными лаптями. Хуторской крестьянин Нефёд понимает это так: душа просит. И отправляется среди ночи в непроглядную вьюгу, за шесть вёрст от дома, в магазин. Замерзает. Гибнет. В это же время заплутали в лугах и уже решили пропадать мужики. Да вдруг приметили ноги в валенках, что торчали из сугроба. Вытащили. Узнали земляка. Поняли: жильё — рядом. Тем и спаслись. Не замёрзны Нефёд, не выжили б мужики. И в нашем случае: не погибла б Мещерская — не озарилось бы смыслом тусклое существование классной дамы. Высшая оправданность трагедии — в неуничтожимости бытия, неосстановимости его круговорота. Нравственные постулаты, таким образом, оказываются соизмеримы лишь со всей обширностью сущего; с единичной человеческой судьбой они «соприкасаются» только опосредованно — через космическую эту обширность. Человек бессилён уловить в собственных поступках подлинную их суть; конечные цели круговорота, контекст Целого ему неведомы. Сам того не сознавая, он участвует в движении непостижимых вселенских величин, подчиняется могущественному *бытийному ритму*. И нет силы, способной отменить этот железный ритм — гул неизбежного Целого. Если для чеховского жизнеощущения (например, в «Даме с собачкой») характерна монотонность («Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас»), то для бунинского («Лёгкое дыхание») — нарастающее *движение к пределу*. По крутым, горьким и радостным ступеням страдания — через катастрофу — восходит, прорывается «чувство жизни» к высшей бытийной полноте. И полнота эта — неординарная, небытовая. Главнейший её атрибут — отказ от рефлексии, — человек забывает, теряет в себе всё «умственное», суетное, внутренне себя отпускает — отдаёт во власть внеличной стихии и на этих путях возвращается к себе. Вот так внезапно отпустила себя Оля Мещерская, и то, что грянуло оттуда, из «дорассветных» глубин сознания, ошеломило её и потрясло. Встреча с другим (Малютиным) на самом-то деле оказалась первой встречей с собою.

Из «Грасского дневника» Г. Н. Кузнецовой: «28 мая. Говорили о “Лёгком дыхании”. Я сказала, что меня в этом очаровательном рассказе всегда поражало то место, где Оля Мещерская, весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина. Я старалась представить себе любую другую девочку-гимназистку, включая и себя, — и не могла представить, чтобы какая-нибудь из них могла бы сказать это. И. А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, *доведённой до предела своей “утробной сущности”*. Только мы называем это утробностью, а я там назвал это лёгким ды-

ханием. Такая наивность и лёгкость во всём, и в дерзости, и в смерти, и есть “лёгкое дыхание”, недуманье...» [7] (курсив мой. — С. В.).

Здесь — ключ к бунинскому жизнеощущению. Разросшаяся «утробная сущность» — лишь один из вариантов того особого, внутреннего, тайного состояния, которое Бунин назвал «доведением до предела». Но бунинская жажда предела и бытийной полноты противоречива. Полнота — не только благо. Она ещё и губительна тоже. Стремление к ней, даже бессознательная тоска по ней — трагичны. Полнота таит в себе порчу и в то же время, точно сирена, влечёт к себе Бунина. Как художник, как мастер, взыскующий совершенства, он не в силах устоять перед её телесными чарами, перед соблазном «крайней убедительности»¹, предельной самодостаточности, последнего жизнеподобия слова, звука, краски, интонации. И он ощущает её разрушительную власть: в ней — завязь беды, катаклизма. Чем полней, то есть, в бунинском смысле, «бездумней», бытие, тем оно опасней и ущербней. Разрастается Митина любовь — становится неотвратимее его гибель. Взрослеет, хорошеет Анна («Аглая») и на вершине молодости и красоты «принимает кончину». В «Антоновских яблоках» — праздник плоти и огня, избыток, могущество и великолепие жизни — звёзд, солнца, теней, запахов, плодов, — фантастический, языческий урожай материи! А внутри — словно червоточина — чухоточный мещанин, торгующий вместе с братом-полуидиотом; жутковатые следы крепостного права; самоубийство ловкого и статного Арсения Семёныча... В густоте, колоссальном напоре и концентрации жизни — грозный потенциал падения, мощь обвала, энергия излёта, исхода, увяданья. Можно заметить: бунинская жажда полноты — состояние не дотворческое, но практически-художественное. Два решающих фазиса образуют его динамику: *аура* и *градация*. В «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецовой — любопытнейшее признание Бунина: «...если я чувствую в произведении ауру художника, это меня уже болезненно ранит. Для того чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нём только его ауру — ауру произведения»². Что это — аура?

В антропософском и теософском смысле это — сияние, излучаемое телом; цвет его специфически символизирует волнение, охватившее душу; увидеть его могут только посвящённые. В медико-патологическом смысле — это момент, предшествующий эпилептическому припадку, предвестник его, как бы дуновение, лёгкая судорога. Оба смысла участвуют в высказывании Бунина; участвуют активно, играя и обмениваясь нюансами. «Сияние», то есть потаённое бытие образа, должно принадлежать именно ему, всецело исходить от него, а не

¹Из письма Бунина к М. В. Карамзиной от 10.IV.1939 г. // Литературное наследство. Иван Бунин.. Кн. 1. С. 681.

²«Литературное наследство. Иван Бунин». Кн. 2, С. 288.

от автора-демиурга. При этом «сияние» — не ровный свет, аккуратно изливающийся за пределы литературного текста; это — световое беспокойство, мистерия огня, болезненное, тревожное восхождение из заповедных глубин духа некоей *таинственной субстанции*.

Разумеется, у Бунина аура — метафора, категория художественная, связанная с «энергетическим» фондом изображённой жизни. Речь идёт о внутренней динамике повествования, и аура — наиболее ранняя, начальная точка его неумолимого, фатального бега к пределу, кризису. Предчувствие, предвестие кризиса. Дрожь, пробегающая по тексту. Гул, предвещающий катастрофу. Словом, особое натяжение, напряжение художественного поля, тревожно предугадывающего некую высшую, опасную, трагическую ступень. Подобно чеховским Анне Сергеевне и Дмитрию Дмитриевичу Гурову, бунинская гимназистка пребывает в простодушном неведении относительно тайного состояния мира, даже и не помышляя о законах, которым стихийно подчинена и в которых заложена неизбежность её краткого счастья и ужасной смерти — жесточайшей платы за стремление к полноте. Это высшее знание, этот трагический опыт — в целостном авторском ощущении жизни — в бытийном ритме рассказа. Здесь главное — фатальное «усиление», губительно прогрессирующий ход вещей, неумолимое крещендо. В разговоре о Бунине этот термин не случаен. Бунинское жизнеощущение, по интимнейшей сути своей, музыкально. «...Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно-плавно, ликующе, так бессмысленно-божественно-весело, что становились почти страшными, и чудесно-трагический образ вставал перед моим воображением» (6, 172–173). Это — художественная формула бунинского «чувства жизни», его «крещендо». Здесь и неотвратимый ход вещей, и присутствие тайны («куда-то»), и градация, прогрессия — нарастающий напор энергии, воли, и общая тяга к пределу, жажда последней полноты («бессмысленно» в этом контексте родственно «недуманью» из бунинского высказывания о «Лёгком дыхании»). Наконец, в самом движении к высшей полноте, тоске по ней и обретении её угадывается знак катастрофы, смерти. Не случайны здесь двух- и трёхчленные эпитеты: «бессмысленно-божественно-весело» и «чудесно-трагический»; важно было увековечить органическую одновременность состояний — градация подхватывает и несёт на своих нарастающих волнах единое бытие, и в самой полноте его — *предвестие небытия*. Вообразите: *несчастье* мы ощущаем как *более чем счастье, горе — как более чем радость*. Не странно ли? Но именно в этой странности и «смещённости» смысла — оригинальность бунинского «чувства жизни».

Закону крещендо подчинены решительно все линии, мотивы и образы «Лёгкого дыхания». Вот *градация власти*: классная дама — начальница гимназии — царь (портрет его — в кабинете). А вот

градация ситуативная: Мещерская завлекла казачьего офицера — была с ним близка — поклялась быть его женой... Или: Мещерская сказала офицеру, что и не думала никогда любить его, что издевалась над ним — дала прочесть страничку дневника. Каждая деталь грозит разрастись до размеров катастрофы, обрести губительную избыточность: за любопытство и шалость — насилие! За легкомыслие — расстрел! Дух трагической градации буквально властвует над бунинским повествованием. «Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет... в пятнадцать...» «А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрёпанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена... Никто не танцевал так... никто не бегал так... ни за кем не ухаживали столько... никого не любили так...» Оля — девочка, Оля — девушка, Оля — женщина, и — смерть! Гимназист Шеншин — совратитель Малютин — казачий офицер — смерть! Самая тяжкая вина Мещерской — в том, что она живёт, а не исполняет роль живого существа — наподобие классной дамы, или подружек, словно постоянно готовящихся к выходу на сцену («как тщательно причёсывались... как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями»), или Малютина, исполняющего, как ему кажется, роль Фауста (Оля в этом сценарии — Маргарита). *Быть предельно живым — значит быть предельно обречённым*, — такова ужасающая истина «Лёгкого дыхания», истина бунинского мироощущения.

Человек и люди

Бросается в глаза: автор «Лёгкого дыхания» не столько непосредственно исследует человека, сколько художественно удостоверяет результаты исследования. Он ставит нас перед фактом. И факт заключается в следующем: та последняя и неделимая наша суть — «самость», которую каждый из нас «проживает» в себе стихийно, способна выйти вовне, из биологической норы на свет, в суету и путаницу вещей, лишь на пределе наших бытийных сил и возможностей, в момент высочайшего натяжения духа, страсти, инстинкта — в состоянии экстаза, пароксизма, аффекта или помешательства. То, что, наподобие огненной лавы, мгновенно и яростно выталкивается из заповедных глубин сознания, самому сознанию не принадлежит, ему неподвластно. Это — не оно, это — в нём что-то тайно клокочет и родственно рвётся «на чей-то роковой призыв». Таковы бунинские «ошеломлённые души» — помещик Хвоцинский («Грамматика любви»), Аглая, капитан в «Снах Чанга» и многие другие. Причём «ошеломлённость» у Бунина этически нейтральна — в равной мере ей подвержены люди добрые и злые; не знает она также и возрастных запретов.

Оля Мещерская «ошеломлена» собственным жизненным потенциалом; казачий офицер — дневниковыми откровенностями, начальница гимназии — «кошунственной» Олиной исповедью, классная дама — вопиющей «несбалансированностью» внешнего облика и судьбы Мещерской. Каждый из этих персонажей взят на пределе бытийности: Мещерская — в состоянии экстаза, начальница гимназии — аффекта, казачий офицер — пароксизма ревности, классная дама — иступления, Малютин — эротической взвинченности. Знание приходит к ним через потрясение; истина прорывается не снаружи, а изнутри. Создаётся впечатление, что она автономна и человек — не «производитель» её, а скорее передатчик, носитель или разносчик. Он исторгает её из себя — в муках, беспомощности, в состоянии помешательства. Оля Мещерская так и заносит в дневник: «Я сошла с ума...» И о ней говорят: «совсем сошла с ума от веселья». Момент обретения высшей бытийной полноты — это момент выхода за пределы личности, в безличный «шевелиющийся хаос», в поле чистого витального напряжения. Это — снятие «выпирающей» индивидуальности — непохожести, породнение душ вне телесных «контекстов» и жизненных ситуаций. И вот здесь — важнейшее свойство бунинского человека: неодолимая тяга к пределу, к вершинным бытийным состояниям становится энергией перерождения: полноты жизни — в алгебраизм знака, личности — в символ. Парадокс? Но дело обстоит именно так. В избыточно пластичных, «предельных» образах уже заложена возможность символизации жизни: чем полней, то есть, в бунинском смысле, экстаичней, проявляется «единичное», тем шире проступает в нём общее. И тогда образ символизируется: сияющие глаза Мещерской; восковая мертвенность начальницы гимназии; иступлённая сосредоточенность классной дамы. Символизованы жесты персонажей: импульсивные, вулканические, нервные — у Мещерской («вихрем носилась», «с разбегу остановилась», «дёрнула уголки передника» и др.), машинообразные — у начальницы (вяжет, тянет нитку, вертит клубок). Символически однозначен и почти алгебраизирован еженедельный «крестный ход» классной дамы — дорога на кладбище: одинокая, уже не молодая женщина пробирается среди луж между мужским монастырём и острогом, — скорбный, трагический знак несостоявшегося союза, противоестественной разобщённости людей, рождённых для совместного созидания жизни. В том-то и дело, что и классная дама, и начальница гимназии, и Мещерская, и любой другой персонаж — одновременно и личность, и уже больше (меньше), чем личность, — символ. Бунин «подстерегает» человека именно здесь, на мосту, в этой переходной ситуации. Чёткость, едва ли не графическая скупость образа сочетается с поразительной полнокровностью и живописностью. Слово принадлежит он сразу двум мирам: миру всеобщностей,

знаков, и миру живых, тёплых, осложнённых плотью и кровью реальностей.

Различие между Вольтером и Шекспиром философ сформулировал так: Вольтер *говорит*: «Я плачу», а Шекспир *плачет*. Мещерская — шекспировский «вариант». Правда, этическому фактору в этом случае может быть нанесён ущерб: *жизнь ради жизни*, — того и гляди, этот принцип по необходимости обернётся душевной загрубелостью, а то и жестокостью. У Бунина вся эта ситуация свёрнута в *переходности* Олиного духовного возраста: безоглядная жажда самоосуществления ещё не осложнена этической чуткостью. Своей подруге — «полной и высокой Субботиной» — она взахлёб выкладывает книжную информацию о красоте «тонкого стана» и «маленькой ножки», то есть как раз о том, чем Субботина на пиршестве жизни была обнесена. Не столь резко, но всё же достаточно определённо эта этическая беспечность сквозит в дневниковом описании встречи с Малютиным. Неприязнь, которую теперь, уже после своего «грехопадения», испытывает к этому 56-летнему сластолюбцу Оля, не мешает её перу откровенно восхищаться и подтянутостью его, и осанкой, молодостью глаз и красотой. В осознании прошлого настоящее этически не участвует. Эта «некомпактность» образа поддерживается в художественном мире Бунина *принципом неоднозначности* — несводимости его к набору однородных свойств. Бунин любит компоновать характер из разноимённых, но равноправных величин — сосуществующих и не отменяющих друг друга. У Толстого, например, князь Андрей — характер многосоставный. Но мы видим: различные его компоненты постоянно сталкиваются, соперничают, теснят и как-то друг друга перестраивают. Тот, кого мы называем князем Андреем, — «результат» такого рода соперничества, образ итоговый. Скажем, честность и прямоте душе одерживают в нём верх над тщеславием, однако и сами в этом поединке обретают новую глубину. У Бунина — иное. Вот Клаша (героиня одноимённого рассказа). Тоже гимназистка. Внезапно осиротела. Живёт из милости у тётки, среди мужиков и прасолов, в «грубом быту». И была нежна, носила белые воротнички, изучала французский. Умирает тётка. Постоялый двор — на Клашином попечении. И тут выясняется: судьба не застигла Клашу врасплох: она деловита, расчётлива, практична. Неожиданно приезжает Нефёдов, дядя, бывший крепостной, распродаёт за бесценок сестрино хозяйство, а Клашу увозит к себе — авось приглянется молодому помещику Страхову, которого Нефёдов побаивался. Авось приберёт к рукам запущенную усадьбу — и старого вдовца, и непутёвого щёголя, — тогда-то бывший крепостной породнится с дворянином. И мы догадываемся: приберёт. Автор даёт нам это почувствовать. Образ Клаши калейдоскопичен — буквально составлен из разноимённых, никак друг друга не задевающих «величин». Хозяйст-

венна, смекалиста. Но жива ещё в ней, не ушла из неё и детскость. Во сне она слабо улыбается; спокойствие и деловитость соседствуют с импульсивностью, наивными вспышками радости. И в Нефёдове — два параллельных человека: он — и сам по себе, и он же — исполнитель роли. То играет в прежнего себя — хозяйственного и упрямого, то притворяется жадным «стариком-мужиком».

В неоднозначности, неоднородности, нетождественности себе самой — один из истоков трагедии Оли Мещерской. Классная дама силится как-то совместить в её судьбе «чистоту» и «ужасное». Начальница видит в ней только гимназистку. Для Малютина она — только гётевская Маргарита. Для Шеншина — только предмет воздыханий. Для казачьего офицера — только будущая жена. Даже космос «раскладывает» её по полкам: земля и небо делят между собою «составные части» одной прекрасной жизни: Олину душу, «лёгкое дыхание» принимает небо, Олино тело — земля. Среда, в которой суждено было возникнуть Мещерской, начисто лишена органического, целостного, «повышенного чувства жизни»; человек для неё — что типографская касса: есть буквы, нет слов. Есть этапы, периоды — нет живой бытийной непрерывности. Тут и возраст строго «раскадрован»: или детство — или отрочество — или юность. Либо ребёнок. Либо подросток. Либо старец. Ступени «отбиты» наподобие абзацев. Пленительная путаница бытия с неизбежными опережениями и задержками замещена механическим проживанием этапов. Та же Мещерская: уже девушка, а ещё в игры играет, — очевидный вызов системе. Смешение этапов — смерти подобно: играла с Малютиным — и была обесчещена, играла с офицером, дразнила его откровенностями дневника и была убита. «Сумасбродные», экстравагантные выходки Мещерской — лики её протестической природы. За ними — философия: человек — не вещь и не состояние, а процесс возможностей. Однако общество ещё не готово к восприятию подобной — движущейся — его многозначности. Обществу подавай «момент», «фазу», «черту» — словом, остановку. А человек — тип переменчивости, индивидуальный способ меняться, не совпадать с самим собою. Бунинское «лёгкое дыхание» — это «недуманье», это — когда не знаешь, что дышишь, — *жизнь без усилия жить*. И только не ломая своей природы, безоглядно подчинив себя естественному ходу вещей, то есть *не сясь изменить, человек действительно меняется*. Такова Оля Мещерская.

В расстановке бунинских равноправных фигур заметна одна поучительная особенность: они выстраиваются наподобие галереи — каждая резко отгорожена от соседней каким-то внутренним пространством, даром что обе могут участвовать в одной и той же сцене, вести диалог, вообще определённым образом взаимодействовать. У Достоевского или Толстого фигуры словно бы непрерывно перехо-

дят одна в другую, — скажем, Анна Каренина, по сути, «перекрёсток» различных восприятий Анны Карениной (Вронским, Долли, Михайловым и др.). У Достоевского и Толстого *человек — это люди*. У Бунина человек — только человек. В бунинском повествовательном «кадре» мы (обычно) видим одну фигуру, даже когда изображается несколько; в толстовском — тесноту фигур, даже когда изображается одна.

Это, конечно, не случайно. И галерейная расстановка фигур, и ощущение пластической их автономности — некий эстетический отзвук особого состояния мира, каким он был увиден художником. Бунинский человек — одинокий *среди бездн*. И «Лёгкое дыхание» — плач по исчезающему общению. В преддверии фабулы — символический знак одиночества: дубовый крест над свежей могильной насыпью. На исходе повествования — збнет среди памятников, мраморной толпы одиночеств, маленькая женщина в чёрном, существо ещё более одинокое, чем мертвец. Перед нами — картина распавшихся контактов, расторгнутых союзов. Неутомимо звенит на весеннем ветру фарфоровый венок, и под аккомпанемент этой кладбищенской вольнки маленькая женщина предаётся нехитрым раздумьям о жизни и смерти. Все одиноко, все бесплодно, кроме вот этого скорбного музыкального дуэта ветра и венка...

Молодой царь, запечатлённый на холсте среди блистательной залы, олицетворяет державное одиночество как принцип бытия — одинокий правит одинокими. С социальной вершины этот принцип спускается в низовые инстанции: одинока начальница гимназии в своём благоустроенном кабинете. Композиция этой сцены пародирует живое человеческое общение: партнёры начальницы по «диалогу»: на стене — царь, замкнутый в раму, на полу — прыгающий клубок ниток. Словно из-за тяжких кулис, выходят на повествовательный просцениум одинокие палачи — сначала казачий офицер, за ним — Малютин. О космическом своём одиночестве исповедуется в дневнике Мещерская («Мне казалось, что я одна во всем мире»).

Атомизация персонажей усилена в рассказе статичным фоном — кровнородственными связями: Оля и её родители; Малютин и его сестра; классная дама и её брат. Эти связи обозначены, поименованы, но сюжетно не оживлены, — братья и сёстры, родители и дети существуют вне зова и отклика, словно и вовсе друг друга не видят и не слышат.

Логика бунинского рассказа такова, что всякое соприкосновение с *другим человеком*, будь то Шеншин, Малютин, начальница или казачий офицер, для Оли Мещерской губительно, чревато трагедией, и полноту счастья ей суждено ощутить лишь в одиночестве («Я была так счастлива, что одна!»). Ещё бушует в ней инстинкт общения, ещё влечётся она доверчиво к людям, а краткий опыт страданий уже тревожно нашёптывает истину: бойся людей! спасайся от человека!

И когда она вихрем носится по сборному гимназическому залу, а за нею гонится толпа визжащих первоклассниц, кажется — это репетиция: для неё (мы не видим ни лица её, ни глаз) — спасения и бегства от толпы, для них — преследования красоты и счастья.

Мир

Прежде всего: бунинский мир строго иерархичен — над мёртвыми возвышается крест, над живыми — начальница (кабинет её расположен в верхнем этаже гимназии), над начальницей — царь, выше и дальше — облачное небо. Всё сущее, вся грандиозная эта иерархия — во власти фатума — верховной, надличной силы¹. Обратите внимание, с какой бесцеремонностью устраняет Бунин всё, что могло бы как-то предотвратить трагедию: уезжают в город Олины мать, отец и брат; появляется — и именно в это время — Малютин, исполнитель высших предначертаний; припускает дождь, и Малютин задерживается на даче; наконец, словно в состоянии гипноза, Оля «подыгрывает», пособничает судьбе — закрывает лицо платком, дразнит им Малютина, словно быка — тряпкой. Здесь формула судьбы оголена и буквально выставлена напоказ. Не исследование характера или души занимает Бунина, а фиксация самой неизбежности дела, уже решённого «там, на высоте». И весь рассказ строится как исполнение надличной воли: красота неминуемо погибнет, — какая-то упругая, упрямая сила гонит повествование, каждую фразу и каждый эпизод, к твёрдой, невидимой черте.

В бунинском мире нет улыбки, нет материнского чувства, хотя упомянута мать, нет любви, нет звёздного неба над головой, свиданий, хотя героине минуло пятнадцать. Один бесчестит, другой убивает. Здесь свой, особый образно-художественный календарь. В круговороте времён года отсутствует осень — пора промежуточная, изобилующая оттенками, полутонами; весну сменяет зима, зиму — лето, за летом следует весна. Резкие, контрастные состояния сохранены; умиротворённость, итоговость и покой из естественного «оборота» изъяты. В границах художественной календарной реальности — катаклизмы, крутые сдвиги, сломы. Поступательный, эволюционный ход времени взорван, абсолютную ценность приобретают мгновения. Время движется рывками — от внезапности к внезапности; с трудом — вперёд, легче — вспять: от смерти — к детству, от истории — к предыстории («грехопадения»), от конца — к началу, от следствия — к предпосылкам, от гибели — к жизни. У времени нет дали, всякий раз оно

¹См.: *Гейдеко Валерий*. А. Чехов и Ив. Бунин. М., 1976. С. 336; *Сливичкая О. В.* Фабула — композиция — деталь бунинской новеллы // *Бунинский сборник*. Орел, 1974, С. 97.

откатывается. Время мечется, дробится; между «этапами» (например, ступенями Олиного «взлёта») — зияние, пропасть — пространство тайны (история расцвета — последняя зима; каток, молодость, розовый вечер — вызов к начальнице; разговор с начальницей — смерть). Мгновения (однажды, внезапно, неожиданно), временные откаты, дробность, разорванность создают ощущение аритмии, путаницы, нестройности мирового хода вещей, прихотливости чьей-то воли, управляющей человеческими поступками. Нет доверия и вкуса к эволюции, есть страх перед хронологическим временем — попытка обмануть, обойти хронологию — спастись бегством от неотвратимости, заключённой в самом поступательном, последовательном движении событий с их неизбежным трагическим финалом. Бунин перетасовывает, словно намеренно, путает «порядковые номера» эпизодов — «отрезков» судьбы, чтобы обмануть, сбить с толку смерть, лишить её ореола непрерываемости, ранга «последней черты». Это напоминает восточный ритуал похорон, когда группа мужчин взгромождает на плечи укутанного в простыню покойника и бегом устремляется на кладбище, — но выбирает при этом не кратчайший путь, а самый длинный и зигзагообразный, — по тесным, извилистым переулкам, петляя и плутая, — с единственной целью: обмануть и перехитрить смерть.

В бунинском рассказе морозно, познабливает; студёный апрельский ветер холодит первые же его строки: кладбищенской промозглостью отягощен исход повествования. Морозна последняя Олина зима. «Совсем холодно» в мокром деревенском саду, где прогуливаются Оля с Малютиным. На ветру — весеннем, холодном — сидит против дубового могильного креста классная дама. И краски в рассказе преобладают ахроматические (серая, снежная, молочная, матовая, чёрная, белая — из 30 — 21!), а краски тёплые — приморожены (*глина* — на *холодном* кладбище, *студёная розовость вечера*, пожее *морозное* солнце). Не согревают душу здесь и звуки — звенящий на ветру фарфоровый венок, выстрел, пение кладбищенских птиц, визг первоклассниц.

Необычен и странен бунинский мир: по отношению к земной оси он словно бы смещён — тут солнце или вовсе отсутствует и лишь угадывается («дни серые»), или светит со стороны, сбоку, прямо в лицо — слепит («через весь мокрый сад»; за высоким гимназическим ельником). Это — *солнце заходящее*. Яркость его и сияние — прощальные, студёные. Необычно и странно организовано пространство, в котором живут и действуют бунинские герои. Бросается в глаза: оно не «создаётся» ходом событий, но задаётся; «исполняя» его, люди словно водят карандашом по написанному. Пространство подстерегает их, навязывается им, а не добровольно ими выбирается. Это — *пространство этическое*. Уточним. У Данте в самом тесном, точечном месте «Ада» — на дне Джудекки — карается самый тяжкий

грех. Здесь дух уродливо обужен. Преодоление унижительной тесноты, прорыв к райским сферам означает расширение духа. У Боккаччо, наоборот, самое узкое место в Долине Дам («Декамерон») — самое тёплое, жизнеобильное, гуманное. За этим — новая эпоха, новый тип мироощущения. Вот так же бунинское пространство подчинено этическому закону и выстраивается как форма нравственного состояния человека; словом, этический знак пространства в рассказе Бунина предопределён.

Повествование о человеке, людях, мире

Согласно Л. Выготскому, некую дохудожественную цепочку событий, лежащих в основе «Лёгкого дыхания», замыкает самое ужасное — гибель юной гимназистки. Затем, уже в бунинском повествовании, эта цепочка рассыпается на звенья, конец выходит в начало. С этим трудно согласиться. Не думаю, чтобы, работая над рассказом, Бунин перекраивал какую-то первоначальную схему, перекомпоновывал исходные события. Скорее всего, он «выписывал» их сразу, сразу же выстраивал их по велению художественной, а не хронологической необходимости. Да и вообще не было у Бунина установки на событие. Была ориентация на мир как целое.

Чехов — Бунину 15 января 1902 года: «Писал ли я Вам насчёт “Сосен”?.. “Сосны” — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущённого бульона»¹. Поразительно точные слова! То, что Чехову казалось избыточным в рассказе Бунина, — просто *наименее чеховское, наиболее бунинское*. «Сгущённый бульон» — существенно иное мироощущение, иная консистенция стиля, иной разряд целостности. И крайне важно, хотя бы в предварительном порядке, уяснить себе, что речь идёт о *специальной внутренней установке на целое*, а не случайном и побочном результате эстетической деятельности.

«Тёмные аллеи» — несомненно, один из лучших рассказов Бунина — были навеяны огарёвской «Обыкновенной повестью». Причём, как это обычно случается в бунинском творческом опыте, навеяны «от противного», рождены в муках несогласия и преодоления. У Огарёва прошлое отваливается, отпадает от живой человеческой души, словно омертвевшая ткань — от здорового тела. Двое; пылкая любовь; много лет спустя — встреча; она замужем, он женат. Они благополучны. Прошлое никоим образом не осложнило, не перепахало их судеб. У Бунина та же проблема: человек и время. Но если у Огарёва время присоединяется к человеку механически, то у Бунина оно — неделимо-цельная непрерывность; прошлое не выталкивается из души, но

¹Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 12. М.: Гослитиздат, 1957. С. 474.

органично участвует в строительстве настоящего. Собственно, оно и есть не что иное, как особый угол наклона или поворот настоящего. И принадлежит оно не памяти, а бытию... В ненастный, слякотный день его превосходительство Николай Алексеевич ненароком забредает в постоянную горницу, расположенную на одной из тульских дорог. В содержательнице Надежде, женщине не по возрасту красивой, он узнает ту, что без малого три десятка лет назад и полюбил, и бросил. Для Николая Алексеевича это — «история пошлая, обыкновенная», для Надежды — её трагическая участь; так и не изменила она за эти долгие годы своему девическому безумству, своей «горячке», так и не простила Николеньку. И, вероятно, в пароксизме самоанализа, в истошном диалоге с прошлым как-то исподволь изверилась, ожесточилась. А потом ударилась в ростовщичество, прочно усвоила кредиторский максимализм: «Не отдал вовремя — пеняй на себя». Бескорыстие молодого чувства, счастливая, безоглядная доверчивость, поэзия «тёмных аллей» — всё пошло прахом. Но не исчезло: обернулось «выродком» — суровой неуступчивостью в денежных делах. Так волна, схлынув, всё же увековечивает себя в какой-нибудь жёсткой складке на прибрежном песке...

Огарёвское время — длительность, бунинское — судьба.

Установка на целостность как авторитетнейшую художественную инстанцию формирует в творческом опыте Бунина совсем особую систему предпочтений. Например, бросается в глаза: настроение, музыка факта, общий тон, атмосфера тревожат и разжигают его воображение в неизмеримо большей степени, нежели событие, «история», разного рода достоверности «как таковые». Вся эта материя утрачивает основополагающую первичность и выводится из того же настроения или того же исходного общего тона. Бунин и сам говорит об этом предельно ясно. Из «Грасского дневника» Г. Н. Кузнецовой: «“Солнечный удар” явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге... “Ида” родилась из “воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами”, “Мордовский сарафан”... ведёт начало от какой-то женщины, вышивавшей чёрным узором рубаху во время беременности...”, “Чаша жизни”... — от «ощущения песчаной широкой улицы, на полуторе, мещанских домов, жары, томления и безнадёжности...»¹

Симптоматичны бунинские самоанализы по поводу начальной фазы творчества: тут «самое главное» — «какое-то общее звучание всего произведения в целом»², «какой-то самый общий смысл»³. Эту ускользающую всеохватность он угадывает и в явлении Пушкина —

¹ «Литературное наследство. Иван Бунин». Кн. 2. С. 263–264, 284.

² Там же.

³ Там же.

«душа полна его веянием» (9, 455), и в облике Чехова — «сквозило... изящество» (8, 182). Можно заметить: пусковой творческий импульс поступает к Бунину не извне, не от события (оно выдумывается, подвёрстывается); он идёт изнутри — от настроения, впечатления, атмосферы. И в «Лёгком дыхании» исходное, кризисное впечатление — необыкновенно радостные, живые глаза и крест — предопределяет общий интонационный строй рассказа. «Глаза» и «крест» претворяются в полярные, противоборствующие партии: коллизии непрерывности, плавности — с одной стороны, дробности — с другой. «Крепкий, тяжёлый, гладкий» (партия «креста») — три удара, возвещающие о начале трагедии. Дальше, на разных участках повествования, они будут поддержаны и усилены. Прошу заметить: слова эти — эпитеты, и идут они не перед определяемым словом (крест), а следом за ним. В бунинском рассказе эта форма — разносчица несчастья, ужаса, предвестница катастрофы, от неё исходит атмосфера разъятости, дробности, неотвратимости. Там, где эпитет предшествует определяемому слову, возглавляет его, речь мелодична и плавна («Мещерской очень нравился этот необыкновенно *чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе*»); там, где следует за ним, — а происходит это в зоне смерти, — речь утрачивает непрерывность, дробится («кладбища просторного, уездного», «дни серые», «Зима... снежная, солнечная, морозная». «Начальница, моложавая, но седая», «офицер, некрасивый и плебейского вида», «глаза... молодые, чёрные» — у Малютина). В финале рассказа коллизия непрерывности и дробности, «глаз» (жизни) и «креста» (смерти) — по закону бунинского мироощущения — разрешается: «Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре». Три пугающих удара, прозвучавшие у истока повествования («крепкий, тяжёлый, гладкий»), здесь ещё достаточно ощутимы в тройственном строении фразы («мир», «небо», «ветер»), однако уже смягчены мелодичностью, кантиленой («снова рассеялось в мире», «в этом облачном небе», «холодном весеннем ветре»); с другой стороны, сама кантилена тут потревожена и смущена отголоском трёх тяжких ударов, возвестивших о начале трагедии «лёгкого дыхания».

Это давно замечено: в прозе своей Бунин ещё более поэтичен, чем в своей поэзии. Я бы чуть уточнил: ещё более лиричен. В «Лёгком дыхании» авторская интонация — одновременно скорбная и гневная, восторженная и сострадательная, тревожная и просветлённая — властвует открыто и безраздельно.

Интонация эта всеобъемлюща. Ничьим заботам не препоручает автор своих героев, никому не передаёт своего слова о них. И именно в авторской интонации, шире — авторской воле, заключена здесь

последняя полнота художественного высказывания о жизни. «Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой». Вы видите: фраза буквально задыхается от обилия деталей, переобременена ими, вот-вот рухнет под тяжестью их, и всё же в какое-то исчезающее мгновение, на исходе интонации, Бунину удаётся-таки догнать, захватить последние, вершинные, избыточные слова: «самой беззаботной, самой счастливой».

Если верно, что всякое искусство — исповедь, то здесь, в «Лёгком дыхании», Бунин исповедует дважды: не только теми реалиями, что стоят за словами, но и реальностью слов как таковых. Отметим: расстояние между автором и словом, с одной стороны, словом и «предметом», который оно представляет, — с другой, в этом рассказе у Бунина минимально. Отсюда — явственное ощущение открытой и родственной вовлечённости автора в судьбу «предмета», его эстетической, идейной и философской тенденциозности. Эта близость, я бы даже сказал, однородность основных компонентов рассказа (автор — слово — «предмет») насыщает его ясностью и чистотой. Мы видим: то, о чём повествует Бунин, не расходится с тем, *как* он повествует и *каков он сам*. Ни хитрости, ни лукавству, ни словесному маскараду здесь нет места. Тайнственная глубина, тревожно проступающая сквозь прозрачный воздух повествования, мы верим, не «подстроена» автором, но в той же мере, что и нами, смутно ощущается им. Симпатии и антипатии, милость и гнев распределяет он меж персонажами самовластно: Олей Мещерской откровенно восхищается, отдаёт ей лучшие свои слова, звуки и краски; начальницу гимназии столь же откровенно эстетически дискредитирует. Весь рассказ — траурная, поминальная месса, плач по усопшей, даже ликование настояно в нём на глубочайшей скорби. Восемь тематически «отбитых» частей, составляющих художественную его архитектуру¹, — словно части или разделы моцартовского «Реквиема»: здесь и гнев, и отчаяние, и картины Страшного суда, и светопреставление, и торжественная высота финала, подобно «Agnus Dei» («Агнец Божий») заключительной части «Реквиема» — дарование вечного покоя.

Музыкальность бунинской прозы — факт достаточно хорошо известный. Эта проза завораживает, увлекает в свою пучину, очаровывает таинственной звуковой реальностью. И трудно уберечься от

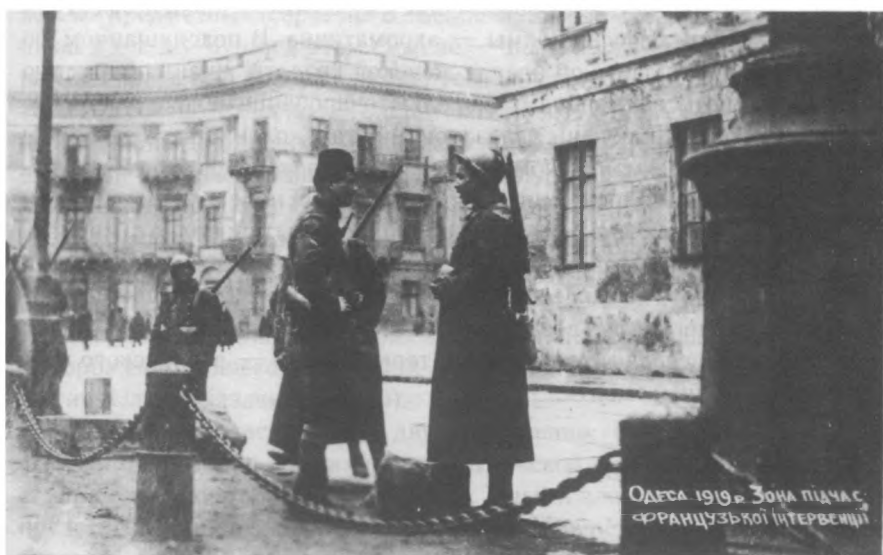
¹ Вот эти части: картина кладбища; Олино «восхождение»; последняя зима; убийство; дневниковая запись; «крестный путь» классной дамы; разговор Мещерской с Субботиной о женской красоте; судьба «лёгкого дыхания».

впечатления, что именно в ней, звуковой этой реальности, сосредоточены жизненно важные центры и характеристики творческого сознания писателя, именно в ней движется, теплится и брезжит его поэтическая мудрость — поэтическая суть его сочинений; «Лёгкого дыхания» — тоже. Что касается Моцарта, то на Бунина он произвёл глубочайшее впечатление ещё в гимназические годы, наряду с Генделем, Бахом, Гайдном и Бетховеном. Впоследствии Бунин побывает в Зальцбурге, увидит клавесин, на котором играл великий композитор. Не думаю, чтобы Бунин преднамеренно компоновал «Лёгкое дыхание» по «схеме» моцартовского «Реквиема»; и всё же многое говорит в пользу эстетического сродства двух этих шедевров. В обоих случаях — слияние космической вознесённости и земной конкретики, переплетение лирики и драмы, тематизма (дробление, подробности) и кантилены, волнообразное движение интонации и *пугающая ударность*, опевание мелодии, проникновенная, душераздирающая жалоба, молитва, поступь судьбы, грозная прогрессия страсти. Собственно, моцартовский «Реквием» и завершается в «Lacrimosa» суровым, неотвратимым *crescendo* (нарастанием); остальные части будут дописаны Зюсмайером, учеником и последователем гениального музыканта.

Кажется, так это и было задумано: в слове о «предмете» удержать меру самого «предмета», не превысив её и не убавив. В поведении слова увековечить поведение персонажа. Может быть, по этой причине бунинская проза вообще ощущается как более словесная — на фоне чеховской, например. Чехов любит «играть» отношениями между словом и «предметом» (серьёзно о смешном, шутя о серьёзном, высоко о низком и т. д.). Бунин в этом смысле — иное. Если Мещерская «вихрем носилась по сборному залу», то и фраза, сообщающая об этом, тоже — соответственно — вихрится. «И вот, однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонящихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц...» — состояние героини «оттуда», «изнутри» текста проецируется на словесный ряд. Люди в рассказе, мы это видели, разобщены; любое соприкосновение с другим сулит несчастье; и повествование — соответственно — выстраивается словно череда одиночеств, оно легко распадается на части, линии, эпизоды, каждый из коих автономен и без усилий может быть выгорожен из общего плана (Оля — гимназист Шеншин, Оля — Малутин, Оля — казачий офицер).

Бунинское повествование двунаправленно: оно — и рассказ о фавеле, о событиях, связанных с трагической судьбою Оли Мещерской; и оно — само по себе фавульно. Иными словами, оно не только представляет определённый ход вещей, «размещённых» по ту сторону словесного ряда, но ещё и располагает собственным ходом, собственной нарастающей, а затем убывающей динамикой. Тут дело вот в чём.

Традиционное повествование выстраивалось обычно по принципу эстетической субординации — жёсткой подчинённости деталей событийному стволу. Бунин же эмансипирует детали, до минимума сводя их зависимость от фабулы и тем самым колоссально расширяя сферу их прямого взаимодействия, множа линии их пересечения, «личные» контакты. Дезорганизация традиционного повествования становится способом организации новой художественной целостности. По мере того как эстетически деградирует и размагничивается фабула, динамизируется, «фабулизируется» самый ход повествования; теперь он — прогрессирующий напор, грозно нарастающая, а затем убывающая полнота. Ступени или формальные элементы фабулы (завязка — кульминация — развязка) словно бы замещаются бытийной триадой: рождение — расцвет — гибель. Повествование о жизни движется так, как движется жизнь; безличная форма существования — апофеоз личного — возвращение к безличному. Девочка Оля «ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платиц»; в то время она была всего только «из числа», и повествование о ней почти информативно («Что можно было сказать о ней...?»). Далее — взлёт, бурное становление, саморазвитие личности (*этой* Оли); повествование «натягивается», набирает высоту, силу, плоть. Ещё дальше — гибель Мещерской, — уходит великолепие, убывает полнота, яркость; жизнь скудеет, механизуется. В дневнике — обилие числительных, местоимений, замещающих живые лица, насыщенная глагольность. Вместо ассоциативных эпитетов — скупые определения, локализирующие «свой» предмет, не позволяющие ему выйти за пределы местной ситуации. Зона классной дамы — ахроматична. В подслушанном ею разговоре двух подруг об идеале женской красоты жизнь полностью замещена, потеснена знаками, моделью; очарование целого — описью деталей (чёрные, как ночь, глаза; тонкий стан; колени цвета раковины и т. д.), человек — манекеном. Наконец, финал: «Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре». Здесь — начало надличного бытия; полнота индивидуальной, трагической формы существования убывает — восходит и ширится полнота космическая. Утомлённый, истерзанный социальной психологией дух возвращается в лоно всеобщего, — как сказал бы Иван Алексеевич Бунин, Праматери, Целого — вселенского круговорота жизни и смерти.



ВОСПОМИНАНИЯ
«Итак, я жил тогда
в Одессе...»



Семён Липкин

Литературное воспоминание

Посвящается И. Л.¹

Быть может, потому, что я не раз
Слагал об этом мысленно рассказ:

Иль небо мне навстречу устремилось,
Послав мне слушательницу, как милость;

Быть может, потому, что старый год
Постиг, уже не споря, свой исход;

Иль, может, потому, что в этом месте
Сближалось бурно с городом предместье;

А, может быть, все дело было в них, —
В нерастворённых газах выхлопных,

Иль в том, что там, где молод был когда-то,
Теперь к тебе спешил я вдоль заката, —

Нарушен был планетный обиход:
В два яруса вставал небесный свод.

Мне озером казался верхний ярус,
Чёлн самолёта в нем купал свой парус,

А в нижнем краснопалая рука
Как бы остановила облака.

И мир волшебный, горный, двуединый
Так засиял во мне, что из машины

¹Инне Лиснянской.

Иная мне привиделась зима:
Там, где теперь возвысились дома,

В годину мелкости и завирухи
Построенные в современном духе,

(Так, к слову: может, в том-то наш недуг,
Что времени мы подчиняем дух), —

В те годы ладно струганной толпою
Стояли пятистенки под щепою.

Однако же соседствуя порой
С приземистой постройкой городской.

Запомнились мне к станции поближе
Аптека, и амбар кирпично-рыжий,

И крест, сквозь вечернеющий простор,
Как мученик, взошедший на костёр

Над храмом, лишь на днях приговорённым
К бездействию активом межрайонным.

Скворешни, и колодцы, и для пчёл
Колоды, и умолкнувший глагол

Колоколов, — все было мне предвестьем
Того, что разразится над предместьем.

Я медленно оглядывался здесь.
Впервые в русскую попал я весь.

Ты не узнала б нынешнего друга
В том юноше, в том уроженце юга.

Но были ль странными мои черты?
Смесь жажды жертвенности и тщеты,

Невежества, начитанности, вздора,
Непримиримости и термидора.

Меня сюда устроил мой земляк.
Он видел сам себя среди гуляк,

Среди бродяг, весёлых и беспутных,
Певцов и птицеловов бесприютных.

А там — и новый образ: военспец,
Кавалерист... Ты улыбнёшься: лжец?

Но, право, это было б слишком просто!
Женственноплечий, но большого роста,

С седым вихром на молодом челе,
Артист и мой наставник в ремесле

Словесном, — он сверкал серо-зелёным
Сверканьем глаз, он был Пигмалионом,

Который самого себя лепил,
Но не себя, — ваяние любил.

Он из себя выдавливал еврейство
Горячкой романтического действия,

Ружьём или манком в ловецкий час,
Да строчкой, просмолённой, как баркас.

Всё, что искал он раньше в чудных книгах,
Он находил в наркомках и комбригах,

В тачанках и кожанках, и обман
Он впрыскивал в себя, как наркоман,

Нет, как шаман камлал он иступлённо,
Заворожённо славил гегемона

И бунта дикого девятый вал.
Но иногда глаза он раскрывал,

И пред внезапно исцелённым взглядом
Метался меж Махно и продотрядом

Несчастный украинец-хлебороб,
Иль сердце вдруг сжимал, бросал в озноб

Тот соловей, что пел в газетной клетке.
А голос у него был чистый, редкий,

Первородной звонкости, хотя
Наставник мой дышал хрипя, кряхтя,

Стихи в среде читая разномастной.
Потом шутил: «Могу бороться с астмой, —

Одно спасительное средство есть:
Вслух Мандельштама надобно прочесть».

О говор юго-западный, певучий!
Как поднималась истина созвучий

Из глубины в те дни заглохших строк:
Случевский, Ходасевич, Клюев, Блок...

Усевшись, будто сарацин ленивый,
Мои выслушивал он инвективы,

С насмешкою над молодостью лет
И лишь привычно негодуя: «Бред».

(Он и мою рифмованную шалость
Словечком этим награждал, случалось).

Однажды я стихи отнёс в журнал,
Где он служил: знакомством не желал

Воспользоваться, — отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?

«В “Епархиальный вестник”»... Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня

Он утром навестил в моём чулане.
Спросил в дверях: «Чи вы сказались, пане?

Прочтите что-нибудь». Я стал читать:
Слаб человек... «Искусно, но опять —

Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!

У вас есть слух, не слишком острый глаз,
Но чётко вы рисуете подчас.

Пишите то, что от пупа, от пуза.
К чертям ваш детский бред! Пусть ваша муза

Со всей страной двинется в поход!>...
Мой детский бред... О двадцать первый год!

Коптилка еле тлеет. Голодаем.
Однако мамалыгой и малаем

Торгуют бабы из молдавских сёл.
Сгорел собор. Обледенел костёл.

Как в раю, ни к чему работа.
Чуть вечер — запираются ворота

С прорубленным квадратиком-глазком:
Тот не войдёт во двор, кто незнаком, —

С винтовкой, то пугаясь, то рисуясь,
Жильцы дежурят, важно чередуясь.

Нас начал часто посещать один
Занятый гражданин. Свой сахарин

Он приносил, и в кипятке чайники
Всплывали вверх, и жмых шипел в румынке,

И нам рассказывал знакомец наш
О том, как он пришёл на вернисаж

В Париже, о балетных чародейках.
Он прежде был богат, — из братьев Лейках, —

(«Кастор, трико, маренго, шевиот»),
Вёл старший брат торговый оборот,

И он, коммерцию презревший с детства,
Жил на процент с отцовского наследства

Он был, что называется, эстет.
Среди разрухи щегольски одет,

Он облик сохранял эпикурейский.
Отцу сказала мама по-еврейски,

(Чтобы понять не мог я ничего),
Что бросила любовница его

В тот день, когда бежали офицеры
В Стамбул. А он визитки и портьеры,

С трудом входя в базарную толпу,
Менял на хлеб и ячную крупу.

...К нам в дом вступили двое в вечер поздний
Изъятие излишков. Но о розни

Как бы не зная, мой отец в ответ
Явил свой меньшевистский партбилет.

Увидев «РСДРП» на книжке,
Решили нам оставить все излишки

Еврей в папаче и кацап-матрос.
Но был ещё, как видно, и донос:

Велели гостю нашему одеться,
И молча увели... Одесса, детство

И выстрел в том холодном феврале.
Мы выбежали в ночь. А на земле

Он у ворот лежал. Пришёл Никита,
Заика-дворник. Бормоча сердито,

Он зажигалкой осветил пальто.
А кто в пальто? А что в пальто? Ничто.

Густела кровь на котиковой шали
И ничего глаза не выражали...

Родная, смерть я видел на войне,
А случай был, — стрелять пришлось и мне.

Но дворник что-то мне всю жизнь бормочет,
Та смерть во мне — и умереть не хочет.

Быть может, потому себе не лгу,
Что от неё отречься не могу...

Я рассказал ему про двадцать первый,
О выстреле... «Эстеты эти — стервы,

А есть закон для стоящих людей:
«Того, кто должен быть убит, — убей»».

(Позднее безнадежней, непреклонней
В стихах об этом скажет он законе.)

Тянулся он к чекистам. Среди них
Загадочней, острее остальных

Казался Блюмкин, тот, кто Гумилёвым
Был обозначен живописным словом,

Тот, кто стрелял в имперского посла.
Но чья рука его рукой вела?

Романтик принимал его с опаской
Но и с восторгом перед мрачной сказкой.

В ту зиму наш поэт увлёкся вдруг
Историей Конвента. Часто вслух

Он максимы Сен-Жюста и Марата
Читал чуть нараспев, но хриловато,

И во французских слышались речах
Сегодняшняя боль и русский страх:

Уже рождалась в той зиме тревога.
Как и его друзья, он думал много

О том, кто был, завёрнутый в ковёр,
В Алма-Ату отправлен под надзор...

За липами, где горизонт сиренев,
(Как в «Накануне» описал Тургенев),

Расположились дачи у реки.
Там жили крупные большевики.

Мы шли туда путём кратчайшим, что ли,
(Сейчас уже не помню), через поле.

Вдали дома чернели, и сперва
Мне избами казались дерева.

Природа нас разглядывала молча.
Пёс выскочил, остановился. Волчья

В собаке мнительность была. Кругом
Всё в древность шло. Великий перелом

Как бы не нависал над земледелом.
Ещё был чьим-то вотчинным уделом

Окрестный край, и даже Юрьев день
Ещё не наступил для деревень,

Лежавших за снегами, за веками,
А мы брели по полю чужаками.

И только поездов упрямый бег
Напоминал, что есть двадцатый век,

Ломающий обычай, веру, право
С самонадеянностью костоправа...

Мы направлялись в гости. Он с собой
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стуже долгой ночи.
Он ликовал: «Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,
Работает инструктором Цека.

Жена — бабеч что надо, одесситка,
Моя приятельница»... Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.
Они в хоромах стали жить потом,

Тогда лишь каждый потрох обнажили,
Когда самих себя распотрошили.

Сама хозяйка нам открыла дверь.
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринуждённость;
Её шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте;
При этом ноги тонкие: и те

Глаза, что нравились великороссам, —
Тем выдвигенцам кряжистым, курносым;

На слишком выпуклой груди — янтарь;
Партийно-артистический словарь, —

Все это было сказкой, стало былью,
И сгнив, смешалось с лагерною пылью.

И то, что и не снилось гольтепе —
Стоячие часы и канапе,

Дворянских гнёзд разрозненная мебель, —
Всё так же превратилось в пыль и небыль...

Нам приготовили домашний стол.
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой
Был позлащён внутри лимонной коркой,

И смех, и «я люблю лесную глушь»,
И как-то странно появился муж, —

Как будто ниоткуда, не из двери.
Воображенье или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами, — будто в разных
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошёл и, к нам спиною,
Зачем-то постоял перед ночью

Безмолвной тьмой придвинув лоб к стеклу,
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнёс. «Так, значит, мы соседи», —
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
«Зелёной лампы» одарённый круг,

Потом он стал читать. Читал с подъёмом,
Со свистом, звоном, щёлканьем и громом.

Хозяйка, сделала глазами знак:
Мол, восхитись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:
«Иметь было б неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?
А стиль у вас, что говорить, речист».

Кто мог предположить, что мы в берлоге
Бесовской? Что уродец кривоногий,

Сей недоумок бедный, — сатана,
В чьих рукавицах смерть заострена,

Что верных слуг народец трёхгрошовый
Ужахнется при имени Ежова!

Но горе нам: не бес и не колдун, —
Крючок приказный, ябеда, топтун,

Лет через семь, умом и волей скудный,
Какою же, однако, силой чудной

Принудит баловней и главарей,
Светил наук, героев, бунтарей

Гнить в гноище изгоями рассудка?
Вопрос тяжёл, но и ответить жутко.

Мы вышли. Ночь. Постройки и дворы
Черно молчали на снегу. Миры

С белёсой выси, в воздухе студёном,
Мерцанием сияли отчуждённым,

И сосны пред княгинею-зимой
Стояли, как стрельцы, и спутник мой,

Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слёз и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль Божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

20. 1. 1974.

Зинаида Шишова

О нашей молодости

1

В седьмой аудитории Новороссийского университета я впервые познала страх и томление первой славы. С фронтов в отпуски приезжали прапорщики и не по-военному толпились в коридорах. Контуженные дёргали головами, контуженные заикались. Раненые бережно, как букеты, проносили в аудиторию свои забинтованные руки, и девушки уступали им места.

Между защитными гимнастёрками порхали крепдешиновые бантики поэтов. В Ботаническом шхерном заливе тяжело поворачивались миноноски, а для нас там всё ещё благоухала Мирэллия Северянина. Поэзия Анны Ахматовой в Одессе выродилась в «ахматовщину». Такого рода произведениями мы услаждали в тот вечер слух публики.

И вот появился Багрицкий.

Я увидела его в узком канале между двумя массивами скамей. Он шёл накрываясь, неся перед собою руку со сведенным пальцем, слабо повторённый сдержанным блеском пола. Чем-то смутно он напоминал парусное судно. Толстый и лёгкий Лёнька Грек приплясывал перед ним.

«Это лоцман», — подумала я.

Багрицкий шёл громить эстетов. Я это поняла решительному виду и по страху, который начался во мне где-то с середины живота.

Но не я одна его узнала. Вся аудитория вскочила на ноги. Все закричали:

- Багрицкий!
- «Полководец»
- «Суворов»!
- Багрицкий!

Это было похоже на клички. Но я уже понимала, что это названия стихов.

— Багриценко, — сказал Лёнька Грек, изгибаясь в поклоне, — оставим малюток в покое. Взойдите на эшафот.

Электричества не было в этот день. На кафедре терпеливо потрескивали два огарка. И вот началось:

На кафедру, как леопард,
Взлетел Багрицкий Эдуард.

— «Полководец»! — опять заорали в публике.

Но Багрицкий остановил их движением руки.

— Я прочту настоящие стихи, — сказал он.

И он читал чужие стихи. Он давил криком пламя. Оно пригибалось, и тогда огромная тень Багрицкого шарила по стене. Вдруг она перехватывала угол. Она клевала носом скромную девушку в косынке сестры милосердия. Это было так страшно, что девушка пересела на другое место.

Сходя с кафедры, Багрицкий тяжело дышал. Мне было слышно и видно, как билось его сердце.

Но толпа пробкой стояла в проходе. Багрицкому не давали уйти.

— «Суворова»! — орал молодые люди. — «Полководца»!

— Я прочту им «Полководца», Лёнька, — сказал Багрицкий.

Эти его юношеские стихи я помню до сих пор:

1

За пыльным золотом тяжёлых колесниц,
Летящих к пурпуру слепительных подножий,
Курчавые рабы с натёртой салом кожей
Проводят под уздцы нубийских кобылиц.

И там, где бронзовым закатом сожжены
Кроваво-красных гор обрывистые склоны,
Проходят медленно тяжёлые слоны,
Влача в седой пыли расшитые попоны.

2

Свирепых воинов сзывают в бой рога;
И вот они ползут, прикрыв щитами спины,
По выжженному дну заброшенной стремнины
К раскинутым шатрам — становищу врага.

Но в тихом лагере им слышен хрип трубы,
Им видно, как орлы взнеслись над легионом,
Как пурпурный закат на бронзовые лбы
льёт медь и киноварь потоком раскалённым.

Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей,
 Стекает каплями со стрел, пронзивших спины,
 И трупы бледные сжимают комья глины
 Кривыми пальцами с огрызками ногтей.

Но молча он застыл на выжженной горе,
 Как на воздвигнутом веками пьедестале,
 И профиль сумрачный сияет на заре,
 Как будто выбитый на огненной медали.

Стихи эти были, конечно, крайне схожи со стихами Эредиа и гораздо хуже их, но тогда, на фоне «вервен», они казались откровением.

Не сговариваясь, мы вышли вместе.

— Отчего же вы, поэтесса, не читали стихи? — спросил Багрицкий.

— Хватит, — сказала я.

Туманом надвигало на нас собор.

Мы вышли на площадь. Галантным жестом Багрицкий вытер фуражкой скамейку:

— Садитесь, герцогиня.

Я села.

— А ну-ка, почитайте, что у вас там есть за Гекубу, — сказал Багрицкий.

И тотчас же это стихотворение показалось мне самым лучшим из всего написанного мною. Я немедленно исполнила его приказание.

Он помолчал.

— Да, — сказал он, — нехорошо. Но ничего, я научу вас писать хорошие стихи. И потом — снимите эту байду с головы.

Байда — это был золотой обруч, который несколько дней назад я купила на последние деньги. Я сняла шляпу, а затем — обруч. Багрицкий хозяйственно потрогал его пальцем:

— Золото?

— Американское¹, — сказала я.

Он смял его в руке и бросил в кусты. С этого дня началась наша дружба.

Эдя приходил ко мне ежедневно по утрам, съедал всё съестное, что могло уцелеть в доме, и, убирая в рот пальцем крошки со стола, спрашивал:

¹«Американское золото» — сплав меди, олова, магнезии и др. — по виду почти не отличается от золота.

— Триолет написали?
— Я написала хорошее стихотворение, — говорила я робко.
— Хорошие стихотворения вы будете писать в тысяча девятьсот тридцатом году. Давайте триолет.

За эти два месяца учёбы я писала триолеты, терцины, октавы, сонеты и отдыхала на французских балладах и газеллах.

Вдвоем с Эдуардом мы написали настоящую французскую балладу, не хуже Франсуа Вийона (как мне тогда казалось). Эдей было написано только *eproué*¹ в середине — две-три строки. Он занёс это произведение в редакцию, получил деньги и пропил их. И я понимала, что так оно и должно было быть.

Я не припоминаю ни одного поэта, о существовании которого я бы узнала не через Эдуарда. Вплоть до Шиллера, Клопштока и Гёте, которые в своё время для меня были опорочены гимназией. Эдя первый научил нас читать и понимать Маяковского.

3

Багрицкий пришёл к нам мэтром. Но учеником сел он вместе с нами за учёбу.

О, мы умели обращаться с вещами! Мы их не бросали, как кольца, на какой колышек попало, там и останется. У нас слова не шатались, они были плотно пригнаны и не страдали от перевозок. Юношеские катаевские рассказы, перевезённые в Москву, не стали от этого хуже. А многие ли провинциалы могут этим похвалиться?

Мы были волчата. Мы не баловали друг друга похвалами. Когда я прочла свой роман в стихах о любви и смерти Толи Фиолетова и Багрицкий сказал, что это «очень хорошо», — я подозрительно оглядела всех: я была уверена, что они надо мной издеваются.

Целые полчища слов мы вывели из употребления: «красивый», «стильный», «змеится», «стихийно»... Мы их затапывали, как окурки.

Я помню, как кто-то (вероятно, Адалис) под шумок протащил к нам слово «реминисценция». Оно прижилось и уже побрякивало кое-где в разговоре. И я точно помню день, когда Багрицкий его убил. Он расправился с ним в упор, как честный враг.

— Слова «реминисценция» не суще-ству-ет, — сказал он, — говорите — литературная кража, воровство. Наконец, если уж вам так нравится, — плагиат.

И слово «реминисценция» перестало существовать.

¹Посылка (*фр.*): в старой — трёхстрочной — французской балладе посылка (обращение к принцу) была в конце каждой строфы, т. е. и «в середине» (впоследствии — только в конце).

Мы были безжалостны к себе и другим. Говорят, что это проходит с молодостью. Но Эдя был старше нас всех, а именно он ввёл безжалостность в догму. Помню, Олеша читал стихи о Моцарте. Там были строки:

...и плотно сжал Сальери
Иссохший рот средневековых пап.

Что-то в этом было «не то». Мы обдумывали, а Багрицкий сказал просто:

иссохший рот средневековых м-а-м.

И кончено. Стихотворения больше не существовало. Мы были изумительно безжалостны. Сентиментально настроенный киевский поэт Григорий В. прислал мне любезное товарищеское письмо. Он слышал о нас, ему это так нравится, — он просит разрешения навестить поэтессу Шишову на её даче. Желательно было бы, если возможно, собрать всех остальных.

Собирать всех не нужно было. Все сами сходились ко мне ежедневно к пяти часам дня. У меня в комнате не было стола и стульев. Двери тоже не было. Единственная — в соседнюю комнату — была заложена кирпичом. Входили ко мне через окно. Я не была любезной хозяйкой, внешняя сухость была у нас в большом ходу. Но я ждала товарищей и волновалась, когда они запаздывали.

Раньше всех приходил Багрицкий. Он шёл, ворча, и камни скатывались из-под его ног. Визжали подошвы по щебню. Он шёл напрямик, через малофонтанские свалки, по битым чашкам и куриным перьям. Он приходил и требовал есть.

Потом легко спрыгивал Толя Фиолетов. Я и сейчас узнала бы его походку, Олеша в то лето мало у меня бывал. Мы были разделены территориально, так как не ходил трамвай.

Не знаю, что ожидал найти у нас Григорий В., но ему «очень, очень понравилось».

— До поры до времени не бьют темени, — сказал Багрицкий, — почитайте-ка стихи.

Тут-то оно и началось.

Какие-то музыкальные шкатулки, гномы, незнакомки. Как можно было не понимать, что Блок неповторим!

— Вы, наверно, ставите по три звёздочки в начале каждой строфы? — нежно спросила я.

Григорий В. беспокойно вытягивал лисью мордочку:

— Это, собственно, безразлично, можно звёздочку, можно тире. Мне важно, главным образом, ваше мнение о моих стихах.

— О стихах! — вдруг заревел Багрицкий. — А что вы, собственно, называете стихами?

Мы лежали на траве. Это была выносливая одесская трава, которую не вытоптать слонам. Земля под ней была сухая, и в ней поблескивала соль. Над всем этим стояло широкое одесское небо, оно заканчивалось широким одесским морем. Над Дофиновкой летел синий косячок — на том берегу шёл дождь. Может быть, цвели акации.

Как видите, всё было приспособлено для чтения стихов, дружественного обмена мнениями.

Таким, вероятно, представлял себе этот вечер Григорий В., подъезжая к Малому Фонтану.

Но было совсем другое. Рёв Багрицкого стоял столбом. Немецкий часовой, шагая вдоль колючей проволоки, всё время поглядывал в нашу сторону. На Григория В. жалко было смотреть. Он дрожащими руками запихивал в новенький портфельчик свои стихи, а из карманов его валились багажные квитанции.

Мне вспоминается, как однажды, гуляя с сыном над Тилигульским лиманом, мы нашли чью-то круглую норку. Марик засунул туда палку.

— Мапочка, здесь, наверно, живёт зайчик!

Из норки выскочило нечто. Оно было чуть поменьше хорька и чуть побольше крысы. Оно взлетело почти к самым нашим лицам, грызло палку, свистело, шипело и сверкало зелёными глазками.

Таким, вероятно, запомнил нас Григорий В., отъезжая в Киев...

5

Но волчата иногда разрешали себе порезвиться. Ведь все-таки нам пятерым было меньше ста лет, а самому старшему из нас не минуло ещё двадцати трёх. Забавлялись мы разное, но всегда Эдуард был инициатором и главным актёром.

Иногда расставлялись на ковре белые, дарённые «на счастье» фаянсовые слоны, и он извивался между ними и шипел. Он был «старший питон» джунглей.

Я очень хорошо помню, как Эдуард, по-пиратски повязанный красным платком, с петлёй на шее, изображал Фому Ягненка, идущего на виселицу, а Толя Фиолетов с подушкой на животе — его беременную и вероломную подругу.

Этот же красный платок участвовал в другой картине. Эдя повязывал им лицо, нахлобучивая кепи на глаза, подымал воротник, вытягивал вперёд руку и крючком выпускал палец. Он крался вдоль стены, как кошка. Это была «Маска, которая смеётся, или Железный Коготь».

Это был грубый, пантагрюэлевский юмор.

Остроты Багрицкого вообще были далеки от логики. Они строились на абсурде, на игре слов. Эдуард любил давать прозвища, иногда бессмысленные, иногда имеющие глубокое содержание, но всегда прилипающие к человеку (одесского журналиста Незнакомца он прозвал «Насекомец»).

Неодессит, попадавший в нашу компанию, вообще не мог уловить, что, собственно, было смешного в Эдиных плясках. «Дане Макабр», «Танго Геховер» или «Мазурка Бродского». Причём, из-за отсутствия слуха, Эдя танцевал их под мотив «Яблочка» или «Дерибасовской».

Сколько я ни стараюсь, я не могу припомнить ни одного личного врага Багрицкого. Он горячо и остро ненавидел только бездарных, тупых и глупых людей, претендующих на место в искусстве.

От поэта, художника, актёра Багрицкий требовал высокой, испулённой артистичности, отсутствия мещанства.

Неплохой декоратор, Эдя был приглашён как-то художником Предаевичем расписывать антре одного из театров малых форм Одессы. Мы с Фиолетовым, помню, принесли ему завтрак. Было ветрено. Стояли лужи. Летали занавески.

Манерно отставляя мизинец, актриса П. стояла в окне над сиренью, поправляя модные красные волосы. Сиреневые глаза. Сирень в вазах. Сиреневые лужи. Стояла настоящая весна, чёрт побери, и женщина была прекрасна.

Эдя тоже был неплох в расстёгнутой рубашке, с серой чёлкой, падающей на глаза. Он, подмигнув нам, подошёл к окну. Актриса была довольна. Она повернула к нему отчётливое белое лицо и ждала.

— Тётя, — сказал Багрицкий, — тётя, дайте мне буюк!¹

Стукнула ставня, и ни в этот, ни в следующие дни актриса у окна не появлялась.

А между тем она, несомненно, нравилась Эдуарду и даже, может быть, виделась ему в снах.

Но он ей мстил за отставленный мизинец, за претенциозность, за дурной тон.

К сожалению, я никогда не записывала Эдиных «хоxm». Но кое-что уцелело в моей памяти. Об Ю. Олеше в период его ухаживаний за Лидией С-вой, которая носила японский халатик:

Ах, ходит в кимоно кореец, —
Чего не делает вино, —
На что Олеша европеец,
Но тоже лезет в кимоно.

¹ Сирень (укр.).

Обладая отменными плечами, упомянутая Лидия С-ва любила, чтобы с них как бы невзначай соскальзывали одежды, на что Эдей было замечено:

Даже Олешу любя,
Не надо выходить из себя.

Я не могу восстановить очень смешную песенку Багрицкого о членах одесской литературной организации «Потоки» (пародию на Киплинг).

Об одесском поэте Семёне К., который появлялся в обществе исключительно об руку с мамашей, Эдя написал:

Мне мама не даёт ни водки, ни вина,
Она твердит: вино бросает в жар любовный,
Мой Сёма должен быть, как камень, хладнокровный,
Любить родителей и не кричать со сна.

6

Где-то в статье о Багрицком я прочла слово «гетто». Где они могли его отыскать под нашим весёлым одесским небом?! Выходец из гетто — да это ведь мальчик с бледными ушами, ешиботник, человек, который говорит «птичка», «цветочек», «травка».

(Да-да, именно, — даже у такого большого поэта, как Хаим Бялик, вы читаете: птица, цветок, дерево.)

Багрицкий говорит: зяблик, щегол, пеночка. Он говорит: вяз, тополь, осина.

Не помню, кто писал, что Багрицкий сутулился, что у него были непропорционально туловищу тонкие ноги. Это неправда. У Багрицкого было всего три изъяна: не хватало переднего зуба, не сгибался палец на правой руке и щёку пересекал шрам («фистула» — знали мы, «сабельный шрам» — думали девушки). Неуклюжим его делала скверношитая и невнимательная, как слепым, надеваемая одежда.

Я говорю, конечно, о молодом Багрицком. Седым и толстым я его уже не видела...

7

В 1919 году Багрицкий, Катаев, Олеша работали в БУПе¹. Их частушки ходили по всей Украине. Их «петрушки» собирали толпы на улицах и заставляли забывать о тифе и голоде.

¹БУП — Бюро украинской печати.

Ананьевский комиссар т. Брухнов вербовал охотников в отряд по борьбе с бандитизмом. Под Ананьевой хозяйничали гандрабурские лесники, на Балту двигался Махно, на Одессу наступал атаман Григорьев.

Я уехала с Брухновым. Эдя ещё раньше меня должен был отправиться на фронт с агитпоездом. Была суматоха и спешка, и мы даже не попрощались...

За два дня мы проехали семьдесят пять вёрст. Наконец что-то случилось, и поезд совсем остановился.

Я выглянула в дверь. Было раннее утро. На запасном пути догорал небольшой состав. Плечо к плечу с нашим поездом стоял поезд Мишки Япончика — уже, очевидно, не первые сутки. Это было заметно по незначительным признакам осёдлости — ведрам с кипятком, засыхающим на пути помоям, картофельной шелухе.

О Мишке Япончике и людях его отряда пели песни в Одессе и рассказывали анекдоты. Я с интересом заглянула к ним.

Человек с добрым собачьим бельмом на глазу, голый по пояс, умылся из крошечной жестяной кружки. Мне показали Мишку Япончика. Он, тоже голый по пояс, стоял в классической позе, со скрипкой в руках.

Скрипка взвизгивала и выдиралась из его пальцев, но он ловил её подбородком и снова подымал смычок. Он был пьян. У ног его грудями были навалены финики.

Все это было похоже на сон.

И вдруг, уже совершенно как во сне, откуда-то сбоку набежал поезд, весь забронированный фанерными щитами плакатов. Полотна с лозунгами вились над ним. Глаз так привык к жёлтым, синим и зелёным пассажирским цветам и краплаку товарных вагонов, что не воспринимал как поезд то, что двигалось на нас.

Столкновение было неминуемо, но чудовище остановилось за метр от нашего паровоза.

Внезапно я поняла, что это и есть агитпоезд. Я соскочила и пошла отыскивать Багрицкого. Я в пути отсидела ноги, они подламывались, и я уже думала повернуть обратно. Эдя первый увидел и окликнул меня. Он сидел с машинистом в кочегарке, был измазан сажей и смеялся.

Путь, по которому следовала агитка, был взорван, и её перевели на другие рельсы. Этим и объяснялась наша остановка. Их поезд был тоже завален финиками.

Оказалось, это было оставленное бежавшими французами наследство.

Багрицкий насыпал мне полные карманы фиников, Конечно, это было лучше французского же горохового хлеба, которым мы питались в Одессе.

Через С. Пиговича я получила привет и записочку от Багрицкого. Он просил меня подробно написать всё о жизни отряда. Он уже вернулся в Одессу и работал в губполитпросвете.

Я ему тотчас же ответила. Я подробно описывала ему кулацкие восстания, дележки Балтского лесничества.

Ещё, очевидно, действовала потребность в ежедневном общении.

Я послала ему второе письмо, мокрое от слез, с рассказом о смерти нашего товарища по отряду Ремизова, которому кулаки распорол живот и насыпали пшеницы.

Ответа я не получила.

Потом меня свалила лихорадка.

Когда я очнулась, мне дали письмо в конверте из обоев. Оно было всё захватано и походило на дактилоскопическую карточку. Оно было расклеено и заклеено двадцать раз — ребята берегли меня от дурных известий.

Это было не так уж просто — получить по почте письмо в тысяча девятьсот двадцать первом году. Тогда в газетах печатались объявления:

«Студент едет в Балту, принимает за небольшое вознаграждение поручения и письма».

Письмо было от Багрицкого. Он писал так нежно, что я заплакала. Я, несомненно, выздоравливала.

«Зикочка, мне вас очень не хватает. Как вы там крутитесь? Стреляете ли ваш наган и умеете ли вы его чистить?..»

Посылаю вам очередную дрель, её поют в Одессе в «Кротах». Можете исполнять её на мотив еврейской мелодии.

Целую ваши маленькие лапочки, хотя они, наверное, не мытые.

Эдя

Надо писать стихов. Надо мыть рук и чистить зубов!»

Вспоминая молодость, я замечаю, что слишком много о ней помню. Поэтому так трудно обо всём этом писать. Даже вкусовые ощущения и запахи возникают со страшной убедительностью. А люди и вещи — их я как будто трогаю руками.

С Эдей я рассталась только вчера.

Я хочу пройти мимо всего этого, — мне сейчас нужна схема, общение, скелет. Я подвожу итоги.

1917 год. Февральская революция.

Сказать по правде, я её не заметила. Для меня она ничего не изменила. Все так же жизнью города управляли врачи и адвокаты.

Первые большевики прошумели над Одессой весенним дождём. Но земля высохла. Ветер гнал пыль.

Все слова и поступки покрывал истерический вопль Керенского.

Для меня революция по-настоящему началась только в 1919 году. Наступала Директория. Несколько генералов зараз примеривали треуголку Бонапарта. Предлагалась уже последняя «чашка чая» в кадетском клубе, в который была превращена Литературка (Литературно-артистическое об-во). На афишах так и печаталось: «Третья чашка чая». Там жёлтый и желчный Бунин стучал палкой на советскую власть.

А Багрицкий пришёл в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришёл, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала.

Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак слились в нём в одно. Это было самое прекрасное сердце, какое только билось для революции.

1935

Тая Лишина

«Так начинают жить стихом...»

«ПЭОН ЧЕТВЁРТЫЙ» И «МЕБОС»

В трудное голодное лето 1920 года в Одессе, только недавно освобождённой от белогвардейцев, местная Советская власть организовала в помещении бывшего первоклассного ресторана обеды для литераторов. Обед — тарелка ячневой каши и сколько угодно стаканов желудёвого кофе или морковного чая, но только с одной-единственной конфеткой на сахарине — был немалым подспорьем в полуголодном рационе писателей. Но не только это привлекало их сюда. В одесском «Коллективе поэтов» собирались всего два раза в неделю, а здесь ежедневно допоздна засиживались за столиками, спорили о поэзии, встречались с друзьями, обменивались книгами. Нередко можно было услышать: «У кого есть Григорий Петников¹? Меняю на Божидара²»; «Предлагаю Асеевскую “Оксану”³ за “Облако в штанах”». Часто кто-нибудь из поэтов, перекрывая стук жестяных тарелок, в которых стыла каша, самозабвенно читал только что написанные стихи, и на мгновение шум смолкал. Здесь впервые молодой застенчивый поэт Эзра Александров⁴, которого невозможно было уговорить выступить в «Коллективе поэтов», неожиданно прочёл свои стихи о недавней иностранной интервенции и терроре белых в Одессе. В них были такие строчки:

«Волосы рыжие — цвет Эльдорадо, нам Калифорнии вовсе не надо, к чёрту всё золото Южной Америки, стынут от холода русские скверики, в небо высокое бьёт офицер, в небо высокое бьёт без потерь, кружится даль, рушится льдина, ветер — миндаль, двор — мандолина».

¹Григорий Николаевич Петников (1894–1971), — поэт, один из основателей футуристического объединения «Центрифуга».

²Божидар (Богдан Петрович Гордеев, 1894–1910), — поэт-футурист, единственная книга — «Бубен» (1914).

³Книга стихов Н. Асеева «Оксана» (1916).

⁴Эзра Александров (Зусман: 1900–1973), — поэт, до 1922 г. писал по-русски (под псевдонимом Александров), затем уехал в Палестину, перешел на иврит, стал известным, признанным израильским поэтом, чьё творчество отмечено одной из самых престижных литературных премий — премией Хаима Бялика.

Стихи очень нравились Багрицкому, и он часто их цитировал.

Не знаю, кому первому пришла мысль открыть вечернее кафе поэтов для широкой публики. Возможно, это был предприимчивый молодой человек, о котором ходили слухи, что он внебрачный сын турецкого подданного (много позже мы узнали его черты в образе Остапа Бендера), но тогда он только начинал бурную околосредствительную деятельность. Во всяком случае, летом 1920 года первое одесское кафе поэтов с загадочной вывеской «Пэон четвёртый» было открыто.

Название привлекало, но оно нуждалось в разъяснении, кроме того, следовало украсить стены. Инициативная группа, в которую вошли Багрицкий, журналист Василий Регинин¹ (будущий редактор известного советского журнала «30 дней») и художник Мифа — Михаил Арнольдович Файнзильберг, брат Ильфа, занялась этим. Развесили плакаты, сатирические рисунки, стихотворные лозунги. У входа поместили плакат с четверостишием из сонета Иннокентия Анненского: «На службу лести иль мечты, равно готовые консорты, назвать вас вы, назвать вас ты, Пэон второй — Пэон четвёртый?»

Привлекал внимание рисунок с изображением огромного металлического ключа и маленького фонтанирующего источника с надписью «Кастальский ключ» и шуточными стихами Багрицкого: «Здесь у нас, как сон невинен и как лезвие колюч, разъяснит вам всем Регинин, что за ключ — Кастальский ключ».

Багрицкий написал куплеты песенки, в которой на все лады разъяснялись смысл и значение непонятого названия кафе. Куплетов было много. Скандированием первого куплета: «Четвёртый Пэон — это форма стиха, а каждая форма для мяса нужна, а так как стихов у нас масса, то форма нужна им как мясу», — часто заканчивались выступления поэтов перед публикой.

Кафе просуществовало недолго и к осени закрылось. Из-за отсутствия топлива и света стали редко собираться и в «Коллективе поэтов», и зимой 1920/21 года литературная жизнь в Одессе почти замерла. Некоторое оживление в неё внесли вечера застрявшего в Одессе из-за транспортной разрухи московского поэта-конструктивиста Алексея Чичерина². Афиши его вечеров извещали: «Читаю вслух московским говором свои стихи и других поэтов». Автор книжки замумных стихов «В плафь», напечатанной фонетической транскрипцией, ломавшей привычное представление о русской письменности, обладал красивым голосом и выразительно читал Маяковского, Хлебникова, Каменского. Запомнилась в его исполнении поэма Василия Каменского «Степан Разин!». В чтение главы о персидской княжне Чичерин

¹Василий Александрович Регинин (1883—1952), журналист, писатель.

²Алексей Николаевич Чичерин (1889—1960), — поэт и теоретик стихосложения.

ввёл танец княжны, который исполняла талантливая ученица местной школы ритмики и пластики. Под чёткий ритм этих стихов вначале робко и медленно, а потом всё быстрее и быстрее развивался танец. Движения сливались с голосом тещи и иллюстрировали драматическую ситуацию в столкновении Степана Разина и княжны. Несмотря на скромный костюм княжны и слабое освещение сцены, впечатление было сильным, тем более что с возможностью сочетания звучащего слова и движений зрители встретились впервые.

К лету 1921 года литературная жизнь в Одессе снова оживилась. Тот же энергичный «окололитературный» молодой человек организовал в полуподвальчике бывшего ванного заведения новое кафе. Вначале оно называлось «Хлам» (художники, литераторы, артисты, музыканты), но вскоре было переименовано в «Мебос», что означало меблированный остров.

Десяток стульев и столов, буфетная стойка и расстроенное пианино, над которым висела надпись: «В пианиста просят не стрелять — делает, что может», — составляли всю меблировку «острова». За единственным маленьким залцем нового кафе, в тесных кабинках почему-то остались мраморные ванны, пугая неожиданностью случайно попавшего туда посетителя. Участникам выступлений они служили и раздевалкой и местом отдыха и перекура между выступлениями, за которые полагался бесплатный ужин. Но читать стихи под стук и грохот посуды и шум разговоров было трудно. Надо было придумать, чем заинтересовать посетителей, и заставить их быть повнимательней к поэтическому слову. Багрицкий предложил инсценировать свою драматическую поэму «Харчевня». В ней участвовали знаменитый старый поэт — теперешний хозяин харчевни — и два проезжих молодых поэта, едущие в Лондон на состязание поэтов. Между старым поэтом и молодыми возникает спор о поэтическом мастерстве. В стихотворном поединке побеждает старый поэт, но, уйдя на покой от суеты и брэнной славы, он нашёл своё место за трактирной стойкой, где продолжает сочинять стихи. Багрицкий играл старого поэта, Ильф и Славин — молодых. Нам, юным участникам «Коллектива поэтов», в этой инсценировке были отведены роли посетителей «Харчевни». Нехитрые костюмы и грим, широкополые шляпы, шарфы и трости, бакенбарды и передники были принесены из дома. На столах зажглись свечи, и «Мебос» превратился в старинную английскую харчевню, где хозяин и гости читали белые стихи, а посетители — простые рыбаки и рыбачки, крестьяне и конюхи — в конце представления запевали песню о Джен, написанную Багрицким. Её подхватывали и пели вместе с исполнителями все посетители «Мебоса».

Давно утеряна поэма «Харчевня» и её инсценировка, и судьба их неизвестна. Не все слова песенки запомнились правильно теми, кто

исполнял их тогда. Только недавно, к 70-летию со дня рождения Багрицкого, удалось полностью восстановить слова и мелодию этой милой песенки, так отчётливо заново зазвучавшей в памяти друзей юности Эдуарда Багрицкого.

Песенка о милой Джен
(Из инсценировки поэмы «Харчевня»)

Джен говорила: не езжай,
Мой милый, в путь опасный,
Пройдёт апрель, наступит май,
И в щебетанье птичьих стай
Воскреснет снова мир прекрасный.
Но судно быстрое не ждёт:
Оно расправит крылья
И вновь направит свой полёт
В кипучих волн водоворот,
Овеянный солёной пылью.
А я грущу о милой Джен,
О, этот взор далёкий,
Томит морей холодный плен,
И корабля тревожен крен,
И пера плещет в борт высокий.
Прошёл апрель, настал уж май,
Я сплю на дне песчаном,
Прощай, любимая, прощай
И только чаще вспоминай
Мой взгляд, встающий за туманом.

ТРИ ПИСЬМА ИЛЬФА

Передо мной несколько писем. Слежались их страницы, прогнулись на сгибах, выцвели чернила...

Это письма молодого Ильфа. Они адресованы двум подругам, двум молодым девушкам, жившим в двадцатые годы в одном с ним городе.

Не помню, где мы познакомились. Возможно, на литературных средах в одесском «Коллективе поэтов», где до поздней ночи бурно обсуждались стихи, либо в кафе поэтов с заимствованным у поэта Анненского названием «Пэон четвёртый». Мы ещё не знали, что этот «Пэон» означает. Мы это узнали позже, когда вместе с Ильфом и другими распевали песенку, сочиненную Багрицким, «Четвёртый Пэон — это форма стиха»...

Ильф часто бывал на собраниях поэтов.

Худощавый, в пенсне без оправы, с характерным толстогубым ртом и с чёрным родимым пятнышком на губе, он обычно сидел молча, не принимая никакого участия в бурных поэтических дискуссиях. Но стоило кому-нибудь прочесть плохие стихи, как он с ходу делал меткое замечание, и оно всегда било в самую точку. Ильфа побаивались, опасались его острого языка, его умной язвительности. Никто не знал, что он пишет — стихи или прозу. Было известно, что он брат талантливого художника и что служит он статистиком в Губземотделе. Но его абсолютный слух к стихам, нетерпимость к пошлости, ложному пафосу, нарочитым стилистическим красотам признавались безоговорочно.

Ильф хорошо относился к нам, молодым, только что окончившим среднюю школу и сначала очень робевшим на поэтических собраниях. Он приносил нам старые номера «Вестника иностранной литературы», читал понравившиеся страницы из Рабле, Стерна, знакомил нас со стихами Вийона, Рембо, четверостишиями Саади и Омара Хайяма.

Хотя Ильф был старше нас, но любовь к книгам, меткому слову, шутке, житейские невзгоды и маленькие праздники сблизили нас, и мы подружились. С ним было нелегко подружиться. Нужно было пройти сквозь строй испытаний — выдержать иногда очень язвительные замечания и насмешливые вопросы. Ильф словно проверял тебя смехом — твой вкус, чувство юмора, умение дружить, и все это делалось как бы невзначай, причём в конце такого испытания он деликатно спрашивал: «Я не обидел вас?»

Виделись мы с ним часто, но иногда, без всякого внешнего повода, он писал нам письма и искал удобного случая их передать. В них почти не было ничего личного, относящегося к кому-нибудь из нас. Мы удивлялись и считали это своеобразным чудачеством. Много позже стало понятным, что письма выражали естественную потребность Ильфа ещё в те ранние годы заняться литературой. В письмах он определял свой стиль, свою манеру, литературный вкус. Ильф искал применения своему таланту, силам, и письма были проверкой. Не было ещё будущего писателя-сатирика, не было ещё своей темы, но за литературным озорством или грустью этих писем можно разглядеть, как накапливались и отбирались впечатления, росли меткость и точность образного слова, определялась нетерпимость к пошлости и банальности.

События и обстоятельства, затрагиваемые им в письмах, часто были случайными и не очень значительными. Но они связаны с жизнью молодого Ильфа, и в этом их непреходящее значение. Мне кажется, они заслуживают того, чтобы рассказать, как жил, грустил и смеялся молодой Ильф.

Письмо первое

«Ещё Вы, любезная Тая, совершаете своекорыстные переходы в Аркадию, ещё Вам, Лиля, может быть, милы жаркие гиперболы лета, и даже я ещё предаюсь размышлениям о нравственности и насморке Робеспьера, но в небе уже осень, ветер сбивает звёзды, и к зиме оно раздвинется над нами огромной чёрной лисицей. Ещё раз нам предстоит увидеть прощальные солнца осени. Это как пушечный салют кораблей, которых больше не увидишь никогда. А после татарской конницей, лёгкой и яростной, во весь опор помчится снег, это плен и невзгоды. Тогда Вы увидите меня иным, в чугунной походке памятника, с привязанной к лицу улыбкой, в молчании человека, отчаянно расточившего дар разговорной речи. И я думаю о Вас и о том, что Вы такое зимой, о комнате маленькой и совершенной, где Вы живёте среди разгромленных книг и где в отваге смелых сердец и в милом извращении приличий Вы реабилитируете одни из пороков и судорожно создаёте новые. И я вижу Вас провожающими свои дни в весёлом умерщвлении плоти и в гуле пожираемого шоколада».

Аркадия, о которой пишет Ильф, это не идиллическая страна аркадских пастушков, а одесский курортный пригород. До революции он славился не только своим великолепным естественным пляжем и даже не оборудованной на заграничный манер водолечебницей, а дорогим рестораном над морем с летней эстрадой, где выступали международные кафешантанные звёзды. В голодное лето 1920 года в Аркадии, как и во всех одесских пригородах, каждый клочок земли был занят под огород. Там, где раньше были дачи со стеклянными шарами на цветочных клумбах, теперь пробивалась чахлая зелень моркови и низко стелилась картофельная ботва. Одесситы неумело возделывали землю, и она приносила им тощие плоды. Я помогала знакомым, у которых был маленький огород в Аркадии, окучивать картошку и поливать помидоры.

Позже мне предложили собрать для себя часть небогатого урожая, и я несколько раз совершала многочасовые «переходы» из дома в Аркадию за овощами. Днём я бодро шагала мимо заколоченных и разрушенных дач с покосившимися заборами, заглохшими фонтанами и остовами беседок, снесённых на топливо. Провозившись дотемна на огороде, я возвращалась в кромешной тьме с тяжёлым рюкзаком. Примерно на полдороге, у здания полуразрушенной трамвайной станции, Ильф встречал меня, отбирал рюкзак, и мы вместе возвращались в город. Всю дорогу он занимал меня всевозможными историями и пересказом прочитанных книг. Именно здесь, на тёмных улочках приморской окраины, я впервые услышала от него о Лоренсе Стерне и его книге «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Он знал

наизусть главы из этой любимой им книги, часто цитировал её и восклицал по любому поводу: «“Чего?” — с улыбкой спросила Маргарита Наваррская. “Усов”, — ответила Ля Фосsez”», — и потом он тихо и заразительно смеялся.

У меня дома, растопив чугунную печурку пухлыми пачками журналов «Нива» за 1916 год, мы пекли в горячей золе картошку, обжигая пальцы и губы, ели её без соли, которая тогда была дороже золота, грызли пахнущую острой свежестью морковку и мечтали о шоколаде.

Ильф с тревогой ждал зиму, тогда он её не любил. Милей его сердцу были «жаркие гиперболы лета». Они были связаны с домом тётки, о котором он пишет дальше в письме:

«А над домом “тётки” обезумевшим фонтаном взлетают кальсоны девственниц, сорочки честных матерей и фланелевые набрюшники холостяков. Он бьёт в Вашу честь, этот фонтан, и на Вас же он опадает золотым и разнообразным дождём».

«Тётка» — моя родная тётя Лиза — переезжала к дочери в Москву. Одной ей было не под силу ликвидировать свои домашние вещи, и она попросила меня помочь. Единственным местом, где можно было продать и купить что угодно, от тонкой севрской чашки до потёртого кавалерийского седла, была толкучка Нового базара. Попавшему туда впервые человеку трудно было не растеряться от шума, криков, ржания лошадей, запахов навоза и конской мочи. Моё желание помочь тёте вызвало резкий протест Ильфа.

— Вы не справитесь одна. У вас всё разворуют. Надо что-то придумать. Кроме того, — он лукаво улыбнулся, — я поговорю кое с кем, и мы войдём в игру.

Эта «игра» продолжалась несколько дней. Я выходила из дома, напутствуемая тётиными наставлениями быть осторожной, нагруженная корзиной с носильным, постельным и столовым бельём. У ворот дома меня поджидали Ильф, Багрицкий и Бондарин. Они сопровождали меня до улицы, ведущей к базару, а там по нашему уговору рассредоточивались, чтобы появиться по условиям игры в нужный момент.

Базар начинался с пустырей и пыльных тупиков, задолго до его месторасположения, и уже здесь бродили какие-то подозрительные личности, которые, не дав опомниться, налетали на меня, выхватывали из корзинки белье, предлагая за него смехотворно низкие цены. Я еле успевала следить за вещами, которые они перебрасывали друг другу, не соглашалась и отчаянно мотала головой. И тут мне на помощь приходили поодиночке мои друзья, которые издали следили за мной. Первым подходил Багрицкий. Высокий, с покатыми плечами, с лохматым чубом, свисающим на лоб, в гимнастёрке, подпоясанной ремнём, в галифе и солдатских ботинках с обмотками, он отбирал у опешивших перекупщиков бельё и хриплым голосом почему-то с

сильным украинским акцентом спрашивал: «Почём це, дивчина?» Перекупщик, не давая мне ответить, называл свою цену. Тогда Багрицкий предлагал немного больше, и перекупщику приходилось повышать свою цену. Багрицкий, войдя в роль, хлопал меня по плечу, подмигивал, вращал глазами и весело предлагал мне: «Давайте по рукам. Идёт?» — кричал он. На крик сбегались другие перекупщики. Видя, что бельё добротное и крепкое, переругивались между собой, рвали его из рук и набавляли цену. Наконец, переглянувшись с Багрицким, который продолжал теревить меня вопросами: «Ну, пойдёт? Цена хорошая!» — я уступала перекупщику и получала деньги. Багрицкий покачивал головой, сокрушённо вздыхал, мол, дёшево отдала дивчина, и, подмигнув мне, отходил. Я шла дальше, туда, где было сердце базара. Там стояли возы богатых немцев-колонистов. На возах, среди своих покупок — штук мануфактуры, тюков ковров, медной утвари, восседала молчаливая Амальхен или Гретхен, которая, распродав по баснословным ценам масло, муку и прочую снедь, теперь только пальцем изредка указывала на понравившуюся ей вещь в руках у кого-нибудь из толпы, осаждавшей повозку в надежде что-нибудь продать.

Я совсем терялась в людском водовороте, где было гораздо больше продающих, чем покупающих. В новом месте появлялся Бондарин. Спокойный, с наголо обритой головой, в ситцевой косоворотке и в сандалиях на босу ногу, он всем своим видом успокаивал меня. Неторопливо и деловито он рассматривал какую-нибудь мою вещь. Причмокивая губами и удовлетворённо кивая головой, предлагал мне немного больше денег, чем кто-нибудь из шнырявших здесь перекупщиков, чем и втягивал их в торг. Но как-то мы с ним «переиграли». Увлёкшись, он так набил цену на фланелевое мужское бельё, что мы не заметили, как отступили все заинтересованные покупатели, как последний отошёл рыжий веснушчатый детина, который торговался дольше всех, и мы с Бондариним остались вдвоём лицом к лицу. Мы расхохотались и разошлись. (Потом мне пришлось отдать бельё за меньшую цену, чем предлагал рыжий детина.)

К концу моей распродажи появлялся Ильф. У него давно была какая-то особенная мохнатая кепка, которую, несмотря на жаркий день, он надевал для своей роли. Кепка вместе с его очками без оправы и короткая пенковая трубка в зубах делали его похожим на иностранца, а их было в Одессе не много. Со скучающим лицом он раздвигал кучку приценивающихся покупателей и, небрежно указывая на простыню или полотенце в моих руках, бормотал что-то неразборчивое, вроде по-английски. «Что он говорит?» — «Наверное, сколько стоит?» — отвечал кто-нибудь в толпе. Я на пальцах показывала стоимость вещи. Ильф отрицательно покачивал головой и тоже на пальцах показывал

цену значительно ниже названной мной. Видя, что я не соглашаюсь, он указывал на скатерть и с огромным интересом рассматривал её. Казалось, вот-вот он согласится и купит, и тут кто-нибудь из перекупщиков, подбадриваемый возгласами и выкриками из толпы: «Вещь-то хорошая, раз иностранец покупает», — не выдерживал, называл подходящую цену, и я уступала ему покупке. Ильф отходил недовольный, а вслед ему нёсся злорадный смех перекупщиков.

К концу базарного дня с опустошённой корзинкой я возвращалась к тётке. Она не могла нарадоваться моим успехам и настаивала, чтобы я взяла часть вырученных денег. «В крайнем случае накормишь своих приятелей-голодранцев», — добродушно уговаривала тётя. Она отлично знала, чем меня можно взять. Действительно, напротив тётиного дома, на чужом крылечке, поджидали меня не очень сытые друзья. Я выходила к ним с тётиными деньгами, и мы шли на тот же Новый базар, но уже не на толкучку, а в съестные ряды и ели до отвала пышные оладьи из картофельной шелухи, пирожки с потрохами, жареную чесночную колбасу и клялись, что ничего вкуснее в жизни не пробовали. Мне отдельно покупалась плитка шоколада, но я великодушно делила её поровну между всеми.

«Тёткин фонтан» через несколько дней иссяк. Оставалось ещё немного денег, и я предложила устроить на последние «щедроты лета» пиршество с угощением галантным и изысканным. В нашей юности было мало праздников и не слишком много поводов для них. Затея понравилась, и по предложению Ильфа было решено отпраздновать 14 июля — День взятия Бастилии. Ильф очень интересовался французской революцией, отлично знал историю её величия и падения и часто образно рассказывал нам об этом. Всех эта дата устраивала.

Мы с подружкой деятельно принялись за подготовку. Мы мало разбирались в меню праздничных ужинов; нам казалось, что пирожные и мороженое, которых мы давно не пробовали, будут верхом изысканного гурманства.

Мы всю старались осуществить эту нелёгкую по тем временам задачу и скрывали от наших мужчин, что за угощение ждёт их на празднике. Каких трудов стоило нам достать муку и испечь пирожные со сливовым повидлом на сахарине, сварить сироп из абрикосов, тоже на сахарине, выпросить немного льда и старую заржавленную мороженицу у домашних! Все это мы доставили к приятелю Ильфа, фотографу ЮгРОСТА, занимавшему комнату в доме Советов (бывшей гостинице «Савой»). Комната была большая и по-холостяцки захламлённая обрезками фотобумаги и пачками негативов. Мы еле уговорили доброго фотографа вертеть мороженицу, а сами принялись за уборку. Вскоре пришли Ильф и Славин. Выставленные нами на столе пирожные и мороженица, плясавшая в руках фотографа, произвели на них оше-

ломляющее впечатление: «Это единственное блюдо нашего пиршества? — всплеснув руками, воскликнул Ильф. — Но где же сама еда?» Увидев наши растерянные, несчастные лица, он смягчился. «Ну, будем великодушны, Лева? — обратился он к Славину. — В конце концов это уже не яч-каша, а пища богов». Мы немного повеселели. К счастью, у фотографа оказались кусок солонины, банка солёных огурцов и кофе. За столом Ильф торжественно вытащил из кармана тёмную бутылку и сказал, что в ней старое вино — разлива прошлого столетия. Ильф осторожно откупорил её и с таинственным видом налил в стаканы из зелёного бутылочного стекла каждому немного вина. Его хватило на один раз. Единственный тост прозвучал в тот вечер за нашим столом. Он был лаконичен и выразителен. «Так выпьем же за состояние, которое остаётся между губами и чашей», — сказал Ильф, и, чокнувшись стаканами, мы выпили.

Не знаю, какого года разлива было действительно это вино, но, кажется, и сейчас я помню его вкус, тягучий и терпкий.

Письмо заканчивается словами: «Так я думаю о Вас в промежутках между кровосмешениями Катюля Мендеса, трагическими Любовями Гамсуна и ошибками и тайнами Теодора Амадея Гофмана. Пребываю в нежном Вашем дыхании. Иля, Вам преданный и верный».

Письмо второе

Летом Ильф неожиданно получил на работе путёвку в дом отдыха на Хаджибеевском лимане. Целебные свойства лиманной грязи привлекали туда желающих полечиться. Случилось так, что в срок его пребывания в доме отдыха находились преимущественно женщины, и Ильф оказался там чуть ли не единственным мужчиной. По этому поводу он написал нам весёлое и остроумное письмо. Может быть, сегодня оно покажется кому-нибудь недостаточно пристойным, тем более что оно адресовано молодым девушкам, но у нас в юности был свой критерий приличного и неприличного. По молчаливому уговору пошлый анекдот, двусмысленные остроты и плоские шутки воспринимались как плохая литература, считались неприличными и были начисто изгнаны из нашего обихода. Письмо Ильфа не могло оскорбить нас. Мы понимали, что свойственная ему и в устной речи словесная гиперболичность, образное преувеличение событий и отношений к ним понадобились ему в этом письме, чтобы сильнее заострить забавную ситуацию, в которую он попал. Великолепный язык, которым оно было написано, совсем очищал письмо от кажущихся непристойностей и натуралистического правдоподобия. Образцом литературного стиля и вкуса молодого Ильфа было это письмо, которое начиналось обращением:

«Нежные и удивительные! Желание беременной женщины, чувство странное и неукротимое овладело мною, моими внутренностями и помыслами, это желание лизнуть кого-нибудь из тех, что ходят здесь обугленными и просоленными.

Но лизать всех невозможно, лизать же одних, отдавая им предпочтение перед другими, — неудобно. В желании проходит день и лето, обречённое любви, славе и толстым женщинам, которые исступлённо хотят у меня стенного прибора для измерения чувств. Я привез с собой своё чёрное сердце и палладиум семейной чистоты и невинности. Глупый и немой садовник, среди разъярённых благочестивыми псалмами монахинь, я принёс себя в жертву. Он никогда не поднимется больше, ртутный столбик моего прибора для измерения чувств. Мне остались только поцелуи и моё чёрное сердце. Что же касается до семейного палладиума чистоты и невинности, то он утерян. Новый поэт, соединив в себе достоинства Гомера и Банделло, в своё время расскажет историю этой пропажи. Это будет забавно и торжественно. Всё дело в толстых женщинах, плохо и поспешно воспитанных на ускоренном губвузе, оборудованных трагическим профилем и злоупотребляющих привычками героев. Истинному герою необходимо восхваление своих подвигов народом. Он требует у него криков и кликов, и народ послушно даёт их. От меня тоже требовали кликов, по ночам я ревностно кричал, и вот священный признак моей мужественности превращён в орудие домашнего и частого обихода. От этого гибли Империи, и я тоже погиб, как погибали Государства и Нации, — от чрезмерного напряжения сил и крайнего изнурения.

Вот почему мне остались только поцелуи, наблюдения за летящими звёздами, лиманная помойница и три сестры, джигитующие на моих, увы, уже безвредных коленях. И ещё остались сны».

В письмах, как и в разговорах, Ильф часто вспоминал свои сны. Не было ясно, снились ли они ему действительно или он их придумывал. Прибегал он к этому приёму, когда это касалось его личных переживаний и чувств. Очевидно, так ему, по природе скрытному и застенчивому, было легче спрятать то, что никогда бы не рассказал он прямо и лично от себя и о себе. И в этом письме он дальше пишет:

«Ночь обводит стенами смутных комнат, подкладывает под ноги мягкий асфальт, вывешивает неверную луну, и, когда она в первый раз привела сны, мчалась звёздная стая, сердце моталось и билось, как взбунтовавшиеся часы, меня целовали в губы, это была она и её внимательные глаза. И во сне вспомнил, что ей нравились войны: “Ведь пушки дышали розами, клубами алых и чайных”, — вспомнил весеннюю холодную ночь, единственную и последнюю, паровоз, зло кричавший, её, в любви и слезах, и себя, выходившего в темноту плакать

и жаловаться. Сон кончился в звоне, смятении уходящих поездов и в плеске отплывающих пароходов».

Как всегда, словно пугаясь откровенного разговора, не желая выглядеть слишком чувствительным, он и в этом письме, неожиданно уже совсем другими словами, резкими и контрастными, переходит к сатирическому изображению того, что его окружало. Необычайное своеобразие его личности и заключалось в столкновении и сочетании высокого и низкого, тонкой лирики и едкой сатиры. Он заканчивает письмо:

«А проснулся — и небо пустынно, как бильярд, лишённый шаров, унесённых любителями слоновой кости, а мимо ходят толстые погубительницы моей чести и проходят, сверкая рёбрами и сорокалетним стажем невинности, тощие девы, сверху валится солнце, тишина, пространство и птичий помёт. Этот день, он несёт преувеличенную лень, вкусный табак, любовные стихи Пушкина, дары моему ошеломлённому желудку и шумящие и нежные битвы Асеева, где... “от дыханий пушечных бежали по небу розы”. Эти пушки и розы соединяют день и сон, и глаза покачнулись, и день идёт, как сон. “И это надо так, чтоб скучились к свече преданья коридоров”.

Это моя жизнь в климате милом и приятном.

В этот город, великолепный и злой, где остались Вы, я эвакуирую себя скоро. Иля, Ваш преданный и верный».

Письмо последнее.

Шёл 1922 год. Блокированная страна, разгромив и выгнав интервентов, боролась с разрухой и голодом. Жизнь в Одессе была суровой, совсем замерла в ней и литературная жизнь. Давно закрылись кафе поэтов «Пэон четвёртый» и «Меблированный остров». Не было бумаги, в одесских газетах еле хватало места для сводок с трудового фронта и важнейших международных новостей, и они редко могли печатать художественные произведения. Сократилась работа в ЮгРОСТА, которую долгое время предоставлял литераторам и художникам замечательный человек и великолепный поэт В. Нарбут, заведовавший одесским отделением. Из-за отсутствия топлива и света редко устраивались литературные вечера в университете и рабочих клубах, которых тогда было не много. Негде было печататься, негде было прочесть новые работы, и литераторы поспешно уезжали из Одессы. Ильф, как и остальные, тоже собирался в Москву, но тяжёлое материальное положение семьи не сразу позволило ему сделать это... Почти каждый день мы провожали кого-нибудь из друзей, и Ильф неизменно напутствовал их своей любимой фразой: «Да пребудут с вами буйство, нежность и путешествия!»

...Мы возвращались с ним с вокзала и долго бродили по вечерней Одессе. Сейчас в нём трудно было бы узнать остроумного блестящего рассказчика и собеседника. Он был сосредоточен и молчалив. Ему не хотелось возвращаться домой, где недавно умерла мать и оставался больной отец с младшим сыном, которого Ильф очень любил и в весёлые минуты называл не иначе, как «Мой младший брат Бенжамен, или просто Веня».

У меня дома было тоже темно и холодно, и мы молча шагали по многочисленным приморским переулкам и улочкам, пересекали Александровский парк с вековыми деревьями и заброшенный городской сквер. «Хороший собеседник тот, кто умеет не только красноречиво говорить, но и не менее красноречиво молчать», — часто говорил Ильф, и в этот вечер молчание нас не тяготило. Мы забрели на Николаевский бульвар, находившийся в центре города. Неожиданно мимо нас проехали пожарные, свернув в Театральный переулок, граничащий с бульваром. Мы последовали за ними. В этот узенький уютный переулок, выложенный, как изразцами, одесским плитняком, кроме фасадов богатых особняков, теперь занятых моряками Черноморского флота, выходили подсобные помещения и служебный ход Одесского оперного театра. Приезд пожарных привлёк много народу. Узкая горловина переулка была до отказа набита людьми, и колеблющееся пламя над какой-то из крыш придавало их лицам зловещую окраску. Так и не узнав, что загорелось, мы вернулись на бульвар. Внизу синело море и лежал мёртвый, порт.

...«А пистолет в руке — лишь свечка, упала голова седая, упало зеркало всё в трещинах...» Так, кажется, у вас?» Ильф прочёл строчки моего стихотворения «Пиковая дама», которое я читала только Багрицкому, и тот разругал его концовку. «Не надо», — запротестовала я, но Ильф продолжил последнюю строчку: «И льётся голубая кровь из её лайковой перчатки». Он усмехнулся: «Красивее не скажешь». — «Да, это, наверное, очень плохо», — с трудом выдавила я из себя. «Я сказал именно то, что сказал, — прервал он меня. — На окраинах (Ильф всегда называл так район, в котором жили мы с подругой) утверждают, что вы больше не пишете. Но у вас же есть стихи, ну вот хотя бы о памятнике Пушкину: «Их, влюблённых в полночное небо, полюбивших звёздную быстрь, с их помостов в такую небыл смуглый ведёт лицеист». Он явно хотел утешить меня и прочёл стихотворение целиком, а запоминал он только то, что ему нравилось, и мне стало легче. «Простите, я не поблагодарил вас за книги (речь шла о подаренных ему гравюрах французских художников и книге Назона «Наука любить»). Они великолепны. Овидий учит терпению и терпимости, а Домье и Гаварни трагичны в своей кажущейся несерьёзности. Спасибо». Он стал разговорчивей к концу нашей прогулки. «Одессу

покидают все — всем нужна работа, любовь, поездки... Буйство, нежность, путешествия...» — повторил он несколько раз. Потом неожиданно спросил: «Да, на окраинах ещё утверждают, что вы тоже хотите покинуть этот город, этот мёртвый Брюгге?»

Он махнул рукой в сторону порта и выжидательно посмотрел на меня. Я действительно собиралась ненадолго в Ленинград и подтвердила это. Он опять замолчал на всю длинную дорогу до моего дома. На этот раз обоюдное наше молчание было нелёгким.

Накануне моего отъезда, который наступил через несколько дней после нашей последней прогулки, Ильф вручил мне маленький паке-тик. В нём оказалась хрустальная печатка с двенадцатью гранями, на каждой из граней было вырезано по знаку зодиака. К печатке было приложено письмо. Вот оно полностью, это печальное письмо загру-стившего человека, расстающегося с другом:

«Мой мощный друг! Уезжают на север и направляются к югу, восток привлекает многих, между тем как некоторые стремятся к западу. И есть ещё такие, о которых ничего не известно. Они приходят, говорят прощайте и исчезают. Их след — надорванная страница книги, иногда слово, незабываемое и доброе, и ничего больше. Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чём мне писать, если не писать все о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше имя, короткое, как римский меч. Я трогаю Ваши пальцы и говорю торопливо и хрипло: Хлоя или Помпеи, это всё равно. Так её зовут. А Вы называетесь Ан, и что может быть короче? Но Вы подыма-ете руку, и снег налетает сразу, и это не снег, а дорогие мне знаки, это пчёлы, и всё перепутывается: вечер, пожар, свеча и перчатка. Я про-сыпаюсь к “Ag samatoria” и чёрному хлебу. Нет больше оловянного по-топа, дожди отступают по всей линии, мне остаются деревья из пепла и парк, наполненный рукоплесканиями. Это снова сон. Во имя Бога, какая жизнь! Так всегда. Ждать, куда завертится круглый птичий глаз, молчать до этого, молчать после и говорить не умолкая, выбал-тывать всё, пока сдвинется и завращается круг. Иля».

Николай Данилов

«Мечь Калиостро»

Впервые я увидел Багрицкого весной 1920 года в Одессе, на трибуне устного сборника Южного товарищества писателей и поэтов. Эти сборники, в ту пору заменявшие из-за отсутствия бумаги печатание новых произведений, устраивались по понедельникам в зале бывшего Литературно-артистического клуба и привлекали большое количество слушателей.

В сборнике участвовали старый одесский писатель А. А. Кипен¹ и молодые, но уже завоевавшие признание поэты — А. Адалис, В. Инбер, З. Шишова, Э. Багрицкий, Ю. Олеша. Председательствовал Г. Шенгели. Я недавно приехал в Одессу и не знал ещё никого из них, только с Ю. Олешей мы встретились как знакомые, так как незадолго до этого вечера много часов простояли рядом в очереди на перерегистрации в военкомате.

Слушал я всех с большим вниманием и интересом и сразу почувствовал, что Одесса богата талантливыми поэтами. Больше всех мне понравился Багрицкий, читавший «Тилия Уленшпигеля» и «Птицелова». Понравились мне и стихи, и то увлечение, с которым он читал, и манера чтения, и весь облик молодого поэта, показавшегося мне похожим на большую, сильную хищную птицу. Таким запомнился он мне навсегда.

Приближался день Первого мая. В 1920 году он стал днём первомайского субботника. Была создана городская первомайская комиссия, и я оказался в её составе. Числился в комиссии и Эдуард Багрицкий. В чём заключались его обязанности, никто, да и он, кажется, толком не знал. С его приходом служебная обстановка превращалась в поэтическую. Он читал стихи, шутил, острил и быстро исчезал, оставляя после себя ощущение простора и большого таланта.

Однажды, незадолго до Первого мая, мы увидели Эдуарда за работой. Придя в помещение комиссии, он сел за свободный стол и сказал: «Сейчас напишу первомайские стихи», — и действительно в течение каких-нибудь тридцати минут написал и тут же прочёл нам большое стихотворение. В нём говорилось о символах и эмблемах всех стран и народов, от медных римских орлов до «зелёной ветки Демулена», кра-

¹Александр Абрамович Кипен (1870—1938).

сного знамени Парижской коммуны и нашей, советской пятиконечной звёзды.

Я был поражён, с какой лёгкостью и быстротой мог писать Багрицкий, так как не знал ещё о его импровизаторском таланте.

Зимой 1920—1921 годов специальным устным сборником отмечался юбилей Бодлера. Я условился пойти на него с писателем Андреем Соболев. Зайдя за Соболев, увидел сидящего за письменным столом и что-то пишущего Багрицкого. Он сообщил, что переводит Бодлера, и предложил мне принять в этом участие. На мой ответ, что я не знаю французского языка, рассмеялся и сказал, что этого вовсе не требуется при его системе перевода. На столе лежали две раскрытые книги — стихи Бодлера в переводах Мельшина¹ и Вячеслава Иванова. Багрицкий брал два перевода и тут же создавал свой, третий, на эту же тему. Должен сказать, что мне «переводы» Багрицкого понравились больше мельшинских и ивановских. Пора было идти начинать сборник. В программе значилось: «Эдуард Багрицкий — новые переводы стихов Бодлера». Но слушатели, к сожалению, так и не познакомились с ними. Когда дело дошло до чтения стихов, Багрицкий заявил, что по дороге потерял рукопись и прочтёт переводы Вяч. Иванова. Я отлично знал, в каком кармане его неизменной блузы лежали написанные стихи, но понял: он не считает возможным публично выступить с переводами, сделанными наспех. Хотя только что получал большое удовольствие от этой работы.

Много раз доводилось мне слышать чтение Багрицкого, и всегда оно захватывало какой-то необычайной поэтической страстностью, покоряло образностью и музыкой стиха.

Особенно запомнился мне один одесский зимний вечер, когда в холодной, продутой всеми морскими ветрами комнате нашего общего друга, талантливое скульптора Макса Гельмана², Багрицкий при свете копящей керосиновой лампы читал своего «Летучего Голландца». Слабый, колеблющийся свет озарял его лицо, а за спиной в ритме стихов колыхалась огромная тень читающего поэта, и казалось, что в комнату врываются океанские волны, нарастая, гудит прибор...

С Багрицким я встречался не только как с поэтом, я видел его и с кистью в руке, занятого писанием плакатов в мастерской ЮгРОСТА, где мне как художнику довелось работать. Не будь Багрицкий поэтом, он, несомненно, мог бы стать незаурядным художником, в этом убеждало всё, что рождалось под его кистью или карандашом.

¹Л. Мельшин — псевдоним поэта и переводчика Петра Филипповича Якубовича (1860—1911), подписывавшего переводы свои также и инициалами — П. Я.; вероятно, упоминаемая книга — *Ш. Бодлер. Цветы зла*. СПб., 1909. пер. П. Я.

²Макс Исаевич Гельман (1892—1979).

Летом 1920 года Одесса принимала группу делегатов Второго конгресса Коминтерна. Город решено было украсить плакатами и транспарантами. Работа была большая и, как всегда в таких случаях, срочная, проведение её было поручено ЮгРОСТА. Было создано несколько бригад художников. В одну из них, руководимую Багрицким, попал и я. Нам предстояло украсить вокзал и привокзальную площадь. В сквере напротив вокзала предполагалось установить огромное декоративное панно, изображающее братство трудящихся всех стран мира. Эскиз его сделал художник Фазини¹ (старший брат И. Ильфа), а выполнить должна была наша бригада. Для этого требовалось написать несколько десятков человеческих фигур больше натуральной величины. Хоть было нас пять или шесть человек, всё же справиться с такой задачей за одни сутки было непросто. Вот тут-то и проявился ещё один талант Багрицкого — умение увлечь и подбодрить людей. Работая вместе с нами, он развлекал нас, не давая задуматься об отдыхе или сне. Шутил, читал стихи, импровизировал. Так было и в мастерской, а в последнюю ночь — на вокзале, куда мы перенесли свою работу. Только на рассвете, когда всё было закончено, он умолк и улёгся спать прямо на перроне вокзала, а вслед за ним и все мы.

Ещё интереснее была встреча с Багрицким на сцене, как с драматургом, режиссёром и, главное, актёром.

В 1921 году в Одессе существовали так называемые Государственные художественные производственные мастерские, представлявшие собой одновременно и высшее художественное учебное заведение, и производственное предприятие, призванное выполнять заказы от фрески и станковой живописи до плаката и вывески. Обучение искусству проходило в процессе производства. В этих мастерских обучалось и работало более пятисот молодых художников и учеников. Среди них было немало любителей и других видов искусства, в том числе и театрального, благодаря чему возник драматический кружок.

Поставив под руководством молодого, но уже известного режиссёра Г. К. Крыжицкого² мольеровские «Проделки Скапена», кружок привлёк внимание творческой интеллигенции Одессы не столько талантами его участников, сколько смелостью, с какой пытались они сокрушить все устои старого театра. Бурно начавшаяся жизнь кружка скоро оказалась под угрозой — его руководитель уехал из Одессы. И вот тут-то и возникла у кружковцев мысль о содружестве с Багрицким. Решено было поставить недавно написанный им совместно с Г. Шенгели водевиль «Месть Калиостро» и просить Багрицкого при-

¹ Сандро Фазини (Александр Арнольдович Файнзильберг 1895–1940) — российский и французский художник и фотограф.

² Георгий Константинович Крыжицкий (1895–1975), — театральный режиссёр.

нять участие в его постановке. К всеобщему удовольствию, он согласился не только руководить постановкой, но и сыграть роль Калиостро.

Действие водевиля происходит в Петербурге в эпоху Петра Первого. Главные действующие лица: знаменитый маг Калиостро, арап Петра Великого Ибрагим и княжна Елена. Конфликт возникает из-за того, что влюблённый в Елену Калиостро ревнует её к Ибрагиму.

Как и положено водевилю, «Мечь Калиостро» заканчивается благополучно. Князь и княгиня согласны выдать дочь за арапа.

Пьеса была написана отличными стихами в духе эпохи. Действие разворачивалось стремительно и давало возможности для излюбленных нами трюков и весёлых «приличествующих театру шуток». Я получил роль одного из друзей Ибрагима. Это дало мне счастливую возможность встретиться с Багрицким на сцене.

Со второй репетиции все исполнители уже знали назубок свои роли и, с увлечением придумывая возможно более эффектные мизансцены и смешные трюки, иногда до слез хохотали над собственными выдумками. Совершенно неистощимую изобретательность проявлял Багрицкий. Не отставал от него и исполнитель роли Ибрагима — Игорь Вускович¹, один из самых юных и одарённых учеников Художественно-производственных мастерских.

Ещё интереснее репетиции становились тогда, когда Багрицкий начинал играть всерьёз и, казалось, действительно перевоплощался в Калиостро. Его глаза сверкали, он ходил по сцене какой-то особой, скользкой походкой. Перед нами был маг и волшебник. На сцене его огромный поэтический темперамент легко переключался в актёрский.

Благодаря участию Багрицкого репетиции «Мести Калиостро» доставляли всем огромное удовольствие, и мы не торопились с выпуском спектакля. А когда речь зашла о премьере, случилось то, чего мы никак не предвидели: Багрицкий вдруг перестал ходить на репетиции. Мы попробовали репетировать без Багрицкого, но с его уходом и сама пьеса, и всё придуманное нами как-то потускнело, перестало увлекать нас, и мы бросили, не доведя до конца с таким удовольствием начатую работу. Мне кажется, ему доставляла удовольствие игра в театр, но демонстрировать своё актёрское искусство перед зрителями он не захотел по тем же причинам, по каким не стал читать в шутку сделанные переводы Бодлера. Пошутить он любил, но одно дело — затеять игру в переводчика или поиграть в театр с товарищами, другое — показывать результаты этой игры зрителям.

Так и не увидели зрители «Мести Калиостро» и, что особенно жаль, Багрицкого-актёра.

Никто не собирал и не записывал острот Эдуарда, но они передавались из уст в уста и запоминались надолго. Обычно объектами его

¹Игорь Николаевич Вускович (1904–1992), — художник кино.

острословия становились не заслужившие его уважения и симпатии представители одесской литературы и искусства, а иногда и целые художественные организации. Так, например, к названию кружка «Потоки» он прибавил два слова и говорил: «Потоки патоки и пота». Название существовавшего тогда творческого объединения «Союз ремесла и творчества» переделал в «Союз ремесленников и творцов». Критика Тальникова¹ и сгруппировавшихся вокруг него единомышленников окрестил «Обществом одесских герценов». Доставалось от него и незадачливым поэтам, в частности некоему Вану. Однажды я встретил Багрицкого неподалёку от клуба поэтов и, понимая, что он идёт оттуда, спросил, что делается в клубе. Он вздохнул и ответил: «Весь вечер тихо пованивает». Нетрудно было догадаться, что он сбежал от чтения стихов Вана.

Иногда остроты Багрицкого звучали достаточно зло, но эта злость всегда вызывалась творческими разногласиями и никогда не носила личного характера. Трудно было найти человека более доброжелательного к людям.

1968

¹ Давид Лазаревич Тальников (Шпитальников, 1882–1961), — театральный и литературный критик.

Наталья Соколова

Драматург дёргает занавес *(Из воспоминаний)*

В двадцать первом — двадцать втором годах в Одессе существовал театр миниатюр. Он ютился в маленьком подвале и соответственно назывался «Крот». Впрочем, название расшифровывалось ещё и так: Конгрегация Рыцарей Острого Театра. Возглавляли театр «Крот» Вера Инбер и Виктор Типот¹, мой отец, впоследствии один и зачинателей Московского Театра Сатиры. Играла в нем семнадцатилетняя Рина Зелёная, москвичка, которую в годы Гражданской войны занесло в Одессу; выступала она в париках, наголо обритая после тифа. Интеллигентный коллектив, культурная атмосфера привлекали многих талантливых людей. Малевал и сколачивал декорации Евгений Левенсон², в дальнейшем очень известный ленинградский архитектор. Играл на скрипке тринадцатилетний мальчик Додик Ойстрах, и взрослые после спектакля спорили, кому сегодня провожать Додика домой. В качестве друга театра, постоянного зрителя, а иногда и автора («Встреча Нового года в прошлом, настоящем и будущем») фигурировал Александр Фрумкин³, химик, профессор Одесского института народного образования, меланхолично влюблённый в Веру Инбер, которому предстояло в будущем стать академиком, создателем нового направления в электрохимии, учёным с мировым именем.

...Смиранный крот
В земле живёт,
Во мраке и в тиши,
Родит детей
В норе своей
И счастлив от души.

¹Виктор Яковлевич Типот (Гинзбург, 1893–1960), — драматург, режиссёр, писатель.

²Евгений Адольфович Левенсон (1894–1968), — архитектор.

³Александр Наумович Фрумкин (1895–1976), — химик, академик, член нескольких зарубежных академий.

Но мы, наземные кроты,
Не так проводим дни.
Мы любим солнце и цветы,
Улыбки и огни.

Мрак ли, голод,
Будь ты хоть стар или молод,
Каждый с радостью придёт
Посетить весёлый «Крот»!

Этот «Гимн кротов» (слова Веры Инбер) пели девушки в кротовых жакетах, которые каждый раз приходилось одалживать у знакомых.

В голодной и холодной Одессе начала 20-х, которую ещё очень мало (куда меньше, чем Москву) затронул НЭП, маленький театрик старался одаривать своих зрителей непринуждённым и непритязательным весельем, радовать шуткой, музыкой и пением, танцами, эксцентрикадой, яркими, нарядными костюмами (костюмы перекраивались из бабушкиных бальных туалетов, а бабушки сопротивлялись, туалеты можно было выменять на базаре на хлеб, молоко, мамалыгу).

Репертуар создавали в основном Типот и Инбер (каждую неделю — новая программа из 7—8 номеров!). Одноактные пьесы тогда часто писали в стихах. Именно так была написана пьеса Типота, где чёрный шахматный офицер восставал против чёрного шахматного короля, тирана, который принуждал его ходить «только диагонально». Бунт одиночки кончился трагически, чёрный офицер погибал. Инбер, в свою очередь, написала пьесу «Картодрама в ревколоде» (тоже в стихах), где народный бунт, победоносное восстание карточной колоды, возглавляемое Двойкой червей в развешиваемом алом плаще, приводило к свержению Короля пик. Придворная дама в разгар восстания назидательно пела Королю:

Я трефовая дама,
И разумна я столь,
Что отвечу вам прямо,
Мой любимый король.
Надо слиться с народом,
А иначе беда.
Дайте волю колоде
Навсегда, навсегда!

Всё это считалось архиреволюционным, архисовременным, «созвучным эпохе», как и русская сказка-лубок, где мужицкий сын Иван в красной рубахе добывал себе невесту, посягая иноземных прин-

цев (в сказочную ткань вставлялись вполне злободневные остроты насчёт интервентов, чьи военные корабли ещё не так давно стояли в одесском порту). «Чёрного офицера», «Картодраму» кроты с успехом играли в рабочих клубах (в каком-то «Клубе имени тов. Гифона»), для красноармейцев, для работников Губполитпросвета. Вера Инбер выступала с «политфельетонами» на злобу дня. К разряду «агиток» также относилась миниатюра «Машута и Мариэтта», где пели и танцевали, препирались и даже дрались куклы — французская (Инбер) и русская (Зелёная). Русская матрёшка предъявляла довольно неожиданное требование — пусть атласно-кружевная парижанка признает, что «нашенский» Маяковский лучше... «ихнего» Анатоля Франса.

Машута: А у нас есть наш поэт московский
Владим Владимыч Маяковский.
Сравним скорее! Пусть всё решится.
Ух ты, я-ще-ри-ца!

Появлялся красноармеец, помогал Машуте справиться с Мариэттой.

Красноармеец: Уже светает, спать пора.
Эх, куклы дорогие!
(*Берёт кукол под мышки.*)

Красноармеец и Машута:
Разбита Франция, ура!
Да здравствует Россия!

Конечно, сегодня ниспровержение Анатоля Франса производит комическое впечатление. Но все-таки, по-моему, акцент тут стоит не на сбрасывании очередного классика «с корабля современности» (тем более что Вера Михайловна, автор этой миниатюры, галломанка, обожала Анатоля Франса), а на победе России над интервентами. Одесса достаточно от них натерпелась.

Таковы были «идейно выдержанные» номера «Крота», попытки освоения нового содержания (хотя новое вино вливалось в достаточно старые мехи). Наряду с этим «красным» репертуаром была, разумеется, в театре и традиционная линия, идущая от старых театров миниатюр, театров-кабаре — маркизы в пудренных париках, Арлекины и Коломбины, диккенсовское Рождество, ожившая древнеегипетская фреска и т. д. Стилизации делались изящно, культурно, со вкусом.

В «Кроте» шли произведения не только «своих» авторов. Инсценировали Тэффи, ставили отрывки из «Курантов любви» Кузмина, одноактную пьесу Гумилёва «Игра», фарс «Немая жена» Анатоля Франса,

прелестную поэтическую притчу «Читра» Рабиндраната Тагора, исполняли популярные тогда песни Агнивцева. В подвале «Крота» состоялась премьера озорного водевиля «Месть Калиостро» Эдуарда Багрицкого (с которым кроты дружили) и Георгия Шенгели, Калиостро (его играл Типот), ревнуя княжну Елену к Ганнибалу, менял их души местами, Елена требовала выпивку и трубку, чертыхалась, а арап стеснялся, словно красная девица, ломал руки и плакал, если до него дотрагивались мужчины. «Месть Калиостро» была написана для какого-то другого коллектива, но те её не осилили, премьера состоялась в «Кроте».

Забавно сейчас вспомнить, что в «Кроте» шла сценка в стихах «Урок философии» девятнадцатилетней Лидии Гинзбург, тогда крепкой спортивной девушки, увлекавшейся дальними пешими прогулками, теннисом, плаванием и греблей, намеревавшейся ехать поступать в Петроградский институт истории искусств. Потом она стала видным ленинградским литературоведом, автором тонкой эссеистской прозы, лауреатом Госпремии. Лидия Яковлевна — младшая сестра Виктора Яковлевича Типота, моя тётя. В 80-х годах Лидия Яковлевна по моей просьбе прислала мне чудом сохранившийся оригинал этого «пустячка в германском стиле» (не хватает одной странички). Текст написан на старых пожелтевших ведомостях какой-то торговой фирмы: с писчей бумагой было плохо, взять её в пору разрухи было неоткуда. В пьесе немецкий студент-бурш беседует со скелетом, поит его вином, тот говорит о бренности земных радостей и хочет увлечь студента с собой в небытие. Но выясняется, что это был лишь сон, и студент радостно восклицает:

Иду, друзья, иду, исполнен сил,
Любить вино, и женщин, и науку!
Ах, чёрт возьми, едва не позабыл
Пожать скелету руку...

Драматургический этюд юной Люси Гинзбург (она тогда ещё школьному носила косы) был единичным, случайным; вообще же она имела к театру самое непосредственное отношение — была рабочим сцены, передвигала декорации, кроме того, её обязанностью было дёргать занавес. Она не пропустила ни одного спектакля. За свой труд получала «марки», как тогда было принято говорить. (Весь заработок труппы делился на некие условные первичные единицы, «марки»; глава труппы мог, скажем, получать десять «марок», а рабочий сцены — единицы, в зависимости от договорённости.) Кроме того, иногда перепадали пайки, которые выдавала Вукоспилка, по-русски Центросоюз, кооперативная организация, владелец подвала, шеф и покро-

витель театра. Тогда Люся с гордостью приносила матери мешочек перловки и связку воблы.

Посылая мне рукопись, Лидия Яковлевна писала: «По ходу собственной пьесы я дёргала занавес, это, вероятно, уникальный случай в истории мирового театра. В зале, как всегда, сидели знакомые, и они вызывали: «Автора!» Как я совмещала выход к публике с моими функциями, не помню. Не думаю, что я тогда была столь наивна, чтобы писать такое на полном серьёзе. Это было, очевидно, что-то вроде романтической стилизации. Единственная дань романтике за всю мою жизнь. Самое интересное — завалывшиеся бланки, на которых всё это написано, другой бумаги у меня не было».

...Из дальней дали еле слышно доносится до наших дней песенка:

Вечер синий,
Град ли, иней,
Каждый весело идёт
Навестить задорный «Крот»!

Владимир Бугаевский

Г. А. Шенгели в Одессе

В то незабвенное лето Гогену незачем было бы отправляться на Таити. С него вполне хватило бы Одессы. Голод и нищета довели её экзотику до пароксизма, она излучала инфракрасное сияние. Город выглядел, как квартира после холостяцкой вечеринки или налёта.

Мне было пятнадцать лет, и я упивался яркостью этих красок и сладчайшим безделием, возможным только в Полинезии. Несколько месяцев достаточно было, чтобы я из респектабельного гимназиста превратился в оборванца: мои брюки ещё недавно были шторами у нас в передней, с правой ноги у меня сваливался башмак с замшевым верхом, с левой — парусиновая туфля, тоже ставшая чёрной. При обычных обстоятельствах меня принимали бы за городского сумасшедшего, но тогда в этом городе щёголей и модниц все были одеты примерно так же, и поэтому никто друг за другом не бежал.

И вот однажды, во время шатаний по городу, свернув с почти безлюдной Дерибасовской на уже совершенно пустую Преображенскую, я за квартал с лишним увидел трёх шедших навстречу мне людей. Всё в них было поразительно, и прежде всего — их несхожесть, их, казалось бы, несовместимость. Один, высокий, сутулящийся человек, с головой, втянутой в плечи, в красной феске с роскошно ниспадающей чёрной кистью, в воротничке и галстукe (но без рубахи), английском френче и галифе болотного цвета с наколенниками из красного сукна (через несколько секунд я убедился, что такая же заплатка красовалась сзади) и с пресловутой одесской обувью — деревяшками, заменявшими ему митенки¹, — шёл спокойной свободной походкой гориллы, гуляющей по джунглям. Второй, маленького роста, казался бедно одетым студентом, и я не обратил бы на него внимания, если бы не его необычайной красоты большой лоб, нахмуренные брови и ещё нечто, должно быть, одухотворённость, придававшее ему странное сходство с «маленьким капралом»². Совсем иным был третий. Это был высокий, очень красивый человек, лет двадцати пяти, с тонко очерченными греческими чертами лица, но всё же не одессит. В нём было что-то под-

¹Здесь — сандалии с ремешками повыше пальцев.

²То бишь с Наполеоном, сходство, отмеченное многими знакомыми Олеси, которым он в юности очень гордился.

чёркнуто строгое, петербургское, интеллигентско-петербургское, профессорское, идущее вразрез с обликом его спутников. И одет он был не в духе времени, не по-одесски: чёрный костюм, крахмальная рубашка, крахмальный стоячий воротник, чёрный галстук. О южной бравате напоминали только бакенбарды, впрочем, аккуратно подстриженные (да и всё в нем обличало аккуратиста), пробковый шлем, покрытый люфой (головной убор, почему-то называвшийся в Одессе «здравствуйте-досвиданья»), и то, что он тоже, хотя это ему было явно трудно и непривычно, шёл босиком, держа в руках начищенные ботинки. Человек во френче что-то рассказывал, смеясь, «маленький капрал», как ему и полагалось, не слушал его и думал о чём-то своём, а третий, «петербуржец», трясся, я сказал бы, от заливистого беззвучного хохота. Я прошёл мимо, и, хоть картина этой случайной встречи навсегда врезалась в память, мне и в голову не могло прийти, что через десять с лишним лет первый из них — Катаев — охарактеризует всё, что между нами и с нами было, надписью на одной из подаренных мне книг: «на память о многом и разном»; что я стану одним из ближайших, неразлучных и, смею сказать, интимнейших друзей второго — Юрия Олеши, а третьему, Георгию Аркадьевичу Шенгели, буду обязан и своей профессией, и любовью к ней, и привычкой к труду, без которой ещё можно писать стихи, но переводить их невозможно.

Я признался уже почти во всё: мне было тогда пятнадцать лет, и я писал стихи. Вскоре я попал в одесский «Коллектив поэтов» и познакомился с тремя загадочными для меня незнакомцами, а также с Багрицким, Славиным, Ильфом, Бондариним, Тарловским, Бродским, Кирсановым и ещё многими, ставшими писателями, и другими, навсегда оставшимися литературными чудаками.

Это был период становления той литературной школы, которую Шкловский потом окрестил «левантийской» (конечно, название, производное от Леванта, а не от почтенного Э. Е. Левонтина¹). Возникавшее левантийство было так же фанатично, так же сотрясаемо неистовыми страстями, как и всякая новая секта или религия. По прошествии лет, когда фанатизм ослабевает, а страсти утихают, на многое смотришь иначе, но память, восстанавливая давние годы, восстанавливает и прежнюю точку зрения, подчас очень далёкую от ваших теперешних мнений. Прошлое вступает в борьбу с нынешним, и в результате возникает снимок со смещённым фокусом. Даже добрейший Константин Георгиевич Паустовский, преисполненный добрейшими намерениями, стал жертвою этой аберрации памяти и допустил, говоря о прощальном вечере Георгия Шенгели в Одессе, кое-какие ошибки. Это же случилось и с другими, писавшими о том времени. Попытаюсь восстановить истину.

¹Эзра Ефимович Левонтин (1891–1968), — поэт, переводчик.

Я, должно быть, мальчишеским чутьём угадал ещё при описанной мною первой встрече с Шенгели и его спутниками, что это люди, в чём-то различные не только по своим маскарадным, как у Катаева, костюмам. Их литературные пути расходились уже тогда и должны были впоследствии ещё больше разойтись. Между романтизмом и классицизмом издавна пролегла пропасть. Левантийцы были романтиками, Шенгели — «классиком». Вдобавок левантийцы вели яростную борьбу против нескольких старых и, признаться, за немногими исключениями малоталантливых провинциальных беллетристов-бытописателей, издавна живших в Одессе. А уж левантийцы, независимо от личной одарённости каждого из них, меньше всего были провинциалами, что они вскорости и доказали. Но и среди врагов наших были люди и талантливые, и почтенные (почтенность, впрочем, шла у нас со знаком минус). Многое сближало с ними приезжего Георгия Аркадьевича. Да ему и дела не было до наших одесских счётов. Но культура и широта взглядов сближали его и с Багрицким, и с Олешей, навсегда оставшимися с ним в добрых отношениях. И все же между ними была пропасть — и особенно глубокая для наиболее задиристого из старших левантийцев.

Так возникло то, что можно условно назвать литературным скандалом (а они в распалённой голодом Одессе возникали тогда легко и просто) на том вечере, о котором я упомянул.

Вот что было: Георгий Аркадьевич собирался уезжать из Одессы, и на отъезд, как легко себе представить, нужны были деньги. Как их мог принести литературный вечер, мне попросту непонятно. Я отчётливо помню, как незадолго до этого Багрицкий устроил свой вечер в помещении бывшего конфекциона Бродского. В кассе сидела его жена, Лидия Густавовна, так что никакой утечки и утруски средств быть не могло. После окончания вечера Эдуард взял у жены вырученные ею тридцать или сорок миллионов рублей и купил на них у бабы, торговавшей напротив фруктами, два кило слив. Это было всё. Конфекцион помещался на углу Ришельевской и Греческой, пока мы толпою дошли до угла Ришельевской и Дерибасовской, ни слив, ни денег уже не было. Но разрыв между рыночными и твёрдыми ценами был таков, что два железнодорожных билета до Москвы могли стоить меньше двух кило слив.

Во всяком случае, в конце лета в городе появились афиши:

«Прощальный поэзо-концерт
Георгия Шенгели».

Поэзо-концерт — название, к которому Георгий Аркадьевич прибег в основном для сбора? — оно и послужило причиной взрыва. Ор-

ганизатором его стал один из старейших левантийцев, подбивший на борьбу и Багрицкого.

К вечеру был выпущен первый и, кажется, последний номер газеты «Друг искусства». Он начинался передовой под заголовком «Измена». Я помню одну из фраз её. «Это возврат от мраморных колонн Пушкина в москательную лавку Северянина». Северянин был ненавидим всеми нами как олицетворение безвкусицы, даже мной, ещё три месяца назад яростно подражавшим его поэтам. Газета была размножена в количестве примерно двадцати-тридцати экземпляров на пишущей машинке. Для неё не пожалели большой неизвестно где добытый рулон пепифакса. Мальчишки были науськаны. Всё было готово.

Поэзо-концерт состоялся в помещении бывшего банкирского дома З. Л. Ашкенази и начался выступлением артистки Тушмаловой¹. Она, как могла, прочитала «Александрийские песни» Кузмина. Потом должен был выступать ещё кто-то, потом Владимир Нарбут и в конце первого и второго отделения Георгий Шенгели. Но одесские гамены были нетерпеливы и, не дожидаясь дальнейшего, уже во время чтения стихов Тушмаловой, засвистели в четыре пальца, пошли визжать и улюлюкать. С амфитеатра посыпался «Друг искусства». Вскочил и что-то начал кричать Багрицкий, так жестикулируя, что вывихнул себе руку. И сразу стал похож на огромную птицу со сломанным крылом.

Георгий Аркадьевич вышел на эстраду, надеясь стихами успокоить бурю.

Трагические эха Эльсинора!.. —

начал он, но гаменами это было воспринято как северянинщина, и шторм поднялся с новой силой. Тогда в дело вмешался Нарбут и своим надтреснутым, хриловатым голосом мгновенно заглушил разгудывшихся мальчишек.

После этого Шенгели прочитал множество стихотворений, его чтение не раз прерывалось аплодисментами. Вечер окончился мирно, если не считать возникшей уже на улице драки между Багрицким и очень милым и симпатичным человеком, поэтом Ч., который тоже должен был выступать и обиделся из-за того, что его выступление оказалось сорванным.

А через несколько дней на вокзале друзья — и их оказалось немало — провожали Шенгели и его жену. Среди провожающих были Марк Тарловский и я. Классическая муза уже побеждала в наших сердцах фею романтизма.

¹ Гаянэ Аветовна Тушмалова (1892–1971), — артистка, педагог мастер и преподаватель художественного слова, дружившая с Ахматовой, Маяковским и др. поэтами.

Лев Славин

Рассказ о Викторе Шкловском

В Кракове студенты Ягеллонского университета и в Варшаве молодые художники и журналисты просили меня познакомиться их со Шкловским. Я сделал это и наблюдал, как молодые поляки пожимают руку, великодушно протянутую им Шкловским, и смотрят на него с робким обожанием.

И это напомнило мне самого меня в тот момент — в далёком прошлом, — когда я впервые увидел Виктора Шкловского.

Я стоял в коридоре газеты «Гудок» и курил. Вдруг ко мне подошёл Ильф. Он сказал несколько взволнованно:

— У нас в комнате четвёртой полосы Виктор Шкловский. Он предлагает желающим пробовать на нём силу.

Я бросил папиросу, и мы быстро пошли в «четвёртую полосу».

Посреди комнаты стоял и улыбался плотный, широкоплечий человек. В улыбке его было что-то покоряющее. Вокруг молча стояли сотрудники «Гудка».

Шкловский обвёл нас быстрым взглядом, одновременно ласковым и вызывающим, и сказал:

— У меня очень сильная шея. Вот я нагнусь, а вы попробуйте помешать мне выпрямиться.

Действительно, он нагнулся и широко расставил ноги в чулках и в коротких штанах «гольф», что впоследствии дало Ильфу повод сказать: «Из Берлина приехал Шкловский в костюме велосипедиста».

Мы смотрели на Шкловского с застенчивым обожанием. Он был кумиром литературной молодёжи. Мы сходили с ума по его «Письмам не о любви»¹. Анализ «Тристрама Шенди»² и теория остранения были нашей библией. И вот он вернулся в Россию и — такое везенье! — сразу попал именно к нам, в «Гудок», и мы ждали, что он сейчас откроет нам тайны слова, ведомые только ему.

А он, согнувшись, всё тянул к нам голову, уже тогда не лохматую, и повторял нетерпеливо:

— Ну, гните мне шею! Давайте! Ну!

¹ Зоо: Письма не о любви или Третья Элоиза (1923).

² «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна и теория романа (1921).

Один из нас наконец подошёл к Шкловскому. Это был журналист Штих¹, хороший газетчик и тайный поэт (что дало Ильфу повод сказать: «Штих пишет стихи»). Растерянно улыбаясь, он возложил дрожащие руки на затылок Виктора Борисовича. Шкловский молниеносно выпрямил свой атлетический корпус и торжествующе обвёл нас своими быстрыми глазами, которые не задерживаются долго на одном человеке, потому что они в первый же момент постигают его сущность.

Так я впервые увидел Шкловского.

Вскоре я узнал, что он согласился редактировать журнал «Экран», выходящий в издательстве «Гудок».

Виктор Борисович тотчас стал раздавать нам — мне, Ильфу, Олеше — задания. Мне он поручил написать очерк о кондитерской фабрике «Большевик».

Очерк мой Шкловский прочёл с непостижимой быстротой и снял несколько красивых эпитетов. Возможно, что отчасти благодаря ему я избавился от пристрастия к пышным выражениям, к которым несколько склонен был в молодости.

Осенью 1961 года я увидел Шкловского в Ялте. Он тогда напряжённо работал над книгой «Лев Толстой»². Вот несколько записей, относящихся к тому времени.

Шкловский относится к своей славе легко и беспечно. В нём, хотя ему скоро семьдесят, много детского: улыбка, способность удивляться, одержимость. Полное отсутствие взрослой застенчивости. Он каждый день рождается как будто заново. Характер человека обычно складывается в возрасте от пятнадцати до двадцати лет — решительным или скептиком, легкомысленным, отважным, лживым или благородным. Шкловский сложился несложившимся. И в этом — он весь.

Виктор Борисович выделяется в этой среде, как гора, как море, которые окружают нас. Он так обширен и неповторим, как шторм, который в эти дни буйствовал здесь. Разумеется, ничего абсолютно совершенного нет. В горах попадаются провалы, на море — туманы. И всё же море остаётся морем, и гора господствует над равниной, и Шкловский, даже повитый туманом, остаётся Шкловским.

Вчера он зашёл ко мне устало-возбуждённый. Он сказал, что не может сегодня больше работать, но не может остановить работу мозга, и принялся рассказывать — бессистемно и без видимого повода, следуя по, казалось бы, случайным ассоциациям, которые он не давал

¹Михаил Львович Штих (1989–1980), — журналист, фельетонист, поэт.

²Книга вышла в 1967 г. в серии ЖЗЛ.

себе труда упорядочить. И всё же в этом была цельность. И хотя он писал впоследствии: «Я пишу отрывисто не потому, что у меня такой стиль: отрывисты воспоминания», на самом деле у него именно такой стиль, а потому и отрывисты воспоминания, ибо стиль — это человек.

Он сказал:

— Я никогда не решался перейти с Маяковским на «ты».

Я подумал:

«А со Львом Толстым он, по-моему, уже на “ты”».

— Ты мнительный? — спросил я.

— Да! — решительно ответил Шкловский.

Он нездоров. Жалуется на сердце, которое, как он выразился однажды, «звучит, как телефон с небрежно положенной трубкой». (У Олеша другое сравнение: «Сердце прыгает, как яйцо в кипятке».)

Тем не менее он много говорит. Он вспоминает о Гражданской войне. Поразительные по яркости подробности. Олеша сказал как-то: «У Шкловского память гения».

Потом он рассказывал с удовольствием о молодых Толстых:

— Понимаешь, это удивительная четвёрка братьев — молодые, беспутные, весёлые, дружные, образованные, проедали имение с четырёх концов, удивительно талантливая компания.

— А Лев?

— Самый младший из них. Кутила, повеса. Игрок. Они его любили, но всерьёз не принимали. Он единственный из них даже университета не кончил. Чтобы образумить его, они хотели женить его на цыганке. Они не понимали его. Лев ещё дремал. Трудно распознать гения в дремлющем состоянии.

Сегодня вечером соседка за нашим столом, учёная женщина, попросила меня узнать, что думает Шкловский, с которым она незнакома, о фильме «Шесть превращений Пищика»¹, который мы только что смотрели. В это время Шкловский проходил мимо стола. Я остановил его и изложил ему просьбу учёной женщины.

Он начал резкостью:

— Я не привык сервировать на одну персону.

Но потом снизошёл. Наскоро изложил историю увлечения Запада «маленьким человеком». Внезапно заговорил о войне и вдруг свернул на Толстого, что для него совсем не вдруг.

Учёная женщина слушала, оглушённая и восхищённая.

Шкловский ещё погрохотал немножко, потом встал и ушёл, довольный собой.

¹Польская кинокомедия (1960) по повести Ежи Стефана Ставиньского.

Мне нравится Шкловский весь. Мне нравится не только Шкловский книг «Лев Толстой» и «Жили-были»¹, но и Шкловский «Гамбургского счёта»², «Писем не о любви», «Лефа». Словом, я люблю Шкловского в сборе, в комплекте, а не выборочно.

Он понравился мне с первого взгляда, когда в редакции «Гудка» предложил пробовать на нём силу. Собственно, он всегда предлагал пробовать на нем силу. И время от времени находились люди, которые пытались сделать это.

Борис Эйхенбаум сказал:

«Если Шкловский ещё и не классик, то только потому, что он относится к числу не настоящих, а будущих русских классиков».

<Конец 1960-х>

¹Книга вышла в 1966 г.

²Книга вышла в 1928 г.

Руфь Зернова

Скользкая тропа

Ранней весной этого, девяносто шестого, года мне позвонила из Лондона моя дочь. Она работает на Би-би-си.

— Мама, я тебе скажу приятное. Испания объявила, что она готова предоставить гражданство всем тем, кто был в интербригадах во время их гражданской войны. Потому что Негрин обещал... Тогда ещё обещал...

Пятьдесят восемь лет назад. Я ахнула и сказала:

— Как благородно!

(Кому бы я потом об этом ни рассказывала, реакция была одна: рот приоткрывался и — «Как благородно!»)

...Так что, мама, ты напиши туда и... Я сказала, жалея, что придется её разочаровать:

— Ко мне это, увы, не имеет отношения. Я ведь не состояла в интернациональной бригаде. Я просто была переводчицей при русском советнике. Это для тех, кто сражался, в общем, для интеровцев.

— Да? А я думала...

Разговор перешёл на менее политические темы.

Рассказала мужу. И говорю: — Вот, Козьма Прутков так желал быть испанцем, а ты бы мог стать очень просто — через меня. Если бы этот закон и на меня распространялся.

Он задумался — наверное, каждый мужчина желает хоть иногда стать испанцем. Потом сказал:

— Но ведь ты была ранена!

— Да ну, — оттого ранения даже шрама не осталось.

— А ведь был, — сказал он. — Под правой лопаткой.

Шуму тогда было! Ранило переводчицу! Ранило переводчицу! Говорят, опасно! Когда я появилась после госпиталя в Барселоне — точнее, в Вальвидрере, на холмах над Барселоной, где помещался наш советский штаб — штабная дежурная меня спросила, осторожно: «Из сорок второй дивизии? Там у вас, кажется, кого-то ранило?»

Ранение в левое плечо испанцы называли: предлог, чтобы повидаваться с семьёй! А уж моя лопатка даже для этого была бы непригодна, будь я не переводчицей, а обыкновенным бойцом.

Но в госпитале я побывала с этой лопаткой. Берег моря, с незнакомой мне почти белой водой (в нашем Чёрном море вода у берега зелёная), тишина, мягкое ноябрьское солнце... В соседней палате лежал русский лётчик истребитель, нога у него была подвешена, мне казалось, что он должен невыносимо страдать от этого, но он весело мне улыбался и даже шутил, когда я к нему заходила. Нас навещала жена советского посла. Нет, он был, вероятно, не послом, а исполняющим обязанности; последним послом в Испании тех времён был Антонов-Овсеенко, но его давно уже не было. Он, как говорили тогда, «оказался». Под этим простеньким глаголом подразумевались длинные и страшные фразы из обвинительных заключений: троцкистом и иным двурушником, врагом народа, извергом и непременно шпионом одного, а то и более государств.

Фамилия женщины, которая нас навещала, была Федер, она была польская коммунистка. Хорошая она была женщина. Она привозила гостинцы: толстые тёмно-коричневые плитки изумительного горьковатого шоколада. Спрашивала, не нужно ли чего — и явно спрашивала всерьёз. Вообще-то, она во всем была серьёзна: это она, как вспоминают и Эренбург, и Савич, вырывала у разведчика Котова «Краткий курс», когда он перед оставлением Барселоны жёг книги в посольском камине.

Исчезла бедная Федер. Вернулась в Советский Союз — и исчезла в лагерях.

Потом Анна Зегерс рассказывала мне, что польская компартия была совершенно стёрта с лица земли — «сбрита», как выражаются немцы.

Вот такое уж наше поколение. Начнёшь рассказывать о приятном — и тут же, с плитки дивного горького шоколада соскальзываешь в сталинские лагеря. Скользящая это тропа — воспоминания.

Много лет назад, начиная свою третью жизнь, уже после лагеря, я решила, что теперь начну писать и печататься. Раз уж настала оттепель. Аркадий Семёнович Долинин, замечательный литературовед, специалист по Достоевскому, не отступившийся от него ни в сороковые, и вообще ни в какие годы, спросил у Наташи Долининой, своей невестки и моей подруги:

— О чем же она собирается писать? О кандидатах филологических наук?

Наташа обиделась за меня:

— Её жизненный опыт...

— Опыт непечатный! — отрезал он.

На дворе стояла осень пятьдесят четвёртого года. Наверное, ещё и Хрущёв не знал, что будет говорить на предстоящем двадцатом съезде. Наташа молча согласилась, но вспомнила:

— А Испания?

— А Испания — тем более! — сказал он весело.

Аркадий Семёнович был человек ума острого и иронического. У него был свой опыт: он знал, что оттепели кратковременны.

А рассказ — вступительный — про Испанию уже во мне шевелился. И даже название было: «Штришок». Не помню, почему «штришок». Рассказ помню — и так он до сих пор во мне лежит и иногда пощипывает совесть, как невыполненный долг.

А рассказу про мой непечатный опыт — т. е. про лагерь — повезло. Он был написан ещё в лагере, в сущности, записан, потому что был услышан в строю, по дороге на прополку свёклы. Дорога была длинная, 6 километров. «По утреннему свею», так сказать. Рассказчица шла в пятёрке передо мной (мы в строю ходили по пятеро, не по четыре, как военные; старые зэки объясняли, что пятёрки конвою легче пересчитывать).

В конце концов, после долгих мытарств и тщательной редакторской чистки этот рассказ попал в мою первую книгу. Все лагерные концы были тщательно упрятаны в сюжетную воду — но чуткие лагерники сразу во всём разобрались. Я получила письмо от Евгении Семёновны Гинзбург: «Знаю я, знаю, где филологи работают сучкорубами и ходят за шесть километров полоть свёклу».

Про то, что я филолог и была сучкорубом, сообщалось на супер-обложке, как о фактах моей трудовой биографии.

Это что! Тут все прозрачно. А вот я угадала «своего» в Домбровском. Ничего не зная об этом авторе. По первой же его книжке — «Обезьяна приходит за своим черепом». Читала-читала (с удовольствием) и дочитала до того места, где герои разговаривают у костра. Тут я закричала: «Он лагерник!» — Кто? — спросил муж, который тут же за столом писал что-то научное. — Этот самый Домбровский. Вот, посмотри! — и сунула ему книжку. Муж прочёл сцену у костра и сказал, с научной осторожностью: «Возможно».

С Женей Гинзбург мы подружились, и она осталась одним из самых милых мне воспоминаний. С Домбровским так и не встретилась никогда, хотя у нас и были общие друзья. И он так и не узнал, что совершенно нечаянно для себя проговорился в сцене у костра.

Разные в жизни нашего поколения были костры — пионерские, походные, геологические. Но там больше песни пели, чем разговаривали. А если и разговаривали — то не так. Мы, оставшиеся в живых обитатели Архипелага, создали, оказывается, могучую корневую систему и корни наши переплелись, неведомо для нас.

— Вы были в Воркуте?

— Нет, в Озерлаге.

— Слюда?

— Ну, конечно!

— А знали вы там... Валечку Ким?

— Кореяночку? Ещё бы!.. Что-то вроде братства.

Лагерное братство, испанское братство, одесское братство...

Нас тогда в Испании — нас, советских — побывало три тысячи, а сейчас осталось, кажется, шестьдесят. Эти цифры дошли до меня совсем недавно. Всего шестьдесят человек!

Несколько раз я встречала интеровцев из других стран в этой моей, четвёртой жизни, когда мы с мужем, став израильянами, стали ездить по свету. Одного интеровца встретила в Итаке, другого — в графстве Салливан. Того и другого — на севере штата Нью-Йорк.

Который в Итаке — бывший коммунист. Из Южной Америки. По призыву своей компартии — не то Колумбийской, не то Аргентинской — уехал сражаться в Испанию. Оставался там до конца и вернулся убеждённым антикоммунистом. Потому что ему случилось присутствовать при распределении сигарет — это был тогда большой дефицит. И тут он воочию увидел неравенство. Офицеры получали больше солдат, а штабное начальство ещё больше, чем офицеры.

Пятьдесят лет прошло с тех пор, а он все не мог этого забыть, хотя и сам над собой посмеивался. Он стал специалистом по истории Южной Америки; знал местные языки, обычаи, предания. Когда я щегольнула единственным, что знала об этих народах — «но они ведь не знали колёса!» — он усмехнулся и сказал:

— Вот-вот, европейцы сразу же начинают говорить про колёса. Да, действительно, колеса у них не было. Но у них была высокая культура и без колеса, поверьте.

Пришлось поверить в бесколёсную культуру, уж очень мне понравился её защитник.

А другого интеровца, которого я увидела тут, в графстве Салливан, я узнала по имени. Его звали Бернад, он был поляк. Имя «Бернард» я очень часто слышала там от Стеллы Алейниковой, нашей, университетской, что была переводчицей в тридцать пятой дивизии. Я осторожно спросила его:

— У вас в дивизии была переводчица?

— Стелла! — сказал он немедленно. — Замечательная девушка!

— Она тоже о вас очень хорошо говорила. Он обрадовался:

— Правда?

— Правда.

Я могла бы сказать, что ни о ком она столько не говорила. И это тоже было бы правдой.

И тут я должна, по всей справедливости, рассказать про Карлоса.

В последнюю мою ленинградскую зиму зачем-то мне пришлось зайти в Европейскую гостиницу. Перед портье, как всегда, скопилась

немалая очередь; я смиренно встала в конец. И вдруг услышала голос, который, оказывается, помнила все эти десятилетия.

Я вскрикнула: «Карлос»!

Это был он.

Ещё два десятилетия прошли после этого. Я думаю, я и сейчас этот голос узнаю, даже если он переменялся. Сердца дряхлеют от счастья и славы, а голоса — от возраста. Обладателю этого голоса сейчас за восемьдесят, если он жив.

И что такого особенного было в этом голосе? Никакого баритонального бархата, обыкновенный мальчишеский, с некой, как говорили в Одессе, «жлобоватостью», с хрипотцой, одним словом. Не заслушаешься.

А я вот заслушалась и влюбилась сразу. В голос. И по прекрасному тогдашнему обычаю стала изо всех сил скрывать эту влюблённость. И по сей день ему не проговорила, вот до чего высоки были наши моральные устои. Думаю, что кое-кто об этом догадывался, но он — нет!

Все это произошло в Каталонской деревне Гранаделья, в двухэтажном доме (в первом этаже в деревнях живёт домашний скот — мулы и проч.), где размещался штаб третьей дивизии. Туда я прибыла накануне ночью в качестве переводчицы при нашем русском советнике.

...Советник меня ждал, несмотря на поздний час. Маленький, чёрненький, похожий на испанца.

— Я ваш хефе, — сказал он.

Хефе по-испански значит — начальник, шеф. Он был, конечно, не испанец, а украинец, по фамилии Якименко, а по псевдониму Яровой. Кто дал ему эту фамилию? Да ещё имевшую для нас «белогвардейское» звучание: мы помнили драму Тренёва «Любовь Яровая»! Но человек он был спокойный, не склонный к авантюрам, как его театральный однофамилец и, судя по всему, тактичный и опытный. Испанцы его уважали и называли по имени: Басилио! Что означало — Василий.

Все это выяснилось потом, а встретив меня, он приказал мне отдыхать, сколько получится. Иными словами — отсыпаться. Я отсыпалась долго и, конечно, не вышла к общему завтраку, опоздала.

Сидела совершенно одна на большущей веранде и пила кофе. Как мне показалось — из полоскательницы. Через несколько лет я увидела, что именно из таких полоскательниц пьют чай в Узбекистане и называются они там «пиалы». Из-за занавески вышел паренёк в хаки, по виду русский — скуластое лицо, русый ёжик, светлые узкие глаза и сказал мне приветливо:

— Ке апровече!

Что по-испански значит нечто вроде «приятного аппетита». Но я услышала русские слова: добрый вечер. Вот этим самым «жлобова-

тым» голосом, который я пыталась описать. Я решила, что он намекает на моё позднее появление за завтраком и объяснила ему, по-русски же, что поздно приехала накануне и потому... Он слушал, не перебивая, потом осыпал меня каскадом испанских слов, в котором я сумела отличить вопросительную интонацию. Потом засмеялся, попросился и ушёл.

Это и был Карлос! Комиссар нашей дивизии, мадридский каменщик, сын наборщика-социалиста, а сам коммунист. В этой дивизии две бригады из трёх были коммунистические, и одна — анархистская. Полное имя Карлоса было Карлос Гарсия Фермин. Гарсия — фамилия отца, Фермин — матери.

Как уже было сказано, я в него влюбилась — тайно. Тайно — не потому, что он был иностранец, и не потому, что так полагалось по тогдашним правилам любовной игры (в лето между восьмым и девятым классом, обсудив этот вопрос с лучшими подругами, мы решили что он должен добиваться, а она должна казаться равнодушной), а потому, что Карлос вскоре показал мне маленькую фотографию хорошенькой брюнетки с надписью на другой стороне: «а ми Карлос су Пакита». То есть «моему Карлосу его Пакита».

— А где она сейчас?

— В Мадриде, конечно. Это моя девушка. Которая любит меня.

Ещё бы!

Так я таилась месяца три, а потом нас поменяли местами с моей подругой Людой Черник, и я увидела Карлоса только зимой, в Москве тридцать девятого года. Он был в числе тех испанцев-коммунистов, которые эмигрировали в СССР, а не в Мексику. Я получила от него письмо. Помню оттуда фразу, написанную по-русски:

«Отчень, отчень трудний».

Он работал на Коломенском заводе. И с удивлением рассказывал мне:

— Они (рабочие) спрашивают меня: а в Испании есть коровы? Ну, что это такое? Я им говорю: есть, конечно, и коровы, и овцы тоже. Ну как же это можно? Ничего не знают, просто ничего. Не только про Испанию, вообще ничего!

Русский пролетариат тридцатых годов поразил его своим невежеством. Он такого не ожидал. Это было первое крушение иллюзий. Хотя он пережил в том же тридцать девятом году кое-что пострашнее. Во время отступления погибли командир и комиссар анархистской бригады.

— Ты их помнишь, да? Так вот: их расстреляли. По приказу командира корпуса — помнишь его? Он, по-моему, с ума сошёл — я иначе этого объяснить не могу. Ты же их помнишь. Прекрасные товарищи,

верные, сражались с нами рядом. И на Эбро — все рядом, рядом... И умерли с криком: Да здравствует Республика! Как ты думаешь, командир корпуса сошёл с ума? Ну, скажи, что ты думаешь?

— Подожди! Когда же это было? Где?

— Ах, я не сказал тебе! Когда уже отступали, после всего... После Фигераса... Уже до Франции оставалось два шага. Ну? Может нормальный человек отдать такой приказ?

— Не может! — сказала я твёрдо.

Зима тридцать девятого года. Декабрь, вероятно. Лютая зима. Уже идёт настоящая война — незначительная! — в Финляндии. И на Западе идёт «Странная война» — объявленная, но сразу же заколоченная до весны. Кончилась у нас ежовщина, и слово это получило в языке официальную прописку, а суффикс означал бесповоротное осуждение. И указывал на некое пренебрежение даже. Виновник найден, всё миновало, и даже кое-кто вернулся, как наш уважаемый профессор, о котором нам сообщили, что его фамилия не Берков, а Беркофф и он — резидент австрийской, кажется, разведки. Уже пошли анекдоты и забавные воспоминания.

Осенью тридцать девятого года мы возвращались из Одессы в Ленинград — к началу учебного года. Мы с моей подругой Ниной Сигал — впоследствии Жирмунской, — ехали в одном купе с Марьей Лазаревной Тройской, известной германисткой, доцентом ЛГУ. Она рассказывала, со своей неистребимой одесской интонацией:

— Вот, вообразите себе! Зима тридцать восьмого года. Два часа ночи. Стефан Стефанович работает. У него завтра доклад на учёном совете. (Профессор Стефан Стефанович читал у нас Западную литературу) И вдруг... И вдруг — звонок в дверь!

Пауза.

Жена добежала до двери раньше, она же тоже не спала по ночам.

— Кто там?

И она слышит: «Телеграмма!» Пауза.

Так что вы думаете? Это таки была телеграмма! Как мы хохотали! Как уже смешно все это казалось!

Миновало, всё миновало. Прямо по Марксу — человечество смеясь расстаётся со своим прошлым. Хоть и совсем недавним. В Испании кто-то из военных получил письмо от секретарши Наденьки: «грипп свирепствует — спасенья нет!» Все улыбались понимающе. Потом один из начальников сказал в перерыве после какого-то обсуждения: вот мы тут сидим, обсуждаем, а может, там нас уже посадили? Было о чем подумать. И вдруг пришло известие о назначении Берия на место Ежова. И помнится, все обрадовались. Увидели в этом перемену к лучшему. Даже мой отец, как я услышала дома, говорил, по Ильфу с Петровым, что Берия — это голова!

Только в марте он опять начал беспокоиться, когда сняли Литвинова. «Это значит, что меняется политика!» — объяснял он нам. И это его тревожило. «С Англией, с Англией надо мириться!» — говорил он.

Когда Англия летом прислала к нам Стаффорда Скриппса, он опять начал надеяться. «Скриппс — это очень серьёзно!» Вижу и сейчас выражение лица его с приподнятыми бровями и указательный палец поднят: «Очень серьёзно!» И печалился, когда Скриппс уехал ни с чем.

...Одесса тридцать девятого года, одесское лето. Мы гуляли по бульвару с Ахиллом Левинтоном, и он объяснял мне, что такое были предыдущие две зимы:

— По три урожая сняли с каждого обкома, понимаешь? По три состава. Первых — за то, что делали революцию. Вторых — за то, что знали, кто делал революцию. Третьих — за то, что знали вторых. И все — канули. Без права переписки.

— Сумасшедший дом, — сказала я.

— Закономерность, — сказал Ахилл. — Знаешь, что сказал Верньо? Ну, известный жирондист Верньо, неужели не помнишь?

Я сделала вид, что помню.

— Он сказал: «Революция, как Хронос, пожирает собственных детей».

И потому, когда Карлос говорил мне, что командир корпуса сошёл с ума, потому что иначе его действия объяснить нельзя, я с ним согласилась. Я не могла ему сказать того, что я думала. Потому что думала — это был приказ Москвы. Которая всё это время жила по Хроносу.

Ему и так хватало впечатлений — от русского пролетариата, например, который сомневался, есть ли в Испании коровы. И он, скорее всего, ещё не знал о Хроносе, и надеялся, и сохранял иллюзии социализма.

Но к семьдесят шестому году, когда я услышала его голос в гостинице, и окликнула его: «Карлос!» — и он обернулся, и назвал меня по имени, по-моему прежде чем узнал, — иллюзий у него уже не оставалось.

Он пришёл к нам. Это был наш последний год в Советском Союзе, но я ещё этого не знала. Он рассказывал о себе: работает, женат, есть дочка замужем, они с женой три года прожили на Кубе, видимо, делясь своим испанским опытом. А в Испанию, когда туда стали выпускать из Советского Союза испанцев-эмигрантов — в Испанию его не пустили. Кто-то из этих реэмигрантов, которых Испания впустила, совершил там что-то ужасное, был пойман и назвался его, Карлоса, именем.

— Жену пускают, а меня нет. И рассказывают ей, что я, мол, там был и натворил такое... Она говорит: мы уже столько лет живём в Москве, и он никуда не уезжал. Кто же со мной спал все эти годы? Не

поверили ей, конечно. Может, тот человек себя этим и спас. Но мне дорогу закрыл.

Он уже был вполне свой, всё понимал, да и иллюзии подсохли.

— Моя жена... — начал он.

— Пакита?

— А ты помнишь Пакиту? Нет, Пакита осталась в Мадриде, я её так больше и не видел.

— Но испанка?

— Ну, конечно. Вот кто всё понимает. Когда мы собирались на Кубу, я смотрю — она чего-то там отдельно откладывает для своего чемодана. Я посмотрел. И что я вижу? Мыло — много мыла, особенно для стирки. Нитки — белые, чёрные, катушек двадцать, наверное, иголки, чай — она любила этот, со слоном, так я и сосчитать не мог, сколько пачек. Ещё что-то — уже не помню. Я её спрашиваю: Мария, что это такое? Она отвечает:

— Садись, поговорим.

Ну, сели мы. Она спрашивает:

— Мы едем на Кубу?

— Ну, конечно, ты ведь знаешь, что на Кубу.

— А Куба строит социализм?

— Да, конечно, ты же это знаешь.

— Так чему же ты удивляешься? Потому я и хочу всё это взять с собой.

Мы все очень весело смеялись. А когда отсмеялись, он сказал:

— А самое главное, что всё понадобилось. И нитки, и мыло, и всё.

Теперь ему можно было рассказать и о том, что мы собираемся в Израиль. Он сказал:

— Там, наверное, есть люди, которые говорят по-испански. Не думай, я знаю, что говорю. Один мой друг ездил в Болгарию и рассказывал — там есть люди, которые... ну, которые когда-то... которых когда-то изгнали из Испании. Ты знаешь, как это было? При инквизиции. Тогда же, когда мавров изгнали и когда Колумб Америку открыл. Всё в один год. Знаешь? Так вот, потомки этих людей... Из Толедо. Они жили в Болгарии и говорили на испанском. На старом, прекрасном испанском, на языке Дон-Кихота. И у них... у них был ключ — вот такой громадный ключ — от их дома в Толедо. Ключ — это, конечно... Но язык сохранили, вот ведь что! Столько лет — и помнят. А знаешь, в Толедо ведь до сих пор есть Пласа Худия. Там тоже помнят.

Пласа Худия — значит Еврейская площадь.

В Иерусалиме в один из первых дней мы зашли в маленький магазин на углу и купили мне платье — оно и сейчас у меня есть. Продавец — а может быть, хозяин магазина, нестарый человек вполне местного вида, плотный, темноволосый, темноглазый — пытался разговорить-

ся с нами на иврите, потерпел неудачу, прислушался к нашей речи, потом негромко сказал женщине, возникшей откуда-то из глубины:

— По-моему, это русские. Он сказал это по-испански.

Нет, он не был болгарин. Он был из Югославии. Он объяснил мне, что язык, на котором они с женой разговаривают, называется ладино.

— Ну, конечно, это испанский — но, кажется, есть какие-то различия. Вот вы говорите — в Болгарии. А я встречал — тут уже — евреев из Турции, они тоже говорят на ладино. Или они были из Греции? Да, в общем, какая разница. Евреи, которые из Испании в Турцию ушли. А потом расселились, по Турецкой империи.

— И сохранили язык?

— Наверное, не все сохранили. Но вот, наша семья. И моей жены семья. И вообще многие. У вас идиш, у нас испанский.

Вот такой урок с географией.

Может, и в их семье сохранялись ключи от испанского дома?

Я бы написала Карлосу об этой встрече — он бы обрадовался. Но написать из Израиля? Он и так иностранец. Могли у него быть из-за этого неприятности? Могли.

Так и не написала.

Через несколько лет — нескоро! — мы побывали в Толедо. Действительно, там есть Пласа Худиа. Толедо — город Эль Греко. И он написал вид Толедо — странный, волшебный вид города в тумане.

— Там тоже помнят, — сказал Карлос. Словно хотел реабилитировать свою Испанию.

А по-моему это уже сделано. И сделал это Франко. Почему бы это ни произошло. Кто-то из еврейских — виновата, израильских — гидов, объяснял с сарказмом:

— Конечно, он сделал это не бесплатно!

А даже если? Другие не сделали этого ни за какие деньги.

Я говорю о том, что было сделано во время войны.

Когда вся Франция превратилась для евреев в капкан, Франко открыл для них свою границу.

Ида Шагал, через много лет, с отвращением рассказывала про непочтительное отношение к ней испанского таможенника. Мы, слушавшие её рассказ, разделяли её чувства.

Но этот самый таможенник впустил её в Испанию. Иными словами спас ей жизнь. А то, что испанский — вероятно, каталонский — таможенник не знал, кто такой Шагал и, тем более, его дочь — это, я думаю, можно ему простить. Таможня — не лицей и не средоточие хороших манер. Даже испанская таможня.

Правда, на нас испанские таможенники произвели самое отрадное впечатление. Когда мы выгрузились из вагонов в Сербере, на той же

самой франко-испанской границе, несколько весёлых таможенников со смехом ставили мелом совершенно одинаковые кресты на наших совершенно одинаковых чемоданах. Чемоданы входили в нашу московскую экипировку, так же как серые костюмы и шляпы для эскадрильи лётчиков, прибывшей вместе с нами. Это был тридцать восьмой год, когда московские грузы на испанской границе не проверялись.

А мы — переводчицы — были еврейками. Почти все. Букет библейских имён: Юдифь, Эсфирь, Руфь и Лия. Нас это веселило. В Испании Эсфирь стала, конечно, Стеллой (оба имени в переводе на русский означают «звезда»), Юдифь — в просторечии Юлька — стала Хулией, а для итальянцев Джульеттой, Руфь — Ритой. Лия как была Лией, так и осталась.

Почему так много было евреев среди переводчиков, и тогда и потом? Хорошо забытый теперь Вейнингер объяснил бы это женственностью еврейской нации. Бедный Вейнингер, бедный еврейский мальчик, испугавшийся того, что он написал (великолепно написанная и великолепно переведённая на русский язык книга, изданная Рапопортом, отцом советского кинорежиссёра!), и покончивший с собой в двадцать три года.

Игорь Михайлович Дьяконов, востоковед, академик, мудрец, объясняет это тем, что евреи все поголовно грамотны в течение трёх тысяч лет. Кстати, еврейских женщин это определение не охватывает. Они не были поголовно грамотны ни в какую эпоху.

А я так думаю — генетическая привычка. Иосиф и его братья уже неплохо объяснялись с египтянами в самом начале этой длинной истории.

В этой истории, в центре второго её тысячелетия, стоит Испания. Сыгравшая в жизни последующих поколений не меньшую роль, чем Египет. Только противоположную, прямо обратную. Из Египта евреи ушли сами, хоть и плакали о брошенных там котлах с мясом. У них был Моисей, и Синай, и Тора — много чего произошло за их сорокалетнюю дорогу домой. А из Испании, которую они любили не только за горшки с мясом, они были изгнаны, и вместо Моисея тут дело решил Торквемада с Фердинандом и Изабеллой. И тут мы вступаем в такую тьму мифов, преданий, толков и исторических сведений, что эти полтысячелетия от Колумба до ленинградских самолётчиков — Кузнецова и Дымшица — превращаются в эсхатологический эпос (простите за такие слова).

Но они любили Испанию. Этому есть всего одно доказательство, но решающее: язык.

Они любили его так же, как мы любим русский. И сохранили его — подумайте. Полтысячелетия. К преданию о хранимых ключах

от толедского дома люди относятся недоверчиво: да-да, слышали, слышали, слышали.

А язык?

Недавно тут, в Америке, в прачечной я встретила женщину, которая разговаривала с сыном по-испански. Я спросила:

— Откуда вы?

— Мы из Эквадора. А вы знаете Эквадор?

— Да нет, — говорю, — не знаю. Я, вообще, Южную Америку не знаю. Я только Испанию знаю.

— Но мы говорим на одном языке, — радостно сказала женщина.

И я тоже обрадовалась. Очень это приятно — говорить с другим человеком на одном языке.

Из каких она? Кто её предки? Завоеватели или изгнанники? Но и здесь, в Штатах, она говорит с сыном — а сыну лет пятнадцать — по-испански.

Не стесняется.

Забуть не могу: лет пятнадцать тому назад услышала я от вполне интеллигентного «нового американца».

— А я и не хочу, чтобы мои девочки знали русский язык. — Девочкам было четыре года, они были близнецы, ходили в американский детский сад и уже лепетали по-английски. — Пусть будут американки. И пусть ничего не знают про Ту страну.

И такую горькую обиду я услышала в его словах, что и не спросила ни о чем.

Но — одно наблюдение: среди американцев-славистов многие — русского происхождения.

Нет, не сами, конечно. Они уже почти что старые американцы. Ну, не «воспы», разумеется, но все же. Третье, а то и четвёртое поколение.

— Бабушка моя была из-под Киева. Из этой... Белой Церкви. Уайт черч.

Или ещё что-нибудь в этом роде. За океан искать счастья уезжала провинция. Про московских, а тем паче про петербургских бабушек я не слыхивала.

Может быть, и эти слависты в детстве слышали русскую речь, в её местечковом изводе? Бруклинские интонации идут оттуда же, из общего корня.

Мы, мы стали «бабушками из Москвы», «бабушками из Ленинграда». Мы ринулись в открытые двери. Не за счастьем — всё, что могло сбыться, сбылось в прожитой жизни. За детьми, а больше — за внуками.

Как правило (не без исключений), дети и внуки куют своё счастье в каменных джунглях Америки. Бабушки и дедушки остались на Святой земле и в этом году все как один отдали свои голоса Биби Натаниягу.

Приезжайте к нам в Рамот, послушайте, какая там вкусная русская речь. Храним.

У каждого своё Толедо.

Когда я была в Испании, Испании я так и не видела. Даже Мадрида не видела, хотя он и был в руках республиканцев. Республиканская — «Красная» — Испания была разделена — разорвана на две неравные части. Это произошло весной 38-го года. И наши мальчики (девочек туда уже не направляли) служили главным образом в «Эхерси-тодель Сентро» — в Центральной армии и в Мадриде. И их доставляли туда, — можно сказать, над головами франкистов — на боевых самолётах.

Но в нашей третьей дивизии Мадрид был представлен, да ещё как! Мадридский сленг (интересно, знают ли сегодня в Мадриде, что такое «ла чупа», «ла трайя»?), мадридские песенки («Пиччи», «Марикита») — много лет ещё мы распевали на наших ленинградских застольях. Давид Прицкер, думаю, до сих пор не забыл свою коронную «Марикиту». Ещё была песенка «Росио»; говорят, что в газетах было объявление «Ищем служанку, которая не поёт “Росио”».

Была в штабе у нас дежурная шутка: «каха д'муэрто». Звучала как одно слово. Я поняла — гробик, домик мертвеца. Не поняла, что тут может быть смешного. У кого-то в руках я наконец увидела крошечный гробик, но мне в руки его не дали: нельзя! Карлос пытался мне объяснить, почему нельзя, но так и не сумел: сразу начинал смеяться. Однако, моему хефе, «Басилио», показали. Он мне потом говорил: да ничего, ничего уже такого особенного. Ну, гробик, ну, в гробике скелет лежит. А когда крышку поднимаешь... — И начинал хохотать. На этом кончалось объяснение.

Я понимала — что-то неприличное происходит, но что?

Наконец я пошла спрашивать к девушкам на кухне — они не только готовили, но и подавали, убирали, мыли посуду. Кажется, они жили в этой деревне и ночевали каждая у себя дома. Когда я их спросила, они захихикали. Но самая старшая сказала:

— Глупости все! Чего тут смеяться, не понимаю. Подынешь крышку, а там скелет. И вот у этого скелета эта самая штука поднимается. Понимаешь?

Я сказала, что понимаю, хотя не очень поняла. До понимания мне оставался ещё целый год.

После обеда мы с моим хефе отправлялись по бригадам смотреть, как они настроены морально. Василий уже и сам умел задавать это вопрос: «Комо мораль тропас?»; нам объясняли, что мораль отличная. В долине, между двумя холмами, шла подготовка к форсированию реки, как в детской игре: одни делали вид, что гребут, другие — что бросаются вплавь и соответственно махали руками.

Но однажды ночью началось.

Об этом через небольшое время даже была сложена песня. С двумя припевами: грозным — бомбара, бомбара, бомбара, бомбара, бам — и лирическим: Ай, Манола, ай, Манола! Вот вам первые строки в моём непоэтическом переводе:

Армия Эбро } 2 р.
Бомбара и т.д. }
Ночью реку перешла } 2 р.
Ай Манола, ай Манола }

Следующий куплет, про ужас предателей, так и рычал испанским rrrr:

ЭльтPPPPoP де лос тPPPAйдоPPPэс...

Внезапность была. Но уже через день военачальники стали беспокоиться, что войска не «развивают успех». И правда: они остановились. Или были остановлены.

— А я так и говорил! — утверждал мой последний по времени хефе, моряк-штабист. — Я ещё на совещании говорил, что эта операция опасна. Надо было начать операцию на юге! Она бы оттянула войска туда. А тут мы сами призвали сюда противника, и он на наших плечах нас вытеснил. Но меня не послушали!

Так или иначе закончилась операция на Эбро отступлением к французской границе. Действительно ли предупреждал об этом мой начальник-моряк? Кто знает. Русский мужик задним умом крепок. Не зря эта пословица теперь почти забыта — уж очень она обидная.

Я из всей этой ночи помню темноту, плеск вёсел и выстрелы где-то далеко. А ярче помню, из этой же темноты, что мы едем к реке в машине, и я сижу в середине и с одной стороны кто-то, наверное Василий, но это совершенно не важно, а с другой — Карлос. И Карлос берёт меня за руку и говорит: «Рита!» И так мы едем минуты две, а потом он останавливает машину и пересаживается в другую, что шла позади, и перегоняет нас, и я понимаю, что это больше никогда не повторится.

Другое воспоминание — следующий день. Я сижу за спиной у мотоциклиста, который везёт меня в занятую ночью деревню. Там будет наш штаб. И мы едем, и ветер, и холмы, которые раньше я видела только через тёмно-жёлтую речную воду — вот они тут, под колёсами, эти холмы, только что недоступные, а теперь... И чувство радости от всего этого, и от быстрой езды — тоже. И оттого, что я вижу себя со стороны — такую девятнадцатилетнюю, отчаянную, с развевающимися кудрями (обязательно кудрями). Через какие-то книжные строчки — может быть, те, которые сейчас печатаю?

А потом мы с мотоциклистом стоим посреди комнаты, где я буду отныне жить — такой же, как та, в Гранаделье, которую я сегодня навсегда покинула. Под кроватью он замечает что-то, наклоняется, вытаскивает. Чемодан! Он открывает его и сразу же захлопывает крышку. Как-то испуганно, даже понизив голос, говорит мне:

— Платья! Женские платья!

Я даже заглянуть туда не успела. Но что пронеслось в моей голове, помню до сих пор:

— Он даже не подумал, что их можно взять себе. Он даже не... А у деревенской девушки сколько платьев — целый чемодан! Какие, интересно? Но, значит, их нельзя взять!

Ему-то даже в голову не пришла мысль о мародёрстве.

Эти виденья тускнеют от времени. И вообще я лучше слышу мир, чем вижу его, поэтому воспоминания такие. Вот ещё одно, звучащее из следующей ночи. Какой-то холмик, два матраса на нём, чуть поодаль от других. На одном я, на другом — Василий, мой хефе. И какие-то звуки, довольно частые, тонкие, как свист, непонятные. Я спрашиваю:

— Кто это вот так делает, слышишь? Цви, цви. Птицы какие-нибудь?

— Это не птицы, — говорит он. — Это пули.

Я почувствовала себя польщённой. Настоящие пули!

По-моему, это было именно то чувство, которое я испытала. Помню разговоры о женской храбрости. Начальник штаба, Кондес, вскоре погибший во время артиллерийского обстрела, сказал:

— У женщин это не храбрость. Это незнание опасности.

Это был страшный артиллерийский обстрел. Меня уже там не было. Я была ранена (очень легко) во время предыдущего. Помню раскатившийся гром взрыва, и темноту, и крик командира дивизии, Манолина: «В убежище, Рита!» Он схватил меня за руку и потащил туда. Потом кто-то отвёз меня в Барселону. А на моё место прислали мальчика с нашего курса, его фамилия была Соловейчик. Он мне и рассказал, как это всё было. Манолин был убит сразу, Кондес, ещё живой, кричал: «Меня убили!»

К тому времени уже были пленные. Их отправляли для допроса в штаб корпуса. Об одном таком допросе мне рассказывала моя подруга Нина Бутырина: она там была переводчицей:

— Я не очень хорошо понимала. Коронеля («коронель» — по-испански значит полковник, и мы это слово в разговорах не переводили) ещё понимала, а пленного... Он так быстро-быстро говорил... Но могу сказать: он оскорблял его!

— Кто — кого?

— Пленный — коронеля. Мне даже показалось, что они откуда-то знали друг друга раньше. И вдруг коронель хватает револьвер — у

него на столе справа лежал револьвер — и стреляет... Тот падает. Я... Мне стало нехорошо, меня увели.

Имя коронеля я помню, но не хочется его называть. Когда я потом вспоминала об этом, то думала: тот пленный вёл себя как испанец: бросать оскорбления в лицо вооружённому врагу — это испанский характер.

А сносить оскорбления? Какой испанец смог бы?

Вот такая война.

Лет двадцать спустя Альберто Моравиа, которому я показывала «Достоевские места» в Ленинграде, говорил мне:

— Страшная вещь гражданская война. Нет ничего страшнее.

Подумал и сказал:

— А вообще-то это — единственная война, которую стоит вести.

Среди многих определений — что же такое интеллигент — есть и это: «Человек, умеющий смотреть на вещи не только с одной стороны».

А Моравиа, конечно, интеллигент. И, возможно, прав в своём определении Гражданской войны. Но я с ним согласиться не могу. Я родилась в гражданскую войну, в незабываемом девятьсот девятнадцатом, да и потом на моей родине она не стихала ещё лет тридцать пять. Нет, не могу с этим согласиться.

Определение интеллигента, как человека, умеющего видеть вещи с разных сторон, принадлежит известному востоковеду, Игорю Михайловичу Дьяконову. В прошлом году он выпустил интереснейшую книгу. Она называется «Книга воспоминаний». И в ней он, потомственный интеллигент, вопреки нынешней моде не только не поносит свой класс (это давно уже класс, а не прослойка), но говорит о нём с достоинством и уважением. И даже утверждает, что интеллигент не может быть фанатиком. В этом он близок к тому определению интеллигенции, которое сейчас прочно забыто: «мягкотелая интеллигенция».

Увы, она не только мягкотелая. Есть своя, и немалая пропорция фанатиков и тут. Партийных и антипартийных. И в России они есть, и в Израиле. И в Испании с обеих сторон они были.

В конце декабря я уже работала в Барселоне. Каждый день приходили сводки с Эбро: разгорались бои. Интербригады покинули Испанию. С ними прощались торжественно и нежно. Может быть, тогда и обещал премьер-министр Негрин, что все эти люди, сражавшиеся бок о бок с испанцами за Республику, получают в ней гражданство? Не помню. Помню ночь, когда оставляли Барселону: тесное от людей и машин шоссе — и всё-таки тихо. Утром мы увидели деревья вдоль шоссе, покрытые нежно-розовыми цветами. Миндальные деревья. Они проводжали нас до самой французской границы.

Был февраль тридцать девятого года. Двадцать лет мне исполнилось в Париже.

В Ленинграде читали газеты, слушали радио и ждали нас. Обновлённых. Одетых во всё заграничное. А главное — с орденами. Потому что до сих пор переводчицы возвращались из Испании с орденами Красной Звезды, все как одна. И среди них была Ляля Константиновская, самая легендарная из всех, потому что там она вышла замуж за знаменитого кинооператора Кармена. Брак был расторгнут очень скоро — но всё-таки! Она была похожа на булочку: очень маленькая, очень беленькая, очень сдобная, с детскими карими глазами. Мужчины сходили с ума, но она была добродетельна — это было общеизвестно. Совсем недавно мы узнали из опубликованных писем Шостаковича, что и он был в хороводе её поклонников.

Историю другой переводчицы — Ани Петровой — мы узнали гораздо, гораздо позже. Её отец был знаменитым в Ленинграде хирургом. Она тоже вышла замуж в Испании — за русского советника, своего хефе, полковника (или комбрига?) Горева. Горева посадили сразу после возвращения на родину. И тут произошло самое невероятное: Петров сумел его выхлопотать. Он стал у него на даче садовником — где-то в стороне от Ленинграда, надо думать.

Была ещё Шурочка Шварц — маленькая, весёлая, быстрая. Много позже, в пятидесятых годах, она вспоминала одного из самых прославленных военачальников Отечественной войны: «Фрицынька! Его все так любили!» Это был генерал Батов. Я его увидела на съезде участников испанской войны — маленький, сухой, с глазами навывкате. Гардеробщик говорил, прямо замирая от восхищения, что пришлось такому шинель подавать: «Генерал армии!» А его, оказалось, и правда все любили. Морис Слободской в самом начале тридцатых годов проходивший службу в его воинской части, тоже это помнил. Только не называл его «Фрицынька». Фрицем он был только в Испании!

Все эти переводчицы-орденоносцы были нашими учительницами на краткосрочных (три месяца) курсах испанского языка, где мы учились перед отъездом. Они были необычайно сдержанны, даже по тем временам, когда все научились держать язык за зубами. Они не рассказывали нам ничего. Они только учили нас переводить военные сводки. Гражданскому языку нас учил низенький перс, которого вдруг выслали на родину, и он растерянно говорил нам: «А что я там делать буду? Я же даже языка не знаю».

Видимо, он сохранил персидское гражданство.

И каждый день мы переводили сводки с испанского и на испанский. И наши учительницы обо всём прочем молчали. Мы уважали их молчание. И удивлялись, почему Аня Петрова такая печальная. И молча восхищались их заграничными вещами.

Мы тоже возвращались приодевшимися. Но без орденов. Передавали, что чуть ли не сам Ворошилов сказал: проморгали Испанию, за

что же ордена давать. Возможно, он сказал покрепче, но до нас это высказывание дошло именно в такой редакции.

О том, что я не получила ордена, больше всех жалел Алексей Алмазов, к тому времени уже окончивший университет, а перед отъездом подтягивавший меня по романской филологии. Он был обижен: «Я всем говорил — Руфь с орденом будет “хлопский круль”». Он и тогда уже был одним из самых гуманитарно образованных людей, каких я знала — и таким и остался поныне. А я так до сих пор и не знаю, что такое «хлопский круль».

По-моему никто из нас особенно не «переживал» из-за того, что орденов не дали. У меня было смутное чувство несовместимости: я — и орден?! Вообще к наградам — весомым и зримым — я жизнью приучена не была. Не было у меня отличного аттестата, не было повышенной стипендии, не было в прошлом никаких выборных должностей после того, что я была старостой в первом классе трудовой школы № 58 в городе Одессе. Куда же мне орден? Я не... в общем, я не такая. Хотя и не отказалась бы.

У меня было другое — другое разочарование. Можно ли так сказать? Не знаю. Не произошло то, чего я ждала — ожидала все эти месяцы в Испании.

И тут я должна рассказать то, что когда-то назвала «Штришок».

В мае 38-го года (как потом выяснилось, перед самой отправкой в Испанию) я взяла на курсах отпуск. На шестидневку (тогда были шестидневки, не недели). Недели нам вернули в 40-м году, и насколько я помню, никто этому не радовался.

Так вот, я взяла отпуск и поехала в Одессу прощаться с родителями. И пофасонить перед бывшими одноклассниками, что вот уезжаю в командировку во Францию. Говорить про Испанию нам было строжайше запрещено. Когда я приехала обратно, оказалось, что тут побывала комиссия, сделала отбор, кого отправлять, и я в их число, естественно, не попала, поскольку меня не было на месте. Я кинулась к Тане Вановской. Она была старше меня на два курса и на три года. Жила в общежитии, на том же этаже, что и я. Училась на французском отделении. Училась хорошо и старательно: по её конспектам весь курс готовился к экзаменам. Несмотря на старательность, была в ней большая прелесть. Настоящий шарм — или, если хотите непременно по-русски, — очарование. Маленькая, худенькая, не слишком хорошенькая — её лицо портил какой-то расшлёпанный рот — она нравилась почти сразу: у неё был весёлый ум, непринуждённое остроумие, счастливое чувство юмора, порою направленное и на самоё себя.

Притом она была комсоргом курса, и чувство юмора ей не мешало — ни в тридцать четвёртом, ни в тридцать седьмом, ни в сорок де-

вятом году. Наоборот, она всегда вела себя, как и положено идейной комсомолке, а потом и члену партии. Я этому удивлялась, с некоторой завистью к чёткости её самого передового мировоззрения. Её отец был меньшевик, умерший ещё в двадцатые годы своей смертью. Может, это и играло роль? В Ленинград она приехала из Тюмени, кажется, туда был сослан её отец ещё царским правительством.

Она без колебаний изъявила согласие, когда комиссия из Москвы отбирала добровольцев для Испании. И когда её спрашивали, как же она могла это сделать, ведь она с детства болела какой-то сердечной болезнью, она распахивала свои серые глаза:

— Но я ведь комсомолка!

Мы попали с ней в одну группу на курсах.

И вот я к ней и кинулась — что мне теперь делать?

Она сказала:

— Трудное дело. Но в самом крайнем случае ты поедешь. Ты же всё равно поедешь, — ну, поедешь со следующей группой. Через месяц.

Я не хотела ехать со следующей группой. И оказалась права: в следующую группу девушек уже не включили. Подошла Люда Черник и сказала:

— Комиссия на этой неделе опять приедет. Вот ты и пойди, объяснишь, что в отпуск ездила. Может, и получится.

— Там главный — один человек. С орденом Красного Знамени, — сказала Таня. Очень значительно сказала. В смысле — вот какие люди нами занимаются.

— Он из Наркомата обороны, — сказала Люда, теребя свою огромную русую косу. — А фамилия его Шпилевский.

Почему-то мне помнится, что именно от неё я услышала впервые эту фамилию. В Испании мы работали в соседних дивизиях; её хефе как-то очень трусливо повёл себя, когда началась операция на Эбро, уже не помню подробностей.

Испанцы говорили, что «Лиуда» храбрая и ничего не боится и что таких девушек поискать, наверное, даже в России! Про храбрость её начальника ничего не говорили. В результате нас с ней поменяли местами — мой Василий за меня особенно не держался, особенно после того, как я при нём зашила дырку на рубахе какому-то солдату из штабной охраны. Он долго объяснял мне, как неприлично я поступила — наверное, так оно и было с точки зрения воинской субординации. В общем, в результате я попала в сорок вторую дивизию под начальство не самого храброго из русских командиров — тогда они ещё не назывались офицерами.

Люда погибла в начале войны в Царском, потом Детском, Селе. На боевом посту. Так и рассказывали об этом — без подробностей.

А Таня Вановская, хотя и училась на курсах вместе с нами, в Испанию не поехала. По состоянию здоровья. Она часто падала в обморок: я в первый раз в жизни увидела, как это делается. На её лице играла лёгкая улыбка. Долговязый Валька Столбов, который состоял при ней все студенческие годы, поднимал её на руки, клал на узенькую общежитейскую койку и кричал нам:

— Воды! Воды!

Это именно Валька (впоследствии Валерий Сергеевич Столбов) пошёл к Шпилевскому и объяснил ему, что Таня — убеждённая комсомолка и рвётся поэтому в Испанию, но её нельзя туда посылать: у неё порок сердца. И Таню не послали. Я видела, как Валька выходил от Шпилевского — я бродила по коридору, дожидаясь своей очереди быть принятой.

«В сердце остро вонзилась тоска, словно соринка в глаз», — это из Валькиных стихов, никогда не напечатанных. «И горький привкус анилина и на губах и на душе» — он же. «Но одну совсем простую песню хочется пропеть: что за землю за такую необидно умереть». Это об Испании, конечно, впервые увиденной с горы Монжуик.

После Испании он окончил университет, недолго проработал в Министерстве (тогда Наркомате) иностранных дел, потом был сокращён за то, что потерял своё удостоверение, прошёл всю войну — часть её в штрафбате; после госпиталя остался в Москве, где в шестидесятых, кажется, годах стал главным редактором издательства «Иностранная литература».

А поэтом он оставался всегда. Только не печатался.

Тогда, когда я ходила по коридору, дожидаясь своей очереди, я его стихов ещё не знала, мы подружились позже, после Испании. А тогда, в коридоре, ожидая своей судьбы или её крушения, я твердила две строчки Ахматовой:

*Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем...*

И опять, и снова эти две строки. Они отражали, бередили и выражали — не слова, вероятно, а больше звуки, — вот эта самая «невыразимо звеневшая музыка». Меня всё не звали, и я ходила и чуть ли не вслух произносила эти ахматовские слова (я так никогда ей об этом и не рассказала) — и наконец открылась дверь.

За столом сидел человек в военном. Три шпалы на воротничке, орден Красного Знамени. Лет сорока, как мне показалось (теперь я думаю — больше; мне тогда все взрослые, не седые, то есть нестарые казались сорокалетними). Полный, спокойный, выражение лица доброжелательное.

Дальше — перерыв. Я совершенно не помню, что именно я ему говорила. Не слышу звука собственного голоса. И вспомнить не могу. Вероятно, ничего особенного: всё про тот же отпуск, который я взяла официально и что вернулась вовремя. Но — не слышу себя. Может, так устроена моя память — помню, что говорят другие, а собственных текстов не запоминаю? Или это у всех так?

Но его перед собой вижу и слышу до сих пор. Он сказал, очень серьёзно, подумавши и заглянув в какие-то бумаги:

— Видите ли. В отношении остальных я уже предпринял некоторые шаги.

Тут всё точно, каждое слово. Голос его оставлял мне надежду.

Он подумал ещё минутку и сказал что-то вроде: но я надеюсь, что успею сделать... в отношении вас...

И всё.

Через неделю, когда он приехал опять, выяснилось, что он успел, и всё сделал, и я опять была в списке. Это был очень интересный день — он вместе с нами стал подбирать нам псевдонимы. Я и по нынешнее время не знаю, зачем это было нужно, но псевдонимы были у всех — и у начальников, и у переводчиков. Генерал Вечный стал Вековым, мой первый хефе — Якименко — получил геройскую фамилию «Яровой». Валька Столбов уменьшился в размерах и стал Столбиковым. Я избрала для себя фамилию «Зими́на».

Шпилевский сказал негромко:

— Хотелось бы, чтобы две первые буквы совпадали.

И так я стала Зерновой.

Я бы и имя охотно поменяла, но этого не требовалось.

Вот такой у меня оказался крёстный.

Написала это слово и ужаснулась. Потому что в лагерях так называли оперуполномоченного. Или просто — «кум». «Иди, тебя кум вызывает». Идёт человек, и уже не чаёт для себя ничего хорошего.

Я подумала сейчас: а ведь я объяснила одно непонятное слово другим непонятым словом. Или, скорее, понятное слово непонятым. Кто теперь знает — я не говорю о тех, кто помнит — что такое оперуполномоченный?

Так вот, оперуполномоченный — это Гебе в Гебе. Оперативник. Интеллигенция, не желавшая пользоваться блатными словечками, — а эти клички шли от блатных, конечно, — говорила «опер» или ещё «оперный»! Он отвечал и следил за всем тем, за что отвечало и следило ГБ во всех уголках страны: за политическую благонадёжность. И делало это через своих стукачей. Так же, как это делалось на воле, — тайно. Потому и считали в лагере всех, кто на воле, «следственными». То есть — подследственными. Ну вот, опять соскользнула со своей тропы.

...Я его помнила. Вспоминала нечасто, но помнила всё время. Вспоминала, когда меня за что-нибудь хвалило начальство, что бывало нечасто и в основном за качество перевода. Или когда я сама была собой довольна — что случалось ещё реже. Я думала: вот, вернёмся, и я ему скажу:

— Спасибо вам за то, что вы тогда нашли время предпринять для меня.

Или как-то иначе, но смысл был этот. Иногда в моих мечтаниях он узнавал меня и говорил: ну, что вы!

А иногда не узнавал, так я переменялась к лучшему! Во всяком случае, так мне говорили.

Я из тех, кто с детства собой недоволен. Это совсем не означает, что человек о себе плохого мнения. Я считала себя умной и развитой не по годам, поскольку именно это я о себе слышала. Но я всегда была недовольна своим поведением — не в школьном, а в каком-то совсем другом смысле. Я всегда хотела быть похожей — но не на живых сверстниц, а на книжных героинь. И это делало меня, пока я это помнила, смешной и нелепой. «Она широко открыла глаза», — комментировала я себя, делая это. И наш общий любимец Гриша Бергельсон, студент из старших, в ответ выпучивал собственные глаза так, что они почти вылезали из орбит.

Жизнь моя была скучна и однообразна, и я выдумывала о себе разные интересные, в которые кто верил, а кто и нет. Может, это были упражнения в писательстве? Но до писания дело не доходило.

Я жила реальной жизнью не вровень с собой, какой себе представлялась — или, потенциально, была.

В Испании наступило другое. Тут я и не была сама собой — я была не я. И имя у меня было другое, и фамилия, и язык, и всё вокруг, и люди, и вещи, и понятия... Испанцы. Толпа красивых лиц — сказал какой-то француз об улицах Мадрида. В Мадриде я тогда не была, но в Барселоне было то же самое. Именно толпа красивых лиц. Это создавало какой-то вечный праздник, и все-таки это был театр, которым ты любуешься.

И эта война. «Что за землю за такую необидно умереть». Они за неё готовы умереть — это навсегда их земля. В жизни и в смерти. «И ложимся в неё и становимся ею — оттого и зовём так свободно своею» — это, по-моему, лучшие ахматовские строчки. Правда, тогда их ещё не было. Но чувство это было. А интеровцы? Они тоже готовы стать этой землёй — и становятся ею, и бьются за неё, пока живы...

А мы — то же самое? Наши тоже ведь «становятся ею», и немало их успокоилось в этой не сырой, а сухой и жаркой земле.

Но всё равно... Всё время было чувство вины перед испанцами. Мы, если всё кончится — а всё яснее и яснее становилось, как именно

кончится, — мы вернёмся домой, и дома... дома это ещё станет нашим патентом на благородство. А те, кто останется здесь, потому что не сумел уйти? А те, кто сумел уйти и навеки стал эмигрантом? Ведь это и есть самое страшное — стать эмигрантом!

Об этом я читала, и не только в газетах. Во всех книжках. И в книжках Тэффи и Аверченко, которые папа покупал в вокзальных киосках, когда уезжал в командировки.

За плечами у нас была наша страна — большая, добрая, приветливая — и всё более становившаяся такой на расстоянии. И это было наше неравенство. А неравенство с теми, кого любишь, смущает. Даже если это привилегия. Тогда, в моём возрасте, — особенно потому, что это привилегия.

Но было ещё одно. И за это одно я и хотела благодарить Шпилевского, когда я его увижу.

Внезапное расширение кругозора. Журналы и газеты — из Европы. Совершенно по-разному видящие то, что происходит. И эти люди вокруг — из стран, которых и названия я не знала. Из Коста-Рики! И их уважение к нам, свидетельствовавшее, что всё-таки, всё-таки, если они уважают нас как представителей страны, значит, все то страшное, что в ней происходило в эти последние годы, — и им было известно не хуже, чем нам, а может быть, и лучше, — не отталкивало их от нас?

Случилось желанное, случилось неожиданно: то, что было *они*, стало *мы*. «Нас уважают»... «На нас надеются»... «Нас упрекают»... Потом я часто видела это за границей — и один раз опять это пережила, когда в 68-м году с группой писателей ездила во Францию. Но тут, в Испании, я впервые пережила это сладостное чувство. Что-то похожее на чувство подкидыша, у которого вдруг оказалась родная семья.

Перед самым моим отъездом в Испанию отец моей подруги, очень известный в Одессе профессор Александр Маркович Сигал, отговаривая меня, сказал, понизив голос, хотя мы находились в комнате вдвоём и никто не мог нас услышать:

— И зачем тебе защищать то, что гнило? Ты понимаешь меня.

Я понимала. Вся известная мне Одесса взрослых — ровесников моих родителей — именно так и считала: хоть это и существует двадцать лет, но это всё равно гнило! До сих пор помню: на уроке экономической географии проходили Германию, и Миша Большун, один из лучших наших учеников, радостно говорил:

— Я понял. Или, вернее, дядя мне объяснил. У них теперь то же самое, что у нас: все силы вложены в военную промышленность!

А на дворе стоял тридцать пятый год. Учительницу географии чуть удар не хватил. Она перебила Мишу и стала объяснять, что у нас и там — совершенно разные вещи! Но мы знали, что правы Миша Большун и его дядя.

В тридцать шестом году, когда я сдавала экзамены в университет, шёл первый знаменитый процесс «троцкистских и иных двурушников» — а я, так случилось, читала Анатоля Франса «Боги жаждут». Эта книга должна была бы стать учебником для тех, кто хочет понять годы советского необъявленного террора. «Революция, как Хронос, пожирает собственных детей». Так сказал Верньо-жирондист.

И последовавшие процессы меня уже не удивляли — Анатоля Франс всё объяснил.

Но когда Александр Маркович мне сказал «то, что гнило», я ничего не ответила. Промолчала. И поехала. И твердила про себя «Список благодеей»: всеобщая грамотность, бесплатная медицина, разгром антисемитизма, приток свежих умов. Была такая пьеса Олеси — «Список благодеей».

И про это — про список благодеей я говорила в Испании тем, кто читал не те газеты, что я, и знал много больше. А я ещё там прочла про русского революционера, который сам на себя наговаривает, ради того, чтобы не разрушилась Советская власть!

— В Испании такое невозможно! — сказал мне австриец-интервент.

— Ты имеешь в виду эту книжку?

— Ну, да. Но главное — сами процессы. Здесь есть традиция. Кортесы. И потом... Понимаешь, традиция тут другая. Вот, сейчас запрещена коррида — ну, война, конечно... Вот, англичане писали, что испанская чернь — самая жестокая в мире, потому что любит корриду. У англичан с испанцами старые счёты. Но ведь коррида — это поединок! Поединок человека с быком. Один на один. Нет, чтобы все на одного. А в этой книжке — все на одного, все. Мало того: его лишают чести. Перед всем миром! И он это принимает — ради этих всех. Ты понимаешь?

Ничего из всего этого сказать Шпилевскому я не могла. Но я была ему благодарна, и очень хотелось это ему сказать. В наркомате его не было. Не одна я хотела его увидеть. Его помнили, но кто-то уже сказал: он здесь больше не работает. И всё стало ясно. И всё-таки — а вдруг?

Нас поселили в гостинице «Москва», сказали, чтобы мы сегодня чувствовали себя свободными. Можете пойти в театр, если захотите! Я подошла к немолодой секретарше:

— И на «Анну Каренину» можно пойти?

— Конечно, — сказала она, улыбнувшись. — Покажете администратору свою краснокожую паспортину — и впустят.

Она была симпатичная. Я спросила её:

— А где полковник Шпилевский?

Негромко спросила. Всё ведь было ясно. Но — а вдруг? Она подняла брови и сказала с удивлением:

— Он тут не работает.

И всё стало на свои места. Они с ним разделились.

А недавно я получила справку из Москвы. Из архива Министерства обороны. Дана для представления в испанское консульство. Подтверждает, что я участвовала в испанской гражданской войне 1936—1939 годов.

Люся Фейерштейн, одна из нас, студенток-переводчиц, вспомнила обо мне и прислала мне эту справку.

Июль—август 1996

© М. Серман, 2014

Валентин Катаев

Встреча

Однажды летом 1913 года произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь. В копеечной газете «Маленькие одесские новости» появилась заметка, приглашавшая всех молодых поэтов пожаловать к шести часам вечера в помещение местного литературно-артистического клуба. Этот клуб попросту назывался «литературка».

Меня охватило сильнейшее волнение.

Я не знал, как мне быть: идти или не идти?

Я писал и даже иногда печатал в местных газетах стихи. Это так. Но каждый ли пишущий и печатающий стихи имеет право называться поэтом?

Мне едва минуло шестнадцать лет. Но что такое шестнадцать лет: детство, отрочество, юность? Имею ли я право называться «молодым»? Может быть, я ещё не дорос до этого, а может быть, уже перерос? Неизвестно. И разве есть у нас в городе такое количество молодых поэтов, что их нужно сзывать через газету?

Затем — это загадочное и в высшей степени официальное «пожаловать»?! Рядом с «пожаловать» наименование «молодой поэт» звучало как-то вроде «губернский секретарь» или «помощник присяжного поверенного».

Наконец, с какой целью «пожаловать»?

Но самое главное — учащимся средних учебных заведений было строжайше запрещено посещать какие бы то ни было клубы, в особенности такие «красные», как наша «литературка». В ней, правда, политикой занимались мало, а главным образом играли по ночам в карты и пили удельное вино сотрудники местных прогрессивных изданий и врачи с хорошей практикой, но почему-то «литературка» имела у одесских мещан репутацию рассадника крамолы, а в глазах чёрносоотенного гимназического начальства представлялась по меньшей мере яacobинским клубом.

Гимназист шестого класса казённой гимназии тайком подымается по лестнице яacobинского клуба!

Попечитель учебного округа, горбатый карлик с золотыми очками на рачьих глазах, действительный статский советник Смольянинов мог сойти с ума от одной этой мысли.

Всё же я решился.

Я снял форменный пояс — потрескавшийся ремень с зазубренной в боях мельхиоровой бляхой; я выломал из веточек латунного герба «О. 5 Г.» заглавные буквы своей альма-матер, одесской пятой гимназии; я скрутил в толстую трубу общую тетрадь в зернистом переплёте, на котором были выскоблены перочинным ножичком якорь и сердце, пронзённые стрелой.

В эту тетрадь были аккуратно вклеены синдетиконом немногочисленные вырезки бесплатно напечатанных стихотворений и отроческим почерком переписана только что законченная «Зимняя поэма», где размером некрасовского «Рыцаря на час» я почему-то пространно живописал охоту на зайцев, о которой не имел ни малейшего представления и с трудом бы отличил зайца от кролика. Подробности же охоты я заимствовал из хвастливых рассказов некоторых своих гимназических товарищей, грубых сыновей степных новороссийских помещиков.

Я жил на окраине.

Для того чтобы попасть в «литературку», мне пришлось пересечь город, измученный и оглушённый послеобеденным зноем.

Это было последнее довоенное лето, последний зной отрочества, последние краски Одессы — города Дерибаса, Ланжерона, Ришелье.

Над витринами магазинов были опущены полосатые парусиновые тенты. За пыльными стёклами витрин выгорали выставленные напоказ кожаные портмоне, зефировые рубашки, подтяжки, бумажные манжеты — вся та скучная галантерейная заваль, покупатели которой сидели на фонтанах и лиманах по горло в тёплом бульоне июльского моря.

В порту визжали тормоза товарных вагонов, сонно стучались тарелки буферов, тоненько посвистывали паровички-«кукушки», ледёнки издавали звук — «тирли-тирли-тирли...».

В гавани стояли иностранные пароходы. Бронзовый дюк де Ришелье с бомбой в цоколе простирал античную руку к голубому морю, открытому светлыми дорожками штиля.

Фруктовые лавки бульвара ломились под тяжестью бананов, ананасов, кокосов. В маленьких бочонках, покрытых брусками сияющего искусственного льда, плотно лежали серые бородавчатые раковины остендских устриц.

Дышали зноем фиштакковые пятнистые стволы платанов «Пале-Рояля». Ни души не было под аркадой знаменитого городского театра, окружённого чугунно-синими скульптурами гениев и муз.

В этот невыносимо знойный вечер я прощался со своим отрочеством. В этот вечер — ещё не зная этого — я выбрал себе дорогу и уже шёл по улицам, как иностранец, удивляясь достопримечательностям и красотам неповторимого города, переставшего быть для меня родным.

Этот вечер остался в моей памяти как цветная открытка за стеклами стереоскопа, как раскрашенный вид, где голубое, безоблачно-глянцеовое небо переходит к горизонту в жёлто-розовые литографические зёрна зари, где на углу неподвижно сидит на козлах понурый русский извозчик в слишком синем кафтане и в слишком блестящей клеенчатой шляпе, где спицы дрожек цвета ярчайшей киновари, где чугунно синее раковиннообразный купол городского театра и сверхъестественно зелен газон перед этим театром, великолепный, роскошно выстриженный газон — чудо садоводства, с винно-красными бегониями и прочими декоративными растениями, выложенными в виде герба города и царских вензелей, с купами махровых цветов, расставленных посредине, как бархатная мебель мещанской гостиной, обшитая свекольно-алыми шерстяными и шёлковыми кистями, помпонами, бахромой, — и все это в виду лакового моря с яхтой и чайкой и пузырьём воздушного шара над горизонтом.

Я поднялся по лестнице, покрытой красной дорожкой. Швейцар в тужурке с галунами посмотрел на мою фуражку с выломленным гербом, на общую тетрадь в руках и пропустил меня.

Я вошёл в большую комнату с задёрнутыми шторами. С улицы доносились знойные звонки трамваев (трамвай ещё был для Одессы новинкой: он начал ходить с одиннадцатого года).

Сквозь шерстяные, как бы тлеющие, шторы проникал смуглый свет раскалённых угольев.

В клубной приёмной напряжённо сидели на мягкой мебели очень молодые люди. Их было человек тридцать. Привыкнув к сумраку, я мог рассмотреть их подробно. Это были юноши школьного возраста, подобно мне, неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обёрнуты материей, пояса сняты, из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но ещё в чёрных гимназических брюках.

Никто друг с другом не разговаривал. Посматривали друг на друга искоса, с дурно скрытым, ревнивым любопытством тайных соперников, с напускным равнодушием, с чувством мучительной неловкости.

Словом, это было сборище вундеркиндов, потеющих перед запертой дверью славы.

Впрочем, эта дверь была заперта неплотно. Довольно часто она приоткрывалась, и в неё боком входил клубный официант, неся на подносе полбутылки красного вина.

Там находились посвящённые. Это они держали в своих руках наши судьбы. Но кто «они» — мы понятия не имели. Лишь тогда, когда дверь приоткрывалась, пропуская красное вино, мы успевали рассмотреть в

гранатовом полусвете другой комнаты столик, за которым сидел некто с тускло-продолговатой мордой лошади, в пенсне, и вокруг него несколько прочих.

Время тянулось мучительно долго. Мы изнемогали от нетерпения и неизвестности. Среди нас уже стали рождаться догадки, возникать слухи. Оказалось несколько осведомлённых. Шёпотом было произнесено слово «Пильский». Этот Пётр Пильский, развязный и ловкий одесский фельетонист и законодатель литературных вкусов, собрал нас сюда. Он будет сейчас выслушивать нас и отбирать. Куда «отбирать»? С какой целью? Чёрт его знает! И раз будут «отбирать» — значит, кого-то отберут, а кого-то не отберут. Это было страшно, как перед экзаменом. Я не мог больше вынести одиночества.

Я вскочил со стула и подошёл к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.

— Вы гимназист? — спросил я его.

— Я реалист, — мрачно ответил он. — Из реального Жуковско-го, — и заносчиво шмыгнул носом, как бы показывая, что ему на всё решительно наплевать с высокого дерева.

Мне не стоило большого труда определить его «сорт». В то время мы были дьявольски наблюдательны. Сверстники узнавали друг друга, ещё не пожав руки и не перейдя на «ты».

Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кишел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.

Некогда в этом Александровском парке, висящем над трубами и мачтами порта, отцы города с педагогической целью ознакомить население с отечественной географией придумали соорудить небольшой пруд в форме Чёрного моря. В точном соответствии с картой выкопали калошеобразную яму. Подошва определяла Анатолийское побережье, носок — Константинополь, задник — Батум и верхний вырез — Крым. Впрочем, на этом общеобразовательная затея и кончилась. Хрупкий бюджет муниципалитета, подорванный тёмными махинациями городского головы, не выдержал дальнейших трат. «Чёрное море» так и осталось на вечные времена необлицованным и сухим. Но она нашла себе применение, эта унылая педагогическая яма. Её облюбовали для своих буйных развлечений переростки соседних улиц, бесшабашные отпрыски дворников, помощников капитанов, мелких лавочников, акцизных чиновников.

Яма стала клубом Приморского района, штабом казаков и разбойников, ареной французской борьбы, пристанищем длинноруких второгод-

ников, коллизеем гладиаторов, рубившихся бляхами, игорным притоном, где до самозабвения резались в «тепки на возилки» и в «ушки».

И если сама яма давно уже осыпалась и потеряла малейшее подобие Чёрного моря, то её завсегдатаи прочно сохранили за собой прозвище «черноморцев».

Черноморцы!

Это был свободный народ, автономная республика, равноправно входившая в федерацию других одесских мальчишеских республик — новорыбников, отрадников, дюковских, слободских...

Разделённые территориально, эти весёлые народы исповедовали единую великую хартию мальчишеских вольностей, что не мешало им вести между собой короткие, но бурные войны, пуская в ход палки, рогатки и камни. Для посвященного невозможно было спутать, например, черноморца с дюковцем.

— Вы — черноморец? — спросил я своего нового знакомого.

— А то нет? — ответил он вопросом на вопрос, что было вполне в характере черноморцев, и буркнул: — А вы отрадник?

— Отрадник. Вы пишете стихи?

— А вы нет?

Знакомство укрепилось. Черноморцы и отрадники в данный момент находились в военном союзе против новорыбников.

Потом, среди прочих соискателей, мы сидели рядом на стульях перед небольшой эстрадой, куда, вызываемые по списку один за другим, выходили молодые поэты и читали свои стихи.

Курьёзный парад молодых подражателей, взволнованных, вспоетших, полных то чрезмерного заёмного пафоса, то беспредельной грусти, совершенно неоправданной ни летами, ни цветущим состоянием здоровья!

В их петушиных голосах звучало искажённое эхо всей русской поэзии, от Пушкина до Игоря Северянина, с явным преобладанием Апухтина и Надсона.

Мы слушали стихи своих соперников, злорадно переглядываясь, и ядовито хихикали в кулак всякий раз, когда строфа была особенно отвратительна. Мы следили друг за другом исподтишка, как бы взаимно испытывая литературные вкусы, а так как они в большинстве случаев совпадали, то мы внутренне сближались всё больше и больше, поощрительно друг другу улыбались и уже чувствовали себя как бы в молчаливом заговоре против всех.

Между тем каждого окончившего читать просили удалиться в соседнюю комнату и запереть за собой дверь.

Тогда Пильский, который не переставая тянул из зелёной рюмки удельное, вздёргивал своё лошадиное лицо, интеллигентно взнузданное чёрной уздечкой пенсне, и не вполне твёрдым голосом ставил претендента на баллотировку.

О, в какое волнение приходило тогда наше маленькое учредительное собрание! С какой поспешной яростью поднимались испачканные чернилами руки, отвергая кандидата, и с какой нерешительностью и неохотой — принимая!

Томный студент, подручный Пильского, лениво подсчитывал голова, и после этого сам мэтр произносил свой окончательный приговор.

Дверь отворялась. Крупно глотая слюну и растерянно улыбаясь, входил кандидат, сжимая в потных руках уже бесполезную тетрадь. Он останавливался у стола для того, чтобы услышать свою участь.

Принятому предлагали занять место в президиуме, и он сел на стул, заложив ногу за ногу, с гордостью новоизбранного бессмертного.

Отвергнутый вынужден был, спотыкаясь, слезть с эстрады и возвратиться на своё прежнее место, где ему уже нечего было ждать и не на что надеяться, вкусив всю горечь высокомерных усмешек и ободрительных замечаний.

Вскоре был вызван некий Эдуард Багрицкий.

Я поспешил злорадно фыркнуть, чтобы показать соседу своё отношение к этому безвкусному псевдониму. Я не сомневался в его сочувствии. Каково же было моё удивление, когда он вдруг поднялся с места, засопел, метнул в мою сторону заносчивый, но в то же время как бы извиняющийся взгляд и решительно вспрыгнул на эстраду.

Он согнул руки, положил сжатые кулаки на живот, как борец, показывающий мускулатуру, стал боком, натужился, вскинул голову и, задыхаясь, прорычал:

— «Корсар»!

Он прочёл небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время я ещё не имел понятия о Гумилёве, и вся эта экзотическая бутафория, освящённая бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны. Он читал превосходно и наизусть. Может быть, он слишком рычал и задыхался. Но я тотчас простил ему и пафос и псевдоним. Во всяком случае, я до сих пор помню некоторые строфы:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!

Казалось, что он действительно наносит с пеной на искривлённых губах страшные удары шпагой.

Ещё в середине были какие-то

...тихие ритмы, как шелесты роз...

И заканчивалось все это так:

Когда погибал знаменитый «Титаник»,
Тогда твой мираж трепетал в небесах!
Летучий голландец! Чарующий странник!
Через вечность летишь ты на всех парусах!

Успех был так велик, что тут же Эдуарду Багрицкому объявили о принятии, и он, не сходя с эстрады, занял место в президиуме.

Через пять минут рядом с ним сидел и я. Из всех претендентов только мы двое были избавлены от унижительной процедуры и приняты без баллотировки.

Это нас сблизило ещё больше.

Я сказал — «приняты». Но куда?

Впоследствии это выяснилось. Пётр Пильский открыл прекрасный способ зарабатывать деньги. Он выбрал группу «молодых поэтов» и возил нас всё лето по увеселительным садам и дачным театрам, по всем этим одесским «ланжеронам», «фонтанам» и «лиманам», где мы, неуклюже переодетые в штатские костюмы с чужого плеча, нараспев читали свои стихи изнемогающим от скуки дачникам.

Сам же Пильский, циничный, пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве, отчаянно перевирая не только названия наших произведений, но даже фамилии наши. Денег он нам, разумеется, не платил, а выдавал только на трамвай, и то не всегда.

Очень часто нам приходилось возвращаться домой ночью, пешком, при пыльном свете степной луны, вдоль моря, среди хрустального звона сверчков и далёкого собачьего лая.

Так началась наша дружба на всю жизнь.

Мы вышли вдвоём из «литературки». На соборной колокольне било одиннадцать. В небе вспыхивала и гасла рубиновая реклама «Какао Кадбури». Под наркотической луной висела гигантская калоша акционерного общества «Треугольник». Одесса горела крашеными разноцветными лампочками «иллюзионов» — так назывались у нас кинематографы, и вся напоминала большой шикарный иллюзион.

Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланёров с папиросами «Сальве» в зубах — южных франтов в жёлтых ботинках и панاماх, наполняющих жарким шарканьем подошв улицы центра, — мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными.

1934—1935

Семён Липкин

Катаев и Одесса

В сознании читателя Одесса утвердилась как город многокрасочной и нищей Молдаванки с её налётчиками и волапюком, город черноморских анекдотов и печально остроумных стариков, город Бабеля, Багрицкого, Олеси, Славина, Ильфа и Петрова. Меньше запомнилась Одесса как второй по величине и мощности русский порт, как город Новороссийского университета, блестящей разноплеменной интеллигенции, связанной с именами Пушкина, Гоголя, Бунина, Куприна, Бялика, Леонида Пастернака, Мечникова, Королёва, Чайковцев, Желябова, город, где рядом с пьяным и трагическим Гамбринусом сверкал Гранатовый браслет, где происходили Сны Чанга и наступили Окаянные дни.

Этот необыкновенный город увидел своими глазами по-бунински звериной зоркости и воссоздал точным, долгожительским словом Валентин Катаев.

Ему было 23 года — лермонтовский возраст, — когда он твёрдой рукой зрелого мастера написал рассказ «Бездельник Эдуард», поссоливший его с прототипом. Несколько фраз, музыкальных и живописных, вобрали в себя и черты молодого поэта, и черты приморского города, только что захваченного большевиками. Вот эти фразы.

«Целый день он проводил на улице или в греческих кофейнях, кривых аквариумах, наполненных голубой водой табачного дыма. Начальники Красной гвардии вселяли в его сердце подобострастную зависть своими офицерскими рейтузами и полированными ящиками маузеров, висевших на крупных задах. В каждом коренастом матросе Черноморского флота с оспенным лицом, отлично и грубо сработанным из орехового дерева рашпилем и долотом, он видел необыкновенного какого-то вождя... Город, пропитанный резкими колониальными запахами, город, видевший на своих площадях оккупационные войска более чем шести европейских держав... был его стихией... и только иногда по вечерам, при нищем пламени керосиновой лампочки, он писал, слюня карандаш, поверх торговых записей отца, в засаленной, как колода кучерских карт, общей тетради романтические стихи о революции отличным пятистопным ямбом, с цезурой на второй стопе»...

Не всё соединяет героя этого рассказа с прототипом, ставшим через семь лет одним из самых знаменитых поэтов нашей страны. Он и при мне, в 1929 г., в кунцевской избе писал, слюня карандаш, стихи на чистых газетных обрывках. Искусство, созданное истинным художником, превращает очевидца в провидца.

«Бездельник Эдуард» — великолепный рассказ. Великолепный — и только. Через год молодой Катаев начинает — и работает над ним три года — рассказ, которому суждена долгая, прочная жизнь: «Отец».

Во многом писатель автобиографичен. Фамилия героя — Синайский — говорит о его происхождении из духовенства, и действительно, дед Катаева был священником. Как и Синайского, Катаева в 1921 г. бросили беспричинно — старая большевистская привычка — в тюрьму. Катаев описал её изумительно. Через четыре года, в 1925 г., я приезжал на трамвае в эту тюрьму к своему отцу, его арестовали (на полгода), когда стали сажать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов. Тюрьма выглядела не так страшно, как во времена, описанные Катаевым, но многое вспомнил я, читая рассказ.

А каково в те голодные, тёмные годы было сидеть в тюрьме? Раз в день заключённые, дежуря, несли на гнущихся палках чаны с ячной кашей. Но было нечто ужасней голода. Однажды ночью к Синайскому приполз полковник, при белых — начальник карательного отряда. Он говорил:

— Есть у меня одна заветная папироска. Но я её берегу... месяц... когда меня будут выводить... Как вы полагаете, Пётр Иванович, а?

Выводили ночью на расстрел. Думаю, что некоторые поздние поступки Катаева, далеко не привлекательные, объясняются тем, что в ранней молодости его, ни в чем перед властью неповинного, бросили в большевистскую тюрьму, в которой он каждую ночь ожидал расстрела. Страх поселился в нём крепко. Может быть, и «Батум» Булгакова — позднее следствие его таинственного пребывания во Владикавказе в годы Гражданской войны. Осуждать легко.

В рассказе «Отец» Катаев себя осуждает. Молодой, с сильным, плотским желанием жить, и жить хорошо, Синайский был невнимателен к отцу, которого обожал, который все шесть месяцев, каждую среду, навещал арестованного сына. Рано, в детстве, лишившись матери, Синайский-Катаев вспоминает, как мёртвая голова матери придавила подушку, а он, маленький, влез к отцу на колени «и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные, без пенсне, собачьи глаза». Чтобы глаза назвать малиновыми, надо обладать дерзким глазом. Чтобы назвать их собачьими, надо быть смелым художником, обладать светящимся сердцем.

И вот Петя стал взрослым, он в тюрьме. Рядом с тюрьмой, из-за стены богадельни, появляется с передачей отец. «Рот отца был полу-

открыт, и нижняя челюсть немного отвисала, показывая несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал между ними коротко и неподвижно, как у немого. Просительно улыбаясь, он смотрит через пенсне на окно сына. Он видел, что его сын жив, и больше ему ничего не нужно было в жизни».

Как странно и горько звучит это «просительно». Что надо отцу у арестованного сына просить? Прощения? Потому что сына могут в тюрьме расстрелять? Или старый учитель в чем-то виноват перед новой властью, потому-то и арестовали его сына? Второе предположение подтверждается такими словами: «Папа, — хотел крикнуть Синайский, — папа, — но вдруг почувствовал бессильный ужасный стыд перед отцом, и равнодушие, и отвращение к нему, и жалость к себе, и страх...» В небольшой фразе — целая жизнь двух близких людей, нарождающаяся советская жизнь, нарождающийся долгий страх.

Но вот Синайский на свободе. Он живёт не с отцом. Он стал благополучным советским служащим, ему дали по ордеру комнату в центре города, в буржуйской квартире, к нему часто приходит юная барышня, в комнате тепло, уютно. Отец заглядывает к нему редко: боится помешать? — Да ты посиди, погрейся, — приглашает сын, — куда тебе? Раздевайся. У меня тут тепло. Кофе пьём. Давай своё пальтишко. — Что ты, что ты, — испугался отец. — Я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки, ведь, знаешь, нет; раздобыть бы, да где уж...

«Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючки на горле...»

Сын приспособился к новой власти, живёт по тогдашним временам недурно, но отца не посещает, не помогает ему. Молодой Синайский беспощаден к себе. Он любит отца и боится его любить. Почему? Мы не знаем. Но маленькая сценка, только что описанная, станет украшением русской литературы.

Синайский оказался в командировке, когда умер его отец. Племяннику рассказывает тётка Дарья: «Его отпевало шесть священников — все его семинарские ученики. Было два хора. Пришла масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать, — между могилками матери и жены».

Позвав старьёвщиков, Синайский вошёл в квартиру своего детства. Жестоко продал всё: фотографические карточки, частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами, кровать, портрет матери-епархиялки, письменный стол, лакированную шкатулку, полную запонок, пёрышек, катушек, аптечные склянки, коробочки, стенные часы,

книги — множество книг, от «Истории государства Российского» Карамзина до сочинений Боборыкина и зелёной бронзы энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Ящики пустели, как жизнь.

Синайский уезжает. В Москву, за славой, как сам автор. «И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горячими, тёплыми и радостными звёздами». Заметим: звёздами, да ещё радостными, а не слезами. Так мог сказать только Катаев.

Через четверть века Катаев пишет рассказ о другом Отце. «Отче наш» называется этот рассказ.

Существо катаевского таланта не все понимают. Он и сам, по-моему, его не понимал. Сказочно одарённый, он умел писать всё — и стихи, и фельетоны, и пухлые советские романы. От этого непонимания, как мне кажется, и те поступки, которые талант его унижают. Он написал сатирические «Растратчики» (Гроссман считал, что главное у Катаева — сатира, что он пошёл не по своему пути), и очень смешную, имевшую большой зрительский успех пьесу «Квадратура круга», и пасторальный «Белеет парус одинокий», и официальное «Время, вперёд!». В действительности, Катаев — писатель трагический. Это стало особенно ясно, когда возник «новый» Катаев, когда мы прочли такие вещи, как «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Спящий».

«Отче наш», величиной в девять книжных страниц, огромен по содержанию, написан строго, резко, скупое. В нём нет когда-то милого катаевскому перу юго-западного красноречия, которое иногда возникало в «Отце». «Гроб матери — пышный торт с зубчатой бумагой» или «ночь уже заводи́ла свои звёздные часы гранёным ключиком чистого сентябрьского сверчка».

Не до красот в рассказе о том, что творилось в Одессе, когда её захватили немцы и румыны. Нет красот, есть Красота страдания, жизни и смерти.

Рано утром мать и её четырёхлетний сын вышли на улицу. Редкий для Одессы (но так случалось и прежде) двадцатипятиградусный мороз. Однако мать и сын хорошо и одинаково одеты в шубки из искусственной обезьяны, на ногах валенки, на руках пёстрые шерстяные варежки. Видимо, мать и сын — из благополучной семьи. Почему они в такую морозную рань вышли на улицу? Детский ангельский голос громкоговорителя возвещает: «С добрым утром!» Но вслед за этим пожеланием тот же голос возвестил и молитву: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да придёт Царствие Твое, да будет воля Твоя...»

Как славно, что при Советах созданное радио таким проникновенным голосом наконец-то произнесло эти вечные, светлые слова. Но произнесло не по-русски. По-румынски.

Матери страшно. Она хочет спасти сына. Она русская, но мальчик по отцу еврей. Отец на фронте. Она хорошо знает родной город, ведёт мальчика через проходные дворы.

— Мама, мы уже гуляем?

— Да, уже гуляем.

Но они не одни на улице в эту рань. Далее следует картина, которую следовало бы кратко пересказать, но я пересказать не могу, потому что автор могущественно краток. Цитирую с небольшими пропусками:

«В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны... Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой проволоки и оставляли один вход, как в мышеловку... Попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках... Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян... За укрывательство еврея также полагался расстрел»...

Мать вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор блуждать по улицам, пока всё не уляжется. Они заходят в молочную, где мальчик пьёт кефир (при румынах возродилась частная торговля), где топилась железная печка и можно было согреться. Потом мать догадалась, что можно несколько часов провести в кинематографе, где сеансы начинались рано. В кинематографе мальчик выспался. Потом — опять блуждания. Когда мальчику захотелось пи-пи, мать отвела его за афишную тумбу. Дошли до Пироговской улицы (в тех местах жил когда-то автор, теперь недалеко от них есть улица Катаева), потом свернули в сторону парка культуры и отдыха имени Шевченко, который тянулся вдоль моря. На следующее утро, когда ещё не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замёрзших ночью людей. Грузовик остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком.

«Они сидели рядом. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны... Они сидели, как живые. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами... Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный»...

А затем из рупора раздался нежный детский голос: «Отче наш, Иже еси на небесех!»

Мать и мальчик погибли. Рассказ не умрёт. Он как молитва: в нём нет ни одного лишнего слова. Он как стихи: в нём есть музыка и мера. «Отче наш» — вершина катаевского творчества и, как вершина, рассказ прост. Ему невозможно подражать. Как подражать вершине?

Лет через 30 после этого рассказа возник «новый» Катаев. Он, в

молодости поэт (и поэт недурной), делит прозу на строки и строфы, печатает их, как стихи, с интервалами. Но и новый, он не может забыть прожитое с его тюрьмами и убийствами, он упорно, может быть, даже против своей воли возвращается в Одессу своей молодости, в годы Гражданской войны, Чека, расстрелов.

Был на Руси такой писатель — Александр Митрофанович Фёдоров, крестьянский сын, второстепенный подражатель Чехова и Бунина, с которыми был лично знаком. Он печатал стихи и прозу в обеих столицах. Он построил себе в Одессе дачу, за 16-й станцией, за монастырём, над поросшим полынью обрывом, спускающимся к морю. Место было тогда необжитое. Теперь эта дача превращена в Дом творчества писателей Украины. Во время Гражданской войны Фёдоров эмигрировал в Болгарию. В свои юношеские одесские годы я вместе с писателем Сергеем Бондариним доехал на трамвае до 16-й станции, потом вёрст шесть отмахали до полуразвалившейся дачи Фёдорова. Было лето, в мазанке одиноко жила старуха — жена Фёдорова. Она нам обрадовалась, рассказывала о Бунине, который подолгу жилал у них на даче, о Куприне. Слушать её было трудно, зубов осталось мало, к тому же нерусский акцент. То, что осталось от некогда уютной дачи, она сдавала летом, на эти крохотные деньги и жила. У неё было немецкое имя-отчество, я его забыл.

Она и стала персонажем рассказа Катаева «Уже написан Вертер». Катаев назвал её Ларисой Германовной — Герман, Германия, это отчество должно было указать на её немецкое происхождение. В рассказе она русская, а её эмигрировавший муж — в прошлом — преуспевающий адвокат. Название «Уже написан Вертер» не намёком, а открыто утверждает: то, что творилось в стране при Сталине и его наследниках, уже было заложено в стране в начальные, псевдоромантические годы большевистского правления.

Рассказ ведётся от лица Спящего, но никакой мистики, все предметно, явственно. И сюжет прост. Юный сын Ларисы Германовны Дима, не очень способный художник, наивный и милый, зарабатывает тем, что изготавливает советские плакаты. Его арестовали за то, что участвовал (он считает — не участвовал, а присутствовал) в одном безобидном, но с антисоветским настроением собрании молодёжи на маяке. Диму выдала его жена, до революции — горничная из богатого питерского дома, теперь — секретная сотрудница Чека, о чём Дима, конечно, не знает. Благодаря хлопотам Ларисы Германовны, с помощью её знакомого, эсера, но бывшего политкаторжанина, Диму освобождают, но он, к ужасу матери, остаётся в распространённых по городу списках расстрелянных. Вскользь говорится о том, что впоследствии, лет через двадцать, Дима рисует плакаты, но уже в концлагере. Вот и всё.

Но дело не в фабуле. Дело в умерщвляющем воздухе, которым дышит город, в новых людях города. Один из них — Наум Бесстрашный. Псевдоним, характерный для тех лет. Узнаются некоторые черты известного Блюмкина, стрелявшего в германского посла. Они разные, эти люди, решавшие судьбу Димы, но есть нечто, их объединяющее: зло.

Наум Бесстрашный заворожён стилем Марата, издававшего газету «Друг народа» (вскоре распространится палаческий термин «Враг народа»), его вдохновляют романтика Французской революции, конвент, Пале-Рояль, Демулен, Ça ira, предмет его подражания — Лев Давыдович Троицкий, он бывал в Москве в «Стойле Пегаса», где собирались, во главе с Есениным, поэты-имажинисты. Иной тип — председатель губчека Маркин, мужик, прошедший каторгу, и рядом — правый эсер, савинковец, бывший комиссар Временного правительства Серафим Лось (настоящая фамилия Глузман), друг Маркина по каторге, и сексот Инга, жена Димы, на много лет старше его, красивая простонародной, жадной и жаркой красотой. А сам Дима так неопытен, так молод, у него «нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста».

Я был мальчишкой в те годы, когда происходили события, нарисованные в рассказе, когда так часто менялись власти, когда, по безнадежному замечанию автора, «злые духи рая отпугивали злых духов зла», когда ходили слухи, что поляки уже заняли Раздельную (так называлась последняя станция перед Одессой, где железная дорога разделялась на две ветки — одна на Одессу, другая на Кишинёв), когда человека расстреливали на улице (я это в детстве видел) только потому, что он был одет в шубу, а на голове у него была каракулевая шапка, помню и белых, и французов, и англичан в шинелях горчичного цвета, и с какой болью описывает Катаев Одессу в несчастные первобольшевицкие дни: «Его поразил вид торгового города, лишённого своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголённого без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнажённости город показался ему новым и прекрасным».

Какая жизнь была раньше! И какая музыка катаевской прозы!

Я познакомился с Катаевым в 1928 (или в 1929) году на одесском пляже, на «камушках» — излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привёл Сергей Бондарин, он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на «камушках» не купались, там было глубже, чем в других местах на Ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов и, высокий, молодой, красивый, встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнёс:

— Сейчас молодой бог войдёт в море.

Потом мы встречались в Москве, беседовали на уровне земляческой близости, но не больше. Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию. Вдвоём гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой:

— Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?

— Да. Ая-ганга.

— Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?

— Не знаю.

— Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался:

— Пахнет лавандой.

Прошли годы. Мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения из этого Союза двух молодых «метропольцев», неожиданно для себя оказались диссидентами. Поселились в Переделкине на даче у вдовы профессора Степанова, моего приятеля, и часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначущими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться.

Однажды он подошёл ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал:

— Я прочёл вашу «Волю». Вы новатор в традиции. Большой поэт.

И тут же, на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, опубликованной в Америке издательством «Ардис», составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма не советского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая их политической направленности. Я сначала понял это как осторожность, как то, что слушать предоставлялось только мне. Я ошибался. Живший в Переделкине наш земляк Л. И. Славин с некоторым даже удивлением сообщил мне о восторженном (его эпитет) отзыве Катаева о моих стихах, добавив, что такая восторженность — редкость для Катаева.

Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщаю мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника.

Я узнал, что «Волю» показал отцу вскоре ставший моим другом Павел Катаев, талантливый писатель, унаследовавший зоркий глаз отца, один из первых модернистов, чья литературная судьба сложи-

лась, увы, не так хорошо, как у Валентина Петровича. Позднее Павел показал отцу и книгу Лиснянской «Дожди и зеркала», вышедшую в Париже, Катаев восхитился и этой книгой и сказал Инне много лестных, искренних слов. Запомнилось: «Я не мог оторваться от книги, открыл ни на кого не похожий лирический дар». Эту оценку также подтвердил Славин.

Мы стали часто гулять вместе втроём, и горько нам было, когда наш близкий друг, замечательный писатель и благородный человек Вениамин Каверин дважды вынужден был не поздороваться со мной и с Инной, так как не хотел здороваться с Катаевым. Бывали мы и в доме Катаева, отдавая должное хлебосольному гостеприимству Эстер Давыдовны. Однажды, во время прогулки, я сказал Катаеву, указывая на дачу Леонида Леонова:

Вот, смотрите, сидит себе, как барсук, никаких противных подписей, никаких рабских заявлений, а государство его любит, ласкает. Почему же вы так стараетесь, ведь вы несравненно талантливей автора «Русского леса», могли бы спокойно работать в башне из слоновой кости, никто бы вас не трогал, у вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам ещё надо от государства?

Он вспыхнул:

— Меня Союз писателей ненавидит, — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии.

— А для чего вы в неё вступили? Вы её любите? Вы марксист-ленинист?

Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался:

— Иначе житья мне не будет. Вы не знаете, как трудно печатались лучшие мои вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время бывало страшно. Да вот и теперь не понят «Алмазный мой венец», клюют, щиплют.

— Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя.

— Он не великий. Он хороший писатель. Хороши «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». Дальше пошло хуже, просто плохо.

— Я с вами не согласен. Дальше пошло хорошо. Но допустим на минуту, что вы правы. Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его.

— Какой талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Всё-таки жизнь вашего гения была спасена...

Я не хоронил его: лежал дома после онкологической операции. Один даровитый поэт сочинил четверостишие, в котором бичует его и Алексея Толстого, с фамилией «Катаев» рифмуется «негодяев». Можно понять его гражданское возмущение, но законы искусства вечные, а не временные. И Алексей Толстой, и Валентин Катаев — крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия.

30.09.1996

Виктор Шкловский

«Юго-Запад»

I

Это название одной из книг Багрицкого.

«Юго-Запад» — это географически Одесса.

В статье я буду говорить об юго-западной литературной школе, традиция которой ещё не выяснена.

В романе Славина «Наследник» генеалогия героя этой школы разрешена искусственно.

Понятна приблизительность решения вопроса, который здесь мы будем иметь.

Конечно, не география определяет литературные школы. Но социальные отношения в определённом географическом пункте в определённое время своеобразны, и тут нужно помнить и о географии.

Трудность вопроса ещё в том, что юго-западная школа — это школа русской литературы, осуществлённая на украинской территории.

Здесь многое объясняется тем, что Одесса — порт.

Мы должны вспомнить культуры Александрии, греческую на территории Египта.

Причём, конечно, александрийская греческая культура — она и не греческая и не египетская.

Особо сложный вопрос — это вообще отношение украинской и русской культуры. Гоголь не одинок. Одновременно мы имеем работы Гребёнки, раньше мы имеем работы Нарезного, Капниста, позднее мы имеем работы Нестора Кукольника и в музыке — Глинку, создавшего русскую национальную музыку на украинские мотивы.

Юрий Николаевич Тынянов собирался написать об этом большую работу.

Профессор Менделеев, создатель Периодической системы элементов, последние годы своей жизни по-своему занимался наукой планирования.

Он определял хозяйственные центры стран.

По его мнению, центр России передвигался к югу и должен был быть где-то у Харькова. Но в Харькове элемент менделеевской системы не был предусмотрен: в Харькове были украинцы.

Передвижение хозяйственной жизни к югу, однако, существовало. Город, когда-то бывший городом анекдотов, город русских левантинцев, юго-запад России, который для начала XX века был тем, чем были для XVII—XVIII веков Астрахань и Архангельск, город Одесса стал центром новой литературной школы.

II

Очень сложно следить, как литературные формы переживают явления, их создавшие, как и почему они осваиваются новыми культурами.

Стих футуристов не был сюжетным стихом.

Замена сюжета — строфа, дающая разрешение иного порядка, — тоже не определяла его.

Сюжету русские поэты учились на Западе, учились у заморцев. Тогдашние петербуржцы, младшие акмеисты — Владимир Познер, Ирина Одоевцева и по-иному Николай Тихонов пришли к сюжетному стиху через подражание английской балладе.

Поражения и победы, победы стратегические и тактические, спутаны в искусстве.

Победитель Маяковский приехал раз в Ленинград. Он читал в Белом зале Дома искусств, потом пошли пить чай в совершенно дурацкую библиотеку со шкафами из красного дерева и цветного стекла. Внесли большой поднос, на котором стояли стаканы чая для уплотнения без блюдец. На другом подносе несли какие-то пирожные. Все это поражало количеством.

Чай нёс слугитель Ефим; кажется, нет его теперь в живых.

Маяковский был разговорчив после успеха.

— Что, Ефим, — сказал он, — у вас так не умеют?

— Я, Владимир Владимирович, — ответил Ефим, — предпочитаю акмеистов.

Здесь сражение не было выиграно.

Акмеизм не был сюжетным насквозь. Манделштам соединял стихи из отдельных строчек, строчки рождались и кружились, как слепые ласточки. Строчки были объединены более тоном, чем строем. Но Ахматова знала сюжетный стих.

По-иному Маяковский стремился к сюжетному стиху.

С однообразием солнца, встающего каждый день, он писал поэмы, драмы о неудовлетворённости поэта вчера, сегодня и в будущем. Маяковский знал о наступлении баллады, о наступлении сюжетного стиха. Он боролся с ним в поэме «Про это», в которой прямо говорил о том, как оживает «лад баллад».

Лад баллад сейчас не победил. Раскачка этого лада, традиционность тематики, ведущая за собой традиционность словаря и образа, все ещё не позволяют сюжетному стиху быть победителем.

В разметках Маяковского, которые он сделал на книгах молодых поэтов, видна эта консервативная роль балладного лада.

Победа содержания в стихах одновременно сузила содержание.

III

Попытка акмеистов создать осязаемый мир, преодолеть «стихи, сделанные из стихов», под влиянием футуристов перешла в борьбу за новую тематику.

Здесь вёл людей намагниченный футуристами Владимир Нарбут и Зенкевич, намагниченный Нарбутом.

Южно-русская школа существовала пока отдельно.

Одесские левантинцы — люди культуры Средиземного моря — были, конечно, западниками. Двигаясь к новой тематике, они пытались освоить её через Запад.

Так в петровской России иностранные слова появлялись для понятий и вещей, которые прежде не входили в сознание, хотя и были. Воздух называли — аэр, хотя и не ввозили его из-за границы.

Эдуард Багрицкий, птицевод и романтик, имел комнату, заставленную клетками, но в первых стихах он говорит о птицах Саксонии, Тюрингии.

Весёлый Эдуард Багрицкий, мечтающий об еде и поэзии, для того чтобы видеть себя, смотрел на Уленшпигеля, на героя древней книги, которая в первых переводах в России называлась сперва «Совы Зерцало», а потом «Совесть Драла», а только впоследствии вернулась к нам в бельгийской причёске.

Зеркало Уленшпигеля отражало и делало видными контрабандистов Одессы, которые приходили к нам потом то Беней Криком Бабеля, то даже Васькой-Свистом Веры Инбер, то Остапом Бендером Ильфа и Петрова, то героями стихов Сельвинского.

У Вальтера Скотта, у Бернса, у Киплинга учился Багрицкий сюжетному стиху и, овладев чужим зеркалом, наконец сумел заговорить собственным голосом в «Думе про Опанаса».

Литературная традиция, классическая для Багрицкого форма, наконец начала дышать воздухом, а не аэром.

IV

Юрий Олеша детской книги «Три толстяка» ближе к крутым улицам приморской Одессы, чем в европейской книге «Зависть». «Три

толстяка» — это почти альманах. Герои сборны. Их поступки цитатны, но они совершают их весело.

На Запад взоры, на Запад,— говорил Лев Лунц, позабытый нами серапион.

Герои «Трёх толстяков» совершают поступки, они интересны.

Валентин Катаев хотел быть учеником Бунина, но в прозаических вещах он скорее ученик Александра Грина, тоже ныне мёртвого, а завтра писателя, которого будут читать, у которого будут учиться. Имя Грина уже назвал Олеша.

Катаев в ранних рассказах работал на условном материале, создавая роман приключения, левантийский роман о плутах, которые похожи друг на друга во всём мире, во всяком случае в мире Средиземного моря.

За удачей писателя лежат его неудачи. Много попыток делается перед победой.

Но мёртвые убираются с глаз живых в историю литературы. Удача «Месс-Менд» как будто не имела продолжения. Однако вспомним о приключенческих романах Козырева, Алексея Толстого, о моём романе со Всеволодом Ивановым, об удаче Мариэтты Шагинян.

Валентин Катаев, с моей точки зрения, хорош не там, где он старается, написал превосходнейший приключенческий роман «Расстратчики» на нашем материале. С новой линии — бесполезности приключений — он дал сюжет Ильфу и Петрову для книги «Двенадцать стульев». Сюжет он взял недалеко. У Конана Дойля есть рассказ «Шесть Наполеонов».

Итальянец, формовщик бюстов, спрятал чёрную жемчужину в гипсовую массу головы одного бюста. Бюсты проданы. Итальянец ищет бюсты и разбивает их.

Позднее режиссёр Оцеп сделал из этого сценарий «Кукла с миллионами». Ещё позднее сюжет снова ожил. Он ожил в лучшем качестве, чем был рождён.

Переселение вещей во время революции дало этой теме глубину и правдоподобие.

В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа.

Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя, Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений.

Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан.

Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты.

Он ожил в «Золотом телёнке».

Ильф и Петров — чрезвычайно талантливые люди.

Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется, что чуть печальный Ильф с губами, как бы тронутыми чёрным, что он — Том Соьер.

Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой.

Петров — Гек Финн — видит в вещи не больше самой вещи; мне кажется, что Петров смеётся, когда пишет.

Вместе они работали в «Гудке».

Они — законнейшие дети южно-русской школы, больше всех от неё взявшие, больше всех её превратившие.

VI

Писать трудно. Между мировоззрением и методом нет знака равенства.

Раннему романтическому Горькому нужен был освобождённый от быта человек.

Это потом он сумел писать о Толстом как о Толстом.

Раннему Горькому приходилось колебаться в своём выборе между цыганами и босьяками. Это были две возможности.

И более романтические, более условные цыгане, цыгане пушкинские, отступили.

Бабель так работал с казаками и одесскими бандитами.

Бабель превращал в литературу устную традицию города, рассказы рассказчиков Петра Сторицына и Шмидта, научившись от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе.

Лев Никулин был сперва пародистом. До пародии его не было, потому что он писал, подчиняясь представлениям о красивости, которые тогда существовали, чуть ли не по традиции Мисс¹. Он пришёл через традицию Мисс, через стилизованные вещи.

Биография Льва Никулина мужская, с поступками, разорвалась с его литературным обликом. Он прошёл через увлечение авантурным романом, написал «Дипломатическую тайну». Через очерковую прозу он пришёл к мемуарам и получил голос, уже поседев.

Сильнейший поэт Сельвинский, так хорошо начавший, поторопился. Мировые темы «Пао-Пао» снизили искусство поэта. Старая тема — разоблачение человечества через противопоставление его обученной обезьяне, тема из сказок Гауфа — не подняла Сельвинского.

¹ Псевдоним художницы А. Немизовой, автора многочисленных стилизаций под французскую живопись XVIII в журнале «Сатирикон» и др.

Юго-западное уменье, уменье левантинца и европейца создавать сюжетное стихотворение, оставило Сельвинского, создателя поэм и драм.

Я не буду пытаться в статье объяснять писателей. Я хотел только связать их, показать общность роста и трудность освоения нового старым, переключение старого.

Мне хотелось бы только, чтобы писатели полюбили свой путь, оценили его своеобразность, трудность, чтобы он был для них не только поводом для раскаяния, но и поводом для гордости.

Южно-русская школа будет иметь очень большое влияние на следующий сюжетный период советской литературы.

Это — литература, а не только материал для мемуаров.

Вера Калмыкова

Тайна третьей столицы, или Миф о свободе

На свете нет ничего прочнее и крепче культуры. Из-под спуда канувших в небытие веков, наперекор войнам и каверзам дипломатии, из-под толщ пепла или песка вдруг возникает она — мифом о руках Венеры Милосской. И когда Гораций, а вслед за ним Державин, Пушкин, Бродский писали о нерукотворном памятнике, то имели в виду именно культуру, которая и пирамиды, и медь, и глагол времён, и ещё многое — не перечислить.

И нет ничего на свете более хрупкого и недолговечного, чем культура. Умер тот, кто знал нечто — исчез «носитель культуры», — и целая эпоха разбилась без следа и остатка. Рухнуло здание; погиб документ; пропала, сломалась вещь — и вот уже памяти не за что уцепиться, а человеку — не до чего дотронуться: недаром психологи говорят о неразрывной связи и даже зависимости мышления, вообще ментальной сферы, от тактильных ощущений.

Политические и геополитические обстоятельства последних десятилетий XX века сложились так, что целые культурные пласты, значимые ранее, вдруг или пропали вовсе, или стали незаметны. Печальная участь может постичь и страницу истории русской литературы, неразрывно связанную с «городом у моря», с «третьей российской столицей» — с Одессой.

Быть может, я преувеличиваю. В Одессе действует Литературный музей с его богатейшими фондами, работают в архивах, пишут статьи, исследования, книги замечательные одесские краеведы, историки литературы — Сергей Лущик, Валентина и Евгений Голубовские, Олег Губарь, Алёна Яворская, Елена Каракина и многие, многие другие. Выходят газета «Всемирные одесские новости» и альманах «Дерибасовская—Ришельевская». Историки литературы по сохранившимся материалам восстанавливают обстановку, в которой задумывались «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, воспоминания Константина Паустовского... Как здесь не вспомнить

блестящие исследования и публикации А. И. Ильф, М. П. Одесского и Д. М. Фельдмана, Е. Д. Толстой!..

Но всё же ситуация с «одесским текстом», его воссозданием и приближением к читателю, и на этом фоне кажется тревожной. Тиражи книг по истории литературы и культуры, выходящих в самой Одессе, ничтожны и практически не доходят до российского читателя. В России лишь специалисты старшего поколения знают имена Вениамина Бабаджана и Анатолия Фиолетова. А ведь Бабаджан — автор первой написанной на русском языке искусствоведческой работы о Поле Сезанне. С другой стороны, культурная и литературная ситуация Одессы, близкая учёным, всё больше отдаляется от читателя.

Современному школьнику и студенту порой невдомёк, что этот город сыграл колоссальную роль не только в возникновении замечательных литературных произведений, но и в... становлении русского литературного языка! Причём это не только язык «изящной словесности», но и выражения, образность и остроумие которых так украшают нашу повседневную речь. В самом деле, когда баклажаны называются «синенькими», работа — «авральная», крупный мужчина — «амбалом», а соответствующих размеров и темперамента женщина — «бойбабой»; на вопрос «как дела?» отвечают «всё в ажуре», о человеке, ведущем себя неадекватно, говорят, что он «больной на (всю) голову», при желании оказать помощь «берут на буксир», а убегая во всю прыть «берут руки в ноги»; обманывая «гонят волну», предвосхищая события «бегут впереди паровоза», не останавливаясь на достигнутом двигаются «вперёд и с песней!»; когда «постоянно» значит «всю дорогу», «внезапно» — «мяукнуть не успел», «безнадёжно» — «глухой номер», «очень быстро» — «в темпе вальса», «сломаться» — «гавкнуться», «устать» — «выпасть в осадок» и многое, многое другое, — кто знает, что все эти слова и выражения родом из Одессы?

Перед нами одно из проявлений феномена, в науке носящего название *городской текст*. В антологии «Город и люди. Книга московской прозы XX века» (М.: Русский импульс, 2008) было дано его определение. **Городской текст — это корпус произведений, в основном художественных, но также исторических и документальных, основанных на изначальной мифологеме города, предпосланной позднейшим текстам как нечто предопределяющее их особенности. В произведениях, входящих в городской текст, обозначение места действия структурно значимо. Оно проявляется на сюжетном и композиционном уровнях, влияет на характеристики образной системы, на принцип выбора автором художественных приёмов. Описанные события происходят именно так, а не иначе, поскольку случаются в данном городском пространстве, а не где-либо ещё; обрисованные характеры — это характеры городских жителей, несущих общий «особый отпечаток»,**

имеющих «лица *общее* выражение». В указанном пространстве отношения «природа—культура—человек» выстраиваются в зависимости от характеристик самого пространства (неизменно значимы, например, «туманы» Петербурга, «улучки» Москвы; Киев — «мать городов русских», а Одесса — «город у моря»). Структурно организованное в произведении, городское пространство позволяет читателю-жителю наблюдать за происходящим вокруг как бы со стороны, осуществлять рефлексию, видеть и в себе, и в окружающих «постороннего» или «Другого». «Город» в значении «жители» получают из текста этого рода знания о самих себе, понимание самих себя. А «город» как социокультурное явление порождает и тексты, то есть отдельные произведения, и «текст».

В чём же специфика «одесского текста»?

Сразу бросается в глаза, что литературный образ Одессы лишён мистики. Остап Бендер, Великий Комбинатор из плоти и крови, остроумный, изворотливый, весёлый — и *совершенно человек* — разительно отличается и от Акакия Акакиевича (петербургский текст), и от Якова Брюса (московский). Здесь нет полюсов «великого» и «малого» (с одной стороны, «кумир на бронзовом коне», с другой — бедный Евгений, лишившийся любви, разума и жизни), на которых зиждется петербургская словесность. Здесь нет места нечисти, управляющей человеческими судьбами, здесь невозможно кружение отчаявшегося героя по лабиринтам улиц, как в словесности московской. И не только потому, что самих лабиринтов не существует: Одесса — город для людей, человеческое, человеческое пространство.

Красота этого пространства пронизывает одесский текст. Прекрасные здания, дивный классицистически-барочный декор, шедевры эпохи модерна, золото, лепнина, барельефы, скульптуры, балконы, грифоны, атланты и кариатиды, почти кондитерское (не отсюда ли грандиозный торт в «Трёх Толстяках» Юрия Олеши?) великолепие существуют на морском берегу. В самый центр города доносится запах моря, здесь слышен крик чаек, отсюда виден далёкий—близкий горизонт, а значит, другие страны, даже не одну страну, а весь мир Востока и Запада. «Культурное», сотворённое человеком, и «природное» пребывают здесь в гармонии, пожалуй, уникальной в России начала XX столетия.

Здесь, пожалуй, меньше, чем в других городах, стыдно было быть бедным; здесь можно было быть «босяком» и жить в хижине — совершенно не идиллически, но и не теряя достоинства. И потому Одесса — это восторг и полнота существования, обыденно-человеческого, социального. Свободного. Если угодно — демократического, но не выстроенного, а предопределённого. «Гений места» постарался всю: возник, говоря словами Бабеля, «*город, в котором легко жить, в котором ясно жить*».

Со старшими столицами Одессу роднит словесная стихия. С Москвой — специфическая, причудливая, *харáктерная* и *характёрная* речь. Одесские Ланжерон, Молдаванка, Дерibasовская, Ришельевская, Отрада, Аркадия, Большой Фонтан (на котором, кстати говоря, нет и никогда не было никакого фонтана — просто этим словом во времена Дюка Ришелье называли источник питьевой воды), аукаются с московскими топонимами, странными для человека непривычного. Если «всё в Москве пропитано стихами», то «чтобы быть поэтом, надо родиться в Одессе»...

С Петербургом Одессу сближает — слово государево, повеление, изволение, нет, всё-таки *слово*, сыгравшее в исторической ретроспективе роль озвученной воли демиурга. Для города на Неве это был, разумеется, Пётр I, для Одессы — Екатерина II. Как и в других случаях: «Petro Primo — Catarina Sekunda».

Поистине *бывают* странные сближенья. Ничем особенно громким и грозным не отмеченный в истории 1884 год оказался для двух российских столиц — древней Москвы и юной Одессы — в некотором смысле судьбоносным. Именно в этом году И. Е. Забелин положил начало изучения и описания Москвы (Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Т. I. М., 1884), а некто А. Орлов, сотрудник Московского архива Министерства юстиции и депутат шестого Археологического съезда в Одессе, — Одессы (Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год // Составил по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции, А. Орлов. Одесса, 1885).

Вот о чём повествует А. Орлов ...Ещё в 1784 г. на этом месте располагались две татарские деревушки, «замок» (проще говоря, гарнизон на 20—25 человек) да маяк, находившийся, по словам француза Л. Клаве, в «довольно худом состоянии». Всё это вместе носило название Хаджибей. Исследователи приводят и наименование Ени Дунья, что в переводе означает «Новый свет».

Параллель с заокеанским «Новым светом» напрашивается сама собой; но американские поселенцы, прежде всего пуритане и католики, претендовали на создание некой *новой нравственности*, новой этики, нового типа культуры. Для Одессы изначально годились уже существующие культурно-этические нормы — помноженные, повторюсь, на личную духовную свободу.

...Десятилетие спустя Екатерина Великая, получившая Хаджибей в числе прочих территорий после Русско-турецкой войны 1787—1791 гг., высочайше повелела строить здесь город. Проект подготовил брабантский инженер де Волан, а план — вице-адмирал Иосиф де Рибас. С 1795 г. утвердилось и название — Одесса.

Согласно легенде, которую приводит А. Орлов, когда-то здесь располагалось древнее греческое селение Одиссос. Уже во времена Геродота население Одиссоса — или, быть может, тогда только будущего Одиссоса — было смешанным: здесь обитали и, подчеркну, *мирно сосуществовали* греческие и скифские племена. В турецкие времена появился топоним Хаджибей, Коджа-бей или Качубей — по имени одного из военачальников. В 1795 г. императрица Екатерина Великая повелела: «пусть же Гаджибей носит древнеэллиническое название, но в женском роде — Одесса»¹.

Многие исследователи не принимают всерьёз легенд, изложенных А. Орловым. Быть может, оно так и есть; но «греческий призрак» Одессы — часть её мифа, а именно миф я и реконструирую сейчас, поскольку *без исходной мифологемы городской текст невозможен*. Кстати говоря, не чем иным как реконструкцией одесского мифа занимался в «Одесских рассказах» Исаак Бабель, увидевший в реальности 1920-х свой город опустевшим и помертвелым и воскресивший его — *словесно*... Или Ильф и Петров, по сути, занятые тем же... Или Семён Липкин, прямо называющий свой город «мёртвым, но родным» — и это в 1935 г., а что говорить о времени более позднем?

...Екатерине необходимо было заселять новые земли. Но кем?.. И как? Государству пришлось надолго закрыть глаза на то, что к тёплым берегам страннопримного моря бежали от крепостной зависимости украинские и русские крестьяне, что селились здесь казаки и греки, росли поселения староверов и возникали жилища беглых каторжников. Евреи и молдаване, болгары и албанцы, поляки, итальянцы, французы, австрийцы, англичане, голландцы, словом, вся Россия, вся Европа и немножко Азии — как писал Д. Г. Атлас, «*отбросы России и Европы*» — собрались здесь для того, чтобы строить новый город — но не только и не просто город.

Это был эффект «*tabula rasa*»: возможность начать жизнь с нуля, с начала, так, как будто прошлого у тебя нет и тебя ничто не угнетает. «Некоторые из переселенцев годами (иногда и несколько десятилетий) скитались вдали от родных мест. Другие оставили родину ещё в “малолетстве”. Одесса сроднила их, дав всем возможность для самореализации с чистого листа. Объединённые активным поиском лучшей доли, изрядными амбициями и авантюрным порывом первые одесситы, разумеется, по-разному понимали и задачи своего обустройства в городе. Здесь было много места как для тёмных дел, так и для светлых

¹ Цит. По: Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. Составил по документам, хранящимся в Московском архиве министерства юстиции, А. Орлов. Репринт. — Одесса, 2007. С. xi. Далее ссылки на это издание см. в тексте, с римской и арабской нумерацией страниц в круглых скобках.

свершений. Одесса стала воистину состязательной площадкой антиподов — личностей, идей и планов»¹.

Вопреки пророчествам типа кипплинговского «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», появилась и зажила на берегу Чёрного моря Одесса, в которой европейское, азиатское и российское начала сошлись, сплелись, сплывались. «Это ли не почва, на которой поднялись во весь рост одесситы! Одесса изначально покоряла сложившейся вокруг неё мерой свободы, которая, собственно, и явила миру необыкновенный лик города» (iv).

Разумеется, изначально Одесса — город-порт. В императорском указе говорилось: «Желая распространить торговлю российскую на Чёрном море и уважая выгодное положение Гаджибея и сопряжённые с оным многия пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью для купеческих судов» (2). Интересно перечисление фамилий тех, кто отвечал за строительные работы: генерал Каховский, Екатеринославский губернатор; граф Суворов-Рымникский; инженеры полковник Ферстер и подполковник, а затем и полковник де Волан; вице-адмирал де Рибас; граф Зубов, Екатеринославский и Таврический генерал-губернатор; подполковник Харламов; майор Кайзер; майор Шарой; контр-адмирал Пустошкин; купец Первой гильдии Леонарди-Бердони. «Интернационализм», естественный для екатерининской эпохи.

Далее 19 апреля 1795 г. последовал указ об «устроении селения единоверных народов в г. Одессе и окрестностях оного». Здесь говорилось в первую очередь о греческих и албанских поселенцах, оказавших России неоценимую помощь во время войны с Турцией; затем о «градских переселенцах», для которых предписывалось строить каменные дома «на первый случай»; в этих домах разрешалось жить не более года — по истечении срока новоиспечённые одесситы должны были построить свои собственные. Далее в указе значится несколько пунктов, послуживших *основой одесской свободы* — в первую очередь религиозной, во вторую — экономической. «3-е) Когда число переселенцев сих прибудет до 57, то построить для них особую церковь, в которой бы Богослужение отправлялось на природном их языке, употребля на оную из казны до 2000 руб., без возврата. 4-е) При подтверждении в пользу их Всемилостивейшего повеления всем вообще выходящим в Россию иностранцам, ввозить беспошлинно имение их, в чём бы оное ни состояло, и сверх того товаров на продажу по цене до 300 руб. ..., к вящшему оных привлечению... 5-е) Освободить их от всех податей и служб от времени поселения их на 10 лет, а по миновании сей льготы, быть им на равнее с природными Российскими подданными...» (6–7).

¹ Руссев Н. «Лучше жить в глухой провинции у моря», или Явление Одессы // Исторический очерк Одессы... С. II–III.

Чуть позже Одессе было высочайше даровано право беспошлинной торговли, «порто-франко». О нём ратовал герцог Ришелье. Оно было введено при графе Ланжероне и дало плоды уже при князе Воронцове — одесском губернаторе, столь нелюбимом Пушкиным и столь многое сделавшем для «Одессы пыльной», Одессы европейской.

Начало было положено, путь города — определён. Число новоприбывших постоянно увеличивалось. Образовались и постоянно прирастали три основных сословия — купечество, мещанство, земледельцы. К маю 1799 г. в городе появилось: 506 домов, 23 фабрики и завода, 233 землянки, 500 лавок, 111 погребов и 167 хуторов. Строительство изначально велось «по-екатеринински» — то есть в соответствии с принципом регулярной планировки и застройки. Всё, что необходимо для цивилизованного существования, возникало стремительно и сразу же начинало работать, обеспечивая горожан всем необходимым. Были учреждены цензуры и биржа. Заработали банки. Появились почтовая экспедиция, богадельня, больницы, аптека. Строились церкви, в том числе греческая, католический молитвенный дом, старообрядческие храмы, причём Высочайшим Указом от 2 октября 1795 г. предписывалось «в отправлении старообрядцам богослужения не препятствовать» (82), предоставляя им полную свободу совести. Для России такая ситуация нетипична: повсеместное строительство церквей староверам было разрешено только с 1905 г.

Напомню: в книге А. Орлова описан краткий период с 1794 по 1803 гг. За девять лет из ничего, в буквальном смысле из воздуха — или *из слова монаршего* — возник город, полностью пригодный для выполнения отведённой им в государстве Российской роли.

Однако дело не только в официозе; удивительнее всего, пожалуй, отношение к деяниям славных одеситов-градоначальников (среди которых и герцог — собственно, Дюк — Ришелье, и Александр Фёдорович Ланжерон, и Григорий Григорьевич Маразли). Памятники им — собственно, как и Пушкину, — объект искренней любви; об их делах рассказывается и по сей день так, будто вот вчера, максимум, позавчера благодетельствовали они Одессу; и так происходит у людей разных поколений. Чувство истории здесь — и чувство культуры, русской культуры, — всегда современно.

Появившаяся в 1806 г. в петербургском журнале «Лицей» ода «Одесса», подписанная инициалами «П. Ф. Б.», исполнена пафоса, знакомого нам по начальным строфам «Медного всадника». «Всё», возникшее из «ничего»; чудо культуры — на месте царства дикой природы; разумеется, если бы город строился не так быстро, впечатления

чуда у современников не сложилось бы. С этой оды, собственно, и начинается «одесский текст»:

Где степи лишь одне унылу мысль рождали
И странника где взор предела их не зрел,
Где орды в тишине пустыни пробегали,
И никогда ручей под тенью не шумел;
Где солнце в летний день палящими лучами
Поблеклые поля сжигало и цветы,
Где серны лишь одне меж дикими скалами
Скакали по буграм с высот на высоты,
Там ныне здания огромные явились,
Обилие во всем, и вкус, и красота,
Народы разных вер и стран там водворились.
Где дикие места, где делась пустота?
Недавно, где ладья рыбачья чуть плескалась
Свирепых волн вдали у диких берегов,
Где море бурями напрасно волновалось,
И к мореплаванию где не было следов,
Презревши ныне там и бурю и пучину,
Громады носятся на белых парусах;
Прекрасный город им вдруг заменил пустыню.
В пристанище его, в его уже стенах
Не страшны ветры им, и бури все и волны.
Как лес, их мачты там спокойно вознеслись,
Избыток принесли, избытка сами полны,
Плоды всеместно их трудов там разлились.

В XIX веке читательская Одесса жила отражённым светом столичной словесности. Здесь «бывали», «живали», сюда приезжали — кто по службе, кто в ссылку, словом, сравнительно редко от души и по доброй воле. Листая страницы замечательного путеводителя «Одесский Государственный Литературный музей» (авторы М. С. Давыдова, С. Т. Выскребенцева, Н. П. Кудинова, Т. И. Липтуга, М. Д. Лошак, А. А. Мисюк, А. Н. Полторацкая, Г. Г. Семейкина, В. В. Чабаненко; Одесса: «Маяк», 1986), будто просматриваешь учебник по русской литературе. Здесь действовал один из кружков декабристов, «Общество независимых». Наведывались поэты К. Н. Батюшков, заинтересовавшийся археологией Северного Причерноморья, и В. А. Жуковский, чья племянница — детская писательница А. П. Зонтаг — была одесситкой. Здесь заканчивал переводить «Илиаду» Н. И. Гнедич, жил посланный на юг А. С. Пушкин, который начал писать в Одессе «Цыган» и «Евгения Онегина», закончил «Бахчисарайский фонтан», создал

больше тридцати стихотворений. Исследователь Елена Каракина считает, что описание возникшей «из ниоткуда» Одессы отражено Пушкиным и в «Сказке о царе Салтане»...

Выходила газета «Одесский вестник», где публиковались и Пушкин, и многие его современники. Через некоторое время появился журнал «Литературные листки» — приложение к «Вестнику». Появлялось всё больше книжных лавок с кабинетами для чтения. Открылась первая в России публичная библиотека. Н. И. Надеждин, опальный издатель московского журнала «Телескоп», серьёзно пострадавший после публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева, жил здесь в конце 1830-х. В 1846 г. сюда приезжали В. Г. Белинский (правда, ему город активно не понравился) и великий русский актёр М. С. Щепкин. Н. В. Гоголь работал в Одессе над вторым томом «Мёртвых душ». Здесь жил Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта, и к нему приезжали Я. П. Полонский, П. А. Вяземский. В 1850–1890-х Одессу не минула ни одна группа политических ссыльных — здесь побывали и петрашевцы, и революционные демократы, и народники. Н. Г. Гарин-Михайловский, живший в Одессе в ранние годы, описал её в «Детстве Тёмы» и «Гимназистах». Много времени провёл в Одессе Владимир Галактионович Короленко. С 1890 по 1893 г. здесь жил Шолом-Алейхем, кстати говоря, неудачный игрок на бирже (откуда и сюжет для его рассказа).

В 1893 г. сюда приехал «король фельетона» Влас Дорошевич. Его здешние впечатления вошли в книгу «Одесса, одесситы и одесситки». Здесь начинал — с подачи уже известного журналиста Владимира (Зеэва) Жаботинского, писавшего под псевдонимом Altalena («Качели»), — К. И. Чуковский. С конца 1880-х в Одессе бывали А. П. Чехов, обдумывавший свой «Остров Сахалин», А. И. Куприн, И. А. Бунин.

История культуры полна парадоксов; благодаря Чехову судьба и образ Соньки — «варшавской мещанки», как было написано в её уголовном деле, Софии Блювштейн — стал достоянием словесности. Вслед за ним в русскую литературу вошли и герои Бабеля, и Остап Бендер Ильфа и Петрова. Честь первооткрывателя «женского образа» жестокой и дерзкой, жизнелюбивой, изворотливой воровки и убийцы, не мыслящей себя без рискованного фартового дела, принадлежит интеллигентнейшему из русских писателей.

Чехов увидел Софию Блювштейн, прародительницу одесских литературных бандитов, маленькой, худенькой, с помятым старушечьим лицом, с кандалами на руках. Она казалась мышью в мышеловке — ходила из угла в угол своей камеры-одиночки и непрестанно нюхала воздух...

Семья Соломониаки — такова её девичья фамилия — жили в подвале, пригодном для крыс, но не для людей. Родители умерли в одну из

холерных эпидемий. «Университетами» выжившей дочки была шайка воров-домушников; учителями жизни — проститутки, перекупщики краденого, карманные воры.

Нищее голодное детство не помешало Соньке Золотой Ручке вырасти исключительной красавицей. Афёра за афёрой — и вот она уже пользуется славой, в одиночку ходит на крупные дела. Удача довольно долго была верна госпоже Блювштейн; особенно любила она *работать* на железной дороге, постепенно поднялась от вагонов третьего класса к первому. Стала членом воровского союза «Клуб червонных валетов»; «валеты» специализировались как раз на кражах в поездах дальнего следования, и Сонька избрала себе маршрут Нижний Новгород — Одесса.

Воровское счастье закончилось 27 августа 1879 г., когда Соньку арестовали. На Сахалине она оставалась верна себе: при её участии был убит лавочник, ограблен еврей-поселенец... Именно из-за этого она оказалась в одиночке, закованная в кандалы.

Одесса славна не только писателями, но и живописцами — членами Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ). Товарищество было основано в 1890 г. как Независимое творческое объединение одесских художников. Моделью было взято общество российских передвижников. Имена К. К. Костанди (1850—1921), Г. А. Ладыженского (1853—1916), Б. В. Эдуардса (1860—1924), Г. С. Головкова (1863—1909), Т. Я. Дворникова (1862—1922), П. А. Нилуса (1869—1943) и других — золотой фонд русской живописи. Достаточно сказать, что их работы составили явление «русского импрессионизма», которого *без них как бы и не существует*.

ТЮРХ организовывало передвижные выставки в России и за её пределами. Многие его члены состояли в Одесском обществе изящных искусств, были преподавателями состоявшей при этом обществе Рисовальной школы (с 1900 г. — Одесское художественное училище). ТЮРХ участвовало и в создании Городского музея изящных искусств (теперь Одесский художественный музей). Между прочим, и Одесское литературно-художественное общество было тоже создано по инициативе членов Товарищества. Синтез искусств казался художникам естественным, органичным «требованием времени». Члены общества П. А. Нилус и Е. О. Буковецкий дружили с Буниным.

...А более молодые живописцы, восстававшие против эстетики «старших», тяготели к творчеству Сезанна и создали невероятное по своей художественной выразительности явление — «русский сезаннизм», ставший основой «московской школы живописи», которую,

если по справедливости, стоит именовать «одесско-московской»...

Помимо Нилуса и Буковецкого, одесским приятелем Бунина был и Александр Митрофанович Фёдоров, милейшей души человек, литератор и художник. В его доме на Люстдорфе жили и Бунин, и Куприн, активно общавшийся со всеми местными знаменитостями за пределами литературно-артистического круга — как авиатор Сергей Уточкин, борец Иван Заикин. В Одессе Куприн написал рассказы «В цирке», «Господня рыба», «Гранатовый браслет», «Поединок», «Гамбринус». Прототипом Сашки из «Гамбринуса» стал реально существовавший одесский житель...

Постепенно возникал герой, который мог существовать и развиваться только в здешнем культурном пространстве. Будь на месте помянутого Сашки петербуржец или москвич, судьба его повернулась бы по-другому, трагично и безысходно.

В Одессе прошла юность Бориса Житкова; одессит Всеволод Лебединцев, выпускник Новороссийского университета, революционер, послужил прототипом одного из героев «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева. «Дверью мира, началом кругосветного плаванья» стала Одесса для Александра Грина.

С именем А. М. Фёдорова связана деятельность одесского Литературно-артистического общества (1897/98—1920), или «Литературки», как его ещё называли. «Наш город — умственный и художественный центр Юга России», — уверенно заявляли здесь¹.

Один из лирических шедевров Владимира Маяковского — поэма «Облако в штанах» — часть одесского текста. В 1914 г. в город приезжали выступать футуристы; судьба одного из самых радикальных деятелей устремлённой в будущее поэзии, Алексея Кручёных, связана с Одессой ещё теснее: в 1906 г. он закончил здешнее художественное училище. Кто знает — не *одесский ли язык* оказал влияние на знаменитую в будущем футуристскую «заумь»?..

Даже столь поверхностный обзор позволяет почувствовать, как Одесса из благоприятного *фона*, из южно-русской *колонии* московско-петербургской литературы постепенно превращалась не просто в самостоятельный культурный центр — в полноправное *место действия*, в *эстетически активное пространство*. Город постепенно становился *литературной личностью*. Одесса внесла в русскую литературу дух неугасимого, неистребимого жизнелюбия, стала колыбелью отечественной юмористической традиции, столь же далёкой от, скажем, романтической иронии, сколь Петербург — от южно-русской столицы.

Романтическое начало, однако, присутствовало — да и как же без

¹ *Щурова Т.* Наши вечера // Дерибасовская—Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 32. — Одесса: «Печатный дом», 2008. С. 269—270.

него, если рядом *море*, извечный символ свободы, *вольности*, вольнолюбия, *свободной стихии*. Чем активнее осмысливалось здешнее природное великолепие, тем сильнее становился дух культуры; человек был таким, как море, — неуёмным, непредсказуемым.

«Здесь и теперь» определялось, разумеется, и обликом Одессы, архитектурно и художественно совершенной. Замечательны городские дома знати, выстроенные из местного камня-ракушника. Его брали тут же, на том же холме. Постепенно образовался целый *подземный лабиринт*, зазеркалье, которое — опять-таки — послужило целям *человеческим*: в каменоломнях скрывались во время Великой Отечественной войны тысячи одесситов, спасавшиеся от фашистов.

Одесская архитектура XIX столетия — особая тема; здесь, кажется, нет двух одинаковых домов. Дома роскошны и поражают воображение южным барочным великолепием. Лепнина, железнаяковка, фронтоны, балконы, скульптуры и маскароны — всё это пиршество для глаза. Знаменитыми стали «углы» двух пересекающихся улиц: сюда выходят самые причудливые, затейливые части зданий.

Чем красивее становилась Одесса, тем мощнее обнаруживали себя дух свободы и уникальное «чувство Европы». «Европейский миф» русской культуры ещё ждёт своего исследователя. Свободомыслие великих западных философов зиждилось на полновесном буржуазном укладе, чувство собственного и общечеловеческого достоинства было неразрывно с чувством собственности. Но в России, где подавляющее большинство населения *само ещё вчера было собственностью*, такие тонкости, увы, были далеко не всем доступны. Европейские свободы виделись как нечто абсолютное, очищенное от «примесей» права, от принципов законопослушности. То, что так стремился привить «русскому духу» Пушкин — уважение к Закону, равенство Закона и Личности, — в России, увы, не прижилось.

...А на одесских улицах звучал уникальный южнорусский говор — причудливый воляпук, порождавший новые слова, ломавший привычную грамматику, разрушавший традиционный синтаксис. Так изъяснялись «люди воздуха» (термин этот придумал Менделеев Мойхер-Сфорим).

Язык, как учили романтики, есть *дух народа*. Аристократический город, равно как и город нищий, город литературный или город бандитский, жаждал одного — простора для осуществления своих устремлений, духовно тождественного морю, небу, песку Золотого берега.

Соседство и *мирное сосуществование* католических, русских и греческих храмов с синагогами и церквями старообрядцев означало одно — близкое соседство и *мирное сосуществование* различных культур, нигде более, увы, не уживавшихся. Хотя, конечно, во второй половине XIX в. картина уже не была идиллической; с отменой «пор-

то-франко» и вспышками экстремизма, провоцировавшего национальную рознь, ореол одесской свободы потускнел; но мифологема города осталась неповреждённой. А для создания «городского текста», как говорилось выше, мифологема — *первична*.

«Критическая масса» культуры постепенно накапливалась; должна была явиться самостоятельная литературная школа — и она явилась в начале XX в. Связанная прежде всего с именами Эдуарда Багрицкого, Юрия Олеши, Валентина Катаева, Исаака Бабеля, Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Веры Инбер, Льва Славина, Вениамина Бабаджана, Анатолия Фиолетова, Зинаиды Шишовой, Семёна Кирсанова и других литераторов, она имела, несмотря на быстрое «распыление» («одесская» литература уже через пять-шесть лет после своего появления стала «московской» и отчасти «петербургской», точнее, «ленинградской»), вид, характер и облик настоящего «эстетического взрыва». Название этой школы — «Юго-Запад» — при всей условности — отвечало духу явления; «Юго-Запад», первая книга Багрицкого и статья В. Б. Шкловского, имел важный подтекст — «Зелёную лампу», недвусмысленно заявлявшую о продолжении пушкинской традиции.

...На одном из заседаний Литературно-художественного общества встретились и познакомились два молодых человека — Валентин Катаев и Эдуард Багрицкий. В то же время состоялось знакомство Багрицкого с Олешей, описанное Багрицким в поэме «Последняя ночь». С этого момента, как считает Елена Каракина, и можно начинать отсчёт *собственно одесского литературного времени*. Через некоторое время началось описанное Каракиной одесское литературное светопредставление.

Но задержимся в 1914 г. Приезд футуристов в Одессу, знакомство Олешы, Катаева и Багрицкого. О дате последнего литературоведа и мемуаристы спорят, и мне приходится «подгонять» её к нужному рубежу. Рубеж — Первая мировая война, на которой многим из вышеперечисленных авторов пришлось быть солдатами.

В период Гражданской войны Одесса стала, по словам Елены Толстой, «первой столицей русской диаспоры»¹, центром, в котором собрались неуверенные, колеблющиеся, да просто беженцы, которых волнами политического ценом выбросило на Золотой берег. Одесса «столкнула всех со всеми, перемешала города, акценты и стили, эпохи и поколения, и что важнее всего — смешала иерархии, здесь всё сравнивалось со всем, всё подвергалось переоценке. Это был тот котёл,

¹ Елена Толстая. Начало распыления — Одесса // Toronto Slavic Quarterly. № 17. 2006. <http://www.utoronto.ca/tsq/17/tolstaya17.shtml>

в котором выплавлялась новая русская литература, театр и кино»¹. Многие собирались уезжать из России навсегда; многие надеялись на то, что белая армия при помощи иностранных войск сумеет одержать победу, и пережидали тревожное время поближе к порту, откуда можно было в случае чего отплыть на Запад (так, собственно, и произошло впоследствии); некоторые симпатизировали красным, но в город у моря их тянула ещё и сложившаяся здесь литературная ситуация...

Так странен, так почти невозможен расцвет искусства на фоне небывалой в России жестокости, массовых убийств, расстрелов, пыток, бандитизма (не забудем, что поэт Фиолетов погиб именно *от бандитского нагана*), что только диву даёшься — откуда и почему возникло вдруг здесь в городе, в котором междувластие являлось в те времена политической нормой, всё это великолепие, обилие, цветение? Об Одессе растерянного, испуганного обывателя писал Владимир Нарбут; кровью пропитаны стихи Кирсанова, Багрицкого — самой реалистической, потому что льющиеся её потоки оказывались в те поры нормальной жизненной реалией. И всё же...

Диапазон литературных интересов в Одессе того времени огромен. Здесь работали писатели-народники, писатели-реалисты, писатели-романтики. Молодёжь тяготела к «новому искусству». По-прежнему функционировало Литературно-художественное общество; действовала «Среда», кружок, существовавший на базе «Литературки» (на одном из собраний со своими революционными стихами выступил Максимилиан Волошин) по модели московской «Среды»; «Зелёная лампа» (её активность пришлась как раз на первые годы Гражданской войны); выходили альманахи, сборники, множество газет, в Доме артиста давались благотворительные концерты, организовывались новые журналы, появлялись новые книгоиздательства («Русская культура», «Гнозис», «Русское книгоиздательство в Одессе» под руководством А. А. Кипена, «Омфалос», организованное В. С. Бабджаном), действовали и прежние. Встречали зрителей кабаре, из которых самое известное — «Летучая мышь» Н. Балиева. На даче Фёдорова по-прежнему встречались Бунин, Куприн, Толстой. Порой существование «одесской писательской диаспоры» казалось настолько органичным, что в письмах литераторы звали сюда друзей — будто откуда-нибудь из имения или с места постылой службы в Петербурге или в Москве. Толстой писал Андрею Соболю: «Стало быть, тебе нужно немедленно приехать в Одессу, хотя бы для того, чтобы дружески поболтать. Необходимо организовать! Необходимо сделать что-то необыкновенное!»².

¹ Елена Толстая. Начало распыления — Одесса // Toronto Slavic Quarterly. № 17. 2006. <http://www.utoronto.ca/tsq/17/tolstaya17.shtml>

² Цит. по: там же.

Место «Зелёной лампы» среди всего этого многообразия — особое. Сюда ходили молодые поэты, рождённые в Одессе. Мемуаристы называют следующие имена: Эдуард Багрицкий, Александр Биск, Леонид Гроссман, братья Георгий и Вадим Долиновы, Валентин Катаев, Иван Мунц, Леонид Нежданов, Эмилия Немировская, Юрий Олеша, Софья Соколова, Анатолий Фиолетов, Зинаида Шишова. Волошин, Толстой и его жена Наталья Крандиевская и другие столичные литераторы по мере прибытия в Одессу либо входили в кружок, либо, во всяком случае, приходили сюда слушать и выступать.

По-видимому, для вольных или невольных одесситов *литература как таковая* оказалась в какой-то момент важнее *литературных группировок* с их неперенными и порой непримиримыми разногласиями. Важность *словесности самой по себе*, взятой в *отдельности от внеэстетических целей* — социальных «польз», политических платформ, размежеваний и вынужденных союзов, — именно в Одессе стала очевидной для многих, превратившись в основную цель творчества.

«Зелёноламповцы» как явление — независимо от того, когда именно стал посещать собрания тот или иной литератор, — заслуживают большего, чем простое перечисление имён. В них было нечто общее, те объединяющие черты поэтики, без которых нет и не может быть *литературной школы*.

Я бы сказала, что эта черта — любовь к литературной игре, к маскам, к созданию и моделированию разнообразных литературных личностей, к выбору игрового лирического героя, к перетасовке многообразных лирических «я». Вдобавок — склонность к «галантной культуре» багнословного в эпоху Гражданской войны «осмнадцатого столетия».

...Не случайно, наверно, Алексей Толстой пишет в Одессе пьесу «Любовь — книга золотая». Работая над произведениями, посвящёнными эпохе Петра I, он искал нужную литературу в одесской Публичной библиотеке. «В этих поисках он наткнулся на очаровательный курьёз: галантную книжку середины XVIII века, своего рода самоучитель куртуазной любви, — чувства в тогдашней России нового. Так рождается прелестная комедия “Любовь — книга золотая”, в которой среди прочих персонажей действует и Екатерина II. Он много раз читал пьесу к восторгу публики»¹. Но, вероятно, дело не только в изящной и неожиданной находке, а в том, что она оказалась созвучна одесскому контексту и именно на его благодатной почве превратилась в художественное произведение.

Многие члены «Зелёной лампы» избирали себе псевдонимы и выступали под новообретёнными «личинами». «Надевание масок».

¹ Елена Толстая. Начало распыления — Одесса // Toronto Slavic Quarterly. № 17. 2006. <http://www.utoronto.ca/tsq/17/tolstaya17.shtml>

На фоне провозглашённого политического их «снятия», точнее, «срывания», это выглядит как массовая эстетическая акция, тем более интересная, что, по-видимому, она не имела для самих «маскирующихся» характера и значения «коллективного действия» на манер, скажем, недавно отгремевших литераторов-постмодернистов. Зинаида Шишова носила на самом деле фамилию Брухнова; Анатолия Фиолетова звали Натан Вениаминович Шор; Евгений Катаев превратился со временем в Евгения Петрова; Вениамин Бабаджан выступал под именами то Мирры де Скерцо, то Клементия Бутковского, а настоящая фамилия Багрицкого, как известно, Дзюбин... Обретение одесситами (не обязательно коренными, но и теми, кто имел отношение к *тексту* этого города) *литературных имён* имело, на самом-то деле, характер эпидемический. В разное время и по разным обстоятельствам Аминад Петрович (Аминодав Пейсахович) Шполянский стал Дон-Аминадо; Илья Арнольдович Файнзильберг — Ильёй Ильфом (псевдонимы взяли и его братья-художники), Семён Кортчик — Семёном Кирсановым...

Где маски, там и зеркала. Пушкин здесь не противостоял Хлебникову, а сосуществовал с ним, отражённый, в том числе, и *ахматовским зеркалом*, в пределах одной и той же *культурной картины мира*. Ахматова, одесситка по рождению и не-одесситка, чтобы не сказать анти-одесситка, по стилистике, в свою очередь, отражалась в поэзии «зелёноламповцев»; Игорь Северянин и Александр Вертинский, сдобренные Михаилом Кузминым и приправленные тем же Хлебниковым, давали тот удивительный эталон *одесского вкуса*, который всех *сталкивал, перемешивал, смешивал иерархии, сравнивал*.

В мае 1920 г. возникло ЮгРОСТА — южное отделение Всеукраинского бюро Российского Телеграфного Агенства, которым заведовал Владимир Нарбут. Он привлёк писателей, сочувствовавших новому государственному строю: это Бабель, Багрицкий, Олеша, Катаев, Кольцов, Славин, Бондарин, Ильф, Инбер, Шишова, Аделина Адалис. В 1920-е в городе действовало довольно много литературных объединений: «Потоки Октября», «Молодая гвардия», «Станок», «Юголеф», «Гарт». Из них наиболее результативными оказались, наверное, «Потоки»: сюда ходили Татьяна Тэсс, Семён Олендер, Семён Кирсанов, Лев Славин, Семён Гехт. Другим известным «классом» одесской «школы» стал «Юголеф», возникший в 1924 г. Из «Потоков» сюда пришли Кирсанов и Бондарин. «Юголеф» отвечал запросам своего времени — искусство, обращённое в будущее, по самому существу своему было и не могло не быть политизированным.

В 1923 г. случился «массовый переезд» пишущих одесситов в Москву; почти целиком «одесской» оказалась редакция «Гудка» — газеты, сыгравшей роль «литературного института» для этого писа-

тельского поколения. Позже всех, в середине двадцатых, из Одессы уехал Багрицкий; до этого в «Коллективе поэтов», наследовавшем «Зелёной лампе», поэт сумел привить своим ученикам любовь к русскому стиху, поэтическое чувство слова, которое потом, в зрелых прозаических произведениях, «работало» у каждого из них. «Плотно пригнанные слова», как писала Зинаида Шишова, широчайшая образованность — эти черты культуртрегера-Багрицкого (его называли «неофициальным литвузом») не просто роднят — отождествляют его с Валерием Брюсовым, Вячеславом Ивановым, Николаем Гумилёвым...

Одесса тридцатых годов и позже вновь оказывается «отражением» московской и отчасти ленинградской литературы. Сюда приезжают, чтобы читать свои произведения, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Борис Лавренёв, Михаил Светлов, Юрий Лебединский и многие, многие другие. Своей «школы» здесь уже больше не будет; Остап Бендер, прототипом которого был Остап Шор, брат Анатолия Фиолетова, встретился со своей Одессой уже в Москве; великие книги «одесского текста», среди которых «Белеет парус одинокий» Катаева или «Пятёр» Владимира (Зеэва) Жаботинского, будут написаны уже позже и не здесь.

Так, собственно, и сформировался «одесский текст», грандиозный пласт замечательной литературы. Атмосфера творчества и свободы питала русскую словесность ещё многие и многие десятилетия спустя. Одесса, словно сказочный Эмбер-Янтарь Желязны, отбрасывала свои отражения, умножавшие миф о «третьей столице», «городе у моря», территории свободы. Наша задача сегодня — сохранить это богатство, передав миф, как это делали сказители прошлого, потомкам: в целости и неизменности.

Замысел этой книги рождался в 2007 г. в Одессе, в доме Валентины и Евгения Голубовских, и вряд ли мог родиться где-либо ещё. Наверное, естественно завершить мой беглый и краткий очерк словами признательности этим замечательным людям, хранителям и создателям одесского текста.

Комментарии

Составлять эту книгу было и легко, и сложно. Легко — потому что Одесса Бабеля и Паустовского, Катаева и Багрицкого, Ильфа и Петрова и Жаботинского давно уже стала *классикой* XX века, да и прежде она была читателю, так скажем, не безвестна: Одесса Пушкина, Одесса Куприна... Сложно — потому что «вершины» эти не на равнине возникли, они — лишь часть горного массива, где зародился в первой трети прошлого века «юго-западный ветер», проникший впоследствии во все — от площадей до переулков — роды и жанры литературные, вовремя и к месту, когда нехватка воздуха ощущалась в литературе особенно остро. Сложно — потому что следовало как можно более естественно вписать эти имена в тот *контекст*, в то действо, где «короля играет свита», среди прозаиков и поэтов второго, третьего, а то и вовсе дальнего, забытого «плана» и рядом с воспоминаниями, воссоздающими, хотя бы отчасти, атмосферу, в которой возник, только и мог возникнуть этот ветер.

По мере возникновения книги замысел её изменялся — не в целом, в «детализациях». Так, пришлось отказаться от раздела «Переводы», оказавшегося, при ближайшем рассмотрении, достойным, на наш взгляд, отдельного тома, не скороговоркой, но хотя бы эскизно очерчивающего творчество одесситов — поэтов-переводчиков: от пьес Ростана и сонетов Шекспира в переводах Александра Фёдорова и верлибров Уитмена в переложениях Чуковского до таких шедевров переводческого искусства, как «Потерянный Рай» Мильтона (пятнадцатилетний труд Штейнберга) и киргизский «Манас» в «русском исполнении» Липкина. Зато появилась маленькая «Детская площадка» — не более чем «знак» того, что и в создании первоклассной детской литературы XX века одесситы Саша Чёрный, Катаев, Олеша, основоположница детской кукольной драматургии Нина Гернет (и те, что на «Площадке» расположились) сыграли далеко не последнюю роль.

В комментариях даны справки об авторах, предельно лаконичные — о хорошо знакомых читателю, более подробные — о мало известных или «забытых», а также краткие пояснения выбора, сделанного составителями при включении в книгу именно этого произведения. Некоторые авторы представлены в двух, а то и трёх разделах книги. В этих случаях отсылки на все публикуемые сочинения — при первом упоминании автора. Комментарии к публикуемым текстам — в постраничных сносках. Исключения сделаны лишь для двух стихотворных вещей — поэмы Олеси «Новейшее путешествие Онегина по Одессе» и водевиля Багрицкого и Шенгели «Мсть Калиостро», текстов, до сих пор практически недоступных читателям, сведения о них мы сочли уместным привести в «общих» комментариях.

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922), признанный «король фельетона», его известность началась в 1893 г., с работы в одесских газетах; годом позже Одесса пышно отметила своё столетие, а ещё год спустя на сие событие в своём коронном стиле откликнулся Дорошевич — книжкой «Одесса, одесситы и одесситки», давным-давно ставшей библиографическим раритетом; в 2013 г. под тем же заглавием в Одессе вышел солидный том (изд. АО «Пласке»), куда, кроме той книжки, вошли и другие «одесские» фельетоны Дорошевича, а также воспоминания о нём и связанные с его жизнью и творчеством документальные материалы из фондов Одесского Литературного музея, отсюда и взяты оба публикуемых в книге текста.

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881–1925); следствием поездки Аверченко в Одессу стала маленькая, «о пяти фельетонах», книжка, вышедшая в 1911 г. в «Дешёвой юмористической библиотеке «Сатирикона»» под заглавием «Одесские рассказы», в 2002 г. она была переиздана в Одессе (изд. «Инга»), два рассказа из неё — перед вами.

Пётр Мосевич Пильский (1876–1941), журналист, публицист, писатель; десятилетним был отдан родителями в московский кадетский корпус, затем окончил Александровское военное училище, участвовал в Первой мировой войне; журналистикой и литературной критикой всерьёз занялся во второй половине 1890-х гг., был хорошо знаком с Леонидом Андреевым, дружен с Куприным, позже, после женитьбы на артистке Елене Кузнецовой, был многие годы дружески связан с Михаилом Чеховым и Шаляпиным; с середины 1910-х гг. часто бывал и подолгу жил в Одессе, здесь именно он — первым — выделил из десятков «пишущих» молодых тех, кто немногим позже составили «ядро» *новой*, «южно-русской» литературы; в 1920 г. эмигрировал в Латвию, где стал «золотым пером» русской прессы, издал несколько книг очерков и воспоминаний.

Илья Ильф (Илья Арнольдович Файзильберг, 1897–1937), входил в группу «Коллектив поэтов», был членом Одесского Союза поэтов, стихи его, к сожалению, не сохранились; в 1923 переехал в Москву, стал сотрудником газеты «Гудок»; в 1927 г. началась совместная работа с Е. Петровым, блестящие результаты которой общеизвестны, однако оба писателя и до и после «соавторства» публиковали и произведения, написанные «единолично», таковы оба включенных в книгу фельетона Ильфа.

Лев Исаевич Славин (1896–1984) — прозаик, драматург, сценарист, мемуарист; с 1919 г. входил «Коллектив поэтов», т. е. начинал, как и все его друзья-писатели-одесситы, стихами; в 1924 г. переехал в Москву, работал в редакции газеты «Гудок», первый его роман «Наследник» был издан в 1931 г., но настоящий, «шумный» успех принесла ему написанная годом позже пьеса «Интервенция» (1932); из фильмов, снятых по его сценариям наиболее известны «Возвращение Максима» (1937) и «Два бойца» (1943); написал «исторические биографии» своих друзей — Багрицкого, Ильфа и Петрова, Олеси (где в авторе слиянны биограф и мемуарист), воспоминаниям отведена и значительная часть книги «Мой чувствительный друг» (1973), откуда взят публикуемый в мемуарном разделе очерк о Викторе Шкловском.

Шолом-Алейхем (Шолом (Соломон) Нохумович Рабинович 1859—1916), писал по-русски, на иврите, но признание классиком принесло ему написанное на идише; Одесса конца XIX — начала XX в. предстает перед читателем во многих его сочинениях, так что выбор был для составителей непростым — и сделан в пользу, по их мнению, рассказа не из тех, что наиболее «на слуху».

Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг, 1880—1932), поэт, прозаик, переводчик; детство и отрочество провел в Одессе, где в четырнадцать лет дебютировал в печати стихами; годом позже сбежал из дому в Петербург; с 1908 г. сотрудничал в «Сатириконе», став самым популярным из поэтов этого журнала, выпустил несколько сборников стихов и детских книжек; эмигрировал в 1918 г.; жил во Франции, где и написаны «одесские» стихотворение и рассказ.

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953), часто приезжал и подолгу жил в Одессе — на даче своего друга, писателя и переводчика А. М. Фёдорова; из Одессы в 1920 г. уехал в эмиграцию, до которой «одесские впечатления» отчётливо отражались лишь в стихах (см. раздел «Поэзия»); рассказ, написанный двадцать лет спустя стал, можно сказать, «воспоминанием об Одессе».

Михаил Яковлевич Козырев (1892—1942), поэт, прозаик, в 1918—20 гг. жил в Одессе, здесь женился на поэтессе Аде Владимировой, был хорошо знаком с Багрицким, Шенгели, Катаевым, Ильфом, потом переехал в Москву, входил в кружок «фантастических» писателей (вместе с М. Булгаковым, Л. Леоновым, С. Заяицким и др.), был деятельным участником «Никитинских субботников», издал два десятка книг, живо встреченных критикой и принёсших автору изрядную популярность; в 1930-х его перестали печатать, в июле 1941 г. Козырев был арестован и в январе 1942 г. погиб в Саратовской тюрьме; характерно, что именно «после Одессы», с рассказа «Крокодил» начался совершенно новый период творчества Козырева, принёсший, в частности, такой шедевр, как антиутопию «Ленинград» (ставшую, судя по «следственному делу», полтора десятка лет спустя «криминальной» причиной ареста писателя и его гибели); книги Козырева изымались из библиотек, имя вымарывалось из каталогов и справочников, за полвека после смерти Козырев был забыт и только в начале 1990-х гг. его сочинения стали переиздаваться.

Алексей Николаевич Толстой (29.12.1882 /10 января 1883/—1945), в 1918—20 гг. жил в Одессе, сотрудничал в газетах и журналах и с театрами, работал над прозой, завершённой и изданной уже в эмиграции, где провёл три года и в 1923 г. вернулся в СССР.

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894—1956), поэт, переводчик, теоретик стиха; детство и юность провёл в Керчи, здесь в 1913 г. познакомился с приехавшими проводить «Олимпиаду футуризма» Давидом Бурлюком, Игорем Северянином, Владимиром Маяковским, Вадимом Баяном (с двумя первыми впоследствии подружился); связь с Причерноморьем легко прослеживается во всей его жизни и творчестве; в культурной жизни Крыма и Одессы второй половины 1910-х — начала 1920-х гг. Шенгели был фигурой столь заметной и значительной, что, например, в сохранившемся в архиве Паустовско-

го остроумном «уставе» товарищества молодых одесских литераторов «Под яблоневым деревом» есть отдельный пункт: «Не говорить о Шенгели», — стало быть, говорили, и часто; в Одессе он жил в 1919–21 гг., был немногим старше «начинающих» Багрицкого, Катаева, Олеси, ровесником Бабеля, на два года младше Паустовского, но раньше начал литературный путь, потому воспринимался ими как «мэтр» (см., например, в мемуарном разделе очерк В. Бугаевского); в Одессе им написано много стихов (три из них в поэтическом разделе книги), он энергично сотрудничал в газетах и с театрами, для одного из них перевёл пьесу Поля Клоделя «La ville» («Город», текст перевода до нас не дошёл), для другого — совместно с Багрицким — сочинил водевиль «Месть Калиостро» (см. в поэтическом разделе); Шенгели уехал из Одессы в 1921 г., а в следующем году переселился в Москву, где вскоре стал профессором Брюсовских Высших литературных курсов, действительным членом ГАХН, председателем Российского Союза поэтов; беллетризованные мемуары «Чёрный погон» написаны в 1927 г. в Симферополе, публикуемый фрагмент, начинающийся прибытием в Одесский порт парохода, на котором автор/герой «бежал» из Феодосии, сохранился (с незначительными разночтениями) в архиве Багрицкого — под заглавием «В “белой» Одессе»; к авторской машинописи «Чёрного погона» приложена записка (рукой Шенгели), где «беллетристические псевдонимы» раскрыты: Шевелев — Иван Бунин, Танцфельд — поэт Александр Кранцфельд (1890–?), Красовский — поэт Александр Соколовский (1897–?), уехавший в 1920 г. в эмиграцию, о дальнейшей его судьбе узнать не удалось, Кардан — Эдуард Багрицкий, Бэрман — Леонид Гроссман, Ардаши — Юрий Олеша, Сагайдачный — Влас Дорошевич, Рыльский — Пётр Пильский.

Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев, 1903–1942), в 1923 г. переехал в Москву, при содействии старшего брата стал сотрудничать в газете «Гудок», по его же совету взял псевдоним; в 1925 г. познакомился с Ильфом, литературные последствия этого знакомства известны; публикуемый рассказ написан, так сказать, «на пороге» соавторства, сделавшего обоих знаменитостями.

Семён Григорьевич Гехт (1903–1963), прозаик, начинал стихами, ими и дебютировал в печати (1922); в 1923 г. переехал в Москву, работал в редакции газеты «Гудок», первую книгу издал в 1929 г. («Штрафная рота»), в последовавшие полтора десятилетия вышло ещё восемь книг; в 1944 г. был арестован, восемь лет провёл в лагерях, по возвращении издал ещё несколько книг, но его так толком и не «вспомнили», он остался полузабытым, и только в 2010 вышел составленный Алёной Яворской том «Избранное» (Одесса, изд. «Optimum»).

Владимир Евгеньевич Жаботинский (Вольф Евнович (Зеэв), 1880–1940) поэт, прозаик, журналист, переводчик (Altalena), писал на четырёх языках (русский, идиш, иврит, французский), друг детства и юности Чуковского, дебютировал в журналистике в 1897 г., сотрудничал в «Одесском листке» — крупнейшей провинциальной газете России; в 1904 г. переехал в Петербург; Горький и Куприн полагали, что он мог стать одним из крупнейших русских

писателей, кабы не увлёкся сионизмом и не стал одним из его лидеров; после Первой мировой войны поселился в Палестине и с 1923 г. стал регулярно публиковать в журналах прозу; в 1927 г. издал роман «Самсон Назорей», три года спустя — автобиографический роман «Пятеро» (одно лучших прозаических произведений 1930-х, однако почти не замеченное тогдашней критикой); в последние десятилетия многие его произведения были переизданы, вплоть до начавшегося в 2008 г. Собрания сочинений в девяти томах.

Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968), во время Гражданской войны около двух лет прожил в Одессе, бывал в ней и позже; «одесские темы и мотивы» звучат в его прозе от «Романтиков» (1923) до завершающей его творческий путь шеститомной «Повести о жизни»; публикуемая глава-новелла из повести «Золотая роза» впервые за четверть века напомнила читателям о почти совсем к тому времени забытом Андрее Соболе.

Александр Грин (Александр Степанович Гриневский, 1880—1932), знаменитый Зурбаган, где происходит действие почти всей его «черноморской» прозы, несомненно наделён узнаваемыми чертами Одессы (а также Севастополя и Феодосии), «По закону», пожалуй, единственный «чисто одесский» рассказ, к тому же не входящий в число наиболее известных сочинений Грина.

Андрей Соболев (Юлий Михайлович Соболев, 1888—1926) — прозаик, по опросу, проведённому в 1925 г. одним из московских журналов, большинством читателей был назван лучшим современным беллетристом; при жизни издал около двух десятков книг, посмертно — в 1926—28 гг. вышло два собрания сочинений, после чего печатать его сочинения перестали, хотя формального «запрета на имя» не было; уже к середине века новым поколениям читателей это имя было едва знакомо, и лишь в начале 1990-х гг. появились первые переиздания, но и они в тогдашнем «обрушении» на читателя эмигрантской и «потаённой» литературы прошли почти незамеченными; повесть «Салон-вагон» считается вершиной творчества Андрея Соболева.

Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887—1950), прозаик, драматург, историк и теоретик литературы и театра; родился и до 1922 г. жил в Киеве, начиная с 1910 г. эпизодически печатался в газетах и журналах, однако сам считал своим писательским дебютом публикацию в журнале «Зори» (1918) новеллы «Якоби и “Якобы”»; в 1922 г. переехал в Москву, преподавал в Экспериментальных мастерских (студенческих студиях) Камерного театра, работал в издательстве «Энциклопедия», публиковал статьи о драматургии и театре, сочинял пьесы и киносценарии (наиболее известные - «Праздник святого Йоргена», реж. Я. Протазанов, «Новый Гулливер», реж. А. Птушко); с неизменным успехом читал свою прозу на «Никитинских субботниках», в ещё не прикрытых большевиками литературных обществах и салонах, однако попытки издать книгу были безуспешными; после смерти был совершенно забыт, и только в 1989 г. одному из составителей удалось издать первую книгу прозы Кржижановского - «Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного»; за нею последовали ещё несколько, наконец, в 2013 г. завершён выпуск шеститомного собрания сочинений; ныне сочинения Кржижановского переведены на немецкий, французский, английский,

польский, испанский, украинский, японский и др. языки, их изучение включено в программы престижнейших университетов Европы, США и Канады; жена Кржижановского — родившаяся в Одессе артистка Анна Бовшек из года в год проводила летние месяцы у матери и сестёр (дача семьи Бовшек, кстати, располагалась по соседству с дачей А. М. Фёдорова, той самой, где подолгу живал Бунин), бывал с нею на той даче и Кржижановский, дольше всего — в 1937 г., полтора месяца, из этой поездки и был привезён в столицу публикуемый очерк.

Ефим Давидович Зозуля (1891–1941), родился в Лодзи, детство и юность его прошли в Одессе; двадцатилетним дебютировал журналистикой и прозой в одесской периодике, три года спустя перебрался в Петроград, работал секретарём редакции «Сатирикона», много писал и печатался; в 1918 г. Гражданская война занесла его в Киев, здесь, в журнале «Зори», выходившем под редакцией Нарбута, был напечатан «Рассказ об Аке и человечестве» — первая антиутопия в истории литературы (знакомая Евгению Замятину в пору сочинения романа «Мы»), в том же году вышла его первая книга — «Гибель главного Города»; в 1919 г. переехал в Москву, принял активное участие в создании затеянного Михаилом Кольцовым ЖурГаза, первого из крупнейших советских журнально-газетных концернов; в 1923 г. вместе с Кольцовым основал журнал «Огонёк», придумал и осуществил книжную серию «Библиотечка “Огонька”»; в 1920-х книги его выходили чуть ли не ежегодно, иногда и по несколько за год; в 1927 г. вышло собрание сочинений в трёх томах (запланированный четвёртый не вышел), с начала 1930-х печатался преимущественно в журнале «Крокодил», так что забывать его прозу стали ещё при жизни; в 1941 г. ушёл рядовым в ополчение и вскоре умер в госпитале; его почти забыли, изданная в 1962 г. единственная книга прошла незамеченной, и только в 2012 г. в Одессе был издан большой том его сочинений — «Мастерская человек»»; впрочем, и по сей день издано не всё, архив писателя находится в США у его внука.

Александр Иванович Куприн (1870–1938), на рубеже XIX–XX вв. жил в Одессе, знал и любил этот город; многократно издававшийся «Гамбринус» давно стал классикой русской прозы XX в. — и его присутствие в книге составители сочли непременно.

Валентин Петрович Катаев (1897–1986), дебютировал в печати тринадцатилетним — в 1910 г. стихотворение «Осень» было опубликовано в газете «Одесский вестник»; писал стихи до середины 1950-х гг., последнее датировано 1954 г. (три стихотворения включены в раздел «Поэзия»); один из самых «одесских» писателей XX века: не преувеличение сказать, что родной город — постоянный и важнейший «персонаж» десятков его рассказов (см. например, в мемуарном разделе книги рассказ «Встреча»), тетралогии «Волны Чёрного моря» (1936–1961), наконец, всей поздней его прозы, его «мовизма»; в Москву переехал в 1922 г., два года спустя фантазмагорические впечатления этого переезда отозвались в публикуемом рассказе.

Юрий Карлович Олеша (1899–1960), родился в Елисаветграде, вскоре семья переехала в Одессу, родным языком в семье был польский; стихи по-

русски начал сочинять ещё в гимназии, из опубликованных в эти годы стихов наибольшую популярность обрело «Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе» (см.: в разделе «Поэзия» первое воспроизведение этих «вариаций на пушкинскую тему» за без малого столетие; здесь — далее — комментарий к поэме); в 1922 г. переехал в Москву, работал фельетонистом в газете «Гудок», начал писать прозу — сказочный роман «Три толстяка» (1924, опубл. 1928) и повесть «Зависть» (1927) сразу сделали его одним из самых популярных писателей; публикуемый рассказ — «одесская редкость» среди его прижизненных публикаций, куда более отчётливо Одесса проступает в его посмертных книгах «Ни дня без строчки» (1961) и «Книга прощания» (1999).

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940), «коренной» одессит с Молдаванки, писать начал в пятнадцать лет, первые рассказы были опубликованы в Киеве и Петрограде, наиболее популярный в мире из всех своих земляков-писателей, великолепный знаток одесской жизни, языка, нравов, и это знание полной мерой определило стиль и содержательность всей его прозы, от ранних вещей до этого, одного из самых поздних рассказов.

Мариан Николаевич Ткачѳ (1933—2006), родился в Одессе, учился в Москве — с первых студенческих лет увлёкся Вьетнамом, его историей, культурой, литературой, стал одним из лучших российских вьетнамистов, много раз — и подолгу — бывал во Вьетнаме и чувствовал там себя, как дома; переводил классическую вьетнамскую прозу, писал свою, печатать её начал во второй половине 1980-х гг.; единственная книга — «Всеобщий порыв смеха» — вышла в 1992 г. с предисловием Аркадия Стругацкого.

Михаил Захарович Левитин (1945), режиссѳр, прозаик, драматург; первым в СССР поставил спектакль по произведению обѳриутов («Хармс! Чармс! Шардам! Или Школа клоунов» /по Д. Хармсу/, 1982), первая книга прозы — «Чужой спектакль» — вышла в 1982 г., с тех пор — ещё более десяти книг.

Михаил Михайлович Жванецкий (1934) — о нём читатели знают не меньше, чем составители, то бишь всё, что он сам счѳл возможным сообщить в своей прозе; разве что следует добавить, что публикуемое сочинение впервые было напечатано в альманахе «Дерибасовская—Ришельевская» (№ 53, 2013)...

Юрий Николаевич Михайлик (1938), поэт, стихи печатались в «Новом мире», «Юности», «Звезде», «Огоньке», альманахе «Дерибасовская—Ришельевская» и др.; 12 книг стихов и 5 прозы; в 1964—75 гг. руководил литстудией при одесском Дворце студентов (наиболее известными из «студийцев» стали впоследствии А. Цветков, Б. Владимирский, Г. Гордон); в 1980-х вѳл литературную студию «Круг», в которую входили неофициальные одесские поэты и прозаики, составитель антологии неофициальной одесской поэзии «Вольный город» (1991); с 1993 г. живѳт в Сиднее.

Дон Аминадо (Аминодав Пейсахович (Аминад Петрович) Шполянский, 1888—1957), поэт, родился и вырос в Елисаветграде, учился в Новороссийском университете, дебютировал стихами в одесских газетах, затем переехал в Москву, стал постоянным сотрудником «Сатирикона»; в 1920 г. эмигриро-

вал через Константинополь в Париж, где с 1921 г. по 1951 г. издал 5 книг стихов; любимый поэт русской эмиграции, чье творчество высоко ценили такие разные и строгие судьи, как Бунин и Цветаева.

Владимир Иванович Нарбут (1888–1938) — поэт, в 1918 г. — главный редактор киевского журнала «Зори», в первом номере которого печатается «Рассказ об Аке и человечестве» Ефима Зозули и дебютирует философской новеллой-диалогом «Якоби и “Якобы”» Сигизмунд Кржижановский; с 1920 — глава ЮгРОСТА, где привлекает к сотрудничеству Бабеля, Багрицкого, Катаева, Олешу и одесских художников-авангардистов; в 1922 г. переезжает в Москву, фактически возглавляет газетно-журнальный концерн «Гудок» (при газете издавалось 15 журналов), один из двух крупнейших (вместе с ЖурГазом) в СССР, в редакции газеты (по его инициативе) собирается сильнейший журналистский состав, ядро которого составляют переезжающие в столицу одесситы Катаев, Олеша, Ильф, Петров, Гехт и др.; в 1925–27 гг. создаёт и возглавляет издательство «Земля и Фабрика», в состав которого постепенно переводит все «гудковские» журналы, главный редактор популярного журнала «30 дней», здесь, в частности, дебютирует романом «Двенадцать стульев» Ильф и Петров; в 1936 г. арестован, в 1938 г. расстрелян.

Бenedикт Константинович Лившиц (1887–1938), поэт, переводчик, исследователь футуризма; родился и первые двадцать с лишним лет жил в Одессе, печататься начал в 1909 г., в 1911 г. в Киеве вышла первая книга стихов «Флейта Марсия», в том же году познакомился с Давидом, Владимиром и Николаем Бурлюками, вместе с ними основал творческую группу «Гилея» (к которой позже примыкали Хлебников, Маяковский и Крученых); собственные стихи Лившица, однако, далеки от «футуристических» и наводят на мысль о влиянии французских символистов, прежде всего Малларме (и потому естественными, «ожиданными» от него впоследствии стали книги переводов «От романтиков до сюрреалистов. Антология французской поэзии», 1934, и «Французские лирики XIX и XX веков», 1937); в 1922 г. переселился в Петроград. Рано отошедший от футуризма, Лившиц, тем не менее стал автором одной из лучших книг по его истории — мемуаров «Полутораглазый стрелец» (1933); в 1937 г. арестован и годом позже расстрелян; более четверти века после этого его сочинения не переиздавались.

Вениамин Симович Бабаджан (1894–1920), поэт, живописец, искусствовед; родился и вырос в Одессе, окончил классическую гимназию, учился в Новороссийском университете, в 1914–18 гг. служил в действующей армии, затем — в Добровольческой армии, в 1920 г., после взятия Красной армией Феодосии, вместе с другими пленными офицерами был расстрелян; издал три книги стихов, первую из них, «Кавалеристские победы» (1917) — под псевдонимом Климентий Бутковский, четвертая — неосуществлённая — готовилась под псевдонимом Онуфрий Чапенко, такое сосуществование нескольких псевдонимов (гетеронимов) одного поэта, под которыми публикуются стихи различные по направлениям и стилистике (т. е. «разных поэтов»), насколько известно — единственный случай в русской поэзии, и, если бы не трагическая

судьба, Бабаджан мог бы стать открывателем этого творческого приема и в поэзии европейской, однако «честь открытия» принадлежит его младшему (на четыре года) современнику, португальцу Фернандо Пессоа, чьи гетеронимы не только заметно разнились, но подчас и конфликтовали между собой — и весьма резко — в печати; заглавие неосуществлённой книги — «Марсова дудка» — явно перекликается с заглавием первой книги Бенедикта Лившица и тем самым обозначает принадлежность гетеронима-автора к футуристам; живописец Бабаджан входил в одесское «Общество независимых художников», его картины экспонировались на нескольких выставках, а изданная в 1919 г. книга «Сезанн. Творчество, жизнь, письма» (см. в разделе «Профессия — читатель») — первая в России искусствоведческая работа о великом французе, сильно повлиявшем на русских художников начала прошлого века, в том числе, и на Бабаджана (в 1924 г., переехавший к тому времени в Москву бывший соученик Бабаджана по художественной студии художник Амшей Нюренберг (1887–1979) выпустил книгу «Поль Сезанн», в которой легко обнаружить «отзвуки» этой работы Бабаджана о «случайности» говорить не приходится — в библиотеке Е. Голубовского есть экземпляр книги Бабаджана, принадлежавший некогда Нюренбергу, на полях — пометы бывшего владельца, не оставляющие сомнений, однако отсутствие в книге Нюренберга ссылок на предшественника можно объяснить и понять: сослаться на книгу расстрелянного белого офицера в ту пору было более чем рискованно); имя и творческое наследие Бабаджана лишь в начале нынешнего века начало понемногу возвращаться из забвения — изданием в Одессе двухтомника «Из творческого наследия» (2004), публикацией в сборнике научных статей и публикаций Одесского литературного музея «Дом князя Гагарина» (2004) реконструированной Алёной Яворской по архивным материалам четвертой книги поэта.

Вера Михайловна Инбер (1890–1972), поэт, драматург, прозаик; одна из самых ярких и многогранно-деятельных участниц всех затей и начинаний творческой молодежи Одессы 1910–20-х гг.: писала стихи и пьесы, организовывала театры и студии, выступала на диспутах etc; в начале 1920-х переехала в Москву, в 1928 г. вышла ее автобиографическая хроника «Место под солнцем»; в дальнейшем «одесских мотивов» в её творчестве не прослеживается.

Зинаида Константиновна Шишова (Брухнова, 1898–1977), родилась в Одессе, после гимназии училась в Новороссийском университете, стихи писала с юных лет, в конце 1910-х гг. была членом литературного кружка «Зелёная лампа», куда входили Багрицкий, Катаев, Олеша, Фиолетов, была невестой Фиолетова, погибшего за несколько дней до свадьбы, вышедшая в 1919 г. ее книга стихов «Пенаты» посвящена его памяти; впоследствии вышла замуж за красного комиссара Акима Брухнова, погибшего в годы сталинских репрессий; жила в Ленинграде, растила сына Марата, от литературы отошла, бедствовала, тяжело болела; выручил ее друг юности Валентин Катаев — помог вылечиться, поддержал материально, буквально заставил заняться сочинением исторических романов для детей (под псевдонимом — девичьей

фамилией, чтобы не привлекать к себе «излишнего внимания»); первые же романы — «Великое плавание» (1940) и «Джек-Соломинка» (1943) были высоко оценены профессиональными историками и отлично приняты читателями, многократно переиздавались; пережила Ленинградскую блокаду, в годы которой — после двадцатилетнего перерыва — к ней вернулись стихи, её поэма «Блокада» читалась по радио — наряду со стихами Ольги Берггольц; в 1960 г. в Москве вышла вторая и последняя прижизненная книга ее стихов «Многолетье» (1920-50-х гг.), а полвека спустя — «Сильнее смерти и любви» (Феодосия—Москва, 2011).

Анатолий Фиолетов (Анатолий Васильевич (Вениаминович) Шор, 1897—1918), поэт, чей дар обещал явление одного из самых ярких поэтов его поколения; по мнению исследователей его творчества Е. Голубовского и А. Розенбойма, Фиолетов был авторитетнейшей фигурой для Багрицкого: «На рукописи своей первой большой поэмы “Трактир” Эдуард Багрицкий чётко вывел: “Памяти Анатолия Фиолетова”. Это был едва ли не единственный случай, когда Багрицкий посвятил кому-то свои стихи...»; после Февральской революции 1917 г. студент Новороссийского университета, будущий юрист Анатолий Шор стал инспектором уголовного розыска одесской милиции и 14 ноября 1918 г. погиб от пули уголовника; в отклике на гибель поэта Георгий Шенгели поставил его имя в трагически-знаковый историко-литературный ряд: «У каждой литературной школы есть безвременно погибший юноша. У пушкинцев — Веневитинов. У символистов — Коневской. У северянинцев — Игнатьев. У футуристов — Божидар. У акмеистов — Лозина-Лозинский. Южнорусская школа поэтов, столь отчётливо запевшая в последние годы в Одессе, также имеет “жертву утреннюю” — Анатолия Фиолетова...»; впоследствии о его поэзии и гибели вспоминали Иван Бунин, Валентин Катаев, Анна Ахматова, Владимир Набоков; первая — и единственная прижизненная — книга Фиолетова вышла в 1914 г., вторая, наиболее полно вообравшая дошедший до нас архив поэта, в последний год столетия («О лошадях простого звания», Одесса, 2000).

Эдуард Георгиевич Багрицкий (Дзюбин, 1895—1939), родился в Одессе, с восемнадцати лет начал печататься в одесских альманахах, в двадцать с небольшим — признанный лидер среди молодых одесских литераторов, впоследствии ставших крупными советскими писателями (Катаев, Олеша, Ильф, Славин, Инбер, Кирсанов), после Гражданской войны работал — поэтом и художником — в ЮгРОСТА (с Нарбутом, Бабелем, Олешей, Катаевым, Бондариным), в 1925 г., по настоянию приехавшего за ним из столицы Катаева, переехал в Москву, где стремительно завоевал широкую популярность, оставаясь в то же время «связующим» между перебравшимися в столицу писателями-одесситами и поддерживая становление «младших», как Штейнберг, Липкин и др., издал три книги стихов — «Юго-запад» (1932), «Победители» и «Последняя ночь» (обе — 1932).

Марк Ариевич Тарловский (1902—1952), родился в Елисаветграде, в 1912 г. семья переехала в Одессу; стихи начал писать с десяти лет, в пятнадцать был принят «младшим собратом» в круг Олеси, Катаева, Багриц-

кого, о котором после его смерти написал стихотворные мемуары «Весёлый странник»; в 1922 г. перевёлся из Одесского в Московский университет и переехал в Москву, где «поступил в ученики» к Шенгели; университетские профессора прочили ему будущее серьёзного исследователя древнерусской литературы, однако Тарловский выбрал иной путь; в 1928 г. вышла первая книга, «Иронический сад», хорошо встреченная читателями, однако вызвавшая резкие нападки РАППа, вторая книга, «Почтовый голубь», подготовленная в 1929 г., из двухлетних цензурных мытарств вышла изувеченной и под заглавием «Бумеранг» (впрочем, эти увечья не помешали РАППу напасть на неё даже резче, чем на первую), в ура-патриотических стихах третьей книги, «Рождение родины» (1935) поэт предстал перед читателями бледной тенью самого себя; после этого оригинальных стихов почти не публиковал, сочиняя их «в стол» и вполне сносно зарабатывая на жизнь переводами, преимущественно с языков народов СССР («под крылом» Шенгели, обустроившего эту «творческую нишу» для не пришедшихся власти ко двору поэтов); за посмертные полвека Тарловский-поэт был почти забыт, и лишь в последние годы его наследие было возвращено читателям — книгами «Молчаливый полет» (2009) и «Избранное» (2011); первое из публикуемых стихотворений, совсем раннее, в эти книги не вошло.

Сергей Александрович Бондарин (1903–1978), родился в Одессе; поэт, прозаик, мемуарист, ученик Бабеля, близкий друг Гехта, входил в одесский «Коллектив поэтов», позже стихи отступили перед прозой (две книги вышли в 1931 и 1935 гг.) и вернулись... в лагере, где Бондарин провел восемь лет (1944–52), и, как писал он в одном из лагерных писем, именно стихи помогли ему там выжить.

Семён Исаакович Кирсанов (Кортчик, 1906–1972), стихи начал писать с десяти лет, а уже в тринадцать попал в круг «старших» молодых поэтов и был взят «под опеку» Багрицким; он буквально фонтанировал стихами, к шестнадцати годам их набралось более двухсот пятидесяти (о них поэт впоследствии не вспоминал, после его смерти вдова передала их в Одесский литмузей, в 2007 г. из них была составлена изданная в Одессе книжка «Кирсанов до Кирсанова»); в 1924 г. познакомился с Маяковским, который стал его печатать, годом позже переехал в Москву, вошёл в состав ЛЕФа, стихи не иссякали всю жизнь — и составили в итоге более тридцати книг; из многочисленных «одесских» стихотворений, самым популярным стало положенное на музыку «У Чёрного моря»; в последние свои годы, уже смертельно больной Кирсанов написал большой цикл стихотворений, в одном из которых снова, в последний раз, возникает Одесса — метеорной метафорой: «молодой догарессой старого дожа», Средиземноморья...

Аделина Адалис (Аделина Ефимовна Ефрон, 1900–1969), родилась в Петербурге, в конце 1910-х гг., уже «давно» (с тринадцати лет) сочиняя стихи, некоторое время жила в Одессе, входила в состав «Коллектива поэтов», не раз выступала на поэтических вечерах вместе с Инбер, Шишовой, Багрицким и др.; в начале 1920-х гг. переехала в Москву, была ученицей Брюсова; первая книга стихов — «Власть» — вышла в 1934г.

Аркадий Акимович Штейнберг (1907–1984), поэт, переводчик, живописец и график, родился в Одессе и прожил там до четырнадцати лет, стихов тогда не писал и с поэтами не был знаком, если не считать знакомства в детском саду с погодком Семёй Кортчиком, будущим Семёном Кирсановым; в 1921 переехал в Москву, твёрдо намереваясь стать художником, занимался в студии К. Юона, затем поступил во ВХУТЕМАС, на отделение керамики, параллельно посещая живописный класс Д. Штеренберга и рисовальный — В. Таубера; стихи начал писать уже лет в двадцать, тогда же познакомился и подружился с Багрицким; в конце 1920-х покинул ВХУТЕМАС и уехал в Одессу, поступил в Художественное училище (в студию первоклассного графика В. Х. Заузе), познакомился и на всю жизнь подружился с Липкиным; проведя в Одессе два года, вернулся в Москву, организовал группу «Квадрига», куда вошли Арсений Тарковский, Мария Петровых и Семён Липкин, позже к ним присоединилась Юлия Нейман, начал печататься, но вскоре попал под кампанию по «борьбе с формализмом», и двери редакций перед ним захлопнулись; Георгий Шенгели, работавший в Госиздате, привлёк всю пятёрку молодых поэтов к занятиям поэтическим переводом, и все пятеро стали в этом деле отличными мастерами; в 1938 г. Штейнберг был арестован, через два года попал под амнистию, в сорок первом ушёл на фронт, в сорок четвёртом — второй арест, всего он провёл в лагерях одиннадцать лет (и все эти годы не переставал писать стихи и рисовать); при жизни он остался «поэтом без книги», все попытки издать её были безуспешны, переводческая судьба сложилась намного удачней — его переводы немецких, польских, английских, китайских поэтов ныне считаются классикой, а «главный труд жизни» (его слова) — перевод эпической поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай» числится в истории литературы одним из шедевров поэтического перевода в России; первая книга, куда вошли почти все его стихи и поэмы, — «К верховьям» — вышла в 1997 г., год спустя состоялась и первая большая выставка его живописи и графики, а к столетию со дня рождения были изданы книга стихов, поэм и графики «Вторая дорога» (2008), а потом — и почти пятисотстраничный том «Воспоминания об Аркадии Штейнберге» (2008).

Семён Израилевич Липкин (1911–2003), поэт, переводчик, прозаик, мемуарист; родился в Одессе, в 1929 г. переехал в Москву, вскоре после этого Багрицкий впервые напечатал его стихи, затем последовали десятилетия писания стихов «в стол» и превращения в одного из классиков поэтического перевода; первая книга стихов, «Очевидец», вышла в 1966 г., вторая, «Вечный день», — в 1975 г.; в разгар известного скандала вокруг неподцензурного альманаха «Метрополь» Липкин и его жена, поэтесса Инна Лисянская вышли из Союза писателей СССР; в 1983–86 гг. четыре его книги вышли в США и Англии; в 1986 г. он был восстановлен в СП, начали, одна за другой, выходить его книги стихов, прозы, мемуаров, впрочем, отчётливых «границ» между стихами, прозой и мемуарами у Липкина нет, у него есть поэмы, фабулы которых вполне могли бы подвинуть прозаика к сочинению романа, или, например, «Литературное воспоминание», поэма, открывающая мемуарный раздел книги.

Маргарита Иосифовна Алигер (Зейлигер, 1915—1992), родилась в Одессе, шестнадцатилетней переехала в Москву, в 1933 г. дебютировала в журнале «Огонёк»; в многочисленных стихах и поэмах Алигер Одесса не упоминается, однако, на наш взгляд, отзвуки «причерноморской» юности проступают в её поздних стихотворениях, навеянных «средиземноморьем», два из них включены в книгу.

Асар Исаевич Эппель (1935—2012), переводчик, прозаик, поэт — именно в такой последовательности читатель с ним знакомился, лишь в конце 1980-х стала публиковаться его проза, сразу завоевавшая многочисленных читателей, несколько лет спустя были напечатаны и стихи (книга вышла уже посмертно), «заодно» обнаружилось, что этот мастер поэтического перевода и прозу переводит не хуже — его перевод полного свода сочинений Бруно Шульца польскими писателями, владеющими русским языком, признан «конгениальным»; он — очень «московский» писатель, в Одессе бывал, но и только, впрочем, до поры, пока любимый им Бабель не связал-таки его с Одессой: в середине 1980-х гг. Эппель с композитором Александром Журбиным создал — по мотивам «Одесских рассказов» — мюзикл «Биндюжник и Король», на сцене Театра им. Вахтангова он был «хитом» тогдашних московских театральных сезонов (последующий киновариант, к сожалению, удался куда как меньше), а стихотворение «Молдаванка», положенное Журбиным на музыку, стало камертоном — и лейтмотивом — и спектакля, и фильма.

Юрий Олеша. Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе, — поэма написана в 1917 г., многократно и с неизменным успехом исполнялась автором на поэтических вечерах, напечатана в 1918 г., а затем была позабыта столь прочно, что даже не попала в объёмистый том «вариаций на тему Онегина», где среди трёх с лишним десятков авторов не так уж много сопоставимых с Олешей и по дарованию, и по остроумию (Судьба Онегина. Составление Веры и Алексея Невских. М., 2001, 544 с.); Олеша и «после Одессы» время от времени писал стихи, однако прижизненно они уже не печатались, посмертная их судьба тоже *не сложилась*, едва заметно промелькнули считанные публикации, между тем сохранилось их достаточно, чтобы составить книгу; «онегинская строфа» в исполнении Олеша, явленная в поэме, даёт представление о его, так сказать, *владении стихом*, наводит на мысль, что книга стихов была бы отнюдь не лишней в доступном читателям наследии этого писателя.

Эдуард Багрицкий, Георгий Шенгели. Месть Калиостро, — единственный дошедший до нас экземпляр текста сохранился в архиве Багрицкого, впервые опубликован в альманахе «Дерибасовская—Ришельевская» (№ 46, 2011), о постановках водевиля в Одессе см. в мемуарном разделе книги очерки Н. Данилова и Н. Соколовой, Виктор Типот, ставивший водевиль в 1920 г. в одесском театре «Крот», в конце 1930-х поставил его и в созданном им Московском театре миниатюр (фотографии сцен из этого спектакля сохранились в архиве Шенгели); в то же время, когда писался водевиль, живший в Одессе А. Н. Толстой работал над повестью «Граф Калиостро», завершённой и впервые опубликованной в 1921 г. в Берлине; любопытно, что первоначально им

задумывалась... пьеса о Калиостро; о переключках-связях между этими замыслами неизвестно, можно лишь гадать, но интереснее, на наш взгляд, поразмыслить о том, почему в то фантазмагорическое время у знакомых друг с другом, но очень разных авторов возникло желание писать о самой, вероятно, фантазмагорической личности, когда-либо жившей в России...

Мария Людвиговна Моравская (1890–1958 /или 1947/), детство и отрочество провела в Одессе, дебютировала в журналах как детский поэт в 1911 г., уже в Петербурге, в 1910 г. познакомилась с Волошиным, сотрудничала в журнале «Аполлон», входила в акмеистский «Цех поэтов», посещала «Башню» Вяч. Иванова, в 1914–15 гг. выпустила четыре книги «взрослых» стихов, но особого успеха не снискала, зато первая детская книга «Апельсиновые корки» с иллюстрациями Сергея Чехонина (1914) очень понравилась и читателям, и критикам, даже такому строгому, как Чуковский, он впоследствии о том вспоминал, эта книга дважды переиздавалась — в 1921 г. в Берлине и в 1928 г. в Москве (поэтесса к тому времени уже десять лет жила в Америке), а затем и стихи канули в забвение, вместе с именем автора своего; о дальнейшей жизни Моравской известно мало: в 1920-х печатала на английском языке рассказы, статьи, очерки, издала роман «Жар-птица» о петербургской жизни 1910-х гг. (тоже по-английски), потом пропала с литературного горизонта, даже сведения о её кончине дwoятся: то ли в 1947 г. в США, то ли в 1958 г. в Чили; вспомнили о её детских стихах в России лишь в конце прошлого века, а в 2012 г. в Санкт-Петербурге вышла подготовленная Михаилом Яновским книга детских стихов и рассказов Марии Моравской, заглавие? — ну, разумеется, «Апельсиновые корки»; хочется добавить, что в 1910-е гг. вместе с Моравской стали писать стихи для детей ещё два поэта — Саша Чёрный и Вера Инбер, что родились они в одном и том же году, и все трое провели детство и отрочество в Одессе..

Корней Иванович Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969), представлять его читателям излишне — все мы выросли на его стихах, здесь стоит лишь сказать о том, что в самом начале XX в. не было в Одессе более острого и резкого журналиста и критика, чем Чуковский, и что именно Чуковский в статье «Матерям о детских журналах» (1911) первым во всеуслышание и доказательно заговорил о «несуществовании» детской литературы в России; не пройдёт и десятилетия, как он сам и займётся созданием новой, замечательной детской литературы XX века; потому, несмотря на «хрестоматийность» (утвердившуюся, правда, далеко не сразу, преодолевая мощное «идеологическое» сопротивление власти), он, конечно, должен присутствовать на «Детской площадке» книги — хотя бы тремя стихотворениями — от раннего до позднего.

Борис Степанович Житков (1882–1938), соученик Чуковского по начальным классам одесской гимназии, с тех ранних пор они подружились; его можно считать основоположником, вероятно, труднейшего из жанров детской литературы — серьёзной прозы для самых маленьких читателей, уже многие поколения начинали своё «читательство» знакомством с «Алёшей-Почемучкой» из книг «Что я видел» и «Что бывало»; в 1930-е гг. стали временем

«взрослой» прозы Житкова: роман о событиях 1905 года «Виктор Вавич», над которым он работал около пяти лет, Житков считал главным делом своей жизни, но тираж книги, отпечатанный через три года после смерти автора, был уничтожен; роман был издан лишь в 1999 г. — и в недрах тогдашнего издательского бума остался едва замеченным читателями, между тем, по мнению многих писателей и литературоведов, сложись судьба иначе, роман по праву мог бы стать одним из самых значительных событий в русской литературе середины XX века.

Леонид Петрович Гроссман (1888—1865), родился в Одессе, окончил Ришельевскую гимназию, в студенческие годы увлёкся историей литературы, написал несколько статей; в 1921 г. переехал в Москву, преподавал в созданном Брюсовым Литературно-художественном институте, писал историческую прозу и научные статьи и книги, был признан и в академических, и в литературных кругах; нечастый случай — когда будущий историк литературы начинает стихами: изданным в 1919 г. отдельной книгой циклом сонетов очерчен круг имён, большинство которых впоследствии были персонажами работы историка.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902—1990), родилась и выросла в Одессе; литературовед, мемуаристка, автор признанных литературоведческой классикой книг «О лирике» (1964), «О психологической прозе» (1971), монографий о Лермонтове и Герцене, множества статей, мемуарных записок и очерков; в начале 1920-х гг. переехала в Ленинград; юношеское общение с плеядой молодых писателей-земляков дополнилось знакомством и добрыми отношениями с В. Шкловским, В. Маяковским, Б. Эйхенбаумом, Ю. Тыняновым, А. Ахматовой, Н. Мандельштам, обо всех о них она написала воспоминания; в лаконичном очерке, написанном для сборника «Воспоминания о Багрицком» мастерски соединены мемуаристика и литературоведение.

Семён Теодорович Вайман (1924—2004), родился в Одессе, едва сравнялось восемнадцать, ушёл на фронт, после войны с блеском окончил Одесский университет и... стал безработным: в разгар «борьбы с космополитизмом» шансы на «работу по специальности» у филолога с такой фамилией были мнимыми, работа нашлась только в Таджикистане, там написал диссертацию по теории литературы, защищался в Москве, в ИМЛИ, в самом антисемитском — 1952-м, — тут для успеха требовалось нечто большее, чем «профессиональная состоятельность», нечто *из ряда вон*, и Вайману это удалось; потом — снова Душанбе (еще Сталинабад), через несколько лет — Липецкий пединститут, и лишь в середине 1980-х, с помощью журнала «Литературная учёба» (где, кстати, впервые была напечатана публикуемая статья), Вайман перебрался в Москву, издал несколько книг — одна другой лучше, его артистичный и тонкий анализ не препарировал художественную ткань, но, казалось, напротив, наращивал «мышечную массу» — в том, о чём шла речь, он ни в коем случае не считал синонимами «привычное» и «верное» — и не стеснялся нарушать *филологические приличия*: признаваться в любви к тому, чем занимался; последняя его книга озаглавлена - «Неевклидова поэтика», этим он и занимался всю жизнь; когда бы не знакомство обоих

составителей с Вайманом, вполне вероятно, не состоялся бы и замысел этой книги...

Тая Григорьевна Лишина (1901/?/—1968), родилась и до середины 1920-х гг. жила в Одессе, затем переехала в Ленинград, много лет работала в Ленинградском отделении Союза писателей, организовывала вечера поэзии и выступления писателей в клубах, школах, библиотеках; не дожила нескольких месяцев до публикации этих воспоминаний в альманахе «Прометей» (т. 5, 1968), «прощальное слово» о ней (в том же томе) подписали Вс. Азаров, И. Андронников, С. Бондарин, Д. Гранин, А. Розен; когда готовилась эта книга, Даниил Гранин — на вопрос о Тае Лишиной — заговорил о ней с видимым удовольствием (не «вспомнил», а «не забывал»), в частности, упомянул, что стихи она продолжала писать всю жизнь, впрочем, не переоценивала их и публиковать не пыталась.

Николай Ипполитович Данилов (1899—1978), художник, учился в одесских Художественно-промышленных мастерских, там же — в театре Массодрам — дебютировал как театральным художником, входил в Юголеф, работал в ЮгРОСТА, в середине 1920-х уехал в Киев, затем работал в различных провинциальных театрах; с 1936 г. — в Воронежском драматическом театре, на его счету — более трёхсот оформленных спектаклей; публикуемый очерк был написан по просьбе вдовы Багрицкого Лидии Густавовны Суок — для сборника «Воспоминания о Багрицком» (М., 1973).

Наталья Викторовна Соколова (?—?), дочь режиссера и драматурга В. Я. Типота (1892—1960), детство провела в Одессе, более подробных сведений об авторе, к сожалению, обнаружить не удалось; публикуемые воспоминания тоже (как и предыдущие) написаны для сборника «Воспоминания о Багрицком», вместе эти два мемуарных очерка образуют своего рода комментарий к помещённому в книге тексту водевиля Багрицкого и Шенгели.

Владимир Александрович Бугаевский (1905—1964), родился и вырос в Одессе, круг его общения в начале 1920-х гг. обозначен в очерке, можно, не рискуя ошибиться, добавить ещё несколько имён; выступал на поэтических вечерах, однако публиковать стихи начал в Москве, куда переехал в 1925 г.; в начале 1930-х вместе со своими товарищами-одесситами Штейнбергом и Липкиным «ушёл» в переводы: Гёте и Рихард Вагнер, Лопе де Вега и Кальдерон, Гюго, Мицкевич, Незвал etc в переводах Бугаевского переиздаются до сих пор. Воспоминания о Шенгели записаны в 1958 г. по просьбе вдовы поэта Н. Л. Манухиной, дважды читались на вечерах памяти Шенгели — в 1958 и 1963 гг., впервые опубликованы в альманахе «Дерибасовская—Ришельевская» (№ 46, 2011).

Руфь Александровна Зернова (Зевина, 1919—2004), родилась и выросла в Одессе, училась в Ленинградском университете, во время Гражданской войны в Испании работала переводчицей при военном советнике, в конце 1940-х гг. была репрессирована, освобождена в 1954 г.; печататься начала с 1955 г. (журналы «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Огонёк» и др.), первую книгу выпустила в 1961 г.; в 1976 г. репатрировалась в Израиль, где у неё вышло пять книг, в их числе — мемуарная проза «Длинные тени» (1996).

После смерти автора вышли сборники прозы: Книга Руфи. Иерусалим: Изд. Филобиблон, 2011; Иная реальность. Новосибирск: Изд. «Свиньян и сыновья», 2013.

Виктор Борисович Шкловский (1893—1984), первая встреча Шкловского с писателями «юго-западной школы» произошла на рубеже 1923—24 гг., когда он был близок к группе начинающих литераторов, объединившихся вокруг газеты «Гудок» (сам Шкловский в это время работал в издававшемся «Гудком» журнале «Дрезина», а в первой половине 1925 г. заведовал редакцией «Красного журнала» того же издательства); статья (в рукописи она называлась: «Южно-русская школа в борьбе за сюжетный стих и сюжетную прозу») была напечатана в «Литературной газете» 5 января 1933 г., на редкость «не вовремя» и для автора, и для упомянутых им писателей, — в самый разгар подготовки к Первому съезду писателей, призванному превратить живую русскую литературу в монолитно-советскую; реакция последовала незамедлительно: уже в начале февраля разгорелась «дискуссия» (название условное), участники которой наперебой обвиняли Шкловского в попытке выделить особую литературную группу, то бишь в посягательстве на единство советской литературы, в стремлении протащить в советскую литературу «буржуазную идеологию» и т. п.; Шкловский пробовал возражать, что вызвало нарастающую ярость, вплоть до объявления его статьи «выступлением классового врага»; это уже было смертельно опасным, и Шкловский письменно «покаялся в ошибках», однако за те два месяца, что его письмо пролежало в редакции, «дискуссия» (не без «импульса», извлечённого из статьи Шкловского, акцентированной на «форме» творчества писателей «южно-русской школы») уже успела превратиться в печально знаменитую «борьбу с формализмом», где «под раздачу» попали и некоторые персонажи этой статьи.

Содержание

<i>Вадим Перельмутер</i> «Это было, было в Одессе...»	5
--	---

ПРОЗА

В Одессе всё должно быть легко и летуче

<i>Влас Дорошевич</i> Одесский язык (Лекция на степень доктора филологических наук)	27
<i>Аркадий Аверченко</i> Одесса.....	35
<i>Пётр Пильский</i> Одесса. Памятники, люди и дела судебные	42
<i>Илья Ильф</i> Путешествие в Одессу	46
<i>Лев Славин</i> Одесские гасконцы.....	49

Свидетельство очевидца: дела житейские

<i>Шолом-Алейхем</i> «Лондон» (Одесская биржа).....	52
<i>Влас Дорошевич</i> Винт	67
<i>Аркадий Аверченко</i> Одесское дело.....	82
<i>Саша Чёрный</i> Голубиные башмаки.....	81
<i>Иван Бунин</i> Галя Ганская.....	86
<i>Михаил Козырев</i> Крокодил. Три дня из жизни Красного Прищеповска	92
<i>А. Н. Толстой</i> Диалоги.....	103
«На Святках суженый».....	106

<i>Георгий Шенгели</i>	
Чёрный погон (<i>Фрагмент</i>)	109
<i>Евгений Петров</i>	
Гусь и украденные доски	
<i>Рассказ провинциального поэта</i>	133
<i>Семён Гехт</i>	
Абрикосовый самогон	138
Пятница	144
<i>Илья Ильф</i>	
Повелитель евреев	151
<i>Владимир Жаботинский</i>	
Акация	158
<i>Константин Паустовский</i>	
Случай в магазине Альшванга	162

Написано в Одессе

<i>Александр Грин</i>	
По закону	167
<i>Андрей Соболев</i>	
Салон-вагон	171
<i>Сигизмунд Кржижановский</i>	
Хорошее море	229
<i>Ефим Зозуля</i>	
Рассказ об Аке и человечестве	246
Исход	257
<i>Александр Куприн</i>	
Гамбринус	267
<i>Валентин Катаев</i>	
Фантомы	288
<i>Юрий Олеша</i>	
Первое мая	300
<i>Исаак Бабель</i>	
Ди Грассо	305
<i>Мариан Ткачёв</i>	
Письмо Татьяны	309

«Я — одессит»

<i>Михаил Левитин</i>	
Только живи. <i>Рассказы об отце</i>	320
<i>Михаил Жванецкий</i>	
Отец мой, врач мой!	330

<i>Юрий Михайлик</i>	
Сонет.....	334
«Неукротимое движение...»	334
«Да, в провинции, у моря, в отдаленье...»	335

ПОЭЗИЯ

1900–1980-е годы

<i>Иван Бунин</i>	
На маяке	339
«На мёртвый якорь кинули бакан...»	339
<i>Саша Чёрный</i>	
В Одессе.....	340
<i>Дон Аминадо</i>	
Ато-атаге	341
<i>Владимир Нарбут</i>	
Железная дорога	343
«Гудок стремительный, и — в море...»	344
<i>Бенедикт Лившиц</i>	
Флейта Марсия.....	345
Фонтанка	345
«Уже непонятны становятся мне голоса...».....	346
<i>Вениамин Бабаджан</i>	
Из книги «Кавалерийские победы»	
«Седлом опять набиты...»	347
«В окопе сыро. Ночь темна...»	347
«Вернулись все аэропланы...»	348
«К полуночи прозрачная луна...»	348
Из стихотворений Климента Бутковского	
Трубка	349
«Альма Тадема — крайняя правая...»	350
<i>Вера Инбер</i> 356	
«Лучи полудня тяжко пламенеют...»	356
«Уже заметна воздуха прохлада...»	357
«Шелестя сухими злаками...»	357
<i>Зинаида Шишова</i> 358	
Лето	358
«Рука руки искала на колене...»	358
Сумерки	359
Счастье	359
<i>Анатолий Фиолетов</i> 360	
Пьяный вечер	360

О лошадях.....	361
Собаки	362
«Не архангельские трубы...»	363
<i>Эдуард Багрицкий</i>	
Арбуз.....	363
Бессонница	365
<i>Валентин Катаев</i> 367	
Июль	367
На яхте.....	367
Эвакуация	368
<i>Георгий Шенгели</i> 369	
Дом (<i>Диптих</i>)	369
1.«Столетний дом. Его фанариот...».....	369
2.«Теперь там агитпроп. Стучат машинки...».....	369
Одесский карантин.....	370
<i>Марк Тарловский</i> 370	
«Бриллиант, сверкающий в небе...»	370
Москва.....	371
Загадка	372
<i>Семён Гехт</i> 373	
Бытие	373
<i>Сергей Бондарин</i> 374	
«От самого Черного моря...»	374
Звезда	375
<i>Семён Кирсанов</i> 376	
Долгий дождь.....	376
Реквием.....	377
<i>Аделина Адалис</i> 378	
«Пейзаж кудряв, глубокий, волнистый...»	379
«Ах, хорошо в твоих руках дымясь...».....	379
<i>Аркадий Штейнберг</i> 380	
Пожарище	380
<i>Семён Липкин</i> 383	
В толпе.....	383
Зола.....	384
Якиманка.....	385
<i>Маргарита Алигер</i> 386	
Ночь накануне	386
Суббота.....	387
<i>Асар Эппель</i> 389	
Молдаванка.....	389

«Под весёлым одесским небом...»

<i>Юрий Олеша</i>	
Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе	391
<i>Эдуард Багрицкий</i>	
<i>Георгий Шенгели</i>	
Месть Калиостро	399

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

<i>Мария Моравская</i>	
Неудача	413
Мечты	413
Апельсиновые корки	414
Беглец	414
<i>Корней Чуковский</i>	
Обжора	415
Бебека	416
Муха в бане	416
<i>Борис Житков</i>	
«Мария» и «Мэри»	418
<i>Вера Инбер</i>	
О мальчике с веснушками	432

ПРОФЕССИЯ — ЧИТАТЕЛЬ (литературоведение, искусствознание)

<i>Леонид Гроссман</i>	
Сонеты	439
<i>Русский сонет</i>	439
<i>Веневитинов</i>	439
<i>Гнедич</i>	440
<i>Языков</i>	440
<i>Козлов</i>	441
<i>Денис Давыдов</i>	441
<i>Василий Пушкин</i>	442
<i>Жуковский</i>	443
<i>Боратынский</i>	443
<i>Зинаида Волконская</i>	444
<i>Батюшков</i>	444
<i>Вяземский</i>	445
<i>Кюхельбекер</i>	445
<i>Дельвиг</i>	446
<i>Пушкин</i>	447
<i>Плеяда</i>	447

<i>Вениамин Бабаджан</i>	
Сезанн.....	448
<i>Лидия Гинзбур</i>	
Встречи с Багрицким	477
<i>Семён Вайман</i>	
Трагедия «Лёгкого дыхания»	481

ВОСПОМИНАНИЯ

«Итак, я жил тогда в Одессе...»

<i>Семён Липкин</i>	
Литературное воспоминание	506
<i>Зинаида Шишова</i>	
О нашей молодости	517
<i>Тая Лишина</i>	
«Так начинают жить стихом...»	528
«Пеон четвёртый» и «Мебос»	528
Три письма Ильфа	531
<i>Николай Данилов</i>	
«Месть Калиостро»	542
<i>Наталья Соколова</i>	
Драматург дёргает занавес	547
<i>Владимир Бугаевский</i>	
Г. А. Шенгели в Одессе	552
<i>Лев Славин</i>	
Рассказ о Викторе Шкловском.....	556
<i>Руфь Зернова</i>	
Скользкая тропа.....	560
<i>Валентин Катаев</i>	
Встреча	585
<i>Семён Липкин</i>	
Катаев и Одесса.....	592
<i>Виктор Шкловский</i>	
«Юго-Запад».....	602
<i>Вера Калмыкова</i>	
Тайна третьей столицы, или Миф о свободе	XXX
<i>Комментарии</i>	506

Литературно-художественное издание

ОДЕССА–МОСКВА–ОДЕССА

Юго-западный ветер в русской литературе

Художественное оформление *И. Семенников*
Корректор *А. Конькова*

ООО «Издательский дом «Вече»

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доб. 2213), (499) 940-48-71.
<http://www.veche.ru>;
E-mail: veche@veche.ru

Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:
129348, г. Москва, ул. Красной Сосны, дом 24, строение 1–4.

ООО «Русский импульс»
Адрес: 140103, г. Раменское, ул. Гурьева, 4А.
<http://www.rus-impulse.ru>;
E-mail: rus-impulse@mail.ru

ООО «Принт-Контент»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16, литер В.

Подписано в печать 15.02.2014. Формат 60х90^{1/16}
Гарнитура LiteraturnayaC. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 39. + 1 печ. л. вклейка.
Тираж 3000 экз. Заказ 0000



